

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNET CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

84



За роман “Кочевание до смерти”, главы которого опубликованы в 79-м номере “Континента”, писателю **Владимиру Максимоу** присуждена российская премия “Вехи”.

Постоянному автору нашего журнала, поэту и переводчику Семену Липкину присуждена Пушкинская премия (ФРГ) за 1994 год. Сердечно поздравляем нашего дорогого лауреата и желаем ему долгих лет жизни, новых и крупных творческих свершений, новых встреч с читателями “Континента”.

По представлению редакции “Континента” поэту Владимиру Соколову, постоянному автору нашего журнала, присуждена государственная Пушкинская премия за 1994 год. Новую поэму Владимира Соколова и наши поздравления лауреату см. в этом номере.



**Инкомбанк чтит подвиг живых и память павших
в борьбе за свободу и независимость нашей Родины
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.**



**Финансирование типографского и редакционно-издательского
процесса выпуска журнала "Континент" обеспечивается
ИНКОМБАНКом**

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА • ПАРИЖ

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Издатели:

Редакция журнала "Континент"
Ассоциация друзей журнала "Континент"
*Париж, Президент Ассоциации и основатель-
учредитель журнала "Континент"*

Владимир Максимов

Издательство "Московский рабочий"

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8а.
Телефон: (095) 928-97-42
Факс: (095) 201-57-41**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции,
не рассматриваются.

При перепечатке наших материалов ссылка на "Континент"
обязательна.

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат.

Редакция пользуется автомобилем "Москвич",
предоставленным АО "МОСКВИЧ"

© ТОО "Журнал "Континент"

© Название журнала "Континент" — В.Е.Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Василий АКСЕНОВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Ценко БАРЕВ

Александр БЛОК

Армандо ВАЛЬЯДАРЕС

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Георгий ВЛАДИМОВ

Ежи ГЕДРОЙЦ

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Пакль ГОМА

Алла ДЕМИДОВА

Милован ДЖИЛАС

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Лариса ПИЯШЕВА

Виктор СПАРРЕ

Витторио СТРАДА

Карл-Густав ШТРЕМ

Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Представители “Континента”

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Израиль | Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375 |
| Италия | Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23 |
| Канада | Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221 |
| США | Эдуард Лозанский
1800 Connecticut ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244 |
| Франция | Татьяна Максимова
9 rue Lauriston, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56 |
| Швейцария
Женева | Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENÈVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052 |
| Берн | Юрий Гальперин
Scheuermattweg 14
3007 BERN, SUISSE
☎ (31) 459-463 |

СОДЕРЖАНИЕ

Игорь ВИНОГРАДОВ

Кочевание до смерти. 9

ВЕНОК ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА

В.Аксенов, Г.Герлинг-Грудзинский, Н.Горбаневская, А.Дементьев,
Ф.Искандер, О.Клеман, Н.Коржавин, Ю.Крелин, Э.Кузнецов,
Э.Лозанский, Э.Неизвестный, Ж.Нива, В.Страда, Ю.Эдлис 13

Владимир МАКСИМОВ

Борск — станция пограничная. *Драма в 2-х актах*..... 35

* * *

К 50-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

От редакции..... 69

Андрей ЗУБОВ

Победа, которую мы потеряли..... 71

Владимир СОКОЛОВ

Алиби. *Поэма* 77

Евгений ПЛИМАК

В советской оккупационной: Германия, 1945—1946.

Записки ветерана..... 89

Теодор ВУЛЬФОВИЧ

Часы на память. *Фронтовая быль* 139

* * *

Анна НАЛЬ

Между сушей и твердью. *Стихи*..... 158

Юрий МАЛЕЦКИЙ

Не только о “русском”. *Три метафизические притчи* 167

Сергей КАЛЕДИН

Берлин, Париж и “Вшивая рота”. *Маленькая повесть*..... 195

Литературный дебют

Дмитрий КАЛЕДИН

Воля и неволя. Рассказы 233

РОССИЯ

Лариса ПИЯШЕВА

**Загадки “евразийского менталитета”, или Кто в России созрел
для капитализма** 256

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Зоя МАСЛЕНИКОВА

Из книги “Жизнь отца Александра Меня” 306

РЕЛИГИЯ

Юрий КАГРАМАНОВ

“... И аз воздам”. О страхе Божиим в прошлом и настоящем..... 376

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Евгений ЕРМОЛИН

**Примадонны постмодерна, или Эстетика огородного
контекста** 397

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА “КОНТИНЕТА” 420

РАЗНОЕ

**А.И. Курчатова. Новый Чернобыль “Комсомольца”? (Письмо
в редакцию)** 448

Жужа Хетени. Краткий курс плагиата (Письмо в редакцию)... 462

О приеме в Высшую христианскую школу 468

**О. Георгий Кочетков. Проблемы богословско-просветительской ра-
боты в современном русском обществе: опыт Московской Высшей
христианской школы** 470

КОЧЕВАНИЕ ДО СМЕРТИ...

26 марта 1995 года, не дожив до 65-летия, после тяжелой болезни скончался в Париже Владимир Максимов — выдающийся русский писатель и общественный деятель, основатель и в течение семнадцати лет бессменный главный редактор нашего журнала.

Владимира Максимова уже не было в живых, когда за последний его роман “Кочевание до смерти”, “парижские” главы которого были напечатаны в 79-м номере “Континента”, он был удостоен новой российской премии “Вехи”. Ее присудило столь же представительное, сколь и необычное жюри, составленное по принципу — “не личности, а должности”. Эти должности и были представлены занимающими их в настоящий момент лицами — от председателя Госдумы Ивана Рыбкина, возглавившего жюри, до председателя Союза российских промышленников и предпринимателей Аркадия Вольского, ректора МГУ Виктора Садовниченко и президента Ассоциации российских банков Сергея Егорова. Не знаю, как отнесся бы сам Владимир Максимов к этому событию и что испытал бы, узнав о столь высокой оценке его творчества тем самым номенклатурным истеблишментом, с которым он так яростно сражался в последние годы... Но парадоксов всегда хватало в его яркой, сложной, трагической судьбе, итоговой горестной формулой которой так неожиданно зазвучало вдруг после его кончины название его последнего романа — “Кочевание до смерти”...

“Кочевание” это началось для Владимира Максимова уже в ту раннюю пору, когда он, еще мальчишкой, ушел из дому и судьба потащила его через бродяжничество, по детским домам и колониям для малолетних преступников, по стройкам и колхозам и, наконец, по редакциям провинциальных газет, где он и сделал свои первые шаги в литературе. И лишь после того, как Максимов вернулся в родную Москву и К. Паустовский опубликовал в своих “Тарусских страницах” его первую повесть “Мы обживаем землю”, а через год “Октябрь” напечатал его новую, получившую большую известность повесть “Жив человек”, жизнь его несколько притормозила свой страннический бег и дала ему передышку. Он стал модным московским литератором, вступил в члены Союза писателей и на короткое время вошел даже в редколлегия кочетовского “Октября”. Тоже, кстати, один из удивительных парадоксов его жизни, ее московского периода: он, приобретший за годы юношеских скитаний такое редкое, выстраданное собственным тяжким опытом знание низовой народной жизни, поставил свое имя на вывеске журнала, который был одним из главных идеологических форпостов антинародного режима, нещадно давившего и уродовавшего эту жизнь. Вероятно, даже ему не так просто было вытравить из себя последствия идеологического оболванивания, которое советская система обрушивала на всех, включая и жаждавших вступить на литературную стезю неофитов. При всем своем жизненном опыте он был слишком неискушен в столь облазнительной для новичка московской светско-литературной жизни с ее изощренной демагогией, наглыми обманными личинами и коварными гэбистскими ловушками...

Но и освобождения от всего этого не могло не произойти — к нему настойчиво толкало и знание жизни, которое обрел Максимов в годы своего юношеского странничества, и постепенно накапливавшийся и все более отрезвлявший его опыт московского литературного существования. А главное — сама динамика

очевидных и все более обескураживающих перемен в стране, проходившей свой драматический путь от первых ясных весенних дней хрущевской оттепели к ледящему шоку знойного чешского августа 1968-го. Отношение Максимова к коммунистическому режиму становится все более резким, непримиримым, и вот уже первая, рожденная этой внутренней переменой крупная его вещь, знаменитый впоследствии роман "Семь дней творения" (1971), оказывается совершенно не пригодной для публикации в СССР. Равно как и второй его роман "Карантин" (1973), тоже изданный лишь за границей и тоже получивший международное признание... Но это "перекочевывание" прозы Максимова за рубеж и занятая им позиция открытого противостояния режиму сразу же начинают и отзываться — сначала исключением из Союза писателей, затем — двойной попыткой загнать его для принудительного лечения в психушку и, наконец, таким же принудительным, в сущности, выдворением из страны — предоставлением ему в 1974 году "возможности" и самому, вслед за своими романами, перекочевать на Запад...

Так начинается новый, растянувшийся более чем на двадцать лет, период скитальческой судьбы Максимова, нашедшего приют в Париже. Здесь он написал еще несколько романов, упрочивших его мировую писательскую славу, — "Прощание из ниоткуда", "Ковчег для незваных", "Заглянуть в бездну" и, наконец, "Кочевание до смерти"; здесь сформировался он как яркий, острый, резкий публицист и полемист, здесь написал свою знаменитую "Сагу о носорогах", вызвавшую ожесточенное неприятие всей той "левой" западной и русской эмигрантской интеллигенции, которая при всем своем критическом отношении к существовавшему тогда в СССР режиму была настроена просоциалистически и прокоммунистически. Здесь он создал свой "Интернационал сопротивления", здесь, наконец, в первый же год своих эмигрантских мытарств, основал и "Континент", который очень скоро стал самым крупным и влиятельным журналом русского вольного слова за рубежом — журналом фронтального политического, религиозного и культурного противостояния идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма, журналом, который в 70—80-е годы собрал вокруг себя крупнейшие имена русской и мировой культуры — Сахарова и Солженицына, Бродского и Аксенова, Ионеско и Милоша, Клемана и Конквеста, Искандера и Окуджаву, Вишневскую и Владимова, Коржавина и Неизвестного — равно как и многих, многих других выдающихся писателей, публицистов, ученых, религиозных и общественных деятелей Востока и Запада...

Париж стал городом, в котором полной мерой развернулся выдающийся литературный и организаторский талант Владимира Максимова. Здесь, наконец, у него появился дом, в котором он мог свободно жить и работать, здесь жена его Таня родила ему двух дочерей, здесь образовался около него обширный круг друзей, приятелей, знакомых — равно, впрочем, и недругов. Но Домом — тем родным Домом, который только на родной земле и может стоять, — Париж для него не стал и не мог стать. Он стал таким, может быть, лишь для его детей. Для него же Париж по-прежнему все эти годы оставался пусть уже своим, уже обжитым, привычным и даже дорогим, но все же только пристанищем, где продолжалось изгойское его кочевание за пределами единственной и никогда и ничем не заменимой для него России, его изгнавшей... И потому, едва только обозначила свои первые шаги "перестройка", он, хотя и встретил ее, как и многие эмигранты, с понятным недоверием и скептицизмом, стал жить возродившейся и не оставившей уже его с этой поры надеждой

перекочевать, наконец, обратно, на Родину. И уже — навсегда. Он готов был на это при первой же возможности. Но страна, для исторических перемен в которой, он сделал так много, отказалась вернуть ему даже отобранную у него при изгнании квартиру. И перекочевать на родину, на постоянное в ней жилище, пришлось не ему, а “Континенту”.

Когда-нибудь я подробно расскажу о том, как это произошло, как и почему я решился принять из рук Володи Максимова, по настоятельной его просьбе, кровное его дитя, чтобы попытаться дать ему новую жизнь на родной земле. И расскажу, я полагаю, уже в будущем году — в том номере нашего журнала, которым редакция намерена отметить годовщину смерти Владимира Максимова, начав публикацию воспоминаний о нем его друзей и — хотя бы частично — богатейшей коллекции документов из парижского архива “Континента”. А сейчас скажу только: Максимов хорошо понимал (как он сам писал об этом в 72-м номере — первом номере уже нового, московского “Континента”), что прежняя позиция журнала “как свободной трибуны противостояния тоталитарной системе” в новых условиях “исчерпала себя”, а новая, адекватная времени концепция его как журнала не Противостояния, а Созидания новой возрождающейся России диктует, чтобы он и делался теперь в России же. Но решение передать созданный им журнал в другие руки потребовало тем не менее от него, конечно же, немалого мужества. И он нашел его в себе — как нашел в себе и все то бескорыстное благородство, с которым он помог новой редакции выпустить первые номера журнала, а потом — найти в лице Инкомбанка генерального спонсора, который и обеспечил журналу независимое и достойное его существование на родной земле. И скажу еще, что, вопреки первоначальным планам и надеждам, с развитием событий в посткоммунистической России новому “Континенту”, чтобы быть журналом Созидания новой России, тоже приходится стать прежде всего журналом Противостояния — решительного противостояния нынешнему псевдодемократическому режиму и всему тому злу — социальному и духовному, экономическому и культурному, — которое он с собою принес. Так новый “Континент” и в этом отношении оказывается прямым преемником старого, что — при всех частных несовпадениях — еще больше сближает его позиции с принципиальными позициями Максимова последних лет, резкие выступления которого против нынешнего режима “демократически-плюралистическая” наша печать перестала помещать на своих страницах, и ему — ярому антикоммунисту — пришлось, чтобы быть услышанным, пользоваться газетными и журнальными полосами своих идеологических противников. Еще один печальный парадокс его жизни...

Я не буду возвращаться здесь к этим выступлениям — они у всех на памяти. О том, что происходило с Максимовым в его последние годы, много говорится и в тех откликах на его уход, которые принадлежат его друзьям по журналу и которые мы собрали ниже под общим заголовком “Венок памяти Владимира Максимова”. Большая их часть написана специально для “Континента”, другие уже были напечатаны в некоторых российских и зарубежных газетах, но, по собственному желанию или с согласия их авторов, помещаются и в нашем “Венке” — в некоторых случаях с небольшими, уместными при перепечатке, сокращениями.

Правда, многие из друзей Владимира Максимова — те, кто тоже хотел бы сказать свое прощальное о нем слово, — просто не успели это сделать для настоящего номера “Континента”. Но они непременно намерены сказать его в том номере, которым, отмечая годовщину ухода Владимира Максимова, мы

начнем публикацию воспоминаний о нем и документов из его архива. О нем, уверен, и вообще много будут еще писать — и о той драме диссидентства, которую так горько пережил он в постперестроечные годы, и о его редакторстве, и о его творчестве. И мы надеемся, что сумеем познакомить нашего читателя со всем наиболее значительным, что будет в связи с этим написано.

Пусть наш сегодняшний “Венок памяти Владимира Максимова” дополнит и его последняя пьеса — “Борск — станция пограничная”. Он так и не успел, к сожалению, увидеть ее на страницах журнала.

Не успел он увидеть напечатанной в “Континенте” — хотя знал ее текст — и мою статью “Между отчаянием и упованием”, посвященную его прозе и опубликованную в предыдущем номере. Пусть и она будет посильным моим приношением в общий наш “Венок” его памяти. Когда я сдавал ее в набор, я и предположить не мог, что она станет моим прощальным словом о Владимире Максимове. Ведь еще в декабре 1994 года мы виделись с ним в Польше на одной из конференций о русской литературе, и хотя он чувствовал себя и тогда уже плохо, жалуясь на боли в шейном отделе позвоночника, ни ему, ни близким, ни кому-либо другому даже в голову не западало заподозрить истинную причину этой боли, так похожей на остеохондроз. И никто и думать не думал, что через несколько месяцев его не станет. Он был полон энергии, полон упрямого желания и дальше не останавливаться в том непрерывном в последние годы кочевании своем между Парижем и Москвой, на которое его обрекла посткоммунистическая власть, лишившая его Дома на родине, и на которое он шел вопреки всем своим болезням и невзгодам, через все свои жестокие расхождения с немногими, но дорогими сердцу бывшими друзьями и через все нараставшую и нараставшую злобу многочисленных недругов — шел ради все той же единственной своей России...

Но люди предполагают, планируют, намереваются, а решает — Господь. Он закончил земное кочевание Владимира Максимова на знаменитом и страшном русском парижском кладбище Сен-Женевьев де Буа. Там — рядом с Некрасовым, Галичем и Тарковским, рядом с Буниным, Ремизовым и Зайцевым, рядом с Мережковским и Гиппиус, с корниловцами и деникинцами, с десятками и сотнями других участников Великого Российского Исхода — нашел свой последний приют еще один непокорный российский изгой и скиталец...

Мир праху твоему, дорогой Володя. Да упокоит, наконец, Господь твою странническую душу...

Игорь Виноградов

Василий Аксенов:

Кто знает, имеют ли какое-нибудь значение за пределами быстро пролетающей жизни все наши союзы и размежевания, дружеская близость и ссоры: может быть, никакого, а может быть, очень важное. В день после получения трагического известия перед тобой проносится череда перемешанных в хронологии бликов, все, что осталось.

Я знал Володю Максимова едва ли не тридцать пять лет. Отношения наши были неровными, от тесной дружбы до ледяной недоговоренности. Я сейчас испытываю горечь огромной утраты. Мелькают блики, которые я жалко пытаюсь организовать в прошедшем времени.

Вот мы идем вдвоем по обледеневшей московской улице на какой-то, как всегда спонтанный, бурный пир молодых писателей. Вот мы в Ниде, на пробежке вдоль пляжа, острым по адресу германских социал-демократов. Вот мы, он с Таней, а я с Майей, стоим со свечками в маленькой церкви, зная, что за спиной толкнутся “богомольцы” из гэбэ. Вот мы встречаемся тайно в Западном Берлине, сидим в темном кафе вместе с Галичем, Гладилиным, Агурским, Неизвестным и Коржавиным. Вот мы с женой приезжаем на улицу Лористон, и он ведет нас под крышу, в новую редакцию “Континента”. Вот он председательствует на миланской встрече авторов журнала. И так далее, вплоть до последней встречи летом 1993 года в импозантном конференц-зале Российской Академии наук¹. Мне не нравится, что, а главное — как говорят он и его друзья, я выхожу из зала, но потом, в коридоре, мы обмениваемся шутками, делая вид, что не придаем своим разногласиям никакого значения...

Теперь, когда он так неожиданно для меня ушел из жизни, остается только корить себя за то, что недооставало темперамента обьясниться, да неловко стоять перед еще одной в череде пустот, из которых время выдувает земное тепло.

Вашингтон

Густав Герлинг–Грудзинский:

Я могу точно назвать время и место нашей первой встречи: ранняя осень 1974 года, вторая половина дня, второй этаж моего любимого парижского кафе “Клюни”. Наша беседа предназначалась для “Культуры”. Владимир Емельянович Максимов уехал из Москвы в феврале.

— Я выехал с одним гвоздем в голове: издавать журнал. Написал Солженицыну. Он ответил, и в письме были среди прочего такие слова: “Я думаю, Вам обязательно надо связаться с поляками из «Культуры»”.

Был создан “Континент”, и в международную редколлегию вошли три поляка: Юзеф Чапский, Ежи Гедройц и автор этих строк. Каждый раз, когда я

¹ Выступления В. Аксенова, В. Буковского, А. Зиновьева, Э. Лозанского и В. Максимова на конференции в РАН в июне 1993 г. см. в “Континенте” №77.

приезжал на месяц в Мезон-Лаффит, я навещал Максимова у него дома или в редакции на улице Лористон, в двух шагах от площади Этуаль и Триумфальной арки. Иногда мы бывали у него вдвоем, с Ежи Гедройцем. А однажды, помню, пришли “в полном составе”, втроем, по приглашению жившей у Максимова Елены Боннэр, жены Сахарова.

Мой русский собеседник в “Клюни” на вид был точно топором вырублен; простой, временами резкий, без всякой “интеллектуальной утонченности”, действительно “с одним гвоздем в голове”, насквозь проникнутый гневом к “отечеству мирового пролетариата” — он-то, выходец из рабочей семьи.

Когда я думаю о его раннем и радикальном разрыве с коммунизмом, мне вспоминается признание американского писателя, негра Ричарда Райта: “В молодости я принял коммунизм как причастие, но сразу выплюнул облатку, так отвратительна была она на вкус”.

Правая, изуродованная рука Максимова, которую он мне протянул, здороваясь, и которую трудно было пожать, кое-что говорила о его жизни. Он сам молчал о прошлом, но от наших общих русских знакомых я знал, что он был современным воплощением Горького, самоучкой и “босяком”, странствовавшим по России и жадно хватавшимся за все новые и новые занятия. Эти странствования позволили ему написать один из лучших русских послереволюционных романов “Семь дней творения”, который открыл неизвестную, “глухую” Россию.

В нашей беседе, которая была напечатана в октябрьском номере “Культуры”, и сегодня меня поражает финал — его ответ на мой вопрос об опыте первых дней жизни на Западе:

— Это, видите ли, так. Я с кем-нибудь разговариваю и мимоходом упоминаю, что сблизился с тем или иным кругом. Огорченный вид, лицо недовольно кривится: недостаточно левые. И не знает, бедняга, что в том кругу точно так же кривятся по его поводу. Сначала я сносил это терпеливо, но недавно взорвался: да решите же вы, наконец, *кто из вас левее!* И вся эта гонка за левизной идет под знаменем антифашизма, и чаще всего знать не хотят тождества, простого для меня, русского писателя, только что приехавшего из Москвы: коммунизм это — фашизм.

С такими взглядами он не мог быть в Париже героем даже одного сезона. И неудивительно, что его сторонились французские светочи ума, вскормленные на сартроидальных идиотизмах да философийках типа “Гуманизма и террора” Мерло-Понти. До конца он мог во всех случаях рассчитывать только на Ионеско. Памфлет, доконавший его в глазах французских “прогрессистов”, он назвал “Сага о носорогах”.

С соотечественниками было по-разному. Он избегал марксистской братии Медведева, Чалидзе, быстро поссорился с Синявским, связался с Некрасовым, Бродским, Геллером и Наташей Горбаневской, нежно любил Сахарова и его жену. Прежде же всего, особенно поначалу, Солженицына. Как Солженицын, — трудясь над бесконечными романами, — успевал писать огромные письма Максимову, останется тайной частного izolатора в Вермонте. Иногда мне случалось видеть эти письма, когда мы выпивали на Лористон. В одном была несколько безумная полемика с моим очерком “Егор и Иван Денисович”, напечатанным по-русски в “Континенте”. Как я мог, сокрушался великий писатель, сравнить чеховский Сахалин с советским ГУЛАГом? “Вот и вылез из него поляк”, — говорилось в конце письма. Мне вспомнилось, как после солженицынского “Письма вождям Советского Союза” один варшавский ли-

тератор торжествующе заявил в кафе: “А что я говорил? В конце концов вылез из него русский!” На что сидевший тут же за столиком Антоний Слонимский ответил: “А кто должен был вылезти? Голландец?”

“Континент” был хорошим, богатым и интересным журналом, и основатель журнала редактировал его твердой рукой. Я считаю, что “Континент” сыграл большую роль и среди русских эмигрантов, и в самой России, куда по капельке, но доходил. Его нельзя сравнить с “Культурой”, но с “Культурой” не сравнишь и “Сведецтви” Павла Тигрида, а все-таки каждый интеллигентный чех скажет, что парижский журнал Тигрида был важнее римских “Листов” Иржи Пеликана.

В последний раз я встретил Максимова на организованном им русско-французском симпозиуме в Париже. На прощальном коктейле он чокнулся со мной и, преодолевая природную сдержанность, шепнул мне почти на ухо: “Вы там, в “Культуре”, даже не знаете, скольким мы вам обязаны”.

Перескочу в ноябрь 1992-го. Максимов уже несколько раз съездил в Москву, перевел туда из Парижа “Континент”, передав его в руки своего друга Виноградова. По предложению Ежи Гедройца он дает Наташе Горбаневской интервью для “Культуры”. Сплошная чернота или “черное на черном” (позаимствую этот оборот у сицилийского писателя Леонардо Шаши). Россию под руководством Ельцина захватила шайка жуликов, невежд, мошенников; Россия — даже не на коленях, а лежит поваленная и парализованная. Бедная Наташа, которая так с ним дружит, так ему верна, пытается смягчить его суждения. С прямо противоположным результатом. По просьбе Ежи я написал краткое редакционное вступление, в какой-то степени отмежевываясь от интервью, подчеркивая нашу сдержанность по отношению к максимовской мрачной, пессимистической картине...

Три года спустя видно, как во многом был прав, хоть и с российским “надрывом”, разъяренный Максимов, полный отчаяния и горечи...

Париж

Наталья Горбаневская

**ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА МАКСИМОВА
НА РУССКОМ КЛАДБИЩЕ В СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ ДЕ БУА
30 марта 1995**

Дальние вздохи дождя ли, снега,
стон тормозов,
и жизни будущего века
праздничный зов.

Жестко постелено, да за гробом
сладко доспать,
метеослужб оголтелым угрозам
там не достать.

Ясная над Лесной Геновефой
голубизна,
подметено березовой веткой
небо без дна.

Париж

Так уж складывалась моя жизнь, что трагическая судьба большого русского писателя Владимира Емельяновича Максимова долгое время существовала где-то в отдалении, как бы вне меня. Хотя я читал его произведения, знал журнал "Континент", который собрал вокруг себя знаменитые имена, гонимые таланты. Но все это жило само по себе, как чужая боль, которая вызывает сочувствие и желание чем-то помочь, но не проникает в душу настолько, чтобы ты сам ощутил ее непрекращающееся мучение. И только когда я впервые переступил порог максимовского дома в Париже и увидел его суровое в своей беззащитности и скрытой доброте лицо, изучающий взгляд и недоумение улыбки, меня словно пронзило током. Будто не в дом я вошел, а во всю его жизнь, мудрую, раздерганную, нелегкую, во все его прожитые вдали от Родины годы. У Максимова мой приход с "того берега", который был тогда закрыт для него, вызывал и настороженность, и любопытство. Хотя на нашем берегу тоже светили огни, которые и видны были, и грели душу. И одним из них был журнал "Юность". Может быть, потому, что встретились два редактора, два человека, близких по духу, любивших отечественную литературу и посылно служивших ей, наша первая встреча имела продолжение и стала началом будущей дружбы. Мы напечатали в "Юности" интервью с В. Максимовым. Но это позже. А тогда я пригласил Владимира Емельяновича в Москву. Он не верил, что это возможно, потому что был изгнан из России и никто не собирался бросать в огонь его досье, где, как я потом узнал, было написано "Въезд запрещен". Но, слава Богу, времена, да и люди поменялись.

Я помню его первое выступление в ЦДЛ, где он не был много лет и где все до мелочи было ему знакомо по давним годам, и потому печально. Он и в зал-то смотрел с какой-то затаенной грустью, словно не встречался со своей молодостью, а прощался с ней. И многое узнавал он как бы заново и здесь, и на улицах, и в глазах своих старых товарищей. Поначалу изменения, которые происходили в стране, радовали его, вселяли надежду, что и он, как все эти новшества, будет необходим новой жизни. Он был возбужден, бегал поутру в киоск за газетами, активно выступал, горячился, откровенничал... Россия казалась ему каким-то фантастическим созданием, овеванным утренними лучами весеннего солнца. Но шло время, и свет постепенно мерк — в душе и вокруг. Потому что не происходило главного — освобождения человека от гнета "совковых" условий, от порабощения заботами и прежней обреченности духа.

Владимир Емельянович никогда не выступал против страны, хотя считался самым ярким антисоветчиком. Он самозабвенно любил Россию, но всю жизнь сражался против системы, искверковшей его судьбу и миллионы других судеб. Запад для него был вынужденным пристанищем. И он никогда не смирился с этим. В знаменитой "Сage о носорогах" он писал: "... для человека моего склада и моего характера первым, и пожалуй, самым мучительным испытанием на Западе явилось полное смещение спектра этических, эстетических и политических критериев... Оказывается, что в общем-то все можно и все дозволено. Можно черное назвать белым — и наоборот. Дозволено солгать и убить..." Приезжая в Россию, он все более убеждался в том, что и на родине происходит то же самое. Он мучился болями России, горько переживал расстрел Белого дома, а затем чеченские события, приспособленчество культуры и политику привилегированного хамства.

Помню, как на конференции деятелей Римского движения, одним из создателей которого был Максимов, после долгих заседаний и докладов мы собрались в отеле, чтобы просто пообщаться, поговорить по душам. И я слушал, как два русских писателя, два мудрых человека — Виктор Астафьев и Владимир Максимов прятали свою печаль о прожитой жизни в русских песнях. И до сих пор звучит во мне “То мое, мое сердечко стонет...” Странно, но прожившие столько лет на одной земле, они впервые встретились на чужой. Вскоре после этого вечера я написал Максиму стихи:

Господь нам завещал терпеть.
И не держать на сердце камень.
Пока бесспорна только смерть,
А жизнь по-прежнему лукавит.
И все ж спасибо за урок,
Что мы стыдливо извлекаем
Из ваших убиенных строк,
Уже забыв, а был ли Каин.

Он иногда звонил из Парижа и, забывая, что между нами не пара московских улиц, подолгу выговаривал, кипел, негодовал, переживая наши растущие неурядицы, бездарность политиков, кликушество некоторых своих коллег. Немного найдется у нас писателей, которые бы своей письменный стол смогли вынести на средину земли под безжалостные ветры времени. Он смог, потому что был человеком совести и чести. Бескомпромиссным, коллоцим в разговорах и в питье, справедливым до отчаяния. И как ему было обидно, что люди, разбужившие Россию, пожертвовавшие ради нее и своим благополучием, и здоровьем, и творчеством, в конце концов оказались не нужны этой новой России. Он мечтал вернуться, да некуда было — остались одни двери — войдешь и выйдешь. Еще в том своем первом интервью “Юности” он признавался, что в России его литературная судьба сложилась бы удачливее, но тогдашним властям угодно было ее сломать. А писателем он был первоклассным. Это признавали все. Уже позже, перечитывая “Семь дней творения” и готовя к печати в журнале “Юность” главы из романа “Заглянуть в бездну”, я вновь и вновь поражался его умению перевоплощать себя и свою жизнь в образы и сюжеты. Даже если то, о чем он рассказывал, случалось вдали от его судьбы.

В последнее время его огорчало все у нас. Он шумно удивлялся, что люди разучились слушать друг друга, и страдал от того, что человеческая непримиримость губит истину, поискам которой отдал много лет — можно сказать, всю жизнь. И жизнь эта оборвалась преждевременно и жестоко. Но как он жил мужественно, так и умер мужественно, преодолевая мучительную мысль об одиночестве, когда никто уже помочь не может. У меня хранятся его письма, стихи, которые он мне посвятил и которые мне бесконечно дороги, как знак нашей дружеской близости. Я часто снимаю с полки подписанные им книги, и тогда звучит в моей душе глуховатый родной голос человека, который призывал нас жить честно...

Услышит ли его Россия?

Москва

Фазиль Искандер:

С Владимиром Максимовым я познакомился в те давние времена, когда я жил и работал еще в Сухуми. Внезапно он появился в доме абхазского поэта Алексея Ласуриа. Володя подарил тогда мне свою первую и, кажется, последнюю книжку стихов.

Мы проговорили весь вечер — он оказался отличным собеседником. Я понял, что это человек умный, принципиальный и много думающий обо всем, что делается в нашей стране. Потом он исчез так же внезапно, как и появился.

Через много лет мы снова встретились в Москве. Теперь он был достаточно известным прозаиком, мучительно, с кровью прорывавшимся в печать. Многие страницы его нервной, задыхающейся прозы производили сильное впечатление.

Мы общались редко, но мне кажется, испытывали друг к другу азамную симпатию. Он был человеком страстным, увлекающимся. И говорят, нет человека, с которым он когда-либо не поссорился бы. Не знаю. Мы с ним никогда не ссорились. Может быть, дело в том, что мы жили в разных литературных мирах?

В эмиграции он создал лучший русскоязычный журнал “Континент”. Я никогда не подозревал в нем таланта организатора. Журнал этот, если удавалось его достать здесь, в России, мы тогда читали взахлеб. Впервые мою повесть “Кролики и удавы” он опубликовал в своем журнале еще во времена Брежнева.

Примерно год назад мы опять — достаточно случайно — встретились в Москве. Разговорились. И вот что удивительно: после моих сетований на то, что старые издательства рассыпались, а о новых я ничего не знаю, он тут же продиктовал мне адрес одного нового издательства, с которым я позже небезуспешно и связался. Делать добро было в его натуре. Я знаю, что и в эмиграции он многим помогал.

Когда стена, о которую все мы бились, рухнула, открылся такой хаос, какого никто из нас не ожидал. Его яростная натура этого не выдержала. Думаю — в этом причина его безвременной смерти. Уверен, что лучшие страницы его прозы навсегда останутся с нами.

Москва

Оливье Клеман:

Итак, “мальчик, изваянный ветром” (“Прощание из ниоткуда”), покинул нас. Теперь сквозь череду трагедий нашего века он приходит вновь, свидетельствуя о “Духе, который дышит, где хочет”, как говорит о Святом Духе — Утешителе Иисус в беседе с Никодимом.

Владимир Максимов сошел в ад вместе с Россией: “тюрьмы и пересылки, этапы и лагеря [...] в судьбе человека это, пожалуй, главное испытание (“Прощание...”)). Он прошел через ночную тьму, но в глубине этой ночи для него “твердо и торжествующе” зажглась “первая звезда” (“Заглянуть в бездну”). Поиски, страдания, разочарования молодости дали ему очень горькое знание о людях, почти манихейское — суровое, упрощенное представление о них. Со временем пришло сочувствие, он научился различать нюансы, его душа постепенно ожила, подобно бабочке, расправляющей крылья вне кокона, она “медленно продиралась к свету сквозь потемки страха и ненависти” (“Прощание...”)).

Тем не менее кажется, что вначале темное чувство отчаяния, от которого подчас спирает горло, переполняет его книги. Колчак представляет себе революцию и распад русского общества, как лавину, сметающую все на своем пути. “Русский бунт, бессмысленный и беспощадный”, — говорит он, цитируя Пушкина (“Заглянуть...”). Лакированное покрытие “цивилизации” трещит и исчезает, дремлющие в человеке исконные страх и ненависть пробуждаются и всплывают на поверхность истории, человек “на самом себе и отыгрывается” (“Ковчег для незваных”). Похоже, что он “восстал против самого себя” (“Заглянуть...”), против конечности своего бытия, преодолеть которую могло бы только его воскресение.

Воцаряется полное отчаяние, нигилизм в прямом смысле этого слова, приводящий частью к наркотикам — “приобщению к всеобщему забытию” (“Заглянуть...”), частью к желанию грандиозного коллективного самоубийства — изобретению бомбы, “чтобы от ее вся земля в мелкий распыл пошла” (“Ковчег...”). У тех, кто обладает даром рассудительности, создается ощущение вселенского заговора по дьявольскому наущению, — заговора буквально безумного человека: “против всех и самого себя” (“Заглянуть...”). Такое описание болезни справедливо не только для России, но и для всего современного человечества.

Так окончательный приговор Максимова, по-видимому, гласит: наступила необычайная “смена эпох”, и мы переживаем нечто вроде внутриисторического апокалипсиса. “А будет все новое, а какое, один Бог знает” (“Заглянуть...”). В этом по-русски диком или по-западному ватном хаосе писатель различает, однако, лучики света. Три из них представляются мне особенно важными. Первый — любовь мужчины и женщины, сохраняющая нечто первозданное, райское. Максимов сумел сказать о любви, о женщине, о зарождающемся в ее чреве дитяти с такой силой, с такой стыдливой простотой, которую теперь не встретишь ни у одного западного писателя.

Женщины “живут в другом мире”. Они не жалеют, они любят. Они порождают не смерть, но жизнь. В одном из прекрасных стихотворений в прозе, которыми Максимов усыпает свои романы, он описывает молодую женщину по имени Люба — Любовь (в смысле евангельского “агаре”). Легкая, сияющая, она бежит в высокой траве, внимательно вслушиваясь в то, что “потаенно вызревало в ней” (“Ковчег...”) ...

Даже не имеющие будущего, но благоговейные и страстные отношения с женщиной оставляют в мужчине “тихую и ясную к ней благодарность” (“Прощание...”). Настоящей же любви нужна вечность. “Заглянуть в бездну” — это история одной катастрофы, но это еще и рассказ о прекрасной любви. Александр Колчак говорит Анне: “Я Вас люблю и даже больше”. Это “даже больше” преодолевает границы времени в “полной душевной близости”. Кочуя по тюрьмам, Анна на пятьдесят пять лет переживает своего возлюбленного, но душа Белого Адмирала “срослась” с ней и сопровождает ее на все “Голгофы”. В ее смертный час “Адмирал был у нее рядом, протягивая к ней руки. Она отдала ему свои. Они поплыли вместе, соединенные отныне благостно и навсегда”. Лучшее открытие вечности невозможно.

Мужская дружба более шатка, так как во время всеобщего крушения один остерегается другого и желает его смерти. Крестьянин, горячо принимающий и ухаживающий за изможденным Удальцовым (адъютантом Колчака), неожиданно пытается его убить.

Однако по-братски разделенный в голодное время паек представляет собою для Влада, героя “Прощания из ниоткуда” (то есть, очевидно, для самого

автора), его первое причащение тому, что он еще не умеет назвать Телом Христовым. “Ему еще тянуться и тянуться к своей Вере, еще искать и искать ее, но хлеб, однажды съеденный на двоих, уже не забудется никогда”.

Третий лучик света, ярко озаряющий книги Владимира Максимова, — это причастие человека силе и красоте земли, “великой влажной земле”, — “райской земле”, которую народное верование и даже русское богословие (я думаю, например, о софиологии) не переставали прославлять. “Ковчег для незваных” заканчивается цитатой из Книги Бытия в том месте, когда после потопа Бог устанавливает с людьми настоящую космическую связь. “Зеленый разлив картофельной ботвы” (“Заглянуть...”) посреди леса заставляет простодушного Егорычева, перемолотого жерновами гражданской войны, виювь ощутить себя человеком. Он “плодится и размножается” вместе со всем, что растет, дышит, увеличивается; огромная безмолвная сила проникает в него, и в нем становится хвалой. Петр, старший из братьев Лашковых в “Семи днях творения”, изнутри омытый светом, в первый раз вдруг в и д т лес и созерцает его как чудо. “Ель являла сейчас собою и ель и еще что-то другое, куда большее”. Отсылки в этом месте торопят одна другую: Адам, призванный называть все живое; “nepsis” — пробуждение, то основополагающее удивление существам и предметам, о котором говорят пустыnnики, или “theoria physike” — “видение природы” в Боге, которое они считают первым и необходимым этапом созерцания.

Так приобретают более четкую форму некоторые из “неисповедимых путей к тому огоньку”, сообщающие “Смысл и Надежду” (“Прощание...”). В молчании, перед лицом любви, смерти, дружбы, красоты открывается душевная глубина, возникает предчувствие того, д р у г о г о, что звучит как “четвертое измерение” (“Прощание...”). В конце “Семи дней творения” Петр Васильевич идет, держа на руках внука, и в этот миг он обретает “с каждым шагом [...] все большую уверенность в своей собственной и всего окружающего бесконечности и единстве”. Он чувствует жизнь, через его потомство поднимающуюся к Господу. В этот момент он “Знает и Верит”. Это последние слова книги сразу перед наступлением Седьмого Дня — Воскресения, о котором сказано только то, что это “день надежды и воскресения”.

Тема Христа, Креста искупительного, воскрешающего, а значит, источника прощения возникает и утверждается постоянно. Крест Христов сорастяжим с историей, через нее смутные человеческие страсти открываются воскресению. Постоянное мученичество Сына потрясает Отца, дающего смысл, надежду, прощение. Смертельный кубок, который Белый Адмирал “принимает со смирением и молитвой”, благодатью Креста становится чашей, откуда в бескрайнем изобилии струится жизнь мира. Навязчивая идея, что за все нужно “платить”, обращается в ничто перед бесплатностью благодати, ибо распятый за нас Бог делает так, что и мы “расплатились”. Отныне человек несет свое бремя не для того, чтобы “платить”, но “в дар Тому, Кто встретит тебя в конце твоего пути” (“Прощание...”). Общие причастие во время литургии воспеваются в “Семи днях творения”: “[...] едва только хор на клиросе затянул “Верую”, и она, вместе со всеми, подхватила молитву, как словно открылось второе дыхание; ощущение слитности, единства с теми, кто стоял рядом, подхватило ее и заполнило ей душу упоением и неизъяснимым покоем. Все страхи и сомнения [...] отодвинулись от нее. В эту минуту она казалась себе самой бесконечной и неуязвимой”.

В то же время Максимов восстает против того христианства, которое можно было бы назвать “идеологическим” и которое претендует на то, чтобы заключить Господа в формулы и обряды, объединить их в канонические рамки

Церкви; против тех, кто считает, что “только они на Господнем пиру званные гости” (“Семь дней...”). Христос ожидает неожиданных, может быть, даже неуместных сотрапезников. На ум приходит притча о брачном пире, на который Хозяин пира приглашает нищих, увечных, хромых, слепых, бродящих по дальним дорогам и распутьям, как добрых, так и злых, не желая ничего другого, как только видеть их сердца облаченными в праздничные одежды, одежды великой незаслуженной радости. Думаешь и о притче о суде из 25-й главы Евангелия от Матфея, в которой человек появляется как причастие Бога человеку. Многие, говорит Максимов, считают себя неверующими “и все же живут в Боге”. Через свои поступки, через действительную любовь их душа уже приобщена” (“Семь дней...”).

Таким образом ни для кого “никогда не поздно”. Ибо Бог — “Он в нас, Он всегда с нами, Он ждет и страждет за нас” (“Прощание...”).

Так без велеречивости, без мессианизма Владимир Максимов изобразил судьбу России. В наше время эта страна прошла через своего рода смерть. Но будучи “посолена” кровью и слезами, она стоит теперь на пороге долгого и трудного воскресения. В 1979 году в “Ковчеге для незваных” писатель отмечал: “Воскресение России наступит не сразу, не вдруг, такое громадное тело не может исцелиться мгновенно, но в конце концов она воспрянет...”

Свидетельство Владимира Максимова, которое я столь нескладно попытался передать, обращено не только к России, но и ко всем людям. Оно говорит нам, что наш Господь — это Бог безбожников и что все те, кто не считают себя призванными, на самом деле плывут на Ковчеге — огромном Ковчеге воскресения. Так прощание, посланное нам Максимовым, не из ниоткуда, а из глубины его гения и души, в действительности есть хвала Господу, отзывающаяся бесконечным эхом.

Париж

Наум Коржавин:

Раньше в таких случаях писали: “Смерть вырвала из наших рядов”. Не знаю, что такое “ряды”, но смерть не перестает делать свое дело — вырывает.

От нас ушел “в путь вся земля” талантливый и честный русский писатель Владимир Максимов. И немалое место, которое, несмотря на все свои справедливо раздражавшие многих политические резкости и преувеличения, он в нашей жизни и сознании занимал, опустело. И это чувствуют даже те, кто ему этих политических выпадов не прощал. Он был странным человеком, и его часто, особенно в последние годы “заносило” — даже в прямую несправедливость по отношению к людям. Такое сразу не прощается. К сожалению, часто, очень часто форма таких его высказываний заслоняла скрывавшееся за ней рациональное зерно — присущее ему всегда чувство политической реальности и ее перспектив, которые никогда на нашей памяти не были радужными, и обостренное чувство тревоги за судьбу страны. Заслоняло это и то, что, несмотря на все сложности своего характера, — а характер этот был не из легких — он всю жизнь оставался добрым и сострадательным человеком. Для меня, знавшего его и дружившего с ним в течение почти 40 лет — в разных ситуациях в России и эмиграции, — это было очевидно всегда. Даже в тех отнюдь не редких случаях, когда я с ним ожесточенно спорил.

Именно это в нем и было главным. И сегодня, когда его больше нет, не только в Москве, но и Париже, — только это главное и остается от незаурядного человека с его трудной судьбой. Трудной, ибо не всю ведь свою жизнь он прожил на rue Lauriston возле Триумфальной арки. Прошли по его семье и 37-й год, и война, были безотцовщина, детколония, лагерь. Да ведь и его открытое противостояние властям в 1972—1974 годах могли иметь и не столь относительно благоприятный исход. Да ведь и создать “Континент” было совсем не просто. Надо было добыть средства, а это требовало дипломатической выдержки, такта, умения ориентироваться в абсолютно незнакомой обстановке. Вот его шутка 1974 года: “Помни, такой свободой слова, какой мы пользовались в России, мы здесь пользоваться не будем”. Потом, когда дело пошло, ему многие в эмиграции завидовали. Но это потом. Впрочем, и потом вести “Континент” было совсем не просто. И в моральном отношении, и, поскольку у нас был поначалу только один журнал, то все на него претендовали (иногда только на том основании, что их дома не печатали), и от всех надо было отбиваться. Короче, его путь и на пике успеха не был усыпан розами. Но он служил — делал очень нужное и важное для России дело. Во все годы “застоя” этот журнал при всех своих неизбежных недостатках был флагманом свободной русской прессы. В нем при всей определенности и даже жесткости личных взглядов главного редактора имели возможность высказаться не только те, кто был согласен с религиозной и антисоциалистической линией журнала. Не допускал он только двух вещей — во-первых, поношения России и русского народа как средоточия пороков и единственного виновника всех бед человечества в XX веке. Во-вторых, всех видов шовинизма, в том числе и антисемитизма.

После смерти человека остается главное, что он сделал. От Владимира Максимова останется многое и в его творчестве, и в его организационной деятельности, и в памяти друзей. Прощай, Володя! Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего.

Бостон

Юлий Крелин:

Счастливы, говорим мы, те, кто уходит из жизни, выполнив свое главное предназначение. Но это по нашим, людским, да еще и сторонним впечатлениям. Мы не знаем, что реально чувствует тот, кто, как нам кажется, исполнил миссию, возложенную на него Богом — или роком. Да и неведомо нам — ту ли миссию возложили на него силы неисповедимые?

По нашим... по моим представлениям, его, Володи, великое начинание, счастливо и удачно им завершленное, был журнал “Континент” — вольный русский журнал, когда на русской культуре — в границах родной земли — лежал тяжелей пресс тотального запрещения и держимордства.

Здесь, все вместе, мы горевали, возмущались, толкли слово в ступе. Володя же, уехав, не стал только горевать и сотрясать воздух московским кухонным негодованием, как лишь на это, например, доставало сил у меня. Володя боролся данным ему от Бога оружием — писательским словом и даром организатора, издателя, редактора. Он создал центр вольной печати третьей русской эмиграции, центр вольной русской культуры, центр помощи выкинутым из родной земли. Может, он не считал это главным своим предназначением,

может, сам он считал более важным свое творчество. Но я низко кланяюсь ему более всего за свет, который зривался к нам из Парижа благодаря его журналу.

Под прессом жизнь имеет черно-белую окраску. Придавленные мыслят, в основном, на уровне “за” или “против”, “да” или “нет”. Красочность, разномыслие проявляются лишь тогда, когда свобода — хотя бы чуть — освобождает руки от цепей, мысли — от сковывающего ограничителя. Невзгоды сплавляют людей. Когда всем плохо — все вместе. Победы, радостные события — разобщают. Те, что делали революции во Франции ли, в России, победив, разбежались врагами. Союзники в последней большой войне начали войну холодную, не менее тяжкую по последствиям для нашей державы. Поэтому, может быть, не совсем правильна максима, порой звучащая словно аксиома: друг познается в беде. Друг познается и в радости, и в счастье — на горе всегда набегут. Плакать или бороться вместе легче, чем радоваться. Даже если вспомнить совместное письмо Максимова, Синявского и Егидеса.

Я помню венчание Володи с Таней. Служил отец Дмитрий Дудко, в церкви стояли рядом Коржавин, Шафаревич, Феликс Светов, Шифферс, Крахмальникова... Все были, вроде, единомышленники. Где сейчас прежнее единение и согласие? Наступила полоса радости, эйфории, и все разбежались по своим идеологическим околоткам.

Володя приехал в Москву с мечтой объединить всех опять. Благая мечта. Наверное, издалека что-то ему было виднее, но многое и терялось от расстояния во времени и пространстве. И благая неосуществленная (а может, просто неосуществимая?) мечта разорвала его организм, преодолевший и лагеря, и эмиграцию, и голод, и тяжелую многолетнюю болезнь, почти профессиональную для многих российских представителей культуры... Пусть психологи истории подумают об этой частой российской беде. Разорванный организм — это когда с последней болезнью не справляется уже ни сам больной, ни врачи, пытавшиеся сделать все. Его оперировали, его сковали корсетом. Он продолжал — уже тяжким, скованным больным — ездить по встречам и конгрессам ради своей сокровенной и, наверно, все-таки несбыточной на сегодня мечты.

Миссия его на земле, по-видимому, завершилась — он помог разрушить коммунизм, он способствовал падению тоталитаризма. А вот объединить российских людей до приемлемого цивилизованного согласия-разногласия, видимо, надлежит другому — не из нашего поколения. Уход Володи — это продолжающееся прощание уходящего поколения.

Володя часто не соглашался с друзьями, спорил — и не всегда в корректных формах. Но всегда со страстью человека, любящего свою землю, культуру, державу. Всегда — с абсолютной искренностью, честностью и порядочностью, без тени бесчеловечности и мракобесия. Помню, как мы сидели с ним в фойе ЦДЛ и о чем-то мирно беседовали. И дернуло меня за язык произнести, просто так, в воздух, вполне демократическую догму: что единогласие при выборах дурно пахнет. Абстрактно он буркнул нечто согласное. Но потом я сказал, что единогласное избрание Никсона кандидатом в президенты от Республиканской партии пахнет также дурно.

Какой взрыв негодования обрушился на меня! Несмотря на то, что мы находились в месте, наиболее опасном для вольных диспутов, Володя, не стараясь умерить свои голосовые возможности, стал и кричать, и размахивать руками и, по-моему, даже топтать на меня ногами, максимально привлекая тем самым внимание всех нуждавшихся в фискальном материале. “Когда мир понял, наконец, — бушевал Володя, — какая опасность нависла над ним в виде

коммунистической чумы, когда коммунисты все больше разрушают Божий порядок в разных частях света, когда люди, став локтем к локтю, все дружно подняли руки за настоящего защитника планеты от порчи, ты смеешь говорить о какой-то опасности единогласия”.

Видя его в таком состоянии, спорить я не стал. К тому же, думаю, в спорах истина не рождается — скорее гибнет. Да наконец, одолел меня и просто перепуг от внимательных взглядов иных насторожившихся коллег по перу и прочей цедезловской публики, окончательно пресекая всякое мое поползновение к ответу. Дискуссия угасла, и мы пошли пить кофе...

Вот и сейчас, когда он бурно не принимал порою многое из того, что мне кажется вполне приемлемым, грубо не соглашаться с ним, думается, все же нельзя было. Ибо не политиканство — любовь двигала им. И даже толкала к ссорам со своими бывшими друзьями и единомышленниками. Впрочем, и ссор-то не было.

Да, счастлив тот, кто ушел, завершив свою миссию в этом мире. Счастлив и тот, кто, завершив миссию свою и своего поколения, не соблазнился встать в позу пророка, чтобы вещать и поучать новое поколение, не чувствуя, что оно живет уже в совсем ином понимании, в иных границах и критериях различения тьмы и света. Наше поколение уже ушло из действующих, хотя мы и продолжаем еще физически существовать.

Уход Володи — окончание очень существенной главы книги, написанной нашим поколением.

Одной из последних глав.

Москва

Эдуард Кузнецов:

— Слушай, там это В. совсем загибается, а операция где-то тысяч 50.

— Ваших франков? — спрашиваю.

— Если бы!.. Долларов!.. Надо бы как-то собрать. Чего-то я тут наскребу, что-то в Америке соберут... Ты не мог бы через свою газету обратиться?

— Можно. А ты чего, помирился с ним?

— С какой стати?! Тут я еще кое-что узнал про него. Оказывается, он, тварь, еще в 75-м... В общем, вот он очухается, я уж ему выдам по мордасам! Так напечатаешь, значит, обращение? Номер счета, куда деньги пересылать, отфаксую сегодня же.

Очень непростой он был, Владимир-то Емельянович. То сама куртуазность, высокий штиль, то рубаха-парень, с шуточками-прибауточками, с матерком да с хохотом залившимся, то брюзга, язва, мрачнее всякой тучи... Всякий он был. Трудный. Весь из углов, обид, претензий... А уж как врагов умел плодить! Что ни шаг, бывало, что ни слово — глядишь, уже дым коромыслом. И пошло-поехало...

В иные его разборки аж целые континенты втягивались. Случались и вздорные поводы, но куда чаще по делу. Из-за горячечной его приверженности высоким принципам, из-за яростного неприятия лукавых, хитромудрых, вяляющих...

Но и какой бы закланной ни была вражда, стоило его очередному недругу всего лишь намекнуть на желание примириться или едва начинало маячить на горизонте некое общее дело, как Максимов забывал — пусть и на время — о всех своих претензиях и обидах, вчера еще казавшихся смертельными.

А уж “помогательней” его я вообще никого не встречал. Всем — от приبلудного забулдыги до брата-писателя. Наверное, и месяца не случалось, чтобы он не звонил мне в Иерусалим: тому помочь с работой, другому статейку или книгу пристроить, собрать денег на лечение... И не просто звонил. Названивал. Требовал, кипятился... Горяч был во всем. Очень. Я его Шум-и-Ярость звал. А надо было еще и — Милосердие.

Иерусалим

Эдуард Лозанский:

Сейчас, когда прошло уже два месяца, как ушел в другой и, надеюсь, лучший мир Владимир Максимов, я начинаю осознавать всю масштабность этой утраты и для себя лично, и для той, достаточно большой, группы его друзей и единомышленников, что собрались вокруг журнала “Континент”, и, в конечном счете, для страны, которая его отвергла, затем приняла вместе с журналом, обласкав почестями и наградами, и наконец, снова отвергла, увидев, что он критикует новый порядок с неменьшей яростью, чем предыдущий. Уж больно неудобным, неуправляемым человеком был Владимир Емельянович. И была у него страстная любовь к этой стране (видимо, нелегко было красавице-жене делить его любовь), доводившая его иногда до иступления, обычно и являвшаяся прямой или косвенной причиной появления многочисленных его врагов и недоброжелателей...

И вот в моей квартире перестал раздаваться еженедельный ранний утренний звонок из Парижа. У Максимова уже день близится к концу, много новостей, идей, проектов. Сначала вывалит весь накопившийся гнев на правительство, до 1991 года на советское, а после на российское. Впрочем, доставалось и украинскому, и грузинскому, и казахскому. Я, еще не до конца проснувшись, пытаюсь что-то вставить в защиту молодой российской демократии. В ответ еще более яростные выпады против недобитых коммунистов, в одночасье прекрасившихся в демократов. Чтобы перевести разговор в более практическое русло, я задавал сакраментальный вопрос: “Так что же мы будем по этому поводу делать?” Максимов успокаивался, эмоции уже выплеснулись, начинался деловой разговор — издательские дела, конференции, встречи, поездки. И тут открывались его совершенно уникальные организаторские таланты. Много ли вы найдете в России писателей или поэтов, которые встают рано утром и идут на работу? В нашем представлении пишущая братия в это время только ложится спать после очередной попойки. Максимов же приходил раньше всех в офис “Континента” и “Интернационала Сопротивления” на 102, rue Champs De Elysees, наводил ужас на сотрудников, опоздавших хоть на минуту, шумел, требовал, иногда матерком поливал, но дело делалось. После ланча звонок в Вашингтон:

— Эдик, передайте своим сраным американцам, что пусть не надеются — Россию поставить на колени им не удастся.

— Володя, помилуй Бог, это же прежде всего в интересах Америки видеть в России сильного надежного союзника как в сорок пятом, посмотрите на геополитическую карту мира. Без сильной России они не справятся, в мире не будет порядка.

— Эдик, Вы очень наивны, зачем Америке еще один мощный соперник? Посмотрите, как их бесят японцы.

— Володя, дай Бог, чтобы у России и Америки были только экономические разногласия, обратите внимание — во время войны в Ираке японцы безоговорочно выступили вместе с США, хотя это противоречило их нефтяным интересам.

Мои аргументы не убеждали Максимова, он был уверен, что окружающий мир враждебен России и желает видеть ее слабой и немощной, а нынешнее руководство заботится лишь о своих личных интересах и не в состоянии отстаивать интересы державы.

— Нам нужна ежедневная газета или хотя бы еженедельник, — названивал мне Максимов из Парижа. — “Континент” сыграл свою историческую роль, к тому же это литературный журнал, а нам нужен новый политический орган, куда придет работать талантливая молодежь с новыми идеями, новым видением мира. Короче, нужны деньги, давайте думать, где их взять.

Он знал, что я никогда ему ни в чем не мог отказать, но он не злоупотреблял этим и просил только в тех случаях, когда другого выхода не было. Чаще всего он просил деньги на операцию или лечение братьев по перу, многие из которых были его откровенными недоброжелателями. Я старался, как мог, выполнять его просьбы, не всегда это удавалось. Максимов проявлял незаурядную настойчивость, телефон звонил утром, как часы, и, в результате, многие задуманные им проекты получались.

В последние месяцы он все чаще повторял, что не стоило бороться с коммунизмом, чтобы получить то, что мы имеем сейчас. Я с ним категорически не соглашался, упрекал, что в этом вопросе он поддается влиянию Зиновьева. Максимов вроде соглашался с доводами, что демократия не может возникнуть в одночасье, нужна огромная терпеливая работа, особенно с молодежью. Однако продолжал писать резкие заметки о нынешнем режиме и печатать их... в “Правде”.

Поистине, такое возможно только в России.

Начиная с осени прошлого года, ему приходилось все время массировать плечо и спину, чтобы ослабить постоянную боль. Мы-то думали, что это ревматизм или радикулит, предлагали разные мази, змеиные яды, а оказалась страшная болезнь.

Не знаю, кто еще так иступленно и страстно переживал за свою страну, как Володя Максимов. Он дожил до победы идей “Континента” над коммунизмом и прочими левыми и познал счастье триумфального возвращения на родину. Пережить тот факт, что плодами этой победы воспользовались бывшие партийные боссы, он не смог. Континентовцы потеряли своего друга и лидера, Россия — своего преданного и бескорыстно любящего сына.

Вашингтон

Эрист Неизвестный:

О Владимире Максимове — писателе, редакторе и общественном деятеле. — много писали, пишут и будут писать. Наша с Володей дружба была многолетней и интимной. Для многих он был личностью, полной противоречий. Вероятно потому, что знали его, как слепые знают слона — фрагментарно, не совмещая деталей в общий образ. Я же знал его цельным. Темперамент и сдержанность, милосердие и беспощадная ирония, романтическая сентиментальность и сухость выдавшего виды реалиста — все это и есть для меня единое целое одного образа — моего друга Володи.

У нас бывали (увы!) большие загулы... Мы много работали, как тогда говорили, “в стол”. Естественно — денег было мало. Основным источником, подпитывавшим наше бегство от реальности, было наживание новых долгов, которые, как мы считали, полагалось отдавать, а также продажа и заклад всяческих предметов домашней утвари. Утварь, конечно же, быстро уплывала, ее, говоря строго, с самого начала было негусто. В конце концов избавились от всего. Из ценностей остались только наши бессмертные души, которые мы решили оставить при себе, несмотря на поступавшие предложения и заинтересованность со стороны государственного дьявола. Собственно говоря, и пили мы именно для того, чтобы, оставаясь умными, не становиться разумными и избежать позитивизма. Итак, оставив однажды квартиру девственно пустой и даже не закрыв за собой дверь (а что было охранять?), мы погледели в поисках счастья с твердой верой, что “голь на выдумки хитра”. Мучительно хотелось опохмелиться... Как известно, в такие напряженные моменты порой приходят гениальные идеи. Вот и Володя неожиданно воскликнул: “Эврика!” — “Что-что?” — спросил я. — “Дверь!!!” Мы помчались назад; дружно работая, мы сняли дверь с петель и тут же, не торгуясь, пустили ее в оборот вместе с врезанными в нее замками, превратив, как алхимики, дерево и железо в живительную влагу.

Частенько мы мечтали о том счастливом времени, когда мы сможем вырваться из позорной бедности. Володя даже придумал рассказ из нашей будущей “изящной жизни”. И вот мы оказались в Риге, где я тогда выполнял мой первый за многие годы заказ. У меня появились сказочные, по тогдашним нашим понятиям, деньги, и я решил претворить мечту в жизнь. Я задумал праздник для друга, превосходящий по своему размаху его непечатные литературные грезы. Увы! И с полными карманами денег не смогли мы в социалистической Риге попасть ни в один ресторан. Всюду стояли очереди. Чувствовалось, что и латышский социализм вступает в свою заключительную стадию, и деньги будут вот-вот отменены. Важный швейцар кое-кого пропускал по какому-то таинственному списку. Мы пытались соблазнить его, но у нас он не брал и становился все более обиженно грубым. Мы сперва решили, что наша беда в происхождении — не местном, но, приглядевшись, поняли, что ошиблись: через дверь, выдыхавшую упоительно-недоступные запахи пищи и вин, шум сытых голосов и звуки разнузданной музыки, просачивался отнюдь не нордический люд, а типажи с яркой персидской внешностью. Мы осознали, что действительно ничего не понимаем, несмотря на нашу бывалость, и что мы действительно здесь не свои, но в каком-то ином, таинственном и высшем смысле. Два пристыженных Калифа, мы отступили от волшебной двери.

— Что ж, от судьбы не убежишь, — мрачно сказал Володя, — купим колбасы, сядем в парке, и, если повезет, местные еврейки изобразят нам цыганок.

Но северный дождь и холод прихлопнули и этот второй, хотя и более реальный план. В конце концов было решено на поезде поехать за город в надежде, что там, в провинции, в ресторан попасть будет легче. Так оно и случилось: где-то у Дубултов в небольшом ресторанчике мы уютно надрались под знаменитого прибалтийского угля. Надрался, правда, в основном я. Володя в этот раз был ведущим, т.е. менее пьяным. Так уж у нас всегда получалось: если надирался он, я почему-то был менее пьян, и наоборот.

Мы добрались до пустынной станции. Оставив меня на платформе, Володя пошел посмотреть расписание ночных поездов. Я нетвердо стоял, ярко освещенный во всей красе вокзальным фонарем. Появившийся, как тать в ночи, милиционер заинтересовался явно пьяным и одиноким мной. Крепко взяв меня под руку, он, видимо, уже намеревался вести меня в участок, но обстоятельства ему помешали: из станционного далека, как живое ядро, как комок стремительной энергии, по пустынному перрону, похожий на разъяренного ежа, мчался Владимир Емельянович, вытянув руку вперед в характерном жесте пальчиков “шары-пешки повтыкиваю”. Ни на секунду не замедляя бега, он врзался в оторопевшего огромного милиционера, заграбастал меня под руки, и с криком “рвем когти!” мы бросились бежать... и убежали. Как мы добрались до циркового общежития в Риге, где я жил, — это уже другая история или одиссея.

Прием в Западном Берлине. Важные господа и дамы. В основном — крайние реакционеры, какими тогда считались христианские демократы по шкале оценок либералов. Аксель Шпрингер — наиболее весомая среди них для нас, членов редколлегии “Континента”, фигура, так как он потенциальный спонсор издания. По просьбе Владимира Емельяновича, Галич и я обхаживаем Шпрингера. Все наше красноречие пущено в ход. Нужно сказать, что по-немецки Саша говорил, как Геббельс. Мне временами казалось, что общество, воспламененное его красноречием, вот-вот закричит: “Зиг Хайль!” Конечно, это были только сумрачные видения бывшего солдата. Он очаровывал слушающих. Я тоже хотел очаровать, особенно Шпрингера, но мой немецкий для этого не годился, и любезный и добрый Галич время от времени выступал в качестве моего переводчика. И вот настал момент уступить беговую дорожку главному редактору. Я отошел, предоставив Володе завершить начатое, Галич же, естественно, остался переводить, так как наш главный, любя русский язык, не хотел “изменять ему с какими-то иностранными”.

С балкона, где я расположился, зал походил на огромный пестрый благоухающий цветок. Подвижные разноцветные лепестки его, образованные группами разряженных господ и дам, кольцеобразно обрамляли центр из двух пестиков — Акселя Шпрингера и Владимира Максимова. Пестик-Максимов бесспорно перетягивал внимание на себя. Откинувшись на спинку кресла, Владимир Емельянович сидел прямо, маленький и важный, с убедительным, как у Будды, брюшком. Он что-то (мне издалека не было слышно) говорил, подчеркивая слова несуетливыми жестами слегка покалеченной руки, а высокие и статные немцы стояли, склонившись над ним. Аксель Шпрингер, подавшись вперед, внимательно слушал сурового и значительного собеседника. Не будь известно, кто был кто на этом приеме: кто газетный король — мультимиллионер Шпрингер, а кто редактор безвестного тогда “Континента” эмигрант Максимов, — с уверенностью можно было бы сказать, что Максимов и есть Шпрингер.

“Ты ли это еще совсем недавно продал дверь с двумя замками? Ты ли в Богом забытой дыре “рвал когти” с другом на глазах у остолбеневшего милиционера-латыша? — думал я. — Да, именно ты, многоликий друг мой. Мы, несмотря ни на что, живы, Володя! Еще не вечер...”

Каждый раз, когда Максимов приезжал в Нью-Йорк, он останавливался в моей мастерской. Володя был идеальным гостем: не требующим внимания и не навязчивым. Зная его страх перед пустым холодильником, наработанный многолетними голодовками, я набивал закрома до отказа всякой снедью. Готовил он сам, никак не мешая моему установившемуся распорядку. Пишущее братство Нью-Йорка, однако, закипало в дни его приезда, доходя до безумия: телефон звонил безумолку, в дверь лезли толпы писателей и графоманов — хоть пулемет выставляй. Напечататься в “Континенте” было весьма престижно, но дело было не только в этом — мы платили невиданный в русских изданиях полноценный гонорар, который и по западным понятиям был весьма жирным. Естественно, что от литераторов, сидящих на Велфере, отбиться было практически невозможно. Да главный редактор и не отбивался. Он внимательно слушал, читал и правил — только лицо его становилось все суровее, серее и грустнее.

В одно из таких нашествий, когда все, что находилось в холодильнике, было выпито и съедено, интонации посетителей-просителей из вежливо-заискивающих превратились в нагло-поучительные:

— Вы, Владимир Емельянович, не знаете Америки и Запада вообще. Так здесь не поступают. Да и откуда же Вам знать?

— Ты же, Володя, ни на одном иностранном языке не говоришь...

— Это Вам не Совдепия!

И т.д. и т.п., и все наглей и наглей.

“Как жаль, — думал я, — что снял я мой плакат, висевший здесь два с лишним года: “Здесь советов не дают...””

Максимов, сидевший со скучающим лицом во главе стола, в течение всего вечера не проронил ни слова, а шквал поучений и нравочений накатывался по нарастающему крещендо. И когда, казалось, вот-вот уже должен был достичь своей постыдной кульминации, на усталом лице главного редактора заглялись веселые, иронично-разбойничьи глаза:

— Минуточку, господа писатели, — тихо начал он. — Если я такой неумелый, такой неразвитый, почему же вы пришли ко мне с просьбами, а не я к вам? Почему бы вам не открыть свой журнал? Ах, денег нет? Вам не дают? А почему мне дают? Вы говорите: потому что я большой и талантливый писатель... Полноте! Я-то знаю, что в действительности вы думаете, да и говорите обо мне — вы меня не только талантливым, а и просто писателем не считаете. Вы и меня за эти годы почти убедили в этом. В чем же дело? В чем? Молчите? Тогда я скажу! Никогда у вас ничего не получится и никто вам ничего не доверит! А мне всегда доверятся и доверят по простой причине: вы очень глупы, а я умнее!..

Я ни разу не воспользовался правом члена редколлегии “Континента” публиковать в нем какие-либо материалы, заботясь о собственном спокойствии. Исключением стал один случай, когда из личного уважения к Вячеславу Завалишину я решил переслать в редакцию представленную им критическую статью о деятельности главного редактора “Русской мысли” г-жи Зинаиды Шаховской. Я позвонил Максимова, еще не читая текста, с просьбой напечатать материал. Узнав фамилию автора, Володя сказал: “Конечно, напечатаем.

Он хороший и заслуженный литератор. Только посмотри, пожалуйста, текст. Я знаю, у тебя нет времени, но ты уж посмотри. Я боюсь, что это может быть очень остро и критично. Он знает, что я в большой ссоре с Шаховской, мы даже не разговариваем. Ты посмотри: если текст положительный — напечатаем, если же зол — нет... Понимаешь, старуха здорово больна... не хотелось бы ранить”.

И сегодня я органично чувствую абсолютную реальность нашего “мы”, когда думаю о Володе. Некоторые связи — вне времени и вне обстоятельств. Цельность видения и настоящее понимание посещают нас, когда мы безвозвратно теряем. Я думаю, что главной целью моего друга был сам человек, его достоинство и право, а, следовательно, единственная возможная позиция в прошлой и современной России, которую он мог бы органично занять, — это извечная оппозиция. Извечная оппозиция к любой форме насилия, — как со стороны победителей, так и со стороны побежденных. Мнимые противоречия и непоследовательность его мнений по отношению к людям и событиям как раз и были признаком целостности его характера — признаком русского интеллигента нашего сложного времени, христианина и патриота.

Нью-Йорк

Жорж Нива:

Живому писателю не скажешь: Владимир Емельянович! Вы для меня не автор последней (или предпоследней) Вашей книги. Для меня Вы навсегда автор великого текста, первого Вашего романа “Семь дней творения”, в котором есть и просто уже незабываемый маленький шедевр “Двор посреди неба”. Так не скажешь, потому что писатель, пока он жив, всегда надеется создать нечто еще более значительное, чем его уже написанная лучшая вещь. Ведь он весь еще не высказался, и оставшееся на дне души его еще мучает. Он мучается — значит он жив. А для писателя ушедшего начинается уже совершенно другая жизнь в памяти его читателей — и настоящих, и будущих.

Лиризм Максимова всегда мучительно сочетался с отчаянием, с глубинным экзистенциальным недовольством. Двор, где живут столь разные, всегда живые, нежно-грубые персонажи Максимова, — это именно ДВОР ПОСРЕДИ НЕБА. Крик, гам, нечистоты, гадости, несправедливости человеческого двора заполняют кадры максимовского экрана. Это не “Человеческая комедия” Бальзака, это нечто, чего не знал Бальзак, не знал его век. Это — человеческая коммуналка, теснота, зависть, малодушие, некая всеобщая “смердяковщина”, захлестнувшая Россию. Это жестокий “социум”, по которому продвигаешься, лишь работая локтями. А вместе с тем “небо”, вторжение космоса в замкнутый и душный мир “двора” придает эпическое измерение максимовским фабулам. Сочетание жестокого, почти натуралистически фиксируемого быта с дуновением иного мира, рождающего и лиризм, и пафос автора, — это именно печать максимовского стиля, максимовского письма.

В “Прощании из ниоткуда” пафос растет — и будет расти во всех последующих произведениях Максимова до гипертрофированности, до невыносимости. Но этот — почти уже барочный — пафос был прирожденной самозащитой нежной и, судя по всему, страшно уязвимой души писателя.

Бывший детдомовец, беспризорник скрывал экзистенциальную рану, рану неизлечимую, под корой грубости и неистовости, под пышностью своей барочной поэзии.

Максимов стал диссидентом, эмигрантом, председателем “Интернационала диссидентства”. Я помню его страстные выступления в Милане, в Венеции, в Париже. Я помню резкие перемены настроения, порой болезненную заботу, порой вызывающую гордыню и ярость. Как издатель “Континента” он играл, несмотря на все раздоры, роль “отца” новой эмиграции. И не злоупотреблял своей “властью”, а напротив — многим помогал.

Освобождение России от коммунизма оставило его, как мне кажется, беззащитным. Он отчаивался, видя погружение страны в некий моральный хаос. Он ожесточался, часто проклинал. И можно было это понять, даже не разделяя его приговоры и диагнозы. Я их часто не разделял. Но я всегда помнил и “Двор посреди неба”, и ту жуткую силу, которая отдирала жителей двора друг от друга и заставляла их “уходить в себя, в свою тоску”...

Женева

Витторио Страда:

Скончавшийся недавно в Париже Владимир Максимов занимает в русской литературе место, которое определяется и будет определяться по-разному — как это постоянно и происходит в зависимости от изменчивых критериев оценки. Но уже сегодня в издаваемой Фаяром и Эйнаути “Истории русской литературы” ему отведена отдельная глава, написанная Михаилом Геллером, уравновешенно анализирующим его творчество.

Но говорить о Владимире Максимове сейчас надо не как о писателе, а как о человеке и общественном деятеле. Особенно это касается тех, кто, как автор этих строк, был с ним знаком и сотрудничал, хотя бы умеренно, с “Континентом” в качестве автора и члена редакционного совета.

Как личность Максимов фигура не менее спорная, чем его книги: это был трудный, колючий и жесткий человек (я имею в виду не себя, так как наши с ним отношения всегда были корректными и равными, а других — например, Виктора Некрасова, разошедшегося с Максимовым), что объясняется тяжелым и противоречивым опытом его жизни и неистовой и властной энергией его натуры.

Впервые я услышал о Максимове в 60-х годах от Всеволода Кочетова, который говорил о нем с жаром, противопоставляя его Солженицыну. В то время Максимов, обративший на себя внимание своим писательским талантом, был действительно близок к “Октябрю”. Факт парадоксальный для биографии человека, который всего через несколько лет станет одним из главных диссидентов и борцов сопротивления коммунистическому тоталитаризму. Но у этого парадокса — своя логика, и вспоминать об этом надо не для того, чтобы упрекать Максимова его более или менее ортодоксальным прошлым, как полемически поступают его противники, а чтобы понять сложность его судьбы, оказавшейся подобной судьбам многих и многих других русских писателей и интеллигентов, которых тупость коммунистических властей вынудила лишь в определенный момент раскрыть глаза и вытолкнула иногда почти против их воли в оппозицию. Так было и с Максимовым, оказавшимся в 1974 году перед выбором — после публикации на Западе его романов “Семь дней творения” и “Карантин”: или встать перед властью на колени, причем без всякой уверен-

ности, что это хоть чему-то послужит, или с семьей оставить страну. Он выбрал второе.

Запад предоставил Максиму все, что мог: прежде всего свободу и достаток. И возможность основать свой журнал — “Континент”, ставший главным журналом диссидентства.

Но Запад, особенно каким он был до краха коммунизма, к такому независимому человеку, как Максимов, не всегда был благосклонным. Первый конфликт возник у Максимова с “левой” или “прогрессивной” западной интеллигенцией, считавшей скандальным, что “Континент” пользуется поддержкой “правого” издателя Шпрингера. Вскоре оппозиция Максиму захватила и “демократическое” крыло советского диссидентства, причем в этой полемике к пережиткам советской “левизны” примешивались соперничество и личные амбиции.

В диссидентские годы я встречался в Париже с Максимовым, Виктором Некрасовым, с которым мы были дружны, Михаилом Геллером и некоторыми другими. Это была изгнанническая Россия в миниатюре, когда еще советская большая Россия для диссидентов и их соотечественников была запретной. Вместе с ними я участвовал в различных мероприятиях. Затем наступила благотворная катастрофа, главную роль в которой сыграл Михаил Горбачев, несмотря на свои куда менее благотворные намерения перестроить советскую систему, — дело, для которого его политические и интеллектуальные способности, к счастью, оказались неадекватными.

Тогда-то и началась драма диссидентства — явление пока еще не только не исследованное, но даже и просто не отмеченное. Здесь — начало драмы и Владимира Максимова.

В свое время Запад использовал, вполне закономерно, диссидентство в великой борьбе демократии с коммунизмом, не вдаваясь, однако, в природу, сложность, а также границы этого явления. Многие диссиденты не были готовы к освободительной в историческом смысле катастрофе, вызванной в их стране крахом коммунизма. Перед лицом молниеносной череды горестных и темных событий, последовавших в очень короткий промежуток времени, понятны растерянность, разочарование, отчаяние тех диссидентов, которые иногда вполне бы удовлетворились и гораздо меньшим — либерализацией (утопической) прежнего режима, а когда мечтали о его конце, то воображали, что переход к демократии гарантирован и осуществится быстро и безболезненно.

Максимов принадлежал к тем, кто неимоверно страдал, наблюдая обескураживающее зрелище своей потрясенной страны постсоветского периода. Страдал настолько, что считал свою жизнь конченной и бессмысленной. Но при жизни это состояние безнадежности и отчаяния вело не к отказу от публичных деклараций, а к целому ряду политических выступлений, в том числе и в “Правде”, охотно предоставляющей место подавленным экс-диссидентам, что не могло не вызвать у многих еще близких к нему людей недоумения и отталкивания.

Года полтора назад в один из своих частых наездов в Москву из Парижа или Брюсселя Максимов пригласил меня на обед в ресторан бывшего Союза писателей. Разговор был долгий и спокойный. Он смотрел на вещи трезво и с безнадежным отчаянием, я — с некоторой надеждой, понимая неизбежность смутной полосы, через которую предстоит пройти России, сознавая ответственность семи коммунистических вождей, от Ленина до Горбачева, за случившееся в стране. Это была еще теплая встреча. Сейчас я доволен, что с того раза

не виделся больше с Максимовым. Боюсь, что продолжавшаяся односторонняя радикализация его позиций могла бы испортить наши отношения.

Владимир Максимов остается в памяти как писатель исключительного жизненного опыта, проделавший в своей творческой траектории путь от Горького до Достоевского, воспринимавший жизнь с христианским драматизмом, как человек трудного, неуживчивого характера, добившийся обособленной независимости в эпоху стадности и конформизма, как человек среди “носорогов” и как человек, наделенный своими достоинствами и своими слабостями.

Венеция

Юлиу Эдлис:

Не мне трезво и с холодным рассудком судить о написанном Максимовым — для этого необходима дистанция не только во времени, но и во взаимоотношениях. Я же тридцать пять лет, больше половины жизни, дружил не с Максимовым-писателем, а — с Володей и любил его. Он был другом верным, искренним, открытым, и если была нужна его помощь или совет, звать не приходилось — он сам приходил. К тем, кого любил, он был добрым до нежности, щепетильным до застенчивости, часто наивным и незащищенным, хотя стороннему взгляду и нелегко было разглядеть эти его черты за колючестью характера, резкой прямоотой и категоричностью суждений, за взрывающейся порохов — но и быстро отходящей — вспыльчивостью. Дружить с ним было делом не простым, но дружба его дорогого стоила.

Когда я думаю теперь о нем, ушедшем, на память приходят происшествия и наблюдения как бы незначительные, повседневно-житейские, но в них-то не менее, чем в сочинениях, и проявлялась его человеческая суть.

Когда он получил первую свою квартиру, однокомнатную, тесную и с низкими потолками, в “хрущевском” сиротском доме, в Бескудниках, на краю Москвы (ехать к нему из центра приходилось бесконечным автобусным маршрутом), первым делом он заказал медную табличку с вырезанным на ней именем владельца: “В.Е. Максимов”. И прикрепил ее ко входной двери. А уезжая в эмиграцию, уже в машине в Шереметьево, он отдал ее мне и сказал, как о чем-то вполне недалеком: “Будешь в Париже, привезешь”. Табличка хранилась у меня тринадцать лет, и когда, в восемьдесят восьмом, я объявился, наконец, у него на улице Лористон и отдал ее ему, он повертел ее в руках и сказал с невеселой усталой усмешкой: “Тут-то она мне ни к чему, к дверям ее не привинтишь, буквы-то русские...”

И еще он собственноручно сложил в тесной своей конуре из кирпичей камин, который, разумеется, разжигать было нельзя, но когда кто-нибудь его навещал, он любил зажечь электрические угли и, сидя в кресле перед — ни света, ни тепла — камином, глядеть на неподвижный искусственный огонь. Это была как бы детски-наивная компенсация за бездомную и голодную юность, за годы бродяжничества и колонии для несовершеннолетних: ему всегда хотелось своего дома, уюта и защищенности.

Потом такой дом у него появился в Брюсселе, с узким фасадом и вытянувшийся вверх на три этажа, с винным погребом в подвале и крохотным участком земли за домом, на котором он надумал разводить цветы. Всякий раз, когда я уезжал домой, он просил меня прислать ему из Москвы книги по садоводству,

особенно же по разведению роз. А летом, из года в год, когда его жена Таня, не только верная подруга жизни, но и надежная его помощница по “Континенту”, и дочери Наташа и Лелик уезжали на море, в Ля Боль, он оставался один в брюссельском своем доме и только тут, а не в суетном и шумном Париже, и был счастлив.

Наезжая в Москву и останавливаясь у меня на Поварской, он привозил подарки не только десяткам своих друзей, не только мне и моей дочери Марианне, но и нашей домработнице Паше, и ему было очень важно, понравятся ли они ей. А покупая в парижских магазинах и передавая через меня сувениры для официанток в ресторане Дома литераторов, которые некогда кормили и поили его в долг (“в кредит”, как он сам говорил) — угловатым, резким своим почерком он выводил на чеке сумму цифрами и просил: “Прописью напиши сам” — он так никогда и не выучился французскому, не только на письме, но и устному, так и не прижился, не мог, да и не хотел прижиться в Европе, которую и вообще не слишком жаловал: он всегда и во всем, упрямо и демонстративно желал оставаться русским.

Россия и была его главной, на всю жизнь, единственной любовью, скорее страстью, и эта страсть, как всякая страсть, была непослушна доводам разума и здравому смыслу, бросала его в крайности. Именно и единственно этой его страстной любовью к России и объясняется жесткая непримиримость его позиции и политических пристрастий последних лет: он хотел для России такого благополучия, свободы и величия, к которым она еще не была готова, не готова, увы, и сегодня, и сама, может быть, не осознает их неизбежности. Он был максималистом во всем — в своей любви к “отеческим гробам”, в дружбе, в своих сочинениях — а это непосильная ноша, тяжелый крест, но он нес его с неизменным достоинством, искренно и бескорыстно. И главный урок, который он преподавал своей жизнью всем нам, его близким друзьям и неведомым ему читателям, это урок верности целям и упованиям, урок нестигаемой внутренней, духовной свободы и любви к России.

Он жил и умер диссидентом — во имя будущего страны, вне и без которой жить не мог. И с полным правом мог бы сказать о себе словами Лютера: “На том стою и не могу иначе”.

Москва

БОРСК — СТАНЦИЯ ПОГРАНИЧНАЯ

Драма в 2-х актах, 6-и картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Сухов Федор Егорович — *ветеран войны*
Листопадов Николай Васильевич — *персональный пенсионер*
Капа — *вокзальная уборщица*
Стас — *ее сын*
Вириная } *его подруги (роли для одной актрисы)*
Леруся }

АКТ ПЕРВЫЙ

Картина первая

Ночной перрон на станции Борск. На фоне звездного неба вдали призрачно прорисовывается контур полуразрушенной крепости. На скамейке под перронным фонарем, накрывшись с головой и свернувшись калачиком, спит Вириная. Слышен гудок тепловоза и шелестящий шум отходящего поезда. В световое пятно под фонарем с дорожной сумкой в руке вступает Сухов.

Сухов (*ставит сумку на скамью, проверяет часы, присвистывает*). Влип ты, Егорыч, в историю, кукуй тут теперь до третьих петухов, пока народ прочухается. Вот незадача!

Вириная (*просыпается, приоткрывает лицо*). Кого это еще леший носит? Другого места не нашел, что ли?

Сухов. Спи, мать, не помешаю.

Вириная (*приподнимается, садится*). Заснешь тут с тобой, черт старый, приперся на мою голову, другого места что ли нету?

Сухов (*примирительно*). Увидал, где свет горит, все веселее.

Вириная. Шел бы тогда в ресторан.

Сухов. Какой ресторан, мать, два часа полночь.

Вириная. Это смотря для кого. Слышишь, вон люди вовсю кайфуют. (*Со стороны станции доносятся приглушенные звуки разухабистого оркестра*). Для них всегда открыто.

Сухов. Начальство, что ли?

Виринея (*презрительно*). Начальство теперь тише воды, ниже травы, по домам прячется. (*С завистью*). Крутые гуляют.

Сухов (*с горечью*). И сюда дотянулись. Прямо как в песне: "От Москвы до самых до окраин".

Виринея. А где же им еще быть, тут самый навар варится, только не зевай. Одно слово — граница.

Сухов. В наше время близко подойти боялись.

Виринея. В ваше время тележного скрипа боялись, а теперь танк заведи, никто не испугается. "В наше время"! Сопели бы уж, старичье, в тряпочку! Пробздели страну усатому.

Сухов. Зря ты, мать...

Виринея. Что ты мне все "мать" да "мать"! Заладил. Я, может, тебе не то что в дочки, во внучки гожусь? (*Она сбрасывает с себя наваленный на самые глаза платок, осанисто выпрямляется и вдруг оборачивается перед нами довольно еще молодой женщиной с копной выжженных перекисью волос, к тому же, при всей своей внешней потасканности, явно привлекательной*). Нашелся мне погодок!

Сухов (*смущенно*). Ну извини, извини... Кто же тебя знал... Прости старика, сослепу я... Нельзя тебе так, ночью тут одной, нынче и вечером-то люди дома сидят... Шла бы ты отсюда подобру-поздорову.

Виринея (*отмахиваясь*). Ладно, заткнись, дед, и без тебя тошно. И чего ты сюда приперся?

Сухов. С поезда я. С московского. В Смоленске застряли, забастовка там. С графика сбились, вот и остался я тут среди ночи. Адресок-то у меня есть да куда же мне в такую пору? Ни живой души кругом, собаки, видно, и те попрятались.

Виринея. Все вы с поезда, знаю я вашего брата. Ходят тут по ночам, окусываются, авось, дармовщинка перепадет. Чем зубы мне заговаривать, опохмелил бы лучше. А то не голова, а колокольня. Захорошеет, может, и договоримся. Или не запаса?

Сухов. Есть-то у меня есть, только для другой надобности.

Виринея. Что, дед, жениться собрался?

Сухов. Года не те, скоро вперед ногами понесут. Вот я и наладился сюда молодость вспомнить. В другой раз, видно, уже не придется, последние денечки на излет пошли. Думаю, может, кого встречу из своих на войне, тогда и разговеемся.

Виринея. Тут насчет залить на халяву все свои, и я — тоже. Опохмели, дед, за мной не останется.

Сухов. Мне не жалко, только не на пользу это тебе. Перетерпи лучше, войди в разум.

Виринея. Тебе, дед, в детской комнате при милиции или демократом в горсовете работать, цены б тебе не было. (Зло). Налей, тебе говорят, если баба просит!

Сухов (ставит сумку на скамейку, раскрывает ее, достает бутылку). Говорю, не жалко, тебе же хуже. Чуть отойдешь, а потом опять будешь мучиться. (Протягивает ей бутылку и ломоть хлеба из сумки). Закуси только, а то ведь в момент развезет.

Виринея (отмахивается от хлеба, берет бутылку, зубами срывает с нее колпачок, запрокидывает голову, пьет). Уф! (Возвращает бутылку Сухову). И как ее только демократы пьют! Глотни, дед, за компанию, облегчи душу.

Сухов. А я, девонька, лишней тяжести на душе не ношу, облегчаться причины нет. Пей сама, а я за компанию так посижу.

Виринея (снова отхлебывает). Значит, дед, воевал здесь?

Сухов. Пацаном почти. Под самую войну срочную пошел служить. Тут, на границе и начинал.

Виринея. Ну и чего выслужил?

Сухов. Две огнестрельные, одну осколочную. И штыковую тоже одну.

Виринея. А еще чего?

Сухов. Победу.

Виринея. И все?

Сухов. Тебе мало?

Виринея. Мне что, меня это не колышит, я у тебя спрашиваю.

Сухов. А ты полегче чего спроси, может, я и соображу.

Виринея. Раньше надо было соображать, дед. Гадай теперь на старости, за какой рай ты здесь в войну рогами упирался?

Сухов (обиженно). За какой, за какой! Может, и за тебя тоже!

Виринея. Надо же, а я и не знала!

Сухов. Живешь вот.

Виринея. А ты спроси меня, дед, зачем мне такая жизнь? (Снова отпивает из бутылки). Живу, будто меченая, если беда — для меня, а если кайф — для подруги. Как в сказке: чем дальше, тем страшней. На свет родилась от проезжего молодца, училась — выперли, служить устроилась, начальнику не дала, и по новой — за ворота. А у меня мать больная, пять лет влещу лежит и дочь маленькая на руках без алиментов. Вот и пошла на вокзал, вашего брата обслуживать. Считай, уже четвертый год здесь тусуюсь. (Прислушивается: со стороны вокзала слышны голоса, музыка). Видно, закругляют купцы... Теперь у них душа шире Черного моря. (Встает). Ладно, дед, пойду, может, обломится чего, спасибо за опохмелку, отоварюсь — верну.

Сухов. Может, не ходить тебе, ведь и до беды недолго?

Виринея. Хуже моего не будет. (*Уже из темноты*). Как звать-то тебя, дед? Глядишь, пригодится.

Сухов. Федором Егорычем Суховым кличут.

Виринея. А меня — Виринея. Чудно? Я не виноватая, мать начудачила. Бывает еще чуднее, я с одним чуваком спала, так его Марленом звали: марксизм-ленинизм, значит. Уссыпьясь! (*Совсем издалика*). Чао, Сухов!

Скрывается. Некоторое время Сухов сидит молча. Затем почти машинально берется за бутылку, задумчиво рассматривает ее и вдруг, запрокинув голову, прикивает к ней губами.

Сухов (*один*). Вот жизнь пошла: не захочешь — напьешься. И чего только тебя сюда тянет, Сухов, все давно былшем поросло, никого кроме тебя с тех пор не осталось, один ты вокруг бродишь, будто пес возле пожара. Сидел бы себе дома, век доживал.

Возникает шум прибывающего поезда, затем голос станционного громкоговорителя: "Внимание, внимание! Граждане пассажиры. На платформу номер три прибывает поезд Москва—Берлин. Стоянка поезда двадцать минут. Ввиду опоздания стоянка поезда сокращена".

Голос из темноты. Леха, свистни мужиков, берлинский подваливает, пенки снимать будем!

Сухов (*снова прикладывается к бутылке*). Москва—Берлин! Я по этой дорожке четыре года на своих двоих топал, чтоб народ теперь на пассажирском прохладился. А нынче вот сижу тут, как ханыга, с пол-литрой, и никому до меня дела нету. (*Прикладывается к бутылке*). Подумать зябко, сколько уже лет тому улетело, иной раз самого оторопь берет: может, и не было ничего вовсе, а только так — привиделось?..

Закрывает глаза, откидывается на спинку скамьи, дремлет. Свет вокруг него меркнет. На черном полотнище неба проступает силуэт красноармейца в пилотке и со скаткой через плечо.

Красноармеец (*под раскаты артиллерийской канонады, пулеметный стрекот и ружейную стрельбу*). Было, Федя, еще как было! Рыли мы тут с тобой носом землю, били вшей, варили ремни на похлебку, мочились под себя от страха, но отбивались, правда, до последнего. Знали, все равно в живых не оставят, так политрук говорил, а ему виднее... А ты, Федя, я гляжу, загудел вроде?

Сухов. Яша, никак ты?

Яков. Узнал.

Сухов. Откуда ты?

Яков. Сообрази.

Сухов. Когда это было!

Яков. Я своих лет давно не считаю.

Сухов. Тебе легче.

Яков. Каждому свое.

Сухов. Разминулись мы тогда, после Борска.

Яков. Все как надо: тебе — плен, а мне — девять грамм в спину.

Сухов. Я сбежал.

Яков. А я — нет.

Сухов. Не успел?

Яков. Если бы и успел, с моим шнобелем далеко не ушел бы.

Сухов. Хохлы тоже бывают носатые.

Яков. У меня и кроме шнобеля примет хватало.

Сухов. В ширинку что ль заглядывали?

Яков. Немцы — народ обстоятельный.

Сухов. Известное дело.

Яков. Тянет тебя сюда?

Сухов. В последний раз.

Яков. Что так?

Сухов. Не доживу, а коли и доживу, не соберусь. Отъездил свое, к земле тянет. Отжил.

Яков. Не жалко?

Сухов. Чего?

Яков. Помирать.

Сухов. Жалей — не жалей, конец один.

Яков. Мне бы с твое пожить.

Сухов. Эка невидаль!

Яков. Не скажи. Я всегда, Федя, много-много детей хотел, чтобы они на мне кругом висели, а оставил только одного — Левку. И Раиса, чтоб не работала, семьей занималась, а ей пришлось до старости спину в цеху гнуть, левкино ученье на себе тащить.

Сухов. Дети были бы — не были, это еще бабка надвое сказала, а Раиса твоя Левку подняла выше некуда, живет за ним, как за каменной стеной. Мне бы так за своими пожить.

Яков. Не потерял, значит, адресок мой?

Сухов. А ты мне его на фотке написал. Помнишь, в увольнительной перед самой войной вместе снимались? Фотку ту я домой отослал, вот и не потерялась. Я с Раисой твоей и посейчас переписываюсь, душевная женщина, вдовой до старости дожила.

Яков. Ждала, значит?

Сухов. В Левку все ушло.

Яков. Говоришь, не зря ушло.

Сухов. Высоко залетел, ничего не скажешь, а газетах печатает, по телевизору выступает. Слышал я его днями. Зря, говорит, наши отцы в войну трепыхались, сдаться, говорит, сразу надо было, жили бы теперь, говорит, как в Европе, ешь-пей от пуза и по две тачки на рыло. История, говорит, наша неправильно написана. Солидный такой, при галстукe.

Яков (*тихо*). А он не помнит разве, где его минский дед вместе со всей родней пропал? Или не знает, куда его киевские дядья с тетками подевались? Или он, может, не соображает, что от него самого бы осталось?

Сухов. А это ты у него и спроси.

Яков (*жестко*). И спрошу.

Сухов. Им жить, Яша, не нам, у них своя голова на плечах. Но и нам жалеть не о чем, с нас спросили, мы — отдали, им свое самим отдавать, самим и печалиться. Нам хоть себя вспомнить не совестно.

Яков. Досыпай, Федя, в России говорят: утро вечера мудренее. Давай-ка я тебе на сон грядущий спою чего-нибудь. Помнишь. Колю-Карзубого в нашем взводе, — из одесских жиганов хлопчик, все он нам перед отбоем свою любимую затягивал? Помнишь? (*Тихо запекает*). "Течет речка по песочку, бережок сносит. Молодой жулик, молодой жулик начальничка просит..."

Сухов (*неуверенно подхватывает*). "Ты начальник, ты начальничек, отпусти на волю. Видно, скурвилась, видно, ссучилась молодая дряля..."

Голоса их сливаются. "Отпустил бы тебя на волю, да воровать ты будешь, ты напейся воды холодной, про любовь забудешь"... "Пил я воду, да пил холодную, пил не напивался. Любил жулик проститутку, ею наслаждался"... "Гроб несут да коня ведут, да конь головку клонит. Молодая проститутка жулика хоронит". Мелодия постепенно стихает. Гаснет силуэт красноармейца на фоне ночного неба. Откинувшись на спинку скамейки, спит Сухов. Из темноты, пьяно покачиваясь, появляется Вирина. Подходит к Сухову, порывается было разбудить его, но затем, явно раздумав, берет его сумку, прячет в нее бутылку и поспешно уходит.

Картина вторая

Обстановка та же. Сухов продолжает дремать, откинувшись на спинку скамейки. Размахивая метлой по перрону, появляется Капа.

Капа (*замечает Сухова*). Еще один. Только-только начала, уже пятый алкаш, а мне еще три платформы мести. (*Подходит к Сухову*).

На бомжа не похож, на алкаша тоже, еще и пожилой. Может, заболел? (*Осторожно трясет его за плечо*). Мужчина!

Сухов (*с трудом приходит в себя*). А?.. Чего это?..

Капа. Мужчина, нельзя тут спать, оберут вас, как миленького оберут, а то и убить могут, тут теперь такой беспредел, не приведи Господи! Сами знаете — граница.

Сухов (*оглядывается вокруг себя, спохватывается сумки*). Да уж обобрали вроде. (*Ощупывает карманы*). Документы на месте, слава Богу! Правда, билет и деньги в сумке остались.

Капа. Скажите спасибо, голова на месте. Кто ж в такую пору на вокзале около вещей спит? А еще самостоятельный мужчина называется. И чего вас сюда занесло?

Сухов. С поезда я. Опоздал. Вот и застрял среди ночи. Еще девушка тут отдыхала.

Капа. Девушки, мужчина, на платформах не отдыхают. У девушек дома койки имеются.

Сухов. Молодая.

Капа. Эх, мужчина, мужчина, сразу видно — не здешний.

Сухов. Это почему же?

Капа. Не всякая молодая — девушка.

Сухов. Ума не приложу.

Капа. Путана.

Сухов. Еще не легче.

Капа. Какой вы непонятливый, мужчина. По нашему с вами, по-простому — проститутка. Вы уж меня извините, старую.

Сухов. Вот оно что.

Капа. Это самое.

Сухов. А с лица не подумаешь.

Капа. С лица они теперь все одинаковые. Тут я намеренна в милиции понятой была. Взяли одну такую с чужим бумажником, стали ее раздевать для обыска, а она — мужик. Вот вам и лицо.

Сухов. Куда ж мне теперь?

Капа. В милицию надо заявить, может, найдут, хотя навряд. У них нынче если меньше мильена, то и не ищут.

Сухов. Я эти деньги не в спортлото выиграл, своим горбом наживал. Мне теперь телеграмму — и ту не на что послать.

Капа (*продолжает мести*). Мир не без добрых людей.

Сухов. Где ж мне их искать теперь, добрых-то? Сами говорите — кругом беспредел?

Капа. А вы у меня спросите.

Сухов. Что ж мне трудящихся людей обирать, я уж лучше в милицию пойду, пускай ищут или посодействуют, им по закону положено. А на добром слове спасибо, дай вам Бог, чего хочется.

Уходит.

Капа (*вслед ему*). Проспал Царствие Небесное, голова садовая, ищи теперь ветра в поле.

Продолжает мести. Появляется Стас.

Стас (*словно в ознобе*). Ма...

Капа (*застывает с метлой в руках живым изваянием неизреченного горя*). Нету у меня, Стасик.

Стас. Не могу, ма, умру.

Капа. Но ведь нету у матери, Стасик.

Стас (*сотрясаясь, опускается на скамейку*). Спаси, ма, век не забуду!

Капа. Что же ты со мной делаешь, Стасик!

Стас. Последний раз, ма.

Капа. Сколько уж было этих разов, Стасик, я им давно счет потеряла. На старости лет в подметалы пошла, на одни твои рецепты только и горбачусь, а меня уже со всех аптек гонят с этими рецептами, знают, что для тебя. Мне давно по городу ходить совестно, пожалей меня, Стасик!

Стас (*почти плача*). А меня, меня кто пожалеет!

Капа. Не жалела бы, нашла.

Стас. Найди, ма.

Капа. Где я тебе найду, где!

Стас (*с трудом поднимается*). Грабить пойду, а достану. (*Порывается уйти*). Не могу больше!

Капа (*заступает ему дорогу*). Ну куда, куда тебя несет нелегкая! (*Шарит в карманах под халатом*). Да заешься ты этими таблетками, глаза б мои на тебя не глядели! (*Сует ему в руки пачку облаток*). Ненадолго ведь, потом опять просить будешь.

Стас (*принимается судорожно раздирать пачку*). Правда, век не забуду, ма. (*Жадно, одну за другой заглатывает таблетки*). Сейчас... Сейчас.. Уляжется. (*Опускается на скамью, свертывается калачиком*). Сейчас...

Капа (*снимает с себя халат, накрывает им сына, присаживается рядом*). Что ж ты с собой делаешь, Стасик, какой мукой мучаешься, от тебя уже полчеловека осталось, старик стариком, а тебе еще и сорока не вышло. (*Гладит его по голове*). Господи, разве думала я когда, что доживу до тебя такого! Ты ведь рос у меня тихоня-тихоней, других домой палкой не загонишь, а тебя из дому калачем не выманишь. Заберешься бывало под стол и ворожишь там с какой игрушкой или книжицей. Только здоровьем слабенький был, годков

до пятнадцати под себя прудил, клеенку тебе подстилала, чтоб совсем не отсырел. Учился — сердце радовалось, одни пятерки приносил, вот, думала, утепление на старости, сын с образованием, на трех работах гнулась, лишь бы доучить, до ума довести. А ты пить кинулся, до того допился, что последнее с себя снимал, только бы захмелеть. Сколько я слез пролила, сколько порогов оббила за тебя в хлопотах, а теперь и ту пору добром поминаю, лучше бы пил, как раньше, чем от этой дури зазря пропадать!

Стас (*под ее рукой приходя в себя*). Сейчас поднимусь, ма... Уже легче... Сейчас...

Капа. Лежи, лежи, Стасик, отдыхай. Я дometу, вместе домой пойдем. Дома-то оно лучше, чем среди ночи по путям бродить.

Стас (*поднимаясь*). Подожди, ма, подожди, я утром приду, мне надо еще друга выручить, у меня осталось.

Капа (*хватаясь за него, сползает к его колёнам*). Стасик, деточка, не ходи никуда за ради родной матери...

Стас (*отдирая ее от себя*). Ма...

Снова появляется Сухов.

Капа (*спохватываясь, подымается с колен*). Вот сынок проведать пришел, болеет за мать, беспокоится... С прибытком?

Сухов. Какое там! Иди, говорят, отец, сам ищи, у нас, говорят, дел, кроме твоей сумки, — выше крыши. От мокрушников, говорят, не отобьемся, а ты, мол, со своей мелочевкой.

Капа (*обрадованно*). Стасик мой тут всех знает, вы ему расскажите, он сразу угадает, кто обидел.

Стас (*умоляюще*). Ма!

Капа. Помоги человеку, Стасик, человек без ничего остался, кому ж ему теперь жаловаться?

Стас (*нехотя*). Что случилось, отец?

Сухов. С поезда я... Опоздал поезд-то... Вот и застрял я тут на платформе среди ночи. Смотрю, женщина на скамейке прилегла, дай, думаю, присяду тоже, дух переведу. Слово за слово, она опохмелиться попросила, я дал, потом сам глотнул малость да и прикорнул, а опаматствовался — сумки нету, а там билет и деньги.

Капа (*принимаясь мести*). С кем не бывает! Видит, устал человек, вот и попользовалась, ты их, Стасик, всех знаешь, выручи мужчину.

Продолжая работу, растворяется в темноте.

Стас. Угрозило же тебя, отец, вляпаться.

Сухов. Не я первый.

Стас. Это уж точно. Ты хоть запомнил ее? Узнал бы, если б показали? Черная, рыжая или в крапинку?

Сухов. Сначала думал, старуха, а потом разглядел: ничего себе, фигуристая. К тридцати, не больше.

Стас. Ты, смотрю, папаша, еще ходок!

Сухов (*смущенно*). Куда мне, в мой-то годы.

Стас. Ну, ну, старый конь, сам знаешь, борозды не испортит.

Сухов. Я и в борозду-то не войду, это в твоей поре пахать.

Стас. Пашу, отец, только по другой части.

Сухов. Не возьму в толк.

Стас. Без баб, значит. С мужиками.

Сухов (*ошарашенно*). Так...

Стас. Привыкай, отец.

Сухов. Дожили.

Стас. Все еще впереди.

Сухов. Куда уж дальше.

Стас. Совершенству нет предела, отец.

Сухов. Не знаю, зачем и дожил! Завоевали, называется. Сгинуть бы мне тогда в войну, горя не знать, не видеть, не слышать такого, сердцем не разрываться.

Стас. И чего вы, старики, все со своей войной носитесь, других забот что ли у вас нет!

Сухов. Думали, дети за нас поживут.

Стас. Вот и живем.

Сухов. Жизнь, называется!

Стас. Как можем.

Сухов. Учить вас некому.

Стас. Усатый бы, конечно, выучил.

Сухов. А чего усатый, чего усатый! Я тут под Борском не за усатого башку подставлял, да и усатый тоже не за одного себя упирался.

Стас (*морищится*). Хватит, отец, надоело! (*Достает из кармана таблетки, жадно сглатывает*). И не смотри на меня, пожалуйста, как Ленин на буржуазию.

Сухов. А как мне на тебя смотреть? Ты вон у матери под юбкой вырос, наел с ее рук холку, вот и валяешь ваньку. А у меня еще борода не росла, я уже три лазарета перемог, потом с верхом плену хлебнул, не к ночи будет помянуто. На лесоповале пять лет загибался, дом поставил, детей вырастил, не тебе чета, внуки не хуже. Только по-вашему выходит, что все вам с неба должно валиться.

Стас. Мало что-то валится, отец.

Сухов. Мало — не мало, а голодом не сидите, в рванье не ходите. С жиру беситесь, вот и шастаете по станциям на дармовщинку отовариваться. Меня, старика, обидеть нехитро, скажи мне доброе слово, я и потек во все стороны: то да се, пожалуйста похмелиться. Расквасился, старый дурак, а ее и зовут не по-людски — Виринея!

Стас (*мучительно напрягаясь*). Виринея!..

Сухов (*всматриваясь в него*). Видно, знаешь?

Стас (*обреченно*). Лучше бы не знал.

Сухов. Ты же, говоришь, по другой части.

Стас. Закрываем тему, отец.

Сухов. Выходит, верно нынче говорят: и на старуху бывает про-
руха. Со всеми бывало.

Стас. Значит, не забыл еще, как это делается?

Сухов. Дурацкое дело не хитрое, я про другое толкую: баба бабе
рознь, не в одном спанье счастье.

Стас. И про это помнишь?

Сухов. Тебе мою память, умнее был бы.

Стас. Мне бы свою потерять.

Сухов. А мне моя не мешает, меня совесть не точит, а вспомнить
есть чего...

*Свет гаснет. Возникает отдаленная мелодия песни "Вставай,
страна огромная, вставай на смертный бой". Силуэт Борской
крепости, озаряемый артиллерийскими сполохами, становится
объемнее и четче. Затем в темноте, в противоположных концах
сцены высвечиваются, словно в овалах пожелтевших фотографий,
две юношеские головы в красноармейских пилотках, а между ними,
посредине площадки, та же самая перронная скамейка, схожая
сейчас с блиндажными нарами. На скамейке, накрытая шинелью
лежит молоденькая женщина, отдаленно напоминающая нам Ви-
ринею.*

Виринея (*стонет*). Мальчики, водички бы мне...

Стас (*к Сухову*). Осталось у нас?

Сухов. Полкотелка.

Стас. Перебьемся, пусть напоследок попьет вволю.

Сухов. Думаешь, не оклемается?

Стас. Едва ли, у нее заражение. Гангрена называется.

Сухов (*из темноты протягивает женщине котелок*). Пей, сес-
трица.

Виринея (*сквозь муку, смущенно*). Мне не пить, мальчики... Не
могу больше. Совсем коростой обросла, хоть чуток бы самую грязь
смыть...

Стас. А подняться осилишь?

Виринея. Только вы-то как же, без ничего останетесь, а вам тут
еще сидеть и сидеть.

Стас (*хмуро*). Перезимуем.

Сухов. Не робей, сестричка, пользуйся.

Виринея. Тазик бы какой или хоть протвиню...

Стас. Не бери в голову, сестра, мы не маленькие, над котелком и управимся, от нас не убудет. Дай-ка сюда шинельку свою...

Из темноты, к шинели тянутся с противоположных сторон две руки, поднимают ее над лежащей женщиной и растягивают перед нами наподобие занавески. С трудом раздеваясь, женщина пристраивает на этой импровизированной занавеске свою незамысловатую одежонку: гимнастерку, юбку, бюстгальтер, чулки, рейтузы. Из-за шинели видна только ее голова с распущенными волосами. Она некоторое время плещется в полной тишине, а затем встает во весь рост, обнаженным торсом возвышается над кромкой шинели. За ее спиной занимается пламя и она постепенно как бы исчезает, испепеляется в нем. Восстанавливается прежняя обстановка.

Стас. Сгорела?

Сухов. До утра не прожила.

Стас. Красивая была?

Сухов. Не помню. Котелок помню, я с им потом до самого Берлина дотопал, сподручная вещь была, жалко, при аресте отняли.

Стас. Отыщу я твою сумку, отец.

Сухов. И на том спасибо.

Стас. Заметано.

Сухов. Выручишь старика.

Стас (*подаваясь в ночь*). Жди меня здесь, матери скажи: скоро буду.

Скрывается в ночи.

Сухов (*один*). Попал ты, Федя, как кур в ощиц, ветеран зачуханный, дома тебе не сидится. Каких тебе еще боевых товарищей проводывать? Давно на печи сидеть пора.

Из темноты, все с тою же метлой выступает Капа.

Капа (*встревоженно*). Опять пропал?

Сухов. Сказал, скоро обратно будет.

Капа (*с горечью*). Теперь, пока дурь не кончится, не дожدهшься.

Сухов. Пьет?

Капа. Если бы только пил, легче было бы, а то дрянь тоже всякую с аптеки глотает, уколами разными балуется. Совсем себя потерял. Чем питается, где ночует, один Бог знает, извелась я вся. А ведь он один у меня, других не случилось. С мужем-то я и прожила-то десять годков без малого, он уже с войны больной вернулся, больше по

госпиталю пропадал, чем дома, а человек был такой хороший, такой хороший, что мне кругом все завидовали. (*Пробивается отдаленная мелодия вальса "После тревог спит городок"*). Помню, встретила я его в клубе на танцах...

Сухов. Найду я тебе твоего гуляку, мать, из-под земли найду.

Уходит.

Капа (*опираясь на метлу, смотрит ему вслед*). "И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука..."

Подхватывает метлу и принимается медленно, словно с партнером, кружиться с нею под нарастающую мелодию вальса.

Занавес.

Картина третья

Обстановка та же. Из темноты в круг света, нагруженные вещами, вступают Листопадов и Леруся.

Листопадов (*ставит поклажу на скамейку*). Черт знает, что такое! Все разваливается: самолеты не летают — топлива нет, такси везут только в парк, поезда ходят по расписанию машиниста. Скоро хоронить начнут, когда поп протрезвеет или гробовщику захочется. (*Смотрит на часы*). Почти на девять часов опаздывает, а здесь езды — восемь.

Леруся (*ставит чемодан около себя*). Успокойся, папа, хватит мир переделывать. Пусть остается какой есть.

Листопадов. Если бы так. Но он делается все хуже и хуже.

Леруся. От нас ничего не зависит, папа.

Листопадов. Не зависит вовремя умыться? чистить зубы? убирать за собой? добросовестно работать? иметь стыд и совесть? отдавать долги и уважать старость? Чего от нас еще не зависит? Дорвались до свободы! Только какой свободы? Болтать языком, спекулировать краденым, ничего толком не делать? Такой свободы всегда было сколько угодно на любой толкучке.

Леруся (*умоляюще*). Папа, давай о чем-нибудь другом! Ведь, может быть, в последний раз!

Листопадов (*порывисто привлекает ее к себе*). Прости, доча, прости старого дурака, уж такой уродился. Все к сердцу пристаёт, гори оно все синим пламенем, во что только жизнь угробил!

Леруся. Не ты один.

Листопадов. Но я один из немногих, кто верил.

Леруся. Это дела не меняет.

Листопадов (*снова загораясь*). Еще как меняет! Ты прекрасно знаешь, что я не рвался делать карьеры, мне ее навязывали! И привилегиями не пользовался, — мы жили, как все, на зарплату, и вкалывал я по восемнадцать часов в сутки без выходных и отпусков, и посылали меня в самые гиблые места и на самые проигрышные объекты. Что, просто так к пятидесяти я выходил два инфаркта и микроинсульт?..

Леруся. Ты платил и за другие удовольствия.

Листопадов. Это нечестно, Лера. Я не виноват в том, что меня любили женщины. Я никогда, ничего им не обещал. Мне нечего было им дать, кроме самого себя.

Леруся. И своего положения.

Листопадов. Неправда! Смею надеяться, что я и сам по себе чем-то интересен. Твоя мать не могла простить мне...

Леруся (*в отчаянии*). Папа!..

Листопадов. Хорошо, хорошо, не буду. Что мы в самом деле нашли время цапаться! Ведь мы с тобой толком так и не поговорили до сих пор, все какой-то сор, ерунда на языке вертится. Вот приду сейчас домой, а ругаться больше не с кем, разве что с зеркалом. Один остаюсь, совсем один. С тобой теперь только по телефону и поругаешься, горе мое луковое, как я дальше без тебя жить буду!

Леруся. У тебя знакомых полгорода, папа. Да и пассии твои тебя не оставят, не соскучишься.

Листопадов. Все шутишь, а мне сейчас не до шуток: растил, растил, а теперь чужому дяде, за тридевять земель даром отдаю, обидно.

Леруся. Не преувеличивай, папа, до Берлина езды полсуток.

Листопадов. Езды, может, и мало, границ — много. И чего ты только в этом немце нашла? Свои что ли хуже? Не все же у нас проходимцы?

Леруся. Ты же знаешь, папа, не раз пробовала, всегда обжигалась. Впрочем, даже не в этом дело. Просто я больше не могу дышать этим воздухом, слышать эту речь, ходить по этой земле. Еще немного, и я бы возненавидела самое себя. Ты только оглянись вокруг, папа, ведь мы уже даже не люди — моль, саранча, плесень, все вокруг и сами себя поедаем. Не остановят — весь белый свет съедим. И ничего за душой, кроме злобы и корысти.

Листопадов. Немец тебя от этого не спасет.

Леруся. Немец не спасение, а возможность выжить, папа. Иначе пропаду, ты этого хочешь?

Листопадов. Что же я тебе враг, что ли? Только ведь нужно кому-то и оставаться, всем не сбежать. Некуда. Разве на другую планету, так

ее нам пока никто не приготовил. Ведь это, в конце концов, наша земля, нам на ней жить и умирать, нам за нее отвечать.

Леруся. Перед кем?

Листопадов (*смущенно*). Перед кем, перед кем! Перед потомками, перед Богом, если хочешь.

Леруся. Вот и ты о Боге вспомнил.

Листопадов. Ну, это я в переносном смысле.

Леруся. А ты, папа, в прямом вспомни. Увидишь, многое станет понятнее. Во всяком случае, проще.

Листопадов. Не учи меня жить! Я достаточно видел и перенес на своем веку, чтобы самому сделать из всего этого выводы. Все поучаете нас, стариков, а сами в кусты. Сбежать легко, ты попробуй устоять.

Леруся (*почти истерически*). А я не хочу стоять насмерть, мне медаль защитника Белого дома даром не нужна. Одну шпану сменили на другую, еще более гнусную, и радуются. На здоровье, только без меня. Слышишь, папа, без меня!

Появляется Стас с суховской сумкой в руках.

Стас. Тут старикан один торчал, не видели? (*Неожиданно теряется*). Извините...

Листопадов. Вы меня имеете в виду, молодой человек?

Стас (*теряясь еще более*). Вас-то я знаю, Николай Васильевич...

Листопадов. Местный?

Стас. Кто — старикан?

Листопадов. Об этом успеется.

Стас. Родился в Борске.

Листопадов. Видно, тоже к поезду?

Стас. Мать у меня здесь по ночам убирает, вот и присматриваю на всякий случай, сами знаете, какой кругом беспредел.

Листопадов. А старик при чем?

Стас. С поезда человек... Сумку у него увели. Вот она, сумка эта.

Ставит сумку на скамейку рядом с остальными вещами.

Листопадов. Вы что, из милиции?

Стас (*обозлясь*). А вы лучше спросите у Валерии Николаевны.

Листопадов (*удивленно глядя в сторону дочери*). Любопытно.

Во время их разговора Леруся, каменея, смотрит в пространство перед собой.

Леруся (*одними губами*). Мы знакомы, папа.

Листопадов. Еще любопытнее.

Стас (*как бы подсказывает ей*). Мы с вашей дочерью в одной школе учились, только она начинала, а я уже заканчивал.

Листопадов (*недоверчиво*). Вот как?

Леруся (*сухо*). Судьба, папа...

Снова включается станционный громкоговоритель: "Внимание, внимание! Граждане пассажиры, по техническим причинам прибытие поезда Энск-Берлин задерживается на неопределенное время. Следите за нашими сообщениями!"

Листопадов. Безобразие! Совсем распустились! Сталина на вас нет, он бы вашего брата быстро привел в чувство, разгильдяи! Нет, этого я так не оставляю, до Кремля дозвонюсь, Совмин на ноги поставлю, а дело свое делать научитесь! (*Направляется в ночь, дочери*). Смотри за вещами, я скоро вернусь.

Леруся (*укоризненно*). Папа!

Листопадов. Говорю, смотри за вещами!..

Уходит.

Стас (*вслед ему*). Все не успокоится, Николай Васильевич, все думает человечество перевоспитать. Зря старается, не в коня корм.

Леруся. Такой характер.

Стас. Да уж известно!.. Говорят, замуж вышла?

Леруся. Говорят.

Стас. Поздравляю.

Леруся. Бери пример.

Стас. Поздно.

Леруся. Что так?

Стас. Я нынче по другому ведомству.

Леруся. А если проще?

Стас. Мой цвет теперь — голубой.

Леруся. Что — приятнее?

Стас. Легче.

Леруся. Возвращаю поздравления.

Стас. Обойдусь.

Леруся. Как хочешь.

Стас. Ты не изменилась... Какой была, такой и осталась. Гвозди бы делать из вас, из таких людей, — гвоздей бы завались стало, одним экспортом прокормились бы. Только если так жить, на земле вместо людей одни ходячие принципы останутся, дышать нечем будет, говорить не о чем. А мы ведь живые твари, в нас много всего

понемножку намешано: и плохого, и хорошего, и еще всякого разного, зачем же так просто через людей перешагивать!

Леруся. Говорить ты всегда умел, в этом тебе не откажешь, ты женщин не покорял, — заговаривал.

Стас. С тобой все по-другому было.

Леруся. А с ней?

Стас. Ты же знала, что она сорвалась с колес, что она гибнет, по-настоящему гибнет. Тебе — женщине — лучше меня понять, не мог я ее бросить такую, пойми же, наконец, не мог!

Леруся. Значит, любил.

Стас. Опомнись, какая там может быть любовь, когда она давно человеческий облик потеряла. Не женщина — пьяное нечто, жалко мне ее. Погибнет, никогда себе не прощу!

Леруся. А меня не жалко?

Стас. Ты сильная, могла бы и понять, — что такую бросить сейчас, будто ребенка убить.

Леруся. Только, выходит, ее не спас, а сам себя потерял. Или что: "есть упоенье на краю"?

Стас. После тебя мне все равно жизни не нужно.

Леруся (*заметно смягчаясь*). Поверь мне, Стасик, еще не вечер, у тебя все состоится, только возьми себя в руки. Ее уже не спасешь, не под силу это тебе, а только на себе крест поставишь.

Стас. Если бы я знал, что ты остаешься, я, может, и рискнул бы. А так — зачем?

Леруся. Теперь уже поздно.

Стас. Уйдем отсюда сейчас.

Леруся. Некуда нам с тобою идти, Стасик, у нас теперь не только земля — небо разное.

Стас (*порывисто бросается к ней*). Спаси меня, Лера!

Леруся (*привлекает его к себе, гладит по голове*). Если бы я смогла!..

Из темноты, со стороны соседней платформы, неожиданно выплескиваются пьяные крики, топот, ругань. "Чего ты ее уламы-ваешь, Игорек, ставь ее на четыре кости, мы ей в два смычка тяни-толкай заделаем!" — "Не надо, мальчики, ни к чему это, вы по очереди, я согласная!" — "Водяру хлебала? Хлебала. Халвой закусывала? Закусывала. Рассчитайся, сука позорная! Сворачивайся бараночкой, закуси соленьюшкой!". Вслед за этим слышен удар по лицу и сразу же истошный крик: "Стаси-и-и-и-ик!"

Стас (*некоторое время прислушивается, затем срывается с места*). Ах, мразь, ах, козлы вонючие!.. Прости, Лера, я сейчас...

Скрывается в темноте, чуть не сталкиваясь по пути с Листопадовым.

Листопадов (*вслед Стасу*). Хороший, я гляжу, твои школьные друзья. (*Цепко оглядывает багаж на скамейке*). Они что — все у тебя такие?

Леруся. Такой — один.

Листопадов. Слава Богу!

Леруся. Ты меня не понял.

Листопадов. Уточни.

Леруся. Я его любила.

Листопадов. Это ты серьезно?

Леруся. Более чем.

Листопадов. Чего ж не поладили?

Леруся. Он алкоголик и наркоман. Но если бы только это!

Листопадов. Поделись.

Леруся. Долго рассказывать, для этого у нас уже нет времени, папа, я обо всем написала тебе. (*Достает из сумочки конверт*). Прочтешь дома, когда я буду уже в дороге. Так лучше и для тебя, и для меня. И, если сможешь, помоги ему.

Листопадов. Чем?

Леруся. Может быть, он еще опомнится и захочет встать. Тогда не побрезгуй, протяни руку. Связей тебе не занимать, на твой век хватит. Человек он способный, его только подтолкнуть вначале, дальше он сам пойдет. Не пожалеешь.

Листопадов (*прячет конверт в карман, привлекает ее к себе*). Сколько лет прожил рядом с тобой, ты уже до тридцати дотянула, а я все считал тебя маленькой девочкой: Леруся да Леруся. В суете так и не заметил, что моя девочка давно уже превратилась в Валерию Николаевну, взрослую женщину со своей жизнью, со своими женскими бедами, со своей бабьей судьбой. А сейчас вот, когда догадался, даже поплакать времени не остается...

Словно откликаясь на его слова, пробуждается станционный громкоговоритель: "Внимание, внимание! Граждане пассажиры! Поезд Энск—Берлин прибывает на первую платформу. В связи с опозданием стоянка поезда сокращена!"

Леруся (*приникает к отцу, целует его*). Береги себя, папа, у меня ведь тоже кроме тебя никого нет.

По аспидному полотнищу неба скользят освещенные окна вагонов. Листопадовы нагружаются вещами, впопыхах прихватив и

суховскую сумку. Затем удаляются в сторону прибывающего поезда. На соседней платформе продолжается яростная возня в сопровождении криков, топота и ругани: "Ты чего, козел, мешаешь-ся! Тебя сюда звали? Ты что, у этой падлы на отмазке работаешь? Так мы тебе заделаем рот до ушей заместо клоуна!" — "Да чего ты с ним базаришь, заваливай его рядом с ней, я же его знаю, пидера вонючего, его все вокзальные печники давно перепробовали!" И следом за этим жалобная мольба Вирины: "Не надо, мальчики, не трогайте его, я на все согласная!" Раздаются милицейские свистки. Окрик: "А ну, разойдись!" Из темноты, пятась спиной к нам, появляется Листопадов.

Листопадов (на фоне проплывающих мимо него вагонных окон).
Прощай, Леруся, Лера моя, Валерия Николаевна... Свидимся ли еще на этом свете?

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ

Картина четвертая

Обстановка та же. Сидя на скамейке под фонарем, Листопадов в очках читает письмо Леруси. В проеме светящегося на черном провале неба вагонного окна силуэт Леруси и ее голос:

Леруся. "Милый мой, дорогой папа! Жили мы с тобой друг около друга почти тридцать лет, а объясняться приходится в эпистолярном жанре. Ты всегда готов был говорить и спорить со мной на любую тему, но только не обо мне самой. Кстати, тебе это и в голову не приходило, ты считал, что если я рядом, значит, все в порядке, девочка с выставки: красива, здорова, упакована в импорт, круглая отличница, спортсменка и далее со всеми остановками. Ты обожал, баловал меня, а я уже в восьмом классе сделала первый аборт, потом еще трижды (Он поднимает голову от письма, а она, словно дразнит его из окна поезда: "Да, да, и от него тоже!"), потом пилюлями обходилась, у пассив твоих выпрашивала, сама доставала. В десятом травиться пробовала, в компании это было, подружки без врачей откачали. В институте попыталась даже на иглу сесть, но, видно, природа листопадовская пересилила или Бог спас, вовремя остановилась. Так я и жила около тебя три десятка лет без матери, которую почти не помнила, и без отца, который был занят только самим собой и светлым будущим человечества. Но ты не сердись на меня, папа, я все равно люблю тебя такого, какой ты есть, мало

сказать, — обожаю. Прости, но пистолет твой я уже отправила впереди себя верной оказией, уверена, что мне он может оказаться нужнее, чем тебе, а тебе его твои приятели из органов по старой дружбе спишут. Глядишь, даже другой дадут, понадежнее. Не ругай меня сильно и пиши мне, я тебе — не обещаю. Сам знаешь, не люблю эпистолярного жанра. Даже этот опыт — вынужденный. Целую тебя много-много раз. Твоя Леруся”...

Листопадов (один). Так... Вот, таскай теперь на себе это до конца дней, Николай Васильевич, если, конечно, справишься...

Появляется Сухов.

Сухов (растерянно). Извиняйте... Вы тоже с поезда или ждете?

Листопадов. А? (Приходит в себя). Чего вам?

Сухов. С поезда, говорю, или к поезду?

Листопадов. Провожал.

Сухов. Закурить не найдется?

Листопадов. Не курю.

Сухов. Я — тоже. Только я теперь в такой переплет попал, что поневоле, если не запьешь, то закуришь.

Листопадов (насмешливо). Обворовали, конечно?

Сухов. Хотите верьте, хотите нет. Сошел с поезда, опоздали мы, смотрю, женщина на лавочке отдыхает. Слово за слово, она выпить попросила, у меня было в запасе, я сюда на встречу ветеранов приехал, я дал, потом сам выпил с усталости, вздремнул малость, а проснулся — сумки нету.

Листопадов. А там документы и деньги.

Сухов. Документы, слава Богу, при мне, а вот билет и деньги, правда, в сумке остались. А вы откуда знаете?

Листопадов. Обычная песня. (Оглядывается вокруг себя). Впрочем, какую-то сумку я здесь видел. (Снова шарит взглядом по перрону). Извините, но, кажется, сумка эта уехала вместе с моей дочерью в Берлин.

Сухов (ошарашенно). Чего же сумке моей в Берлине делать?

Листопадов. Да вы особо не расстраивайтесь, сейчас зайдем к дежурному, он позвонит на соседнюю станцию, завернут вашу сумку, от силы через час-два здесь будет. (Переходя на “ты”). Значит, воевал тут, солдат?

Крепость над городом вновь оживает: приглушенно гремит канонада, трещит пулеметная и рассыпается ружейная стрельба. Сполохи взрывов озаряют ночной небосвод. В течение всего действия крепость вообще функционирует наподобие оживающего вулкана или большого зверя, то просыпаясь, то затихая снова.

Сухов. Войну начинал.

Листопадов. В крепости?

Сухов. В ей.

Листопадов. Выходит, мы с тобой одного помола, солдат.

Сухов. Тоже — с крепости?

Листопадов. Сразу после училища попал. Как говорится, вечером кубари в петлицы определил, а утром уже отстреливался.

Сухов. Каждый год тут собираемся, вас не припомню.

Листопадов. Не до посиделок мне было, солдат. Я годами по стране метался. С партией, сам знаешь, шутки плохи: шел, куда посылали, брал, что дают. Так уж повелось на верхах: где прорыв, туда Листопадова. Какие уж там фронтовые встречи! А потом не ходил, чтобы о старости своей пореже вспоминать.

Сухов (*уважительно*). Начальство, значит?

Листопадов. На пенсии. Да и какое теперь начальство, нынче каждый сам себе начальник, получаю меньше дворника, если бы не подкожные, не знаю, как бы и жил.

Сухов. Это сколько же подкожных надо иметь!

Листопадов. Хватает.

Сухов. А у меня всех подкожных, что на дорогу скопил, да и те долго жить приказали.

Листопадов. Да не суетись ты со своей сумкой, солдат, вернут тебе ее в целости и сохранности, а не вернут, я компенсирую в полном объеме. (*Кладет ему руку на плечо*). Вот что, солдат, следует, по-моему, обмыть нашу с тобой встречу, если уж раньше не довелось, то сейчас хороший случай подвернулся. (*Вынимает из кармана купюру, протягивает ему*). Не в службу, а в дружбу, солдат, тут вокруг вокзала круглую ночь торгуют, мне не с руки, меня здесь даже слепой узнает, а ты приезжий, с тебя взятки гладки.

Сухов. Уж и не знаю... Ну разве так, со знакомством. (*Берет деньги*). Схожу, спрошу...

Уходит.

Листопадов (*один*). Еще и напьешься, Листопадов, этого тебе только не хватало сегодня для полноты жизни...

С метлой в руках появляется Капа.

Капа. Батюшки, Николай Васильич!

Листопадов (*со вздохом*). Вот они, издержки известности: ни пройти, ни просхать, ни с приятелем встретиться.

Капа. Я вас сразу узнала.

Листопадов. Я в этом городе кем только не был!

Капа. Я вас и без того знала.

Листопадов (*равнодушно*). Может быть.

Капа. Не помните меня, Николай Васильич?

Листопадов. Людей вокруг меня было много, всех не упомнишь.

Капа. Я после войны в обкоме, в столовой, официанткой работала.

Листопадов (*как бы припоминая*). Давно это было...

Капа. Для вас давно, а по мне, будто вчера.

Листопадов. После войны, говоришь? Постой, постой...

Капа. Капа, я, Николай Васильич, Капа, помните?

Листопадов. Капитолина!.. Капа, вот не узнал бы! (*Смущенно поправляется*). Сколько лет прошло!

Капа. Вот ведь как свиделись.

Листопадов. В одном городе живем.

Капа. В одном-то в одном, Николай Васильич, только вы ведь, как красное солнышко: то есть, а то нету.

Листопадов. Да, помотало меня.

Капа. Видно, насовсем теперь?

Листопадов. Пошабашил жизнь. Вот дочь сейчас в чужие края проводил, один доживать остался. Скажи лучше, ты-то как: муж, дети, думаю, и внуки есть?

Капа. Мужа давно схоронила, одна с сыном осталась, только внуков он мне не привел, не до того ему.

Листопадов. Что так?

Капа. Больной он: сначала пил сильно, потом дрянью всякой стал баловаться, кололся тоже, так и сошел с круга.

Листопадов. Ясное дело — без отца.

Капа. Где ж ему отца знать! С которым жил, он больше по больницам да по больницам, ему не до мальчонки, а который в самом деле родной, до того не дотянешься, уж больно высоко летал.

Листопадов (*с тревожным напряжением*). О чем ты, Капитолина?

Капа. Чего уж теперь греха таить, Николай Васильич, нам с вами скоро на погост собираться, пора и о душе подумать: Стасик-то мой от вас остался, не обессудьте.

Листопадов. То есть, как?

Капа. А вот так, Николай Васильич, затяжелела я тогда после этого самого, а выбросить не взошла, больно ребеночка хотелось, а от мужа не получалось с евонными болячками.

Листопадов. И не побоялась?

Капа (*с нежностью*). Муж у меня золотой был, мухи ненароком не обидит, покрыл грех мой, слова не сказал, не попрекнул никогда, а уж как Стасика любил, и сказать нельзя.

Листопадов (*решительно*). Я к тебе загляну днями, Капитолина, глядишь, чего-нибудь придумаем, не расстраивайся.

Капа. Заходите, Николай Васильевич, только чего уж теперь придумывать, прошла жизнь, а сына уже не воротить. (*Прислушивается к чему-то*). Я с того конца слыхала, будто шумели тут, так ли?

Листопадов. Пьянь какая-то по соседству безобразничала, унялись вроде или милиция увела.

Капа. Как бы мой Стасик туда не встрял, он же не может, чтоб без него, пойду у дежурного спрошу. Бывайте здоровы, Николай Васильич, не взывайте, если обидела...

Уходит.

Листопадов (*один*). Вот ночка тебе выдалась, Листопадов, врагу не пожелаешь! Действительно, не захочешь — напешься!

Появляется Сухов.

Сухов (*с бутылкой и бумажным стаканчиком на ней*). Одна нога здесь, другая — там! (*Ставит принесенное на лавочку, достает из кармана сверток*). Закусь, и та нашлась.

Листопадов. Для начала, солдат, давай познакомимся. (*Протягивает ему руку*). Меня зовут — Николай Васильевич Листопадов. Генерал-лейтенант запаса, прошу любить и жаловать.

Сухов (*робея*). Сухов я, Федор Егорыч... Рядовой... Непривычно мне, товарищ генерал, вот так с вами пить, не по чину.

Листопадов. Нас с тобой, Федор Егорыч, годы в чинах уравнили, отвеличались нынче, наливай-ка лучше.

Сухов (*разворачивает закуску, наливает, протягивает ему стаканчик*). По служебному старшинству, товарищ генерал, как положено.

Листопадов (*принимая стаканчик, укоризненно*). Я ж тебе имя-отчество назвал или запомнил?

Сухов. Виноват, Николай Васильич.

Начинается питейное священнодействие, со всем, сопутствующим ему ритуалом: кряканьем, занюхиванием, многозначительными междометиями.

Листопадов (*устраиваясь на скамейке*). Скажи-ка ты мне, дорогой мой Федор Егорыч, как мы дошли до жизни такой, лучше сказать, как докатились? Неужели отцы наши, а мы следом за ними голодали, холодали, загибались в окопах, строили, недоедали, недосыпали, чтобы базарный барыга правил сегодня бал на советской земле? Что

с нашими детьми делается, куда их несет, чем они недовольны, чего добиваются? Захожу, понимаешь, на днях в городскую библиотеку, а там прямо в читательном зале пацан лет двенадцати, самая пионерская пора, ходит у столов, женскими трусиками и бюстгалтерами торгует. Я было ему: что же ты тут, паршивец, делаешь, почему не в школе и как, мол, тебе не совестно? А он мне: "Закрой, — говорит, — беззубую варешку, старый козел, не то, говорит, я тебя сейчас по стеклу размажу, а сопли на уши навешаю." Я было к народу, а народ в книжки-тетрадки глаза прячет, отворачивается. Каково, а? Что ты на это скажешь, солдат?

Сухов. Разные бывают, Николай Васильич, у меня ребята — не жалуюсь, самостоятельные.

Листопадов. Повезло тебе, Федор Егорыч. А, глядишь, и не одному тебе повезло, значит, не все еще потеряно. *(Выливает остатки в стаканчик, протягивает Сухову)*. Давай, солдат, последнюю, разгонную, по-братски пополам! За детей наших!

Сухов *(отпивает из стаканчика, передает Листопадову)*. Им жить, нам грехи замаливать.

Листопадов *(пьет, ставит стаканчик на лавочку)*. Смотря что грехом называть. Вот помню *(крепость вдали опять оживает в красках и звуках)*, в Восточной Пруссии прибилсь к моей части цыганенок один, думаю, пятнадцати ему еще не было. Шустрый такой оголец! Душа солдатская, сам знаешь, в огне черствеет, ссыхается, а тут, смотрю, отмякают мои ребята на глазах, всякий норовит с мальчонкой последним поделиться, что там поделиться, все отдать. Тот, хитрец, всю эту лаской пользовался. Ко всему прочему, он еще и подворовывал, и привирал, но, правда, в тяжелый час за чужой спиной не прятался, службу свою маленькую нес исправно, услужливый парнишка был. Только накрыли нас как-то в балтийских болотах со всех сторон, ни вырваться, ни прорваться. Обкладывают минометами вслепую, по площадям, головы от кочек не оторвать, косят через одного. Слышу, шелестит вокруг: "Мору зацепило!" Парнишку у нас "Морой" прозвали, другого имени ему никто не знал. Подползаю, а он уже, бедняга, только икает: живот наизнанку, хоть анатомию по нему изучай, а у нас не то что медикаментов — бинта единого на всю часть не сыщешь, а чего там было бинтовать, одно мясо да внутренности. Не жить ему оставалось — мучиться. Ну скажи мне, дорогой ты мой Федор Егорыч, что я должен был тогда сделать в этих болотах: дать ему вот так загибаться в муках пыточных? То-то и оно! Накрыл я его своей плащ-палаткой, вынул "ТТ" из кобуры и нажал курок *(в наступившей тишине гремит одиночный выстрел)*. Вот и ответь мне теперь, солдат, грех это или нет?

Сухов (*твердо*). Грех.

Листопадов (*словно обессилев*). Надо бы еще выпить по этому случаю да припас иссяк. Что ж, тогда давай, Федор Егорыч, споем с тобой на прощанье нашу солдатскую, только потихоньку, чтобы добрых людей не пугать.

Листопадов вполголоса затягивает, а Сухов старательно вторит ему: "Враги сожгли родную хату, убили всю его семью, куда, куда идти солдату, куда нести печаль свою". Песня крепнет, набирает силу, заполняя собой пространство: "Сидел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, а на груди его светилась медаль за город Будапешт..."

Капа (*спешит к ним*). Вы уж простите меня, старую, Николай Васильич, кого еще мне просить, кроме вас, забрали моего Стаську, в милицию, в камере сидит с целой компанией, кто же мне теперь пособит его вытащить, один вы, больше некому! Христом Богом прошу, Николай Васильевич!

Падает на колени.

Занавес.

Картина пятая

Обстановка та же. Наступает едва еще заметный рассвет. Сухов подремывает на скамейке под фонарем. Появляется Вирина, сильно помятая и развинченно неуверенная в движениях.

Вирина. Опять этот чмур здесь! Расползлись старые хрычи по всем щелям, как тараканы, доброму человеку голову приклонить нигде. (*К Сухову*). Проспишь Царствие Небесное, дед!

Сухов (*вздрагивает, просыпается*). А!.. Чего?..

Вирина. Царствие Небесное, говорю, проспишь.

Сухов. Здравсте-пожалста! Явилась — не запылилась! Не посоветилась старика обобрать, еще и насмешничает! Позарилась на трудящее добро, стыд-то где?

Вирина. Вернул же тебе Стаська сумку твою вшивую, чего больше надо, чего разоряешься?

Сухов. Выходит, одна шайка.

Виринея. Чудак ты сивый на букву “м”, не я бы, у тебя сонного ее бы с концами увели, скажи мне спасибо, что сберегла. Сообрази дырявым своим чугуном: могла бы и не отдать.

Сухов. Я тебе еще и в ножки поклониться должен! Нашим салом по мусалам, меня ж моим добром и носом в грязь.

Виринея. Получил ты добро свое, ну и заткнись, не тебе говорить, не мне тебя слушать.

Сухов (*возмущенно вскакивает*). Как же, держи карман шире, получил! В Берлин укатила сумка моя, как я ее обратно достану?

Виринея (*устало опускается на скамью*). Как укатила, так и вернется, перезимуешь.

Сухов (*взволнованно бежит по перрону*). Ну да, ну да: ты умри сегодня, я — завтра, это я слышал, с лагеря еще зарубил, а совесть где у вас, совесть где, говорю?

Виринея (*поднимает на него тяжелые глаза*). Совесть, говоришь? Меня вот сейчас со Стаськой крутые в четыре смычка пользовали, а я орала на всю станцию, кто-нибудь посовестился, вступиться прибежал? Может, ты, дед, с дрыном на них кинулся?

Сухов (*сникая*). Милиция, слышно, свистела.

Виринея. Во-во, в милиции нас менты опять в шесть смычков сгоняли да еще и дубьем по ребрам врезали. Вот и вся милиция.

Сухов (*как бы надламываясь от невидимой тяжести, снова опускается на скамейку*). Что же это такое делается!.. Разве по закону такое допускается? Это же совсем беспредел, дальше некуда... Ты бы что ли прилегла, Виринея, а я посижу с краюшка, постерегу.

Виринея (*словно надломившись*). Чего же меня теперь стеречь, дедушка, я давно уж даром никому не нужна. Даже не знаю, зачем живу, а удавиться или под поезд броситься не взойду, куражу нету. Ты вон сколько лет прожил, научи, что мне делать?

Сухов. К старости только дуреешь, дочка, самого кто бы научил, надоумил, зачем век прокоптил? Смотрю кругом, ум за разум заходит: сорвалась жизнь с резьбы, раскатилась во все стороны, ложками не соберешь, будто нечистая сила людям глаза затит. (*Отодвигается на край скамейки*). Ты ложись, ложись, дочка, не стесняйся, места хватит, до утра еще спать и спать, устраивайся.

Виринея. Вернется твоя сумка, дедушка, увидишь.

Сухов. Бог с ней, с сумкой этой, дочка, спи. (*Помогает ей прикрыться*). У меня свои в твоих годах, правда, сыны, я над ними до самой армии дрожьма дрожал, пацаны ведь, не приглядишь вовремя, головы не снесут. Бывало, выловишь за каким баловством, ну и стеганешь слегка, правда, крапивкой если, а так пальцем не трогал, не в моем это характере. Зато и выросли, грех жаловаться, к людям и к отцу в уважении, своими домами живут, опять же внуками

старость мою утешили. По твоим годам ты бы невесткой моей могла сделаться, обихаживала бы старика, пекла бы мне оладушки по праздникам, люблю, грешным делом, оладушки...

Виринея (*затихая*). Говори, дедушка, говори...

Сухов. У меня слов по всякому случаю ой сколько, жизнь была долгая, хотя, по правде, с воробьиный нос, век рассказывай, не перескажешь.

Появляется Листопадов.

Листопадов. Отхлопотал я паршивца, скоро выпустят, но чего это мне стоило! Дежурного лейтенанта капитаном величал, лишь бы умиловить, рядовым с почтением руки пожимал, только бы снизошли, на верха ссылался, тьфу, вспомнить — уши горят. Старуху не видел, обрадовать бы, из-нее только и старался, уж очень переживала.

Сухов. К милиции стеречь пошла.

Листопадов. Выходит, разминулись.

Сухов. Выходит.

Листопадов (замечает Виринею). Кого это еще тебе Бог послал? Или тоже на старости лет приключений ищешь, Егорыч?

Сухов (*укоризненно*). Грех Вам, Николай Васильич.

Листопадов. Ну прости, прости, Федор Егорыч; брякнул, не подумав, с кем не бывает. Откуда она?

Сухов. Из милиции.

Листопадов. Сбежала?

Сухов. Отпустили.

Листопадов. Стеречь решил?

Сухов. Жалко.

Листопадов. Их тут таких вокруг вокзала знаешь сколько? Всех не пережалеешь..

Сухов. Кто ж их пожалеет?

Листопадов. Общество, Егорыч, общество.

Сухов. Видно, не до того ему.

Листопадов. А до чего ему? Только до лавочников в "мерседесах" или до одних "зелененьких"? Тогда пусть не разводит турусы на колесах про свободу и демократию. Не может быть ни свободы, ни демократии за чужой, а в том числе и за ее счет.

Сухов. Я человек маленький.

Листопадов. На вашей малости они и катаются.

Сухов (*тихо, но твердо*). А вы на чьей катались, Николай Васильевич? На той же.

Листопадов. Вон как ты заговорил, солдат! Скромн, скромн, а кусаться умеешь. И больно.

Сухов. Ваша наука.

Листопадов. Слава Богу, хоть этому научили, вот и покажите зубы, пока вас с потрохами не съели.

Сухов. Дайте срок.

Листопадов. Подождем.

Сухов. Детей жалко. *(Бережно оправляет на Виринею одежду)*. За что их судьба наказывает, за какие грехи?

От его прикосновения Виринея приходит в себя. Недоуменно оглядывается, замечает Листопадова.

Виринея. Интересно.

Листопадов. Что именно?

Виринея. А еще говорят, гора с горой не сходятся.

Листопадов. Еще загадочнее.

Виринея. Конечно, где вам меня упомнить, за мной, видно, еще большая очередь была.

Листопадов. С возрастом знакомых у меня почему-то не убавляется, а наоборот — все больше.

Виринея. Знаю: счесть — не перечесть. Только у меня память лучше, забыла бы, да не получается.

Листопадов. Разумеется, вы — намного моложе.

Виринея. Где она осталась, эта молодость! А чудится, будто вчера случилось: лето, выпускной бал у нас в школе, поздний вечер...

Гаснет свет. Издалека пробивается мелодия "Школьного вальса". На сцене, друг против друга вспыхивают два световых пятна, в которых, будто на фотографии пятидесятих годов, возникают юношеские изображения Стаса и Виринеи в школьных формах тех лет. Крепость над городом опять напоминает о себе.

Стас *(торжественно)*. "Жизнь нам дается один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, ты мог сказать, вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества."

Виринея. "Под насыпью, во рву некошенном, лежит и смотрит, как живая, в цветном платке, на косы брошенном, красивая и молодая... Три ярких глаза набегающих, нежней румянец, круче локон. Быть может, кто из проезжающих посмотрит пристальней из окон. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели..."

Слышатся аплодисменты. В темноте высвечивается изображение аплодирующего Листопадова.

Листопадов. Молодцы, ребята!.. Какие молодцы! Хвалю, хвалю, будем поддерживать молодые таланты... Пригласите-ка их ко мне, на завтра, часикам эдак к десяти...

Возвращается та же обстановка.

Виринея. А потом вы меня уломали на машине подвезти... А потом, сами знаете, что было.

Листопадов *(смешавшись)*. Вы, по-моему, меня с кем-то путаете. Со всеми случается.

Виринея *(насмешливо)*. Эх, товарищ Листопадов, товарищ Листопадов, нехорошо. По-вашему получается: бараться — смеяться, а рожать — плакать. Или: наше дело не рожать — сунул, вынул и — бежать. Нехорошо старых подруг забывать.

Сухов. Николай Васильич, товарищ генерал, как же это?

Листопадов *(из него словно выпустили воздух)*. Подожди, солдат, подожди, осадил коней, мой, как ты говоришь, грех, мне и отвечать.

Сухов. Но ведь не по-людски это, товарищ генерал, не по-человечески, вот что я скажу!

Виринея. Ладно, чего уж там, подумаешь, делов-то, одной целкой меньше стало. Говорят же, сучка не схочет, кобель не вскочит, мне вспоминать, ему — угрызаться. Кто старое помянет, тому плюнь в стакан. Пускай лучше Николай Васильич нам с дедом на опохмелку отслонявит, от него не убавится, а нам кайф на халяву.

Листопадов *(покорно)*. Мне не жалко. *(Достает бумажник, открывает, отсчитывает купюры, потом решительно вытряхивает его на скамейку)*. Берите все, только нужно ли, ведь опять милицией кончится.

Виринея *(собирая деньги)*. А это уж не ваша забота, Николай Васильич, нам пить, нам и жаловаться.

Листопадов. Ладно, пойду я, пожалуй.

Направляется было в темноту, но навстречу ему выходят Капа со Стасом.

Капа. Век за вас Богу молиться буду, Николай Васильич, не вы бы, сидеть бы ему теперь и сидеть.

Листопадов. Чего там, выпустили и слава Богу, было бы только парню на пользу.

Стас. Хорошо бы.

Листопадов (*мучительно всматривается в Стаса*). Ишь ты... Со стороны не признал бы...

Стас. Родня тоже всегда говорила: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца.

Листопадов (*неуверенно*). От матери что-то есть, а от молодца — не знаю.

Стас. Без разницы.

Капа (*к Виринее*). И ты тут?

Вириняя. Тебе места мало?

Капа. Глаза б мои тебя не видели!

Вириняя. А ты не смотри.

Капа (*наступает на нее*). Ты у меня поговори, поговори! Погубила парня, лахудра вокзальная!

Стас (*требовательно*). Ма!..

Листопадов (*берет Капу за локоть*). Остынь, Капитолина, криком делу не поможешь, пускай сами между собой разбираются, мы за них все равно ничего с тобой не решим. Пойдем-ка, подвезу тебя до дома, по дороге и поговорим по-людски. (*К Сухову*). Сумку твою, Егорыч, привезут, я договорился. И заглядывай, если надумаешь, до меня тебя тут всякий доведет.

Подталкивает ее впереди себя, и она, покоряясь его настойчивости, удаляется вместе с ним.

Вириняя. Видал, отец, слышал?

Сухов. Люди.

Вириняя. Люди ли?

Сухов. Как все.

Вириняя. Если все такие, тогда зачем жить?

Сухов. Сам думаю.

Вириняя. У кого спросить?

Сухов. Не знаю.

Вириняя. Ты ведь жизнь прожил, Федор Егорыч, дом построил, детей вырастил, внуков, кому же еще знать?

Сухов (*вдруг почти в исступлении*). Нету у меня ничего! Никого нет! От сыновей давно след простыл, внуки только во сне снятся, а дом мой весь, что в сумке, а больше никогда и не было! Один я! На всем свете один!

Будто в ответ ему крепость над городом отдаленно грохочет боевой канонадой.

Занавес.

Картина шестая

Обстановка та же. Рассвет набирает силу. Сухов дремлет на краешке скамейки, а Стас и Вириная, сидя друг против друга, негромко переговариваются. Между ними — бутылка, из которой они время от времени, по очереди отпивают. Чуть слышно звучит мелодия “Школьного вальса”.

Вириная. Стасик?

Стас. Ага?

Вириная. Ты меня любил?

Стас. Начинается.

Вириная. Нет, честно?

Стас. Сколько можно об этом!

Вириная. А я тебя любила..

Стас. Нашла о чем.

Вириная. А о чем мне еще, мне больше не о чем. Только и осталось, что вспоминать.

Стас. Лучше пей, лови кайф.

Вириная. Попробую. *(Отпивает из бутылки)*. Твое здоровье.

Стас. Свое береги.

Вириная. Стараюсь...

Включается вокзальный громкоговоритель: “Внимание, внимание! Гражданина Сухова Федора Егоровича, потерявшего свои вещи, просьба обратиться к дежурному по станции!”. — “Внимание, внимание!..”

Стас *(толкает Сухова в бок)*. Это тебя, отец. Пойдем, провожу, а то еще опять заблудишься.

Сухов *(приходя в себя)*. И то дело. Пошли...

Уходят.

Вириная *(одна)*. Эх, Стаська, Стаська, если бы не ты, чего мне на этом свете делать?

Показывается Листопадов.

Листопадов. Не помешаю?

Вириная. Помешали.

Листопадов. Извини, я не хотел.

Вириная. Чего уж тут извиняться, Николай Васильич, мы люди свои, пришли так пришли.

Листопадов (*заискивающе*). Слушай, Вириная, ты не подумай плохого, я сейчас к тебе как отец обращаюсь: кончай ты эту волюнку, опомнись, возьми себя в руки, я тебе помогу.

Вириная. Совесть что ли точит, Николай Васильевич? Не угрыжай-тись, не вы бы, так кто-нибудь другой, видно, у меня на роду такая судьба написана, от нее не уйдешь. Кому я после всего этого нужна с моими-то болячками? Нынче здоровым некуда деваться. Пробовала как-то, бесполезно.

Листопадов. Говорю, помогу тебе.

Вириная (*насмешливо*). А вы мне один раз помогли, Николай Васильевич, век не забуду.

Листопадов (*просительно*). Вместо дочери у меня будешь.

Вириная. У вас, Николай Васильевич, таких дочек было, до Москвы на карачках не переставишь, всех не удочерить. Я уж как-нибудь своим ходом в рай доберусь.

Листопадов. Зря ты так, Вириная.

Вириная (*в сердцах*). Бросьте вы мне, Николай Васильич, мозги пудрить. Чего вам от меня надо? У вас своя жизнь, у меня — своя. Нечего мне в душу лезть, она и так у меня вся залапанная. Идите туда, откуда пришли, там наверняка пожалеют. А я нынче не подаю, самой пить не на что.

Листопадов. Я же тебе добра хочу!

Вириная. А мне от вас никакого добра не надо, тоже мне дед Мороз нашелся. Нам ваше добро всю дорогу боком выходит, вам бы этим добром самим подавиться! (*С неожиданной кокетливостью*). Отвалили бы лучше интересной женщине стольник-другой на помин души, вот и будет добро, добрее некуда, честное слово.

Листопадов. Деньги что... Деньги я всегда тебе дам. (*Роемся в карманах*). Понадобится еще, приходи... Или пришли кого...

Со стороны вокзала вдруг доносятся шум, топот, крики: "Скорую вызывайте!" — "Милиция, где милиция! Когда надо, их не дозовешься!" — "Чего?" — "Что такое?" — "Человек под поезд бросился!" — "От такой жизни сам бы бросился!" — "Давай, что мешает, может, помочь?" — "Чмур чокнутый!" — "Крышу себе поправь, козел!" — "Милиция!"

Вириная. Опять шухер какой-то.

Листопадов. Слышно, человек под поезд попал.

Вириная. Одним больше, одним меньше, лишь бы не Стаська. Надо бы посмотреть...

Бросается было к выходу, но путь ей заступает растерянный Стас с суховской сумкой в руке.

Стас. Вышли из дежурки, он мне говорит: “Подержи сумку, я сейчас”, а сам к путям, там как раз маневровый шел, он под него и ссыпался... Кто ж его знал?.. До самого конца вида не подавал.. Духовитый, видно, старик был... Куда теперь эту сумку нести? (*Ставит ее на скамейку*). Скажи кому, не поверят!

Виринея. Я бы поверила.

Стас. С чего бы?

Виринея. Видно было, не жилец.

Стас. Не заметил.

Виринея. Ты бы в глаза его посмотрел.

Стас. И что?

Виринея. Не на людей, в себя смотрел.

Листопадов (*решительно*). Вот что я вам скажу, ребята, послушайте старика, уходите вы отсюда, уходите куда глаза глядят, иначе пропадете, совсем пропадете, затянет вас это болото.

Стас. Давно затянуло, Николай Васильич, уже не вылезешь, чего зря трепыхаться?

Листопадов. Неужели к людям не хочется?

Виринея. А где они — люди.

Листопадов. Оглянись — увидишь.

Виринея. Глядела — нету.

Листопадов. Пошли со мной — покажу.

Виринея (*с вызовом*). Уж не себя ли?

Листопадов (*уздая*). Я что, я свое отжил.

Виринея. Вот и слава Богу. И будет нас учить жить. Поучили и хватит, а от вашего учения мы все друг дружку скоро насмерть перегрызем. Идите себе, Николай Васильич, своей дорогой, а мы в другую сторону. Чао!

Листопадов (*убито*). Ладно, ребята, жизнь рассудит... Не поминайте лихом! Листопадов людям добра хотел...

Уже не вальяжным номенклатурным барином, а сломленным стариком-пенсионером уходит от них Листопадов в рассветные сумерки. Стас и Виринея остаются вдвоем и порывисто прижимаются друг к другу.

Виринея. Помню, как я в тебя влюбилась.

Стас. Поменьше бы помнила.

Виринея. Влюбиться влюбилась, а той же ночью с другим легла.

Стас. Вот память!

Виринея. Ты еще тогда на выпускном вечере Николая Островского читал.

Стас. А ты Блока.

Виринея. Значит, тоже помнишь.

Стас. Уж больно смешно было.

Виринея. А как хлопали!

Стас. Из вежливости.

Виринея. Завидуешь?

Стас. Господи!

Виринея. Я не обижаюсь.

Стас. Шутка.

Виринея. Здоровый ты уже лоб, Стаська, а дурак.

Стас. Не спорю.

Виринея (жметя к нему). А Егорыч, по-моему, мужик оказался правильный, правда, Стасик?

Стас. Молоток...

Виринея. Жалко его.

Стас. Ага...

Обнявшись, они затихают. Оживает станционный громкоговоритель: "Внимание, граждане пассажиры! Коллектив нашего железнодорожного узла поздравляет вас с наступившим праздником сорок девятой годовщины Победы над гитлеровской Германией!". Над крепостью за городом тут же взлетает фейерверк праздничных ракет под нарастающую мелодию "Священной войны". К стоящей одиноко у лавочки сумке Сухова выкатывается разноцветный мячик. И следом за ним из-за сцены раздается призывный детский голос: "Мам, мам, мячик убежал!". Над крепостью продолжает расцветать ракетная россыпь, постепенно сливаясь в сияющую радугу.

Конец.

К 50-летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

От редакции

Этот номер подписывался к печати в дни, когда в Москве, в других городах России и бывшего СССР уже отгремели юбилейные торжества по поводу 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но такая страшная, трагическая и величественная пора в жизни нашего народа, как эта война, не может жить в его памяти только по юбилейным датам. Она присутствует в ней всегда, во многом определяя и сегодняшнее народное миропонимание и миро-чувствование. Поэтому она и требует возвращения к себе не только для здравиз или благодарного поминания погибших, к которому обязывает нас, живых, наш долг перед ними, но и для трезвого, ответственного анализа и осмысления — для извлечения из тяжкого опыта тех лет исторических и национальных уроков, способных помочь нам лучше видеть наше прошлое, наше настоящее и наше будущее.

Готовя эту подборку для литературно-художественного отдела 84-го номера, редакция исходила именно из такого понимания смысла и целей нашего сегодняшнего обращения к той далекой поре. Вот почему — несколько, может быть, необычно для литературно-художественного раздела — мы открываем ее небольшим публицистическим эссе члена редколлегии “Континента” Андрея Зубова, где, на наш взгляд, обозначены некоторые из тех важнейших проблем, которые и связаны с осмыслением уроков Великой Отечественной войны, особенно актуальных для нас сегодня.

Именно для этой подборки предназначалась превозначально и пьеса Владимира Максимова “Борск — станция пограничная”, напечатанная выше. Мы специально приберегли ее для этого номера, но кто же знал, что в нем же нам придется и прощаться с основателем и бывшим главным редактором “Континента”, безвременно от нас ушедшим? Мы сочли необходимым напечатать пьесу именно на тех страницах журнала, которые посвящены его памяти, но читателя, приступившего к чтению предлагаемой

ниже подборки, мы просили бы иметь в виду, что открывать ее должна была именно пьеса Максимова, в художественную ткань которой так органично вплетена горькая тема сегодняшней судьбы ветеранов Великой Отечественной.

Как будто бы несколько менее связана с темой войны поэма Владимира Соколова "Алиби", которую мы тоже решили напечатать тем не менее на этих страницах. И не только потому, что в ней присутствует, как увидит читатель, и прямое обращение к образам военного лихолетья. Куда важнее для нас было в данном случае то, что всем своим духовным составом эта напряженная художественно-философская поэтическая исповедь обращена к тем чувствам, мыслям, нравственным исканиям, сомнениям и мукам, без которых в наш век просто невозможно подлинное и достойное самостояние человека, не желающего быть соучастником творимого в мире зла, но и не избавленного от нравственной ответственности за него, не имеющего здесь никакого алиби. А все это прямо связано и с осмыслением такого громадного и трагического опыта нашей исторической жизни, как опыт той далекой — и такой недавней — войны. Войны, без сегодняшнего духовного самоопределения по отношению к которой невозможно никакое нравственно вменяемое самоопределение наше и в "бегущем" дне.

Наконец, завершают предлагаемую подборку две вещи, одна — в жанре повести, другая — рассказа, но, по существу, представляющие собой человеческие документы — мемуарные свидетельства двух наших современников, когда-то совсем еще молодыми попавших на войну, полной мерой зачерпнувших ее страшного варева и закончивших свой путь на территории поверженной Германии. Именно искренностью и подлинностью этих свидетельств, нередко весьма и весьма не обычных для нашей военной мемуаристики, более всего и привлекли нас эти две литературно вполне неприязательные вещи. Надеемся, что так же примет их и читатель.

ПОБЕДА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Катастрофа, постигшая Красную армию летом и осенью 1941 года, была столь наглядна, что замолчать ее, как это всегда делалось с неудачами, постигавшими Советский Союз за все семь десятилетий его истории, не было ни малейшей возможности. Поражение требовало объяснений, и объяснения эти стали предлагаться чуть ли не немедленно. До XX съезда КПСС катастрофу первых месяцев войны объясняли извечным миролюбием советских людей, не думавших, что Гитлер нарушит Пакт о ненападении от 23 августа 1939 года. Говорили также о том, что советские войска оказались неотмобилизованы, так как войны не ждали, а германские дивизии были совершенно готовы к наступлению и кроме того обрели опыт боевых действий в Европе.

Объяснения эти, предложенные Сталиным в работе “О Великой Отечественной войне Советского Союза”, и тогда не казались вполне убедительными, но спорить с вождем никто не решился. Да и к чему были эти споры в эйфории победы? Позднее, когда культ личности был “разоблачен” Хрущевым, объяснение причин поражения стало иным. В военной катастрофе 1941 года виноват Сталин и ближайшее его окружение — это они халатно не подготовились к надвигающейся войне, пренебрегли предупреждениями разведки и Уинстона Черчилля, разрушили, желая “задобрить” Германию, старую линию обороны, не позаботившись о скорейшем строительстве новой. В брежневское время об ошибках прошлого предпочитали говорить

Андрей ЗУБОВ — родился в 1952 году в Москве. Закончил МГИМО. Доктор исторических наук, сотрудник Института востоковедения РАН. Автор двух монографий и многих десятков статей по политологии, религиоведению, истории русской философии. Член редколлегии “Континента”.

поменьше, а новые версии поражений первого года войны отдали на откуп диссидентам.

Появившаяся несколько лет назад книга Виктора Суворова “Ледокол” предложила новую — и, на мой взгляд, достаточно убедительную — версию причин поражения первого года Великой Отечественной войны: Советский Союз сам готовил агрессивную войну против Германии, но Гитлер опередил Сталина и нанес 22 июня упреждающий удар. Правильно ли указал сроки В. Суворов и вполне ли вообще соответствуют тому, что реально было, приводимые им сведения, вычисления и аргументы, — во всем этом можно, конечно, сомневаться. Но в принципе его концепция весьма правдоподобна — все, что мы знаем о Сталине, Молотове, Берии, Ворошилове и иных советских вождях последних предвоенных лет, не свидетельствует в пользу добреньких, наивных простачков, свято чтущих букву международных договоров и содрогающихся от мысли о каждой загубленной душе. Нет, и во внутренней жизни, и в межгосударственных отношениях советские вожди той эпохи предстают умными, коварными, до предела искушенными политиками, жаждущими одного — умножения собственной власти и в уже покоренной ими России, и в иных, еще независимых от них странах. Раздел Польши, убийство десятков тысяч польских офицеров в Катыни, Осташкове, Козельске, захват трех балтийских республик, аннексия Бессарабии и Северной Буковины, попытка (неудачная, впрочем) завоевания Финляндии не в большей степени свидетельствуют о миролюбии коммунистических вождей, чем ГУЛАГ, голодомор, тотальное уничтожение социально чуждых элементов, да и собственных, ставших почему-либо неугодными соратников и верных слуг. Сталин безусловно имел агрессивные наклонности, и их полной реализации помешали лишь агрессивные действия другого кровавого маньяка XX века — Адольфа Гитлера.

И все же Виктор Суворов — при всей убедительности его гипотезы, неправ в некоторых очень важных, едва ли не главных вещах. Русские отступали в 1941 году не только потому, что Сталин готовил агрессию, но не успел нанести удар первым. Отступал не Сталин, отступали миллионы солдат Красной армии. Полная деморализация наших войск произошла, думаю, и потому, что планы Сталина были планами народа. Во всяком случае — достаточно значительной его части. Кто распевал в предвоенные годы — “от тайги до Британских морей Красная армия всех сильнее”? Кто мечтал вместе с Багрицким (точно, как сейчас Жириновский) “дойти до Ганга.. чтобы от Индии до Англии сияла Родина моя”? Кто бредил новыми республиками в составе Союза и учился на ворошиловских стрелков? Единицы? Десятки? Тысячи? Сотни тысяч?..

Если бы...

Но, что самое ужасное, очень многие уже запятнали свои руки и насилием — донося, лжесвидетельствуя, конвоируя, ликвидируя и пытая арестованных. А другие развратили свои души, молча соглашаясь на творимые беззакония, а то и получая от них прибыль — должность репрессированного, его жилплощадь, часть имущества, удовлетворение зависти — этого отвратительного национального нашего порока...

По моему мнению, именно этот безнравственно-агрессивный комплекс народной души и вызвал то бессилие воли, которое на войне всегда приводит к поражениям, если кампания из “большой прогулки” превращается в изнурительное противоборство. Народ собирался воевать на территории врага, военачальники наши не меньше германских бредили блицкригом. А получилось все совсем не так весело. Просчеты советского высшего командования превратили войну из наступательной в оборонительную, и эта неожиданная для войск и народа оборона обернулась тотальным отступлением на всем фронте от Паланги до Килии.

А дальше случилось “чудо”, похожее на то, какое однажды уже было в нашей истории. Как и в 1812 году, русские, осознав — как всегда больше сердцем, нежели умом, — что теперь на кон поставлен не успех или неудача большой европейской игры, но само существование Отечества, преобразились. Может быть, впервые такое осознание необходимости защиты родного дома пришло в августе 1941 года под Вязьмой, на “дорогах Смоленщины”, чтобы окончательно отлиться в непреодолимую для врага броню у стен Москвы и твердынь Сталинграда. Именно такое, новое для коминтерновца-интернационалиста, но в действительности древнее, как мир, чувство — защита не на живот, а на смерть родного очага, отчего дома, могил предков, любимой женщины и детей, которых родила она тебе, — все это преобразило души, исполнив их решимости. Именно тогда, в ледяных вьюгах декабря 1941, пробил для нас “час мужества”. В смене газетного призыва с “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” на “За нашу советскую Родину!”, в кличе “За Родину, за Сталина!” был явлен новый смысл и характер войны, превращавшейся — и превратившейся — в Великую Отечественную. Почти угасшее в предвоенные коммунистические десятилетия чувство отчего дома возродилось с необычайной силой и сделало непреодолимым контрнаступление Советской армии, дошедшей до Берлина и Вены. Уверен, что это великое чувство, а не заградотряды НКВД дало силы нашим воинам. Под бичами побеждать нельзя — это наглядно показали еще греки персам при Платеях.

Да, большинством наших сограждан Родина продолжала осознаваться “советской”, водительствоваемой великим Сталиным, но и Сталин и “советскость” впервые сами стали атрибутами Отечества, а не Россия — ИХ вотчиной, плацдармом Мировой Социалистической Революции. Впервые после гражданской войны русские ощутили себя русскими, и даже сам Иосиф Сталин провозгласил на банкете в честь победы тост за “великий русский народ”. Именно это “припадание к земле” сделало Русь, как когда-то Антея, непобедимой.

Вот почему и в этом важном пункте Виктор Суворов глубоко неправ, отнимая у той страшной войны право именоваться Великой Отечественной. Она не была такой поначалу: такой она вообще, по замыслам Сталина, не должна была быть. Но реальность заставила ее сделаться такой, и сделал ее такой — народ. Это сознание у народа — сознание, что он вынес на плечах не какую-нибудь, а именно Великую Отечественную войну, — не отнимешь. Как не отнимешь у него и его Победу в этой Войне.

Хотелось бы и закончить этой мажорной нотой!.. Увы, приходится продолжать. В конце концов, войну, в которой народ действительно выстрадал Победу, мы Германии все же проиграли. И поражение это ныне ощутимей, чем когда-либо.

Сознаю всю экстравагантность такого заявления, но давайте разберемся беспристрастно. Полвека утверждали мы, что освободили Европу от фашистской чумы, и это точно так. Но, освободив от нацизма, мы навязали той половине Европы, куда ступила нога советского солдата, коммунизм. А разве одна чума краше другой? Разве уничтожение священников, капиталистов и интеллектуалов лучше, чем вырезание евреев и цыган? Прав был Черчилль, когда еще в 1939 году сказал в парламенте, что коммунизм отличается от фашизма не более, чем северный полюс от южного. А о том, какую свободу дали мы Восточной Европе, лучше всего свидетельствуют советские танки в германских городах в 1953, в Венгрии в 1956, в Чехословакии в 1968. Да и жестокая война в Латвии до 1950 года, в Литве и Галиции — до 1956 говорит о характере “освобождения” с печальной наглядностью.

Но, может быть, мы освободили хотя бы Россию?

Увы — нет. Да, мы избежали гитлеровского рабства, но в полной мере получили ярмо сталинское, а разве оно легче? Разве депортации чеченцев и калмыков, перемещение из немецких концлагерей в магаданские берлаг, ленинградское дело и дело еврейских врачей краше Освенцимов и Дахау? По мне — они равноценны. Но не так позорно быть завоеванным внешней превосходящей силой, как покориться своему, доморощенному “Тараканишу”. Почему вдохнув-

шие воздух Европы и обретшие веру в себя и чувство собственного достоинства советские солдаты и генералы не обратили оружия на страшные дивизии Лаврентия Берии, на кремлевского кровавого деспота? Что — страх, глупость, надежда на перерождение волка в агнца — что владело умами воинов, возвращавшихся с Эльбы и с берегов Дуная? Почему герой номер один, маршал Жуков безропотно превратился в скромного командующего Одесским округом?

Боюсь, что объяснение этому не только в подавленности советских людей предшествующими десятилетиями коммунистического террора, и не в русском обычае покоряться любой власти.

Да, главное было в том, что, как уже сказано, именно Сталин и “советскость” для большинства наших людей все еще продолжали оставаться центральными символами веры. И корни этого глубочайшего народного помрачения уходят, конечно, во всю толщу прожитого и пережитого страной за десятилетия сталинского тоталитаризма.

Но в том, что война не сняла это помрачение, а едва ли не усилила его, сыграл свою роль и еще один постыдный и до сих пор замалчиваемый факт. Сталин — не знаю, сознательно или нет, — развратил победоносную армию, отдав ей завоеванные страны на разграбление. Вереницы студебекеров с награбленным добром, а то и целые железнодорожные составы, генеральские фронтовые жены, мародерствовавшие в брошенных домах Будапешта и Данцига, солдаты, невзирая на все “страшные” приказы насильничавшие женщин и засовывавшие в котомки подвернувшиеся трофеи, — цена, уплаченная нами за все эти азиатские варварства, была ужасной. Ценой мародерства стала наша свобода. Мародерами были не только отдельные солдаты и офицеры. Само советское государство действовало точно так же. Я говорю даже не о демонтированных и перевезенных заводах и музейных собраниях, об официальных и секретных депортациях. Слава Богу, что вспомнили мы, наконец, о запасниках Пушкинского музея и Эрмитажа. Государство мародерствовало существенно и масштабно. Западные союзники не взяли ни пяди земли у побежденных, разве что несколько перевалов в Альпах на итало-французской границе. Они сознавали, что побежден нацизм, поработивший германский народ, а не сами немцы, хотя, увы, и действия союзников на практике далеко не всегда были безупречны. Но Советский Союз в результате Второй мировой войны оказался обладателем четырех новых союзных республик, одной автономной, десятка административных областей и бесчисленных “прирезок” к областям уже существовавшим. И притом земельный этот передел был связан с изгнанием миллионов жителей, уничтожением культурных ценностей, массовыми репрессиями и грабежами. Награбленное, как это всегда

и бывает, не принесло нам счастья и благополучия: вывезенные заводы не преобразили экономику, микенское золото так и оставалось полвека кладом потаенным, а ненависть к русским в Галиции и Прибалтике немало способствовала распаду страны в 1990—91 годах и до сего дня отзывается бесправием и заигнанностью русскоязычного населения в этих землях. В свое время мы, чтобы победить, “не постояли за ценой”. Но знали ли мы тогда, в 45-м, как долго и сколь много придется нам платить по векселям?

Не нашлось у нас и своего Штауфенберга, своего графа Чиано; не возникло антикоммунистического движения, никто даже на полчаса не захватил Лубянки. И этим мы проиграли войну. К нашему стыду, тогда, в 1945 году, мы положили победу к ногам тирана, как гитлеровские знамена — к ступеням мавзолея, и тем обесчестили себя перед миром и перед потомками. Нет, каждый солдат в отдельности виноват в этом не больше, чем каждый из солдат рейхсвера, ступивших на землю России или Франции, но все мы безмерно виноваты. Виноваты перед теми народами, которым навязали на 45 лет коммунизм, виноваты и перед потомками. Мы мужественно защитили отчизну от нацистов, а вот от Сталина — и от “Сталина” в самих себе — защитить ее не смогли. И наши сегодняшние страдания и унижения во многом уходят корнями в тот наш страх, в то малодушие перед тираном, о котором лучше всех сказал в детских стихах Чуковский. Тигры и слоны тогда у нас были, а вот воробья, воробья-то и не нашлось.

АЛИБИ

Поэма

Так где я был, когда вы воду в ступе
Толкли со всей своей системой вкупе?
Я УХОДИЛ В МУЧИТЕЛЬНЫЕ ДАЛИ,
Вот, где я был, пока вы заседали.

Пролог

Я все живу и жить намереваюсь,
Покуда стих, как дудочка в лесу,
То приближается, то, удаляясь,
Влечет и сердце держит на весу.

Я все живу и всем лицом в забвенье,
Как в куст сирени майской, уходя,
До замиранья вслушиваюсь в пенье
Жемчужной птицы и в шаги дождя.

Ночной проходит дождь походкой слабой
Сквозь сад, шумя в ушах, как тишина,
И зная, что я здесь, под этой лампой,
Он топчется у моего окна...

**Владимир
СОКОЛОВ**

— родился в 1928 году в г. Лихославле (Тверская область). Окончил Литературный институт. Автор многих сборников стихотворений и поэм. Лауреат Государственной премии за книгу "Сюжет".

Не надо, проходи. Ты теплый, летний.
Здесь нужен лед. Иди к чужому дню.
Надежду, умиравшую последней,
Я без тебя, один, похороню.

Все медлил я. В напутствиях старинных
Отсрочку словно строчку находил...
И вот — “Поэма. В нескольких руинах”.
Вот — жанр, в который с веком угодил.

Все ждал чего-то. Все искал прогалин
Во времени, чтоб вырваться “вовне”.
И вот — поэма в несколько развалин,
Бессвязная, как эта жизнь в окне.

Не вырвался, не выбился. Обломки
Часов и дней сложив под шум дождя,
Я все гляжу в осенние потемки.
А дождь все топчется, не уходя.

...И трещина прошла
По государственной Библиотеке,
В чем Метрострой мгновенно обвинил,
От всей души инстанции минуя,
НИИ, где я не помню кем служил.
И, впрочем, прав наверно в чем-то был.
Там начались сплошные заседания...
А трещина? А трещина росла,
И наконец, разваливая Зданье,
Она по сердцу моему прошла.

Мне кто-то крикнул: “Через час собрание,
Куда бежишь?”

Я отвечал: “Дела!”

Был летний день. Хладея постепенно,
Алел асфальт сиреневый у ног.
Казалось, на Ордынке даже стены
Прекрасно знали, как я одинок.

Ампирный, восемнадцатого века,
Три этажа, три эркера. Подъезд
Дорический. И — чудо этих мест —
Он пуст! (Ни огонька, ни человека).

...Был день.

Прекрасной дамы солнечная тень
Возникла предо мной. Остановилась.
Ошеломленно на меня взглянула
Иль на кого-то за моей спиной.
Взгляд отвела. И в тот подъезд шагнула.
Тень, мы знакомы разве?..
Что со мной?..
Мне померещились глаза совы...

...Какие-то военные машины
Летели мимо тротуара... Солнце
Бросало зайчики сквозь шум листвы,
Как будто прыгающие червонцы...

Небезопасны старые дома
Для впечатлительного человека.
Там всяких душ перебивала тьма
С начала восемнадцатого века.

В его на диво слаженный ампир
Вдыхавшись, к счастью или же к несчастью,
Они остались здесь какой-то частью,
В нем сотворив особый дух и мир.

...Дверь проскрипела. Я вошел с оглядкой
(Дверь тяжело захлопнулась за мной).
Подъезд был пуст. Лежал узор цветной
На плитах пола солнечной накладкой.
Шла мраморная лестница изгибом

Справа налево — вверх — где, как балкон,
Коричневым фигурным парпетом
Висели антресоли, скрип тая.
Над антресолями и над подъездом
Висело небо, ангелы глядели
Вниз, на меня, томясь от паутины,
К ним подбиравшейся, от облаков,
Давно не белых...

Солнце сквозь витраж
Осколки радуги бросало на пол,
(Дверь тяжело захлопнулась за мной!)
Я сделал шаг... И закружилась пыль.
И я ослеп от страшного удара.

Я долго поднимался... Я стоял
На двух ладонях и на двух коленках,
Мотая головой...

И вдруг такой
ромашкой, кашкой в ноздри мне дохнуло,
попынью и кузнечиком в ушах,
так вдруг зашла вся степь синева,
что я вскочил, одернул гимнастерку,
потер затылок,
огляделся,

и...

“Р-равняйся!” — услышал...

Блекло-синий свод.
Мы, пленные, стараемся равняться,
Друг друга выпираючи вперед.
А рядом вишни, яблоневый сад,
Искусственный бассейн, флагшток,
палатки...

“Р-равняйся!” — как на линейке...

Здесь вчера
Был пионерский лагерь.

СТЫД. Жара.

И так по-свойски, буднично:

“Евреи

И коммунисты, шаг вперед.”

И Додик,

Как кто-то рядом, сделал шаг. Вперед.

Тогда я тоже сделал шаг вперед.

“Ты коммунист?” — спросил ублюдок в черном,

Наверно, переводчик. Он, конечно,

Не немец был. Без нации, но — наци.

Я не был коммунистом. Я был другом.

И одноклассником.

Я руку положил

Давиду на плечо. И улыбнулся.

“Зачем ты вышел?” — он шепнул. “Молчи.

Так веселей!”

— “Встать на краю бассейна!”

И грянул залп...

И в уши, как в ночи,

Плеснули волны Волги или Рейна...

Небезопасны старые дома

Для впечатлительного человека.

Здесь всяких душ перебивала тьма

С начала восемнадцатого века.

В его на диво слаженный ампир

Вдышавшись, к счастью или же к несчастью,

Они остались здесь какой-то частью,

В нем сотворив особый дух и мир.

Мгновенья, что над веком верховодят,

Дни, от которых годы без ума,

Как бесенята, вас захороводят...

Небезопасны старые дома.

Я всплыл. И, уцепясь за край бетонный,

Увидел, что я здесь совсем один.

Перевалился и, вцепясь в траву,

Рванулся и пополз, хватая землю,
И оказался в комнате... Я полз
По запыленному паркету. Сердце
Подкатывало к горлу, пульс — к вискам.
В моих горстях еще была трава,
Она ромашкой пахла и землей,
Я долго пальцы разжимал и видел,
Как исчезали медленно травинки,
Как на ладонях таяла земля.

Я стиснул губы чистыми руками,
Потом лицом припал бессильно к полу.
Пол закружился.

В этот самый час
Прохожие беспечно проходили,
Ерошил ветерок листву, шуршали
Колеса по асфальту возле дома,
Где я и был и не был...

Дом стоял
Во временах и в неподвижной дате
(Лишь тополь тенью гладил по стене,
Зеленый, но такой же старый, кстати).

...Я встал с коленей и, держась за воздух,
Ступая тихо, подошел к окну.
Потряс его и распахнул. Сырой
Вдыхая ветер осени и снега.
Не удивляясь больше чудесам,
Предоставляемым мне этим домом,
Я любовался бедным и знакомым
Пейзажем, где плутал я по лесам,
Где в этот миг к любой его тропинке
Был близок легкий гул Большой Ордынки.

Мой век, тебе давно не по себе!
Зачем ты вел борьбу со мной в себе?
Мне все равно, где это совершалось —
В Москве или в Париже, или там,
Куда за океаном по пятам
Бегут, ко мне испытывая жалость.

Прощайте все! Мне некуда бежать.
Я остаюсь от холода дрожать.
Здесь я наедине с двадцатым веком.
Здесь он во всей открытости своей,
Такой, как есть, на родине моей,
Где каждый пятый — вор или калека.

Мне все равно, какое время суток.
Мне все равно, какое время дня.
Мне все равно, какое время ночи.
Я уйду в знобящий промежуток,
Где ждут давно оболганные очи,
Все понимающие про меня...

Там, за рекой, где больше нет разлуки,
Где тень креста, хотя бы погощу.
С тяжелым вздохом подниму я руки
И с легким вздохом руки опущу.

Взойду по шатким, щелястым ступеням
На старый барский вымерший балкон,
Прислушиваясь к их дрожащим пеням
И к шелестам со всех родных сторон.
Пахнет снежком, и в желтом отдаленье
Проступит леса синяя стена...
В День Ангела слышней, чем в День Рождения,
Все времена твои, все имена...

Там родина моя... которой люди
Еще не знают, хоть на ней живут.
Ведь я не рассказал еще о чуде,
Что сходит к нам, когда его не ждут.
Однажды на заре я вышел в поле,
Еще едва впиталась в землю кровь.
И защемило сердце, как от боли,
От радости, что есть еще любовь!..
Ведь родина не только эти дали
И эта высь, она ведь, между тем,
То место на планете,

где нас ждали,

Когда еще нас не было совсем.
Когда мы были только сочетаньем
Звезды и Праха, Крови и Мечты...
Потом мы станем чьим-то причитаньем
Иль немотой...

Россия, это ты...

Небезопасны старые дома,
Они молчат, как вечные тома.

Хочу от злой неутолимой жажды
Ступить в одну и ту же реку дважды.
И трижды. Невозможно? Пустяки!
Ведь только так и пишутся стихи.

Откуда этот колокольный звон?
Пространство голое —

со всех сторон...

Ни леса нет, ни церкви вдалеке.
Избушка... Дед, сидящий на пеньке...
Тень шумных листьев мечется у ног,
А древа нету...

“Что тебе, сынок?”

“Дед, что здесь было?”

“Здесь была Россия”.

“Старик, ты спятил. Я же русский сам,
Я знаю, где она!”

“Она не там.

Россия там, где все уже скосили.
До зернышка повыбрали. Дотла
Спалили храмы. А колокола
Расплавили.

И только звон остался”.

Окно захлопнулось. Звонок раздался...
Небезопасны старые дома.

Здесь на себе (как ни были б смиренны)
Вы постоянно чувствуете взгляд
Чей неизвестно. Знайте, эти стены
Не только слышат, но и говорят.

Дом может вам обычным показаться.
Но в час любой, как музыкою сфер,
В нем тишина полна импровизаций
На темы всех реалий и химер.

Они живут, как скрытые цитаты,
Как внутренние рифмы, в толще стен
И пропускают в нынешние даты,
Но лишь при тех, кто жаждет перемен.

Пусть здравый смысл и опыт протестуют,
Но для живого сердца и ума
Небезопасны старые дома...
Особенно, когда они пустуют.

Я дверь открыл в соседнее пространство.
Там в окнах — сквозь осеннее убранство
Листвы — рябила гладь Невы иль Сены...
Вот-вот сказать хотели что-то стены...
Звонок интимно, вроде б, и условно
Два раза прозвенел с намеком, словно
Я дома был... Но с т р а н н ы й
длился день...

Прекрасной дамы солнечная тень
Прошла и встала слева от проема
Дверного, за стеной: “В урочный час,
Мне кажется, я заманила вас.
Но вы мне так напомнили кого-то,
Кто вне учета для широких масс...
А там, в НИИ, без вас ломают копыя,
Там и о вас хотят поднять вопрос...”

— “Я эту трещину в себе унес!”

— “Я знаю. Вы хотите, чтобы хлопья
Замельтешили, чтобы монастырь
Вас обступил. Ужель хотите в келью?”

— “Я посмотреть на вас хочу.
Вы где?..”

— “Зачем? Да и с какой, скажите, целью?
Она ответила. — Я тут везде.

Глядите ж, снег! И все как в январе!
Вам нравится в Донском монастыре?
Я отпускаю вас...

Но вы вернетесь.

Не обошли вы стольких этажей!
Их там у нас побольше, чем снаружи.
Идите же, глотните этой стужи,
Не забывая наших витражей”.

Я сделал шаг. И встал... Вороны с криком
Роняли рванный мокрый серый снег.
Ведь здесь (я поклонился двум гвоздикам)
Под камнем, в одиночестве великом —
Загадочный великий человек.
Могилы скоро будут, как сугробы,
Белым-белы, лишь черные на них
Ряды чугунных букв старинной пробы
Затяжелеют, как печальный стих.
Одни под снегом канут, как растаяв,
Но эти будут вечно — ЧААДАЕВ.

Я на скамейке погрузился в сон,
Успокоительный, как снегопад,
Но спать на кладбище еще живому
Опасно все же — кто-то рядом сел
И монотонно: “Голос, Логос, Голос”, —
Забормотал. Я вскрикнул
и проснулся.

Свершалось то, чего я так боялся! —
Заволновались стены, это глина
Звала кирпич обратно; задрожали
На церкви кровля и решетки — это
Руда звала к себе свое железо.
Скамейка зашаталась.

Я проснулся.

Опять.

Снег с ветки уронив,
Сова взгляд отвела и косо полетела...

Метель повеяла о вечном свете
Отца и Сына и Святого Духа.
Но кто-то с кем-то вновь заговорил:
“Да, я согласен с вами, что не может
Быть воплощением алиби поэт,
Не соучастник он. Но совесть гложет
Его. А вас, по видимости, нет.
Грешно, явившись Сыном без Отца,
Мечом организовывать Второе
Пришествие — получим Страшный Суд
Без Судии!.. Без Бога, без предела...
Для всех!”
И снова: “Логос, Голос, Логос...”
“Кто здесь?” —

Я окончательно проснулся...

Шли от скамейки свежие следы
Двоих, по снегу, в сторону могил.
Их быстро-быстро хлопья заматали.

Шел крупный снег в Донском монастыре.

...Мысль о поэме, как дамоклов меч,
Висела надо мной четыре года.
Сидишь в гостях, бывало, глянешь вверх
Висит.
А выпьешь —
Падает со свистом.

И я, глаза от ужаса смежив,
Сйжу, не видя, и молчу, не слыша.
И мальчики кровавые в глазах.
Встаю.

“Куда ты?”

— “Я сейчас... Сейчас!”

И становлюсь дождем, туманом, снегом.
Я на земле. Но что мне делать с небом?
Троллейбусы, я спрашиваю вас!
(Меня в подъезд заталкивает ветер...)

Слетают снега маленькие крохи.
Снег ни при чем, дорога ни при чем...
Да это же поветрие эпохи —
Быть с алиби повсюду и во всем.

Стоят дома с отсутствующим видом.
С отсутствующим видом я иду.
Не бойся, город! Я тебя не выдам
Ни в этом, ни в двухтысячном году.

1987, 1995

Редакция журнала сердечно, с истинной радостью поздравляет выдающегося современного русского поэта, постоянного нашего автора Владимира Николаевича Соколова с присуждением ему государственной Пушкинской премии за 1994 год, на которую он был выдвинут “Континентом”.

Желаем Вам, наш дорогой Владимир Николаевич, здоровья, долгих лет жизни — и чтобы прекрасный Ваш поэтический гений и впредь дарил нам, российским читателям, всегда волнующую и всегда с нетерпением ожидаемую радость всякой с ним встречи.

**В СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИОННОЙ:
ГЕРМАНИЯ, 1945—1946**

Записки ветерана

От автора

Сразу хочу предупредить: я не писатель, никогда не рассчитывал увидеть свое повествование на страницах литературного журнала, и уж тем более не было у меня никогда желания стать членом Союза писателей. С меня довольно, что записки мои в частном порядке прочло несколько близких мне людей, добрых моих знакомых.

Но случилось так, что один из них, будучи к тому же редактором журнала, книжку которого держит в руках читатель, посчитал, что мои воспоминания могут оказаться интересны и более широкому кругу людей. И предложил мне опубликовать сокращенный их вариант в "Континенте". Подумав, я согласился, хотя и сознаю, что стиль, слог и прочие литературные качества моего рассказа оставляют, вероятно, желать лучшего. Но я же предупредил, что я не писатель. Да и писалось все это престранно — сразу притертыми друг к другу кусками, то дома, то на каком-нибудь бульваре, то даже в электричке. Отвечаю за одно: все рассказанное здесь — чистая правда, какой она видится мне сейчас, с расстояния почти в полвека. Изменены только, по разным причинам, имена и фамилии тех, о ком мне захотелось или пришлось вспомнить и рассказать.

Евгений ПЛИМАК — родился в 1925 г. в Москве. С 1943 по 1945 гг. участник Великой Отечественной войны. Воевал в пехоте и танковых войсках. После войны окончил философский факультет Московского университета, работал в ряде научно-исследовательских институтов. Доктор исторических наук, автор нескольких книг и многих статей по истории русской и зарубежной мысли. Как мемуарист выступает впервые.

1. Моя семья

В верхнем левом — “архивном” — ящичке моего письменного стола хранится фотография, которую я прислал в 45 году своей маме. Надпись на оборотной стороне этой карточки кажется мне теперь диковатой, но она — вполне в духе моей юности, пришедшейся на последние годы той, действительно великой войны. Ведь стороны готовились к ней долго, проявляя при этом величайшее дипломатическое коварство, изворотливость и хитрость; в ходе ее были разыграны величайшие, непревзойденные по военному размаху и даже мастерству сражения, убито на них было величайшее множество людей — миллионов под пятьдесят-шестьдесят, ранено же еще миллионов полтораста. А сколь великое количество женщин было изнасиловано, не говоря уж о тех, что остались без мужей, братьев и детей, статистика не сообщает даже приблизительно — здесь она совершенно бессильна...

Итак, надпись на обороте посланной матери фронтовой карточки гласит: *“Посылаю фотографию, где я снят среди боевых товарищей по работе. Последние полтора года вместе с ними делили радость и горе и переносили боевые невзгоды. Карточку прошу сохранить для меня.”*

Мать моя, Нина Павловна, карточку сохранила.

На фотографии — пять мужчин в гимнастерках. Это — моя фронтовая семья. Правда не вся, и не первая. В первую я попал через полгода после того, как в январе 43-го, меня, семнадцатилетнего, забрали из-под теплого крылышка моей мамы в холодный, выжженный городок Сентилей, что на Волге. Там я, по приказу командования, месяца три перетаскивал с ребятами по льду бревна из-за Волги на наш берег — бревна были жизненно нужны городу в ту суровую зиму, — а ночами кормил на нарах вшей. Когда я их впервые увидел, я даже не знал, что это такое, и удивленно спросил о них у лежавшего рядом приятеля.

Так вот, три месяца я таскал бревна, привык голодать, если только вообще к этому можно “привыкнуть”, а вши да верхний рубец армейского ботинка изъязвили мне правую ногу, наградив единственным боевым рубцом (хотя, впрочем, что считать рубцом?). Потом я ровно три месяца лежал в госпитале уже в Саратове, где немного отъелся, и был выписан, когда в палатах стало нехватать мест для раненых с Курской дуги. С такой вот солидной боевой выучкой и был отправлен я на фронт вместе с друзьями моими в июне 43-го — прямехонько в ад Великой Отечественной. Ехали же мы по железной дороге, буквально обложенной со всех сторон покареженными и перевернутыми днищем вверх тридцатьчетверками. Приятное было зрелище...

Ребят, правда, в отличие от меня, подучили военному искусству — благо Волга весной разлилась и таскать бревна было нельзя. И они уже умели ползать, кое-как стрелять, в том числе из миномета, но особенно хорошо — колоть штыком. Последнему учили в Сенгилее, да и Саратове — хотя я сроду не видел на фронте винтовок со штыками. По приезде я попал в минбатарей 120 мм — благодаря своему росту, 176 см. Перед отправкой на передовую нас выстроили на какой-то поляне в лесу и поделили: более рослых — в минометчики, чуть подальше от передовой; менее рослых — в пехоту, сразу под пули. Через две-три недели боев оставшихся в живых минометчиков, да и кое-кого из писарей и бойцов взвода охраны штаба полка снова выстроили и снова поделили: кому — на прежнее место, кому — сразу под пули.

Минбатарея 120 мм, где я дорос до должности командира миномета, стала первой моей боевой семьей. Но о ней как-нибудь в другой раз, а эти записки о той поре моей юности, которая прошла в разведотделе славного Гвардейского Прикарпатского, Лодзинского, Берлинского и прочая и прочая мехкорпуса Первой Гвардейской танковой армии — в моей второй фронтовой семье, членом которой я стал, благодаря мало-мальскому знанию немецкого языка (о чем позже). Пятеро мужчин в гимнастерках, запечатленные на фотографии, которую я послал в 45-м маме, и были этой семьей, вернее — большей ее частью.

Представляю: трое, офицеры, — это наше начальство. Они сидят на стульях, в первом ряду. Двое — старшины — стоят. Это я и второй наш, а точнее — первый разведотдельский военпереводчик I-го разряда Крюгер Александр Александрович. Он на карточке почему-то ниже меня ростом, хотя на деле мужчина был видный, солидный, повыше меня. Когда у нас с ним в 45-м появились после очередной реквизиции черные бархатные погоны с золотой поперечной буквой "Т", все пленные, как один, принимали пожилого Сан Саныча за генерала и вытягивались перед ним в струнку. Соперничать с ним по части владения немецким языком у меня не было никаких шансов — Сан Саныч происходил из чистокровных немцев, хотя, впрочем, был вполне советским человеком и бойцом.

Но рассказывать надо по порядку, и потому начнем все же с главы семьи.

Он сидит в центре, как ему и положено по чину и должности. Это — начальник разведотдела Восьмого Гвардейского мехкорпуса I-й Гвардейской танковой армии подполковник Заряко. Ему под сорок; он сухопар, строен и явно позирует. Взгляд у него — чуть надменный и какой-то хищноватый, одновременно как бы и на добычу устремленный, и зорко следящий, что делается по сторонам. Такой взгляд я видел однажды, уже после войны, в Москве на

трамвайной остановке у карманника, который облюбовал очередную свою жертву, и мне сразу вспомнился Заряко. Он и был в молодости беспризорником, потом детдомовцем, потом курсантом училища, стал кадровым офицером, но ухватки своей с трудом обузданной юности сохранил до времен войны и в разведку попал не даром. Дерзкий, нагловатый, но всегда расчетливый, он выполнял во время бросков нашей танковой армии в прорывы всегда какие-то важные задания. Что они были важны — спору нет. Но мне почему-то казалось, что Заряко просто не любил во время операций оставаться в штабе корпуса, вблизи начштаба полковника Поронченко — тот в любой момент мог дать ему еще какое-нибудь сверхважное, но непредвиденное и опасное задание. А душе нашего Заряко требовалось не просто выполнять какие-то опасные и важные задания, но еще и погулять по фронтовой вольной воле. И эту волю он себе давал, мотая наш бронетранспортер от бригады к бригаде, никогда не зарываясь особенно далеко вперед и в нужный момент быстро покидая то место, где становилось чересчур уж жарко — танковой разведке не обязательно заезжать в самое пекло...

Во время постоянных разъездов Заряко по бригадам в штабе корпуса оставались его заместитель, майор Голубковский — собственно для руководства разведкой корпуса, и Сан Саныч — для обработки доставляемых в штаб пленных. Меня же Заряко всегда забирал с собой — ему еще требовался и личный переводчик, хотя, впрочем, допросить пленного на месте в бригаде, а то и отправить меня в небольшую рекогносцировку в несколько неясной ситуации было порою действительно полезно — и для Заряко и для дела.

Заместитель начразведотдела Заряко — майор Голубковский — сидит рядом с ним. Взгляд у майора с хитроватым прищуром, на губах застыла ухмылочка — он прекрасно знает цену и себе, и всем нам, знает, что на нем-то, бывшем главбухе крупного иркутского завода, и держится в корпусе вся разведдеятельность. Держится прочно — ибо майор как-то нутром угадывает замыслы противника, в боях может быстро — по обрывкам донесений и показаниям случайных пленных — склеить для начштаба почти всегда точную карту расположения сил во вражеском стане. Соображает он мгновенно, не теряясь ни в какой обстановке. В штабе он думает “за противника” — предугадывает, в какой бок и когда тот будет нас бить, а удары в бок нашей наступающей I-й Гвардейской танковой — особенно, когда бьет какая-нибудь танковая дивизия СС (а то и две-три), — вещь смертельно опасная. Тут не помогут слабые фланговые заслоны нашего разведбата. Тут надо заворачивать — и срочно! срочно заворачивать! — навстречу противнику, ударившему

по флангу, весь наш мехкорпус, а то и еще пару танковых в придачу. Иначе и I-й танковой — хана, да и на фронте — дыра...

Слева от Заряко — капитан Назаркин, офицер разведотдела по особым поручениям, и у него на груди орденов больше, чем у всех. Он тоже вечно мотается на своем броневишке по бригадам, передовым отрядам, нашим заслонам, разыскивает куда-то запропастившихся “соседей”. Но уже ничего не предпринимает по собственной воле, следуя только исключительно воле и приказам начштаба. Вечно попадает в переплеты, из которых выкручивается целым и невредимым. Один раз — это было зимой то ли в Польше, то ли в Германии уже, — он въехал лунной ночью в распоряжение крупной немецкой танковой части, остановившейся в селе, миновал это село, объезжая танки, бронемшины, покуривающих фрицев, — никому из них в голову не пришло, что объезжает загородившие дорогу боевые машины русский броневишок и что торчит в его башенке в немецком маскхалате не какой-нибудь гауптман Зомбарт или Фишер, а капитан Назаркин. А в Прикарпатье капитан привел в расположение одной из танковых бригад целую роту (если не батальон) противника. Все на том же броневишке он въехал во вражеский строй на одном из поворотов горной дороги — въехал, остановил машину и, поскольку выхода у него не было решительного никакого, — он властным жестом приказал застывшему противнику сдаваться и следовать за ним...

О, эта постоянная игра разведчика со смертью! На счастье Назаркина противником оказались не немцы, а венгры, не очень желавшие сражаться с нами даже на подступах к их собственной стране. А вот во время боев в Померании в 45-м, когда прямо на деревню, в которой расположился штаб, вышла никому не известная и не обозначенная даже на карте Голубковского танковая колонна, отсутствие в штабе капитана Назаркина едва не угробило майора Голубковского. Начальнику штаба Поронченко пришлось, естественно, послать для уяснения состава колонны и намерений противника оставшегося у него под рукой майора. Тот выехал навстречу неизвестности и смерти, восседая на башне Т-34 (из отряда сопровождения штаба), — чтобы лучше видеть. А темнота уже была густая-прегустая, ровно ничегошеньки не было видно впереди. И ровно через пять минут тридцатьчетверка получила снаряд в брюхо — шедшая во главе немецкой колонны “Пантера” била накоротке, прямой наводкой. Экипаж Т-34, как принято было говорить в войну, героически погиб, а восседавшего на башне майора ласково так сбросило взрывной волной в придорожный кювет, по которому он, чуть оглушенный взрывом, на четвереньках и добрался до деревни, где уже не было никакого штаба. Штаб всегда оперативно — в этом отношении

Поронченко не уступал Зареяко — убирался восвояси из чересчур горячих мест. На счастье Голубковского — а везло ему тоже фантастически — в деревне застрял один-единственный мотоцикл: у бойца разведбата забарахлил мотор. К моменту прибытия майора в деревню мотор, однако, заработал, и боец вместе с майором пулей вылетели из деревни — под градом немецких пуль.

Конечно, капитану Назаркину до майора Голубковского было все-таки так же далеко, как мне до Сан Саныча. Но разведчиком он был смелым, а главное, инициативным, инициатива же в разведке — будь то малая операция или большая, фронтовая или тыловая — вещь первейшая. Именно благодаря инициативе капитана Назаркина наш разведотдел был обеспечен в боях под Львовом несколькими ящиками великолепного французского шампанского, и хотя оно было явно грабленное — поначалу немцами у французов, потом нами у немцев, — я в жизни не пил ничего подобного. А перед броском на Берлин, когда мы на два с лишним месяца застряли в какой-то глухой польской деревушке — формировка на сей раз была фундаментальнейшая, — капитан Назаркин, канув куда-то в неизвестность, прибыл все же назад и торжественно извлек из броневишка, к нашему общему изумлению и восхищению, три кипы великолепнейших черных суконных танковых штанов с кожаной накладкой на заднем месте. Эти комбинированные штаны были немедленно расхвачены обносившимися за годы войны сельскими жителями, обеспечив нашему разведотделу — на зависть всем прочим отделам штаба, и даже оперативному — польский самогон в любом количестве и на все время формировки. Признаюсь: зверское было зелье. Нарушив меру (помните, Фауст у Гете восклицает: “Ошиблись, меру перешли!”), поначалу не привыкший к этому зелью разведотдел в полном составе оказывался пару раз у ближайшего забора — без такой опоры было уже невозможно устоять на ногах, освобождая организм от отравы. Но все же это было славное зелье, здорово помогавшее нашей семье в эти месяцы разрядки “делить радость и горе”...

Стоим за спиной боевых офицеров-разведчиков мы с Сан Санычем, оба старшины и военпереводчики I-го разряда. А это в разведке уже совсем другой, низший, класс, хотя, как известно, в природе все классы подвижны и порою границы между ними стираются. Вообще-то чинами мы были, конечно, обижены — по должности нам полагалось быть по крайней мере капитанами. Но офицерского звания Сан Санычу, несмотря на бесчисленные представления весьма ценившего его Поронченко, все никак не присваивали, хотя он заработал уже пару орденов и вообще был гражданином вполне советским. Но все же он был немец, воевавший с немцами, и какие-то кадровики — или те, из Смерша, — не знали того, что знали мы в

разведотделе — в боевых делах положиться на Сан-Саныча было можно без всяких колебаний, больше чем на самого себя. И в любой ситуации он пришел бы тебе на помощь. А я выбился в переводчики из простых солдат, не имея на то никаких прав и никакого военного образования. Да и к чему оно, когда есть кое-какие способности, везение да плюс еще некоторая наглость?... В истории этой сыграли свою роль мое давнее пристрастие к немецкому поэту Генриху Гейне, моя должность полкового почтальона зимой 43—44-го годов (комбат отправил меня в штаб полка из-за того, что я был на батарее единственным командиром миномета, не умевшим управляться с лошадью) и, наконец, мое знакомство с полковым писарем Ваней. Как-то ночью лежали мы на нарах в штабной землянке, говорили “за жизнь”, и он-то и посоветовал мне подать рапорт по инстанциям насчет пропадающего во мне военно-переводческого таланта. И сыграла в этой особой истории свою особую роль женщина (они всегда играли в моей жизни особенную роль) — неизвестная мне девушка, старший лейтенант из разведотдела штаба нашей стрелковой армии. Ей-то и выпало проверить мои познания в немецком, и я на чистом русском языке откровенно признался, что никаких познаний ни в военном переводе, ни в разговорной немецкой речи не имею, но жажду приобрести. После этого признания, посмотрев как-то странно на мой далеко не бравый солдатский вид — я порядком пообтрепался за полгода пребывания на передовой, — девушка вышла в соседнюю комнату и сказала начальнику разведки армии, что я ... подойду для службы в штабе полка. Затем из полковой разведки 975-го стрелкового полка 270-ой дивизии меня перетащил в корпусную разведку — причем танковых войск! — служивший в военно-врачебной комиссии I-й Гвардейской танковой армии мой отец (в то время кому-то пришла дикая идея — создавать в Красной армии фронтовые семьи!)

Впрочем, мне не след особенно приbedняться и, главное, выстав-лять в сомнительном свете хорошенькую девушку — старшего лейтенанта. Да и отцу своему я обязан бесконечно многим, перевод в танковые части с громадным повышением в должности в общем-то спас мне, юнцу без образования и профессии, жизнь во время Великой Отечественной (хотя на войне разведотдел мехкорпуса тоже далеко не курорт). Но у меня все же было некоторое специальное языковое образование и даже захваченная на фронт справка о том, что я окончил все четыре курса — Заочных курсов “Ин-яз” в Москве (два последних из них — в том самом госпитале, где пролежал три месяца в 43-м). Правда на курсах “Ин-яз” совсем не учили ни военному переводу, ни тем более разговорной немецкой речи: в отличие от всей страны московские курсы “Ин-яз” так и не пере-

строились во время войны. Но в полку у одного из политруков я достал, а честно сказать, умыкнул, и проштудировал учебник военного перевода, разговорной речью овладел в боевых операциях. Так что ни девушку-лейтенанта, ни отца все же, думаю, не подвел.

2. "Работа" в разведотдельской семье

Отойдя уже не на двадцать пять, а на сорок девять лет от времени моей фронтовой молодости и готовя записки для печати, я, перечитывая текст предыдущей главки, написанной уже давно, поймал себя на том, что чуть все же подыграл сегодняшней иронической моде в своем рассказе о фронтовой семье. Моя фраза о "боевых товарищах по работе", написанная на обороте нашей групповой семейной фотографии, посланной покойной моей маме, была, конечно, диковатой, но по сути она была точна, совершенно точна! Фронтовая разведотдельская жизнь — это работа, работа и работа — работа при любых стрессах и сверхстрессах и в любых ситуациях. Сработаешь плохо — расплатишься своей и соратников своих смертью. Хорошо — и себя спасешь, и товарищей. Хотя всякое, конечно, бывало. 49 лет спустя после некоторых пережитых мною в юности эпизодов такой работы я и сегодня могу совершенно точно воспроизвести их: и действия, и слова их участников до мельчайших деталей врезаны в мою память навсегда...

Ранняя зима 44-го, плацдарм на Висле. Первая Гвардейская ТА вползла в приготовленную для нее пехотой узкую щель и рванула вперед, начав — вместе с соседями нашими, естественно, — свой отчаянный бросок к Берлину, приблизивший финал войны. За два дня преодолеваем сотню-другую километров, просто объезжая стороной укрепайоны противника — для ускорения марша. Нет умело сдерживающих всегда наши танки "Мессеров" — они захвачены на прифронтовых аэродромах: оказывается, как и наши И-15 в 41-м, стояли без горючего в баках. Но то и дело мы лежим под РСами своих же "Илов" — они, черти, совершенно запутались там, "наверху", не разбирают, где на дорогах "свои", где "чужие", и не помогают их ориентировке никакие запускаемые нами для опознания "своих" красные ракеты... Зареяко уже не до поездок в бригады — все они слоями, как в торте каком слоеном, перемешаны с немецкими колоннами — все, все движется nach Deutschland, к Германии.

В заданном направлении следует и штаб корпуса. Но уже без танков охраны — они оставлены позади, надо отбиваться от наступающих на пятки немцев. Единственная охрана небольшой колонны штаба корпуса — наш разведотдельский бронетранспортер с американским крупнокалиберным, которым мастерски владеет командир

транспортера Митя Бовтрук. Но что может сделать этот Митин пулемет в единоборстве — не приведи, Господи! — с длинной пушкой-хоботом какой-нибудь “Пантеры”?!.

И вот — очередное дорожное приключение. За него, кстати, и я среди других заработал один из своих орденов. Наша штабная колонна стоит в сумерках перед весьма неопределенной деревней. На карте она есть, но неизвестно, кто есть в ней... А тут еще на хвост нашей небольшой колонны садится тоже какая-то не менее неопределенная колонна. Она вытягивается из леска и застывает метрах в 60—70 от нашей... Все слишком серьезно, чтобы помнить о формальной стороне уставных отношений.

Зареяко, выполняя приказ, полученный от полковника Поронченко, говорит мне: “Женя, сходи, узнай, кто там?”

У Жени — два принципа. Первый: приказы выполняются неукоснительно. Сему обучен еще на подходе к передовой осенью 43-го: перед строем 973-го стрелкового полка расстреляли и сбросили в яму трех проштрафившихся “самострелов”, один кричал: “Это же ошибка!” В остальном — инициатива, а все же и второй принцип: “Береженного Бог бережет”.

Впрочем, помогают сбереечь жизнь (и не только мне!) и советы “боевых товарищей по работе”. “Набрось плащ-палатку немецкую, идиот, не в гости идешь!” — бросает мне Голубковский. Ах, какой же умница был наш майор! — эта плащ-палатка спасла мне жизнь. А затем майор и штаб 8-го Гвардейского МК спасет — совсем рядом со смертью штаб оказался...

В сгущающейся темноте направляюсь от одной колонны, нашей, к другой, той... Уже вижу: впереди какой-то грузовичок, штабной явно. За ним силуэты “Пантер”, и не одна тут “Пантера”! Целая танковая колонна на пятки нам села... Мне хочется бежать назад, но я иду и иду вперед. Непонятно мне все же, почему это “Пантера” позади штабного грузовичка — при прорывах из “котлов” разных “Пантерам” положено быть впереди. А кроме того, если я удалюсь — что я замечен, уже нет сомнений, — самоходки и танки, те, что в колонне, вперед и выйдут... Все остальное — непредсказуемо. Да нет, в данном случае совершенно и точно предсказуемо. Хана.

Подхожу к немецкой колонне, нагло открываю дверцу зачехленного грузовичка. Передо мной — в его кабине — немецкий офицер с картой и фонариком на коленях: для ориентировки, значит, этот грузовичек впереди колонны идет, ее тянет. За офицером — солдат-шофер... Нечленораздельно (страх скулы сводит!), но все же несколько иронически произношу: “О! Guten Abend!” (а ведь ночь уже, “Gute Nacht!” — сказать надо было бы все же). Захлопываю дверцу, спокойно и неторопливо (чего стоит мне это спокойствие!...) иду

назад, к своей колонне. Достигнув ее, мчусь как угорелый, к разведотдельскому бронетранспортеру и стоящему рядом виллису Поронченко, кричу внеуственным вполголосом: “Немцы!... Много самоходок и танков... Черт их разберет, сколько!...”

Определенной мной неопределенности позади полковник предпочитает неопределенность впереди. Времени на рекогносцировку нет. Сразу же втягиваемся в населенный пункт, оставляя сзади застывшую колонну танков противника... И какое же счастье! В деревушке застряла на ночь наша тридцатьчетверка! Т-34 — это грозная боевая машина, но она... без пушки, оторвали ее немцы в дневном бою... “Триумвират”: Поронченко, Заряко, Голубковский — совещаются у меня на глазах. Принят план Голубковского. 34-ка сползает с шоссе, тихим ходом идет на северную окраину деревушки, танкист начинает там во всю газовать и двигаться туда-сюда: грохот! грохот! грохот! — по грохоту газующую Т-34 никакая “Пантера” и никакой “Тигр” не одолеют — слава конструктору Т-34! Тем же тихим-пре-тихим ходом переползает Т-34 мимо нас на южную окраину деревушки и теперь там уж: грохот! грохот! грохот! — десятков танковых моторов, — черт побери, как она ревет!...

Немцы оболванены вторично: у нас есть танки, и мы явно готовим им “клещи”. Дело в том, что Т-34 с калибром пушки 76 мм (тогда еще калибра 85 мм у нас маловато было) в лоб “Пантеру”, как и “Тигра” не берут, берут их в бок. В деревушку оболваненные немцы посылают зачем-то несколько болванок. Затем целый артналет следует — мы, естественно, в кювете лежим. Но колонна их — а в ней, как оказалось утром, 30—40 самоходок и танков, — ни с места. И всю эту страшную для нас, штабистов, ночь, немцы так и не решаются двинуться. Страх командует немцами. Наконец, наступает утро, и наступает наше избавление от смерти. На выручку нашему штабу выходит сверхсрочно вызванный Поронченко по радиции полк “ИСов”. “Иосифы Сталины” с калибром пушки 122 мм берут любую “Пантеру” и даже “Тигра” и спереди и сзади. Оказавшись между “двух огней”, немецкая танковая колонна сдается в плен, в деревню гонят солидную колонну танкистов. А потом... О, стоимость страшной игры со смертью, если даже ты ее победил! Совсем, видно, обезумевший от дневного и ночного сверхстрессов водитель Т-34, — того, что без пушки, — пытается гусеницами давить колонну военнопленных... Митя Бовтрюк заглядывает в комнату, где наш разведотдел, зовет меня посмотреть спектакль, что разыгрывается на деревенской площади. И я куда-то убегая — не могу я это видеть, ведь тут и моя работа.

Хотя я могу многое — очень, очень многое...

3. Что я “могу” и что “не могу” на фронте

После того, как I-я Гв. танковая помогла захватить одерские плацдармы, ее направляют в Померанию: подстраховать северный фланг фронта Жукова. Мы движемся к Балтике. В какой-то брошенной вилле перекусываем на ходу. В вилле есть, конечно же, подвалчик с консервированными фруктами. Больше всего поесть любит Голубковский, он же и распоряжается: “Женя, пару баночек!” Спускаюсь вниз, открываю дверь подвала, застываю, смотрю... Напротив двери висят хозяева виллы — старик со своею старухой. Они повесились — но, Боже, как повесились! Водопроводная труба от пола всего на метр сорок, повеситься можно, только поджав ноги. Так хозяева дома и сделали, видно...

В обмороки на фронте я не падал, не до того было. И пусть простит мне читатель, что рисую и просто-таки кощунственную, наверное, сцену, но зимой на Витебщине нам довелось как-то отобедать, сидя на трупах замерзших немцев, — ничего лучшего для сидения на снежном поле не было, а этих наши же мины скосили.словно гребешком каким: в отличие от дальнбойного, посылающего осколки больше вдаль, мича всю землю, начиная с воронки, словно прочесывает...

Но вернусь в Померанию. Я прекращаю осмотр места происшествия, выбираю из банок на полках, что повкуснее. За столом мною все довольны. За столом же, без деталей, сообщаю: в подвале хозяева висят, повесились старики. Голубковский тут же реагирует: “Не худший для них вариант”...

Здесь, в этой вилле, обедать я могу... А через пару часов, в каком-то померанском городке, я уже снова не могу.

Завязка истории: мы в комнате какого-то брошенного дома. Приводят немецкого санитара. Он метался по расположению штаба корпуса и что-то кричал — его, естественно, препроводили к нам. Через пару минут иду с ним в какой-то брошенный, по его словам, немецкий госпиталь. Подходим к дверям дома, четко фиксирую: санитар отстает. Засада? А у меня один ТТ!... Все же отворяю дверь. Боже! Совершенно невыносимый для живого человека запах заживо гниющего человеческого мяса... Нет, это мне снова не по силам! Я быстро затворяю дверь, хотя ко мне ползет какой-то обрубок в бинтах... Но что я могу? Что могут, выслушав меня, Заряко и даже сверхнаходчивый Голубковский, — нам через 15 минут снова бросок, километров 50 к морю? А пехота будет здесь только дня через два, комендант появится через неделю. Сгниют в госпитале все... И пусть они верят, что есть милосердный Боже над ними! Ведь у всех немцев на бляхах ремней была гравировка: “Gott mit uns” (“Бог с нами”)!..

Кстати, в разведотделе все ответственные переводы Сан Саных брал на себя, но порой, поступая несколько безответственно, он перекладывал все же тяжелую ношу и на мои молодые плечи. Так он сделал и в тот день, когда в Померании в нашу комнату, где в полном составе расположился разведотдел, ввели какую-то бледную женщину. Многоопытный Сан Саных не торопился вежливо усаживать и расспрашивать ее, и разговаривать с нею пришлось в конце концов мне. Но я уже был по-своему опытен. С неделю тому назад мне пришлось оставить родителям изнасилованной и простреленной около самого сердца девочки лет пятнадцати-шестнадцати (навылет пуля прошла) краткую записку:

“Любому командиру или бойцу Советской Армии.

Помогите этим немцам доставить в медсанбат изнасилованную и раненую девочку.

Военпереводчик (*подпись неразборчива*)”

Итак, я беру инициативу на себя, вывожу бледную женщину в соседнюю комнату, спрашиваю: “Was ist los? (Что случилось?)”. Мне, девятнадцатилетнему юнцу, не знавшему ни одной женщины, сорокалетняя немка говорит: “Ein Mann, Zwei Männer. Aber so viel... Das ist unmöglich (Один мужчина, двое мужчин... Но столько... Это невозможно)”. Я смотрю женщине в глаза и соображаю. Наша мотопехота войдет в городок через сутки (машин для перевозки у нее уже нет), да и взводы все у нас поредели. Говорю собеседнице: “Verstecken Sie sich, wenn möglich, irgendwo für diese zwei-drei Tagen (Спрячьтесь, если можете, где-нибудь на эти два-три дня). Dann kommt in die Stadt der Kommandant (Затем прибудет в город комендант)”.

Рассказывая этот эпизод, я вот что должен уточнить. Не надо думать, что Советская армия сплошь состояла из насильников, не было этого. История с бледной немкой, которой я дал ценный практический совет (что он значил в непредсказуемых ситуациях войны!), была в моей практике, не сказал бы уникальной, но не столь уж и частой. Но в армии были и подонки, бесчинства творились и пьяными; у нас на пути в Берлин один из лучших командиров бригад (кстати, Герой Советского Союза) погиб — попробовал отправить вперед выпивавших на обочине дороги танкистов, за что и был пристрелен одним из них — не разобрался парень, кто перед ним в комбинезоне стоит... Ну, а я — по долгу службы — должен был постоянно выслушивать потерпевшую сторону, то есть обиженное население. Конечно, несколько женщин на всю Померанскую операцию — не так уж и много, но все ли в штаб приходили? Да и чем я мог приходящим помочь? Был, правда (помнится, уже после окончания войны, где-то под Берлином), случай совершенно анек-

дотический, весь состав разведотдела потом со смеху катался... В комнату нашу, гордо так и смело, вошла старушка лет под 85... И заявила решительный протест. Оказывается, минувшей ночью в ее комнатушку, что на первом этаже близлежащего дома, какой-то смелый солдат наш через окно, им вышибленное, рвался. Но скрылся тут же, услышав дикий визг хозяйки. В штаб I-й Гвардейской ТА об этом происшествии мы, разумеется, не доложили. Торопились куда-то, как всегда...

Но вот что серьезное, и очень, я хотел бы по адресу нашего Генерального штаба, его отделов и подотделов снабжения сказать. В то время, как германское ОКВ (оберкомандование вермахта) предоставляло солдатам регулярные отпуска, наших солдат домой, за редким исключением, не отпускали (как же — отпустишь их, а потом собирай!). Чтобы заслужить отпуск, надо было быть здорово искалеченным, стать непригодным на время для строя. И еще одну важную деталь добавляю. Мне как-то довелось переводить для нашего командования интересовавший его приказ по германской армии. В нем говорилось о срочном снабжении солидными партиями презервативов группы германских войск в Италии, где среди солдат резко подскочил процент венерических заболеваний. Мы же, естественно, и допустить не смели, что такое понадобится, хотя в 45-м армия наша была уже на территории Германии. Той самой Германии, которая, скажу я вам, была в это время уже чем-то вроде проходного двора всю развоевавшейся Европы...

4. Женский вопрос в нашей семье

Не скрою — самым болезненным вопросом в нашей дружной семье, состоявшей из одних только мужчин, был знаменитый в России со времен Чернышевского женский вопрос. Решался он — если суммировать кратко — соответственно воинскому званию, должности и боевой смекалке.

Начальник разведотдела жил с хирургом нашего корпусного медсанбата Катей — извиняюсь, Екатериной Васильевной. Знакомство их состоялось, когда во время одной из бомбежек подполковнику осколок бомбы вырвал солидный кусок мяса из его ягодицы, и капитану медслужбы пришлось возвращать подполковника в строй. Потом, во время формировок она — маленькая, хрупкая и, на мой взгляд, очень привлекательная — так уж мне казалось — часто приезжала к нам в разведотдел; не к нам, конечно, а к Зареяко. А во время боевых операций — хотя это скорее всего не предусматривалось ни в одном приказе командования — наш разведотдельский

бронетранспортер порою начинал совершать, по приказу Заряко, сложные обходные маневры, чтобы появиться в расположении медсанбата. Но бывало это все же редко.

Капитан Назаркин во время боев никуда не заезжал, но при формированиях частенько отправлялся на мотоцикле в банно-прачечный отряд. Во время какой стирки и с кем он там познакомился, я, право, не знаю — он нам ничего никогда не рассказывал; да у него никто ни о чем и не спрашивал.

Майор Голубковский и Сан Саныч жили, в основном, воспоминаниями и почему-то любили делиться ими именно со мной. Из-за неопытности моей, наверное. У майора было две семьи. Одна, в Иркутске, была еще довоенная. Помимо этой, давней, семьи, он завел в 42-м, где-то под Вязьмой, когда был боевым комбатом, семью новую. Сельская учительница из села под Ржевом, где капитан Голубковский прожил пару месяцев в прифронтовом затишье, родила ему мальчика — естественно, после того, как майор отбыл на фронт. После войны майору предстояло решить, пожалуй, самую сложную для него оперативно-тактическую — а может и стратегическую — задачу: куда же ему ехать; дети были в обеих семьях. Но, впрочем, из Отечественной майору, как и всем нам в разведотделе, еще надо было выбраться живым; люди умирают даже на курортах, а на нашем курорте легко было умереть именно в солнечную, ясную, летнюю, ласковую погоду — проклятые Ю-87, пикировщики, лечили нас довольно часто, избирая как цель именно наш штаб. Я не говорю уже о прочих военно-курортных наших процедурах.

У Сан Саныча была общая для всех нас задача — выжить, но не было проблемы — куда ехать после войны. У него была всего одна семья — точнее, жена, которая к 45-му вернулась из эвакуации в Ленинград (он был там крупный кораблестроитель!). И к тому же эту жену Сан Саныч просто обожал, писал ей часто и страстно. Правда, это была уже вторая его жена. И она была моложе его лет на двадцать пять. Но, видно, очень уж она подходила — я сужу об этом по бесконечным его рассказам о ней — к его натуре немца-аккуратиста, во всем любившего безупречный порядок, — тот самый, что вечно нарушала его первая жена, особа, по-видимому, действительно беспорядочная.

Итак, майор Голубковский и напарник мой Сан Саныч жили, в основном, воспоминаниями, а у меня практически не было и таковых. Лет до 17, до призыва в армию, я был ужасно робок с девушками, эта довоенная робость сидела во мне и в армии, сидела, черт ее побери вместе с Фрейдом, и после армии. Мне оставалось на фронте (меньше в пехоте, больше в танковых “привилегированных” частях) только слушать долгие воспоминания и поучения многоопытных и пожив-

ших моих “боевых товарищей по работе”, кое-что мотать себе на ус, да иногда посматривать украдкой на красивую спасительницу нашего отца-подполковника, фамилия которой, как вы понимаете, была тоже совсем не Заряко.

Так вот и обстояло дело с женским вопросом в нашей семье вплоть до вступления I-й Гв. танковой на территорию Германии. Здесь роли начали весьма существенно меняться. Стал перетягивать не чин, а язык врагов наших, но и не только врагов. Появились на сцене совсем иные персонажи, и новые эти обстоятельства обернулись совершенно неожиданным зигзагом судьбы даже и для моего доброго друга и наставника Сан Саныча, так безумно обожавшего вторую свою жену.

Это случилось в малоизвестном, а мне (да и Сан Санычу, наверное) запомнившемся на всю жизнь небольшом немецком городке Кирххайне, куда мы вступили, когда мехкорпус отвели на юг после боев в Берлине. Расположенный где-то на полпути между Берлином и Лейпцигом, городок мог похвастаться лишь одной-единственной вымощенной каменной плиткой широкой улицей, где стояли слепленные друг с другом дома солидных бюргеров, лавочки, аптека. А за главной улицей — тенистые, молчаливые прямые улочки, домики, спрятанные в садах, проулки, как-то незаметно переходившие в перелески и в поля, еще ярко-зеленые, весело блестящие под неустанным солнцем этих погожих весенне-летних дней 1945 года.

Мы расположились на Моргенштрассе, главной улице Кирххайна, и Сан Саныч, который вдруг что-то прихворнул, решил зайти в аптеку, немецкую, что была неподалеку, на той же главной улице городка. И нашел там не только лекарство от головной боли, но и вдовушку-аптекарьшу, которая пленила его недели на две-три — вплоть до того дня, когда нам пришлось срочно покинуть Кирххайн. Я ни капельки не осуждал Сан Саныча, когда он вечером уходил из нашего дома на Моргенштрассе, 12 и направлялся в аптеку за очередной порцией сердечного бальзама. И, наверное, был прав, — ведь осуждать вместе с ним мне пришлось бы около половины взрослого населения земли (да и самого себя в придачу). Правда, кое-что в действиях Сан Саныча было мне не по душе. Ему не следовало, на мой взгляд, писать в те дни полные нежности и тоски письма своей жене в Ленинград. Одно из них он, немец-аккуратист, забыл на столе среди военных бумаг, и я наткнулся на него случайно, разыскивая какой-то вдруг понадобившийся Голубковскому приказ. Каюсь, не удержался я и прочел пару строк, от которых мне стало не по себе. Но ведь может статься, что письмо это Сан Саныч написал еще до своего знакомства с аптекаршей и не отправил потому, что хаживал к ней вечерами? Хотя не знаю, меняет ли это дело...

Повторяю, впрочем, что я никак его не осуждал, тем более, что осуждать мне его совсем не подобало уже и по той весьма простой причине, что я возвращался в нашу с ним комнату зачастую под утро и был рад, что мне не приходилось тревожить его весенний сон. Ибо в те дни в Германии, в маленьком немецком городке Кирххайне, и я пережил свою первую любовь.

5. Deine Lotti

...Как всегда, первым въехал в Кирххайн наш разведотдельский бронетранспортер. Было еще не поздно — часов шесть вечера. Но городок словно вымер. Улица была пустынна и полчаса спустя, когда я вышел на порог того дома, что на Моргенштрассе, 12, где располагился наш разведотдел. И только из дверей соседнего дома (Моргенштрассе, 14) выглядывала немецкая девушка. Затем она вышла — в темно-синих брючках, очень тоненькая и аккуратная, привлекательная, лет ей было на вид шестнадцать-семнадцать. Она смотрела на втягивавшуюся в Кирххайн колонну — виллисы, бронетранспортеры, штабные грузовики. А о том, что встречать немецким девушкам Советскую армию вообще-то не стоило, я, военпереводчик I-го разряда, знал не меньше, а может быть, больше других. Ведь именно к нам в разведотдел 8-го Гв. мехкорпуса как-то сами собой стекались с начала 45-го все жалобы обиженного нашими солдатами или самой войной населения.

В витебских наших лесах, зимой 43-го, я здорово погрелся у пылающих русских изб — дома не только в деревнях, но и в городках России больше деревянные, и очень жарко они горели, когда их поджигали отходившие немцы, чтобы дать погреться как следует и нам, солдатам, и детям, бабам и старикам, жившим в этих домах. Но я видел и то, как горели уже весной 45-го — горели просто так, без всякого приказа и какой-либо военной надобности — немецкие городки. Горели через день-два после того, как их целехонькими брали наши передовые части — бригады нашего мехкорпуса или части нашего разведбата, горели, хотя дома были в немецких городках каменные.

Можете называть войну, как угодно: справедливой и несправедливой, революционной и контрреволюционной, оборонительной и наступательной, захватнической и освободительной. Но для меня она означала и означает только одно — смертоубийство, превращение человека в нечеловека или пробуждение в человеке зверя — выбирайте, как уж вам больше нравится. И никто и никогда меня в этом уже не разубедит, ибо э т о я в и д е л с в о и м и г л а з а м и. Женщин я не насиловал, ибо что-то человеческое во мне оставалось,

но людей убивал, большей частью коллективно, хотя и не только. А зачем и для чего я заходил порой в брошенные каменные немецкие дома, и теперь скажу прямо: чтобы послать затем посылку маме на Родину (тогда все мы посылали через военпочту посылки домой). Правда, до того немцы грабили французские, норвежские, русские, украинские, белорусские, да и другие дома, так что мы были как бы квиты. Да и пословицей известной тоже можно вроде бы оправдаться: на войне как на войне. Но даже если вы тоже так считаете, не стоит все же при этом забывать, что есть на деле война.

Кстати, куда хуже войн отечественных, национально-освободительных и прочих "справедливых", в одной из которых я участвовал, бывают разве только войны гражданские. Пленных в них на месте расстреливают или же вливают в свои поредевшие части, пристрелив предварительно командиров...

— А Вы не боитесь русских? — завязал я разговор с молоденькой соседкой.

— Боюсь, — призналась она. — Но и дома сидеть не могу. Ставни закрыты, еще страшнее. Лучше постоять здесь, на улице.

— Вы не бойтесь, — сострил я великодушно. — Мы живем теперь рядом, если что, стучите в стенку...

Так началось мое знакомство с Шарлоттой Шульце, единственной дочкой добропорядочного бюргера маленького городка Кирххайн, проживавшей на улице Моргенштрассе, 14. Матеря у Шарлотты не было, а лет Шарлотте оказалось ровно столько, сколько и мне — двадцать. А в том, что Шарлотта была по-настоящему прелестна, я и сейчас убеждаюсь, всякий раз взглянув раз на ее фотографию, которая тоже лежит рядом с прочими моими документами, фотографиями и регалиями в левом верхнем ящике моего письменного стола. На обороте карточки бегут вязью строчки: "Dir, lieber Eugen, zur bleibenden Erinnerung. Deine Lotti".

Свое сокращенное имя "Лотти" Шарлотта написала и в нижнем правом углу карточки, на ее лицевой стороне. Слева, ее же рукой, поставлена дата: "25 Juni, 1945". Бог ты мой, полстолетия минуло с того дня! Это — день и ночь нашего расставания, конец моей первой любви, черта, за которой навсегда кончилась моя юность. Но до этой черты прошли целых полтора месяца...

Впрочем, не бойтесь, читатель, рассказ на будет долог, ибо что такое первая любовь, юность, знают в общем-то все — или почти все.

У наших домов, как я выяснил в первый же день нашего знакомства, были не только парадные двери, которые выходили на одну и ту же главную улицу, но и двери черного хода — выходили они в один и тот же сад. Калитка сада открывалась на одну из прямых

улочек Киркхайна. А пройдя с полкилометра, можно было выйти на окраину городка. Там стоял домик, в котором жила подруга Лотты — Клара. Ее парень — помнится, его звали Ганс — пропал где-то в 43-м на Восточном фронте и, кто знает, может быть, его убил корявый осколок одной из тех пудозых мин, десятки и десятки которых повыплывывал в 43-м году в витебских лесах гулкий, до боли в ушах, судорожно, как лягушка, скачущий при каждом залпе мой 120-мм миномет. Но ненависти у Клары к русскому солдату не было — было любопытство, было желание помочь подруге скрыть ее великую тайну, и была надежда на то, что ее Ганс вернется в Киркхайн, хотя я-то полагаю, что вряд ли это произошло, — его наверняка настиг если не мой, то еще чей-то осколок или пуля.

В домике Клары я учился танцевать под призывные звуки немецких танго, слушал щемящие душу шлягеры о дальних странах и долгих странствиях (немцы — большие любители таких песен), и мне кажется, что здесь я впервые услышал песню, которую у нас в России называют “Голубка”. Здесь я упивался немецкой — но совсем иной, чем до того, речью; в ней не было совсем слов “Truppen”, “Panzer”, “Angriff”, “Rückzug”¹, а были какие-то совсем другие слова. Впрочем, их — хотя и не все — я знал раньше, и раньше они волновали меня. Еще до ухода моего на войну из Пензы в январе 1943-го у меня появился томик стихов Гейне на немецком языке — подарок учителя; томик этот я таскал и на фронте в солдатском вещмешке, пока не потерял его в одной из передраг вместе с вещмешком. В этом томике тоже были слова “Lieber”, “Liebling”, “Liebchen”², и они уже тогда странно будоражили мою душу, я даже перевел на русский некоторые стихи из этого томика.

Но теперь немецкие слова стали моей второй, родной мне речью — что в этом плохого? — родной через голосок Лотты, через какие-то странные ее выражения, вроде “Du, Mensch”³, которые не отыщешь ни в одном фразеологическом немецком словаре. А слова простенькой песенки, которую я услышал в домике Клары, я запомнил на всю жизнь, хотя память у меня неважная, песенка, сама по себе, того и не стоит, чтобы ее запоминать; но она и существует для меня не “сама по себе ...

1 “Войска”, “Танки”, “Наступление”, “Отступление” (нем.).

2 “Милый”, “Любимый”, “Возлюбленный” (нем.).

3 Буквально: “Ты, человек” (нем.).

Am Abend auf der Heide
Da küssten wir uns beide,
Und deine Lippen sprach,
Was keiner weis,
Was keiner¹ weis,
Nur ich...

Лотти, Лотти, жива ли ты? Если жива — как живешь?..

Убегали, одна за другой, сначала майские, потом июньские недели — недели моей и Лотты первой любви, а сколько ей суждено было продлиться, решали не мы с ней, вопреки мнению тех великих и величайших философов, которые заявляют, что человек — хозяин своей судьбы и волен в действиях своих. Решал это даже не командир нашего корпуса Бремов, который, как поговаривали офицеры, был бездарным генералом и, наверное, угробил несколько сотен лишних танковых экипажей из той пары тысяч, которые он все равно должен был угробить. Решал это даже не самый главный наш полководец — Верховный Главнокомандующий в Москве, про которого мы, фронтовики, меж собой никогда и ничего тогда не говорили — в отличие от нынешних времен. Даже он не был властен над судьбою нашей любви, хотя распоряжался судьбами миллионов, не один миллион из них должен был так или иначе отправить на тот свет, и отправил туда по своей — мне, историку революций, ныне понятной — подозрительности слишком уж много — даже для нашей огромной страны. А начав после убийства Кирова отправку на тот свет и “левых” и “правых” (а вскоре за ними и вся головка тогдашней Красной армии последовала — что-то около 43 тысяч высшего и среднего комсостава!), сказал он еще в 1935 году известнейшие свои слова: “Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихсЯ в мире, самым ценным и решающим капиталом являются люди, кадры”.

Но не буду уходить от темы. Сколько времени продлится наша с Лоттой любовь, зависело не только от Москвы. Зависело это и от Вашингтона. Американцы не очень-то торопились очищать землю Тюрингия, которая, если не ошибаюсь, по высокому соглашению отнесена была к советской оккупационной зоне. В Вашингтоне все чего-то тянули и ждали, а потому ждала и наша I-я Гв. танковая, пополненная — в который раз! — присланными с Урала новенькими танками Т-34 и вернувшимися из госпиталей русскими, украинскими, грузинскими парнями, — ждала, пока верные наши союзники не выполнят своих обязательств, ждала, чтобы переместиться им

¹ Вечерком на лугу мы целовались с тобой, и твои губы сказали мне то, чего не знает никто, чего не знает никто, только я ... (нем.).

опять же под бок, — так сказать, на всякий случай, ибо слова согласие, дружба, доверие, клятва, договор имели в политике и в ту пору смысл совсем особый, большей частью непохожий на тот, который имеют они в простых человеческих отношениях. Хотя и в простой жизни — будем справедливы — тоже далеко не все обстоит так уж благополучно со смыслом этих самых слов.

Но в любом случае наша разлука была, конечно, предрешена. Предрешена на той конференции, за тем самым столом, в тот самый час, когда была проведена черта, расплосовавшая потом страну Германию на две части — и, как теперь мы знаем, ровно на сорок пять лет! Предрешена тем, что слова соглашение, договор сохраняли все же какой-то смысл и для Вашингтона, и для Москвы, хотя и там, и тут великие государственные мужи всюду, подгоняя разведку и ученых, торопились со своими атомными, а потом водородными, ибо какое же это удобство — иметь возможность всего десятком-другим таких бомб угробить весь мир! Как эта возможность сразу же облегчила все дела и отношения в мировой политике!..

Американцы помедлили три-четыре недели с очищением земли Тюрингия, а затем отошли.

Вот почему в одно прекрасное июньское утро наш бронетранспортер должен был, заурчав, выползти на шоссе и повернуть в сторону Лейпцига. И встретиться нам с Лоттой в следующий раз определено было судьбой только через несколько месяцев, почти через полгода, когда я получил вдруг неожиданное предписание явиться в распоряжение СВАГ — Советской военной администрации в Германии, что в Берлине. В Гере, куда мы перебрались из Кирххайна и где располагался теперь наш штаб, я сел в полупустой офицерский вагон поезда Лейпциг — Берлин и, устроившись, встал у окна в коридоре. Я стоял и смотрел на бегущий передо мною сосновый бор, вернее — на темные тени деревьев, потому что это было к вечеру, на поля и перелески, сменявшие друг друга. Я не знал, для каких целей и задач должен я был явиться в СВАГ, в распоряжение какого-то капитана Сокольского, — об этом знало только командование. Но даже всезнающее Командование не знало одного — что в Кирххайне, мимо которого следовал поезд и к которому он теперь приближался, жила Шарлотта Шульце, она же Лотта, она же *meine Lotti*...

Но и когда поезд начал замедлять ход, приближаясь к станции, — была она километрах в двух от Кирххайна, я все так же продолжал стоять у окна вагона, не зная, сойду или нет. В уме спутались все мысли, в душе — все чувства. Продолжал стоять я у окна и пока поезд стоял у перрона, совершенно безлюдного в тот вечер. И лишь когда паровоз дал свисток и дрогнули вагоны, я бросился вдруг в купе, схватил шинель, полевую сумку и спрыгнул с подножки вагона

набиравшего ход поезда в самом конце перрона, прыгнул благополучно, но к величайшему негодованию какого-то провожавшего поезд станционного чиновника. Впрочем, успокоился он быстро, увидев, что перед ним не его соотечественник. О том, что понятия "Ordnung" и "Rußland" находятся в несколько ином соотношении, чем понятия "Ordnung" и "Deutschland" ("Порядок" и "Россия", "Порядок" и "Германия"), он, по всей видимости, уже знал. К тому же и мой фронтовой пистолет был пристегнут к ремню портупей, и, как оказалось позднее, вез я его в Берлин не зря — через пару лет чуть было не пришлось мне его применить, когда трое пьяных наших солдат принялись меня из-за любовного соперничества с одним из них, главарем, избивать. Но помогла мне хитрость, которой научил меня мой друг Миша Бовтрук (о нем речь впереди), — в схватке выбирать у противника командира и его прежде всего и выбивать, атакуя, проход себе делая. Да и знание мое немецкого языка помогло: "Retten Sie mich!"¹ — вскричал я, отрываясь от троих дюжих парней в СВАГовскую гостиницу с немецким персоналом. Открывший мне двери немецкий служитель быстро толкнул меня в комнату на первом этаже, откуда я немедля вылез через окно на улицу и драпанул — уже с фингалом под глазом, — в то время как трое удалых молодцов шарили по помещению гостиницы. А вскоре и выстрелы патруля — не мои, слава Богу! — на улице прозвучали: тройца, как выяснилось потом, еще куда-то вломила, хозяин же квартиры, дипломат, по телефону вызвал патруль.

...Когда я дошел до Кирххайна, совсем уже стемнело, и состояние мое было преотвратное. Почти как тогда, — у немецкой танковой колонны.

Но в доме у Шарлотты — они жили с отцом на втором этаже — горел свет. И я снова пошел навстречу неизвестности — впервые постучав в парадную дверь ее дома. И сказал ее отцу те же слова, что когда-то сказал и немецкому офицеру в штабном грузовике — но уже без тени иронии: "Guten Abend!" Когда мы стояли в Кирххайне, эту парадную дверь мне никто никогда не открывал. Мы, выйдя черным ходом в дворик, просто убегали с Лоттой подальше от Моргенштрассе, 12—14, в домик Клары, а чаще — просто в поле.

Нет, это не была радостная встреча, хотя Шарлотта обрадовалась моему появлению и радости от отца не скрывала — видимо, очень добрые были у него с ней отношения. Но уже и его присутствие — а меня усадили за стол и кормили каким-то супом с картофелиной вприкуску — сковывало нас с Шарлоттой. И, я думаю, к лучшему. Во всяком случае, мне не пришлось объяснять ей, почему я молчал

¹ "Выручайте меня!"

почти полгода, хотя в ту, последнюю нашу ночь перед моим отъездом из Кирххайна я клялся ей писать. И она не получила от меня ни одного письма, хотя уже в июле 45-го немецкая почта работала превосходно.

Глядя на меня, Лотта без всяких моих слов поняла все — у женщин есть какое-то шестое чувство, в дополнение к пяти нашим, мужским, да и вид у меня был далеко не бравый.

В полночь Шарлотта накинула себе на плечи не то плед, не то пальто и отвела меня в какую-то крохотную нетопленную каморку. Там стояла — для гостей что ли? — одна-единственная широкая кровать с пуховой периной вместо одеяла. Молча, минут пять, ни о чем не говоря, ни о чем не спрашивая, Lotti посидела со мной. И потом ушла. Отец был рядом? Не в нем, конечно, было дело...

Ранним-ранним утром из же той парадной двери мы с Лоттой вышли на улицу. Был ноябрь месяц, и не время было уже бродить по полям, да и ни к чему. Мы дошли — рука об руку — до станции. Я простился с Lotti и сел на утренний поезд. Набирая скорость, поезд постукивал на рельсовых стыках, впереди был загадочный Берлин. Я уже не стоял у окна в коридоре вагона. Я один-одинешенек сидел в купе. В моей записной книжке — не рядом, а на разных страничках ее — были записаны два берлинских адреса. Один — тетуски Lotti. Другой — где жила Anni со своей дочерью...

6. Anni

В тот день, когда наш бронетранспортер заурчал, выползая на автостраду, и повернул на юг, к Лейпцигу, мы покидали Кирххайн в пять часов утра — или в 5.00, говоря языком полученного нами в разведотделе приказа. А в пять вечера, или в 17.00, через двое суток мы должны были прибыть в Геру.

Гера — тоже мало кому известный городок, расположенный километров на 200—300 южнее Кирххайна, но уже в земле Тюрингия. “Мы” — то есть передовой отряд штаба нашего мехкорпуса — должны мы были разведать и подготовить будущее месторасположение штаба. Во время войны штаб всегда прятался по самым глухим уголкам; обычай сохранялся и теперь, когда кончилась война. Вот почему мы обжили ненадолго крохотный Кирххайн, а теперь перебирались в Геру. Она, говорили, была вроде бы чуть поболее Кирххайна.

Пейзажи описывать я не мастер и, честно говоря, вообще не помню многие, наверняка прекрасные места, которые довелось мне переви-
дывать за годы войны, — и тогда, когда я с ребятами из минометной батареи 120-мм таскался по витебским лесам, и особенно потом,

когда я уже попал в танковые части и на разведотдельском бронетранспортере мотался по дорогам Прикарпатья, Западной Украины, Польши, Германии; кстати, на этом же самом бронетранспортере мы ехали и в Геру.

И все же кое-что память моя удерживает до сих пор — и удерживает намертво.

Отчетливо, до деталей, помню ту поляну — в каком-то лесу на Витебщине под Демидовым, где мы остановились на подходе к передовой, всего лишь день назад выгрузившись из эшелонов. На поляне стояла большая сосна. А под сосной, на бугорке, расположилась на обед наша минометная батарея 120 мм. И сосну эту срубил во время обеда снаряд дальнобойного немецкого орудия — немцы вели по лесу рассеянный огонь. “Погодите, еще успеете наклоняться”, — говорил ребятам понюхавший чуть раньше нас порошу комвзвода, когда мы прижимались к земле, услышав где-то очередной разрыв. Но это было до обеда. А во время обеда снаряд дальнобойного немецкого орудия угодил прямо в сосну, показав воочию, что в жизни существует смерть и что в жизни фронтовой она всегда рядом. А вместе с сосной тот снаряд срубил добрую треть нашей, еще не нюхавшей пороха батареи. И я никогда не забуду, как на том самом месте, с которого мы вдвоем с командиром моего миномета Колькой поднимали на повозку молоденького, всего год-другой из училища, но уже знавшего фронтовые премудрости комвзвода (а было это уже после того, как комбат — плеткой и матом — согнал нас, разбежавшихся по лесу, обратно на поляну), — я никогда не забуду, как на том самом месте, где только что лежал все еще живой лейтенант, заблестела синеватая лужица... И еще я помню, что когда мы с Колькой клали лейтенанта на повозку, я старался не смотреть на его живот.

Прекрасно помню я до сих пор и какой-то мостик в Прикарпатье — на нем, в мартовский гололед уже в 1944-ом пошел юзом резко притормозивший грузовичок, на котором я догонял мехкорпус. Он сполз к краю моста, сбил перила и завис над речкой одним из задних колес. Эта весенняя речушка весело, с рокотом, бежала по каменистому дну, и лететь до этого дна пришлось бы метров шесть-семь, будь скорость грузовика чуть побольше.

А еще я помню прекрасно небольшой двухэтажный каменный домик к каком-то городке по дороге к Одеру, хотя многие дома в Германии небольшие, двухэтажные и все каменные. Ночь была такая зимняя, лунная... И вдруг из крайнего справа окна на втором этаже стал бить по нашей остановившейся колонне немецкий пулемет, а по пулемету сразу же ударил из своего крупнокалиберного командир нашего бронетранспортера Митя Бовтрюк — ударил без промаха, а

главное — его американский крупный калибр взял каменную стену дома. И обнаружил растерявшийся немецкий пулеметчик не только себя, но и некое особое назначение охраняемого им в городке объекта — через дом шла какая-то, видимо, сверхсекретная связь Восточного фронта с Берлином. Дом разведчики наши взяли, провода порвали, начальника объекта после допроса расстреляли — не везти же его nach Berlin! — а случаем воспользовались: вскоре, словно на параде каком, и даже сами того не ведая, проследовали через городок колонны Т-34 I-й Гв. танковой, — по открытому пустынному шоссе, пересекавшему мощные, но спящие восточные укрепрайоны Германии, мы приближались внезапно для противника к Одеру.

Но и эту, бежавшую под колеса бронетранспортера великолепную — тоже без единой машины или человека — дорогу на Геру, с сосновым бором по бокам — через деревья уже пробивались лучи июнского солнца — я запомнил на всю жизнь. И уже совсем не по причине пережитого здесь смертельного страха. Мы ехали по “ничейной” и, главное, совершенно мирной теперь земле, нам не надо было выискивать тревожно в небе зловещие черточки “Мессеров”, не надо было вглядываться пристально — до боли в глазах — в опушки полей и окраины городков, к которым мы приближались. Позади была война, впереди вся жизнь — жизнь, которую ты в свои двадцать лет уже узнал с ее страшной стороны и почти совсем еще не знал со всех других ее сторон. Жизнь манила неизвестностью — неизвестностью, из которой ушла постоянно присутствовавшая там смерть, ушла так далеко, что, казалось, ее и вовсе там не было, да и не будет. И что греха таить: да, там, в Кирххайне, осталась Лотти, но в тот час, на этой залитой июньским солнцем мирной дороге, в душе моей было только одно ощущение — полной безмятежности и пьянящего, безмерного счастья...

Командиром передового отряда был майор Никитин — офицер нашего разведбата, чуть похожий на татарина скуластый парень лет двадцати восьми. Впервые я столкнулся с ним вплотную только в этой поездке — раньше лишь иногда видел в разведотделе, где ему ставили очередную боевую задачу. Задачи эти были почти невыполнимые, но выполнял их майор, как надо, и заработал пяток орденов, среди них два — Красного Знамени. А заработать такие ордена было нелегко даже офицеру-разведчику. Их не сумел заработать даже сам начальник нашего разведотдела Заряко, хотя чином был подполковник и тоже немало поездил с разными заданиями.

Но майор Никитин, как я узнал из дорожного нашего разговора, удачно зарабатывал не только ордена. Он вел точный счет своим подвигам и на ином — не ратном — поприще. И число его побед на этом поприще дошло к тому дню, когда мы выехали в Геру, до цифры

(ее, эту цифру, я тоже запомнил прекрасно) 71. Что в точности цифры не было оснований сомневаться, я убедился в тот же вечер, когда мы прибыли в Геру.

Геру мы объездили довольно быстро, а потом расположились в гостинице, на площади. А еще через полчаса в мой номер, где мы перекусывали с майором (окна номера, я помню, выходили на кирху), вошел, кланяясь угодливо, бургомистр Геры — лысоватый, низенький человечек лет пятидесяти пяти. Я перевел ему приказ майора Никитина: очистить к утру дома, которые мы выбрали под отделы штаба, и особняки, облюбованные для начальства. А когда бургомистр уже направлялся к двери, повторяя одну и ту же фразу — “Все будет в порядке! Все будет в порядке!” — майор повернулся в мою сторону, подмигнул и вполголоса бросил:

— Да, переведи ему еще: пусть пришлет вечером двух баб.

Известно: приказы командира в армии не обсуждаются, а выполняются; размышлять можно только над тем, как их лучше выполнить. А кроме того, отдавая последний приказ, майор, отдадим и ему должное, позаботился не только о себе, но и о подчиненном. Я остановил бургомистра у самой двери и перевел приказ майора точно, спокойно и даже не вполголоса — так, словно каждый день только и делал, что переводил такие приказы. Звучал он так: “Ja, und lassen Sie am Abend zwei Mädchen kommen”. Слово “Mädchen” имеет в немецком два значения: девушка, затем — прислуга; при прибавлении к нему двух слов für alle (для всех) — появляется третье его значение, которое мне и предстояло увидеть во плоти в тот же вечер. В мире сем (я скептик и не знаю, есть ли вообще мир “Тот”?) подвижны, текучи все людские отношения, и слова всего лишь отражают их переливы.

Бургомистр недаром изгибался и угодливо восклицал: “Все будет в порядке! “Zwei Mädchen” для нас обоих действительно появились в моем номере, — вечером, часов в 9. Вели они себя по-разному. Одна, помоложе, рослая брюнетка с грубоватыми чертами лица, поздоровалась и, не дожидаясь приглашения, заняла место в кресле, с любопытством оглядываясь по сторонам. Другая, поменьше ростом и помиловиднее, шатенка лет под тридцать, уселась молча — после моего приглашения — на краешек дивана. Вид у нее был такой, что, казалось, вот-вот закричит и кинется прочь.

Я позвал майора из соседнего номера — весь второй этаж гостиницы в этот день мы занимали с ним одни. Затем мы быстро накрыли на стол. Как и положено в армии, командовать (в данном случае — выбирать) надлежало майору, и он выбрал вторую, звали ее Анна. А потом он начал, пользуясь моими услугами переводчика, тот самый разговор, который за полчаса-час должен хоть как-то сблизить

мужчину и женщину, если они все же хотят остаться людьми, но так ими и не останутся, ибо им надо сделать то, что делают мужчина и женщина, либо долго знавшие друг друга и постепенно друг с другом сближаясь, либо почувствовав сразу в сердцах влечение неодолимое — бывает и такое, и тогда это может быть и сразу, и по-человечески, по-людски...

Анна не поддержала разговора. Она так и продолжала сидеть на краешке дивана, не прикасаясь ни к еде, ни к питью — в отличие от своей спутницы, которая не только перепробовала наши запасы, в общем-то знакомые ей блюда, вроде американской тушенки, но выпила и русской водки. Просто отводить в свой номер и насиловать испуганную женщину майор не стал. К тому же он порядком выпил и часам к одиннадцати ему стало в общем-то все равно, шатенка или брюнетка будет у него под номером 72. Так мой далеко не блестящий немецкий язык перевесил майорский чин. Мы с Anni остались вдвоем в моем номере — на всю ночь. Анна не ушла, было уже поздно. А потом мне ничего и не надо было от Анны в тот вечер. Она это поняла. Рассвет застал нас мирно беседующими, мы так и просидели на диване всю ночь. И за ночь я узнал об Анне не все, но многое.

Она была беженкой из Берлина, где держалась до конца 43-го, работая в какой-то фирме; потом, когда начались сильные бомбежки столицы, уехала с восьмилетней дочерью в Геру. Сбережений у Анны не было, муж пропал на Западном фронте осенью 44-го, а поскольку в переполненной беженцами Гере устроиться работать, или, выражаясь языком строгой политекономической науки Маркса, которую я постиг впоследствии, продавать свою рабочую силу было практически невозможно, Анна — от случая к случаю — стала продавать себя сначала добропорядочным бюргерам городка, избежавшим мобилизации по возрасту или инвалидности, затем — оккупировавшим городок американцам. А теперь оккупировали Геру русские, и Анна сидела в моем номере.

Когда рассвело и Анна собралась уходить, я задержал ее у двери, взял свою полевую сумку, вынул из нее пачку купюр — это были немецкие марки — и протянул их Анне.

Поскольку в моем рассказе появились деньги, сыгравшие в истории моей жизни, как и в истории всего человечества, такую громадную роль, я должен объяснить, откуда и для чего в моей полевой сумке появилась солидная (правда, я их никогда не считал) сумма немецких марок.

Дело не хитрое.

Где-то в марте-апреле 45-го, когда мехкорпус приближался к Берлину, предусмотрительный и дальновидный Сан Саныч посоветовал мне не выбрасывать, как мы это обычно делали с ним при

допросах, те марки, которые извлекались из карманов военнопленных вместе с солдатскими книжками, трогательными письмами их владельцев женам и очень часто — просто великолепными по качеству порнографическими открытками явно централизованного производства (в III рейхе была все же прекраснейшая полиграфия). Стоявшие перед нами пленные обычно начинали как-то странно переминаться с ноги на ногу, когда мы эти открытки внимательно изучали с Сан Санычем — с гораздо большим интересом, чем поднадоевшие солдатские книжки.

Так вот — эти самые марки раньше были просто хламом и для пленных, и для нас — и хлам этот мы преспокойно выбрасывали. Но на территории Германии немецкие марки перестали быть хламом. Они по-прежнему не нужны были нашим пленным, но нам могли уже пригодиться. И я внял совету Сан Саныча, хотя в общем-то плохо представлял, что такое “das Kapital” и для каких целей его можно употреблять, — а в Кирххайне мне вообще было не до марок. И вот, первое употребление накопленного мной таким образом капитала (как видите, и в моей личной жизни было, как и в истории человечества, свое “первоначальное накопление”) произошло в Гере в то раннее июньское утро, когда мы с Анной стояли у двери номера и она собиралась открыть дверь.

— Und wofür noch das? (А это еще за что?), — довольно резко спросила у меня Анни, привыкшая в Гере к несколько иного рода сделкам. Я пожал плечами. Мы стояли и молчали. Анна внимательно меня разглядывала. Потом она засмеялась. А потом поцеловала меня совсем не так, как целовала меня Лотти. А потом уже спокойно спрятала в свою сумочку солидную сумму марок, открыла дверь и ушла. За один поцелуй такую сумму... Надо же!

Было еще рано, можно было соснуть часок-другой. Но спать мне почему-то совсем не хотелось, хотя не спал я вторую ночь подряд. А днем в 17.00 в Геру втянулась штабная колонна, и за неделю все встало на свои места. За эту неделю я здорово отоспался и был не только морально — морально, как значится во всех моих бесчисленных характеристиках (кроме одной все же), я был вечно “устойчив” — но теперь и физически подготовлен ко всему случившемуся со мной потом.

По делам служебно-армейским мне много приходилось бегать по Гере. Здесь тоже была своя главная улица — как в Кирххайне, но примыкавшие к ней потайные улочки и переулки шли не прямо, как там, а изгибались змейками, сбегали вверх и вниз по холмам. Гера, действительно, оказалась побольше Кирххайна, но все же это был маленький немецкий городок, и не так уж удивительно, что через неделю после памятного въезда нашего передового отряда в Геру я

столкнулся на какой-то улочке лицом к лицу с Анной. Это была встреча добрых знакомых, я проводил Анну до подъезда ее дома.

— Ко мне не приглашаю, — сказала она. — Живу у родственников, и так еле терпят. Да и дочь дома. — А потом, посмотрев на меня чуть насмешливо — она взяла вообще в обычай с того памятного утра как-то насмешливо-тепло глядеть на меня, — добавила:

— А может, у тебя есть не только капитал, но и свой особняк? Я бы пришла к тебе в гости...

Особняка в Гере у меня, естественно, не было, таковой в нашем Разведотделе имел только Заряко. Но был прекрасный ясный месяц — июль 1945-го. И мне стукнуло не так давно ровно двадцать. И за моими плечами было два года войны, и я пережил многое из того, что пережили, перевидали другие солдаты и офицеры, но вот “военных романов” у меня не было — то ли чин был мой мал, то ли, скорее, сам я был чересчур робок. Правда, в Кирххайне была Лотти, и она ждала моих писем. Но мне было ровно двадцать, а женщиной Анна была привлекательной.

И особняк у меня появился. Я реквизировал его на какой-то кривой улочке в тот же день — каюсь! — для разведывательных нужд военного командования. И, конечно же, подальше от особняков штаба.

Впрочем, не буду преувеличивать. Целый особняк был мне не нужен. Хватило одной комнаты с отдельным входом, и у этого входа на следующий день, когда уже смеркалось, я ждал Анну, и она пришла в нарядном, в крупную коричневую клетку, платье; это была совсем другая, чем в тот вечер, в гостинице, женщина — какая-то светящаяся радостью и несколько даже навеселе. И мы сидели за столом, теперь уже не вчетвером, а вдвоем. И к великому моему ужасу разговор у нас не клеился... Да и мы наговорились уже предостаточно в ту первую нашу с Анной ночь. И все было для меня ясно. Все, кроме того, как перейти от нелепых моих слов к делу.

В конце концов, не отпускавшее весь тот вечер душу мою отчаянное волнение Анне просто надоело. “Неужели все русские медведи такие робкие?”, — зло спросила она, но не ушла, возмущенная, как я в испуге ожидал, а поступила как раз наоборот. После оскорбительных своих слов она встала и погасила в комнате свет. Для просвещения, как известно, нужен свет! Но для иного просвещения, как оказалось, нужна тьма. В темноте я услышал шорох платья. Анна раздевалась.

И если какой-нибудь святоша — я не говорю об истинных священнослужителях, которые простят мне мои грехи, ибо сами грешны, — если какой-нибудь святоша сочтет мой рассказ безнравственным и неуместным, то я просто скажу: на Земле этой не все, видно, от Бога,

но всем людям нужна ПРАВДА. А в моем случае правда была не только в том, что прожили мы вместе с Анной всего три недели и недолгий наш союз никто, кроме Неба, не регистрировал. Но ведь хотя это и так, разве в этом дело? За три недели я стал для Анны человеком, которому она многое объяснила, многое о себе рассказала. В ее жизни тоже была первая любовь, когда ей с ее милым было так же хорошо ("So einfach" — так вот просто), как мне с Лоттой. Был затем и нелюбимый муж, лет на пятнадцать старше Анны — он взял ее вскоре после той, почему-то так ничем и не завершившейся первой любви. А в наших отношениях с Анной было что-то свое, другое, — важное, наверное, не только для меня, но и для нее...

В конце июля Анна получила письмо из Берлина, от соседки по квартире. Дом Анны уцелел, и она решила вернуться — отношения ее с родственниками в Гере испортились окончательно. Жить ей в городке было просто негде. Я посадил Анну с дочкой на нашу военную попутную, шедшую в Берлин, машину.

— С год теперь продержусь, — сказала она, прощаясь. — А там видно будет. Надо начинать какую-то новую жизнь...

Я не возражал — она была права.

Но в этой новой ее жизни нам суждено было встретиться еще раз. Случилось это в Берлине, когда я уже стал работать в СВАГ.

7. Прощание

В Берлин — вернее, в СВАГ — я попал опять же, надо сказать, и случайно, и неслучайно — благодаря все той же моей наглости, любви к иностранным языкам и к поэзии. Но на сей раз это были английская поэзия и английский язык, который, впрочем, так и не стал третьим моим родным языком. Четвертым, французским, я стал овладевать уже в Берлине, но, в общем-то, не овладел и им, хотя литературу по специальности читаю.

Дело в том, что еще в середине 1944-го, пребывая в составе разведотдела меккорпуса, я отправил заявление в Москву, дабы приняли меня, фронтовика, теперь уже на английское отделение все тех же "Заочных курсов Ин-яз", которые заложили в меня основы моего немецкого. Между боевыми операциями мы пребывали на формированиях, когда, человеческим языком говоря, давали нам возможность пожить мирно. Каждая формировка длилась месяц-полтора, делать в разведотделе было решительно нечего — разве что пить, и я благополучно "проработал" к концу Великой Отечественной 36 тетрадок-лекций, которые, понятно, давали только азы английского, а уже об английской разговорной речи и говорить нечего — заочно овладеть ею невозможно. И все же в 1945 году в одной из бесчис-

ленных в своей жизни анкет, в графе знание языков я отважился написать: немецкий и английский, не уточняя, что это были за “знания”, благо составитель анкеты мне таких вопросов не задавал. Какими путями — вот уж, воистину, пути Господни неисповедимы! — попала моя анкета в руки капитана Сокольского, который подбирал кадры в Берлине в “аппарат политсоветника” (был такой аппарат, нечто вроде военно-дипломатического посольства), знать не знаю и ведать не ведаю. Но так или иначе, а через сутки-другие после посещения мною Лотты в Кирххайне я уже сидел в одном из кабинетов “аппарата политсоветника” перед капитаном Сокольским. Тот сам меня усадил, и, сев перед ним в струнку, я стал признаваться ему — как когда-то девушке-старшему лейтенанту — в той правде, которая отсутствовала в моей анкете.

— Ну ладно, — почему-то, видимо, расположившись ко мне, сказал Сокольский, — не боги горшки обжигают. Потрудишься в контрольном совете в религиозном комитете (Бог ты мой!) с американцами, англичанами, французами (!), сразу на четырех языках мира заговоришь, если свой да немецкий не забудешь. А я для приобщения тебя к английскому приемник достану, послушай уроки Би-Би-Си, они тебе помогут.

Так и получилось: через полгода я уже разговаривал на каком-то варварском английском с англоязычными моими коллегами и приступил потихоньку к усвоению французского. Во всяком случае, капитана Сокольского я не подвел, — как не подвел и ту девушку-старшего лейтенанта. Более того, обрел вскоре даже и кабинет отдельный — в том же здании СВАГ, где работал Сокольский, хотя по-прежнему оставался в чине “гвардии старшины”. Но об этом мало кто и ведал, а в конце 46-го, ни у кого не спрашивая, я и вообще сбросил военную фронтовую форму.

Впрочем, работа моя в СВАГ, где я служил с ноября 45-го и до мая 48-го, — это уже иная, новая глава в моей военной биографии, которую я, может быть, ещё расскажу когда-нибудь. А сейчас мне нужно закончить главу предыдущую — главу биографии моей не служебной, хотя и вплетенной в служебную.

Когда я уезжал из Кирххайна после свидания с Лоттой, в кармане моем, как я уже говорил, лежала записная книжка, в которой было два берлинских адреса. Один — тетушки Lotli; через нее я должен был переправлять в Кирххайн свои письма для Лотты, которой я обещал писать теперь регулярно. Второй адрес был Анни.

В сердечной смуте, которая разъедала меня тогда, я как-то сумел разобраться, представьте, только через четверть века, когда я, наконец-то, удосужился прочитать роман Достоевского “Идиот”. Только тогда я понял, что в 45-м — начале 46-го я находился в положении,

в чем-то сходном с положением князя, который метался между Настасьей Филипповной и Аглаей Ивановной и, дометавшись, снова был препровожден в Швейцарию, в известное заведение Шнейдера, откуда ранее и прибыл в Россию. Про меня, — и тогда, когда я сидел в купе поезда, увозившего меня от Лотты, и позднее, в Берлине, тоже вполне можно было бы сказать то, что сказал в конце своего романа Достоевский: “И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы теперь рукой и сказал бы, как тогда: “Идиот!”. И только потому, что в 43—45-м от всякого рода психических и нервных травм меня лечили на фронте учителя почище всякого Шнейдера, в психлечебницу меня препровождать не пришлось. Хотя некоторые основания для этого, полагаю, все-таки были...

А тут еще и зима 45—46-го выдалась для берлинцев тяжелой. Стояли морозы, топлива не было, многие дома были разбиты, другие — сильно повреждены во время боев 45-го. И вот где-то в декабре или январе я опять начал все чаще думать об Анне с ее дочерью, хотя письма Лотте и в самом деле отправлял уже регулярно.

Нам, сотрудникам “аппарата плитсоветника” СВАГ, разрешалось держать прислугу из местных, и все зависело теперь от того, на какой стороне той улицы, где жила Анна, стоял ее дом. Ибо как раз по этой улице и проходила граница между Советским и Французским секторами Берлина (потом на ней же была возведена и Берлинская стена).

Если Анна жила на французской стороне, много сделать я для нее с ее дочерью не мог. Если же дом стоял на стороне советской — оформить Анну прислугой ко мне не представляло никакого труда, в комендатуре был у меня приятель, а прислуге — “немкам”, как мы их тогда именовали, — кое-что перепадало от нас, сотрудников СВАГ. Были бы у Анны и брикеты угля, и какое-то продовольствие.

И вот в один из выходных дней я появился на улице, где жила Анна, и разыскал дом №11. Он уцелел — один из немногих на этой улице. Но стоял дом — на французской стороне. Да и казался почти необитаемым. Окна многих квартир зияли — в них не было ни рам, ни стекол. Некоторые окна, правда, были забиты фанерой или картоном. Входная дверь дома была перекошена — сорвана с нижней петли.

Я поднялся на четвертый этаж, разыскал квартиру Анны, постучал. Мне отворили дверь, и я увидел в полутьме у печурки несколько закутанных в тряпье фигур — женщин и детей. Но Анну среди них не разглядел... Она сама поднялась мне навстречу, стала в смятении

говорить что-то остальным — о “господине офицере”, который помог ей выехать из Геры. Я понял, что надо уходить. Анна вышла со мной на лестничную площадку. И вот здесь я впервые услышал от Анны слова любви — до того их не было. “Не надо, милый, не надо, милый, не ходи, — молила она, прильнув к моей шинели. — Муж жив, пока в Гамбурге, скоро вернется”...

Бывает такое вот в жизни. Анна сама пришла и отдалась мне еще тогда, в Гере. Но свою душу она отдавала мне только здесь, в Берлине, при нашем прощании, на лестничной клетке, где были выбиты все стекла в окне и мел холодный зимний ветер со снегом, а над головой торчала какая-то балка, черная балка...

Внизу, наверное, от порыва ветра, гулко ударила дверь. Анна вздрогнула и отпрянула от меня. Навсегда...

А через год — даже чуть больше, чем через год, где-то в конце 46-го судьба подвела меня и еще к одному прощанию — к последнему прощанию с Лоттой. И тоже навсегда.

Я помню этот день с самого начала, потому что именно в этот день наш парторг Кузнечиков, присланный нам прямо из Москвы, из ЦК (или еще откуда; поговаривали, что по чину он полковник НКВД), провел в нашем Управлении партсобрание, на котором зачитал нам некий важный документ. В нем излагалась история майора Советской армии К., который потерял бдительность, точнее, моральную стойкость, спутался с немецкой гражданкой и не только спутался, но еще и попросил командование позволить вступить ему с нею в законный брак. Был майор, естественно, немедленно отозван на Родину, разжалован и т.п., ибо ему, советскому майору, не подобало становиться на путь измены, вступать в недозволенную связь с немецкой женщиной, жившей в Советской оккупационной зоне, хотя он ее (женщину, а не зону) очень любил — наверное, больше, чем я любил Лотту и даже Анну. Зачитав документ, Кузнечиков говорил минут двадцать — уже от себя — о бдительности, чистоте морального облика, долге перед Родиной, а кончил, как-то неожиданно для присутствующих, сообщением о том, что некоторые “сигналы того же порядка” — о каких-то “недозволенных связях” с немецким населением — поступили и к нему, так что у нас в Управлении тоже “не все блестяще, не все в порядке”. Потом он кинул свой странно-косивший взгляд на тот угол зала, где тихо-мирно сидел я, и назвал мою фамилию. А потом мне пришлось идти к трибуне.

Я успел перехватить встревоженный взгляд моего друга капитана Сокольского и по дороге к трибуне лихорадочно пытался сообразить, что лучше — спросить у Кузнечикова, что за “сигналы” обо мне он получил и потом выпутываться, или же откровенно признать что-нибудь без всякой помощи Кузнечикова? Выбрал я последнее.

Честно говоря, я бы мог порассказать присутствующим многое, ибо с миром, имя которому Берлин, связи были у меня обширнейшие — мне нравилось познавать этот мир, и я не видел в этом абсолютно ничего плохого. А еще больше нравилось познавать Берлин моему другу-приятелю капитану Сокольскому — он был любознательным человеком, и мы с ним облазали тогда все четыре тогдашних сектора со всеми их закоулками. Разумеется, это были только осколки, израненные осколки прежнего Берлина, но и осколки были прелюбопытные, взять хоть те же кинотеатры с показом фильмов Марики Рёкк. Мы знали с Сокольским даже то, чего не знает иной берлинец, — что, к примеру, во Французском секторе Берлина есть православная церквушка, где мы в ночь на Пасху слушали и Торжественный Благовест, и Песнопение о Воскресении Христовом, — вместо того, чтобы спать, как и положено, в своих квартирах в Карлсхорсте.

Итак, я вполне чистосердечно признался, что посетил несколько раз немецкое кино с Марикой Рёкк якобы в “соседнем” с Карлсхорстом районе Берлина (на самом деле в Британском секторе). И даже додумался по ходу своего объяснения напомнить, что в I-й танковой я был все же переводчиком I разряда, немецким военпереводчиком, что практики в немецком языке в нашем управлении не имел никакой, поскольку вечно работал с “союзниками”, и что практика эта мне необходима.

Но спасли меня не мои объяснения, спас меня заместитель начальника нашего управления, — не столько, может быть, из расположения ко мне, сколько из нелюбви к Кузнечикову.

Иван Иванович минут двадцать убежденно говорил о долге, моральном облике, Родине и безусловно осудил всяческие хождения по соседним с Карлсхорстом секторам, даже в кино. Но потом заметил, что подобные “сигналы”, коль скоро они касаются нашего управления, все же нельзя рассматривать с общепринятой в СВАГ точки зрения. Ибо управление наше — все же управление особое, — как-то очень твердо и жестко подчеркнул Иван Иванович нашу специфику. Ибо, оказывается, в будущем нам предстояло развернуться в посольство, и потому управление нужно считать — тут он перевел взгляд на сидящего рядом с ним Кузнечикова — не столько “военно-административной”, сколько дипломатической единицей. Дипломатические же органы, подчеркнул он, уже снова глядя в зал, безусловно должны иметь контакт с местным населением — разумеется, с ведома руководства. И все сотрудники всячески должны совершенствовать знания немецкого языка!

Кузнечиков заметно сник, а я вздохнул с облегчением.

И все же, когда я возвращался домой и поднимался по лестнице к себе на пятый этаж, где в моем распоряжении была квартира из двух комнат, настроение у меня было отвратное. Уж больно сбивчиво я говорил, мямлил на собрании, давая свои "объяснения". Да и что за "сигналы" были у Кузнечикова, так и осталось тайной. Может быть, действительно было что-то, а, может быть, не только разговорчивый, но и зоркий Кузнечиков просто заприметил из окон своей квартиры (жил он в одном и том же со мной доме), как поздно вечером — всякое бывало — пробирался я порою к дому совсем не с той стороны, откуда положено приходить его обитателям, — то есть со стороны прохода в загородке из колючей проволоки, окружавшей Карлсхорст, где мы располагались. Но в загородке был — как раз позади нашего дома — еще один, неизвестный руководству, но мне хорошо известный проход — через плохо запирающиеся двери офицерской кухни. И, понятно, не только мне был известен тот проход.

Так вот, поднимаясь в совершенно отвратном состоянии к себе на 5-й этаж, я увидел на ступеньках у порога моей квартиры притулившуюся к стене женскую фигуру. Это была Lotti, моя Шарлотта — именно та, вещественная, телесная, хотя и полумертвая от долгого ожидания улика, которой так недоставало нашему парторгу Кузнечикову на закрытом партийном собрании.

Шарлотта пришла к дверям моей квартиры часов за пять или шесть до моего возвращения; соседи, к счастью, ничего не заметили. Адрес мой Шарлотта знала — в одном из первых же своих писем в Кирххайн я сообщил ей улицу, номер своего дома в Карлсхорсте, где располагалась СВАГ, номер квартиры. Сообщил так, на всякий случай. И теперь вот этот случай наступил. Как Шарлотта смогла найти проход в загородке с колючей проволокой, окружавшей дома СВАГ, я не знаю — забыл тогда у нее спросить. Зато знаю другое — истинная любовь преодолевает все преграды.

Я провел Lotti, уставшую, измученную, замерзшую, в свою квартиру, дал ей выпить зеленого ядовитого ликера, который продавался в нашем Сваговском магазине — ничего другого там не было — и потом долго пытался Лотту отогреть: ее была нервная дрожь — от пережитого страха, от долгого ожидания, но, главное, от предстоящей разлуки — Лотта знала, что это последнее мое с ней свидание, потому и пришла ко мне. Утром я позвонил на работу, сказал, что мне нездоровится после вчерашнего собрания, и провел с Лоттой целый день, добыв какое-то продовольствие у соседей. А темным поздним вечером того памятного дня я стоял с Лоттой у ворот дома ее тетки, куда частенько приходил за ее письмами. Я поцеловал свою Lotti в последний раз — она была совсем убитая, безжизненная, застывшая. И с нею мы тоже расстались... И тоже навсегда.

Все ее письма, которые я хранил, я сжег — сжег, ибо боялся, что одним только выступлением на собрании Кузнечиков не ограничуся; больно уж на его лице кривая ухмылочка во время выступления моего замначальника, защищавшего меня, промелькнула. Но я понимал, что сжигал я не письма — сжигал любовь Лотты, и до сих пор простить себе не могу этого сожжения. Одно только и остается мне в оправдание, в оправдание моей трусости: все-таки оставил я, сохранил хоть карточку Lotti, ее фотографию, ту самую, где она сидит в белом платье, как-то причудливо откинувшись в сторону, такая прекрасная и радостная. А на обороте написано вязью немецких букв — такой вязи я не видел ни в одном учебнике: “На долгую (нет, перевод мой неточен — “на всю оставляемую тебе”) память”...

Что ж, я любил Шарлотту Шульце, куда больше любила меня она. Она это доказала. Но моей Лотти не была. Моей была Анна. У меня нет никакой карточки Анны, и слава Богу: две такие карточки в моем письменном столе для моей жены слишком много. Время — прошло ведь почти пятьдесят лет! — совершенно стерло из моей памяти и голос Анны, и черты ее лица. Я помню лишь насмешливый взгляд ее похожих на миндаль глаз, взгляд снисходительный и немного ласковый, когда она разговаривала со мной там, в Гере, на кривой улочке, — насчет моего “капитала” и нашего будущего “особняка”. Я помню многое из того, что было между нами летними ночами 45-го там, в Гере. И я никогда не забуду касания наших душ — оно произошло в Берлине, зимой 45—46-го, на лестничной площадке с разбитыми стеклами, когда она, жалкая, сникшая, бормотала, прильнув к моей шинели: “Не надо, милый, не надо, не ходи...”

8. Моя “философия жизни”. О роли случая, или Как я потерял двух друзей моих Колек и чем это для меня обернулось

Как-то весной 1991 года я попал на очередной Круглый стол в Доме кино, который проводил один из моих приятелей. Круглый стол был посвящен проблемам нынешнего духовного возрождения, и к пригластительному билету приложен был вопросник — для обсуждения. Ставили вопросы лица, не имевшие, видимо, никакого представления о советской жизни. Спрашивалось между прочим: сознательно ли вы сделали свой выбор между атеизмом и религией? Но как можно было делать выбор, когда выбора-то практически и не существовало? Во всяком случае, в моей жизни. И достаточно долго. В молодости мне был известен лик Божий только по рисункам “Библии” Ем. Ярославского — валялась такая на столе в селе Голодовка у деда моего, бывшего казака Павла Осиповича Крячко, почему-то став-

шего сельским учителем. И атеизм мой не “подправили” мне — в смысле эрудиции — даже тогда, когда в 1948 году я оказался на философском факультете МГУ вместе с будущим другом моим Юркой К., Нелей М., Иваном Ф., да и с Лилькой Л., которую мы, уже беременную, вместе с Юркой то ли в кроссе участвовать, то ли “Краткий курс” конспектировать заставляли, будучи секретарем (я) и членом (он) курсового бюро ВЛКСМ... И всего лишь лет пять назад, подходя к такому своему рубежу, как 65-летие, купил я, постояв в очереди в Даниловском монастыре и не столько о себе думая, сколько о внучке моей, “Детскую библию”. Но внучка, прочитав ее, да еще “Вавилонскую Башню” К. Чуковского, решительно в свои семь лет об атеистическом выборе заявила — нету никакого Бога, нету и нет. И все тут. И купил я тогда же “Закон Божий для семьи и школы” — уже для себя, собственно, и только теперь узнал об отличии еврейской ветхозаветной Пасхи, как праздника освобождения от рабства египетского, от Пасхи христианской, новозаветной, знаменующей торжественное избавление через Христа всего человечества от власти дьявола и дарование нам, грешным, жизни и вечного блаженства. Только теперь узнал я то, что видел в 47-м в берлинской церквушке: Пасха — это Праздник праздников, Торжество из торжеств, и посему “Богослужение сего Праздника отличается величием и необычайной торжественностью”. Выходит, мне надо было добратся через войну до Берлина и прожить еще 45 лет, чтобы начать свое приобщение к Православию, а точнее — к скептицизму, ибо после того госпиталя в Померании Бога принять я до сих пор пока не в состоянии, как не могу и решительно его отвергнуть. Зависимость духа от тела видна, но могла ли материя этот дух сотворить? Поэтому для себя лично я довольствуюсь пока что некоей собственной “философией жизни” — философией, которая, кстати, объясняет и то, как и почему я попал на философский факультет МГУ.

Ужасно это, читатель, но что было, то было: событие это предварила — и по моему собственному недосмотру! — гибель двух моих друзей, которые оба звались Кольками. Фамилий их приводить не буду, все равно почти все имена и фамилии у меня подменены.

Первого Кольки не стало недели через две-три после нашего с ребятами прибытия на фронт под Демидовым и зачисления в состав 973 стрелкового полка 270 стрелковой дивизии — со всеми вытекавшими отсюда для нас последствиями.

Немцы отошли тогда сразу километров на тридцать к ближайшему обводу городка, и наша СД, в будущем Демидовская, двинулась вслед за ними по единственной дороге — единственной в том смысле, что с нее нельзя было съехать ни вправо, ни влево, это была,

помнится, песчано-щебеночная лента среди сплошных болот. А в ленту немцы понасовали уйму пластмассовых мин, которые миноискатели саперов "не брали". Саперы потыкали дорогу длинными щупами, кой-какие мины нашли. А дальше... Дальше потянулись по дороге полки дивизии.

И представьте себе такую картину. Ваша повозка с минометом 120 мм следует в нескончаемой колонне по этой треклятой дороге. И каждые десять, двадцать, тридцать минут раздаются взрывы — то сзади, то спереди вашей повозки... Да еще приходится ехать мимо лежащих на обочине жертв уже прогремевших взрывов — вернее, мимо того, что остается от несчастных...

Так было два нескончаемых дня. В ночь перед третьим наша минбатарей свернула на какую-то полянку, где были копны и можно было поспать. И как раз на съезде с шоссе перед нашей повозкой — метрах в трех — взорвалась наша полевая кухня. Взрыв был так силен, что почти всю ее с кашеваром вместе бросило нам на телегу. Кухня наехала на противотанковую мину...

Утром, когда минбатарей снова вытягивалась на треклятую дорогу, командир нашего миномета Колька, спавший рядом со мной в копне, просто... не захотел вставать. Ездовой уже запряг лошадь, а я, заряжающий в нашем расчете, все еще стоял перед копной, пытаюсь и уговорами и физическими действиями поднять Кольку. Он лежал, был вроде бы жив, смотрел на серое-серое небо, но ничего не говорил. Вообще, ну никак не реагировал на все мои слова и действия — живой труп да и только. Вести его в тыл, в медсанбат не было никакой возможности, на дороге было только одностороннее движение — лишь в ту сторону, где мы их, а они нас убивали. Минут через десять я прекратил свои усилия по оживлению живого вроде бы — а вроде и нет? — Кольки. Батарей была уже в полукилометре от нашей повозки. И я просто оставил командира в копне, взяв на себя командование расчетом. Мы выехали на дорогу...

А через месяц-полтора мать прислала из Пензы письмо — она сдружилась тогда с Колькиной матерью. Колькина получила похоронку. Где и как реанимировали моего друга, право, не знаю, но вылечили от всех земных недугов радикально...

Второй мой друг, тоже Колька, погиб, когда я был уже на фронте дипломатическом, и прямо у меня на глазах. Мой кабинет на третьем этаже управления политсоветника был недалеко от нашей шифровки. Был там и небольшой холл с двумя креслами, где мы зачастую посиживали с Колькой, пареньком лет 25-ти, шифровальщиком, — говорили о том, о сем, но почти никогда о делах служебных — особенно о его делах. Через него и его напарника шла связь нашего управления по линии дипломатии (да еще и с самим Хозяином).

Вопросов по этим линиям связи я старался не задавать, зная, что линии эти, их концы, упирались прямо в Т о г о , С а м о г о , о котором не след было говорить...

Колька вышел в тот день из шифровалки, запер ее своим ключом и положил ключ в карман (обычно он надевал стальное кольцо с ключом на мизинец левой руки и прихватывал ладонью — для верности). А тут, направляясь вниз перекусить, изменил обычаю.

Через полчаса Колька вернулся, я вышел к нему, мы посидели, как обычно, в креслах, а потом разошлись — я в свой кабинет, он — в свою сверхсекретную шифровалку. Но ключа от той — сверхсекретной комнаты в кармане у Кольки не оказалось.

Он забежал за мной, поделился бедой, мы облазили весь холл, осмотрели кресло. Колька раза два-три бегал вниз, в буфет... Ключ как в Преисподнюю провалился. Ключ от каналов связи с МИД, НКВД и Самим — в сложных и сверхсрочных случаях!.. Для Кольки это, по-видимому, означало вышку...

Целый час длились наши поиски. Затем Колька — белее полотна! — куда-то ушел, начальству своему что-то докладывать. Любопытно, что никто, кроме нас, даже и не потрудился потом осмотреть холл или буфет... Кольку просто срочно посадили в самолет и отправили куда надо...

А недельки через две после случившегося меня как-то пригласил поговорить Кузнечиков — и в тот же холл. Кузнечиков сел в кресло против меня — там, где сидел Колька перед страшным и загадочным происшествием. Подушка кресла под тяжестью Кузнечикова прогнулась, и я ясно увидел какой-то металлический предмет в раскрывшейся прорези — между подушкой и подлокотником кресла... Я бросился к креслу, поднял Кузнечикова, сунул в тесную прорезь руку. Через минуту я торжественно демонстрировал нашему парторгу... Колькин ключ! Он просто выпал из кармана его брюк в щель, когда Колька сидел в кресле. "Вот он! Нашелся! — кричал я, задыхаясь от радости, Кузнечикову. — Все теперь в порядке!..."

— Не радуйся! — сказал хладнокровно наш "парторг". — Твоему Кольке уже ничто не поможет. И давай-ка ключ сюда, раньше надо было искать.

Он знал, что говорил...

К чему я рассказал эти две истории, вроде бы ничем не связанные между собой — кроме факта гибели обоих Колек?

А вот именно к тому, что у меня есть своя практическая "философия жизни", в которой я отвожу гигантскую роль случая иности, случаю, хотя в то же время и собственной свободной воле, все же способной изменить что-то в течении твоей

жизни, в жизни твоих друзей, близких, когда ты на миг выдираешься из вечных тисков н е о б х о д и м о с т и.

Я тысячу раз проклинал себя за то, что бросил тогда первого Кольку на Витебщине — в надежде, что его подберут тыловики. Да, сам вести его в медсанбат я не мог — батарея уходила на передовую, ни одна повозка не двигалась в тыл. Но мы с нашим ездовым могли все же втащить Кольку на телегу. Отошел бы он, наверное, на передовой. И остался бы командиром миномета... Но я его бросил, самого себя сделал командиром миномета, что, впрочем, и комвзвода, и комбат, которым я доложил о случившемся, вполне одобрили.

А через две-три недели, когда пехоту у нас повыбило, весь солдатский состав нашей минбатареи отправили на передовую, в пехоту, за исключением... командиров минометов. И почти весь состав наш погиб в тот же день при штурме какой-то треклятой высоты. Через расположение батареи проследовал в медсанбат лишь один из бывших минометчиков — пуля прошла ему легкое; да другой наш солдат — с легким ранением головы — добрался до нашего расположения и был оставлен комбатом в “безопасном” месте — на батарее (за месяц боев на Витебщине мы всего, отчисленных в пехоту считая, потеряли 2/3 своего состава). А вот командиров минометов на самую-самую передовую не отправили тогда, приберегли для следующих операций и для обучения новичков из ожидавшегося пополнения. Если бы Колька был жив и остался командиром миномета, быть бы мне убитым или раненым на бруствере окопа еще в октябре 43-го; прямо под пулеметную очередь ребят подняли. Это страшно и жутко, но именно ценой гибели Кольки из-за моей оплошности — когда я его бросил в копне, — остался я жив и целехонек... Философию и историю постиг.

И тысячу раз проклинал я себя за то, что в случае со вторым Колькой не исследовали мы, как нужно было бы, то проклятое кресло в холле. Мы же могли за минуту-другую нащупать в прорези ключ!.. Но чертовски плотно прижаты были подлокотники к подушке кресла, когда на нем никто не сидел...

И все же, уйдя из жизни, второй Колька мне свой завет оставил — и довольно странный. Вечно он зачем-то таскал с собой “Материализм и эмпириокритицизм” Ленина. Ей-богу, не знаю, зачем. И вот, взяв после исчезновения Кольки из его комнаты на память эту на русском языке написанную книгу, я в ней ничего, ну абсолютно ничегошеньки не понял. А поскольку жажда любви у человека сочетается со столь же неумной жадой познания, эта неудача засела во мне, и когда я, предварительно закончив 10-й класс вечерней средней школы в СВАГ (была там такая в Карлсхорсте), отбыл из Берлина в Москву для получения высшего образования, я

нацелился поступать не куда-нибудь, а именно на философский факультет МГУ.

Кстати, в вечерней школе при СВАГ, закончить которую подтолкнула меня тогда в Берлине Маша, переводчица нашего управления, будущая моя жена, я чуть было даже на золотую медаль не потянул. Но сочинение мое по литературе срезали на какой-то высшей (школьной) инстанции — на высших всегда что-то срезают. С тех пор все мною написанное в прозе и стихах я просто кладу в ящик моего письменного стола и никому не показываю. Так и числюсь — если не философом, то историком...

Словом, в августе 48-го я оказался в Москве с твердым намерением познать философию, которое, может быть, никогда и не появилось бы у меня, не попади мне в руки после исчезновения (и потом, конечно, гибели) Кольки его книга... Так опять чистая с л у ч а й н о с т ь определила новый поворот в моей судьбе.

Велика ли была роль во всем этом моей собственной с в о б о д н о й в о л и?

Не знаю. Во всяком случае, не намного больше, чем в тех ситуациях, когда я и мои друзья на фронте оказывались в тисках жестокой н е о б х о д и м о с т и. И здесь долг, обязывающий меня рассказывать всю правду о том, о чем я взялся вспоминать, заставляет меня вновь вернуться в те времена, когда я был еще в разведотделе штаба нашего мехкорпуса, в нашей разведотдельской "семье"...

9. Что такое н е о б х о д и м о с т ь на войне, или Долговязый Фриц и друг его Митя Бовтрюк

Должен сказать, что при мне нашей разведотдельской семье чертовски везло. А вот незадолго до марта—апреля 44-го, то есть до моего прибытия в распоряжение подполковника Заряко, нашу разведотдельскую штабную машину подбила немецкая "Пантера" с ее проклятой пушкой-хоботом — I-ю танковую пырнула тогда в бок СС-овская танковая дивизия. Машина наша начала гореть вместе со всеми документами и моим предшественником на боевом посту военпереводчика I разряда. Но горящую машину (мотор остался цел!) все же угнал от самоходок в соседнюю деревню шофер наш Иван Панкин, а сидевший с ним рядом другой военпереводчик I разряда Сан Саных спас какие-то ценные доументы — орден свой Красной Звезды заслужил тогда. Как я завидовал ему поначалу, пока сам два ордена не заработал! На Украине же — все это было примерно в одно и то же время — осколок немецкой авиационной бомбы задел ягодицу подполковника Заряко. Недели три он проле-

жал в медсанбате у своей Кати — она была хорошим хирургом и поставила его снова на ноги, правда, одна из них была теперь порядком изуродована. Я повторяюсь, но вот почему — вернулся Заряеко в разведотдел, обрета прескверную привычку дурного обращения с немецкими пленными летчиками, — слава Господу Богу, что они залетали в наш разведотдел не так уж часто. Упомянув имя Господа, о деталях умолчу, ограничившись таким только напоминанием: пленный — это попавший в ваши руки человек, только что пытавшийся убить вас; главное для пленного — миновать передовую с ее озверевшими в горячке боя и, в общем-то, никем и ничем, кроме чувства страха и жажды мести, не управляемыми людьми.

Впрочем, и когда мы уже были не на “передовой”, языческое чувство мести Заряеко не покидало...

Но, повторяю, все катастрофические события в разведотделе произошли до моего приезда, а при мне не только капитану Назаркину, но и всей нашей семье невероятно везло, и этому везению — особенно, что касается Заряеко и меня, — очень поспособствовали два человека, которых я тоже хотел бы видеть на нашей семейной фотографии, но по своей солдатской должности и званию они не попали в поле зрения заезжего фронтового фотографа. Я говорю про Ивана Панкина, бывшего колхозника-тракториста, ставшего в 44-м шофером разведотдельского бронетранспортера. У него, правда, всегда потели руки и судорожно напрягалась спина, когда мы подъезжали к молчаливым деревушкам и опушкам, но я не помню случая, чтобы у него в бою забарахлил мотор, а разворачиваться, когда мы заезжали туда, куда не след было заезжать, он умел поразительно быстро, хотя, учтите, бронетранспортер — машина тяжелая и не очень-то поворотливая.

Друг же мой Митя Бовтрюк стал командовать экипажем нашей боевой машины в том же 44-м — после того, как Заряеко услышал о нем поистине, я бы сказал, легендарную историю. Митя был пулеметчиком подчиненного нам разведбата, и в одном из боев, когда очередь немецкого пулеметчика что-то повредила в его вооружении, не повредив его самого, а может чуточку и повредив, Митя просто-напросто пополз к своему сопернику в обход, скрываясь в высокой траве, подобрался к немцу сзади и то ли его придушил, то ли разорвал. Какая из этих версий верна, право, не знаю. Но знаю одно — сила в Митиных руках была страшная, и от демонстрации некоторых приемов, которыми он владел, а я пытался совершенно безуспешно заучить, у меня мгновенно темнело в глазах, хотя Митя всего-навсего шутил со мной — он любил со мной, “очкариком”, иногда поиграть. С немцами Митя не играл. На Украине, под немецкой оккупацией, погибла вся семья Мити — мать и сестры

(жениться по молодости лет Митя еще не успел, а отец умер до войны).

Не знаю, так это или не так на самом деле — чужая душа, как говорят, потемки, — но мне кажется, что из всех, ездивших постоянно на нашей боевой машине, один Митя не знал чувства страха. Во всяком случае, когда на расположение штаба заходили Ю-87 (я говорю про проклятых “лекарей”-пикировщиков) или когда с чердака дома или иного прекрасного сооружения, мимо которого мы ехали, начинал бить по транспортеру непредвиденный пулемет, Митей все эти летающие и приземленные предметы воспринимались не как страшилища, которые его, Митю, могут убить, а только в одном отношении — как мишень, в которую он обязательно должен хладнокровно попасть из своего американского крупнокалиберного. Кстати, ездили мы в свои страшноватые экскурсии на американском же бронетранспортере, и спасибо тем парням на заводах Форда или Студебеккера, которые сработали для нас эту добрую машину. Да и всем тем спасибо, кто ее доставил в разведбат мехкорпуса, откуда она уже прибыла в разведотдел. И еще раз спасибо Мите Бовтрюку — спасибо за то, что он никогда не склонял голову перед свистящими пулями и умел попадать в цель. Правда, распроклятые Ю-87 уходили от Митиных очередей невредимыми, но я, наблюдая как-то за его действиями из вырытой около хаты разведотдела щели, точно подметил: его трассирующие как раз и мешали точному бомбометанию германских летчиков. Спасибо, спасибо Мите Бовтрюку — недаром держал его Заряко при нашей разведотдельской семье вместе с Иваном Панкиным...

Вот о Мите я и хочу рассказать историю, связанную с той категорией в моей “философии жизни”, которую я обозначил традиционным термином **н е о б х о д и м о с т ь**. Только вот наполнен этот термин для меня содержанием не таким уж традиционным.

История эта началась, когда мы надолго застряли в Прикарпатье под Станиславом, и к нам в разведотдел привезли вместе с еще одним пленным солдатом длинного шофера-ефрейтора бронетанковой дивизии СС, нациста. Он этого не отрицал, да и отрицать тут было нечего — у нацистских танковых дивизий своя форма. Был при Фрице и карманный справочник члена НСДАП с таблицами по определению каких-то процентов состава крови и острых и тупых углов подбородков.

Приключения Фрица начались еще при допросе.

Фриц (это было его настоящее имя) показал: принадлежу к танковой дивизии, Gefreiter — ефрейтор; дивизия СС на вокзале Станислава, на путях, погружена, отбывает. Куда? Не знаю.

Простой Soldat — показал: в Станислав прибыло много танков, они на путях, разгружаются.

Все это было серьезно. Мы, как я уже сказал, застряли тогда под Станиславом, тридцатьчетверок у нас в корпусе осталось из двух-трех сотен десятка два-три, генерал Брёмов, как случилось с ним в экстремальных ситуациях, “прихворнул”, и командовал корпусом наш начштаба Поронченко. До него дошли какие-то смутные сведения о наличии множества танков на подъездных ж.-д. путях к Станиславу; по его приказу разведчики и доставили языков, сразу двух, но несли они на допросе прямо противоположное.

Подполковник-разведчик Зареяко из штаба нашего мехкорпуса вел своего рода негласное соревнование с полковником-разведчиком Доболевым из штаба танковой, который, попозже, в 45-м, в деле разведмастерства считался уже чуть ли не лучшим на всем Жуковском фронте. На том допросе Фрица и его сотоварища реакция Зареяко была мгновенной: он выложил свой маузер на стол, и Сан Саныч перевел пленным грозным голосом его слова: “Даю одну минуту! Не будет у меня ясности, оба отправитесь на тот свет!”

Der Gefreiter держался за свои показания твердо. Простой Soldat сплоховал — его прохватил понос. Weiß nicht! — вскрикнул он, придерживая полные штаны рукой... Было очень смешно, но никто не смеялся. Минут через 10 Soldat'a (кальсоны он оставил хозяйке дома в чулане, где сидели пленные) наш бронетранспортер уже вез в разведотдел армии ввиду важности дела (обычно пленных конвоировали туда пешком)... Gefreiter'a Зареяко попридержал для себя...

Через десяток дней Зареяко передал нам, когда мы сидели все за столом и обедали, свой разговор с разгневанным Поронченко. Передаю, что упомянул из слышанного.

Поронченко: Товарищ подполковник, попрошу Вас разъяснить, почему ваши данные постоянно расходятся с разведсводками штаба армии? Они сообщили нам, что по крайней мере одна танковая дивизия СС прибыла в Станислав. Вы, подполковник, мне доложили — что она отбывает.

Зареяко: Но ведь Вы же взяли Станислав, товарищ полковник. Мы теперь Гвардейский Прикарпатский корпус! — сегодня Москва передавала, по рации приказ приняли.

Поронченко: Ну, и еще что?

Зареяко: Да ничего. Просто Доболев не умеет допрашивать пленных. Интеллигент он!

Последних слов подполковнику произносить, конечно, не следовало. Да, командование наше тоже состояло, как и весь белый свет, из неинтеллигентов, полуинтеллигентов и интеллигентов. Но Порон-

ченко был интеллигент до мозга костей и прекрасный кадровый офицер к тому же... И закончил он разговор так:

— Ну, и я интеллигент. А Вы — кто?!

В разведотделе — хохот. Хохоот не просто по поводу этого диалога. Ведь это был уже второй памятный диалог Поронченко, хотя о первом мы только догадывались. И смеялись тому, что теперь подполковник сумел-таки взять реванш. Смеялись, хотя, по правде говоря, смеяться нам всем было грешно. Ведь Фрица уже не было на этом свете...

Дело в том, что после того краткого, но примечательного допроса, Зареяко Фрица в разведотдел армии, как это следовало сделать, не отправил. Как раз в это время у Зареяко появился прекрасный трофейный немецкий автомобиль, "Volkswagen" — предназначался он, весьма простой, но скоростной работяга, по первоначальному замыслу, вроде бы для нужд народа Германии, но оказался весьма пригодным и для нужд вермахта. Для этой трофейной машины Зареяко и оставил трофейного шофера, Фрица. И сразу все, как говорится, встало на свои места: уже не надо было снимать с бронетранспортера Ивана Панкина, когда Зареяко во время нашего сидения под Стайиславом уезжал по вечерам к Кате в медсанбат. Бронетранспортер все же боевая машина. Без шофера она просто перестает быть таковой. Правда, Зареяко и сам прекрасно водил любые машины и лихо уезжал иногда куда-нибудь в лесок, завидя нацеливающиеся на штаб Ю-87. Но ему почему-то ужасно захотелось тогда поездить в медсанбат на личном автомобиле и с личным шофером. Да и вообще — мало ли какие причуды могут появиться у человека на фронте в цветущем сорокалетнем возрасте, хотя бы и с чуточку изуродованной ногой? Почему бы людям в форме немного и не почудить, о последствиях не особо размышляя?..

Итак, все теперь вроде бы уладилось — и не только к полному удовольствию одного Зареяко, думается. На трофейной машине появился трофейный же шофер — с его черного мундира Митя Бовтрюк тут же, разумеется, содрал погоны и нашивки СС. По вечерам долговязый Фриц отвозил Зареяко в медсанчасть и, в сопровождении Мити с автоматом, возвращался на Volkswagen'e обратно. Утром совершалась Фрицем туда же, вместе с Митей, еще одна поездка — за Зареяко. Днем использовал Фрица я — для совершенствования все еще несовершенной разговорной своей немецкой речи. Австрийский диалект я понимал уже неплохо, берлинский — куда хуже, с пониманием баварского было у меня совсем schwach — слабо, а лучше сказать — никуда. Фриц же оказался не только нацистом, но и баварцем. Митя и Иван, спавшие вместе с Фрицем в одном сарае, тоже были не прочь использовать его. Ребятам длинный Фриц драил боевую машину, стирал белье, а всем нам

таскал еще и нехитрые солдатский и офицерский обеды из кухни; свой пай ребята — вполне по-братски — делили с Фрицем.

В таком виде, в мундире солдата германской бронетанковой дивизии СС, правда, без погон и нашивок, с котелками в обеих руках Фриц и предстал однажды перед ясными очами начальника штаба корпуса полковника Поронченко, вышедшего погулять по расположению штаба. Впрочем, в последнем я не вполне уверен. Вполне быть может, что Поронченко совершал вовсе не послеобеденный моцион, а вышел поразмыслить. И вполне может быть, — как раз над тем, как же ему взять Станислав, под которым наш обессиленный корпус застрял на несколько недель и которым тогда мы все еще никак не могли овладеть.

Через пару минут в кате, где расположился наш разведотдел, уже зуммерил телефон, и Зареяко, на ходу заправляя гимнастерку под португую, бежал к домику Поронченко. Что тот говорил ему, Зареяко нам никогда не передавал, адресованные тебе выражения не принято пересказывать. А минут через десять Митя Бовтрюк с автоматом уже вел длинного Фрица по какой-то тропинке в лес, но прогуливался с ним совсем недолго и быстро вернулся — один. И сразу же уединился, сумрачный, в сарае.

Перед прогулкой Фриц, естественно, понял, что стряслось нечто для него непоправимое, но я успокоил его, сказав ему полуправду-полуложь — что он, мол, попался на глаза начальству и что его приказано немедленно отправить в тыл. Фриц чуточку успокоился...

Беда в том, что ситуация, вообще говоря, была наисложнейшая. На тылы нашего мехкорпуса, да и всей I-й Гв. танковой, выползла выходившая из котла немецкая группировка. Нашу I-ю танковую эта группировка не трогала, как и наша I-я танковая — ее. Путь от штаба 8-го мехкорпуса к штабу I-й танковой, был, как говорится, открыт. Но пришлось бы давать объяснения начальнику разведотдела армии полковнику Доболеву (и, может быть, не только ему): а почему это на 10 дней задержана вами доставка наиважнейшего пленного?!.. И решено было по всем этим инстанциям Фрица не направлять, а сразу — в наивысшую...

Я вот на войне совсем атеистом стал, ныне, как сказал уже, вроде бы к скептицизму склоняюсь в вопросе о Боге. Но ничто пока что не может меня разуверить в той моей “философии жизни”, которую выработала во мне война. И даже термины для нее дала из своего лексикона — они только внешне схожи с традиционно-философскими. Ведь это же поистине страшные в военном лексиконе слова: **н е о б х о д и м о с т ь , с л у ч а й , о ш и б к а . . .**

Вернемся к нашей истории. Согласитесь — тут, в смысле **н е о б х о д и м о с т и**, абсолютно был прав начштаба полковник

Поронченко и абсолютно неправ начальник разведотдела Зареяко. С л у ч а й отправить Фрица в разведотдел штаба армии он упустил дней десять тому назад. Тогда он явно хватил через край, совершил о ш и б к у , или, как чаще говорилось на фронте, — п р о м а ш к у , хотя и сделал это ради л ю б в и к Кате. Фриц знал далеко не все, но знал очень многое — точное месторасположение штаба корпуса и, выйдя по нужде ночью из сарая, он через пару часов мог вполне оказаться там, где спереди и сзади сверкали зарницы и непрерывно громыhalo и громыhalo...

В детали последней прогулки Мити с Фрицем я не буду углубляться, хотя их знаю. Тем более, что должен и сам сделать признание. Я нередко допрашивал пленных, так сказать, на ходу — ведь был я, как и Сан Саныч, все же переводчиком танковой армии, которую вечно бросали в прорывы. И я *должен был* допрашивать пленных для нашей ориентировки, хотя и знал, что их некуда будет потом отправить: и сбоку, и сзади были все те же немцы, одни немцы, только немцы, а возить пленных с собой было нам ну совершенно ни к чему.

Так как же могу я хоть каплей осуждения коснуться Мити Бовтюка лишь за то, что в таких вот ситуациях он, прямой потомок тех отпетых казаков, что столь восторженно были прославлены когда-то Гоголем, тоже делал свое, порученное ему, тяжелое, но н е о б х о д и м о е солдатское дело — и делал так же спокойно, как, наверное, какой-нибудь прадед его отрубал топором голову курице или прирезывал ножом поросенка?

Нет, сравнение — как многие, впрочем, сравнения — не просто неточно — оно неверно. В глубинах Митино спокойствия лежала, конечно, не наследственная привычка к неприятной, но обыденной житейской работе — там бушевало то же мрачное пламя, что избавляло его от страха и сообщало ему такое страшное хладнокровие в бою. С немцами, как уже было сказано, Митя не играл.

Впрочем, прорывалось иной раз это пламя — но, конечно же, куда более уже безобидно — даже и в Митиных развлечениях. Однажды, сидя рядом с пленным офицером — везли его из бригады в штаб мехкорпуса, было уже темно, — Митя тихонько, в руку, попыхивал трофейной сигареткой. В разведотделе штаба офицер повел себя на допросе как-то странно. Когда его брали в плен, он держался вроде бы с достоинством, отвечал на вопросы ясно, а здесь — все невпопад. После допроса, который вел Сан Саныч, я, почуяв что-то неладное, отвел капитана в угол комнаты и задал ему примерно тот же вопрос, что задавал и бледной женщине: Was ist mit Ihnen geschehen? — Что же с Вами такое случилось? Оказалось — сущие пустяки. Митя во время поездки тушил время от времени о его коленку сигареты — на брюках капитана, действительно, были прожжены дырки.

Нет, совершенно некстати вздумали по замыслу великого фюрера появиться немцы в селе Митя, в далеком украинском селе... Сколько немцев только он один, Митя, порубал очередью из автомата!

Но тех, других, я как-то не запомнил, а вот тяжело раненный под самым Берлином офицер флота — его бы даже и не довели уже до медсанбата, если бы и захотели, на допрос только сил его и хватило — только он да долговязый Фриц из головы у меня не уходят — не уходят из памяти моей, не уходят из моего сердца... Все же с баварским диалектом он мне здорово помог, тот Фриц. И долго еще хранил я “на память” о нем карманный справочник члена НСДАП. Открывался он десятком заповедей, кои помнить должны были все нацисты. Самая первая, важнейшая из них, гласила: *Der Führer hat immer recht!*¹ До конца ли своей жизни верил нацист Фриц в истинность этой истины?

Ну, а Митя — что ж Митя? Даже и с его “развлечениями”? Это сделала война, которая уродовала всех. И нередко — еще как. А Митя был ласков и добр не только ко мне. В отличие от иных, он не потерял на войне свою природную душевную доброту — ее, я уверен, *лишь на время войны* исказили страшные события в его родном украинском селе. Подчеркиваю — *лишь на время*; да и то ведь — даже и тогда, в Прикарпатье, Митя тяжело пережил смерть своего друга-врага Фрица — сутки из сарая не выходил. И потому, завершая эту болезненную для меня тему — о том, что такое война, что она делает с человеком и что означает в военном лексиконе слово *необходимость*, под катком которой — в какой уже раз! — оказались тогда и Фриц, и Митя Бовтрюк, и все мы, — завершая эту тему, я должен сказать вот что. Я считал — считаю и сейчас, — что мне была оказана высокая честь, и потому испытывал чистое чувство гордости, когда именно Митя Бовтрюк вручил мне самую дорогую для меня из всех моих боевых наград. Хотя она — единственная неучтенная ни в каких документах, да и по официальному “рангу” вроде бы ниже всех моих остальных. Это солдатский знак “Отличный разведчик”. Я заслужил его уже на офицерской должности, а офицерам этот знак вообще-то не дают.

Я уже рассказывал, как перед демидовской операцией наш комполка 973 выстроил прибывший резерв и произвел любопытный его расклад, отделив рослых от нерослых. Но это был только первый расклад, определивший, кому — в пехоту, а кому — в минометчики. Второй отделил отчаянных от осторожных или трусливых. После приказа “Сми-р-р-на-а...” комполка сказал: “Кто хочет весело повоевать — три шага вперед!” Из нескольких сот вперед вышло

¹ Фюрер всегда прав (нем.)

человек двадцать. Они и составили разведвзвод или разведроту — что именно формировал комполка, точно не помню, но за то, что именно так чаще всего люди на войне и попадали в разведку, ручаюсь. А о том, как весело состав нашего разведотдела воевал, играя со смертью, я тоже уже рассказывал.

Солдатский знак “Отличный разведчик” Митя Бовтрюк вручил мне при расставании. Знак этот он снял с тела убитого товарища — кровь его запеклась в центральном кругу, на котором изображены золотые серп и молот и вокруг которого расположены белый обвод с маленькой звездочкой и надпись золотом: “Отличный разведчик”. Внизу — не очень приметные автомат и... сабля. Плюс бинокль и колосья, выглядывающие из-за щита.

Имел ли Митя Бовтрюк право дарить мне эту награду? Думаю — имел. Это право, формально принадлежащее только командованию, дали ему его подвиги. Да и то учтем, что ведь чаще всего за ошибки командования шкуркой своей расплачиваются именно офицеры и солдаты. Так произошло у нас с Героем Советского Союза старшим лейтенантом Подгорбунским, разведчиком отчаянным, который мог с лихой тройкой Т-34, да еще с их грохотом и ревом ворваться на железнодорожную станцию и разгромить два-три немецких эшелона с танками. На Сandomирском плацдарме ему — с парой танков и тройкой бронетранспортеров — поставили задачу соединить несоединимое: один наш, что побольше, плацдарм с другим, что поменьше, — задача, с которой целая танковая армия справиться не могла, — и кто только такое задание придумал? Не тогда ли Катукову неудачную операцию аппендикса делали?

И “Тигры” вдребезги разбили тогда разведотряд. Но ночью на немецкую сторону пополз Митя Бовтрюк и приволок в крошечной тьме труп Подгорбунского — для похорон со всеми почестями. Да еще значок “Отличный разведчик” с убитого бойца сумел снять, потом долго его в кармане таскал. А при расставании мне его вручил: “Такой тебе там в штабе не дадут!” — сказал несколько презрительно. И я не отказался от Митиной награды, не меньше орденов своих ее ценю, ибо это сам Митя меня оценил. Хотя, признаюсь, по натуре я весьма осторожен и упоение в бою, которое Лев Толстой с таким вдохновением описывает в “Войне и мире”, пережил всего только два раза за два года.

Первый раз — когда в центре городка Демидова была поставлена наша минбатарея. Под звуки рвущихся немецких снарядов и свист осколков мы вели по немцам огонь столь бешеный, что о смерти и думать я забыл. Одним огнем я и жил, да поправками сбивающейся на сторону прицельной линии — через каждые два-три залпа по

телефону раздавался мат комбата и через комвзводов передавался нам...

Второй раз упоение было, когда я выехал с передовым отрядом разведбата на цветущие в апреле окраины Берлина и когда, одурев от близости конца войны и конца фюрера, наши танкисты стали посылать залп за залпом из своих 85 мм в направлении его логова, сея панику в центре Берлина. Но все же берлинские каналы помещали нам тогда сразу пробиться через пригороды столицы к главным магистралям — туда, где повсюду громадными буквами были сделаны надписи: “Berlin bleibt Deutsch” — “Берлин останется немецким”. Громадную цену заплатила тогда наша I Гв. танковая, чтобы Берлин взять. Ныне, как известно, лозунг этот осуществился для немцев полной мерой. И, слава Богу, что не без нашей помощи. И, значит, не без помощи и Мити Бовтрюка. А потому, как говорится, дай Бог Мите красивую жену и здоровых детей в том далеком украинском селе, куда Митя вернулся после Отечественной. Как и я, он — выжил.

Да, мы оба выжили, и поскольку в жизни всякое бывает, а мою не столь уж важную книгу о ленинском “Завещании” перевели и издали в Германии под громким заголовком “Anatomie der Willkür” (“Анатомия произвола”), то вот что я хотел бы сказать возможному моему читателю, — тем более, комментатору какому — в Германии, она же ФРГ, ныне уже объединенная. Ставлю теперь все точки над i.

Да, поскольку я был солдатом Великой Отечественной войны и, кроме значка Мити, не только пару боевых солдатских медалей добыл, но в придачу еще и два офицерских ордена, — а не секрет, что наград на войне дают больше тем, кто больше убивает, — поскольку это так, то не скрою: да, я убивал немецких солдат. Обоюдное было у нас в прошлом смертоубийство — коллективное к тому же, счет на миллионы шел: если верить даже официальной статистике ОКОЛО 9 МИЛЛИОНОВ ПАВШИХ У ВАС И ОКОЛО 27 МИЛЛИОНОВ — У НАС.

Несколько лет тому назад одна из моих сокурсниц по философскому факультету, выступая по ТВ, напомнила такие строки близкого к фюреру, но неплохого, однако, немецкого философа (цитирую не буквально, по памяти): когда вы подносите к устам своим чашу, помните, что одарил вас водою ручей, бежавший по склону горы, и в бликах его струй отражалась зелень прибрежной листвы и голубизна далеких небес...

Я думаю и чувствую точно так же, хотя, в отличие от Хайдеггера, ни к каким вождям никогда близок не был и не буду. Но когда я забрасывал в жерло моего миномета очередную пудовую мину, следя за тем, чтобы она не села на предыдущую, в бронзовом отливе ее

стали отражалось дождливо-серое небо осенней Витебщины, скорбь и боль матерей, получавших по почте похоронки, безмерный труд их, да и детей их, пот и кровь людей, подвозивших мне мины за тысячи километров, кровь командира моего миномета и комвзвода нашего, погибших еще на подходе к передовой, кровь других солдат, которым я бинтовал рваные раны, — о т р а ж а л о с ь с т р а д а н и е м о е г о н а р о д а . Посему жалеть о своем или Мити Бовтюка — о ком другом не говорю — поведении тогда я не могу и не хочу.

Но я, гражданин великой России, хочу дружить с народом той великой Германии, которая подарила мне первую мою любовь, а потом и гигантские свои культурные богатства — начиная с Бёме, Шиллера, Гёте, Гейне и даже Маркса, не говоря уже о Рильке, которого люблю безмерно и порой даже перевожу — для наслаждения красотой его стиха и ради успокоения души.

В заключение скажу вот еще что: от сердца рад, что сокрушена Берлинская стена; я всегда считал ее стеной грядущей войны. Радуюсь вместе с вами, граждане ФРГ, что слова “Berlin bleibt Deutsch” (“Берлин остается немецким”) оказались пророческими. Вижу ваши заботы и трудности. У нас, граждан бывшего СССР, их ныне куда больше, чем у вас.

Но так уж издавна ведется...

Москва. 1972—1994

ЧАСЫ “НА ПАМЯТЬ”

Фронтная была

... Началась и разворачивалась одна из самых крупных десантных операций в истории войн — высадка союзных англо-американских войск на французском побережье, операция “Оверлорд”. Тысячи кораблей и судов пересекли Ламанш. Немецкие оборонительные сооружения по всему побережью, по всей линии “непреступности”, были атакованы с моря, с воздуха и суши.

Но военные оркестры, даже королевские, играют “Марш Наступления” порой невпопад. Германские контрмеры были оперативными и дали результаты. Разгром союзных войск в Арденнах (Бельгия) оказался столь неожиданным и ошеломляющим, что союзнический призыв о срочной помощи зазвучал как набат: “Нельзя ли ускорить ваше наступление на Висле?..”

И — началось... Командиров, штабы и воинские части уже не просто торопили с подготовкой к наступлению, — толкали в шею!.. Видно, Верховный обнадежил союзников, и чаяния не только Уинстона Черчилля, Теодора Франклина Рузвельта и Иосифа Сталина, но и передовых наших частей, наконец, с о в п а л и. А то ведь уже казалось, что люди и боевые машины просто приросли к этому лесу и больше никуда не двинутся...

Перед рассветом 11 января 1944 года артиллерия, авиация и дивизия прорыва начали рвать на части и дробить оборону противника, а 13 января ударные танковые подразделения вошли в прорыв. Сжатые с двух сторон близостью врага и его огнем, они рвались и

**Теодор
ВУЛЬФОВИЧ**

— родился в 1923 г. в Бухаре. Участник войны. Окончил Институт кинематографии. Кинорежиссер, автор фильмов “Последний дюйм” (1959), “Крепкий орешек” (1967), “Шествие золотых зверей” (1978; сценарий совместно с Ю. Домбровским) и др. Автор сборника повестей и рассказов “Там на войне” (1991). Живет в Москве.

рвались вперед, и в первых проблесках рассвета уже крушили немецкую бригаду прямо на марше, пополняя боевые потери этой ночи трофейными машинами и транспортерами. И еще прихватывая в запас. Немецкая техника была новехонькая, надежная, приспособленная и оснащенная на долгое фронтовое действие (но хвалить ее будет вот тут! под ногами!).

Наступление разворачивалось широко, и в воздухе уже висело: НА ЭТОТ РАЗ МЫ ПРОЙДЕМ ТАК ДАЛЕКО, ЧТО ГЕРМАНИЯ БУДЕТ ВОТ ТУТ! ПОД НОГАМИ!

Самые передовые и подвижные части, вырвавшись из вражеских тисков, начали набирать долгожданную оперативную глубину. Как вздох после долгого удушья — победная песня и погребальный звон!

Так за несколько суток ожесточенных боев прошла еще одна Жизнь. И много, много смертей.

Это — кому как улыбнулось...

В предрассветной мгле волею судьбы нашему разведбату N-ского гвардейского танкового корпуса досталась 13-я немецкая саперная бригада. А можно выразиться и так: 13-й саперной бригаде райхсвера достался наш разведывательный батальон.

Каким образом немецкие саперы умудрились подставиться под прямой удар, понять было трудно. Но на войне вовсе не обязательно понимать. То ли танки передового отряда прошли через них, как раскаленный нож сквозь слой сливочного масла, то ли обошли их так, что одни других спросонья и не заметили. И разведчикам сразу достался их командир со всем штабом. Всего только и оставалось — загнать им салазки, скрутить и принять сдачу в плен — тех, кто еще мог передвигаться...

Уничтожение — закон войны, тут все ясно, а вот, что касается пленных, то на этот счет накопилось много недоумений и проблем. Четыре долгих года войны притупили чувствительность к тому обстоятельству, что в минуту гибели или пленения немцы, как правило, перестают быть фашистами. Притом — довольно искренно. И оказалось, что не только с похоронными командами у нас не все благополучно, но и со службой эвакуации пленных в тыл тоже...

Сержанту Медведеву и нашему взводному попался на этот раз опытный и здоровенный дядя. Они его засекли одновременно, с разных сторон, и одновременно бросились наперерез его пароконной упряжке с повозкой. Для автоматных очередей было далековато, и дядя вот-вот мог достигнуть небольшого лесочка. Там он бросил бы лошадей и — ищи-свищи его. Битюг (командир сразу окрестил немца именно так) стоял в повозке с карабином за спиной и, как в хорошем ковбойском фильме, во весь опор гнал своих коней, не выпуская из вида ни одного

из своих преследователей... Медведев первый что-то сообразил, остановился, прицелился и одной очередью повалил левую лошадь. Повозка перевернулась, возница на мгновение исчез из поля зрения, а правая пристяжная оборвала постромки, отбежала в сторону и остановилась. Взводный мчался во весь дух, в голове успело только промелькнуть: "А лошадь-то зачем?.."

Битюг оказался добычей не легкой. Он залег за перевернутой повозкой и стал прицельно отстреливаться. Но левая раненая лошадь билась, сотрясая всю боевую конструкцию, и может быть, только этой самой лошади и был взводный обязан тем, что возница не уложил его первым или вторым выстрелом.

Командир видел все поле сразу, он бежал и петлял, прыгая то вправо, то влево, не давал битюгу сделать прицельный выстрел. Расстояние между ними стремительно сокращалось, и он уже кричал: "Хенде, курва!.. Убью-ю-ю!.. Хенде хох! Нихт шиссен! Идиот!" — а сам боковым зрением держал Медведева, готовый в любой миг ударить очередью по битюгу, если тот переведет ствол на сержанта. Но битюг целился и стрелял только по офицеру, полагая, что с коротышкой-солдатом управится позднее... Откуда ему было знать, что по части мгновенной реакции, а главное, по части отправления всех и всяческих врагов на тот свет этот маленький Медведев оставил далеко позади себя всех своих самых отчаянных и самых лютых сотоварищей?..

Сержант и взводный, оба, не сговариваясь, врезали по длинной очереди в сырую землю прямо под низ повозки и мигом залепили грязью все пространство вокруг телеги, а заодно и рожу битюга. Тот дернулся, будто его ударила пуля, засуетился, начал шарить вокруг руками, что-то перекладывать или перезаряжать, но взводный уже налетал на него (он чуть опережал Медведева). Тогда битюг вдруг отшвырнул карабин и вскочил с колен с задранными вверх руками — в его правой руке раскачивалась какая-то фиговина на цепочке... Атакующий засветил ему прикладом автомата по челюсти и в это мгновение отметил, что в поднятой руке битюга — большие карманные часы... Подскакивший Медведев с лету подсек его ногой, как фокусник смахнул часы на цепочке, откуда-то из-за спины падающего выхватил ножевой штык с деревянной рукояткой, да еще правой ногой успел въехать ему по яйцам. Битюг заорал благим матом, но тут же заткнулся, как автоматическая защелка, лежа в грязи с вытаращенными глазами.

— А часы-то наши, первого госчасзавода, — объявил Медведев, еле выговаривая слова сквозь одышку. — Где взял, далдон-мудозвон?!

— Стоп!.. Хватит... — выдохнул командир. Сам он дышал еще тяжелее сержанта. — Штее ауф! (Встать!)

Немец начал осторожно приподниматься.

— Это то есть как “хватит”?.. — возмутился Медведев. — У него штык сзади за поясом заткнут был! Приготовлен! Вы потянулись бы за часами, а он бы вас... Весело?... Обученный, потрох! — И Медведев вмазал внезапно бугаю такого пендля под задницу, что тот, словно гусь, прогнул мощную спину и захлебнулся прерывистым воплем.

— Я сказал “хватит”! — уже прикрикнул командир.

— Скажите ему, если не так шелохнется, я его срежу, — упрямо огрызнулся Медведев и сопроводил угрозу таким жестом, что пересвистывать уже не было никакой нужды.

Лошадь все еще билась в конвульсиях. Медведев вынул из-за пояса новенький “парабеллум”, битюг побелел и вытянулся, стал на полголовы выше, одновременно уменьшившись в объеме... Двумя выстрелами Медведев прикончил у него за спиной бедную кобылу и перезарядил пистолет.

— Зря ты по лошади стрелял, — сказал командир примирительно, просто так.

— Конечно, зря, — тотчас согласился Медведев. — Надо было сразу по этому... глоту... Но привычка брать живьем... А он ведь вот-вот мог уйти.

Немец (он оказался ефрейтором и на свою беду еще и с наградой) что-то понял и заметно присмирел. Медведев мгновенно оцупал и обшарил его — да так, что у того, видно, и зубочистки в кармане не осталось. Взводный приказал Медведеву отвести пленного к шоссе, там были машины взвода, а сам быстро пошел через все поле к крайнему строению, откуда еще в самом начале схватки раздалось два выстрела, и он успел своим приказом этот заблокировать. Там на чердаке кто-то засел, и видно, помощник командира Володя Иванов пока выжидал, не торопился брать дом штурмом. Правильно. Зачем зря нарываться на пулю?.. “Всего один убитый и два раненых!.. — любил повторять взводный. — Этим раненым может стать любой из вас. И одним убитым может быть каждый”...

Предстояло пересечь по диагонали довольно обширное поле. Он шел, уже не торопясь, и думал: “Сколько же раз битюг успел выстрелить?.. Выходило вроде бы раза четыре или пять... И все мимо. Не может быть, чтоб такой мазила — ведь с наградой... Значит, опять повезло. Или?..

Ноги все еще дрожали, и он хотел, чтобы они перестали дрожать к тому времени, когда он подойдет к своим солдатам. Так что лучше не торопиться.

“Интересно, а почему из мансарды не стреляли?..” Ведь они с Медведевым были в открытом поле, фланги у них были открыты. Побоялись ответного огня?.. Теперь всех их там, на чердаке, переколошматить будет не трудно, но все же вот так, нахрапом, брать их нельзя — будут потери.

Медведев с пленным удалялись справа к шоссе, битюг понуро топал, как пожилой крестьянин, заложив руки за спину. Командир сложил ладони рупором, поднес ко рту и крикнул:

— Саша!.. Смотри... чтоб все в целости!.. — С намеком.

Сержант кивнул и что-то произнес в ответ. Разобрать, впрочем, ничего было нельзя, да и предназначены были, наверное, его слова не для слуха командира...

Отсюда было видно, что солдаты его укрывались, кто за побитой техникой, кто за брошенными в поле сельхозмашинами. Это же был обыкновенный фольварк, несколько крестьянских хозяйств. Командир остановился между укрытиями, где засела его гвардия. Он еще не знал, что будет делать дальше.

— Вы бы хоть чуть пригнулись, — заметил ему Володя Иванов.

— Один сильно пригнулся и схватил пулю прямо в башку. А не пригнулся бы и получил максимум в коленку, — ответил взводный, поднял автомат стволом вверх и нажал на спусковой крючок. Вместо очереди раздался жалкий одиночный выстрел — в кассете оставался один единственный патрон.

Он выдернул из-за голенища рожок и перезарядил автомат. И тут же из чердачного проема высунулась рука с карабином, дулом вверх. На конце ствола был привязан белый носовой платок.

Командир приказал всем сидеть в укрытиях, а сам медленно пошел по направлению к дому — он знал, что все его ребята держат под прицелами крайний черный проем на чердаке.

Остановился, перевел дух и крикнул очень громко:

— Зольдатен! Нихт шиссен! Зи зинд кригсгефангенен! Аллес! (Солдаты! Не стрелять!! Вы военнопленные! Все!).

Ему оттуда что-то ответили, но он не смог разобрать и на всякий случай добавил:

— Жизнь гарантирен!

Из проема неслась какая-то смесь из ломаных русских и немецких слов: дескать, они все готовы сдаться, но у них есть один тяжело раненный. Он их товарищ... Так и сказали по-русски — “Товарищ!” И они не могут его бросить... Что-то вроде этого... В процессе переговоров уже двое появились в проеме, помогая себе жестами, объясняли условия сдачи.

Взводному сразу понравилось, что они не захотели бросить своего. “Товарищ!..” Пропаганда постоянно твердила, что фашисты при

отступлении пристреливают своих тяжело раненных, но он давно уже не верил этой брехне, и самому убедиться в этом было приятно... В поле водворилась тишина. Все ждали ответа. Почти шутливо он спросил:

— Вен онэ “товарищ”? (Если без “товарищ”?)

Один из осажденных после паузы ответил:

— Нур алле цузамен (только все вместе).

— Онэ камарадес вир бляйбен хир унд мюссен кемпфен (Без товарища мы остаемся здесь и должны сражаться), — сказал второй, но все это как-то без вызова, без пафоса, а с интонацией надежды на то, что удастся договориться. — Эр ист унзер фельдфебель (Он наш фельдфебель).

— Вифиль зольдатен? — крикнул взводный (Сколько солдат?).

В проеме показался высокий блондин без головного убора и произнес:

— Зекс зольдатен унд унтерофицир (и показал на пальцах — семь). Унзер фельдфебель.

Наступала главная трудность, нужно было сложить длинную и толковую фразу (или команду), а уверенности, что она получится, не было.

— Алле геен уnten (Все идти вниз). Айн зольдат мит геверен гейт форвертс... (Один солдат с оружием идет вперед). Андерен мит “товарищ” фельдфебель все вниз. Унд оне шпасен! (И без шуток!).

— Яволь! Онэ шпасен... — бодро ответил высокий блондин, неожиданно приветливо помахал рукой и исчез в темноте проема.

И наши, и немцы все еще немного опасались, но уже замерцала надежда, что можно будет договориться без выстрелов. Командир все-таки оглянулся и убедился, что все на своих местах, и держат проем и входную дверь под прицелами.

Выходили немцы с фольварка довольно медленно, торжественно, но с опаской озирались по сторонам. Впереди шел обвешанный оружием коренастый солдат; за ним, с интервалом метров в десять, остальные пять несли, словно некую драгоценность, своего раненого товарища, два слева, два справа, один поддерживал голову... Наши солдаты и сержанты уже поднялись со своих мест и без всякой опаски двинулись им навстречу. Немцы остановились, опустили на землю своего фельдфебеля. Он был серьезно ранен в ногу и в предплечье. Вел себя сдержанно, но ему это давалось не легко.

Командир спросил у каждого пленного его имя, воинскую специальность и гражданскую профессию. Отвечали с готовностью, в том числе ответил и фельдфебель: “инженер-строитель”.

Это были люди штаба бригады: высокий блондин оказался автомехаником, остальные были — радист, водитель тяжелой машины,

техник по ремонту каких-то устройств, а тот, что нес оружие, оказался водителем автомобиля самого командира бригады. Он сразу заявил, что его новый автомобиль-амфибия надежно спрятан в стоге сена, совсем новенький, и он готов его пригнать сюда через пятнадцать минут — туда и обратно вместе! И там все имущество командира бригады — разумеется, полевое имущество... Предложение казалось опасным, но было заманчивым... Грузовых машин в окрестности фольварка было брошено много — и тут возник грандиозный план: если учесть, что почти все немцы неплохие водители, взводный распорядился поставить на ход пять-шесть лучших грузовиков — пленные знали, какие из машин того стоят.

Подкатил на своем мотоцикле с коляской рядовой Костин и через пару минут предложил:

— Отпустите нас с фрицем, его зовут Вилли, товарищ гвардии старший лейтенант. Он говорит: "Пятнадцать-двадцать минут и мы будем с амфибией!"

Когда и как они успели сговориться? Просто поразительно. Немцы, кстати, тоже загалдели, что все это чистая правда и что ручаются за водителя: — Эрворт! (Слово чести!)

— Ну, смотри, здесь остаются шесть твоих... — сказал взводный немцу-водителю. А Костину добавил. — Ни на миг не терять его из вида. Держать ухо востро!

— Есть, — ответил Костин и рванул вперед; Вилли уже сидел в коляске его мотоцикла. И все это без всяких предосторожностей.

Фельдфебеля наскоро накачали спиртом, чтобы снять хоть часть боли, — он ни разу не охнул, не застонал и тихо поблагодарил...

Немцы сразу засучили рукава и начали... Они работали без суеты, без показухи — оставшиеся пять. К ним присоединились человек шесть из взвода: каждый делал свое дело и еще помогал другому, когда была нужда. Вскоре все сами по себе разделились на три группы. Давно командир не видел такой слаженности — не в боевом, а в рабочем деле. Казалось, все говорили на одном языке и не нуждались в переводчике. Восстанавливали одну грузовую машину за другой: снимали и ставили какие-то детали в моторе, возились с электрикой, доливали горючее из баков поврежденных машин, заправляли маслом, сбрасывали ненужный груз и оставляли тот, что мог пригодиться, вытягивали машины в колонну.

Минут через двадцать на полевой дороге действительно появилась открытая командирская амфибия, она на предельной скорости мчалась навстречу рабочей команде. В машине, за рулем, сидел один Вилли. У командира похолодело внутри — он машинально перевел автомат в боевое положение. Где Костин?.. Но когда амфибия уже

подкатывала к командиру, на дороге показался мотоцикл — это Костин, оказывается, решил подшутить на своих.

— Дурацкие твои шуточки, Костин! — заметил в сердцах помощник командира взвода. Но все остальные смеялись, а Костин был счастлив. О наказании не зашло и речи — машина была на заглядение. — Ну, полевая! Ну, командирская, а м ф и б и я! От такой любой комбриг бы икнул и не отказался. Завидовать Вам будут, товарищ гвардии лейтенант... Новенькая — как с конвейера. Все радовались: одни — завидному приобретению, другие — что смогли угодить своим победителям... Ну, прямо и д и л л и я!

На все про все оставались считанные минуты, батальон, по всей вероятности, уже двинулся вперед, скоро вся дорога будет забита до отказа, и они своей громоздкой колонной — теперь уже из пяти грузовиков, амфибии, да еще мотоциклы, бронемшины, крытая радиная, — все вместе могут застрять в этом вязком потоке...

Заканчивали последние приготовления, уже покрикивали и подгоняли друг друга, делили, кто какую машину поведет до шоссе. А там придется усадить за руль только наших водителей. Объяснили ситуацию немецким пленным... В боевых порядках наступающих войск пленные находиться не имели права, ни под каким видом — это был бы смертельный трюк! Торопились, подгоняли: — “Генуг трепаться!” — “Карл, давай цузамен с фельдфебелем...” — “Шнеллер! Одна нога здесь, другая в отрыве!” — “Об хули шпрехен, олухи?! Заводи, камараден!” — “Аларм и форвертс, крокодилы!!”

Как работали! Как они все вместе вкалывали, не теряя ни секунды!.. В последний момент, совсем неожиданно, прикатили откуда-то, уже не спросясь, новенький — ну, чудо, как со склада! — гусеничный бронетранспортер с вооружением и полным боекомплектом. Тоже был где-то припрятан... СЮРПРИЗ!.. В батальоне всегда не хватало грузовиков, а тут еще боевая гусеничная машина! Толковые оказались немцы, толковее не придумаешь; да и фельдфебель, видать, был крепкий мужик, если смог сколотить и держал в узде такую классную команду. Пленные не приbedнялись, не симулировали слабость, нездоровье, не холуйствовали, как обычно бывало у пленных, а, наоборот, — все подтянулись и с готовностью выполняли любые работы и распоряжения. Было что-то новое в облике этих людей, и такое он видел впервые. Это выглядело каким-то намеком на возможное окончание взаимного истребления. Это было, если хотите, первым предчувствием окончания войны...

Но ведь радость на войне — всегда мгновение, а изуверство и нелепости — постоянны. Командир знал, что не сможет сразу отправить их в тыл, на сборный пункт, потому что все боевые части уже вошли в прорыв и пока у них нет еще своего настоящего тыла.

Войска сбиты в кучу, части прижаты одна к другой, дороги запружены — машина к машине, борт к борту. Противник бьет и сверху, и со всех сторон. Раненых некуда везти (назад пока хода нету!), разве что оттащить в укрытие. Все вздрючены, разъярены и прикончат любого пленного прямо у обочины... Вот когда вырвутся на оперативный простор, окрепнут, поуспокоятся малость, появится уверенность — тыла все равно еще не будет, но зато "оперативного простору хоть отбавляй"... А там, глядишь, и тыл появится. И сборные пункты для пленных. Тут и намек на великодушие может появиться... Так что, решил взводный, — возьму всю команду с собой, куда ее денешь?.. Конечно, опасное это было предприятие, самое опасное — но не отпустишь же их на свободу, под честное слово? Шла уже вторая половина дня — пойдем пока все вместе вперед, а там, глядишь, вечер нас прикроет, да и вообще виднее будет... Никакой беды или подвоха он от немецких саперов не ждал: "Толковые ребята попались..."

Вообще за годы войны у него выработался свой нюх, свой опыт, свои приемы, своя собственная интуиция — и он им доверял... Обычно перед началом каждого серьезного боя его, как и всех почти в его окружении, охватывал некий странный мандраж, какая-то внутренняя сумятица, словно предчувствие чего-то, что должно посетить и укрепить тебя... Он уже научился распознавать этот трепет и как бы раскрывался ему навстречу; терпеливо ожидал — ОНО должно прийти САМО... И как только начиналось сражение, настоящее, с неизбежной толикой непредсказуемой бестолковщины, воли случая, на него накатывало ЭТО САМОЕ, трудно описуемое: как будто он переставал быть самим собой. Лоб холодел, зрение и все чувства удесятерили свою силу, и будто это не он уже управлял боем, а кто-то извне — или, вернее, ч е р е з н е г о!.. Все начинало ладиться, люди на глазах менялись, начинали понимать его почти без слов, а сам он забывал о себе, и все силы уходили на управление тем, что труднее всего поддается управлению, — б о е м. Только один раз он случайно услышал похвалу по своему адресу: "Надежный". И понял — выше награды не бывает. Да ему и не надо было...

А тут? А тут он свалил дурака дважды: позарился на брошенные грузовики и ввязался в непредвиденные хлопоты. Да и битюг непонятно еще как не попал в него... Глупее не придумаешь. Но ведь и против натуры не попрешь...

В оперативной глубине — или, попросту, в тылу у противника — гоняться за одиночными немцами или даже за такой вот семеркой — самая большая глупость. По правилам, надо было рваться вперед, оставляя одиночек, мелкие группы и даже целые вражеские конгломераты в своем тылу, — а там пусть с ними колупаются те, другие,

кто идут им вслед и убеждены, что раз противник маячит у них перед глазами, то они и есть самые первые, самые передовые и самые пробивные...

До лесочка, где на опушке стоял батальон, они торжественно доехали колонной, и все машины вели немцы. Но тут уже надо было срочно перегруппироваться, посадить за руль своих людей и надежно припрятать пленных... Все чувствовали себя ликующими заговорщиками — знали, что творят недозволенное, но вместе с тем и торжественное. А по высшему счету — и справедливое...

— Где Медведев? — спохватился вдруг командир.

— Вон в тот лесок пошел...

Это был густой подлесок с кустарником.

— А где же...

Ему не дали договорить: — Этого здоровенного он с собой таскает...

Все выглядело крайне подозрительно. Командир приказал одному из своих солдат:

— Мигом, в этот лесочек! И Медведеву — чтобы бегом сюда! Вместе с пленным! Бегом!..

Солдат кинулся к лесочку, но в это время раздался сухой пистолетный выстрел, и солдат сразу остановился и обернулся — мол, можно и не бежать?..

Из лесочка, озираясь по сторонам и небрежно поправляя пояс, словно подтягивая штаны, появился Медведев. Он медленно шел не в сторону своего командира, а немного наискосок, как в пустоту, — туда, где никого не было. Шаг у него был необычно мягкий, неприятно осторожный, даже хищный...

От благодушия и недавней торжественной идиличности не осталось и следа. Все перестали двигаться и замерли в ожидании. Те, кто хорошо знал своего командира, напряглись в предчувствии опасного взрыва. Благодушествовали только немцы.

— Сержант Медведев! — окликнул командир как ни в чем ни бывало. Он не хотел, чтобы пленные догадались о происшедшем.

— Я-а! — тут же бодро выкрикнул сержант.

Началась странная и опасная игра.

— Ко мне.

Медведев, делая вид, что бежит трусцой, медленно приближался к своему командиру. Он явно оттягивал время и, видимо, лихорадочно соображал... А командир тоже медленно двигался, уходя в сторону от машин и людей, и Медведев как бы тащился за ним, стараясь выглядеть как можно нелепее. Он даже казался неуклюжим, что ему вовсе не было свойственно. Но когда командир остановился и резко повернулся к нему, Медведев не дал ему раскрыть рта:

— Да! — сказал он с вызовом. — Сколько раз он врезал по вам из винтаря? А если бы попал? Оставайся без командира?! Не-ет. Ты хочешь меня уложить — валяй, пожалуйста. А не вышло — иди туда сам. И не скули. Это мой закон! А то, какой ушлый: задрал руки вверх с часиками, и все тут... Да он бы вас так полосанул... Командира убивает — ладно. Но убивает, и еще хочет раскрыть?! Или меня, например?.. Нет! Я отвечаю одиночным выстрелом. Кстати, — он вынул из кармана большие часы, действительно Первого госчасзавода на обшарпанной медной цепочке, и протянул командиру. — Забирайте. Для памяти. Это ваши...

И как нелепо все это ни выглядело, командир взял часы. И положил их в карман. Вот уж действительно — “на память”...

— А потом, — уже с оттенком сговора Медведев приподнялся на цыпочки, — что мы будем с ними делать? Пленных сейчас в тыл не доставить... Никак... А контрразведка узнает, что мы с ними таскаемся, — опять нам выволочка и наказание...

Он старательно объединял свои поступки с действиями командира и странным образом объединял даже ответственность...

— Не твоя забота, — одернул его командир. Но на самом деле все обстояло именно так, как говорил Медведев.

В голове, как в телеграфном аппарате, стучало: “Нет, не битюг... совсем не битюг. А просто очень не молодой уже человек, выполнявший до последнего свой вонючий “воинский долг”... Валяется сейчас в густом подлеске с дыркой в голове... Да, он стрелял в меня. Это так. Прицельно... Ну и что? В о й н а... Здесь тот, кто умеет, стреляет прицельно”...

Командир направился к колонне. Праздник был разбит вдребезги... Да какой там праздник!.. Впереди всех машин стояла маленькая ладная амфибия — одна только она и оставалась еще каким-то утешением и даже радостью...

Немцев посадили, а фельдфебеля уложили в самую большую грузовую машину. Кузов был уставлен ящиками разных размеров, и в промежутках образовывались удобные пазухи. Мощный дизельный мотор дробно постукивал, и всем казалось, что сейчас вот они тронутся в путь и там их всех будет ждать необъятная даль и самые загадочные горизонты: наши солдаты и немецкие впервые будут двигаться совместно и тайно, в колонне наступающих войск, в нарушение всех приказов, и даже вопреки чувству самосохранения, взаимной ненависти и установившимся традициям.

Командир взобрался на борт самого большого грузовика и перегнулся в кузов. Там на днище сидели пленные и лежал фельдфебель.

— Руи... Сидеть тихо... — он приложил палец к губам. — Не высовываться. Ни-ни!.. Ферштеен?.. Понятно? — Пленные кива-

ли. — А там видно будет, — он шутливо перекрестил всех в знак надежды на благополучный исход операции, а кое-кто наклонил голову и тоже перекрестился — уже по-своему, и уже всерьез...

Всех их — и ящики, и солдат, и раненого стали закрывать большущим брезентом, тоже трофейным, — как погружали в пучину. Командир поднял руку вверх (знак "Внимание!"), а сам двинулся к амфибии. За рулем уже сидел Костин — он был причастен к приобретению трофея и сразу стал его водителем.

— Повышение по службе! — сказал он взводному и завел мотор.

На заднем сидении расположился ординарец Георгий Башкович, который был и Юра и Жора — в зависимости от обстановки и настроения.

Уже не малая группа боевых и транспортных машин, не считая мотоциклов, силовым наскоком и не без приключений врезалась в общую многослойную колонну, двигавшуюся плотным потоком — все в одном направлении, на Запад. Тут без особой водительской сноровки, без наглости и взаимной помощи было не обойтись — движение в колонне было особым искусством, а уж врезаться в колонну — и подавно.

Командир не то чтобы забыл о своих немцах, но удача пьянит и начинает казаться, что все моря тебе уже по колено... Да и пленный всегда редкость — или их тьмы, или нет вообще, и тогда приходится идти черт те на что, чтобы добыть хотя бы одного — не завалящего, толкового.

Но в воюющих частях, да еще в передовых (это вам не штабы!), не терпели ни одного солдата в немецкой форме. Каждому прохиндею мерещилось, что именно тут и таится его гибель: "А неровен час, противник поднапрет и наступит?.. Что тогда?.. Не схватишь ли удар со спины?!"

Грузовик с немцами был плотно зажат машинами его взвода и охранялся надежно, но в такой тесной и перетекающей колонне строй и порядок удержать было нелегко, и каждые десять-пятнадцать метров кто-то врезался в колонну, более мощная техника теснила ту, что послабее, а то могли и протаранить, если станешь слишком настырничать и упираться... Впереди что-то застопорилось. Раздался отдаленные артиллерийские выстрелы и близкие разрывы. По колонне пронеслось:

— Немцы, немцы!

Где-то впереди прокричали:

— Противник справа!!

Ни развернуть машины, ни принять боевой порядок было уже невозможно из-за тесноты, скупенности и еще из-за того, что все

это были разные части, и выходило так, что никто никому толком не подчинялся. В любой момент могла подняться паника, и тогда уже ничто не спасло бы, кроме мордобоя и выстрелов...

Взводный приказал всем своим приготовиться к бою. "С машин не сходить и ждать!" Он знал, что в пробках на дорогах постоянно возникали скандальные, а то и дикие ситуации. Тут требовалось действовать решительно и с напором, принимая ответственность на себя... Но сначала надо было увидеть самому, что происходит, — а там уж ввязываться в разборки или разворачиваться и драпать...

Его новая машина оказалась юркой, и они продвинулись далеко вперед — туда, где шоссе плавно поворачивало влево, а справа открывалось поле. Километрах в полутора, а то и чуть ближе, виднелась еще одна дорога, густо обсаженная деревьями. В бинокль, сквозь стволы, можно было отчетливо разглядеть тоже смешанную, тоже довольно беспорядочную колонну отступающего противника. И мы, и немцы двигались приблизительно в одном и том же направлении. Тут кто быстрее очухается и развернется к бою, тот и кум королю!..

Взводный тотчас же начал командовать, выдергивая из колонны артиллерию, боевые машины с пулеметами, зенитки, выдвигал их на обочину, а дальше сержанты сами знали, что надо делать, чтобы не сыграть в ящик, и шевелились как надо. Тут — "кто кого!" К нему присоединились еще несколько офицеров и дело пошло: через полторы-две минуты образовался довольно сильный артиллерийский заслон.

Словом, тут, в голове колонны, все складывалось довольно споро и удачно: они — на редкость счастливый случай! — смогли опередить противника, который к тому же отступал и был в смятении. А вот в глубине, там, где ничего не знали и только слышали артиллерийские выстрелы и очереди крупнокалиберных пулеметов, начинались, похоже, воинственный психоз и сумятица, которые порою хуже паники...

Дальняя дорога с немцами довольно быстро опустела — одни машины рванулись вперед, другие стали наскоро пятиться и прятаться в деревушке, несколько грузовиков было подбито и два из них горели. Движение там полностью прекратилось. И тут все само собой наладилось и в нашей колонне — по одной, по две машины начали продвигаться и уходить вперед. Вся колонна снова стала двигаться. Прибыло какое-то начальство, появился даже один подполковник — принялись покрикивать, подгонять и расчищать... Взводный сразу сообразил, что делать здесь больше нечего, и сказал:

— Баста. Назад, к нашим.

— Ну, зачем? — вздумал упираться Костин. — Они же сами сейчас подъедут!

— А ну, поворачивай! И молча! — одернул его командир.

Амфибия по обочине рванула на поиски машин взвода. Надвигались сумерки. Взводный стал нервничать, подгонять водителя, а тот не очень-то управлялся с новенькой машиной и тоже стал дергаться, поругивая то мотор, то трансмиссию... И тут у взводного внутри словно что-то екнуло — да так сильно, что отозвалось короткой судорогой и болью во всем теле. Он аж закричал на Костина — машина взвыла и рванулась навстречу сплошной колонне... А как он кинулся вперед, когда амфибия застряла вдруг на развороченной танками обочине! Ординарец еле поспевал за ним... Последние двести-триста метров он бежал и знал, что опаздывает... Знал, что случилось что-то непоправимое. Были слышны сухие короткие очереди автоматов — такие расчетливые в бою не бывают, это были очереди тех, кому не угрожает опасность...

Он опоздал на какие-то две-три минуты. А в таком деле и одной секунды бывает достаточно. Еще издали он увидел своих солдат, торчащих в кузове грузовой машины: они тоже увидели его и стали выпрыгивать из кузова; кто-то показывал на каменные развалины большого здания... Он было кинулся туда, перебросив автомат из-за спины вперед под правую руку, — несколько человек навалились на него, вцепившись мертвой хваткой: одни держали за руки, другие просто повисли на нем, преграждая дорогу и тесня назад... А в развалинах, казалось, ничего и не происходит — никто не суетится, не бежит, а все медленно, размазанно расползаются в разные стороны: одни — как ни в чем не бывало прибирая автоматы за спины и ретируясь, другие — не опуская стволов, бесшумно исчезали в нишах и дверных проемах, — это были они, шакалы, расстрельщики. Те, кому крови и смертей всегда не хватает... Взводному показалось, что среди них мелькнула знакомая приземистая фигура... А прямо перед ним торчали сразу двое: помкомвзвода Володя Иванов и запыхавшийся ординарец Башкович — они заслоняли от него развалины и не давали ему двинуться.

— Не надо. Не надо... — твердил ординарец. — Я потом вам все... Очень прошу, товарищ гвардии... Очень прошу... Они все сейчас ненормальные... Психи!..

И командир вроде бы сдался, подчинился... Но потом вдруг резко раздвинул их и кинулся внутрь развалин.

Чуть в глубине лежали все семеро. Перекрещивались руки, ноги, тела... Или, может быть, они заслоняли друг друга?.. Нет. Они просто жались один к другому... Лежали между упавшими сверху конструкциями потолочных перекрытий: спокойный, только уже не раненый,

а убитый фельдфебель; высоченный, а теперь длинный красавец-автомеханик Отто (это он вступил в переговоры, еще там, на мансарде); вот он — шофер амфибии, который спрятал ее в стоге сена; радист и мастер Курт; водитель тяжелых дизельных машин, кажется, Вальтер,.. нет, Вольдемар... Все семеро.

Расстрельщиков как не бывало. Растворились... А расстрелянные все туточки. И не шелохнулись...

— ... Да разные. Разные... Они даже не знали друг друга, — пытались что-то объяснить Володя Иванов. — А слетелись в миг... У них нюх. Смертоправы... Наверное, кто-то из немцев высунулся из-под брезента, а какой-нибудь чмуть увидел. И — крик, крик: “Фрицы в колонне! Фашисты!” Тут такое поднялось!.. “Кого везете, сволочи!.. Вот поднапрут, да они всех нас...” И тут еще артиллерия начала... Стали их из кузова выдергивать. Все они, сволочи, одного только и хотели. Да чтоб поскорее... А наши... Ведь тут чуть каша кровавая не заварилась. И вы бы мне потом голову оторвали! Да, я приказал всем нашим отступить. Они ведь убили бы каждого, кто встал бы у них на пути...

— Ты, что — и вправду не мог их остановить?..

— Не мог, товарищ гвардии старший лейтенант. Поверьте, — Иванов как присягал. — Или тут была бы кровавая каша... И вы сами не смогли бы... Ведь все чужие... — В его голосе зазвучали убежденность и горе, горе и убежденность.

— А эти, немцы... Так никто ничего и не сказал?.. — спросил командир почти смиренно.

— Высокий блондин... ну, Отто, все смотрел туда, куда вы уехали, и все спрашивал: “Воо, воо, господин офицер?..” Первым они пристрелили фельдфебеля...

На шоссе уже началось движение и машины обтекали колонну его взвода...

— Кто из наших принимал участие? — спросил командир, и все поняли, о каком участии и с чьей стороны он спрашивал. Ведь тут стороны были всегда, почти всю войну: одни вопили — “Мщение и смерть! Они наших расстреливали, жгли, истязали? — Вот и мы!”... Но сами, как правило, почему-то воевать не рвались. Другие — их было меньшинство, и они всегда воевали — вставали на дыбы: “Вы что, хотите уравнивать нас с фашистами?.. Не-ет, так не пойдет!” Но были и третьи...

— К т о?! — еле сдерживаясь, повторил командир.

Почти весь взвод собрался вокруг, одни держались поодаль, другие, посмелее, подошли совсем близко. Володя Иванов крепился и молчал.

— Да ваш сержант Медведев и расстреливал вместе с ними... — донеслось издали.

Там возвышался сутулый ефрейтор Лапин, закоренелый скептик и вовсе не боевой человек (что радиомастеру и не обязательно). Он был из интеллигентной питерской семьи и презирал все эти “боевые выкрутасы” и “героические номера”.

Командир даже не обернулся в его сторону:

— Ефрейтор Лапин, сержанта Медведева ко мне.

— Есть. Но его теперь днем с огнем не найти. Убежал куда-нибудь вперед! — ехидно откликнулся Лапин и даже не пошевелился. — К наступлению полной темноты сам прибежит.

Взводный оборотился и взглянул на Лапина; тот не только выдержал взгляд разъяренного командира, но еще и добавил:

— А завтра вы его снова простите.

— Но это же ваш товарищ! — еще больше обозлился командир.

— Уверю вас, нет.

И тут из узкого промежутка между бронетранспортером и грузовой машиной вынырнул Медведев — ладный, подтянутый, он четким шагом прошел через толпившихся вокруг людей, и все уступили ему дорогу.

— Да вот он я... — сказал Медведев не громко, но задиристо, адресуясь, видимо, к Лапину. И доложил:

— Товарищ гвардии старший лейтенант (он великолепно откозырял) — гвардии сержант Медведев по вашему приказанию...

Он старался делать все почти так же, как его командир, но получалось фасонистее и по-своему.

Взводный чуть не захлебнулся от такой наглости. Он уже раскрыл рот, чтобы обрушиться на сержанта, но запнулся и скомандовал:

— По машина-а-ам! Заводи!!

Все разбежались. Но Медведев продолжал стоять, зная, что к нему команда не относится.

Тут же взревели моторы. И командир сказал ему прямо в лицо:

— Какой мразью надо быть, чтобы вот так!.. — он кивнул в сторону развалин.

Но Медведев и глазом не моргнул:

— Я знал, что мне от вас будет выволочка. Знал... Но они все кинулись к кузову и вытащили их. Ка будто отродясь немцев не видели. Спротивляться было бесполезно. Ну, не вступать же в сражение?.. Мы бы тут все перекромсали друг друга за милую душу. И трибунал бы не растащил... Их целое стадо набежало — с заржавелыми стволами. Вояки... И кругом кричат — к а з н и т ь! Не “расстрелять”, а “казнить”!..

— Офицеры были?

— Ни одного. Изуродовали бы каждого, кто сунется. А уж фрицы точно — приняли бы мученичество, а не смерть...

— Ты-то зачем полез?! — закричал опять командир, перекрывая шум моторов.

— Зачем... Решил взять на себя.. Уж лучше расстрел, чем такой самосуд.

— Так ты, оказывается, спасал их?!.

— По крайней мере, без издевательств, — Медведев стоял навывтяжку, ни один мускул не шевельнулся на его лице. Он был похож на состарившегося ребенка, и ни тени вины, ни намек хоть на малое раскаяние... — А потом ведь фашисты сами...

— Думаешь, я не знаю, как они расстреливают? Да так же, как и вы, сволочи! Ни за что, ни про что.

— Никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант,.. не так, как вашего закадычного Родионова... гвардии лейтенанта... — удар был под дыхало... — А я лично, чтобы облегчить... Правда... Толковые были ребята.

Взводный растерянно замолчал. Он ожидал чего угодно, но не этого — Медведев искренне считал (или прикидывался?), что уберет пленных от лишних мучений. Командир не мог больше с ним разговаривать — всплыло подспудное, прочно застрявшее в глубине души и не оставлявшее его весь этот день мутное ощущение собственной вины. Он знал, что если станет копать дальше, то обязательно придет к тому, что вот он сам-то и виноват — куда больше, чем этот осатаневший сержант... А если еще копнуть, то... Нет, дальше копать не следовало.

— В радиyunую машину, — скомандовал командир.

Медведев последнее время ездил в передовом бронетранспортере, как язвили солдаты, — “нарабатывал”. Имелся в виду орден Славы 1-й степени, два у него уже были.

Шоссе расчистилось, и можно было свободно двигаться вперед. Там их уже, наверное, ждали.

Подъехал Костин. Командир сказал ему:

— Поедешь в хвосте. Возьми с собой кого-нибудь из экипажа.

Подошел к транспортеру, сел рядом с водителем: тяжелая стальная дверца захлопнулась сама, уже на ходу.

— Колонна движется нормально, — доложил ординарец откуда-то сверху.

Наглость Медведева, фасонистая его выправка, его вздрюченный самоуверенный облик — все это стояло перед глазами взводного и никак не хотело уходить... “Воюющий шакал... И я тебя не только терплю. Я и прикрываю — прав Лапин... Я уже давно твой соучастник. А что хуже всего — ты не худший... Есть куда хуже. И

затаеннее... Ты хоть воюешь напропалую — никогда не увиливаешь... А все равно шакал”...

Трофейный “Майбах” гудел, корпус мерно раскачивался, машина шла по шоссе, не давая ни на секунду забыться и отойти от расстрелянных. Ведь это была их машина... Он всегда думал, что расстреливают в подобных обстоятельствах только трусы: от растерянности, от незнания, что надо делать, от непреодолимого желания как-то спасти свою шкуру... Но уж кого-кого, а Медведева трусом никак не назовешь

“А ведь это он у меня на глазах стал убийцей, — прожгло вдруг командира. — Да-да — обыкновенным убийцей... Уже привык, и это стало его второй натурой. Жгучей, неосознанной потребностью... А объяснения — они всегда найдутся... Ведь его за это всегда только награждали! А кто представлял его к наградам? Постоянно? И как откровенно этот парнишка, в сущности, еще пацан, всегда хотел быть похожим на своего командира?”

Стремительно надвигались сумерки. “Только бы не проехать своего регулировщика и указку — место сосредоточения батальона”.

— Не пропустить правый поворот. Всем смотреть!

... А семеро немцев, как эскорт, сопровождали свой бывший транспортер и не отступали — от своего чудом обретенного защитника, который так и не защитил их... Даже смертельно раненный фельдфебель все время был здесь, прямо впереди машины, и его одежды и бинты полоскались на встречном ветру, как обрывки тумана. Остальные тоже все были здесь, справа и слева, не убитые, какими он их видел в развалинах, а смертельно раненные и все еще надеющиеся на спасение. Все еще недоумевающие. “Господин офицер?..” “Господин старший лейтенант!..”

Господи, какой там “господин”? Чурка армейская. Распиндзял стоеросовый!.. Все проморгал... Как хотелось тебе покрасоваться перед всем батальоном! Ведь хотелось, хотелось... А вот мог же усадить их всех в какой-нибудь подвал, в стороне от дороги, написать шутовскую охранную грамоту (только такая и могла помочь): извините, мол, ребята, славные воины, — тороплюсь! До встречи в Берлине! Пристройте пленных — они сдались сами, без сопротивления — трудолюбивые саперы. Всегда ваш старшина Сивозады... И все, может быть, обошлось бы...

Нет, он не забыл Николу Лысикова, славного деревенского парня, безотказного и отчаянного. И как его схватили смертельно раненного. А потом безжалостно прикончили, на полосатом матрасе... А страшная, мучительная казнь Андрюшки Родионова?.. “Но как же вам хотелось, чтобы мы оказались людьми! Даже если ваша сторона была такой бессмысленно бесчеловечной...”

Дорога была пуста — как вымерла. А это означало, что враг где-то близко и впереди бой. Раньше или позже, но бой обязательно будет. И тогда опять понадобится Медведев. С его копащей, прижатой к земле повадкой. С его прыгучестью. С его всегда поражающим выстрелом. С его скромным бахвальством победителя...

Когда штабная машина догнала их передовой отряд, он, несмотря на неурочный час (а начальство не любит, когда его будят!), вошел в фургон, доложил об итогах дня, о трофейных машинах. И лишь в самом конце упомянул о пленных, “погибших во время схлеста с колонной противника, двигавшегося по параллельной дороге...” А потом нашел в папке написанный своей рукой последний наградной лист на сержанта Медведева. Это была заповедная его мечта — орден Славы 1-й степени. Взводный вышел из фургона, разорвал лист на мелкие клочки, собрал обрывки в горсть и сунул в карман... Рука наткнулась там на что-то твердое, круглое. Недоумевая, взводный вытащил непонятную вещь, за нею вытянулась цепочка. Это были часы, о которых он совсем забыл, — те самые. “На память”...

Горькое завершение оказалось у этой памяти...

А вот Медведев знал все наперед: знал, что все уляжется со временем, утрясется. И если будем живы и будет война, то будут и ордена — так он и говорил, не стеснялся.

Взводный пообещал сам себе, что никогда, никому не расскажет об этом самом большом своем позоре.

МЕЖДУ СУШЕЙ И ТВЕРДЬЮ

I.

Влюбленность с первого взгляда
в землю, которой не надо
твоей любви.

Период полураспада
дольше жизни, и нету слада
с двойником — ночным визави.

Полукровка,
твоя поллитровка
опорожнена,
пыль дорожная
завихряется над таможеню.

Пересчитано, что недожито.
Возвращаешься, как положено.

Порубежья тоска острожная:
справа Спас-на-Крови,
слева ребе Исхак Леви,
в сердце курские соловьи
и хамсин Гефсиманского сада.

Что ж отчизна тебе не рада?

Перекатная голь,
ты и дома — изгой.

**Анна
НАЛЬ**

— родилась в г. Омске. Окончила филологический факультет Московского университета. Автор двух сборников стихов — "Имя" (1990) и "Весы" (1995). Переводила Т.Готье, В.Незвала, П.Яворова, Д.Максимович и др. зарубежных поэтов. Подборки стихов публиковались в альманахах "День поэзии", "Весть", в журналах "Новый мир", "Знамя" и др. изданиях российской и зарубежной периодики. Живет в Москве.

Полурусская дочь иудея,
ни на что уже не надеясь,
родословной росток последний,
между сушей и твердью
остановленный маятник, —
перед Богом немая ты.
Только ночью близнец зеркальный
что-то шепчет враскачку, каясь,
и тяжелая складка шторы
завернулась, как свиток Торы.
Жизнь дошла до упора,
тупика.
Я смотрю в глаза двойника:
пепелище внутри зрачка,
ни задоринки, ни сучка.
Оглянусь, — а в проломе туч
грозовой проблесковый луч.
И распятые облака
заволакивают рубежи
разрывающейся души.

1991 г.

II.

Земля моя, меда желтого,
ты пустынна.
Круче бедер холмы тяжелые
в сухостое хамсина.
Чуть колышется сгусток облачный
вровень с трассой,
где в асфальтовом обруче
каменеют террасы
белых склонов Ерушалаима
под божественной сенью,
воск свечи несгораемой
в сердцевине вселенной.
От крестов, синагог, полумесяцев
винтовая теснится лестница
к сумасшедшему раю

по воздушной спирали.
Мусор жизни, ошметки, контейнеры,
все цветные обертки
развернулись павлиньим веером,
пообдерганным, полустертым.
Невесомое,
словно в трансе дорожном,
состояние сонное
с пробуждением схоже.
Ясноглазая,
земля моя, горсть оазисов,
ты огромна.
Наяву возмещенная разница
меж Ковчегом и Домом.
Между Новым Заветом и Торою
незажившая трещина,
тектонический шов Истории,
воспаленный, трепещущий.
Лепесток с африканской прожилкою,
к иудейским садам прикованный,
с левантийскими полужидками,
с всепланетными полукровками.
Вся от Красного моря до Мертвого,
как с молитвой ладонь простертая,
заслоняешь ты человечество,
обреченное вечности.

1991

III. По Северной Двине

Все в этой местности кажется плоским:
к плоскости водной прижатые доски
пристани голой на фоне полосы
сплюснутых зарослей, пляж, подтасовки
белых ночей, где ютятся тусовки
в бывших бараках и зреют подростки
в потной игре в корольки и сиповки
в космосе мокрому; от ссылки до сноски

за океан здесь отслеживал Бродский
братьев Иосифа комплекс совковский,
рабство сменив на Гулага подмости.
Блеклый пейзаж, акварель зарисовки,
лагерный край, затаенный, неброский.

Реет незримый Архангел над устьем
в белом тумане портовых напутствий
там, где стояла отшельника пустынь,
бывшая область смирения и грусти.
Здесь и теперь поселения негусты.
Створы речные рифмуются с руслом,
спарены курсом, утратившим чувство
трезвой реальности в мороке тусклом.
Грех не напиться в таком захолустье,
сядем в каюте, по стопке пропустим,
всей-то экзотики: церковь да гуси.
В каждой деревне мужицкий Иисусе
в красном углу и с младенцем Маруся.

Полночью в берег уткнемся спросонья:
пенил опилки течение косое
справа по борту, и в перистом слое
чайкой огромной почти невесомо
солнце ныряет, и блещет росой
угольный шлак, отороченный солью.
Только и стою того, что босою
по деревянным мосткам, по басовым
низким октавам от хора до соло
тянется вверх покаянная совесть
к скатам серебряным, к крыльям тесовым,
в мир, где живет непорочное Слово
в редких церквах, уцелевших от слома.

Что же мы все ожидаем в итоге
за переправой последней дороги,
в землю вцепившись рубцами надгробий?
Мертвые трассы темны и пологи:
вновь перемелемся в млечной утробе,

как перед нами обры и магоги,
чтобы сгуститься на дальнем пороге
угольной пылью, просеянной в смоге,
или вернемся, грязны и убоги,
к отчему дому, прося о подмоге
блудному духу, в тоске и тревоге
ждущему света в бессмысленном слоге
первого слова о жизни и Боге...

1993 г.

IV. Открытие Америки

1.

Океаном воздушным плывя над водой Океана,
самолетной пылинкой в ночи исчезаешь с экрана,
чтобы утром вчерашним увидеть далекие страны.

Новый Свет возвращает нас к первым шагам полиглота:
вавилонское эхо волну звуковую проглотит
оглушенной ракушкой, прикрученной к черепу плотно.

И пока в немоте плавником выгребашь на сушу,
кислородную каплю из жабр процеживай в душу
сквозь коралловый лес этих башен, проросших наружу.

В Даунтауне, городе даунов, сутки прошастав,
одуреешь и сам от небесных скалистых ландшафтов
городской перспективы, сходящейся в тысячи шансов.

На развязок спираль опираясь китовым скелетом,
зависают мосты, и распутать бетонные ленты
все равно, что рубить этот гордиев узел стилетом.

Так и будешь скользить в лабиринте дорог по бездонной,
между двух океанов зажатой пятой мастодонта
сердцевидной земле, где сверкает лужайка у дома.

Нелегко привыкать, но в конце начинается сходство
с ледниками Памира, с цветущими склонами Хосты:
никуда не уйти от подобия и первородства.

Это завтрашний день твой, как в первые сутки творенья,
из пучины выходит и вместе с тобою стареет,
проводя детей на пороге распахнутой двери...

2.

Городская,
но сплошь опушенная лесом и садом,
примыкая фасадом
к сообщающимся автострадам,
кровеносный сосуд между раем и адом,
ты пульсируешь рядом,
непрерывно, как склянка Паскаля,
эмигрантов поток впуская.

Черно-белая смесь
с желтоватым восточным осадком
взбаламучена за ночь. Нивесть
что творится здесь с правопорядком.
Ну, давай, куралесь,
на разборки и зрелища падка.
Все равно до утра
никуда от погони не деться,
жизнь короче шнура
под бикфордовой искоркой детства.
Повзрослеть бы пора,
оглядеться.

Позвоночники лестниц пожарных
выпирают из стен, подражая
узловатой гигантской лозе,
лиловеющей в пропасти цвета маджари,
где проносится окнами сжатый
темнокожий вагоновожатый.

Просыпайся стрезва и глазами
на грохочущий метромузей
между верхними этажами.

Два столетия дух твой стоек,
ты сложилась из малых толик
чайнатаунов, вилл, притонов,
из конфессий, общин, утопий,
из всемирных историй.
В каждом штате свой Капитолий,
Роденгарден, чепец фронтона
под зеркальной скалой бетона,
в сквере бюст Вашингтона.
Европеец тобой подавлен:
ты и впрямь молодая,
потому что еще недавно
был заложен в компьютер рая
генетический код Адама.

В небе сыро и рано.
По воздушным путям Океана
надвигается туча кочевий,
оседая в твоём Ковчеге.
И вздымает стеклянный остов
материк, превращенный в Остров.

1994 г.

V. Ностальгия

Анатолию Якобсону

В Цинциннати одноэтажном
я гостила однажды
три коротких дня.
Не родня
окружала теплом меня,
а домашние воспоминанья
о Москве, и любимый с нами
задержался, повременя

возвращаться в Святую Землю,
где бесплотный он дремлет,
отгорожен Стеною Плача
от забвенья и неудачи...

Все, казалось, пойдет иначе.
Спозаранок везли на дачу
в сетке рукопись (текст утрачен),
и чекушка была в придачу
под анекдот.
Электричка сбавляла ход.
Роковые семидесятые
наступали на пятки нам.
За решетку упрятаны,
по психушкам закатаны
вновь почтовыми адресатами
становились наши друзья, —
ни спасти, ни обнять нельзя.
Бормоток, шепоток, усмешечка,
пленник Хроники, чем утетишься?
Собирай пожитки не мешкая —
сроки мелет Емеля бешеный
почем зря.

На свободе мы все отвержены,
как этапы, таможни снежные,
загубели в дороге неженки,
в эмиграции стали беженки
от мужей, от подпольных дрызг,
ломка прошлого — хруст и лязг...
В доме пусто. Сонное эхо
выцарапывает прореху
в ночной тишине.
В спальне кашляет сын-калека,
плед диванный ползет с колена,
литографии на стене...
Как недавно мы были молоды
в необъятной стране и холоде,
на короткой волне

из далекого мира заочного,
где теперь поселились прочно вы, —
тяжбы с прошлым окончены,
две замужние дочери,
жизнь прекрасна вчерне.
В сердце мыши скребут коготочками,
полотенце под краном смочено,
и слепая с косой во сне.

1994 г.

VI. Урок Декарта

Ты мне толкуешь исподволь,
в обход, обиняком,
что невозможно исповедь
оставить на потом.
Вчера и завтра — где они?
Мир не существовал,
пока самонадеянно
спивался наповал,
врубался в толпы, кожей
вживался в плоть вещей, —
но это след непрожитый
и отблеск от теней.
В одной лишь точке, в прорези,
лучом сквозь облака
все, что блуждало порознь,
сошлось наверняка:
сейчас, внутри мгновения,
в зрачки вбирая дрожь,
возможен акт Творения —
ты мыслишь, ты живешь!

1994 г.

НЕ ТОЛЬКО "О РУССКОМ"

Три метафизические притчи

От автора

В одной из недавних скороспелых религиозно-образовательных телепередач, посвященных анафемствованию Толстого, многие сложные вопросы решались быстро и просто. Иной раз так просто — и на таком передергивании высказываний великого ересиарха — что думалось: а не та ли это небезызвестная простота, что хуже воровства? Но проще и категоричнее всех остальных был поставлен и решен одним из участников передачи, иеромонахом Дамаскином (Орловским), вот какой вопрос: можно ли вообще считать — и так учить и школьников, — что Толстой был великим русским писателем? Нельзя! — отвечает иеромонах Дамаскин. Это величайшая ошибка. Ибо русский писатель — это писатель православный, а как скоро Толстой учит совсем не православному пониманию вещей, то и русским писателем считаться не может.

**Юрий
МАЛЕЦКИЙ**

— родился в 1952 г. в городе Куйбышеве (Самара). Окончил филологический факультет Куйбышевского университета. Дебютировал в "Континенте" в 1986 г. повестью "На очереди" (под псевдонимом "Юрий Лapidус"). Печатался затем в "Знамени", "Новом мире", "Согласии", "Золотом веке", "Дружбе народов" — повести "Привет из Калифорнии", "Ониксовая чаша", "Потихоньку-понемножку" и др. В № 81 "Континента" напечатал роман "Убежище".

Как же так, скажет первый попавшийся телезритель, хотя бы и я. Да возьмите “Войну и мир”, откройте ее на тех же всем известных сценах охоты или ночной беседы Наташи и Сони, подслушанной князем Андреем, вспомните капитана Тушина, Николая Ростова, да кого и что угодно — и не надо больше никаких доказательств: ничего более русского в литературе нашей не было и вряд ли будет. Вот уж воистину, где русский дух и Русью пахнет.

Даже Ленин это понимал. Хотя Ленин, понятно, для нас с Дамаскином не авторитет.

Смелое высказывание. Сам Толстой мог бы позавидовать. Но уж слишком непривычное. Пока еще режет слух.

Между тем в книге совсем нехристианской — в “Еврейском мире” раби Йосефа Телушкина — я обнаружил утверждение, удивительно схожее — логически и типологически — с утверждением иеромонаха Дамаскина. Именно же: если, допустим, француз утратит католицизм, он останется французом, но еврей, расставшись с иудаизмом, перестает быть евреем. Причем здесь это уже не личное мнение раби, а общиудейское credo.

В первом случае — нерусский Толстой (и, вероятно, не слишком русский Лермонтов с его перманентным “демонизмом”, и уж совсем не русский Бунин с его “Освобождением Толстого” и маловерием в загробную жизнь — и т.д. и т.д.).

Во втором — на сходном основании — неевреи Мандельштам, Бродский, Галич... да мало ли?

Но откроем “Четвертую прозу”, “Часть речи”, включим кассету Галича — и сквозь природный, подлинный русский язык не прольются ли совершенно отчетливо еврейская горечь, ирония, характерный мелодический и нервический жест?..

Можно сменить веру или вообще отказаться от веры, можно говорить только на русском языке, можно сильно пить и быть размашисто щедрым, словом, полностью обрусеть — и все равно остаться евреем. Кровь — не вода.

Но и это не всегда так. Ментальность не просчитывается. Даже от крови может не зависеть. Вот Пастернак — его, в отличие от вышеперечисленных, только по фамилии раскусишь, а по всему остальному — чистый интеллигент “страшных лет России”.

Но ведь ни иеромонаха Дамаскина, ни раби Йосефа глупыми не назовешь. Очевидно, мы просто не договорились о терминах.

Я говорю о национальном как о типе ментальности. Они — о национальном в некоем предельном, трансцендентном смысле. О некоей особой, высшей задаче нации. О национальной идее.

Первое — национальный менталитет, национально-своеобразное выражение лица — существует совершенно наглядно. Это — как медицинский факт.

Но существует ли второе? В новозаветные времена, когда в сущностном смысле нет уже “ни еллина, ни иудея”, есть ли сверхзадача не у личности, но у целого народа?

Для иудея ответ на этот вопрос прост: никакого “Нового завета” нет, Машиах-Христос еще не пришел, завет только один: между Богом и богоизбранным народом — евреями. Иудеи совершенно закономерно мыслят по-прежнему категорией народа. В этом они опираются на Библию. Но на что опирается иеромонах Дамаскин, последователь Христа? Где в Писании или в Предании говорится: “русский — это православный”? Со всеми вытекающими последствиями...

Скажем — для проверки на слух — то же самое, например, о грузинах или румынах: “Грузин (румын), потерявший православие, — не грузин (не румын)”.

Диковато звучит.

Или так: “Румынский народ — богоносец...”

Тоже диковато.

А почему, собственно? Ведь и русские, и грузины, и румыны — равно православные. Но о русских можно, нормально звучит, а о румынах — как-то режет ухо. Я отнюдь не румынофоб, но режет. Почему?

Вообще, если довести эту мысль о национальном как церковно-религиозном до конца, нужно половину русских классиков изучать как... как чьих? Евреи в Израиле хоть могут изучать Бродского, Мандельштама как русских поэтов, а русские — Толстого, Бунина — как чьих?

И все же, все же... Все же, положи руку на сердце, кто, серьезный и чувствительный к “русскости”, совсем уж откажется от мысли о русском народе-богоносце? То есть совсем, совсем — начисто, без такого хотя бы остатка, что-де русский человек все-таки слегка особенный? Что если он и не полно-

стью определяется тем, “како веруеши”, то, во всяком случае, он из тех, кто так или иначе ходит вокруг и около Бога. И уж всегда под Богом. Не потому богоносец (как полагал Достоевский), что в глубине души всегда сознает истинного Бога и хранит заветы Христа — поверит-то он в кого угодно и кому угодно, — а потому он в некотором смысле богоносец (как писал опять же Достоевский), что в том или ином виде, но Бог его “всегда мучил”...

Допустим, русские — особенные. Что бы они ни делали, у них всегда при себе “русская идея”.

Допустим, особенные и евреи. Это утверждают, во-первых, сами евреи, во-вторых — антисемиты, в третьих — А.Ф. Лосев в “Диалектике мифа”, а уж Лосев знал все. Так что согласимся и с этим.

Ну, а французы? Или там румыны? Какая уж там вселенская сверхзадача у румын — верно?

А вот и нет. Говорит же Бердяев, что ему приходилось слышать “от венгерцев и эстонцев о великой и исключительной миссии Венгрии и Эстонии”.

Как же так? Концы с концами не сходятся...

В общем, эти вопросы о соотношении в национальном кровного, религиозного и всякого прочего, эти проблемы, так сказать, общего, единичного и особенного совсем заморочили мне голову. И я понял, что головой такие вопросы не решаются. И вообще никак не решаются. И слава Богу. Ибо судьбы народов и смысл их существования только Ему и известны, Ему и принадлежат. Ибо Он их создал. Те же из людей, кто берет на себя определять конечный смысл существования народов, затем чаще всего дерзает и распоряжаться их судьбами — как своего народа, так и чужих, за что потом, как правило, оставшиеся в живых не благодарят. И это можно понять. Вот почему я не люблю историсофские труды с названиями типа “Русская идея” (или “Тайна Израиля”). Нецеломудренное это, по-моему, дело и опасное. Хотя и увлекательное.

Но любопытство к национальной окраске разных людей, к их разнохарактерной, разномастной манере ходить под Богом и среди людей, всегда по-своему приглядываясь к Нему и притираясь к окружающим, это простое, ни на что не претендующее любопытство — дело вполне невозбранное.

Плодом такого любопытства и явились три нижеследующие истории. Две мне рассказали, третья долгое время происходила у меня на глазах. Что-то их роднит.

Чтобы если не определить, то хоть как-то означить это “что-то”, я имел наглость высокомерно назвать эти неприятные истории притчами, да еще метафизическими. Может быть, в шутку, может, всерьез, сам не знаю. Пусть это решит читатель.

1. Каждому свое

Жили-были в одной коммунальной квартире русский и еврей. Русский, натурально, верил в своего Бога, еврей, что тоже понятно, в своего. Русский, как водится, ненавидел еврея по идейным причинам, а еврей не любил русского по причинам личного свойства — за то, что тот его ненавидел. И шли между ними примерно такие разговоры. “Ты лично, может, мужик неплохой, — говорил русский. — Взаймы никогда не откажешь. Но ты — наш враг”. — “Позволь полюбопытствовать, почему? — удивлялся еврей. — Что я тебе сделал?” — “Чудак человек, причем тут я? Положим, лично мне лично ты ничего не сделал. Но все вы скопом всю нашу нацию разложили. Вы ее подорвали изнутри. Но погоди, свет еще воссияет с Востока!” — “Так и я же о том! — радовался еврей. — С востока, именно с востока. От Сиона воссияет всему миру свет”. — “Так я ж и говорю, сионский ты мудрец, едритская твоя сила! Власти захотели над миром, да не по себе кусок выбрали — Россию, вы этим куском подавитесь! Все бы вам миром владеть, потому и Мессию своего не приняли, что Он о небесном Царстве учил, а вам только земное подавай, пожирнее да повкуснее”. — “Но послушай, — взмолился еврей, — ты в самом-то деле представь это реально. Прикинь на себя. Смотри, приходит к тебе сейчас человек, называет себя Сыном Божиим и требует, чтобы ты это признал. Что ты скажешь? Сознательное кощунство или безумие, очевидно так. Дальше больше. Он настаивает на своем и говорит странные, непонятные вещи: “Прежде, нежели был Авраам, Я есмь”. “Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную”, — и другое, повторяю, странное и непонятное. Мягко говоря. Как прикажешь к этому отнестись? По-

чему человек в своем уме должен этому верить и почему человек, верующий в Единого Бога, должен это терпеть? Дальше. Чудеса? Возможно, были и чудеса. Но мало ли их и сейчас совершается, и что ты тогда говоришь? Экстрасенс, колдун! Все просто. Как же ты не понимаешь тогдашних израильтян? Да ты знаешь, сколько их было — лже-Мессий в истории Израиля? Сколько бродячих рабби? И почему вы решили..." — "Почему почему, — перебивал русский. — По кочану. Вот все вы, дерганые, почемучки. Потому допрыгались до Каббалы и поклонились Бафомету". — "Кому?" — "Ба-фо-ме-ту, а то ты не знаешь. Даже сейчас конспирируешься. А Россия крепка — верой. Русский народ богоносец..." — "Постой, а с чего вы взяли, что русский народ — богоносец?" — "Как это с чего? Как это с чего? Что, не так, что ли?" — "Почему, может, и так, но с чего? Кто сказал?" — "Да хоть Достоевский!" — "Ага. А еще кто?" — "А что, мало, что ли?" — "Нет, но все-таки... После Достоевского — все, кому не лень, а до Достоевского? Нет, я ничего не говорю, Достоевский великий писатель. Но ведь он человек грешный. На рулетке играл? Еще как. Папиросы курил? И самые крепкие. Да цифирь всю ночь гонял. Это же — воспаленный мозг! А пророк — в первую очередь праведник; через грешника Господь истину не открывает, ты и сам знаешь. Ты в святых-то веришь?" — "Верю". — "Ну и вот. Нет у вашей идеи авторитета раньше Достоевского. Доморощенный мессианизм. Самодеятельность. Комплекс неполноценности навыворот. Нет уж, если хочешь знать, как тебе это ни противно слышать, а коль есть в мире подлинный народ-богоносец, так это мы, евреи. Только нам, единственным в мире, сказал это Сам Господь, через Авраама и Моисея, через всех пророков своих, через вами же чтимое Писание". — "Сионистская пропаганда!" — "Да? А ты поинтересуйся. У тебя Библия есть?" — "Есть, да не про твою честь". — "Какая уж у нас честь. Ты открой Книгу Бытия, глава 17, и провентилируй вопрос".

И так они и пикировались, без видимых результатов. Гордый еврей был верен себе, не срывался и твердил одно и то же, а русский срывался по-русски, но твердо знал: слова еврейские — яд, соблазн, и не поддавался на провокацию. Да на беду как-то хлебнув лишнего и чрезмерно расслабившись, вспомнил слова еврея — и подумал: "А что такого, если и глянуть

одним глазком? Библия — книга святая, худого не содержит”. И он открыл Книгу Бытия на главе 17, а там и впрямь черным по белому: “И поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя”. Прямо так и говорит Господь Аврааму. Что против этого скажешь, если так Сам Он говорит? Или не признавай Библию, но тогда и Достоевского не признавай, ведь он по Библии верил. Или признай — и тогда действительно еврейский народ зло-вредный сочти богоизбранным — а про русский в Писании ничего не говорится. Вот же ты пропасть, египетская сила!

Словом, стал он совсем как ужаленный — и оглянулся окрест себя. Видит: а ведь действительно евреи — народ особый. Мало того, что ни одного древнего народа на земле нет или почти нет, роли во всяком случае они большой не играют, то есть ни вавилонян, ни филистимлян, ни римлян, никого — а эти все живут, и все те же, и во всех землях, и все усиливаются — не то, что армяне или греки особнячком, а всюду проникли, елки зеленые. Но вообще — это же чудо чудесное: в России их, как всем известно, — 0,69%, то есть один на каждые 140 человек, капля в море, а куда ни кинь — кругом они, тут и там, в глаза так и лезут. Откуда? Чудо, иначе не скажешь. Опять же Израиль. Меньше Тамбовской области, в песках, воюет, а всего полным-полно и притом лучшая в мире медицина, лучший военно-воздушный флот — и еще квадратные помидоры изобрели, чтобы легче в ящики укладывать. Чудо. Бог за них, точно. Он их карал, как и обещал, но Он от них не отступился до конца, как и обещал.

В общем, начал русский думать-вникать и до того до-вни-кался, что сделался по-русски одержим идеей: если хочет он действительно принадлежать к центральному, богоизбранно-му народу, то должен сделаться евреем. Тогда говорит соседу: “Слушай, можно мне стать вашим? Как там у вас, принимают?” — “То есть как это?” — удивился еврей. “А так это. Хочу, допустим, евреем стать. Что выпятился? Живого еврея не ви-дел?” — “Почему, видел...” — “Ну вот и дай мне рекоменда-цию, чтоб я в ваши вступил, честь по чести”. — “Не могу”. — “Вот так вы всегда, как чего, так сразу: не могу. Как разговоры разговаривать, как к себе зазывать, так вы мастера. А пойдешь

за вами — не могу”. — “Да нет. Я тебе все объясню, скажу, что, как и куда, но сам не могу. Тут, понимаешь, приключилась такая штука...”

А штука приключилась вот какая: о ту самую пору еврей, подстрекаемый разговорами с соседом, задумал развенчать христианство, чтоб никому неповадно было. И начать решил, разумеется, с апостола Павла, который своими посланиями более всех содействовал превращению христианства из местной секты в мировую религию. И вот открыл он послание к Галатам, а там: “Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее... Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск... А в том, что пишу вам, пред Богом, не лгу”. Так мог писать, подумал он, кто угодно, но не заведомый лжец. Так мог писать человек, убежденный, что получил свидетельство. Но, может быть, снова безумие?

И опять открыл он апостола Павла, на этот раз 2-е послание к Коринфянам: “Я... был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и неоднократно при смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного; три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук”. Как же так, подумал еврей. Ведь это явно адресовано тем, кто в курсе, у кого все на памяти, — иначе кто бы из знающих его ему поверил? Следовательно, все было именно так, как он сообщает. Какая жизнь! Ее хватило бы на десяток жизней любителей приключений. Что же заставило фанатического молодого фарисея, ревностного ученика знаменитого Гамалиила, стать самоотверженным —

до самой смерти — проповедником учения, которое он столь нещадно преследовал дотоле? Безумие? Припадок? Но сколько можно объяснять все безумием, если Савл пользовался у иудеев высоким авторитетом, а слово “рака” — безумец — было самым бранным, и безумцев чурались как прокаженных?

Он продолжал исследовать Новый Завет, и слова апостолов Петра и Иоанна Богослова, евангелиста Луки о личном с в и д е т е л ь с т в е представились ему в самом серьезном свете. И многое, многое еще... но главное, главное — интонация, полная простодушной, домашней достоверности... наряду с самыми странными словами, которые когда-либо кто-либо произносил! Он услышал вдруг эти слова как слова власть имеющего, увидел все новыми глазами, и наконец, дойдя до слов Павла: “И так весь Израиль спасется”, он лег спать, но не заснул, а пролежал всю ночь без сна и, встав утром, пошел и крестился.

Серьезный еврей, обязанный исповедовать свою новую веру, не мог теперь дать рекомендацию в синагогу; он все объяснил русскому, и тот отправился на улицу Архипова, со страхом ожидая совершения известного обряда и немало дивясь обращению своего соседа; по-русски он не слишком представлял, что думает другой человек, и не думал, что и еврей от него в совершенном изумлении. Зато он думал вот о чем: если евреи подались в русскую Церковь, значит, зачем-то им это нужно. Теперь России хана. Эта непобедимая сила, за которой стоял Сам Бог, окончательно разложит страну и коренной народ, переродив их изнутри, подкараулив в самом заветном и подчинив своим планам. Но тогда зачем жить в России? Тогда лучше намылить лыжи в Израиль, к народу которого он и так теперь принадлежит чин чинарем и где все прекрасно, кроме арабов. Вот им и дадим по шапке, заклятым иноверцам. Ему всегда хотелось кому-то плохому дать по шапке, чтобы хорошим стало хорошо.

И начал он собираться потихоньку, начал, как рекомендовано, жену-еврейку подыскивать. Не то, чтобы программно, а просто так уж все сошлось: прежняя его баба, без того устав от его предыдущих исканий, окончательно не смогла пережить, что он теперь обрезанный, и, как порядочный человек, ушла; а тут как раз в синагоге показали ему милую женщину, отлично выпекавшую курник и делавшую полтавский борщ с ватрушками, да и

собой сдобную, как та ватрушка. А главное — никогда не напивавшуюся в стельку, но и ему не говорившую: “Тебе уже хватит”, — напротив, умненько регулировавшую его веселие-питие, чтобы потом мирком-ладком вести его в постельку. И хоть бы когда — со зла, от вредности или с устатку — отказала ему в исполнении супружеских обязанностей! Еврейская жена, что ни говори, — у них — у нас! — этого не отнять.

А вдумчивый еврей тем временем, идя по пути строго православному, сиречь, как ему объяснили, прежде всего по пути послушания, отсекания самости, согласно благословению одного из лаврских старцев женился на тихой усталой женщине и отважно приготовился смириться со столькими детьми, сколько Бог пошлет в наше трудное время. Теперь в их коммуналке народу прибавилось, но ведь на общей кухне все зависит от женщин, а женщины попались мирные обе. Это отчасти разряжало заряженную неприязненным молчанием атмосферу взаимного мужского непонимания: новоиспеченный русский еврей никак не мог понять, чтобы человек искренне признал Богом того, кого еще недавно столь же пламенно считал же-Мессией, а новый еврейский православный отказывался понимать, как это можно так спроста пожертвовать данной с детства истинной верой, пусть не усвоенной понятийно, — объясняя это разве лишь тем, что истина Нового Завета досталась слишком легко, была именно дана с детства, а не оплачена опытом мысли и сердца.

И когда русский однажды отбил тщедушного еврея у двоих хулиганов крепким своим кулаком (какой-никакой, а все ж еврей — закон предписывал возлюбить его как самого себя, да и все ж сосед, не посторонний), наш еврей не мог выбрать, как к нему отнестись: канонически, т.е. согласно одному из правил 5—6-го Трулльского Собора: с иудеями не общаться, в бане с ними не мыться и у врачей их не лечиться (а в данном случае отряхнуться, отвернуться и удалиться молча) — или в нарушение канонов, но по зову сердца, сердечно поблагодарить и выпить за мир-дружбу. И когда мучительно выбрал последнее, потом исповедовался в этом.

Решил он направить стопы свои во Святую Землю: во-первых, ко Гробу Господню, во-вторых, исполнить свою, как он считал, миссию — проповедовать Христа братьям по крови во исполнение слов апостола Павла о спасении остатка Израиля. Для чего, отпра-

вив известным путем свои данные и получив через некоторое время вызов от вымышленного родственника из вполне реальной Хайфы, устремился сначала в ОВИР, затем — в израильское консульство. Уже на финише, заполняя анкету, в графе “вероисповедание” честно написал “христианин” — и на этом его репатриация кончилась. Ему вежливо, но твердо объяснили, что, согласно Закону, еврей, сменивший веру (точнее, изменивший ей), евреем считаться не может, и “алия” на него не распространяется. “Мы не обскуранты. Мы уважаем Ваш выбор. Но и закон есть закон. Живите же в Вашей прекрасной Москве”. Потупился честный выкрест, да и побрел восвояси.

А вот у русского все шло, что называется, путем. Уже и на новом иврите чесал он будь здоров, уже и на иврите древнем разбирал потихоньку Талмуд. С документами у него тоже сложностей не было — достаточно было жены-еврейки. Срок пришел — выехал русский в Израиль, предварительно приватизировав комнату и выгодно сдав знакомому хасиду. В Израиле русского еврея приняли на “ура”, забросали подарками, нашли дешевую квартиру в Иерусалиме, что было самым лучшим подарком, пропечатали в газетах с фотографией и интервью, полным по-русски горячих слов и высоких идей.

А он, арендовав микроавтобус, давай себе возить экскурсии по святым местам, освоенным еще дома по подробной карте, висевшей на стене. Зарабатывал он ничего себе, — этим в Эрец-Исраэль не всякий новоприбывший может похвастаться, — хотя экскурсии такие водят многие, но у него была приманка: русский, а возит по еврейским святым местам — и превдохновенно поет. Ну, все сложилось, как хотел и где хотел.

Да только со временем выяснялось все больше: все путем, а чего-то важного не хватает. Хочется развернуться, разойтись душой — а тесно; страна маленькая, и народ под стать — хороший, но не больно широкий. На всем экономит, на свете, на воде, на телефонных разговорах. То же и с религией: не для того же одного он принял иудейское вероисповедание, чтобы — свой среди своего народа — пить водку Кеглевича, заедая авокадой. Религия должна иметь смысл сама по себе, должна объединять людей, ее исповедующих; но — что же видел он кругом? Либо равнодушие к вере, либо фанатическое законничество: соблюдай 613 заповедей Торы. Ну пусть меньше с по-

правкой на современность, но соблюдай предписания — и никаких! Этот юридический подход к вере был чужд его русскому сердцу, тосковавшему по свободе и размаху в области духа.

И вот в одной из поездок, где-то у подножия Синая встретил он ребят из Америки, из компании “Евреи для Иисуса”. Это были настоящие ребята, хоть морщились, а пили с ним шестидесятиградусную пейсаховку прямо из горла. “Как же ты не поймешь? — говорили они, — тем более ты русский... Ты Евангелие-то читал?” — “Просматривал”. — “А ты прочти внимательно — и увидишь, что Иисус — самый что ни на есть Машиах еврейского народа, и что приход его предсказывали все великие пророки”. Так они распили первую, вторую, заполировали местным пивом — и всю дорогу его просвещали. А ему чего, он хоть и еврей по вере, но душою русский, у него в крови запрета нет, генетический зуб на Иисуса он не держит. И главное, нравится ему такая идея, чтобы в субботу — иудейскую субботу праздновать, а завтра — христианское Воскресенье. Жизнь! Взял он Евангелие — и как серьезно воспринял некогда Книгу Бытия, так безоговорочно принял теперь в сердце Иисуса — но уже не как русского, а как еврейского Бога. А теперь, подумалось ему, теперь — если соединить избранный народ и Истинного Бога, пришедшего в первую очередь к погибшим овцам дома Израилева, — это будет сила, которой никто не сможет противостоять. Вот это задача с размахом.

И начал он в компании с американцами разъезжать на своем автобусе по всей стране и проповедовать евреям Иисуса.

Задружился с арабами — православными христианами, которых в Израиле пруд пруди... Тут уже раскаялись евреи, что пригрели змею на своей груди. “Гой есть гой, — говорили они. — Сколько его ни обращай, всегда кинет подлянку. И вообще от этих русских никогда не знаешь, чего ожидать”. — Да что толку — сами же дали ему полную гражданства, назад не заберешь...

А бедный еврей-христианин продолжал тем временем жить с женой и прибавляющимися детьми в коммунальной московской квартире, имея новым соседом хасида, хранящего субботу и демонстративно презирующего своего соседа-выкреста; жил тяжело и учился смирению и исполнению заповеди Христовой: “Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас”...

2. Очарованный странник

Один молодой провинциал, уроженец города Касимова, — хочется назвать его Иван — изо всех сил собирался избежать армейской службы. Будучи человеком высокосоциальным, он захотел избежать ее лет с 14 — и тогда же стал продумывать свои шансы. К несчастью своему, Иван принадлежал к меньшинству современных русичей: он был совершенно, нормативно здоров решительно по всем статьям, не имея даже дохленького гастрита, или хотя бы плоскостопия, или пусть там искривления носовой стенки. Попробовав было симулировать душевную болезнь, он скорехонько убедился, что в провинциальных условиях, не имея ни опытного наставника, ни подробного руководства, он своей самодеятельностью только смешит туповатых, но опытных профессионалов из психдиспансера. Единственным его шансом, не считая членовредительства (на что он пойти не решался), оставался институт: и сознательный Иван последние два года школы, как говорят англичане, работал тяжело и, поехав в Москву, сумел там куда-то поступить. Увы, и на старуху бывает проруха: Иван, убежденный, что уж в Москве-то, там-то уж все в порядке, только после поступления выяснил, что институт его военной кафедры не имеет, а раз так — трубить ему пусть через пять лет, пусть всего год, но рядовым необученным. Что же теперь делать? Поступить еще куда-то он не успевал. И Иван понял с предельной ясностью: единственный его настоящий шанс — покинуть пределы своей исторической родины. А поскольку учил он — и знал довольно неплохо, и еще было время подучить — французский язык, то уматывать надлежало во Францию. Но где раздобыть приглашение? И даже если раздобудешь — как остаться во Франции, когда на дворе уже иная политическая реальность и Европа никого не оставляет? Иван обдумал и это. Приглашение во Францию по-прежнему ему не светило, но учившийся с ним югослав за небольшие деньги предложил ему приглашение в Югославию. “Из Югославии попадешь в Италию. Из Италии — во Францию”. Что ж, это было лучше, чем ничего.

Иван готовился тщательно. Помимо уроков французского, он, по совету серба, закупал те сравнительно дешевые у нас продукты (истории этой уже три года), которые можно выгодно продать

на любом из многочисленных югославских рынков. Почему-то особенно хорошо должны были пойти кильки в томате.

И вот он оказывается в Югославии (еще до начала войны), обращает в динары свои многочисленные кильки в томате и пошехонский сыр — его крепкие плечи выдерживали приличный груз, — а динары обращает в доллары. Покупает билет из Любляны до Турина — по карте ему нужно было держать путь все время как можно дальше на север — и отправляется себе — и конечно же, на границе нарывается на пограничника. Ему казалось, что ворота на замке только у нас, но не тут-то было! Хорошо еще, что добряк-пограничник просто ссадил его с поезда, пояснив на французском, что вообще-то незаконный въезд в Италию приводит к куда более серьезным последствиям, а посему попыток такого рода лучше не повторять. Да, но не возвращаться же в Москву, когда жребий брошен и Рубикон перейден!

И Иван решается на героический шаг. Рискуя быть замеченным, он проводит рекогносцировку вдоль границы, две ночи ночуя в лесу в спальнике, чтобы не мозолить глаза, а на третью в темноте переходит ее и оказывается в Италии. Всю ночь бредет куда-то на север по компасу, не останавливаясь в крошечной тьме, по чужой итальянской земле, продрогший до костей, а утром оказывается в совершенно незнакомой местности, о которой известно одно: это север Италии — и нужно пешком ли, автостопом пересечь его, выбраться на границу с Францией, чтобы в темноте пересечь и ее. Но в каком месте? А, теперь уже куда Бог приведет, и где только наша не пропадала!

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; но, с другой стороны, человек живуч, а русский человек, к тому же молодой, здоровый и сметливый, — живуч сугубо. Раньше, словом, или позже, а оказался Иван во Франции, и не просто во Франции, а в местечке Фонтеней-Су-Буа под Парижем, в расположении Иностранного легиона, который один, по его прикидкам, ничего от него не требуя, кроме его самого, мог дать ему право жить и работать во Франции (или куда пошлют — только подальше от тех мест, откуда он с таким трудом выбрался), да еще и неплохие деньги-франки. Правда, это почти то самое, от чего он убежал. Почти, да не совсем.

Поскольку за него было уже то, что он пешком прошел две границы и две страны, то первоначальное собеседование свелось к минимуму, и его оставили на полугодовой испытательный срок. Вот тут уже Иван взвыл по-настоящему: хотя в горячие точки их пока не посылали, но деньги просто так в цивилизованном мире не платят. Перспективы же были и вовсе унылые: либо те же вероятные горячие точки и передовая, либо охрана гуманитарной помощи в африканском пекле, в какой-нибудь дыре, где о Москве, даже о Касимове вспоминаешь как о рае. А тем временем сдружился Иван с одним юношей-французом — назову его Жан-Клод, — нанявшимся в Иностранный легион, как это у них, оказывается, тоже случается, из чистой романтики. В числе дружеских знаков внимания Жан-Клод дал ему свой домашний адрес, где жила его мать, в городе Кольмаре.

И вот как-то с тоски великой отправился Иван как бы в узаконенную самоволку (им разрешалось 36 часов свободы) и там, налакавшись перно, которое пил он целыми рюмками, вместо того, чтобы отхлебывать 45-градусную анисовку по глоточку, подбавляя холодной воды, затеял ссору и попал в жандармерию. Здесь говорят: кто такой? А он думает: сказать, откуда он, значит навлечь на себя штрафные меры, которых совсем не хотелось, мягко говоря. Вообще он вдруг ясно понимает, что назад в Иностранный легион не вернется ни за что. Стоит и молчит. И документов никаких. Чувствует — не миновать ему кутузки, выяснения личности, а там тюрьма за незаконный переход границы или — если повезет — выдворение на родину. Но они вежливо спрашивают: нет ли у Вас поручителя? И тут он, поскольку протрезвел не до конца, а может быть и по наитию, вынимает адрес, данный ему Жан-Клодом, и говорит: мадам Мадлен Мишо, город Кольмар, улица, дом. Ну, дают запрос.

И вот что самое замечательное: она-таки приезжает на своем зеленом “Пежо”, заинтригованная, недоумевающая. Подводят ее к нему, всю трепещущую; Иван спешит сказать: “Мадам, я друг Вашего сына. Простите, но...”, а мадам Мадлен смотрит на него, и чем дальше — а был он неплох собой, статен, скуласт то ли на татарский, то ли на французский манер, сероглаз и с таким обаятельным прищуром, — тем сильнее его светлый образ западает ей в душу, и она покрывается румян-

цем и трепещет все сильнее... В общем, что она там сделала, какую сумму заплатила, неизвестно, но только из всякого житейского положения даже в бюрократическом государстве есть выход, если знать подход, и вот наш Иван оказывается на свободе, в прелестном городке Кольмар в чудесном краю Эльзасе, в очень и очень неплохой четырехкомнатной квартирке мадам Мишо, женщины достаточно обеспеченной.

Казалось бы, чего еще нашему брату надо? Прекрасная природа, свобода, цивилизация, комфорт, карманные деньги — и еще цветник под окном. На пиво “Фишер” и сигареты “Житан” хватает, и можно брать хозяйкин “Пежо”. А Иван чувствует — нет. На пиво-то хватает, да не хватает чего-то на душе. Чего? Может, родины? Непохоже. Тогда, может, любимой женщины? То есть Мадлен занимает в его постели (точнее, он в ее постели) и хотела бы, вероятно, занять в его сердце место другой, действительно любимой подруги. Той, которая должна же быть. Спору нет, мадам Мишо прекрасная женщина, но ведь она ему в матери годится, и он не виноват, что у нее такой женский период — то есть он всем обязан и должен быть благодарен именно этому периоду, — но он хотел бы, чтобы рядом находилась та, с кем можно было бы русскую душу отвести, поговорить на родном языке со всеми оттенками, а не на “базовом”, а главное — чтобы та и без слов понимала бы все изгибы, все коленца его желаний, нрава, с которой не надо было бы играть роль воспитанного, сдержанного, любезного молодого человека, а быть самим собой, эксцентричным на здешний взгляд русичем без особых тормозов.

Но Ивану была по-русски же свойственна и совесть; он понимал, повторяю, что всем своим новым счастьем, о котором не смел он и мечтать, обязан мадам Мишо, ее не характерной для французов щедрости. Он понимал и самую Мадлен, в душе которой так кстати и так некстати встретились материнское чувство и женское одиночество. Ивана отнюдь не угнетала мысль, что он альфонс и живет на халяву: русский человек знает, что устроиться так, чтобы не работать, а приличные деньги получать, есть вовсе не паразитизм, а либо личная доблесть, либо везение, за которое нужно благодарить Бога; а уж устроиться указанным образом на Западе есть высочайшая доблесть либо редкостнейшее везение. Но наш Иван, повто-

ряю, был вовсе не из числа Ивано́в, не помнящих родства, он питал к Мадлен живое чувство благодарности и потому пытался обратить его в нечто подобное чувству любви, во всяком случае, симитировать все, что из этого чувства проистекает. Вот от такой-то двойной нагрузки: изображать если не пылкого, то нежного любовника сорокалетней далеко не красавицы с начинающимся пучеглазием и небольшим зобом, и еще изображать воспитанного молодого человека, приятного француженке среднего класса, — Иван и кручинился, гас, тихо увядал на корню.

Видит то мадам Мишо, да и говорит: Что, говорит, адамант ты мой яхонтовый, что, Иванушка, невесел, ниже плеч буйну голову повесил? Что, мой дорогой друг, тяготит Вашу прекрасную душу?

Не утерпел тут Иван, повинился во всем.

— Виноват я перед тобой кругом. Очень я тебе признателен. Но дозвошь, говорит, позвать сюда красну девицу. Без нее мне хоть в темну воду.

Была у него девушка в Касимове — хочется назвать ее Машей. В вихре студенческой московской жизни он о ней и думать забыл, а здесь захотелось ему родного, вспомнилось о ней, ну, и поскольку свято место пусто не бывает, представилось, что она-то и есть любезная, что поймет его душу и разделит его тоску русскую.

Мадам Мишо, женщина житейски искушенная, ожидала, что рано или поздно что-нибудь подобное произойдет, молодое потянется к молодому; но чтобы так нагло, оттуда же, из Богом забытой России, на ее же голову и шею разлучницу выписывать! И в то же время было в этом что-то именно загадочно-русское, размашистое и вместе с тем тонко-ностальгическое, и это, невзирая на боль, импонировало ее странному, благородному сердцу. Она превозмогла свою боль усилием французской дисциплинированной воли, высокое чувство материнского собственничества пересилило в ней чувства более низкого собственничества женского, и Мадлен, не в силах представить себе Ивана, утопившегося в речном канале, послала приглашение неведомой Маше в далекий город Касимов вместе с сопроводительным письмом Ивана, боявшегося только одного — как бы та тем временем не выскочила замуж.

Но, как выяснилось вскоре, страхи его были напрасны. Срок пришел — и появляется наша красна девица, обалдевшая, но расторопная. Сходит она по трапу в аэропорту Базель-Мюлуз, лебедь белая, кровь с молоком, в кожаной куртке, джинсовой юбке, розовых дольчиках и с большими клипсами в ушах, при полном параде, так что Иван чуть не падает от ужаса — кого позвал (ведь он уж от одного отвык, к другому привык, и сам того не мог заметить за неимением прецедента); и начинают они, одним словом, жить втроем на деньги мадам Мадлен Мишо. Так у нее стало уже двое детей, не считая родного, а что-то такое через год появился, можно сказать, и внук, в котором она, несмотря на ревность, души не чаяла. И все это, заметьте, без оформления документов и всего такого. А еще говорят, русские не умеют жить. Очень даже умеют устраиваться иные русские!..

На этом самом месте история, рассказанная по самым горячим следам событий автору, некоторое время назад в кратковременную бытность его во Франции, останавливалась по техническим причинам в связи с неизвестностью будущего. С тех пор несовершенное будущее стало совершенным прошлым, но автор за неимением к тому особых средств с тех пор во Франции еще раз не побывал и продолжение этой истории осталось ему неизвестным. Вот почему читателю, если он, во-первых, еще не утомился до смерти и во-вторых, склонен к необременительной игре воображения, предлагается самому распорядиться судьбой персонажей, как если бы это уже не сделала жизнь.

Например: появляется Жан-Клод, настоящий сын мадам Мишо, которому порядком надоела романтика Иностранного легиона, но который мог уйти оттуда лишь по истечении очень жесткого пятилетнего контракта. И застает такую сцену: его мать с умилением нянчит чужого подрастающего ребенка, а его друг совершенно по-хозяйски ведет себя в доме его матери, его доме! — с незнакомой, хотя и привлекательной русской, то ли мадмуазель, то ли мадам — поди разбери, когда ничего не оформлено. И не знает Жан-Клод, что делать — вышвыривать молодых из дома или радоваться — с каждым днем молодая русская кажется ему все более привлекательной и что-то такое любезно лепечет на полуфранцузском.

Между тем Иван начинает уже несколько сожалеть о содеянном. Маша все более раздражает его своей неблагодарностью, напором, уверенностью в том, что все хорошее положено ей по праву рождения. Она даже осмеливается повышать на мадам Мишо голос, когда ей не нравится, как та обращается с ее ребенком; но деньги Маша тратит, не считая.

Он ждал от нее понимания его русской души, и она действительно понимала его, но в узком регистре: буйного веселья, тоски, срывов, желания гульнуть с горя, причем, подпив, запевала всегда одну и ту же раззявисто-русскую песню: “Вот кто-то с горочки спустился”, к немалому смущению Мадлен. До тех пор, пока от Ивана требовалось быть французом, он слышал в себе только загадочный голос русской души — и тосковал. Но теперь, когда ему позволено было стать русским, он обнаружил вдруг, что успел стать на какую-то часть — и немалую — французом, что он ностальгически вспоминает тихие, никаким задумчивым дикарством не омраченные вечера с Мадлен, увядающей, но живой, милой женщиной, возможность пить не стаканами, в медленно, смакуя, не водку, а красное вино, разбирая по каталогу если не годá урожая, то хотя бы марки, сдержанно спорить с Мадлен о результатах последних выборов за куском свежего бри и бокалом умиротворяющего шамбертена...

Но как вернуть прошлое, зачеркнутое им самим? Маша — не рукавица, с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь, а начнешь выпроваживать в Касимов — она первая на тебя накапает, что ты бомж с двумя незаконно пересеченными границами...

И тут он видит, что взаимная симпатия Маши и Жан-Клода весьма кстати нарастает и круто берет вверх.

Да, но ребенок?..

Хорошо, возможен и другой финал.

“Будто у нас машин мало”, — сказал однажды знакомый, бывший поэт, а ныне бизнесмен, когда наутро после веселой попойки обнаружил, что у него из-под окон увели новенький “Вольво”. Вот именно. Будто в жизни мало возможных финалов; если бы в ней было столько же финалов действительных!..

Например: перегруппировать эту семью, разделив ее надвое. Отдать Машу с ребенком замуж за Жан-Клода, а Ивана оста-

вить с Мадлен, при этом мадам Мишо по-прежнему оставалась бы нежной матерью и ласковой бабушкой, приглашая сына с невесткой на уик-энд.

Однако это было бы во вкусе иных легковесных французских романов и фильмов, то есть смахивало бы на откровенный плагиат. Между тем историю, правдивую, что называется, от и до, правдивую от начала — должен увенчивать столь же непридуманный конец. Так что свобода читательского воображения, на мой вкус, должна все же иметь одно ограничение: в финале истории не должно быть этой вот франко-итальянской легкости, замешанной на легкой же порочности персонажей, в том числе мадам Мадлен Мишо. Она упорно представляется автору женщиной высокодобродетельной, способной на сомнительный поступок лишь из мучительной необходимости. Она представляется женщиной, достойной реалистов прошлого века, нелегких романов Флобера и Мопассана. Автор, во всяком случае, заведомо симпатизировал ей — сам не зная почему. Может быть, потому, что всегда питал слабость к темноглазым женщинам с большими отечными веками и кругами под глазами. Да, он понимал, что чаще всего в таких случаях речь может идти всего лишь о заболевании почек или щитовидной железы, но что делать — все равно такие лица упорно казались ему значительными. Словом, автор будет решительно против, если вы превратите драму одиночества милого, пусть и заочно, существа в пикантную историйку на французский манер. Лучше предусмотрите для мадам Мадлен Мишо какие-нибудь неведомые автору, но куда более достойные обстоятельства...

Значит, опять-таки выходит: открытый финал.

Что ж, так тому и быть.

3. Юрий Гагарин

Марья Акимовна Телегина работала уборщицей на крытом рынке. В сорок пятом получила похоронку на мужа, начала выпивать. Голос охрип, и ругань тети Маши набрала злую силу. Раньше, как пойдут ее костерить, она тыр-пыр — и молчок. Теперь, если кто заикнется, Марья Акимовна ему — такое, что язык проглотит. Так что никто с ней лаяться не заводился больше.

Тете Маше хватало на жизнь. Подметая рыночную гниль, в опилках мелочи насобираешь — дай Бог. Тем более еда даровая: хоть с порчинкой, зато по сезону. А то и вовсе красивые продукты приносила Марья Акимовна домой: сотовый мед, ногу коровью на студень, текучую вязкую хурму. Сгоняешь Ашотику за пивком — и несешь хурму домой. Молоток Ашотик, чего не услужить: фрукты растит путем, хотя и армян. Но хурма хурмой, мандарины мандаринами, а больше всего любила Марья Акимовна соленые грузди, нарезанные полосками, с луком и постным маслом, как делали у нее на родине, в мордовской деревне, давно. На душе только было пусто, даже если досыта наругаешься за день. Тогда тетя Маша шла домой, садилась с соседями играть в лото и очень радовалась, загребая “низ” — целых 16, а то и 20 копеек. Ей нравились остроумные выкрики вроде: “Бочонок!”, или “Перевертыши!”, или “Дедушка!”; каждый день ближе к вечеру она уже ждала этой привычной музыки, чтобы погреть душу.

Когда окончательно припирало, Марья Акимовна приводила домой мужика, в свою комнату на втором этаже, где потолок протекал и пол был неровный, зато кровать настоящая панцирная, с кружевным подзором. Копила на подзор тетя Маша месяца три, а ведь никогда не копила — страсть захотелось. Самая нарядная была у нее комната во всем этаже, и стены в порядке — заклеены цветным “Огоньком”, дранку не видать. Даже на подоконнике имелось украшение: растение в горшке, ото всех болезней пользительный редкий цветок — алоэ. Чуть где схватит, отломишь зеленое острие, пожуюшь горькое через “не могу”, грибом запьешь — все проходит. А чудо-цветок сам зарастает нацело.

В пятьдесят третьем, когда тетю Машу уволили, стукнуло ей сорок восемь. За что ее — за пьянку или увидела не глядя что лишнее, точно она не поняла. Уволили — значит уволили.

Квалификации у нее не было, но без работы сидеть она не сидела сроду. Сложив в сундук под кроватью облигации замечательного займа, нанялась Марья Акимовна домработницей в молодую семью Понаровских.

Пара была в общем почти состоятельная, хотя авторитета еще не имела, а все-таки: Лиля — зубной протезист, Семен — хормейстер, тем более никак нельзя понять запрошенной тетей

Машей цены: триста рублей и питание. Даровая цена, даже по тем временам; плюс шел самый разгар дела врачей-вредителей.

К этому времени мужики уже ушли из ее жизни. Не нужно, то и не хочется. А сердце пустовать не перестало, и лото действовало все меньше.

Вот с головой ушла тетя Маша в новую работу — уборку, стирку, штопку. Обеды у нее выходили невкусные: не понимала она маленького огня, все ставила на самый большой, который душевно шумит. Что тетя Маша единственно как следует готовила — это пельмени. Уберешь все и раскатаешь тесто по столу, белое, по белому. Нажимаешь на скалку с оттягом и чувствуешь — поддается тесто, плющится. Когда же наконец белое тесто ровно и тонко покрывало собой весь кухонный стол, Марья Акимовна брала большую рюмку с отбитой ножкой и круть-круть-круть — разделяла мягкий прямоугольник на кружки и огорчалась, если какой кружок выходил щербатый. А потом защищывала с завитками, как раковины. Так она могла ворожить долго, пока хватало теста и фарша.

Вечером она выходила во двор и рассказывала соседям, как живут молодые хозяева. Жизнь самой тети Маши так долго протекала рядом с помойкой, мухами, облепившими мокрые арбузные корки, бинтами и ватой со следами месячных циклов, что она не знала, почему об одних вещах можно рассказывать, а о других нет.

И когда Лиля закатывала очередную истерику, Марья Акимовна только удивлялась: какая сука соседская доносит все время? Зачем портить людям кровь?

Об одном Лиля строго-настрого наказывала молчать, да тетя Маша и сама бы ни гугу, хоть родному брату: как Лилечка иной раз зубы ставит на дому. Всяким разным, некоторых тетя Маша в лицо и по имени знала. Но молчала: посадят же хозяйку за частную работу.

Хотя так голова трещит, когда на кухне в тигельке золотые опилки плавятся, что сил нет как охота пожаловаться на эту химию. У Лилечки и самой голова трещала, но не от дыма — от страха: сколько уже их брата-надомника упекли с конфискацией. А у Понаровских и конфисковать-то — разве что Семино пальто-реглан да шапку из модной обезьяны.

По субботам легкая компания собиралась у Понаровских; тогда до Марьи Акимовны доносилось: “пика простенькая”, “без двух”, “раз в темную”; неудобные слова, хитрые, не то что в лото. Потом какой-нибудь чернявый довольно выходил на кухню, наливал тете Маше в стакан коньяк. Ну, дурово: бутылка красивая, а питье вонючее, как керосин. Обдирают моих, говорила она дома соседям. Этих обдерешь, отвечали ей. А возвращалась она к себе домой по субботам — хорошо если в двенадцать: хоть понюхать, какая бывает красивая жизнь.

Обращались с ней хозяева, в общем, хорошо, хотя и из этих, а ремесленные все-таки люди. Особенно Сема — всегда нальет, а то и от тети Машиной не откажется. Уж у нее-то родная белая всегда есть тяпнуть с уstatку, так перепрячет — Лиле нипочем не найти.

И — оба с ней на “ты”.

А все равно на душе у Марьи Акимовны оставалось: похоже, как раньше, когда на панцирной сетке мужик рядом скрипел, потный, крепкий, грудь ласково жмет, словом, в порядке мужчина — а не муж, и все. Не муж, зарытый под Калининградом; не муж. А что не так, когда все точно так, — она не знает.

В пятьдесят седьмом наши запустили спутник, утерли ненашим нос, молодцы. А соседи наслушались радио и говорят: Бога твоего, Акимовна, нет в космосе нигде и повсюду. Тетя Маша вслух — наотрез, а про себя думает: как же так? Выходит, и Бога уже для нее не осталось?

А в пятьдесят восьмом, в мае, сердечная пустота нарушилась. Расцвела Марья Акимовна, распустилась, как бутон. В пятьдесят восьмом Лиля родила. Инженерчиком будет, всхлипывала тетя Маша, глядя на маленького у тяжелой Лилиной груди. Инженерчиком, сказала она хриплым своим голосом, сидя во дворе золотым майским вечером.

Инженерчика называли Витей; рос он громкий, впечатлительный. Странное дело, не болея ни свинкой, ни корью. Только разговаривал по ночам. Родители его любили очень, купили кучи игрушек; но, будучи еще молодыми, себя не забывали. Витя игрушки ломал, просил по вечерам не уходить. Но Лилины нервы сдали от угрозы конфискации, оставаться дома по вечерам пугало ее все больше. Сема же просто не мог без

застолья, людей, хорового исполнения. Ребенок оставался на тети Машином попечении. У нее своей жизни не было.

Любила она только Витю в целом свете. Мало ли что: они с ней на “ты”. Она-то их на “вы” привыкла, хоть и смеются. Ребенок же — он и есть ребенок. А Витя, когда понял, что любят его по-собачьи, привык вымещать на ней всю детскую тоску и обиду.

В три-четыре года “инженерчик” кричал, бил Марью Акимовну ножками и царапал ногтями. В десять лупил лыжной палкой. И сделалась тетя Маша на долгое время вполне и совершенно счастлива: с замужней поры полюбили ее впервые.

В конце шестьдесят первого, правда, с Марьей Акомовной был грех и душевный переполох: в первый раз обиделась на правительство. Что такое “антипартийная группа”, она не поняла, но кто своей крепкой рукой войну победил — знала очень хорошо. Пуще же всего обиделась за Ворошилова: всех главных она почитала, но Клима любила — ну совсем как живого.

Как узнала, что простили Клима, немного отошла тетя Маша от обиды. И сразу сама себя испугалась и — к батюшке. Батюшка их жил в ее же доме, только на первом этаже, куда удобства были подведены. Выслушал мирно, отпустил грех, а наперед вразумил: всякая власть от Бога: и та, которая в Мавзолее, и та, которая в Мавзолей кладет, и та, которая из Мавзолея вынимает. Ей-то не вразумления надо, а чтоб страх перестал; но только кивала головой тетя Маша, а сама три дня алоэ жевала, пока не успокоилась.

А Лиля с Семой не обиделись на власть, нет; сразу о каких-то родственниках в Черновцах да кого за что и на сколько. Как ни любила их тетя Маша, все-таки понимала по-честному: случись что серьезное — на этих надежда плохая. У них всегда одни свои в голове.

В шестьдесят третьем Лиля вошла в известность, купили Семену трофейный “оппель-кадет” цвета крошки. “Инженерчик” считал уже до ста и писал под няни Маниным руководством “Ворашилов”, а сама няня-то Маня аж на переднем сиденье катила за продуктами на крытый рынок, прямо перед лицами бывших товаров.

Вот в шестьдесят шестом сделал Сема хор, а в шестьдесят седьмом прогремел хор на всю Волгу коронной песней “Сверх-

срочники-многостаночники”; а в шестьдесят восьмом сделал Семен “Москвич-412”. У Лили к тому времени зрение понизилось до минус одного: зубы внимания требуют. Зато жила спокойнее. На дому теперь принимала, только кто со своим золотом. Потому что послабка: надомников трогать перестали, кроме тех, кто золото скупал. Тех-то по-прежнему — с конфискацией.

Решили Вите внимание уделить и укатили с ним по Волге, до Горького, а вернулись в плохом настроении. Шулера обчистили, объявила двору тетя Маша, и ждет, что объяснят ей, кто такие шулера. Но молчала скамейка, переглядывалась.

За такие разговоры Лилия с тетей Машей два раза прощалась: не могла снести позора. Да что толку в добром имени, отработашь смену на сделке, а потом еще и дома — все снесешь, был бы обед готов и вымыт пол. И Марья Акимовна возвращалась: не из-за трехсот старыми (по-новому она не умела), из-за “инженерчика”.

И чтобы было чего делать. Всего ведь ей — шестьдесят. Опять пельмени, опять паутина в углах. Все-таки вроде чисто, и даже домашние пельмени.

Только Витя от рук отбивался все больше. Чувствовал он неотступную охоту себя показать и людям понравиться. И силу тоже чувствовал, а куда ее деть и как себя выразить — без понятия: творческих интересов Бог не дал. Как друзья, так и он: то марки, то хоккей. Все по два месяца, и друзья у него на два месяца. За что ни возьмешься, все постепенно делается. А Вите позарез нужно было сразу всю силу проявить: неизрасходованная, распирала она его, и от нее он бесился. Как дал в школе жару — так и давал: не понимал, чего ради уроки делать. Пока еще мал был, так хоть пельмени лепил в помощь няне Мане. Тут хоть сразу результат в рот кладешь. А вырос — ничего, хоть плачь, за хлебом не сходит. Печальный парень.

До восьмого класса Витю терпели, потом терпение кончилось. Не вышло из него инженерчика. Зато собой вышел красив и рукою крепок. Пару раз побывал в отделении: за дворовую драку с арматурщиками и за оторванный у участкового Гуняева рукав. Рукав грозил серьезно обернуться, да, слава Богу, выручил капитан ОБХСС Медведев Е.А., бывший Женька Медведев, сын тети Машиной подружки. Шустришь, Акимов-

на, сказал капитан. Тетя Маша не отвечала, только глядела на него и моргала. Кислой капустой и прочим рыночным кормила она пятилетнего капитана в сорок втором, выкормила дохляка; и теперь глядела. Ох, шустришь, сказал капитан и отвел глаза. Вызволить поросенка ему была пара пустяков, материалов кое на кого хватало, но коли уж парень покатился... Тут протяни палец, руку откусят. В первый и последний раз, сказал капитан, оглядел Марью Акимовну, как на допросе, и позволил куда надо.

Семен Михайлович только-только “Жигули” купил, его город знал уже. Фамилию Понаровских позоришь, кричал он блудному сыну; плевать мне на фамилию, орал сын; Лиля плакала, Витя заснул и во сне бормотал, как в детстве, а Семен пил с Марьей Акимовной за ее золотое сердце — спасла от позора. А Лиля лежала в постели и, надев уже очки, читала “Сердца трех”: любимая глупая книга ее успокаивала.

А девок своих Витя водил к няне Мане, где пол покат, зато панцирная кровать с подзорником. Тихонь и хабалок, в валенках и модных сапогах-чулках; ни кожи ни рожи, на что польстился? Но молча жарила Марья Акимовна ему и евонной крале глазунью на прокишшей кухне, и за дверью никто не вякал: “Кого притащила?”, помня ее бывший голос и плохую судьбу. Тем более Семен Михайлович был соседям не чужой, подвозил иногда до магазина. Когда же ссорился “инженерчик” с няней Маней, она его выдавала; штукатурка летела с потолка от Семеновых слов, Лиля пила корвалол, а Витя ругал ее, няню Маню, предательницей и блядью.

Не ругалась та в ответ, как бывало на рынке: Витя же, любимый; молча бежала домой, кутаясь в серый платок. А в день пенсии, 16, “инженерчик” приходил за небольшой данью, как с детства повелось от ее доброго сердца, как ни в чем не бывало. Пили беленькую, и опять все сначала.

С начало до без конца такая мука.

Семену Михайловичу дали медаль Всероссийского лауреата, а грамотами хоть стены оклеивай. Совсем известным человеком стал Семен в городе, как юбилейная дата — так все ДК его нарасхват. Единственное что — поседел он и разучился весело пить, даже после удачного выступления.

Лилия Моисеевна на дому теперь мало работала, болела правая, рабочая рука, и — только золото. Зрение у нее стало -3,5 и спала с димедролом.

Вдруг изменилась погода; с неба закрытого волжского города, где если что и происходило, то давно и неправда, пошел золотой дождь: в Самару пришел запретно-сладкий джинсовый бизнес. Дождялся Виктор своего часа, когда живешь, как танцуешь, когда все сразу, в одно касание — темп, интерес, результат и авторитет. Сила, долго не находившая выражения, успокоилась и застыла в его матовых глазах.

В ванной от открыл женскую примерочную, в туалете — мужскую; в изолированной Витиной комнате, 3 на 4, шел сам торг. Разворачивали синий заморский деним, коттон, мешковину штатовскую, итальянскую, гонконгскую, говорили слова: “Левис”, “Ранглер”, “Суперрайфл”.

Обмывали сделку русской — Витя только белую признавал, запивали няни-Маниным грибом. Теперь на Марью Акимовну он себе кричать не позволял, знай только наливали ей по поводу очередной удачи. Тут-то она и почувствовала — не нужна больше; и в первый раз с “инженерчикова” рождения опять опустело сердце. А тетя Маша и уйти уже не могла домой без Семиной машины: ноги подкачали, отложение солей, семьдесят лет как ни считай. Глаза слезились после первой рюмки. Перешла на яблочное вино, там колес все го 16°.

Срок пришел — женился Витя. На красивой блондинке женился, с голубыми глазами, в синих джинсах “Lee”.

Срок пришел и облигациям тети Машиным пятьдесят второго года. Разменяла — там двести рублей. А у нее уже коленкор на саван закуплен, и питание даровое, чего ей еще в свои семьдесят. Отложила 50 на похороны, а 150 — бух в конверте на поднос в свадебной столовой, где приглашенных сто гостей, и все важный народ, а столько, как Акимовна, никто, поди, в конверт и близко не всунул. Качали тетю Машу, и прежде чем провозгласить единственный тост, который знала, в первый раз назвала она Лилию “ты”. После чего подняла рюмку с десятью граммами водки и двадцатью пятью — воды, крикнула — всхлипнула:

— За все за хорошее!

Молодые жили душа в душу, одевали друг друга в синий цвет да в желтый вельвет. Майора Медведева дочку одели — не налюбуйешься.

Поутихли скандалы. Тишь не гладь, а поутихли. Одного теперь няня Маня ждала, хотела “инженерчикова” сына понянчить. Ждала, не глядя, что жарит, что — стирает. Запахли мыльным запахом пельмени; няня Маня ждала. Весь двор знал, все понимали.

Под пасху ее разбил паралич. В больнице, палате на шестерых, тетя Маша лежала молча, глядя слезящимися глазами в белый сырой потолок.

На третий день раскрыла правую половину рта и прохрипела: “Надо... надо... инженерчику машину... куп...ить. Только... не... желту...ю”. — “Маша, — заплакала Лиля Моисеевна, сидевшая тут, — у тебя разве есть деньги?” — “Есть. Семь... десят тыщ”.

Велела ехать смотреть — над изголовьем слева, за “Огоньком”. Так это велела, что Семен Михайлович и вправду поехал, весь “Огонек” ободрал, а кроме дранки ничего.

“Были. Точ... но... Были”. Повернулась слегка, как могла к стенке, и больше ничего не сказала. На четвертый день перестала чувствовать, как ее обихаживают, на шестой умерла.

Хоронили ее Понаровские да Клавка с Шуркой, да батюшка с майором. Витя пил с неделю, пока не вернулся к делам, но и потом чувствовал: жить можно, а чего-то не хватает, вроде пальца на руке.

Клавка взяла на память кружевной подзор, а Шурка — открытку, висевшую у покойной на видном месте, и горшок с алоэ. На открытке сфотографирован спутник, а на обороте написано: “Спасибо, мамаша, за заботу. Здоровье у меня в порядке, а бога я, когда летал, не видел.

С уважением, Юрий Гагарин”.

БЕРЛИН, ПАРИЖ И “ВШИВАЯ РОТА”

Маленькая повесть

(из цикла “Коридор”)

По Шпрее вдалеке ласково тарахтел катерок. Роман облоко-тился о парапет набережной и, тихонько посасывая немецкое пиво, любовался старинным собором, выраставшим напротив прямо из воды. Вечерело. Благодать, а не жизнь! Катерок тарахтел все ближе. Вот он пропилил перед самым носом у Ромки. Э-э, да это... На баке катера установлен был крупнокалиберный пулемет, такой же сзади. Да и мужики на нем не туристы. Патрульный катер. Менты, короче.

Роман с досады плюнул в ненавистную теперь, а еще минуту назад милую реку: песню испортили, гады. И поплелся к Дому немецко-советской дружбы, где через десять минут должно было начаться второе отделение встречи московских писателей с немецкими читателями.

Чтобы смыть гадостный привкус патрульного катера, обрат-но Роман пошел другой дорогой. И правильно сделал.

Унтер-ден-Линден. Не зря ее Гитлер так любил. Широкая, красивая и действительно вся в липах.

**Сергей
КАЛЕДИН**

— родился в 1949 г. в Москве. Окончил Литературный институт. Дебютировал повестью “Смирненное кладбище” в журнале “Новый мир” в 1987 г. Автор повестей “Стройбат” (1989), “Поп и работник” (1991) и цикла рассказов “Коридор” (в книге “Коридор”, 1987). Публикуемый рассказ непосредственно примыкает к рассказу “Когда бы знали...” (“Континент”, № 83).

Справа был оперный театр. Старинный, с ангелами на портике. Двери театра отворились, и из театра на улицу повалил роскошный народ: душистые с украшениями бабы в мехах, мужики отутюженные. И у нас в Доме дружбы антракт и у них антракт, подумал Роман. Вот молодцы немцы, порядок любят. С пивной банкой в руке Роман зашел в шикарное фойе театра. В фойе стоял праздничный гомон. Ну прямо, как у нас в Большом театре. Впрочем, в Большом театре Роман не был. Ну, тогда — Малый. Роман с интересом разглядывал роскошную публику. Бабы уж больно красивые. Блондинки, в основном. Да и мужики соответствуют... Но что-то назойливо мешало взгляду, как соринка в глазу. Роман даже пошебуршил в глазу пальцем. Тут его и настиг администратор, молча указав на пивную банку.

— Миль пардон, мадам, — извинился Роман, хотя администратор был мужчина. Допил пиво и выкинул банку в урну.

Но помеха в глазу не исчезала. Роман понял, что дело в мужиках, к бабам претензий нет. Он пригляделся к мужским костюмам. На лацканах всех без исключения пиджаков поблескивал крохотный значок. У всех мужиков без исключения. Маленькая такая неприметная синяя капелька, на сердечко похожая. А в сердечке две ручки друг друга жмут, вроде как здоровкаются.

Зазвенел звонок. Администратор молча следил за Романом, точно вычислив, что он не из этой оперы. Но пока молчал.

— Иду, иду. Ушел уже, — успокоил его Роман и вышел на улицу.

Конечно, опоздал. Второе отделение уже началось. Выступал заикатый поэт, фамилию которого Роман не запомнил. Переводила его не Сабина. Сабина переводила прозаиков.

— Сабина, — зашептал ей на ухо Роман. — Я сейчас в театр ваш оперный забурился...

— Что есть “забурился”?

— Ну, зашел просто. Там у всех мужиков на костюме, вот здесь, какие-то значки, у всех до единого. Что за дела, не знаешь?

— Знаю, — с напряжением сказала Сабина, как бы неся ответственность за эти значки. — Дас ист, ой, прости, это есть значок нашей партии.

— Не понял?

— Значок коммунистического человека.

— Даже в театре?

— Везде.

— А у женщин почему нет значков? Бабы у вас ведь тоже в коммуне состоят? Ты-то состоишь?

— Да.

— Дела-а... И опера-то, главное дело, не больно коммунистическая. “Лоэнгрин” Вагнера. Ее, наоборот, Гитлер с ребятами своими привечал.

— Что есть “привечал”?

— Любил... Да, дела-а... У нас коммунак ленивый только не хает, а у вас еще конь не клевал.

— Ко-онь, — это мужская лошадь?

— Фрау Дитер, — одернул Сабину организатор встречи.

— Сейчас ты будешь говорить, — сказала Сабина Роману. — Я говорю о тебе цу курц, э-э, коротко. Дальше — ты. “Записки мясника” ты не мог публиковать сколько лет?

— Девять. А “Вшивая рота” запрещена военной цензурой до сих пор. Четыре раза рассыпали уже готовый набор журнала. Вадим Медведев, рвань одна в Политбюре, сказал, что “Вшивая рота” будет опубликована только через его труп.

Сабина кивнула, делая пометки в своих записях.

— Теперь я говорю, — Сабина придвинула к себе микрофон и заговорила в зал по-немецки.

Роман разглядывал зал. Не реагируют. Личики у всех мерзопала-а-костные. Вон и председателю ихнего Союза писателей не нравится, что Сабина говорит. И заместитель культуры харю морщит. И ребята из их ГБ, “Штази”, тоже недовольны. Но это, братцы мои, уже ваши проблемы. Нравится — не нравится, терпи, моя красавица...

Сабина придвинула микрофон к Роману.

— Тебя спрашивают, какое самое впечатление в Германии на тебя произвело?

Роман придвинул микрофон поближе, постучал по нему пальцем — все нормально, все работает. Ну, тогда поехали!

— Про красоту Германии, леса, поля и тополя я говорить, разумеется, не буду. По-русски это называется толкать фуффло...

— Что есть “фуффло”? — нахмурила Сабина лоб, притормаживая синхронный перевод.

— Ну, трюизм, пошлость, то, что очевидно, — пояснил Роман. Сабина перевела. — А вот впечатлениями своими по нарастающей я могу с вами охотно поделиться...

— Ро-ма, — тихо, но настороженно сказал Боря Калунин, старшой группы от иностранной комиссии Союза писателей СССР.

Роман успокоил его:

— Все в порядке, Борь, не волнуйся, все путем, — И продолжил в микрофон. — Итак, по нарастающей. Первое, ваша таможня. Обрыли все, обшарили меня, ну, это семечки. А потом стали листать мою записную книжку, внимательно изучая телефоны.

— Ро-ма, — прошипел Боря Калунин, но Роман уже не обращал на него внимания. Все равно Борька по приезде в Москву заложит его в отчете. Вон замминистра культуры ихний уже припух, и из “Штази” дятел заерзал, завертелся...

— ... У нас так при Сталине шарили в бумагах: не промазаны ли они смертоносным ядом. Это первое. Второе! Ну, второе, разумеется, ваша Берлинская стена! Я про нее слышал, но представить ее во всю мощь и роскошь не хватало воображения. Чтобы стена шла по живому городу, по жилым домам, по реке, по кладбищу!.. Короче, майн копф ист капут! Ну и третье, последнее, самое сильное впечатление десятиминутной давности. Это — опознавательные знаки членов вашей коммунистической партии, которые я обнаружил у всех без исключения мужчин на премьере оперы “Лоэнгрин” Рихарда Вагнера. Это самое неизгладимое впечатление. Благодарю за внимание.

Роман отодвинул микрофон, но вспомнил, что еще не всю желчь выплеснул, дотянулся до микрофона.

— Да, забыл еще: произвел впечатление катерок с пулеметами, который катается по вашей речке в самом центре города. Это тоже ништяк.

Зал зашумел в неприятную сторону. Борька Калунин неодобрительно качал головой, в которой уже наверняка был отредактированный текст закладной. А Сабина улыбалась, значит, понравилось. Хотя по шапке она еще получит. Все впереди. Это она ходатайствовала от имени Союза писателей ГДР перед Союзом писателей СССР о включении Романа Бадрецова в состав правоверной группы московских литераторов.

Нет, в Москве-то “Записки мясника” вышли и в журнале, и в книжке. Все чин чинарем. Аккурат через девять лет после написания. Роман был уверен, что вообще никогда не опубликуют. Список из пятидесяти журналов и издательств он прошерстил два раза. В московских редакциях сотрудников аж в пот кидало при его появлении. И так бы оно и шло, кабы не перестройка. Штакетина в глухом заборе вывалилась, и в первую же щель Роман со своими “Записками мясника” и вылез: тема оказалась незаостроенная, о бойне еще не писали, уж больно фон не жизнеутверждающий. Да и вонючий вдобавок. А в скором времени после публикации “Записок” в первом Басманном, где жил Роман, появился еврей, проживающий в Париже, Майкл. Короче, русский, из предыдущих эмигрантов. Его представили Роману как одного из самых влиятельных литературных агентов.

Агент пришел в потерханном черном пальто с загибающимися от старости лацканами, резиновых сапогах, которые он сменил на сношенные черные туфли, и белой рубашечке тоже б/у.

— Кто это? — не поверила Светка, наводившая марафет к приходу иноземца на себя, на Романа, на стол и на Вовку Синяка, стародавнего школьного товарища Романа, который приперся полюбопытствовать, да и выпить на хохряк.

Светка была сначала полуженой Романа, потом незаметно перешла под эгиду Синяка, а в настоящее время находилась где-то посередине.

— Кто это? — не поверила Светка, увидев Майкла, и на всякий случай рывкнула на Синяка. — Ты только пасть свою беззубую не открывай!

— Ага, — покорно кивнул Синяк кудлатой башкой. — Слышь, Жирный, это не еврей капиталистический, это чучело какое-то... Не того подсунули, гадом быть!

— Заткнись, сволочь! — Замахнулась на полумужа Светка и улыбнулась иноземцу. — Хау ду ю ду!

— Ох, сейчас мы достойно отобедаем, — потирая руки, сказал Синяк, — заделаем легкую засодягу.

— Бонжур, — сказал Роман иностранцу, принимая у него пальто.

— Слышь, Жирный, какой-то он псивый, ей-Богу, — брезгливо пробормотал Вовка, оглядывая литагента. — И пустой

идет — хрусталь не слышу. А, ясное дело: все жиды — жмоты. Кроме тебя, Жирный, не обижайся, ты-то жид наполовину. Я думал, он какой-никакой височки принесет, джинчику...

— Заткнись, — сквозь зубы прошипел Роман, — он по-русски понимает.

Майкл разделся неторопливо, достал из потрепанного портфеля виски, джин, конфеты, банку кофе крупитчатого и чай “Эл грей”.

— Не все жиды жмоты, — улыбаясь, сказал Майкл, проходя в комнату. Вовка от позора втянул башку в плечи.

— Сволочь! — прошипел Роман.

— Ты же сам сказал, из Парижа, — заоправдывался Вовка, — откуда я знал, что он по-русски сечет?

— Да он же русский, из эмигрантов...

Майкл засмеялся и в знак прощения протянул Вовке руку.

— Майкл. А вообще Миша Зальцман. А вы Роман Бадрецов?

— Да паразит он, а не Роман Бадрецов, — сказал Роман, перехватывая руку иностранца. — Я Бадрецов.

— Ноу проблем, — Майкл был из понятливых. — Значит, он есть паразит, ты — писатель, а леди?

— А леди — Светка.

— Светлана, — Светка протянула Майклу руку с наманикюренными в искристую крапинку ногтями.

Майкл для уяснения ситуации шмыганул глазами с Романа на Вовку, туда-сюда: чья, мол, баба?

Роман перехватил его взгляд:

— Фифти-фифти.

Светка в это время, совсем не смущаясь, стояла красивая, элегантная, несмотря на фартук, и любовалась произведенным на иностранца впечатлением.

— Ноу проблем, — сказал Майкл и хлопнул в ладони. — Итс о’кей. Дайте жрать!

Майкл пил, как русский, но в отличие от русских — Романа, Синяка и Светки — мозгов не терял. Каспийскую кильку ел, по рекомендации Синяка, с головой и не потрошенную.

— Я имею кое-что предложить, — сказал он через полчаса, когда все уже были крепко задутые. — Я беру право издать твои книги везде. Сначала Франция. Я уже имею в Париже издательство, которое согласно печатать тебя. Ты будешь отдавать мне

двадцать пять процентов. Я делаю рекламу, я делаю все. Ты делаешь ничего. Ты получаешь мани, пьешь водку, пишешь свои книги дальше. О'кей? Еще любишь Светку. О'кей?

— Он тоже... любит Светку, — с трудом выговорил Роман, тыкая пальцем в Синяка.

Синяк здоровенной своей лапищей потрепал Романа за плечо, приводя в чувство.

— Жирный, ты поторгуйся, — Вовка забыл, что иностранец понимает по-русски. — Поспори, скажи, чтоб за рубеж позвал. Не колись сразу.

— Скажу, — вяло кивнул Роман и действительно сказал сидящему рядом Майклу. — В гости позовут?.. В Париж... На презен-тацию...

— О'кей! — сказал трезвый Майкл, протирая очки. — Я составляю контракт. Ты еще имеешь черную литературу?

— Не понял, — мотнул головой Роман. — Чернуху, ты имеешь в виду? Да я ж чернуху не пишу. Я чего видел, то писал... На мясокомбинате работал. Вот Синяк устроил, — он кивнул на Вовку. — В банно-прачечном батальоне служил, “Вшивую роту” сбавал...

— Я читал твоё интервью. Кажется, “Москау ньюс”? Цензура имеет претензии, так?

— Имеет, — кивнул Роман.

— Скажи еще: зачем ты служил так, а не так, как надо? Ты тоже дебил?

— Дебил, дебил! — заорал Вовка, опережая друга. — Везухи своей не сечет. Жирный, не подмахивай Мишане, он и так при башнях.

Майкл повернулся к Вовке.

— Ты тоже дебил?

— Не, я хлеб вожу. Тебе хлеб нужен, белый, черный, сдоба?

— Сенкью. Я имею.

— Он хлеб возит или в тюрьмах сидит, — пояснил Роман. — Или дерется в деревне.

— Почему в деревне? — обиделся Синяк. — Я и в Москве бздянок любому выпишу.

— О-о! — уважительно закивал Майкл. — Бокс, бокс... Роман, ты имеешь сейчас “Вшивую роту”?

— Светка, принеси, в той комнате, в столе, в правом ящике.

— Жирный, не давай! — заревел Вовка. — Пусть жид тебя во Францию сперва возьмет!

— Пусть, — сказал Роман.

— О'кей, — очень просто согласился Майкл. — Летом ты в Париже, хочешь?

— С женой!.. — ревел Вовка, но осекся, почесав башку. Жены-то нет.

Светка принесла папку с рукописью.

— Пойду кину ребенка в койку, — сказала она небрежно.

Светка жила на том же этаже, что и Роман, только в другом коридоре. Как многодетная мать-одиночка она получила вторую квартиру, трехкомнатную, аккуратно напротив своей первой, двухкомнатной. В настоящее же время она была немного беременна шестым ребенком, по всей видимости, от Вовки, но рожать вроде бы раздумала. “Кидать в койку” ребенка не было надобности, так как последнему, самому младшему ее мальчишке было уже одиннадцать лет. Ушла же она на словах Синяка “а жены-то нет” демонстративно — чтобы привлечь внимание к факту своего обидного до сих пор незамужества.

— Я делаю контракт, — решительно сказал Майкл, очищая рукой пространство на столе.

Он достал из портфеля многостраничный договор по-английски, уже готовый.

— Вот здесь подписать.

— Ну, чего, сволочь, подписываю, а? — Роман вопросительно посмотрел на Синяка и взял ручку. — Чего молчишь?

— А сейчас-то денег жат киданет малку?

Майкл полез в бумажник.

— Франки, доллары?

— Какие еще франки?! — возмутился Вовка. — Долларей пусть кидает. И — по краям. Ну, по рукам, значит.

Вернулась Светка. И смотри, догадалась: принесла подарок из своих закровов, когда еще работала в индийском магазине “Ганга”. Наворовала наперед. Принесла она неликвидную, с малым незаметным изъяном бронзовую фигурку Будды.

— О! — воскликнул Майкл, не переставая отсчитывать доллары. — Кришна!

— Это Будда, — слегка обиделась Светка. — Кришну я знаю в лицо.

Майкл спорить не стал, засунул договор в портфель, туда же — “Вшивую роту” и стал переобуваться в резиновые сапоги.

* * *

Ну конечно же, в последний вечер, вернее ночью, в Берлине Роман свое взял. И наелся, и напился. В отрыве от творческой группы. Вдвоем с Сабиной в каком-то закопченном подземеелье под венгерского или румынского скрипача, под свинину с кислой капустой, ледяную водку и пиво в огромных бокалах с золотой каемкой. А главное, под Сабину. Вот с кем пить в радость. Даже не с кем, а при ком. Не надо напрягать мозги; что про тебя подумают, какое производишь впечатление... Пей, ешь, пори ахинею.

Сабина сидела напротив, молчала, улыбалась, покуривала. Никакого укора за его выступление в Доме дружбы. Хотя совершенно ясно, что за впечатления Романа о Германии она еще свое огребет...

И понес ее Роман из кабачка домой на руках. Благо, была Сабина, как пушинка. Ну, как ее еще отблагодарить? Любви нет, а чувства распирают.

Квартира Сабины была в центре Восточного Берлина. В странном доме. Одна половина дома оставалась в полном запустении еще с войны, а вторая была отделана на капиталистический манер. Как в модном журнале. И снаружи, и внутри. Квартира Сабины была с капиталистической стороны, но черный ход выходил в социализм: по лестнице нельзя было спуститься — на половине марша она была просто-напросто оборвана.

Ночью Роман захотел попить и — наоборот. Он тихо встал, чтобы не разбудить Сабину, и отправился на поиски. Кухню с питьем нашел без затруднений, а вот... Голый Роман бродил по бесконечной квартире... Кладовка... Стиральная машина, приклад к ней... Еще одна кладовка, ящики с пивом-водой... Кабинет Сабины, комната детей, которые сейчас у разведенного отца... Туалета не было, хоть убей.

Положение становилось критическим, а будить Сабину рука не поднималась. Роман прошел еще раз по злополучному кругу, включил везде, где можно, свет... И — о, счастье! — вот она,

заветная дверь. Роман рывком дернул ее на себя и, нащупав выключатель, включил свет.

— А-а! — воскликнул слабый женский голос.

Это была небольшая комната, возле окна на тахте, прижав к груди одеяло, с обезумевшими от страха глазами сидела маленькая женщина.

— Пардон, мадам, пардон, — прикрывая руками позор, Роман задом выпятился в коридор.

В комнате незнакомки он свет потушить забыл, зато почему-то потушил в коридоре, где сейчас стоял ошалелый, полупьяный и переполненный пивом.

Туалета он так и не нашел. Спас его разнесенный фугасом черный ход.

— С тобой есть все в порядке? — сонно спросила Сабина.

— Пивка попил, — пробормотал Роман.

Встал он поздно, надеясь, что ночное приключение ему померещилось.

Сабина покрутилась у плиты, поговорила по телефону. Потом они сели завтракать.

Сабина молчала, иногда улыбка вспархивала на ее лицо, она покачивала еле заметно головой, вопросительно заглядывая Роману в глаза; потом она подперла по-деревенски подбородок рукой и задумчиво сказала:

— Скажи, зачем ты ходил ночью голый к монашке?

Значит, не померещилось! Значит, было!

— Сабиночка! Принеси мне быстродействующий безболезненный эффективный яд. На твоих глазах я травлюсь! В записке прошу наше и ваше правительство тебя не беспокоить. Что ж ты мне ничего не сказала про монашенку, несчастная? Прибить тебя мало!

— Разве я не сказала? — воздела бровь Сабина, ковыряя ложечкой смятое яичко. — Ах, зо-о... Я совсем забыла. Эта девушка, она юрист, и она монашка, живет у меня сейчас.

— Не понял, она кто: юрист или монашенка?

— И та, и та. У нас так бывает.

— А я, когда в церкви работал, у нас такого не было. У нас они только Богу молятся и по хозяйству церковному работают.

— Ты веришь в религию?

— Да не особенно. Так, по дурости, залетел в одну церкву и год там сторожил, кочегарил...

Вечером Роман встал на одно колено перед монашенкой-юристом и, как мог, извинился, пригласил в Москву, обещал познакомить с попами, архиереями, патриархом, свозить в Загорск и, если Габи пожелает, устроить ее там на временное проживание в келью.

Смеха прощения он из нее не выбил, но Сабина сказала, что Габи отпускает ему грехи, но просит больше к ней по ночам голым не приходиться.

— Что ты, Габи! — вскричал прощенный, — я сегодня убываю. В Париж-город лечу. Ту-ту-у!..

В аэропорте Сабина робко сказала ему на прощание:

— Если ты будешь так много пить, потом тебя будет трудно исправлять назад. Если ты очень уж желаешь пить, пей соки на спирту. Мне кажется, ты очень вооружен алкогольной интоксикацией.

* * *

В Париже Романа встретил Майкл, такой же потерханный, как и в Москве. Багаж (а багажа было много — Роман чего только не накупил в Берлине) крутился на транспортной карусели. Они обнимались с Майклом, целовались. Потом покидали багаж в машину Майкла — кстати, не потерявший “Мерседес” последней моды. И поехали в Париж.

Вдоль дороги стояли непонятные деревья без коры с мясистыми листьями, но зато повсюду цвели очень понятные незабудки. Вдоль тротуаров по мостовой специальные ручейки уносили с проезжей части грязь в сточные люки. В чрево Парижа ручейки направляли расклепшие, разбухшие тряпки. Такими же, только поменьше, технички мыли полы у них в школе в Басманном. Арабы-уборщики пластмассовыми зелеными метлами скребли чистые тротуары. Французы шли в шарфах, перекинутых через плечо; девушки в черном, как в трауре, все, как одна, кривоногие, курили на ходу. На бульваре ухоженные старики кидали в лунки металлические шары. Через Сену перепрыгивали мосты, обремененные зелеными от старости фигурами зверей, коней и королей.

Майкл жил в собственном доме в три, а может, и четыре этажа. Во всяком случае, пятерых детей Майкла, двое из кото-

рых по нонешней моде были приемными (один из Чили, другой с Тибета), было не видно, не слышно.

Опились по-русски. Жена Майкла, красавица-француженка, возражения против пьянства не высказывала. Напротив, ночью погнала мужа в подвал за старинным коньяком, заросшим вековой пылью, как рукопись, найденная в Сарагоссе. Роман умолял не разорять залежей, но жена разгулялась, и бесценная бутылочка ушла ни за понюх табаку.

Ночью Роману не спалось, он хлебнул пивка и решил пересмотреть покупки, приобретенные в Берлине. Покупок было много, но меньше, чем при погрузке в аэропорте Берлина. Не было радиотелефона, автоответчика, фотоаппарата. Не было кофт для Светки, фиолетовых, под цвет челки, которую она красила чернилами, не было "Тампаксов", которыми Роман перекладывал электронику. Короче, не было здоровенной полиэтиленовой сумы.

Роман еле дождался утра. Майкл его успокоил, позвонил в аэропорт. И точно: ему ответили, что сумка есть, была забыта на транспортной карусели.

— Не пей вина, Гертруда, — пожурил себя Роман. — А я уж было вешаться собрался. Там товару-то аккурат на "Жигули".

В аэропорте Орли очаровательная француженка поведала, как все сотрудники вчера вечером были напуганы, когда большая сумка одиноко каталась по транспортеру и в ней что-то бренчало. Ведь повсюду терроризм. Сейчас сумка в бюро забытых вещей.

Роман с Майклом сразу нашли ее, но... пустую, на дне сумы сиротливо перекатывался деревянный грибок-солонка за пятьдесят копеек, русский сувенир для иностранцев.

— Есть проблемы? — услужливо поинтересовался служитель.

— Твои вещи были запечатаны? — спросил Майкл.

— Нет, — прыгающим голосом признался Роман.

— Список багажа есть?

— Нет.

— Ноу проблем, — пожал плечами Майкл. — Больше ты не будешь идиот. И не будешь много пить. Оревуар, месье, — сказал он служителю.

Издательство называлось по имени своей хозяйки. "Мишель". Ее-то Майкл и заинтересовал "Вшивой ротой". Бывшая

битница, маоистка, троцкистка и чуть ли не террористка, она сразу же ухватила за нее. Но не сама повесть ей приглянулась, а то, что “Рота” запрещена цензурой.

Мишель взяла на себя все расходы по пребыванию Романа в Париже. И предложила вместо гостиницы квартиру своего брата Жоржа в Латинском квартале на рю Дофин, около станции метро “Одеон”. А самое невероятное — выписала чек. Аванс.

— Деньги можно получить в банке завтра до четырех. Не опоздай. Потом уик-энд, банк закрывается.

Квартира брата была... Ну, какая может быть квартира сорокалетнего богатея, бабка которого вдобавок марокканская принцесса? Вот именно такая.

Пятиметровой высоты, отделанная дубом, посреди потолка толстенная черная балка семнадцатого века. Золото-позолота, фигуры в нишах, инкрустированная перламутром мебель, камин и вздыхающий кожаный удобно-неудобный низкий черный диван с расползающимися под тобой валиками и подушками. И несколько портретов одного и того же красавца на стенах, забранных голубым штофом. Впрочем, может быть, и не штофом. Штоф — это, кажется, девятнадцатый век, Тургенев и так далее.

Огромная тридцатиметровая комната переходила в кухню, набитую харчами и алкоголем. Мишель предупредила, что Роман может пользоваться всем без стеснения. Кухня выходила в небольшую комнату-дворик без потолка, где возле пальмы стояла жаровня; в углу, на полу решетки, как в бане, притулился огромный сложенный зонт. А уж из дворика-комнаты дорога вела в спальню, где всем заправляла трех-четырёх-спальная кровать.

— В ресторан не ходи, — посоветовал Майкл, — вари себе сам. Он показал Роману, где хранится бакалея. Вся она была быстрораствориваемая.

— А шашлыки можно сделать?

— Барбекю? Почему нет...

— А это?.. — замялся Роман. — Ну... если леди?

Майкл категорически помотал головой.

— Мишель просила, чтобы нет. Леди — нет.

Мишель и Майкл ушли. Роман закрыл за ними дверь и сел в задумчивости на тяжело вздохнувший под ним диван.

Майкл неожиданно вернулся.

— Мишель просит тебя написать, зачем не печатают “Вшивую роту” в России.

Роман ошалело взглянул на Майкла.

— Сейчас прямо здесь сяду у камина и буду вспоминать всю эту херовину?..

— Херовина? — Майкл полез в свой портфель за словарем.

— Не ищи в словаре, там этого нет. Это, значит, глупость, чепуха... Майкл, давай-ка мы с тобой бабки подождем, — стараясь быть по-западному сдержанным, сказал Роман. — Значит, Мишель поселила меня здесь с условием, что я напишу закладную на военную цензуру и советскую власть, так?

— Уи, — кивнул Майкл.

— А меня там, на исторической родине, потом возьмут за жопу и...

— Теперь не берут за жобу. Перестройка.

— Хитрые вы капиталисты. А если я не напишу, она меня выгонит?

— Мишель не будет прогонять тебя, она не будет другую книгу делать. Не будет иметь на тебя перспектив. Для автора это плохо, — Майкл встал и направился к двери.

— Я рукой-то писать не умею! — вскричал Роман, хватаясь за соломинку. — Машинки-то пишущей нет. В Москву приеду — напишу!

Майкл подошел к телефону, полопотал по-французски.

— Ты желаешь компьютер?

— Я слова-то такого не знаю, — сникая, промолвил Роман. — Машинка обычная, пишущая... Бумага, копирка...

— У тебя будет.

— С русским шрифтом! — выкрикнул Роман в полном отчаянии, но на Майкла и это заявление не произвело впечатления. — Сколько страниц-то надо?

Майкл пожал плечами.

— Может быть, десять.

* * *

На следующее утро парижские колокола звонили вокруг по всему Латинскому кварталу. Роман позавтракал под телевизор и подошел к бару, предвкушая красивую жизнь. Он уже начал

перебирать бутылки, когда раздался звонок в дверь. Нарочный без слов внес пишущую машинку и сумку с канцелярией.

— Пропади ты пропадом, падла! — вскричал Роман с улыбкой, чтобы нарочный не понял. Тот и не понял, ответно улыбнулся, поставил машинку на стол и, мило сказав “ба-ай”, отвалил.

Сладкая жизнь откладывалась до лучших времен. Роман скрутил из листа бумаги фунтик-воронку и перелил приготовленный коньяк из рюмки назад в бутылку. И так, десять страниц! В запасе десять дней. Пути назад нет, только через разочарование Мишель, что исключено. Тогда вперед с песнями! Погнали! Дело-то недавнее — вспомню, а где не вспомню, навру. Сойдет для Франции. Тоже мне Бином Ньютона! Роман отсчитал десять страниц, переложил листы копиркой, засунул в машинку. Так. Название?.. А чего тут думать. «Цензура и “Вшивая рота”».

Мой армейский товарищ в день свадьбы перерезал себе вены. Я стал разыскивать оставшихся однополчан.

Не отыскал. Трое сидели, один рехнулся. И тогда я решил рассказать про банно-прачечную роту, в которой служил двадцать лет назад.

После публикации первой повести “Записки мясника” меня убедили, что я писатель. А раз так — самое время рассказать про нашу вшивую команду. Скоренько написал “Вшивую роту”. Отнес в журнал.

Повесть приняли. Однако Главлит — Главное управление по охране государственных тайн в печати — наложил на публикацию запрет. А без визы Главлита типография не имеет права напечатать даже спичечную этикетку. В журнале решили: недоразумение. Одно дело запрещен к публикации “Архипелаг Гулаг”. Это понятно: автор не наш человек. Но “Вшивая-то рота” чем не угодила? Выдуманная история о событиях двадцатилетней давности: вспомогательное нестроевое подразделение при дивизии, личный состав неликвидный — кто больной, кто блатной, мы и оружия-то в глаза не видали. Про жарка, стиральные машины да сушилки — вся боевая техника. Никакой военной тайны. И вдруг — высочайший запрет.

Главлит повесть вернул в журнал, строго предупредив, что без визы военной цензуры рассматривать повесть больше не будет.

— Очень хорошо, — потирая ручки, успокоил меня заместитель главного редактора. Был он маленький, пухленький и очень, очень добрый. — Отошлем в военную цензуру. Там почитают, народ там хороший, нескандальный, я их знаю, все будет в порядке.

— Не надо в военную цензуру! — завопил я. — Христом Богом прошу, не надо!

— Спорить не будем, — ласково сказал зам. — Отправим в военную цензуру.

Отправили. И началось.

“Генеральный штаб Вооруженных сил СССР. Главная военная цензура.

Главному редактору...

Копия: начальнику Главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР тов. Волдыреву.

В повести Р.Бадрецова “Вшивая рота” показано исключительно низкое политико-моральное состояние личного состава воинской части Советской армии.

В связи с тем, что упомянутые сведения подпадают под существующие цензурные ограничения, повесть опубликована быть не может.

Главный военный цензор Генерального штаба
генерал-майор Билибонов”.

— Ну, что ж теперь сделаешь? — развел руками зам, кисло улыбувшись. — Только и остается: садитесь и переделывайте вашу вшивую команду в нормальную воинскую часть.

— Так я ж в нормальной не служил. Я служил в банно-прачечном батальоне...

— Ну, тогда не знаю прямо... — Грушевидное личико зама сочувственно посерьезнело. — А чего вы это так разволновались? Вы еще такой молодой... Я ведь говорил главному редактору, что неуважительно вы относитесь к нашей армии. И по форме слабовато, и по стилю. Пушкина надо читать, Толстого...

И поганенько улыбнулся.

Ладно, думаю, не буду волноваться. Я, действительно, еще такой молодой. Порезвлюсь немного.

Звоню в военную цензуру. Рапортую:

— Автор запрещенной повести “Вшивая рота” Бадрецов беспокоит.

— Напрасно беспокоите.

— Тут вот какое дело, — сменил я тон на болезненный. — Тяжелое у меня состояние, на самоубийство тянет. Соедините меня с главным военным цензором, хочу узнать подробности запрета моего детища. Без малого двадцать лет жизни я отдал своей повести “Вшивая рота”. Соедините меня с главным цензором, прошу...

На том конце телефона замешкались, донесся раздраженный голос:

— Там этот... который вшивый. То ли травануться хочет, то ли повешаться, — и: Соединяю с главным военным цензором генерал-майором Билибоновым Сергеем Алексеевичем.

— Генерал Билибонов слушает.

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Это Бадрецов, беллетрист.

— Кого?

— Прозаик, в смысле.

— Так так и надо говорить.

— Слушаюсь. Хотелось бы узнать дополнения к вашему заключению насчет “Вшивой роты”.

Г: А какие еще разъяснения?

Я: Чтоб вы поподробнее объяснили, что считается низким политико-моральным состоянием личного состава воинской части.

Г: С нашей стороны чего является? С нашей стороны то является, что вы за целую часть даете политико-моральное состояние. У вас там почему-то большинство собраны все подсудимые. Мы же должны на факты опираться... А такого не должно... Мы ведь и банно-прачечные войска запрашивали. Не было там такого. С ихней стороны даже отзыв есть. А вы обобщаете... Так дело не пойдет.

Я: Сергей Алексеевич, а ведь обобщаю не только я, но и Политбюро последним своим решением о низком политико-моральном состоянии Советской армии.

Г: Политбюро не будем трогать. Не будем. Вас никто не уполномочивал, и вы, наверное, не владеете за всех. По нашему перечню, если речь идет о частном случае, если там один, ну, два человека, можно показать. Когда же мы начинаем на факте двух-трех человек делать обобщение... Нет, художественная сторона у вас присутствует, и вы это выливаете, хотя она и банно-прачечная...

Я: Значит, вы считаете, что мы с вами не найдем общего языка?

Г: Почему? Общий язык я имею и сейчас.

На следующий день я вошел в старинный особняк на Кропоткинской улице. Главная военная цензура. Дежурный, сличив меня с паспортом, вызвал лейтенанта. Тот повел тайными ходами и у очередной двери сдал полковнику. Полковник, оправив мундир, постучался в нужный кабинет, вошел и, кивнув в мою сторону, мрачно сказал встающему из-за стола генералу: "Вот". И отошел к стене, где уже стояли еще два полковника.

— Добрый день, Роман Львович, — радушно пожал мне руку старый седой генерал.

— Насчет разъяснений, — виновато напомнил я причину визита.

Генерал достал из сейфа красную книжечку и начал листать ее, приговаривая:

— Во-первых, вы писатель... Есть перечень... Цензура им руководствуется...

— Дозвольте взглянуть.

— А у самих-то нет, что ль?

Я театрально развел руками.

— Голяк на базе.

При этом я блудливо выкручивал шею, стараясь заглянуть в лежавшую перед генералом книжечку с перечнем секретов. Генерал же локтем загораживал текст.

— Вы прям, как второгодник, Роман Львович, — по-отечески пожурил он, — списать хотите...

— В точку попали, — подмахнул я генералу, — я и есть второгодник, в девятом классе выгнали на хер из школы и на второй год оставили.

Генерал расцвел, покачал седой головой.

— Ай-яй-яй, Роман Львович, писатель, и такие вещи...

Чувствовалось, что я нравлюсь генералу все больше.

— Сергей Алексеевич, одним бы глазком взглянуть...

— Так ведь секретно, — вяловато отбивался цензор. Но чувствовалось, что показать секреты ему хочется.

— Какие у нас с вами могут быть тайны! Все свои! — порол я ахинею. — Вы мне покажите, я ребятам своим покажу, Маркову Георгию Мокеевичу, Бондареву Юрию Васильевичу, Проскурину Петру Лукичу...

Генерал заулыбался.

— Знаете их?

— А то! Корефаны. Пивко сосем, чаи гоняем... Бабы наши дружат.

И генерал сдался. Он повернул ко мне текст, ладонями прикрыв при этом номера параграфов сверху и снизу, для прочтения оставался лишь узкий просвет.

В щели между чисто вымытыми генеральскими ладонями значилось следующее: "Перечень сведений, закрытых к опубликованию. Ограничения для центральной печати: О неудовлетворительном состоянии воинской дисциплины; характер нарушений, их количество..."

Генерал вздохнул.

— Мы уж и так и сак пытались... С карандашиком я тут пытался пройтись, почистить, — генерал безнадежно хлопнул себя по лампасам, — все равно политико-моральное вылезит... Вы, Роман Львович, думаете, что в мыльно-пузырном батальоне собран негативный контингент?..

Я хлопнул себя по груди.

— Так вот он, контингент негативный, перед вами. Скажете, позитивный?

Генерал пригляделся ко мне, даже очки поправил.

— Правильно, негативный.

— Так вот я там и служил.

Генерал замахал рукой.

— Частный случай, частный случай. Нельзя исключительный случай накладывать на все вооруженные силы. У вас там драка происходит, рота на роту... Вы там не имеете... Я не имею... За всю армию мы с вами...

— Да я сам в ней участвовал! Пятьсот человек билось!

— Все равно: частный случай. Два-три человека — пожалуйста, а часть целая — не на-адо. В редакции же у вас все знают. Там у вас заместитель главного редактора наш человек, в курсе дела. Должно базироваться на фактуре. Единственный случай имел место, а мы, значит, в толстом журнале... Не пойдет так дело!

У генерала начинался обед. Полковники по стенам с голодухи уже переминались с ноги на ногу, но генерал разговорился.

— Я даже, честно говоря, удивился, как это журнал берет такую повесть. У вас там девок этих, женщин, в смысле, прачек, солдаты... Ну, это... все время, на какую страницу ни погляди... Еще еврей у вас там какой-то... Национализмом попахивает... Шовинизмом...

— А вы читали "Один день Ивана Денисовича"? — перебил я генерала.

Оголодавшие полковники синхронно дернулись, как под током, и, замерев, уставились на меня, словно на пукнувшего не к месту недоросля. Но генерал не смутился, лишь тряснул погонами.

— Знаю такой роман... Все должно быть в меру. Вам страницы дадены, а вы и рады... И Главное Политическое управление нашу точку разделяет. Пишите новую повесть.

Я понял, что разговор пошел по второму кругу, встал.

— Пойду я.

Генерал проводил меня до дверей и, передавая застоявшемуся полковнику, по-отечески попросил не рассказывать никому о нашем разговоре.

Но я ему испортил весь уют.

— Дорогой Сергей Алексеевич! Даю честное солдатское рядовое слово, что как только выйду из военной цензуры, тут же постараюсь рассказать о нашей встрече как можно большому числу людей. Не взыщите.

Генерал побагровел...

...Бронзовые часы с ангелом, которые вчера завел Майкл, пробили три раза. Роман лихорадочно поставил точку на генерале. В банк бежать надо — банкир до четырех только.

Наскоро, не расшнуровывая, вбил ноги в туфли. Туфельки были еще те! Нет, в таком позоре в банк на Сен-Жермен он не пойдет. В таких коцах только в Москве за водкой шастать. Специально поехал в них на Запад — с прицелом выбросить. И купил классные, на ранту, прошитые, темно-коричневые с искрой, аккуратно под цвет глаз. Но башмачки новые ушли по первопутку на багажной карусели вместе с электроникой, мануфактурой и тампонами для Светки.

Да, но надеть-то чего-то надо, не босиком же?.. Какие-нибудь баретки-то есть у этого Жоржа? Мужик здоровый, судя по халату.

Роман покопался в гардеробе и выудил очень даже приличные, не новые, правда, но вполне жизнеспособные кроссовки. Примерил. Мягонькие. Вот он их в Париже и поносит, а потом вернет в семью, не будет обездоливать бедного Жоржа, который, не ведая покражи, плутает с товарищем вокруг мира на своей яхте “Патриция”.

Роман помчался в банк, благо недалеко. Напротив банка, возле монастыря, у столиков кафе бритоголовый парень пускал изо рта огонь. Роман тормознулся поглядеть: парень набирал в рот какой-то прозрачной жижи из банки, плевался ею и на лету поджигал. Роман приняхался: точно, керосин. Как он только пасть себе не сожжет? А впрочем, рот-то мокрый.

У входа в метро на мусорном ящике стоял конкурент огнемета — изображал Чарли Чаплина: подделает движения смешные, замрет, подделает, замрет. Интересно, сколько он так простоит? Нет, огнемет забористее.

В банке Роман предъявил паспорт, письмо Мишель к банкиру и чек. Барышня повертела документы, подняла на Романа ясные глаза и заговорила... Роман покачал головой: не понимаю. Барышня улыбнулась обнадеживающе и ушла вглубь. Ну, конечно, кривоногая, и конечно, в короткой юбке. Вот нация-то некомплексованная. Наши попоной бы ноги обмотали, а эта — глядите, пожалуйста, — наружу вся. Барышня привела из глубины банка толстого дядьку. Вместо денег он что-то стал рассказывать Роману, тыча пальцем в паспорт.

— Денег дай, — попросил его Роман и обернулся к присутствующим. — Граждане, по-русски никто не говорит?

Граждане по-русски не говорили.

Дядька улыбнулся еще разок, развел сочувственно руками и вернул Роману паспорт, письмо и чек.

— Сори.

— До скольких вы работаете?! — заорал Роман и постучал по циферблату, на котором была четверть четвертого.

Мужчина поднял четыре пальца.

Роман вылетел из банка на бульвар. Куда бежать? Майкл с детьми уехал. Учить язык надо было, мудила, а не школу прогуливать! Куда бежать! Горю! Горю как фраер! Без денег останусь!..

Но он уже бежал на родимую рю Дофин. Дома и стены помогают. И стена помогла. Недалеко от дома на стене был указатель — ресторан “Russkaja izba”.

Роман помчался по указке. И действительно — влетел в ресторан, устроенный на несуществующий русский лад: самовары, лапти, балалайки...

За двумя столиками обедал русский ансамбль, опять-таки одетый не по-русски. И для русских мужики были больно ядреные, черные, смоляные. Роман бросился к ним.

— Вы русские?

Мужики оторвались от еды, замотали патлатыми головами.

— Румыния...

— Румыны, что ль? — догадался Роман. — А русский-то хоть кто-нибудь есть человек?! Рашен?!

Толстый метрдотель, настороженно наблюдая за действиями Романа из-за кассы, крикнул в дебри ресторана:

— Бэрбара!

Из темноты возникла Одри Хэпберн. Только не из “Римских каникул”, а постарше, лет тридцати пяти и не такая красивая. Может быть, даже совсем не красивая, но очень похожая на Одри Хэпберн. Роман зачарованно глядел на парадокс, забыв, чего хотел.

Метрдотель указал на Романа.

— Мсье рашен.

Барбара подошла к Роману.

— Чэго пан хо-чет?

Роману стало вмиг стыдно, что он в поту, вонючий, расхристаный, разорался здесь на всю деревню, мадьяр-оркестрантов переполошил. А тут такое чудо...

— Ты полька?

— Так, — кивнула. — Машь з чем-нибудь трудно́сти?

— Маю трудности, — повторил Роман для пущей понятливости. — У тебя есть двадцать минут? Можешь пойти со мной в банк? Банк через полчаса закрывается, а я не маю ни гроша. Розумеешь?

— Розу́мем.

Сбивчивый свой рассказ Роман сопровождал показом паспорта, письма Мишель, чека. Барбара обернулась к метрдотелю, зашебетала по-французски. Тот кивнул. Она развязала кружевной передник и накинула на плечи кожаную куртку.

— Дóбже. Мам трохе часу. Идэмы.

— Бася! — крикнул ей вслед метрдотель строгим голосом и постучал пальцем по циферблату.

Деньги в банке дали через пять минут. Заковыка была в том, что в паспорте у Романа была официальная двойная фамилия “Бадрецов-Степанов”, а в договоре, письме и чеке речь шла просто о “господине Бадрецове”. Банкир позвонил Мишель и выдал Роману деньги.

— Пардон, месье.

— Бонжур, месье, — ответил Роман, — в смысле, оревуар.

— Чёго еще хдешь? Чего хочешь?

— Жрать хочу, пива хочу.

— Ты глóдный?

— Ты кто же такая-то? — задумчиво сказал Роман, удерживая Барбару за рукав. — Откуда ты взялась такая несволочь?

— Не розу́мем.

— А тебе и не надо розуметь, — пробормотал Роман, — главное, чтобы я розумел. Короче, я хочу позвать тебя в ресторан.

— Это дрóго. Для чёго выда́вать пенéнзы?

Роман достал из кармана деньги, потряс ими.

— Теперь мам пенензы. Пойдем?

— Так, — кивнула Бася. — Где хочешь пойти?

— Куда, что ль? Не знаю. Куда скажешь, туда и пойдем.

— Я з моими джэвчынка́ми хожу до “Гиппопотамуса”. Дóбра рестаураця.

— Все, договорились. Где встретимся?

Бася задумалась лишь на секунду.

— Зобачымы кóло помníка Дантону о едэна́стэй, одиннад-
цать, дóбже?

— В одиннадцать у памятника Дантону?

— Так. Мэ́тро “Одеон”.

Дома на рю Дофин Роман устроил такую харчевню, что ой-ей-ей. Батон долгоиграющий, сыр, ветчина, колбаса, оливки, креветки, зелень и пиво. Такое, сякое и даже вишневое. Вишневое оказалось несъедобным, сладким. Роман его вылил, чтоб с глаз долой, чтоб стол не портить. Он жевал с ощущением абсолютной благодати. Еще бы: при деньгах, при Барбаре, можно сказать, да и про “Вшивую роту” вроде получается. Напротив окна была витрина маленького порнушника нон-стоп. Редкая птица залетала туда, все больше нерусского — в смысле, не французского — вида, какие-то плохо одетые люди, арабы, старики... С бутербродом в руке Роман расхаживал по квартире, залез в письменный стол. Все, как обычно: бумажки, карандаши, ручки исписанные. А вот какой-то морской, видать, инструмент, параллели и меридианы мерить. Ну да, ведь Жорж по парусным делам мастер. И везде разбросаны журналы “Капет”. Одни мужики, красавцы накачанные, голые, полуголые, всякие... Без баб. Странное дело. Без баб неинтересно.

Кетчуп с длинного бутерброда капнул на стол на Романову писанину, Роман стер каплю, облизал палец и заодно прочел, где остановился: “Генерал побагровел...”

Надо бы в Москву позвонить, подумал Роман. Может, все-таки будут печатать “Вшивую роту”?

Он набрал Москву. Синяка. Вовка был дома.

— Полковник Синяк у аппарата... Громче, блин! Не слышно ни хера! Перезвоните! — И положил трубку.

— Сволочь беззубая! — шипел Роман, вызванивая его снова. И снова дозвонился.

— Трубку не ложи, сволочь глухая!

— Жирный, ты что ль? Ты где?

Роман ответил в рифму. Синяк обрадовался.

— В буквальном или переносном?

— Заткнись!

— Ну ладно, не сифонь. А бабы хорошие есть?

- Ну, есть.
- Кто? Французска?
- Почти. Из братских народов. Польша.
- Еще даже лучше. У них девки, я тебе дам: Беата Тышкевич... Люцина Виницка, Пола Ракса.
- Ты-то откуда знаешь? — в сотысячный раз удивился Роман. — Ты же хлеб возишь.
- Устаревшая информация, — спокойно парировал Синяк.
- А кто ж ты? — опешил Роман, предчувствуя очередную ложь Синяка.
- Тебе же русским языком сказано: полковник.
- Ты ж майором был, — смущенный собственным идиотизмом пробормотал Роман.
- Повысили. Через чин.
- Врешь, сволочь!
- Приедешь — удостоверение покажу, — равнодушно сказал Синяк. — У нас в органах только так. Дело сделал — получи звание. Жирный, ты попусту не трепись — деньги жалеи. Лучше с полькой пропей.
- Ее, кстати, Барбара зовут. Бася.
- Барбара? Это дорого. Жирный, у тебя денег на нее не хватит.
- В ресторан сегодня с ней пойдем. "Гиппопотамус" называется. Ну, бегемот.
- Потом попляши ее где-нибудь. Винцом-портвейшком угости поактивнее. Не жмись. Грелку на пупок, будет, как малинка. Садись и дуй без пересадки. Кстати, у меня тоже Барбара была. Барбара Брыльска.
- Врешь!..
- Зуб даю. На кинофестиваль приезжала, у нас спецзадание было — скрытое наблюдение. Меня — к ней. Ну, вот и... Значит, Жирный, мне на день рождения не забудь нож выкидной и гондон с усами. Жирный, ты на Эйфелеву башню лазил?
- Лазил. Качается, зараза.
- Жирный, прощаться надо, а то все бабки спустишь, на польку не останется! — орал Синяк, радуясь везенью друга. — Жирный, ты гляди аккуратней там, там у них спид гуляет по планете.
- Да нет, она хорошая.

— Слышь, Жирный, а я тут на Светке поджениться решил. Ты не против? А то ни ты, ни я, а баба простаивает. Тебе она все равно не подойдет. Тебе культурную заводить надо... А мне в самый раз.

— А что с повестью-то моей, когда будет?

— Пока голяк на базе... Когда приедешь, Жирный?

— Через неделю.

— Давай, а то соскучился. Как приедешь, я свадьбу делаю. В субботу последний раз в деревню еду, надо малку ребят погонять, а то застоялся как эта, кулаки чешутся. Кому-нибудь еще грудок проломлю.

— Может, не надо, а? — попросил Роман. — Хватит драться-то. Ты уж старый. Гляди, дыню отобьют, тогда узнаешь. Мне тут дерьма всякого надарили в Германии. Из одежды. Гуманитарная помощь. И тебе, и Светке, и детям... Ну, все, целую. Я тебе еще перед самым отъездом позвоню, когда встречать. Может, не поедешь драться-то?..

— Не. Поеду! Последний раз и — аут. Ударю мудаков бобровым погрызом по голове на прощанье. Все, Жирный, клади трубку ты первый. Светка вот тебе привет передает. Она лежит, падла. Упала с табуретки — за тараканом погналась. Светк, в Париж хочешь к Жирному? Хо-очет, курва!..

— Рожать-то будете? Да родите вы, мой совет. Что вы дурака-то валяете? Все. Целую.

“... Мой дед по отцу, старый еврей, любил охать.” Ох-ох, — бормотал он, традиционно помахивая головой, — ох-ох”. Потом вдруг разводил в стороны руки и задавал пустоте сакраментальный вопрос: “А что, собственно, ох-ох?”

А что, собственно, ох-ох? — подумал я, выходя из здания военной цензуры на волю. Во-первых, выпустили, не пришибли, не заарестовали. Во-вторых, генерал Билибонов хоть и дурак, а хитрован: под самый занавес переложил ответственность на Главное Политическое управление. Вот туда и надо наведаться. Благо дело, недалеко.

В приемной ГЛАВПУРа повсюду висели плакаты: указательный палец строгого воина грозил посетителю: “Помни о военной тайне!” Я зашел в кабинку местного телефона. Телефон молчал. Я затравленно стал шарить глазами в по-

искал инструкции и нашел ее. "Закрой плотно дверь!" При-
тянул поплотнее дверь — телефон загудел.

И — по старому сценарию. Чувствую себя хуже некуда,
думаю о самоубийстве.

— Подождите, — приказал мужественный голос.

Красивый, моего возраста полковник легкой спортивной
побежкой спустился по лестнице. В руке он держал листки
бумаги.

— Полковник Володин. Может "скорую", Роман Львович?

— Не надо "скорую", — простонал я, — печатать "Вшивую
роту" будете?

— Не будем, Роман Львович, — твердо сказал полковник. —
Плохая повесть. Очень плохая повесть. Вот заключение
ГЛАВПУРа.

— Можно ознакомиться?

— Да, пожалуйста. Копия для вас. И от себя хочу вам
сказать, что называется, без протокола. Не старайтесь вы
опубликовать "Вшивую роту". Как ни крути, разглашение
государственной тайны. И не одной. Почитайте Уголовный
кодекс РСФСР, Роман Львович. Всего хорошего. А сейчас вот
это почитайте.

"... Р.Бадрецов собрал все отрицательные факты, всю грубость,
которые рассыпаны по всем нестроевым частям страны... В наши
дни, столь горячие обострением межнациональных отношений,
напечатать повесть "Вшивая рота" в журнале с трехмиллионным
тиражом — значит, сыграть на руку врагам перестройки, нацио-
налистам...

Повесть печатать не нужно. Однако руководство журнала, ссы-
лаясь на демократию и гласность, может опубликовать ее. После
чего хорошо бы организовать несколько оперативных рецензий.
Лучше было бы о ней в печати промолчать, но это маловероятно".

И тут я понял, что, кажется, "Вшивую роту" напечата-
ют. Слишком уж много дураков ее запрещают.

Вечером я приводил в порядок склочную документацию по
"Вшивой роте". Вдруг позвонил Вовка Синяк — слушаю ли я
сейчас "Свободу"?

Я включил транзистор. "Свобода" голосом Юлиана Пани-
ча читала "Вшивую роту".

... — Светка! — заорал я на кухню. — Сухари суши! Посадят завтра.

Но прошел день, два... “Вшивую роту” повторили, прочитали по третьему разу, а меня еще не забрали.

В почтовом ящике я обнаружил простенький конверт, в уголке — петушок. В таких скромных конвертиках покойная моя бабушка Липа присылала мне в армию потертые рублевки из своей пенсии. В данном же случае петушок в своем клювике принес письмо Билибонова. Не генерала, не главного военного цензора Вооруженных сил СССР. Просто скромное письмецо, подписанное снизу аккуратно и мелко “Билибонов”. Без даты и исходящего номера. Для конспирации, видать. Удивительное совпадение с бабушкой Липой. Та тоже подписывала свои письма без даты, по-домашнему — “бабушка Липа”. Правда, в ее письмах всегда была денежка.

“Во время нашей беседы, Роман Львович, я объяснил Вам, почему есть возражения против публикации” Вшивой роты”. Но коль скоро вы все-таки прислали в наш адрес телеграмму по этому поводу, то, видимо, хотите и от нас иметь непременно “бумагу”...

Ишь ты, как его повело, бедолагу. Телеграмм, я, действительно, вчера послал штук шесть или семь: и в цензуру, и в ГЛАВПУР, и в Совет министров, и в Главлит, и в Министерство обороны... Сидели с Вовкой Синяком, водку пьянствовали и по бухоте засылал я телеграммы. По телефону. Ах ты, генерал, генерал, мудила ты стоеросовая! Забеспокоился. Холуя заставил, референта, письмо писать, у самого-то с грамотой напряженка. Ах ты, батюшки, какая незадача! Очко работает, жим-жим! Другие времена, брат Елдырин, генерал-майор Билибонов!

А тем временем в журнал прибывали депутации. И какие! Сам начальник Главлита Кандеев в гости пожаловал.

Я, само собой, на беседу Кандеева с главным редактором приглашен не был, а посему решил самолично навеститься к нему в Главлит.

Кандеев был на месте, велел ввести.

Я поставил на стул возле его стола портфель размером с чемодан, вынул из него разжиревшую за полгода хлопот папку с подновленной надписью "Склока". Папка была толщиной в кулак. Одна треть толщины была нажита естественным путем, три же нижних четверти — чистая незадействованная бумага. Для солидности. Включил портативный магнитофон — из портфеля тихо запел Адриано Челентано. — Люблю, знаете, легкую музыку, — пояснил я. — А у вас приемник, кстати, работает? Включите, там про меня должно быть скоро...

Сигарету Кандеев замял в пепельнице — несмотря на то, что сигарета была "Мальборо".

Кандеев хмурился, набрякая, и попытался заглянуть в чрево портфеля.

— А что вы забеспокоились? — трепался я. — Там магнитофона нет. Вернее, есть, но он песню поет, нас не записывает. Мне для сосредоточения так лучше.

Кандеев взял себя в руки. Закурил.

— А вы знаете, Роман Львович, как вас на Западе называют?.. Певцом советского дна.

— Поди-ка!.. И все-то вы знаете. А я на Запад дальше Баковки и не забирался. Знаете Баковку, ну, где для нас с вами гондоны делают. А скоро на Запад натуральный сам поеду. Если Бог даст.

— Не даст, Роман Львович, — сладко произнес цензор. — Ох, не даст. Как бы вам со-овсем в другую сторону не поехать.

— В тюрьгу, в смысле? Я, например, с радостью. У меня там пацанов знакомых!.. А я уже обеспокоился этим, малку позаботился. Я уже сообщил и президенту американскому, Кёлю написал, ну, канцлеру немецкому. Еще кому-то, писем сорок, не соврать. А в тюрьге посидеть — для писателя самый кайф. Еще "Один день Ивана Денисовича" будет, чем плохо? А вашу контору скоро закрывают, слышали? Мне Раиса Максимовна вчера сказала.

Кандеев опять на полдороге затушил сигарету.

— Написали бы вы, Роман Львович, другую повесть, хорошую, честную, а мы бы ее тут же издали. Нет, ни в коем случае не лакировочную, комплиментарную, упаси Бог, не конъюнктурную. Просто — честную. Даю вам слово, тут же

напечатаем. И в журнале, и книгой. Без очереди. И ВААП у порекомендовали бы вас на Запад двигать, переводить.

— А я ее и сам на Западе издам, — потянулся я к хозяйским “Мальборо”. — Можно?

— Да ради Бога... Только самому не рекомендую издавать. На Западе. Чревато.

— Ну, не застрелят же.

Кандеев развел руками.

— Ну а ля. В смысле, се ля ви.

— Да-а, — протянул я и почесал затылок. — Дела-а... Надо сухари сушить, пока суд да дело. Значит, не понравилась вам моя повестуха. А вот супругам Горбачевым приглянулась. Особенно Раисе Максимовне.

Кандеев поперхнулся дымом.

— Они читали? — плохо симулируя незаинтересованность, спросил он.

— Думаю, Михаил Сергеевич тоже прочел, — сказал я смиренно. — А нет, так вечерком зачитет. Повестушка-то, извиняюсь, с гулькин хер. Зато с адюльтером, наркотой, дракой, драка, кстати, по документам проходит. Документы тоже у Горбачева...”

Бронзовые часы с ангелом пробили десять. Через час Барбара. А у меня еще подштанники не шиты — не латаны. Закругляться пора.

“...Перестройка, ёж твою медь! — заорал я, пакуя всю “склоку” спешно в портфель. — Всего хорошего. Побегу. Горбачеву должен звонить. Раисе Максимовне...”

А Горбачеву я повесть на самом деле передал. Честное пионерское. Зуб даю, как Вовка Синяк говорит. А вот читал он или нет, не знаю, врать не буду”.

Барбара заказала столик в “Гиппопотамусе”, ярко-красном зеркальном полудорогом ресторане.

— Басенька, командуй, я все равно не понимаю ни хрена.

— Хцешь мёнсо чы рыбы? Пшепра́шам, мясо или рыбу?

— Слушай, а здесь гады морские всякие есть? Ну, устрицы, закорючки...

— Мидии?

— Во-во, — закивал Роман. — Они самые.

Официант принес здоровенное блюдо, на льду корчилась разнообразная нечисть, начиная с крабов и кончая улитками.

— Мня, — сомнительно поежился Роман. — Этих тоже надо хавать?

— Я че́бе помо́гэ. — Бася взяла маленькую кривенькую вилочку и достала из скорлупки натурального слизняка. — Кушай.

Роман закрыл глаза, сжался, открыл рот.

— Ложи! — просипел он. Бася сунула слизняка ему в рот.

Судорожным движением Роман проглотил пакость. Пакость оказалась несмертельной.

— Еще, — расслабившись, сказал он. Второй выползень был уже не гадом. И пошло-поехало...

— Вудки? — спросила Бася. — Альбо вйна?

— И вудки, и вина.

И была ледяная водка, и белое вино, и шампанское...

— Басенька, почему ты такая хорошая?.. Дай я тебя поцелую... Расскажи мне о себе. Я все ж писатель. Мне все интересно, а писатели народ любопытный, как бабы. Впрочем, мы и есть бабы, а вернее, полумужики...

— ... Я з Кракова. Мам двух джэвчы́нэк. Та́туш згинул, когда была малёнька. Он сам гонял само́гон. Матка юш не працу́е. Розу́мешь, для чэ́го я здесь приеха́ла?

— А муж?

— А монж бардзо пие, — и Бася постучала пальцем по рюмке с водкой.

— А почему в Париж? Кто у тебя здесь?

— У мне ту́тай колежа́нка. Бардзо мне помо́гла... Но цо?.. Зануджи́ла че́бе?

— Давай дальше.

— Ну цож. Вшы́стко ту́тай роби́лам. Тяжко было... Ну́дна розмо́ва. Не хóчу больше!

— А я хочу. Рассказывай.

— ... Но цо? Был ёден пан. Дал робота́. Бру́дна... грязная была работа. Пан был задоволе́ный. Но, видишь, стала кельне́ркой.

— Официанткой, что ли?

— Так!

— Ну прям Золушка, — пробормотал Роман и замолчал. Потому как не знал, куда же после ресторана пойти с Басей.

— Для чёго пан ест та́ки смутный?

— Басенька, милая, я скажу, а ты не журишь, в смысле, не обижайся.

— Так, — кивнула Барбара.

— Я сейчас напряженно думаю думаю: куда мы с тобой пойти после ресторана денемся?

Барбара смутилась, покраснела и, опустив глаза, сказала тихим голосом:

— У меня дома дже́вчы́нки...

— Были бы в Москве, пошли бы к Зяме...

Барбара засмеялась.

— В Крако́ве тэж мя́лам своёго Зяму. Твуй тэж ест жиде́м?

— Да нет, товарищ мой по школе, Валька Голубев.

К столику подошел официант, и Бася вытащила из сумочки кредитную карточку.

— Ты что, платить собралась? Ну-ка спрячь карточку, а то обидюсь, разлюблю.

... Они шли, обнявшись, по ночному Парижу. Молча. Иногда Роман тормозил Барбару, целовал ее, и они шли дальше. Роман натер-таки ногу неродной кроссовкой и присел за ближайший столик очередного кафе подложить чего-нибудь под пятку, салфетку, что ль?... Подскочил официант. Пришлось заказать какую-то ерунду, сухое вино...

Из темноты появилась крошечная собачка в красном ошейнике. От ошейника тянулся длинный поводок, за который собачка вывела на свет свою худенькую хозяйку, идущую как-то неуверенно, полубоком. Так же в Москве ходила одна известная, любимая Романом поэтесса. Женщина под села к столику, показала на собачку костлявым пальчиком и сказала:

— Шиши́.

Потом тем же пальчиком женщина указала на себя:

— Симона, — ноготь на пальчике был сломан.

— Скажи ей, — попросил Роман Басю, — что она очень похожа на нашу знаменитую поэтессу. И закажи что-нибудь для нее.

Столик шатался, как в Москве. Официант поставил перед “поэтессой” бокал с вином. Та виновато улыбнулась.

Вдруг Бася снова подозвала официанта. Тот понимающе кивнул и вскоре появился с маленькой мисочкой, которую поставил перед собачкой.

— Фор дог, — почтительно сказал он почему-то по английски. И удалился.

Хозяйка Шиши подняла свой бокал.

— За вашу русскую поэтессу, — перевела ее слова Бася. — И за ее Шиши.

— Можёмы пойти к Доменику. В блэнкитну дискотэку. В голубую, то ест.

— К пидорам, что ли? — сморщился Роман. — Пойдем, если хочешь. Хотя, по правде говоря, у меня другой профиль...

— Не бойся. То ест клево мейсце. Добры клюб.

Перед дискотекой толпились одни мужики. Внутри мерцал голубой свет, серебряные молнии пробивали танцующих, децибелы рвали уши и души.

Возле стойки бара, подсвеченного опять же голубым светом, взасос целовались попарно несколько парней. Парни были красивые, мускулистые и по облику совершенно не женственные. И почему-то все как на подбор трезвые. Когда Роман огляделся посущественней, то увидел, что пьяных вообще не было.

Доминик, хозяин дискотеки, был похож на Демиса Русоса, только похудавшего. Он увидел Барбару и расцвел. Бася представила ему Романа, и началось безудержное питье. Доминик лил Роману из всех емкостей, закусывать же подал какую-то несущественную соленую ерунду. Пила и Бася. Мужики вокруг обнимались.

Оторопь, наконец, прошла... Роман расслабился. Доминик занялся другими клиентами.

— Было у него две жоны, два хлопчика. Але жиче не зложі-лоще. Жоны его бросили. И ёдна, и дру́га... Сейчас мужчин любит... Он муй бардзо добры друг...

Теперь Роман уже спокойно сидел на высоком табурете возле бара и рассматривал публику.

Народу в дискотеке прибывало. Становилось тесно. Приходящие парни приветствовали Доминика; очаровательный негр-итенок лет пятнадцати поцеловал его в плечо и вдруг устался на Романа. Взгляд его был не просто любопытным. Роман не сразу понял, что содержится в этом взгляде. Он снова почувствовал себя неуверенно, и, видимо, это его волнение передалось и Басе.

— Не дэнервничай, не бойся. Вшистко в порядке. Пойдем затанчѣмы.

Роман слез с табурета и тут же отдал ноги целующимся рядом парням, извинился по-русски перед обоими, потянул за собой Басю, и они оказались среди танцующих.

И доплясались.

На каком-то отчаянном вираже Роман мощным борцовским захватом — спина к спине — взвалил Басю на себя. Раздался треск.

Роман поставил Басю и провел рукой себя сзади по шву джинсов. Штаны вроде бы были целыми. Роман искал прореху и держал Басю за руку. Какой-то парень случайно толкнул Басю. Роман оторвал руку от задницы, замахнулся было:

— Извиняться надо, козел!

Но “козел” был уже далеко.

Роман перевел взгляд на Басю. Голубоватый луч осветил на миг ее почему-то голую грудь. Роман успел заметить, что грудь была красивая. Бася судорожно стянула на себе блузку. Пуговиц на ней не хватало.

— Бась, смотри, чего приключилось...

И тут в дискотеке зажегся ослепительный свет — перерыв.

Какой-то парень, похожий на китайца, защелкал фотоаппаратом, увидев полурасстегнутую Басю.

Доминик оттопырил большой палец:

— Вэри взл!..

Басю общими усилиями застегнули как-то наперекосяк.

Доменик налил Роману и Басе еще виски. Бася потянулась за стаканом и, звякнув серебряным обручальным кольцом по стеклу, опрокинула виски на Ромку. Она присела на корточки и стала салфеткой вытирать Роману джинсы. Роман поднял ее,

поцеловал, но уже на манер целующихся вокруг парней — долго и без стеснения.

... Доменик протягивал Басе ключи, предлагая, надо полагать, приятельнице переночевать с русским в его машине. Бася вяло отнекивалась.

... Над ухом мелко, по-птичьи загулюкал будильник. Роман протянул руку, чтобы его пригасить, но будильник выпорхнул у него из-под руки. Роман открыл глаза: жирный голубь-сизарек сидел неподалеку и, подергивая головой, внимательно смотрел на него рыжеватым бусеничным глазом.

Роман поднял глаза к потолку. Потолок был недалеко — в пятнадцати сантиметрах. Потолок был битумно-черный, и это было, по всей видимости, днище автомобиля. Карданный вал, коробка передач, по бокам колеса. Роман лежал на боку, лицом к тротуару, по которому спешили ноги в черных чулках. По проезжей части текла вода — шел дождь.

Роман осторожно повернулся на другой бок. Бася спала, по-детски приоткрыв рот. Под головой у нее была свернута замшевая куртка Романа. А Роман, выходит, спал на голом асфальте в одной распашоночке. А холодно не было. А впрочем, какой холод после такой засады?

— Дела-а, — пробормотал Роман. И невзначай пихнул неразумным локтем Басю.

Бася зашевелилась. Ну вот, разбудил. Он замер, но Бася уже открыла свои ясные зеленые глаза.

— День добрый, пан Рóман.

В это время с обеих сторон “джипа”, а это был “джип”, судя по высокому клиренсу и здоровенным колесам, к автомобилю подошли ноги: со стороны шофера — мужские, в начищенных штиблетах, с другой стороны, конечно же, черные — на шпильках. Мужчина открыл дверь, уселась и барышня.

— Миль пардон, мадам! — истошно заорал Роман, высовывая голову из-под машины.

Мужчина высунулся из “джипа” и от изумления открыл рот.

— Айн момент! — сказал Роман, выбираясь из-под машины.

— Ёзус Марья! — тихо произнесла Бася, но в ее голосе все-таки было не столько испуга, сколько глубокого удивления.

Роман по-пластунски выполз из-под автомобиля. Потом вытянул Басю. Бася еще раз нырнула под машину — вытащила забытую там сумочку.

Хозяин “джипа” включил мотор и, не дав ему прогреться, уехал.

— Ба-ай! — помахал ему вслед Роман. Почему-то похмелье было не тяжелое, а легкое, веселое, с придурью и куражем.

Сумочка Баши раскрылась, из нее вылетело несколько фотографий, разлетелись по лужам. Роман кинулся их догонять, собирать. На одной была Бася в купальнике, две высокие, хорошенькие, чуть насупленные перед фотоаппаратом девочки. Обнимал все это трио молодой негр.

— Дочки? — спросил Роман.

— Мои кохане цурэчки... Дочки, — вытирая фотографию, сказала Бася и покраснела. Потом показала на негра. — Этьен... Я с ним жие... Несколько лят.

— Ну, а чего?... — обнимая Басю, сказал Роман. — Красивый мужик. Привет ему передавай.

— Он есть бухгалтер. Его бардзо кохают мои цурэчки... Мне стыдно...

— Да Господи, Боже ты мой!.. Я же тебе рассказывал, что писатели существа бесполые время от времени. Вчера я был, к примеру сказать, полный. А если увижу Этьена, ну, если познакомишь, буду бесполый.

Бася рассмеялась, стала себя отряхивать, приводить в порядок, добиться этого было сложно: пуговиц на кофточке не хватало, колготки поехали... Да и с прической было нехорошо.

Бася пожала в замешательстве плечами.

— Я так не мógэ ийти до рэстаурацыи... И до джэвчынек не мógэ.

— Идем ко мне. На рю Дофин. Нельзя же так в самом деле по Парижу шастать!..

Дверь в квартиру была открыта. Мишель сидела у погасшего камина, смотрела на змейку дыма, зажав незажженную сигарету пальцами с грязноватыми ногтями.

— Бонжур, — как-то отстраненно сказала она и снова уставилась в камин.

— Басенька, чего-то тут не то... Кто-то помер, не иначе.

Бася робко заговорила с Мишель. Мишель тупо кивала головой. Потом она вышла в другую комнату и принесла коробочку

с нитками, пуговицами и прочей ерундой, и снова уселась перед камином.

Бася начала ковыряться с кофточкой, попутно переводя, что говорит Мишель.

— Ее брат Жорж любит мужчин. Як Доменик. Он не любит, когда в его доме кобёты, пшепрашам, бабы. Он потерял друга один рок тэму. Тэраз заκόхал иннэго, достал яхту и поехáли. Мишель дзвонит до нэго каждый джень. Вчóрай яхта смолкла. Мишель звала полицию, летал хэликоптер. Полиция нашла в яхте рáзэм двух, в коме. У них AIDS. Они в Аустралии, в гошпитале. Мишель бардзо кохаает малэго. Жорж еще млóдый.

— Твою мать! — пробормотал Роман. И невольно поглядел на кроссовки, принадлежащие больному СПИДом Жоржу. — Ни хрена себе пельмешек! А я еще ими ногу натер... Да и в коечке его спал, халатик носил, полотенчиком вытирался!.. Матушки!..

Роман почувствовал себя очень нехорошо и для прочности сел. Потом взглянул на Басю. Бася, совсем как Ромкина мать, обмотав нитку вокруг пуговицы, перекусила ее зубами. За это время она довела себя до кондиции, сварила кофе, поставила чашечку перед Мишель, себе налила, Ромке. Налила Мишель рюмочку коньяку. Та покорно выпила и вдруг расплакалась.

Бася стала гладить ее по голове, что-то приборматывая и, странное дело, миллионерша Мишель, прожженная, умная, немолодая, послушно подчинялась Басиным увещеваниям. А под конец Басиногo бормотания засмеялась.

— Я ей вшистко сказала. Про дискотэку. Про кофту. Про самóхуд, “джип” то ест. Она хочет, чтобы я теперь сюда ходила.

Чтоб закрепить успех, Роман сказал:

— Переведи ей, что я написал про “Вшивую роту”. Восемь страниц.

Бася перевела, а Роман принес исписанные страницы.

— О-ля-ля! — Мишель взяла рукопись и, наконец, запалила сигарету.

* * *

Ночью Роман позвонил в Москву.

— Полковник Синяк слушает, — сказал Вовка не совсем своим голосом.

— Слышь, сволочь, я тут такое отчудил, такое!.. По телефону не буду. Уж больно девка хорошая. Я таких и не видал, а уж ты тем более. Тут я под “джип” забрался, зачем не знаю, ты не знаешь?

— Не понял юмора, — строго сказал Вовка. — Куда звоните?

— 261-24-78. Да это я, Ромка! Из Парижа. С будуна, что ль, своих уж не узнаешь. Крыша поехала?

— Прекратить! — скомандовал не совсем Вовкин голос.

Роман понял, что чего-то не то приключилось.

— Скажите, пожалуйста, я туда попал? Мне Синяк нужен, Владимир. Это его школьный товарищ говорит, Роман Бадрецов. Из Парижа...

— Понятно, — смягчился голос. — Вы говорите с полковником Синяком, Владимиром Петровичем. Я двоюродный брат Володи.

— А Володя-то дома? — подрагивающим уже голосом спросил Роман.

Полковник Синяк не ответил.

— Але! Скажите, а Володя дома?

— Володя погиб.

— Как это, — проблеял Роман, заикаясь. — Вовка Синяк?

— Убили Вовку.

— В деревне?

— В деревне.

— Похоронили уже?

— Завтра похороны.

— Завтра я не успею. — Роман почему-то взглянул на часы. — Мне билет поменять нужно. Перенесите на послезавтра, я вас очень прошу. Я прилечу. Точно прилечу. Очень вас прошу, товарищ полковник. Я вас очень прошу.

— Хорошо, постараюсь.

— А у него тоже было удостоверение МВД...

— Да у меня воровал. Я все думал, куда они деваются...

— Значит, послезавтра, да?

— Как выйдет.

Послезавтра Роман стоял на Химкинском кладбище перед закрытым гробом Синяка. Открыть гроб полковник Синяк не разрешил.

ВОЛЯ И НЕВОЛЯ

Рассказы

1. Отпуск по болезни

Владимир Иванович сидел на перевернутом ведре и чистил хрен. Я руки в карманах держал, и то им было холодно, а он в тазу в ледяной воде копошился — хоть бы что.

Руки у Владимира Ивановича большие, красные, кисти жилистые, сам — невысокий, коренастый, силой за семь шагов веет.

Хреновая кочерыжка выскользнула у него из рук и упала в грязь. Ноябрь месяц, а земля еще не схватилась.

— Ах, чтоб тебя! — Владимир Иванович поднял хрен, обтер об ватные штаны и кинул в таз.

На ногах у Владимира Ивановича сапоги кирзовые, сверху — ватник серый. Все это грязное, но не просто запачканное — грязь на вещах вековая, вжившаяся.

Владимир Иванович вытер руки о полотенце — облохматившийся с краев кусок мешковины, навечно прибитый к покосившемуся столбу. Столб поддерживал обросшую мхом крышу крыльца. Владимир Иванович поднялся с ведра и указал на сложенные у забора бревна:

— На свежачке всегда пьется лучше.

**Дмитрий
КАЛЕДИН**

— родился в 1975 г. в Москве. В 1991 г. вместе с матерью эмигрировал в Израиль. В настоящее время служит в израильской армии. Сын Сергея Каледина.

Он разлил водку.

В двух давно не мытых стаканах она казалась серой, словно забеленной молоком. Третьим бокалом служила позеленевшая на швах медная консервная банка. “Как мина!” — подумал я.

Водку принесли мы с папашей. И еще лимон. Отец разрезал лимон, посыпал кружок солью и протянул Владимиру Ивановичу на закуску. Где книжку у отца за рубежом переведут, там он людям голову дурит, заставляет так закусывать. Иностранцы народ деликатный, послушно жуют и морщатся.

Владимир Иванович лимон взял, но в ответ вынес из своей хибарки “антоновки во мху” и яичко — “с под своей, не магазинное”.

— Ну, за встречу!

Мы чокнулись. А яичко действительно было вкусное, хоть и сырое. Капля белка проскочила у меня мимо рта и стекла по телогрейке.

— Подтери! — Владимир Иванович указал мне на запачканный ватник. Заодно оглядел меня всего сверху вниз. Действительно, видок. На ногах — кроссовки отцовские, по старости лет с продувом — дырками по бокам. Носки сменные я на дачу не взял, а в которых приехал, те промокли, пришлось ноги газетами обмотать. Потом — штаны тренировочные, тоже отцовские, со штрипками — еще с лучших, сытых времен. Пришлось их бечевкой подхватить. У ватника рукав разодран, на голове кепка — большая, в красно-синюю клетку. И серьга — круглая, как у пирата.

Владимир Иванович все никак ко мне привыкнуть не может. Все ж таки еврей перед ним. Но не такой какой-то — говорит по-простому, одет по-человечески, и очков нету.

Наконец Владимир Иванович спрашивает у отца:

— С Израиля сынок-то? Тот самый, о чем говорил?

— Тот самый. Солдат. В Ливане служит.

— А чего сюда приехал? Отпуска, поди, просто так не дают?

Владимир Иванович вытащил “Приму” и закурил.

— Я на мину наступил, — сказал я.

— Да ты Расскажи, похвались, — вмешался отец.

— Ладно, хвалюсь, — я сел поудобнее. — Дело было так, значит. Выпивал я в субботу у братана. Ему премию дали в йешиве, это школа такая, типа семинарии. Ну, дома водки

выпили, а потом пошли к братану в школу. Нашли там ящик вина, сладкого, для праздника припасенного...

— Сладкое не уважаю, — Владимир Иванович поморщился. — Отец вон, тоже не уважает, верно, Роман?

— Да, в общем, не очень. — Отец надбил яйцо и высосал его.

— А почему тогда сынок уважает? Не дело. Скорлупку курям кидай.

— ... ну вот, выпили, — продолжил я, — а в воскресенье на базу надо, в Ливан. А с похмелья сушняк во рту, пить хочется...

— Гляди-ка, как хорошо по-русски говорит, не разучился. Ты уже сколько в Израйле?

— Четыре года. Рассказываю дальше. Значит, я с похмелья, да еще сигареты кончились, хоть помирай.

— А чего — у вас тоже курят?

— Да почему нет?

— А я думал...

— Нет, это мусульманам вино пить нельзя, по Корану, а нам курить можно. Вот я другу и говорю: "Пошли в ларек". А с базы-то выходить вообще нельзя. Но у нас времени свободного два часа было, решили все-таки сбегать. Нам чего — все тропинки знаем, ремни у автоматов подтянули поудобнее и побежали. Юваль впереди, я за ним. У Юваля волосы рыжие, голова будто горит на солнце...

— Рыжих не люблю, — Владимир Иванович помотал головой. — Скажи, Роман, ты когда-нибудь видел путного рыжего?

— Володь, вся Ирландия рыжая.

— Это кто такие? Это которые на острове? Не знаю. У них поэтому и островок-то маленький. И стреляют все время друг в друга. Нет, ты мне скажи, ты видел хорошего рыжего русского человека?

Отец задумался.

— А-а, не видел. Нет таких. Вот и моя Мурка, если рыжему даст, я ее приблю. Рыжих котов тоже не люблю. И котят рыжих в ведре утоплю. Правда, Мурочка? — Владимир Иванович поднял Мурку с земли и посмотрел ей в глаза: — Не давай рыжему, — он посадил кошку на колени. — Рассказывай, Алексей, про мину.

— Ну вот — бежим мы с Ювалем, а там бахчи везде, арбузы растут. Я и думаю — дай-ка арбуз съем, пить-то хочется. Ми-

нут сорок мы уже пробежали, без остановки. Короче, совсем немоготу стало. Я с тропы шагнул за арбузом, и вдруг, чувствуя, нога на лету за что-то зацепилась. Я так и замер — будто кто за шиворот схватил. Тянуть не стал, присел чуть, глянул под ботинок. Смотрю — веревочка тоненькая между подошвой и каблуком полуоторванным заскочила... У меня аж мороз по коже — это в жару-то! Стою на одной ноге, шевельнуться боюсь...

— Это как это — на одной? — не понял Владимир Иванович. Я слез с бревен и показал — как.

— В общем, на одной ноге стою, пошевелиться боюсь, даже сказать чего не получается. Юваль обернулся, зовет меня, а я молчу, как онемел. Он ко мне подошел. Тут я ему захрипел, чтоб он стоял и дальше не двигался. Юваль как увидал, что у меня, весь побледнел и тоже молчит. А я, как аист...

— У вас чего, тоже аисты живут? — спросил Владимир Иванович. — А я думал, они только в России...

— Не знаю. Это я так, для сравнения.

— Так сравнивай с чем другим. Цапли у вас есть?

— Есть.

— Вот с цаплей и сравнивай. Ну, что дальше?

— А что дальше? Так и стою — забыл и о жаре, и о том, что пить хотелось, все забыл. Одни только уроки по минам в голове летают, а точно вспомнить не могу, все перепуталось. И нога еще заболела так стоять. Я М-16...

— Это чего такое?

— Винтовка штурмовая автоматическая, которая у нас, в основном, на вооружении.

— Какого калибра?

— Пять пятьдесят шесть.

— Так это ж как мелкашка, — удивился Владимир Иванович.

— Да нет, хорошая винтовка. Я ее стволом в землю упер, приклад под мышку, вроде как костыль. Полегче стало. Юваль в это время назад отошел, чего-то поорал и убежал. Вообще сейчас легко говорить, а тогда дышать не мог. Да еще арбуз этот чертов, за которым пошел, гнилой оказался — мне теперь вблизи видно было. В нем жук сидел, одна спинка черная виднелась.

— Навозник, — кивнул Владимир Иванович...

— ... и главное, я вспомнил, что такая мина взрывается мгновенно и с осколками...

— А вот если бы противотанковая была, у ней до взрыва три секунды есть, успел бы убежать.

— Да противотанковая от меня все равно бы не сработала, ей танк нужен. А здесь мне только чуть-чуть ногой пошевелить, и все, привет. Пойдет мой ротный с двумя офицерами к маме, отнесут ей полдискиты...

— Пол чего?

— Полжетона армейского, — я вытащил из-за пазухи свой армейский жетон и показал Владимиру Ивановичу.

— А-а, такой я видал. По телевизору показывали.

— Так вот, я как об этом подумал, в разум пришел, думать начал. Времени как раз двенадцать, самая жара. А пить-то мне нечего, налегке убежали, без фляг, да еще с похмелья, сами понимаете.

Владимир Иванович согласно кивнул:

— Ясное дело, с похмелью особо не побегаешь.

— Я тогда и подумал — сколько же я еще простою? Волосы у меня черные, хорошо хоть кепка есть, такая зеленая, вроде пидорки. Думаю, полчаса простою, а потом все. Напрягся, ноги-то все-таки тренированные, жду. И минут через десять чувствую, что неверный у меня расчет был. Не выстоять мне. Тут я вспомнил, что командир наш, он сам из Африки, из Марокко, рассказывал, что они когда и мочу пили...

— В Африке не знаю, а вот на Кавказе моча — правильно: если порез или ожог, к примеру, сразу ссаки ложи. Лучше всего детскую, а если нет детей — женскую, она ласковей. На худой конец и свою пользуй, понял?

— Понял. Вот я свою и пользовал. Одной рукой, чтобы равновесие не потерять, штаны расстегнул, они на пуговицах и нитки все время вокруг пуговиц обматываются. Всегда рвать приходится. А тогда-то я и дернуть не мог. Ну, кое-как распутал и давай пыжиться. А воды нет в организме. Капельки какие-то, соль сплошная, чуть не сблеванул, когда проглотил их. Я хозяйство на место засунул, чтобы не сжечь на солнце, но штаны застегивать не стал. Вот и сейчас не знаю — как тогда стоял? Попробовал дома постоять, через десять минут уже упал. А тогда получилось. Потом плакать начал. А без слез —

только рожу кривит. От злости на себя, — дурака. Правда, от натуги капелька пота по носу сползла, я ее языком и словил. И все на ногу смотрю. Думаю — может все-таки опустить аккуратненько или, может, стволom веревочку из-под каблука вывести? Но как вспомнил, что с живым взрывателем придется играть, весь опять затрясся, и дышалку заклинило. У нас урок был по минам, фотки показывали, что остается, если на мину кто нарвался. И у меня перед глазами все время одна фотография. На ней голова и рука, а всего остального нет. Тут я опять заревел, маму вспомнил — и так домой захотелось!.. Решил, если живой останусь, ни в какую армию больше не пойду, пусть сажают... А голова уже совсем не работает. На плечо клонится. Чувствую — все, ухожу. Я язык прикусил, до боли, малость оклемался. Но тут нога опускаться стала, сама по себе. Я в штанину рукой вцепился, минута каждая часом катится. Потом оказалось, что всего сорок минут и простоял. А тогда для меня как будто пол дня прошло. Тут козел еще какой-то потертый пришел и в пяти метрах от меня давай траву жрать, скотина такая. Я совсем озверел, мыслей уже в голове никаких, одна злость на козла. Своими руками убил бы. Наверное, из-за козла-то живой и остался... Потом ребята, саперы, пришли. Трое парней в бронежилетах, в касках и с миноискателями. Аккуратненько освободили ногу, разрядили мину. А я уже ногу согнуть не могу, так на носилки и упал. И сразу сознание потерял...

Владимир Иванович протянул мне банку с водкой и антоновку. Антоновка была чуть больше яичка. Мы выпили и закусили.

— Да-а-а, — протянул Владимир Иванович. — Дундило ты, парень. Раз уж там у вас везде мины понапиханы, аккуратней ходить надо...

— А я что — спорю?.. Ну, так вот — очухиваюсь в госпитале с капельницей. Врач около меня и психолог военный. Это у нас должность такая в армии есть. Поздоровались, психолог просит врача выйти. Потом на мою кровать сел и давай мне всякие вопросы задавать. В основном, как я себя чувствую психически. Я думаю, косить надо, да, кстати, и косить-то необязательно было. Говорю ему: туда, сюда, хочу армию бросить, стресс у меня. Весь трясусь и кошмары снятся. Он все записал и ушел.

Через три дня вызывают меня к полковнику. Он говорит: “За самоволку мы тебя накажем, но сначала тебе дается отпуск на месяц, можешь поехать к отцу”. Вот я к Роману и приехал...

— А ты почему отца по имени называешь? — недовольно спросил Владимир Иванович.

— Да повелось так... Вернусь — сразу в тюрьму... Думаю, даже чуть пораньше вернуться, чтобы сесть, пока не жарко.

— Да-а, — протянул опять Владимир Иванович, глядя в землю. — История. Слушай, а это зачем? — Владимир Иванович поднял глаза и показал на серьгу.

— Да так, дурь молодая. Мне и дырку-то неверно сделали, выше, чем нужно.

— А как делали?

— Пистолетом специальным, бац и готово.

— Кто ж пистолетом ухо дырявит! — Владимир Иванович закурил, со злостью кинул спичку на землю и топнул по ней кирзачом. — Все у них, у этих жи... — он покосился на меня, — в Израильском государстве не как у людей! Ухо-то поди не казенное, с бережливостью надо. Что ж его пистолетом долбать. Нужно было на черной корочке, иголку цыганскую в спирту смочить. Вот, твою мать, евреи... Больно, небось, было?

— Да нет, нормально, — мне было неловко. Насчет пистолета я пошутил, а Владимир Иванович поверил. Я быстро поменял тему:

— Владимир Иванович, у нас в армии по субботам даже вино дают. Плохое, сладкое, но дают. В целях религии.

— Сладкое не уважаю, — сказал Владимир Иванович. — Вот, помню, были мы с Федей, другом, на юге, в степи работали. А там городишко маленький и винзавод в нем. Нас как столичных гостей пригласили на дегустацию. Директор, тоже, кстати, еврей, дает по фужеру и говорит: “Нате, гости дорогие, пробуйте”. Ну, мы и пошли. Потом на выходе директор нам еще с собой флягу дал, литров на десять. Мы ее по дороге всю и уговорили. А потом начало тошнить Федю. А потом и помер он.

— Что ж, прям в пустыне?

— Нет, дома. Он с ребятами пил, меня не было. А Федя опился и помер.

— Кстати, что у нас с алкоголем? — отец наклонил бутылку. — Финиш?

— Ну ладно, поеду к Зайцу. А то закроют у него, — поднялся Владимир Иванович.

Заяц, отставной майор, жил весь год на даче и попутно при-торговывал самогоном в водочных бутылках и за водочную стоимость.

Владимир Иванович вытащил из-за бревен старый велосипед.

— Вот техника, сорок лет ему, а все ездит. Только шины я менял.

Он забрался на седло, ругнулся и выехал в темноту. Я слез с бревен и пошел посмотреть строящийся дом. Кроме маленькой избушки, доставшейся ему от отца, Владимир Иванович строил большой дом-сруб. Вековые ели он валил в лесу прямо за забором, чтобы далеко не ходить. Потом клал их на “колесницу”. “Колесницей” он называл железную тележку, которую специально построил у себя на заводе. У нее были большие, широкие шины и что-то вроде хомута, в который Владимир Иванович впрягался, когда своим ходом пер елки на участок. Тут он их сваливал и “веселил” — очищал от коры. А потом складывал бревна у забора. Дом Владимир Иванович строил девятый год, но этим летом собирался подвести его под крышу.

— Позакрывались, бляди! — Владимир Иванович затормозил у калитки, вкатил велосипед и поставил на прежнее место. — Кричал, кричал Зайцу, не слышит. Пришлось к нему через забор перелазить.

— А мы уж думали, ты в канаву пал, — отец принялся разливать самогон...

— Здорово, мужики! — к нам подошел Грек. Рядом с Греком, как жучка, бежала маленькая коза.

— А эту зачем привел?! Слышь, Роман, его Розка три козленка родила, двое сдохли, а этой мы клизму сделали. Я в клизму марганцовочки положил, масла подсолнечного, она просралась и выжила.

Грек раньше был начальником цеха на авиационном заводе, пенсия у него повышенная. Но даже этих денег с трудом хватало на жизнь в Москве. Поэтому Грек жил на даче. Чтoб было не скучно и вообще, пошел работать сторожем в местную церковь. Кстати, в ней десять лет назад истопником работал мой отец.

Одет был Грек по-дачному: телогрейка, ватные штаны и валенки. Телогрейка старая, во многих местах залатанная. Цветом и размером заплатки не схожи, поэтому Грек, как лоскутное одеяло. Валенки у него с черными калошами. А на голове красная лыжная шапочка — с ярко-желтым помпоном.

Отец протянул Греку стакан:

— Выпей, Петр! Вот сын из Израиля приехал, на побывку.

— Очень приятно. Греков Петр Васильевич. А надолго ли к нам?

— Да нет, на месяц.

— Это что же, отпуск?

— Типа того, за отличную службу.

— А-а, понятно. Ну, за встречу.

Мы выпили. Грек продолжал свой расспрос:

— А я слышал, у вас там вообще служба хорошая. Проявления фактов неуставной дедовщины нету?

— Нету. Вернее есть, но это не то. Просто, кто подольше служит, тот поменьше делает. А так все равны.

— Хорошо... И девушки тоже служат? Вот у меня туда к вам сестрина подруга уехала, у ней дочь. Она все в письмах плачет-ся, что дочка в армию пойдет.

— Да нет, бояться нечего. У девушек служба не опасная — так, бумажки писать.

— Вот и я говорю, чего плакаться-то, — Грек встал с бревен и подошел к колодцу.

— Ты чего ссышь возле источника водоснабжения, а?! — заорал Владимир Иванович. — А ну, отойди к малине... Тоже мне... Слышь, Роман, я как дом закончу, бассейн себе вырою. А чтоб он мне флору не нарушал, я его в гондон бетонный заберу.

Вернулся Грек и сел на прежнее место. Между ним и отцом пошел разговор о церкви, о батюшке. Отец батю не любил, а Грек относился к попу миролюбиво. Владимир Иванович рассердился: пришли к нему, а говорят между собой, он молчать должен, как со сцены прогнали. Он поднялся, отошел к ведру и сел.

В калитку торопливым старушечьим ходом вошла соседка, Надежда Яковлевна, под мышкой у нее трепыхался большой золотой петух.

— Володьк, возьми петуха, а то он мне опять куру поубил. А его, пропала, хотела поутру ликвидировать, дала сковородкой по башке, он юлой завертелся, а потом ожил. И мне его жалко стало. Уж больно хозяин хороший. Возьми, а?..

— Мое почтение, Надежда Яковлевна!

— Здравствуй, здравствуй, Ромочка!

— Надежда Яковлевна, с сыном хочу познакомить, приехал он недавно.

— Очень приятно, откуда вы прибыли?

— Из Израиля.

— Ох ты, Господи! А это-то зачем? — Надежда Яковлевна всплеснула руками и выронила птицу. Петух побежал вперед, но, наткнувшись на Владимира Ивановича, который замахнулся на него, вернулся и завертелся вокруг ног хозяйки.

— Надежда Яковлевна, да он туда пацаном уехал, с матерью, отчимом, всей хеврой. В армии служит, — отец гордо посмотрел на меня, — в тюрьму собирается.

— Что, побил кого?

— Да нет, убежал на несколько дней, без разрешения.

— А надолго ли посадят?

— Недели на три.

— А-а, ну это ничего. Вот мой Витька пятый год уж сидит. А хочешь, я тебе варенья дам? Из райских яблочков, у вас такого, поди, и нету. Будет мамка в передачах носить. Приходи, возьми.

— Спасибо, зайду.

Петух гордо прошел мимо нас и нагадил отцу на сапог.

— Ах ты, подлец! На обутку Роману сераешь! У-у, я тебя, — Надежда Яковлевна топнула на петуха ногой. — Ну что, Володя, забираешь петуха?

— Ты, мать, знаешь, если он чего набезобразничает, сразу в лапшу.

Надежда Яковлевна шуганула петуха, чтобы он забежал поглубже на участок Владимира Ивановича, и, вздохнув, пошла к калитке.

— А ты, сынок, приходи завтра, вареница заберешь.

— Хорошо, спасибо.

Мне хотелось развеселить Владимира Ивановича.

— Владимир Иванович, давайте я вам историю расскажу, смешную.

— Давай.

— Решил я как-то обрезание сделать. Закосить думал месяц, пошел к раввину полковому, у нас в каждом полку есть синагога и раввин. И говорю: “Я вот осознал, и решил, что пора мне совершить обряд, необходимый каждому еврею”. Раввин кивнул головой и говорит: “Хорошо”. А что хорошо, я и сам не знаю. Я его и спрашиваю: “Какие блага мне за это будут?” Он говорит, служба будет праздничная в синагоге и отдохнуть после операции две недели дадут. Вообще, говорит, дело богоугодное и американской медициной доказано, для полового здоровья очень полезное. Я про себя думаю: всего-то две недели?! А ведь назад уже не пришьешь...

— Во-во, и так-то ничего нету, а тут еще резать, — отозвался Владимир Иванович.

— Ну, я и говорю: подумал, подумал и решил оставить как есть. А вот если бы месяц дали, то, наверное, отрезал бы... Хотя вообще всякие казусы с этим делом случаются. Вон дружок мой, Борька, обрезался и в тот же день сел дома порнуху смотреть. Ну и получил свое — швы разошлись. Два месяца потом ходить не мог...

Грек, заснув, уронил голову мне на плечо. Я его чуть подвинул и прислонил спиной к бревну. Он спал.

— Володь, ты уж нас извини, идти нам надо, — отец поднялся с бревен, — дел завтра по горло.

— Ладно, я тоже сейчас спать пойду, только перекушу сначала. У меня как раз кусок барана остался, вот лодыжку и поглодаю. А ты, слышь, Алексей, завтра, когда к бабке пойдешь, ко мне заходи. Я тебе хрену накопаю. У вас в Израиле и нет такого. Сердитый, слезу гонит.

Владимир Иванович встал, пожал нам руки и опять занялся хреном.

— Хм-м, еврей... сержант, в тюрьму идет, — тихий его говор долетел до нас сквозь ночной холодный воздух уже за калиткой.

На дороге, в пятнадцати метрах от участка Владимира Ивановича, в позе раненого гусара лежал местный лесник — Денис Ильич Левицкий. Мотоцикл валялся на боку в трех метрах от лесника. Колесо старого облупившегося “Урала” вертелось само по себе, не издавая особого шума. Из-за пазухи Дениса

Ильича торчала бутылка. Фуражка лесника была аккуратно подложена под полулысую голову. Лесник хмурился на наш фонарь.

— Мое почтение, Денис Ильич. Помочь, может? — отец наклонился к леснику. — А то чего в луже-то лежать?..

— Проходи.

— Сын вот мой. Из Израиля приехал. Солдат. Может, встанешь все-таки?

— Проходи, сказал.

— А что, когда дальше-то поедешь?

— Вот ледом подернется земля, тогда и поеду.

— Далеко ехать-то?

— К Вовке, к Меркулову (Это к Владимиру Ивановичу). А то он опять елок насшибал. Еду штраф взимать с его.

— А ко мне вот сын из Израиля приехал, солдатом там служит. Скоро повышение получит. В сержанты его переводят.

Денис Ильич слегка пошевелился и попробовал протянуть мне руку. Потом передумал и уперся локтями в грязь. Бутылка из-за пазухи выпала и, перекувырнувшись пару раз, замерла в двадцати сантиметрах от лесника. Я ее поднял и помог отцу поставить Дениса Ильича на ноги. Лесник нетвердым шагом подошел к так и не заглохнувшему мотоциклу, наклонился и потянул “Урал” на себя. Отец тянул лесника, я поддерживал обоих. Денис Ильич сел на седло. Я спохватился и правой рукой подал ему бутылку.

— Денис Ильич Левицкий, лесник третьего разряда, — он протянул мне черную от грязи руку. Я перехватил бутылку и пожал руку леснику:

— Бадрецов Алексей Романович, солдат тринадцатого батальона Пехотной дивизии “Голани”.

— Слышь, Роман, а сын-то у тебя ничего, хоть и еврей. Жмет, я те дам. Молодец, в армии служит, может офицером будет.

— Да хорошо бы. Только ему сначала надо в тюрьму на две недели сесть. А то он в самоволку убежал...

— Ну, бывайте. Я поехал. Счастливо отсидеть.

Денис Ильич дал газ, и мотоцикл, обдав нас вонючими парами, покатил в сторону калитки Владимира Ивановича...

2. Хамсин

Нет, сегодня просыпаться явно не стоило. Во-первых, Сара вчера позвонила и сказала, что не приедет, во-вторых, суд, в-третьих, ночью хамсин задул. Я натянул форму, кое-как убрал кровать и кинул автомат под матрац, чтобы не украли.

На складе пацаны уже были в сборе, считали, чей сегодня черед кормить всех завтраком. Хаима черед. Толстый Хаим поднялся с трехногого стула и поплелся в сторону пекарни.

Делать утром было нечего, тем более, что звонил командир и сказал, что сегодня не приедет. Значит, вообще ничего делать не будем. Если бы не суд, я бы домой вечером поехал, а завтра утром вернулся. Но суд в три часа...

... Мы съели все хаимовские пироги и улеглись на кучу спальных отдохнуть. В кабинете командира зазвонил телефон. Дан бросился туда. Все время он ждет, когда ему девушка позвонит. Из кабинета он вышел расстроенный.

— Димитр, звонили, сказали, что ты сегодня караулить должен.

— Так у меня же суд в три.

— Вот с двенадцати до трех и покараулишь.

Совсем плохо дело. И так-то, наверное, в тюрьму идти, а тут еще караулить по этой жаре... Хамсин не шутка, тем более в пустыне.

Я взял жилет с рожками и пошел к флагу. Там нас распределяют по вышкам. Мне с Тамиром досталась восточная. Собственно, вышки там нет, а есть только будочка, маленькая и грязная, в которой и торчат караульные. Вокруг контейнеры с гранатами. Вот их мы и должны караулить. От базы минут пятнадцать идти.

Остановились. Тамир сразу сел на землю. Все, нас уже выжимать можно. Ветра никакого, солнце печет, земля вся в трещинах, даже мухи не летают. А нам боеприпасы караулить, в карауле стоять, да еще время от времени проходить между контейнерами, смотреть, не украли ли чего...

Я снял жилет и положил рядом. Все, можно начинать караулить. Я надвинул кепку на глаза.

С восточной стороны донесся неясный шум. Контейнеров там нет, зато есть кусты и большие камни. Уж не террористы ли?

Я схватил автомат и вскочил: надо же посмотреть, что там. Но ведь на ноги-то вставать нельзя! Убить могут.

Я рухнул на землю. Тамир забился в угол будочки и выставил автомат дулом вперед, как раз на меня.

— Убери автомат, идиот! — прошипел я.

Тамир направил дуло в небо. Я подтянул к себе жилет с рожками, вынул три и положил перед собой.

— Ацор! Стой! — закричал я кустам. Никакой реакции. Шум даже вроде усилился. Пот лил с меня, как талая вода весной. Я протер глаза и передернул затвор. Шевеление в кустах не прекратилось. Огромная сороконожка проползла возле моего носа.

— Сейчас стрелять буду! — я обернулся к Тамиру.

— Ой! — Тамир откинул автомат и закрыл голову руками. Я прицелился на кусты. Ну, была — не была. Только вот кто же там?.. Ладно, не важно, пугну просто. Я выстрелил. Шум умолк. Через три минуты машина группы быстрого реагирования подъехала к нам. Я все еще продолжал лежать на песке.

— Кто стрелял? — молодой лейтенант выскочил из кабины.

— Я. И мне удалось остановить противника.

Офицер и трое солдат пошли на проверку, остальные их прикрывали.

— Эй, снайпер, тебя кормят плохо? — лейтенант возвращался к нам. Он и двое парней от хохота еле шли. Я ничего не понимал.

— Вот! — лейтенант протянул мне песчаную курицу. Курица была мертвая.

— Ладно, мы поехали, — парни сели в машину. — Расскажу о твоём подвиге командиру базы.

Только этого мне не хватало. Он и так меня через час судить будет.

И зачем только я штаны эти проклятые повару дал? Пришел, чуть не плачет, штаны, говорит, малы. Ясное дело, повар. А командир штаны ему менять не хочет, срок, говорит, не вышел... Ну, я по доброте душевной и дал ему размер побольше. А меня тут и сцапали. Теперь за эти штаны недели две мне светит, это точно. Да еще курица эта... За нее тоже, наверное, добавят...

Обливаясь потом, к нам подошли сменщики:

— Все, снайпера, свободны.

Та-ак, значит уже вся база знает про мой подвиг...

Я зашел на склад. Умылся, почистил ботинки. Парни смотрели на меня с жалостью. Все-таки тюрьма не сахар. Нет, обижать меня там никто не будет, но вставать в четыре, ложиться поздно, и весь день гонка. А так-то кто надо мной, над стариком, мудровать будет?

— Димитр, тебя баба к телефону! — заорал из кабинета командира Хаим.

— Не баба, а женщина, — я взял трубку.

— Я приеду через час.

Смотри-ка, вспомнила, что у меня суд сегодня. По телефону Сара не здоровалась и не прощалась.

Я посмотрел на часы. До суда три минуты. Выскочил на улицу и тут же вернулся обратно — автомат забыл. Теперь надо нестись, а то каждая минута опоздания — лишний день в тюрьме. Я помчался. На ходу, одной рукой вытащил из-под погона беретку и натянул на голову. Кстати, беретка у меня зеленая, как у салаги. Но это самое то, наш армейский понт.

Перед кабинетом комбазы стоял прапор, ответственный за дисциплину.

— Шолом, стрелок. Ты хоть автомат почистил перед охотой?

Да что же это такое, все они теперь издеваться надо мной будут?..

— Войдешь к командиру, “смирно” встанешь, на все вопросы отвечать только: “Да, командир”, “Нет, командир”. Понял? — Прапор поправил на мне головной убор и поморщился: — Тоже мне, солдат.

Я вошел в кабинет командира базы. За его спиной, на стене висел Ленин. Я ошалел.

— Рядовой Элконин?

— Так точно, командир!

Кто же это у него за спиной висит?

— Ты (в Израиле все на “ты”) знаешь, в чем обвиняешься?

— Так точно, командир. В самопроизвольном выносе штанов.

А-а-а, это же главнокомандующий войск Израиля!

Комбазы зачитал мне состав преступления.

— Возражения есть?

— Нет, командир.

— Отлично. Теперь вот что... Мне рассказали о твоём сегодняшнем карауле.

И этот туда же. Правда, пока не смеется...

— Наказание, положенное тебе за воровство, это две недели в тюрьме. Но за бдительность и правильные действия в экстремальной ситуации наказание с тебя снимается. Вопросы есть?

Командир вписывал свое решение в мое шуплое "дело".

— Нет, командир!

— Свободен!

Комбазы захлопнул "дело" и передал его прапоругу. Из папки вылетела бумажка и приземлилась к полковнику на стол.

— А это еще что такое? — полковник развернул бумагу. — Та-ак.

Это была жалоба на меня из военной полиции. Они поймали меня в нечищенных ботинках, с небритой рожей и послали жалобу на базу. А я-то надеялся, она пропала...

— Элконин!

— Да, командир.

— Стреляешь ты хорошо, а ботинки чистить не умеешь. Неделя внутри, свободен!.. Да, придешь в тюрьму завтра в шесть утра с этим. — Комбазы протянул мне направление в тюрьму-4.

— Да, командир.

Я вышел из кабинета. А-а, понял я, то-то так приятно судиться было! У него ж кондиционер на полную катушку!

Ну ладно, неделя в тюрьме — это вообще не страшно. Может, и хамсин завтра кончится.

Сара должна была приехать уже минут через десять. Эх, жалко, пятница сегодня, а Сара религиозная или, по крайней мере, вид делает. Я с ней уже полгода, а к ее заморочкам так и не привык... По пятницам, видите ли, Господь Бог ей все отношения со мной запретил.

Ну ладно, я по ней все равно соскучился. Три дня уже не виделись...

Я пихнул ногой дверь склада. В углу около запасного выхода что-то зашевелилось. Это Хаим со своей приятельницей. Нет, ничего криминального они не делали — боялись, мало ли кто на склад придет. По уставу половые отношения на военных базах запрещены. Кстати, одного генерала скоро судить будут:

он по телевизору во всеуслышание сказал, что если над Израильской армией крышу общую сделать, то получится один большой бардак. Интересно, а чего он хочет, если девки вместе с парнями служат? Только что спят в разных казармах. И самое обидное, что если кто-нибудь заметит солдата около женской казармы, его под суд, а если девку поймают у парней, ей ничего не будет. У меня уже таким образом трое друзей сидят.

Хаим попрощался с барышней, она служила секретаршей у комбазы, и девушка ушла. И все пацаны со склада куда-то по базе разбрелись. Мы с Хаимом остались вдвоем.

На улице зарычал мотоцикл. Я выскочил на зов.

Сара без шлема сидела на Хонде-1500 и не могла слезть. На своей базе у нее для этого специальный валун был. Я подбежал к ней. Сара выключила мотор и потянулась ко мне целоваться. Она обняла меня и свалилась вместе с Хондой. Нога моя наглухо застряла под колесом. Сара продолжала меня целовать.

Со склада вышел Хаим. Ему стало интересно, чем это мы с таким грохотом на улице занимаемся. Увидел наш сюжет и понял его по-своему.

— Димитр, ты на базе... А ты-то, Сара, ты же человек культурный, — Хаим качал большой, давно не стриженной головой.

— Ногу помоги вытащить, — прохрипел я из-под Сары и мотоцикла.

Хаим одной рукой поднял Хонду и прислонил к стене склада. Сара почувствовала себя свободней и устроилась поудобнее. Вкус пустынной пыли, которую мы из-за БМПэшек чувствовали все время во рту, на ее губах был совсем другим. Сарины волосы залезли мне под рубашку и щекотали тело. Я не выдержал и заржал. Сара отпрянула и недовольно на меня уставилась.

— Слушай, русский, ты бы хоть на склад вошел.

Хаим стоял надо мной. Черт, какой же он здоровый. Хаим протянул руку и помог Саре подняться. Потом нехотя поднял и меня. Мы вошли на склад.

— Дима, ты не забыл, у меня сегодня в “Андеграунде” выступление? Ты обязательно должен прийти.

Сара стояла перед куском зеркала и сматывала волосы в пучок.

— Да я не могу, мне в тюрьму завтра к шести.
— Ну, пожалуйста! — Сара умоляюще смотрела на меня.
— Ладно. А как обратно? В тюрьму опаздывать нельзя, это тебе не просто база.

— Я тебя привезу. Ой, да я же должна быть в Иерусалиме через полтора часа. Идем! — Сара потянула меня за руку, у нее всегда, вне зависимости от погоды, руки горячие.

— Сара, мне надо автомат спрятать и деньги взять.

Автомат я сунул назад под матрац, деньги — в карман. Можно было ехать.

Мы подкатили к воротам базы.

— Увольнительная!

У ворот стоял прапор и проверял пропуска. А у меня-то ведь его нет, нельзя мне сегодня с базы выходить.

— Без увольнительной не выпущу, — прапор упрямылся.

Я решил не спорить и слез с мотоцикла. Саре увольнительной не нужно, так как она на другой базе служит.

— Пропустите нас, мы в больницу едем, я беременная. Нам срочно надо, — Сарин голос дрожал. — Ему в тюрьму завтра, а без него я к врачу боюсь идти, пропусти, пожалуйста.

— Но у него ведь нет пропуска, — уперся прапор.

— Если он сейчас не выйдет, это будет на вашей совести, — Сара заплакала.

— Ладно, ладно, не плачь, выпущу я его, — прапор подошел к мотоциклу и достал из кармана чистый увольнительный бланк. — На, заполнишь по дороге.

— Спасибо тебе, — Сара чмокнула прапора в щеку.

Мы выехали за ворота армии.

— Где шлемы? — вдогонку заорал прапор, но Сара поддала газ, и Хонда рванулась к Иерусалиму...

Мы неслись по Негеву. От земли, выжженной за лето солнцем, и от накаленного шоссе поднимался вверх горячий воздух. Как будто в печку въехали. Да еще и хамсинная пыль стоит. Сара мотнула головой, пыль забила ей в глаза. Мы остановились.

— На, — я протянул Саре свои солнечные очки. Одна дужка у них была сломана, вместо нее резиночка, за ухо зацеплять. Сара перекинула волосы на сторону и надела очки. Теперь я

почти ничего не видел. Да мне и не обязательно. Я и так всю дорогу наизусть знаю. Мы повернули, ага, значит скоро около дороги будет старый БТР. На него бедуины наваливают сено, а потом верблюды это сено жрут.

Мы пронеслись мимо верблюдов, рядом с ними сидела босая женщина и пасла коз. Бедуинки никакой обуви не носят, босиком всю дорогу. Потом промелькнул большой бедуинский шалаш. Они свои дома как юрты делают — деревянный каркас, и на него тряпки набросаны. Кстати, часто около таких шалашей тарелки спутниковые стоят, чтобы телевизор интересней было смотреть. Сара поднажала и обогнала какую-то машину. Господи, да это же полиция! Если Сару остановят, мы опоздаем.

— Сейчас будет поворот направо, — прокричал я ей в ухо, — поверни, тогда они нас не найдут.

Сара кивнула и повернула на обходную дорогу. Только полиции мне не хватало. Но в зеркальце полицейских видно не было. Да они и не любят за сумасшедшими рокерами гоняться.

Мы проехали мимо маленького оазиса. Здесь всегда останавливается во время маршброска какое-нибудь армейское подразделение. Можно и нам остановиться, попить, но времени нету. Пот, смешанный с пылью, полез в глаза, я зажмурился и сильнее вцепился в Сару... Все у нас не по-людски. Это я должен ее везти, а не она меня. По моему расчету до жизни оставалось минут десять езды...

Сара остановила Хонду перед светофором. Я протер рукавом глаза. До Иерусалима еще ехать и ехать, а ведь скоро Шабат начнется, по машинам уже видно. Все спешат до Шабата домой приехать, скоро свечки зажигать надо. Сара, как в слаломе, лавировала между машинами. Мужики орали вслед Хонде непристойности. Один раз Сара чуть не пролетела на красный свет...

Наконец, мы въехали в Иерусалим. Еще минут пятнадцать — и мы у Сары дома. Ей надо переодеться и взять с собой костюм. Да и мне неплохо бы форму на гражданское поменять. У Сары мои джинсы и рубашка лежат...

Сара кинула вещи в специальный ящик, привинченный к мотоциклу, с бордюра забралась на Хонду, и мы рванули в "Андеграунд". Сара решила ехать через центр. Как назло,

улица, которая сокращала нам путь, была перекрыта. Религиозники к себе на улицу в субботу никаких машин не пускают. Сара развернулась...

Около "Андеграунда" народ толпится всегда. Сара припарковала Хонду, подвела меня к вышибалам, сказала, что я ее кавалер. Да они и так знают. Я вошел в клуб.

Довольно большой зал со столиками, в центре — сцена с металлическим шестом посередине. Вот вокруг этого шеста Сара и будет танцевать.

Народ потихонечку заполнял зал. Сарино выступление начнется через полчаса, но все это время она будет гримироваться, массаж ей будут делать — подготовка, как к соревнованиям.

К моему столику подсели два марокканца и заговорили, как всегда, о девках, машинах и армии. Неинтересный разговор, одинаковый. Я подозвал официантку и попросил еще пива. Кстати спросил, не перенесли ли Сарино выступление. Нет, как раз сейчас должно было начаться.

Сцена засветилась красным и синим, Сара подбежала к шесту и обхватила его руками. Как же она одеваться умеет! А ведь у израильтянок нет вкуса... Кожаный купальник, такие же ботфорты, браслеты и длинные серьги. Увидел бы сейчас командир ее базы — и все, не мне бы сидеть, а ей. Не разрешается солдатам в таких заведениях работать. На фабрике или в ресторане — пожалуйста, но в стриптиз-клубе — нет.

Сара вилась вокруг шеста. Мужики замерли и обалдело смотрели на нее. Сара танцевала программу, которую я никогда не видел. Обожает она танцевать. Даже спортивным рок-н-ролом занималась.

Марокканцы углядели на Сариной попе темное пятно. Сошлись на том, что, наверное, родимое. Никакое не родимое. Просто две недели назад у меня день рождения был, попросили мы Сару потанцевать. Она забралась на стол и исполнила нам свой коронный номер, а когда слезала, то обожглась, бедняжка, о свечку, которую я по случаю Шабата воткнул в менору. Все заметались в поисках мази, а я в это время полил ожог йодом. Какой же она мне потом скандал устроила! Йод-то фирменный, не смоешь. Уж она его и так и сяк терла. Вот теперь марокканцы и критикуют...

Но Сара все равно танцевала очень здорово, меня всего аж трясти начало — только бы не уходила.

Сара спрыгнула со сцены, в выступление входило танцевать между столиками, как бы специально для мужиков, которые за ними сидят. Они ей за это деньги в сапог засовывают. А трогать ее нельзя, вон вышибала сидит начеку. Даже я ее трогать не могу. Правда, мы с Сарой договорились, что около меня она плясать и не будет, а то мало ли что.

Сара запрыгнула обратно на сцену, высоко подняла ногу и упала в шпагат. Музыка кончилась, мужики засвистели. Нет, на бис им никто выходить не будет, здесь не театр.

Я стал потихоньку пробираться к Сариной раздевалке, по дороге махнул рукой парням с моей базы. Это хорошо, что они здесь, теперь все будут знать, какая у меня девушка.

Я сунулся в Сарину раздевалку. Несчастливая моя девочка сидела в кресле, закинув ноги на стул. Я подошел и стащил с нее сапоги. От всей этой прыготни ноги у нее опухают, и снимать сапоги ей больно. На пол посыпались деньги вперемешку с бумажками. На этих бумажках телефоны и предложения Сариных поклонников. У нее даже специальный альбом есть для них.

Сара с трудом открыла глаза.

— Ну что, устала? — Я погладил ее по голове и прижал к себе.

— Устала, Дим... А куда ты хочешь, чтобы мы поехали? — Сара улыбнулась и посмотрела на меня.

На часах — уже два ночи, но оставаться здесь нам нельзя. Да и негде. Домой идти? К Саре невозможно, ее родители меня на дух не переносят, а ко мне? У меня полон дом гостей, тоже притулиться негде. Надо куда-то ехать, хоть и жалко мне Сару, но надо.

— Поедем на Мертвое море, ехать туда сорок минут, зато там кемпинг недорогой.

— Хорошо, — Сара встала.

Мы вышли из “Андеграунда”.

— Да, на! — Сара протягивала мне деньги, которые заработала сегодня. — Тебе в тюрьме пригодятся.

— В тюрьму нельзя столько брать.

— Возьми сколько можно, а остальные пусть у тебя будут.

Я засунул деньги в карман. Почему-то я не чувствовал себя плохо оттого, что беру деньги у своей девушки.

Через сорок минут мы были на Мертвом море. Я приковал мотоцикл к специальному столбу. Море это чудное и чудное, волн нету, и из-за соли в ней никакая живность не живет. Ни рыбы нет, ни водорослей, микробов никаких. Вобщем, нет ни эллина ни иудея. Только купаться в нем полезно, и грязь прибрежная для здоровья хороша.

Я кинул куртку на серый песок. Где-то горел фонарь, его свет долетал до нас еле-еле, но нам смотреть друг на друга не обязательно. Мы полезли в воду. В ней можно плавать стоя, а можно и лежать, как на матрасе. Нельзя только, чтобы вода в глаза попадала, или в нос, рот. Очень больно и опасно.

Сара вылезла из воды. Около моря круглосуточно работает душ, иначе коростой покроешься. Сара помылась и вытерлась моей рубашкой, все равно мне скоро форму надевать.

Сара подошла ко мне. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала меня, сперва угодила в нос, потом поправилась. У Сары на губах был вкус Мертвого моря, а пахла она моим одеколоном, из-за рубашки. Сара потянула меня вниз, к земле, мы съехали немножко по песку к морю и ногами оказались в густой и маслянистой воде...

... Будильник на моих часах зазвонил, и я оторвал голову от полезной глины. Рубашка, которую я подстелил, куда-то делась. Сара по-детски чмокала губами во сне. Не хотелось мне ее будить, но надо было ехать в тюрьму.

— Просыпайся... милая, — я поцеловал девушку.

— А-а... Уже пора? Сколько сейчас? — Сара не открывала глаз.

— Полшестого, пора в тюрьму.

Сара раскрыла глаза:

— А почему мы в воде?... Ах, да... — она улыбнулась мне. — Тебе понравилось мое вчерашнее выступление?

— Ты замечательно танцевала.

Мы вышли на дорожку, отвязали Хонду и проехали на ней двести метров до кафе. Кафе находилось на берегу обрыва, внизу каньон пустынный, палевый от лучей раннего солнца.

Я часто наблюдал, как орел парит где-то высоко в небе. А сейчас из окна кафе я увидел, как снизю со дна полукиломет-

рового каньона какая-то небольшая птица кругами поднимается вверх, ко мне. Это точно был орел, он по спирали ввинчивался вверх на восходящих потоках теплого воздуха, ни разу не взмахнув крыльями. Я прилип к стеклу. С каждым витком он увеличивался в размере. Его бурые двухметровые крылья были оторочены белой каймой. Орел сделал еще круг и чуть не сбил крылом пивную банку с камня, потом поднялся ввысь и превратился в обыкновенного коршуна.

— Пошли! — Сара встала из-за стола.

Я дернулся и пошел за ней.

Сара затормозила около тюрьмы. Я проверил, все ли взял. Вроде все.

— Щетку зубную не забыл? — Сара указала на нагрудный карман.

— Здесь.

— Если я забеременею, ты на мне женишься, понял?

— Понял. Шолом, — я поцеловал Сару в щеку.

Тюрьма была на другой стороне дороги, я подошел и нажал звонок. Двери со скрипом открылись. Навстречу мне вышел Алекс, мой сосед по дому. Я его полгода не видел и не знал, где он служит.

— Входи, дорогой, слышали.

Мы обнялись, и я пошел в неволю.

Лариса ПИЯШЕВА

**ЗАГАДКИ
“ЕВРАЗИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА”,
ИЛИ КТО В РОССИИ СОЗРЕЛ ДЛЯ
КАПИТАЛИЗМА**

(Из цикла “Государство и общество”)

1. Экспозиция

Ситуация 1995-го напоминает 1985-й, когда начинались более или менее свободные дискуссии о путях развития страны. Сегодня дискуссии уже вполне свободные, но о том же.

За шесть лет (1985—1991) верхам и низам было предложено три основных сценария экономических реформ.

Представители официальной экономической науки (действительные члены и члены-корреспонденты АН СССР Л. Абалкин, А. Аганбегян, Н. Петраков и др.; далее — *академики*) выдвигали сценарий, по которому переход к рыночной экономике намечался на начало следующего столетия. Собственность при этом должна была оставаться “общественной”.

**Лариса
ПИЯШЕВА**

— родилась в 1947 г. в Москве. Окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова в 1969 г. Доктор экономических наук. Работает в Совете Федерации. Автор книг “Международная экономическая теория и практика социал-реформизма” (1983), “Экономический неоконсерватизм: теория и международная практика” (1988), “В поисках социальной справедливости” (на англ. языке, 1991) и многих научных и публицистических статей по экономике.

Молодое, более образованное и радикальное поколение официальных экономистов (Е. Гайдар, С. Васильев, Г. Явлинский и др.; далее — *демократы и младокоммунисты*) призывало двигаться несколько быстрее, собственность преобразовывать в частную, но постепенно: “реформа собственности — эволюционный процесс” (Гайдар), равно как и освобождение цен, и финансовая стабилизация.

Наконец, неофициальные и беспартийные экономисты-рыночники (В. Найшуль, Л. Пияшева, В. Селюнин и др.; далее — *либералы*) предлагали “прыжок через пропасть” (Селюнин): быстрая и полная приватизация всего, что было “общественной собственностью”, включая землю, полное освобождение цен на все, включая опять же землю, низкие налоги, уравновешенный бюджет, разукрупнение промышленности, экономическая свобода для всех желающих участвовать в хозяйственной жизни.

В 1991 году, после августовского путча, выбор был сделан. *Академический* вариант отвергли как консервативный, а *либеральный* как утопический (или крайний, экстремистский). Было решено, что народ не захочет частной собственности, не потерпит конкуренцию, не смирится с банкротствами и безработицей, не согласится с неравенством доходов. Предпочли *демократический* вариант реформ: постепенный и поэтапный переход к смешанному, уже не социалистическому, но и не капиталистическому, а сочетающему “все лучшее” из двух систем, обществу. Вспоминая А.Д. Сахарова, называли это “конвергенцией” и “плюрализмом” — одно время, на заре своей антисоветской деятельности, он увлекался идеей повенчать социализм с капитализмом. Этот вариант поддержала и межрегиональная депутатская группа, созданная на Первом Съезде народных депутатов СССР Ю. Афанасьевым, Г. Поповым, А. Сахаровым. На роль реформаторов Б. Ельцин пригласил команду *младокоммунистов* во главе с Е. Гайдаром.

И власть, и общество связывали тогда с этими переменами надежды на то, что вскоре будут приняты и заработают хорошие законы и что начнется, наконец-то, рост благосостояния. В 80-е годы много писали о нашем отставании от Запада — теперь ожидали новых технологий, компьютерной революции. Предполагали, что высвободится придуманная социализмом инициатива. Предсказывали даже русское экономическое чудо, которое будет сродни немецкому. Как послевоенная Германия быстро стала локомотивом Западной Европы, так, мол, новая Россия станет локомотивом Восточной.

Из всех ожиданий оправдалось только одно: рухнула официальная марксистско-ленинская идеология, а с нею и СССР. Скорость разложения социалистического лагеря оказалась поразительной. Но в России вместо экономического чуда получили развал производства,

население утратило сбережения, многие стали жить хуже, чем при социализме. Вместо ожидавшейся технологической революции произошел сдвиг к добывающим отраслям, выросла скрытая безработица, страна проедает основной капитал. Вместо укрепления рубля — нарастающее ослабление его. Вместо хорошего, деятельного настроения в обществе — растерянность и озлобление миллионов людей. Разрастается чиновничество, почти открыто делит государственную власть с уголовным миром. Ухудшается здоровье населения, растет смертность, все больше самоубийств и помешательств. Стали повседневностью заказные убийства, появилась новая профессия — киллер.

Что же касается сегодняшних дискуссий о путях экономического возрождения России, то и здесь в результате всей этой катастрофической динамики перемена произошла тоже поразительная. И — поистине парадоксальная. Если в 1991 году *либеральный* выбор для России еще рассматривался многими как возможный, желательный и даже вероятный, то в 1995-м ситуация изменилась кардинально. Сегодня нельзя назвать ни одного политика, ни одного вхожего в “высшие сферы” или в правительство экономиста, который объявлял бы себя без оговорок либералом в экономическом смысле слова — адептом свободного рынка и частной собственности. Нет ни одного претендента на место в Думе, кто считал бы себя учеником таких классиков *экономического либерализма*, как Мизес, Хайек, Фридман. И это — при всем том, что многие политические партии и группы наперегонки стремятся наименовать себя как раз именно либеральными! Но даже и самые вроде бы битые и трезвые практики-предприниматели, на собственной шкуре испытывавшие все налоговые и прочие прелести протекшего четырехлетия, о либеральной экономике уже, похоже, и мечтать не хотят: ни одно их объединение тоже не решает сегодня выступать с *либеральных* позиций. Все нынешние споры за право определять экономическую судьбу России — это споры между социалистами разных оттенков: от краснокоричневого до бледно-розового. Центризм все более сдвигается от *демократического* к так называемому *патриотическому* берегу. *Экономический либерализм* и для экономистов-политиков, и для бизнесменов, и, главное, для общественного мнения стал чем-то вроде красной тряпки для оголодавшего быка, разъяренного к тому же бесконечными унижениями и побоями.

Почему так случилось? Почему никто и слышать уже сегодня не хочет о *либеральной* экономике?

Может показаться, что ответ на этот не самый вроде бы важный для нас сегодня вопрос не так уже поэтому и важен. Во всяком случае, куда менее важен, чем ответ на вопрос о том, почему же

все-таки за 1994—1995 годы случилось со страной то, что случилось? И, главное — как из всего этого выбраться?

На самом деле все эти вопросы настолько связаны между собой, что ответить на любой из них невозможно, не ответив на остальные. И не так важно, с какого начинать. Может быть, удобнее как раз с самого вроде бы не важного.

2. Соборные похороны гайдаровского “либерализма”

Главным вопросом экономической науки всегда был и остается вопрос об экономической роли государства.

Для приверженцев Адама Смита, великого экономиста XVIII века, основоположника *экономического либерализма*, лучше всего, когда роль государства сводится к минимуму. Оно только стоит над процессом и строго следит за соблюдением правил экономической игры всеми участниками бесконечного торга.

По представлениям кейнсианцев, сторонников Дж.М.Кейнса, знаменитого английского экономиста, разработавшего свою теорию в годы великой депрессии 30-х гг. как программу выхода мировой экономики из тогдашнего кризиса, государство должно не только надзирать, но и действовать, оказывать на экономику регулирующее воздействие. Правда — не прямое, а косвенное: не приказами, а кредитами, налогами и прочими денежными инструментами. Кейнсианцы подняли роль государства на такую большую высоту потому, что решили возложить именно на него обязанность выравнивать экономический цикл — сдерживать (охлаждать) и бумы, и кризисы, обеспечивать постоянный, с ускорением, экономический рост (попутно замечу пока в скобках, что они не приняли всерьез факты, которые свидетельствовали, что сдерживание кризиса обязательно приводит к его усилению, а стимулирование роста — к инфляции).

Социалисты разных мастей идут еще дальше — они возлагают на государство ответственность за все стороны экономической и социальной жизни, предоставляя ему возможность использовать и экономические, и административные способы. Отметим однако, что для наших сегодняшних споров привычно представление о государстве Адама Смита (то есть о государстве *либеральном*) как о государстве слабом, — в отличие от кейнсианского умного и социалистического сильного. А это представление абсолютно ошибочное. Приверженцы либерального государства знают: чтобы исполнять роль “ночного сторожа”, оно должно быть как раз и сильным, и мудрым. Сильным — ибо призвано решительно и твердо пресекать покушения на

законные права и свободы людей, мудрым — ибо не должно полагаться на силу в отношении законопослушных граждан. Запомним это, чтобы не запутаться окончательно в хитросплетениях нынешней почти уже повальной критики *экономического либерализма*. Тем более, что вся она строится сегодня, как правило, на основе критики реформ, проведенных командой Гайдара. Против него — и его “либерализма” — образовался сегодня, можно сказать, уже всеобщий, поистине “соборный” фронт — от *академиков* до Явлинского, от “либералов” Бориса Григорьевича Федорова до “либералов” Владимира Вольфовича Жириновского и от “патриотов” Зюганова, Проханова или Анпилова до всех прочих обличителей “зарвавшегося” в своем “либерализме” вчерашнего вице-премьера, вновь жаждущего вернуться к власти со своим “Выбором России”.

Одними из первых о провале либеральных реформ объявили красные директора устами А. Вольского, руководителя “Союза промышленников и предпринимателей”. С момента частичного освобождения цен тогда еще не прошло и года, приватизация собственности даже не начиналась. России, провозгласил их идеолог А. Владиславлев, нужны не макроэкономические абстракции (свободные цены, жесткая бюджетная и финансовая политика, свободное предпринимательство, частная собственность и прочие *либеральные побрякушки*), “а простые и ясные задачи и трезвая политика”. Иными словами: “надо вернуть и восстановить государство во всей полноте его прежних полномочий”, для чего, естественно, “создать президентскую комиссию из авторитетных ученых... Такая комиссия могла бы представить сбалансированную концепцию государственного регулирования. Иначе — хаос!”

Что за беда, что именно так все и делалось на протяжении 70-ти лет, — они были уверены, что теперь будут делать лучше.

“Надо, — требовал А. Вольский, — восстановить хозяйственные связи”. И грозился сам заняться этим, не понимая (или делая вид), что для восстановления прежних связей на пространстве СНГ (для формирования “транснациональных корпораций”) потребуется война.

Обвинил Е. Гайдара в чрезмерном либерализме и Г. Явлинский. Он выдвинул “*иную* реформу”. Ее смысл — “не в самоустранении, а наоборот, в активных действиях правительства ВО ВСЕХ СФЕРАХ (выделено мной — Л.П.): государство должно по-хозяйски заниматься и демонополизацией, и созданием конкурентной среды, и приватизацией, и развитием индустрии, и поддержкой сбережений, и капиталовложениями”. Умное, честное, грамотное, “по науке” работающее государство “осуществит целенаправленную трансформацию постсоциалистической экономики в целях достижения макроэкономической стабилизации”.

Либеральный же вариант реформ Явлинский забраковал, в частности, потому, что “крайне ненадежный промышленно-технологический потенциал с запасами ядерного, химического и бактериологического оружия не позволяет государству уйти полностью”. А также потому, что “время и издержки реформы, основанной только на рыночном саморегулировании, будут такими колоссальными, что они могут превысить даже известный потенциал терпения российского народа”.

Если бы он чуть более добросовестно относился к аргументам в пользу своей “иной реформы”, он никогда не прибег бы к “ядерному” доводу. Недаром для рыночника это запрещенный прием. Госпожнадзор, Госкотлонадзор, Госавтоинспекция — совершенно необходимые службы. Но одно дело надзор — за исполнением правил пожарной, дорожной или ядерной и всякой прочей безопасности, и совсем другое — когда под предлогом контроля надзиратель становится управляющим соответствующими объектами, когда именно он берется решать, как это предусмотрено в программе Явлинского, каким из них существовать, а каким исчезнуть с лица земли. Конечно, хороший пожарник в глубине души может быть искренне уверен, что руководить поднадзорным производством должен именно он, но остальные-то люди хорошо знают, что в итоге все погребло бы как раз от пожаров.

Возражений Явлинскому однако не последовало. *Академики*, а вместе с ними и политики приняли социализм Явлинского, возложив свои надежды не на почин и самоорганизацию общества, а на могущество все и всех охватывающего государства, чиновничества.

Конечно — не только из-за “ядерной безопасности”. Решающим был иной тезис: “И по историческим условиям, и по менталитету общества Россия предрасположена к восприятию модели именно социально-ориентированного рынка. Перейти у нас к либеральной модели значило бы пойти против воли большинства населения и разрушить созданные большими жертвами социальные гарантии”.

И далее: “Процесс формирования смешанной экономики займет продолжительный период. Это отвечает социо-культурной специфике России”.

В чем же эта специфика, которая не позволила нам за десять лет наладить более спокойную, сытую и благоустроенную жизнь?

“Она, — пишут *академики*, — в антирыночном характере экономики, в сверхмилитаризированной структуре, громадном удельном весе добывающей промышленности, неэффективном сельском хозяйстве, допотопной инфраструктуре, громадной территории с неблагоприятными климатическими условиями, многонациональным и полирелигиозным составом населения, евразийским менталитетом с ярко

выраженной приверженностью к общинности и иждивенческой психологии”.

Что такое *“евразийский менталитет”* российского общества вкупе с *“волей большинства населения”*, — этим мы еще займемся, но несколько позднее, когда настанет тому черед. А сейчас отметим только, что кроме этого *“ментально-волевого”* фактора, да еще климата и нацсостава, все остальные *“препятствия”*, перечисленные выше *академиками* и уже десять лет мешающие нам наладить жизнь, — все это как раз то самое, что раньше они называли в своих научных трудах *“нашими социалистическими завоеваниями”*. И что и было создано как раз тем самым *“государственным регулированием экономики”*, к которому они снова призывают нас сейчас...

Тем не менее положение о том, что стране с *“переходной”* экономикой необходимо расширение и усиление роли именно государства, стало ныне аксиомой для авторов едва ли не всех нынешних программ, партий и движений. Именно в этом вопросе был достигнут полный *“демократический”* консенсус, состоявшийся, приходится думать, отнюдь не без молчаливого согласия и в том, что усиление роли государства в *“руководстве экономикой”* обязательно потребует дальнейшего роста чиновничества и предоставления ему всех необходимых для такого *“усиленного руководства”* административных (силовых) и экономических рычагов и инструментов. В конце 1993 года даже самый вроде бы *“либеральный”* и одновременно самый ироничный еженедельник *“Коммерсантъ”* не упустил присоединиться к этому общему хору: *“Рынок рынком, но надо срочно как-то выбираться”*. Недавние глашатаи свободного предпринимательства отвергли *“рыночно-романтический”*, по их выражению, путь и сделали свой *“этатистский”* выбор *“как наиболее продуктивный”*: *“В последнее время нам стало совершенно ясно: падающую машину методами тонкого рыночного регулирования (курсив мой — Л.П.) не остановить, нужны рычаги прямого действия, нужны иные пути. Таким путем могут стать лишь усилия наиболее консолидированного экономического субъекта — государства. И это вовсе не означает отхода от концепции рыночной экономики. Напротив, именно быстрые и эффективные государственные меры...”*

Дальше можно, думаю, не цитировать — и так все понятно. Интересно только одно: где они взяли *тонкое рыночное регулирование*?

Этот вопрос можно поставить и в виде такой — более общей и более, наверное, близкой ироничному *“Коммерсанту”* — известной горьковской формулы:

3. А был ли мальчик?

Итак, приходится констатировать, что молодые “либералы” из “Коммерсанта” просто в упор не захотели разглядеть, что ситуация, из которой, как они признали, надо “срочно выбираться”, была создана вовсе не “тонким рыночным регулированием”, а как раз теми самыми “эффективными государственными мерами”, с помощью которых они и возмечтали теперь остановить дальнейший развал экономики. Провозгласив вслед за *академиками*, за Явлинским и Зюгановым, что проблемы возникли именно из-за гайдаровского либерализма — или, как они выразились, “рыночного романтизма”, годного только для более благоприятной, чем в России, экономической среды, — они тоже возложили все свои надежды на то сочетание прежних, социалистических, и новых, рыночных, способов воздействия на экономику, которое предлагалось теперь сделать принципом нового — эффективного! — государственного управления ею.

Но ведь виртуозом такого сочетания как раз и было гайдаровское правительство — налоги, кредиты, бюджет — для социалистического распределения привилегий и упрочения бюрократического порядка!.. Кто-то предпочтет, может быть, сказать, что было наоборот: что сам порядок приспособил к себе правительство (это частично признает и Гайдар). Ирония, однако, в том, что противники нашего “рыночного романтика” порицают его как раз совсем за другое — за мысли, которых у него не было, и за дела, к которым он и не приступал.

Так, принято, например, считать, что его реформаторский опыт доказал “невозможность решения накопившихся проблем сугубо монетарными методами” (которые действительно являются одним из механизмов “либеральной экономики”). Между тем доказано-то было совсем другое.

В первый год реформ не занимались макростабилизацией, а переводили социалистическую экономику в режим смешанной, коммерциализированной, разгосударственной. И с этой задачей, к сожалению, успешно справились. Появились “смешанные”, “ничейные” предприятия, неизвестно кому принадлежащие — одновременно и государству, и “трудовому коллективу”, и “начальству” предприятия (тоже доля — и нередко немалая), и “внешним” акционерам. Не случайно нигде — ни в правительственных заявлениях, ни в своих статьях — Гайдар и не ставил целью переход к капитализму, к экономике частной собственности. Нигде не декларировал он и отстранение государства от хозяйственной жизни.

Да, при этом он действительно пытался применить и монетарные методы. Но из этого ничего хорошего не вышло именно потому, что и выйти не могло. Не вообще, а именно в созданных или принятых им условиях. Монетарные методы — это методы жесткого ограничения денежной массы — с тем, чтобы она соответствовала стоимости реально производимого в стране, а бюджетный дефицит был сведен к минимуму. И весь секрет в том, что монетарные методы действуют только в рыночной и только в правовой среде, где государство жестко ограничено в своих действиях.

Прежде всего оно не может произвольно, по своему усмотрению печатать деньги. Оно не может... Оно многое не может из того, что делало при Гайдаре и продолжает делать без него все еще социалистическое наше государство. В гайдаровском монетаризме денежная эмиссия была величиной безграничной, с ее помощью и вызвали галопирующую инфляцию.

В монетарной политике не менее жестко ограничен и размер ИНФЛЯЦИОННЫХ, то есть не обеспеченных сбережениями, кредитов. Гайдаровское правительство прибегало к раздаче инфляционных кредитов без каких-либо серьезных ограничений.

Монетаризм — это политика радикальной экономии государственных расходов, сведение бюджетного дефицита к минимуму. При Гайдаре (под разговоры о финансовой стабилизации и прочих прелестях монетаризма) государственные расходы не сократились, а возросли. То же — и долги, и бюджетный дефицит. Переход же к рыночной экономике в первую очередь означал бы как раз вытеснение государства из экономической жизни, прекращение правительственного произвола.

Да, Гайдар и сегодня остается тверд в своем убеждении, что российских проблем без финансовой стабилизации не решить. *Либерализм* здесь, таким образом, вроде бы налицо. Но дело в том, повторим, что осуществить финансовую стабилизацию в *плюралистической*, то есть в никакой — и не социалистической, и не капиталистической — экономике невозможно. Государство не может быть одновременно и “кейнсианским”, и “монетарным”, и “социалистическим” — поддерживать из бюджета все убыточные и малорентабельные предприятия, оплачивать конверсию, делать капитальные вложения, нестесненно печатать деньги, списывать одни долги, делать другие и... проводить жесткую денежную политику. Вернее, оно может пытаться это делать, но только так, как и пытается: дает предприятиям дотации и одновременно не платит рабочим за труд.

Гайдара обвиняют в том, что проведенная им *либерализация* цен в тысячу раз повысила цены, разорила целые социальные группы. Но он не провел л и б е р а л ь н о й реформы цен. Было совершено

некое промежуточное, “плюралистическое” действо, получившее название “либерализация”, но на самом деле вовсе не означавшее перехода к системе свободных цен. В январе 1992 года были выпущены на значительную часть потребительских товаров и услуг, но остались “в неволе” цены на средства производства, на здания и сооружения, на землю, на энергоносители, на целый ряд важнейших сырьевых товаров. Это внесло огромные искажения во всю ценовую структуру. Одни товары не продавались, а бесплатно распределялись. Другие продавались по ценам номенклатурного рынка — то есть низким, или по ценам черного рынка — то есть спекулятивным. Третьи товары — потребительские, имеющие прямое отношение к жизненному уровню населения, — продавались по “либерализованным” ценам. Это тоже не были цены свободного рынка, ибо он не был действительно свободным в экономическом смысле этого слова. Льготы и привилегии делали его почти по-советски регулируемым. Были установлены потолки цен. Среди потребительских товаров также выделили группы, не подлежащие либерализации.

Бандитские группировки мгновенно поделили рынок, взяли под контроль поставщиков, что также не способствовало свободному движению цен. Непроданные цветы уничтожали, а цены держали “на высоте”. На базары не пускали “варягов”. И что же?..

Государству не так уж трудно было, в конце концов, навести порядок, точнее — не допускать беспорядка. Если бы, конечно, это государство действительно было *либеральное*. Ибо, как уже говорилось, либеральное государство — государство сильное и решительное в защите законных прав своих граждан. Либерализм и беспорядок — антонимы. Но скажите — кто-нибудь в гайдаровском или послегайдаровском правительстве хоть пальцем пошевелил, чтобы обеспечить свободу рынка от бандитов и взяточников?

Либерал, либерализм впадают в ярость, становятся беспощадными там, где покушаются на священное право собственности и хозяйственную свободу. Если с этой точки зрения посмотреть на Гайдара, — хоть один раз дал он нам повод считать его *либералом*?

Когда в 1994 году Центр экономической конъюнктуры при правительстве Российской Федерации провел исследование о практике регулирования цен на основные продовольственные товары на территории Российской Федерации, он получил странные результаты. Отмена регулирования цен на продовольственные товары на федеральном уровне не означала отмены на региональном. В 1993 году в 90% городов, где проводилась систематическая регистрация цен, администрация продолжала “воздействовать”. И по ряду продуктов цены росли быстрее именно там, где их регулировали, а в тех регионах, где регулирование осуществлялось в значительных масш-

табах, рост цен опережал их рост в регионах, где администрация предпочитала не вмешиваться. Это означало только одно: не надо регулировать цены. Вывод же сделали обратный: порекомендовали вернуться к прежней системе фиксированных цен. И это что — тоже либерализм?..

Держать низкими цены на недвижимость, инвестиционные товары, приватизационные объекты было выгодно тем, от чьих рук они находились в непосредственной близости. Держать низкими цены на сырье — нефть, газ, лес, металлы — было выгодно тем, кто продавал эти товары на внешнем рынке, кто имел лицензии, льготы, права на торговлю. И все они прошли через правительственные кабинеты “либералов”, получая там свои лицензии, права и льготы. Все они нажили на этом ЛИЧНЫЕ капиталы, потому что получали они эту нефть по заниженным фиксированным, а продавали по высоким свободным ценам внешнего рынка.

Эта коррупция и это воровство — тоже либерализм?

Идеологической аббревиатурой всего этого безобразия была, разумеется, все та же присказка: все цены сразу выпускать нельзя, надо постепенно, поэтапно, потихоньку, осторожно, методично. И потому действительно либеральный рецепт — освободить все цены сразу и распустить огромный штат кормящихся при них чиновников — называли экстремизмом. А выборочное, приведшее к таким разрушительным последствиям освобождение цен (на то же продовольствие) — здоровым реформаторством.

Спустя три года Е. Ясин, известный идеолог всех реформ, ныне министр экономики, признался: они боялись выпустить цены на все главное. Они сомневались в правильности экономической теории, гласившей, что в рыночном хозяйстве цены должны быть свободными, потому и решили выпустить их частично. Иначе говоря, — поставили эксперимент на желудках граждан, чтобы проверить правоту этой экономической теории.

Что ж, проверили.

Там, где цены сразу стали свободными, началось — даже при искажающем торможении цен несвободных — экономическое оживление. Там возникли новые рабочие места, выросли городки киоскерной торговли. Появились новые профессии — челноки. Возникло изобилие товаров.

Однако вывод из этого сделали чисто “академический”: предложили заморозить цены в коммерческом секторе — в точном соответствии с формулой “переходного периода”: “Цены надо регулировать”...

Вина Гайдара (если только вообще уместно говорить в таких категориях) состоит именно в том прежде всего, что он взялся строить *плюралистическую* экономику — то есть принял невозможную

теоретически и, стало быть, неосуществимую и на практике модель экономики переходного периода. Он не высмеял само это выражение, выдуманное в свое время большевистскими политэкономами. И это заведомо предопределило разрушительный компромисс его “либерализма” с важнейшим завоеванием советской власти — централизованным планированием на базе общественной собственности. Так что действительным либерализмом здесь даже и не пахло.

4. Социалистический менталитет в действии (1): по планам, по этапам, по моделям...

Как же вышло, что Гайдара приняли не за того, кем он был на самом деле? Почему таким разным лицам, политическим группам и силам, научным школам и направлениям, как Вольский и Явлинский, коммунисты и социал-демократы, монетаристы и кейнсианцы, одновременно показалось, что гайдаровская политика — это *либерализм*, да еще и *радикальный*?

Дело, видимо, в некоем общем умонастроении, в неких общих склонностях и подспудных симпатиях и устремлениях. Все эти люди не зря были названы “прорабами” перестройки — и не возражали против этой чести. По-другому они своей роли в этом мире не представляют. Строить, строить и еще раз строить!

Коммунизм они строили по Марксу. Капитализм тоже пытаются строить по моделям: шведской, японской, немецкой, китайской, чилийской. Но только в каждой из них непременно ищут что-то свое, привычное, созвучное их социалистическому менталитету.

Так, Дм. Львов за образец рекомендует взять США, где, по его мнению, лицо промышленности определяют 300—400 крупных корпораций. Поскольку в России таких единицы, необходимо в срочном порядке формировать промышленно-финансовые гиганты: каждой из существующих монополий наподобие Газпрома придать сверхбанк — будешь сам себе инвестор, сам себе финансист, конкурентов нет, живи спокойно.

Это поразительный факт социалистического сознания! Как и в начале века, социалисты львовского покроя все еще убеждены, что капитализм силен именно своими “спрутами”, хотя давно уже признано, что устойчивость рыночной экономики, в том числе американской, обеспечивается огромным числом мелких и средних предприятий: одни возникают, другие исчезают, не сумев приспособиться к спросу, технологическим и организационным новшествам, и все это — в бешеном темпе, как в калейдоскопе... Не хотят видеть очевидного: жизнеспособность Запада — в свободном движении

труда и капитала, в их свойстве принимать мгновенные решения. И нам в конце XX века приходится читать и такое: “Экономика США стала устойчивой после того, как в капиталистическую экономику переключались из нашей плановые методы управления производством” (подчеркнуто мною — Л.П.). Это пишет все тот же Дм. Львов, идеолог группы Глазьева, Шахрая, Шохина. Теперь они хотят взять ОТТУДА — СВОЕ, переключавшее, и построить у себя финансово-промышленный спрут с госхолдингами (бывшими министерствами), с контрольными пакетами акций полуприватизированных предприятий...

Почти столетие они искали устойчивые формы контроля над экономикой и обществом, экспериментировали “по-черному”. Когда начиналась “перестройка”, принялись было дружно произносить крамольные, демократические слова: демонополизация, разукрупнение. А теперь — опять за укрупнение. В финансово-промышленных группах, представляющих собой тонкий слой сильных мира сего, вновь видят панацею от “либерального хаоса”.

Ничего нового в этом нет. Раньше это называлось социалистической системой управления.

Академик Чижевский описывает, какие беды обрушиваются на человечество в конце каждого столетия — саранча, холера, революции... Возвращаются, как видно, и заблуждения “старого мира”.

В. Перламутров (из команды Н. Петракова) обращает свои взоры к рузвельтовскому “Новому курсу”, пытаясь найти там обоснование своих предложений: еще дальше оттянуть реформу собственности, еще больше расширить государственное присутствие, еще жестче контролировать предпринимательский слой. Ставит нам в пример рузвельтовские законы, направленные против “князей экономики”, с особым удовольствием вспоминает объявление чрезвычайного экономического положения в США, закрытие банков на ревизию в попытке разделить их на коммерческие и инвестиционные: «Почему бы, кстати сказать, не сделать теперь так и у нас, мы ведь крайне нуждаемся в капиталовложениях, а банки знают лишь одно — лихо наживаться на “коротких деньгах”»? Предлагает Ельцину запретить, по примеру Рузвельта, вывоз валюты, а потом и размен рублей на доллары, готовить трудовые лагеря для безработной молодежи — ведь “через них прошли три миллиона американцев”! Рука не перестает рубить: “Если сравнить нынешний кризис российской экономики с “Великой депрессией”, то и по широте, и по глубине наш пострашнее, посерьезнее тогдашнего американского”.

Возможно, что крах банковской системы, паралич экономики и массовая голодная безработица у нас еще впереди. Инфляция и “разоружение бандформирований” могут привести к этому. Но и

тогда нам не поможет Рузвельт: из-за малой эффективности “Нового курса” от него стали отказываться уже на следующий день после его принятия.

За те же, что и при социализме, маленькие деньги, тот же идеологический аппарат и на том же уровне выполняет свою привычную работу. Интересно, какие исторические аналогии они предложат Жириновскому? Ведь и в Германии 30-х годов были трудовые лагеря, а вместо денег выпускали меффо-векселя — казначейские обязательства, очень похожие на чубайсовские ГКО.

Дм. Львов берется “спорадическую промышленную политику преобразовать в системную”, предлагает ввести “эволюционирующую систему приоритетов” как “трехэтапную стратегию развития”, предусматривающую “определенный сдвиг приоритетов во времени” (и дотации). Этот набор слов директора ЦЭМИ¹ бессодержателен только с научной точки зрения. Но если принять во внимание, что для осуществления этой программы потребовалось бы в несколько раз расширить ЦЭМИ и восстановить Госплан (Политбюро — не обязательно), то все приобретает смысл.

Все хотят что-нибудь формировать. Львов — крупные корпоративные комплексы (ККК) из мелких и средних предприятий, Владиславлев с Вольским — транснациональные корпорации из национальных гигантов, Глазьев с Шахраем — финансово-промышленные группы из банков и заводов, Чубайс с Явлинским — эффективных собственников и стратегических частных инвесторов. Писком моды 1993 года было формирование “Коммерциализированных холдингов”. Взрослые люди вполне серьезно составляют программы формирования фондовых рынков и товарных бирж, брокерских компаний и коммерческих банков, торговых домов и посреднических фирм. И говорят, что тем самым выполняют крупномасштабную государственную задачу — создают инфраструктуру рынка. Они и в мыслях не допускают, что рыночная инфраструктура может развиваться без их участия, в ходе взаимодействия рыночных субъектов в свободной от “формирования” среде.

¹ ЦЭМИ — Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР. Незадолго до краха социализма научный коллектив этого института завершил многолетний труд: “Система оптимального функционирования экономики” (СОФЭ). Имелась в виду, естественно, экономика социализма. Руководили работой академики и члены-корреспонденты Академии наук — Федоренко, Петраков, Шаталин. В настоящее время авторы СОФЭ разрабатывают проблемы оптимального функционирования экономики во время перехода ее в капиталистическую стадию.

Естественно, что строители “развитого социализма”, ставшие строителями начинающего капитализма, не способны подойти к реформированию российской экономики как к лечению всего организма. У них другая “ментальность”. Они способны лечить только “планово” — по частям, постепенно, поэтапно. Реформирование России представляется им в виде работы по сценарию, в котором определены цели, стратегия и тактика, характер и очередность мер, сроки исполнения, затраты. Этот подход по-цековски уверенно сформулировали академики: “Масштабы и глубина преобразований требуют гигантских усилий и времени, ясной постановки конечной цели и достаточно четко выраженной стратегии преобразований, включающей ряд последовательных этапов”. Их неудержимо тянет заниматься тем, за что им был такой почет при социализме: “координировать и синхронизировать темпы преобразований, ускоряя реформы на тех участках, где они отстали, и замедляя там, где выявилось забегание вперед”.

В программе “500 дней”, под которой стояли имена С. Шаталина, Г. Явлинского, Е. Ясина, первой шла финансовая стабилизация. На нее отводили 100 дней. Потом — поэтапная либерализация цен и постепенная приватизация собственности. Одни (Л. Абалкин, например) считали, что 500 дней — слишком мало и что неверно определена последовательность действий: сначала надо перейти к рынку, а потом, году в 2005-м, начать приватизацию. Другие утверждали, что приватизация вовсе не нужна: ничего лучшего, чем государственные предприятия, мир не создал. Академики из ЦЭМИ доказывали, что содержанием первого этапа должно быть ускоренное выведение страны из кризиса и создание условий, способных предотвратить дальнейшее падение. Потом начнется работа над медленным, но верным повышением жизненного уровня. Логика не слишком внятная: ведь если бы на первом этапе удалось вывести страну из кризиса и предотвратить падение, то дальнейшая реформаторская суета была бы просто не нужна. Они, впрочем, на этом и не настаивали. Привыкшие мыслить пятилетками, определяли второй этап (с 1996-го по 2000-й годы) как период “инвестиционного ресурсосбережения” (исходя, видимо, из того, что сырьевые ресурсы к этому времени уже будут порядком истощены). Третий этап — 2000—2015 годы — отводился под “использование созданных инвестиционных возможностей для соединения пионерских технологических продвижений с широким тиражированием нововведений”. С помощью этой абракадабры собирались ввести Россию в группу лидирующих стран...

Более молодые и как бы более прогрессивные экономисты тоже планировали, естественно, поэтапность. Но уже несколько иначе: как последовательную смену монетарного, кейнсианского и социаль-

ного периодов (Гайдар). Или — кейнсианского, монетарного и социального (Явлинский).

В монетарный период собирались вылечить и заставить работать деньги, сбалансировать бюджет, сбить инфляцию. Продолжительность дела определялась в три года. Обоснование принадлежит Гайдару. "Опыт показывает, что в посткоммунистической экономике финансовая стабилизация наступает на третьем году реформы, а на четвертый уже начинается рост производства".

Кейнсианский период мыслился как время выхода экономики из кризиса и достижения стабилизации. На том, что стратегической целью второго периода является стабилизация, сошлись все. В этот период следовало с помощью денежных рычагов, кредитной и налоговой политики поднимать деловую активность, стимулировать инвестиции, привлекать иностранцев.

Социальный период — то есть систему помощи людям, не способным обеспечить себя, — все рассматривали как завершающую стадию в строительстве капитализма. Это оставляли на конец, когда уже все сформируют и сконструируют. На этом этапе гуманизм перестал бы называться "популизмом", пришла бы очередь выравнивания доходов. Чиновники занялись бы своим привычным делом: справедливо распределять.

Такую "этапизацию" Е. Ясин обосновал примером Л. Эрхарда, знаменитого немецкого экономиста-политика, реформатора, считающегося творцом немецкого экономического "чуда" после 2-й мировой войны: "Ведь не случайно, когда Эрхард проводил в Германии реформы, он о социально-рыночной экономике не говорил. Только потом, когда очень жесткая политика привела к финансовой стабилизации, подъему хозяйства и повышению деловой активности, можно было начать говорить о распределении".

Но в действительности дело обстояло вовсе не так: "социальным" рыночное хозяйство Германии стало спустя уже несколько месяцев с начала либеральных реформ. И такого безобразия, как многомесячные задержки заработной платы и других платежей, Германия не знала. Сбалансированность бюджета там не была самоцелью.

Признаем: Егор Гайдар, которому теперь противопоставляют себя "политические экономисты" всех оттенков, ничем особенным не выделялся из этого ряда. Дело просто в том, что проверке подвергся именно его вариант "позапности" действий. А поскольку, как мы видели, Гайдар попытался (чисто эклектически!) использовать в своей утопической программе некоторые рецепты экономического либерализма и сам же объявил себя на этом основании "либералом", ему ревнители еще более жестких способов "государственного регулирования экономики" и вмазали именно как "либералу". И хотя,

как мы опять же видели, все его экономическое реформаторство никакого отношения к действительному экономическому либерализму не имело, то, что случилось, уже случилось. И амбициями самого Гайдара, и усилиями его просвещенных критиков имя либерала прочно приросло в общественном мнении к имени нашего реформатора. А крах его реформаторства надежно обеспечил то, что долго еще людей будет, наверное, бросать в дрожь при одном только упоминании о *либеральной экономике*.

Да и можно ли этому удивляться, если вспомнить, как вся эта гайдаровская “либерализация” реально развертывалась?

Оглянемся-ка еще раз.

В первую неделю 1992 года провели частичную либерализацию цен. Потом запустили печатный станок и начали “лечение рубля” — финансовую стабилизацию. По сути — дефляционную политику, которую проводят западные правительства в периоды бумов, — “охлаждение” конъюнктуры в целях накопления “жировой прокладки” в преддверии будущих кризисов. Но так как ни бума, ни жировых накоплений в бюджете не было, бюджет попытались наполнить за счет конфискационных налогов, частных сбережений, сокращения социальных расходов. Само собой предполагалось, что на этом этапе можно, конечно, приносить жертвы. И накопления граждан, созданные за несколько мирных десятилетий и названные “навесом”, инфляция за несколько недель превратила в бумажный мусор. Таким путем государство в очередной раз сняло с себя обязательства перед гражданами, а гражданам привило первые понятия о “либерализме” в экономике.

Затем, спустя примерно год, начали приватизацию. В начале — ваучерную, бесплатную, как бы “народную”, в ходе которой должны были появиться “эффективные собственники”. Далее запланировали денежную, платную, с целью формирования “стратегических частных инвесторов” (термин А. Чубайса, непонятно что обозначающий). На четвертый год реформ наметили промышленный подъем (это был бы второй этап), а затем наступила бы очередь восстановления разрушенной на предыдущих этапах социальной сферы и реабилитации деградировавших граждан.

Застопорились, однако, уже на финансовой стабилизации. Вогнали промышленность в еще больший кризис и ушли с видом оскорбленного достоинства. Неудачу объяснили нарушением этапности: “И вот, недотянув, недотерпев в общем-то год...” (Гайдар). Ваучерную приватизацию собственности провели в точном соответствии с задуманным планом. Отчитались: 60% госсобственности приватизировали, 60% граждан стали собственниками. Автор получил повышение в должности. И ни один из 60% граждан, ставших “собственниками”,

так никогда и не понял, собственником чего он, собственно, стал. Это тоже добавило людям знания о том, что такое “либерализм” в экономике.

Принявший гайдаровскую эстафету министр экономики Е. Ясин полагает, что “сейчас уже можно делать акцент на задачах следующего этапа, связанного с созданием предпосылок экономического роста. Мы можем ослабить денежную политику и выплатить заработную плату шахтерам, крестьянам, ученым, которым государство задерживало выплаты”.

Иными словами, он публично признает, что финансовая стабилизация осознанно осуществлялась за счет неплатежей, что обнищание целых слоев населения, развал здравоохранения, образования, науки — все это было запланированными “издержками” первого этапа. “Мы пока не достигли макроэкономической стабилизации, хотя эта задача “гайдаровского этапа” относительно проста. Сложности начинаются на втором этапе реформирования: как вдохнуть жизнь в эту экономику, как заставить людей работать, как сделать так, чтобы появились товары”.

На дворе 1995 год. На прилавках товары со всего света. Того гляди, патриоты возведут непроницаемые таможенные барьеры. А наши архитекторы все еще видят свою историческую миссию в том, чтобы “вдохнуть жизнь”, “заставить работать”, “добиться появления”. На своих правительственных заседаниях и научно-практических конференциях они все еще решают, “что делать с производством”. Мечтают “создать механизмы для повышения эффективности развития” и “предпосылки для экономического роста”. Опять расчленяют ее, жизнь, на этапы, формулируют задачи. Причем характерно, что задача макроэкономической стабилизации по-прежнему представляется Ясину “относительно простой”. Он по-прежнему не понимает, что в “смешанной”, “плюралистической” экономике она решения не имеет, что все эти монетарные и кейнсианские рецепты возникли в рыночной экономике и адресовались миру частной собственности и свободного предпринимательства.

И ему, как и другим нашим реформаторам, по-прежнему остается только раздражаться при звуках либеральной максимы, гласящей, что главной предпосылкой оздоровления экономики является прекращение их конструирующей и регулирующей деятельности и создание здоровой правовой среды, в которой люди будут заниматься своими делами, а не принимать навязанное им участие в “творчестве” реформаторов.

С научной точки зрения, состоящей в том, что экономический процесс представляет собой постоянное взаимодействие всех частей хозяйственной и общественной жизни, весь гайдаровский “первый

этап" был такой же бессмыслицей, как ясинский второй. Не было никакой нужды отнимать у людей сбережения и не выдавать им заработную плату, чтобы сократить бюджетный дефицит и остановить инфляцию. Это была научная — и, к сожалению, не только научная — ошибка людей, полагавших, что можно вылечить сначала одно (деньги), потом другое (собственность). Но в лечении денег был бы смысл только в том случае, если бы оно стало составной частью целого букета мер по освобождению народного хозяйства от государственной "оккупации". Оно не могло состояться без свободных цен на труд, на средства производства, на землю и недвижимость. А это означало бы начало полноценной приватизации, в условиях которой нормально заработал бы здоровый частный интерес.

5. Социалистический менталитет в действии (2):

"Яблоко", или кейнсианство на русской почве.

Соревнование приоритетов

Если Гайдар вернется к власти, он повторит все сначала. Достижение финансовой стабилизации остается главной целью в программе "Выбора России". Да и не только в ней. Идея, согласно которой структурной перестройке и приватизации должна предшествовать длящаяся три года финансовая стабилизация, стала общим местом в построениях большинства специалистов по "переходным экономикам". Через десяток лет они придут к выводу, что нельзя было достичь финансовой стабилизации без решительного преобразования собственности. А пока что ведут себя так, будто существует запрет на тему "собственность в посткоммунистической России", а заодно на всякие, даже словесные, попытки уменьшить присутствие государства в экономике. Словно некое Политбюро им строго-настроено наказало: толкуйте, о чем угодно, но сюда, "в собственность", не суйтесь, на главенствующую роль государства не покушайтесь, о ней можно говорить только с одной мыслью: как ее усилить и усовершенствовать.

Если к власти придет Явлинский, он осуществит свой — "кейнсианский" — эксперимент. "Яблоко" ставит на денежное стимулирование экономического роста: тратить "жировую прокладку" в целях быстрого преодоления кризиса.

Но для того, чтобы ее тратить, надо ее иметь. А ее нет, и отсюда и проистекает весь их "инфляционизм".

Инфляция в "Яблоке" не считается опасной болезнью. Они уверены, что "небольшая порция регулируемой и контролируемой ин-

фляции” не только не повредит, а даже пойдет на пользу: поддержит производство, инвестиции, сократит безработицу.

Любопытно наблюдать, как кейнсианство вступает на российскую землю, становится модным и популярным. Когда Явлинского называют инфляционистом, он возражает и говорит, что с инфляцией надо, конечно, бороться, но постепенно. Предлагает (в 1994 году) растянуть удовольствие на три года, до 1997-го. А. Михайлов (один из соавторов “500 дней”) прямо заявляет: “Нужно бороться со спадом, а не с инфляцией”. О. Дмитриева, глава думского подкомитета по бюджету, предлагает смело увеличивать бюджетный дефицит в интересах промышленности. Полагает, что инфляционно профинансированный подъем все окупит. Она знает, конечно, что в 1994 году 96,4% коммерческих кредитов были краткосрочными, от 1 до 130 дней, но почему-то не связывает это с инфляцией, питаемой бюджетным дефицитом.

Когда в 1994 году кипели страсти вокруг бюджета, претензии “Яблока” к Минфину состояли в том, что бюджет не был направлен на борьбу со спадом, то есть не предусматривал роста государственных промышленных расходов и предполагал “чрезмерное сокращение бюджетного дефицита”. Предлагали не бояться инфляции: “Наша инфляция особая. Это не “инфляция спроса”, как на Западе, а “инфляция издержек”. Очень авторитетно заявляли, что “инфляция, которой финансисты привыкли пугать народ, непосредственно от бюджетного дефицита не зависит” (в 1995 году даже правительство публично признало, что инфляция была прямо связана с бюджетным дефицитом и имела классическое происхождение — денежную эмиссию).

Вариант Явлинского для “второго этапа” — в “правильном определении приоритетных отраслей промышленности и формировании будущей структуры”. Названы способы поддержки — льготные налоги, особый внешнеэкономический режим, бюджетные инвестиции, политическая поддержка на мировых рынках. “Вместо того, чтобы просто полагаться на рыночные силы, правительство должно создать серьезную программу развития обрабатывающей промышленности”. Приоритетными должны стать автомобильные и железные дороги, конверсия ВПК на основе кредитов, средства связи и жилье, те отрасли, которые обещают наивысший рост производительности труда и наилучший сбыт.

При нехватке средств (а это всегда) и при отсутствии свободного рынка частных капиталов советская власть только то и делала, что выбирала приоритеты: “индустриализацию”, “химизацию”, “качество” (“пятилетка качества”), аганбегяновское ускорение, селективные программы — космическая, продовольственная, поворот се-

верных рек, БАМ... Любимое занятие: стимулировать одних и "санировать" других. Делили деревни на перспективные и неперспективные — теперь Явлинский предлагает проделать то же самое с промышленными предприятиями. Разрабатывает подробности. Подход к делу научно и системно.

В отличие от Г. Явлинского один из наиболее прогрессивных правительственных экономистов С. Васильев полагает, что надо не дотировать, а постепенно закрывать неперспективные предприятия, одновременно создавать рабочие места и перемещать по стране людские массы. Но как он намерен создавать эти места и кого конкретно перемещать, неизвестно. Пока перемещают чеченцев.

При социализме каждая отрасль получала причитающуюся ей на шкале приоритетов долю. Шкалу разрабатывали в Госплане, руководствуясь указаниями Политбюро о главном и второстепенном. Главным было вооружение. Теперь считают, что вкладывать деньги надо в отрасли-локомотивы ("точки роста"), которые выведут страну из кризиса. "Наша экономика напоминает перенасыщенный раствор, — объясняет С. Васильев. — Пока не будет точек роста, не начнется кристаллизация". Подход должен быть научным, а выбор — правильным. В соответствии с этой установкой, шкалу приоритетов каждый разрабатывает сам. Никак не могут договориться, какие должны быть критерии и какие именно "точки" выбрать.

Академики предлагают поддерживать отрасли потребительского спроса, топливно-энергетический и оборонный комплексы. Е. Ясин считает, что надо прекращать поддержку слабых предприятий, "бросив все силы на развитие того производства, которое может приспособиться к условиям рынка... Если ресурсы переключить быстро, то стабилизации можно достичь в 1996 году. Если медленнее, то в 2000 году или позже". Предлагает переключить быстро. Критерием должны быть "не кем-то сформулированные государственные приоритеты, а один ясный — максимум эффективности в короткие сроки". По всей вероятности, руководимое им Министерство экономики 24 часа в сутки рассчитывает теперь коэффициенты эффективности для разных предприятий, отраслей и сфер деятельности. Научно составляют систему приоритетов. Ищут сильных и частных, чтобы поддерживать их за счет слабых и государственных. Но как только приступят к этому делу, получат высокотeorетическую дискуссию о том, что "частные" еще не значит "эффективные". Приведут пример "РЕНО", опубликуют список рентабельных госпредприятий в Японии. Кто-то обязательно скажет, что и в США, и в Германии есть госсобственность.

"Демократический выбор России" тоже не отстает от моды. Он также считает, что "пора уже переходить к политике поддержки,

стимулирования точек роста", но настаивает: это должны быть "подлинные точки прорыва" — такие, как строительство жилья. Предлагают развивать на льготной основе жилищный кредит ("именно государство должно позаботиться о том..."), ввести жилищные субсидии, векселя. Тогда начнется "подлинный рост". По-прежнему рассчитывают не на частную собственность, не на стимулы для свободного предпринимательства, а на государственное покровительство. Доброе государство, руководимое Гайдаром, не будет давать льготные кредиты генералам, а начнет заботиться об очередниках на квартиры.

Но наиболее диковинный критерий для определения "приоритетов" предлагают наши доморощенные "яблочные" кейнсианцы.

Сферами для бюджетного инвестирования, полагают они, должны быть те, которые обеспечат наибольший мультипликативный эффект. "Чем длиннее технологическая цепочка, тем больше импульсов роста создает отдельная порция бюджетного финансирования, тем выше эффективность бюджетных расходов" (О. Дмитриева). С этой точки зрения, госвложения в агрокомплекс особо оправданы, так как создают спрос на машины, который, в свою очередь, создаст спрос на металл и топливо, а это — на разработку недр. Вложения же в угольную промышленность, напротив, неэффективны, так как ее технологическая цепочка очень короткая. И совсем уж неуместно увеличение расходов на погашение государственного долга, так как это "статья расходов с наименьшим мультипликативным эффектом"! Если бы мерками Дмитриевой руководствовался свободный рынок, то нефтяные месторождения лежали бы до сих пор нетронутыми. Может быть, это было бы хорошо, но это другое дело.

С этих же позиций обосновывают необходимость сокращать экспорт и импорт. "Экспорт ведет к затуханию процесса мультипликации". "Если работники, получив зарплату, полностью израсходуют ее на приобретение ОТЕЧЕСТВЕННЫХ товаров, "эффект мультипликатора" будет продолжаться бесконечно, обеспечивая неограниченное увеличение общего объема производства в стране". При "правильном" ("патриотичном") инвестировании величина мультипликатора стремится к бесконечности. Но "в действительности последовательность циклов получения доходов и расходов затухает по причине импорта". Отсюда вывод: "Для увеличения эффекта мультипликатора необходимо свести к минимуму импорт товаров народного потребления и инвестиционных товаров. Это может быть достигнуто путем временного увеличения пошлин" (Н. Островский).

В социалистическую бытность большинсво граждан потребляли исключительно национальные товары. И все инвестиции шли через бюджет в "технологические цепочки" в точном соответствии с тепе-

решными критериями Явлинского и его людей. Много поглощало сельское хозяйство... А "эффект мультипликатора" не проявлялся. Инвестиции закапывали в песок, купленное на Западе зерно превращали в навоз, как и отечественное. И благосостояния при полной управляемости инвестиционными потоками достичь так и не удалось.

Но, может быть, "Яблоку" с его кейнсианскими рецептами — если и когда оно придет к власти — удастся достичь этого?

Суть, однако, в том, что наша ситуация вовсе не является кейнсианской. И потому кейнсианские рецепты в ней не сработают точно так же, как не сработали монетарные. Чтобы они сработали, нужны свободное движение труда и капитала, умеренные налоги, достаточные заработки — то есть стимулирование потребительского спроса. Кстати, "маленькая хитрость" Кейнса и состояла в том, что он подразумевал стимулирование совокупного — как инвестиционного, так и потребительского — спроса. Это значит, что вкладывая деньги в жилье, надо одновременно предоставлять их и гражданам, чтобы они могли приобретать квартиры. "Мультипликатор Кейнса" — всего лишь образ, использованный при описании определенных явлений рыночной экономики, частнособственнической стихии. Это своеобразное учебное пособие, а не готовый механизм, годящийся в дело в любой экономической среде. Наша смешанная экономика его и не заметит. Кейнс долго смеялся бы, узнав, что российским инвесторам рекомендуют руководствоваться его формулой. "Друзья, — сказал бы он, — зарубите себе на носу: инвестор, который не желает пойти по миру, будет руководствоваться не моими "мультипликаторами" и другими образами, а спросом и собственной интуицией".

Выделенные на селективные программы средства точно так же осядут в заграничных банках или будут проедены номенклатурой, как это было до сих пор с другими поступлениями. Инфляция же будет по-прежнему разъедать экономику и развращать тех, кто занят распределением. А результат "научного" деления предприятий на перспективные и неперспективные будет таким, каким был в свое время результат деления деревень. Ни один назначенный Явлинским на роль "управляющего на контракте" директор не станет играть по предложенным ему правилам: выполнять "пятилетку", зная, что в любой момент его могут сменить на другого временщика с испытательным сроком. Рисковать капиталом, ответственно брать кредиты не будет никто, а больше или меньше воровать будет всякий. Нужно совсем другое, малое и простое: частный интерес собственника, а не временщика и действующий, как часы, механизм банкротств, наказывающий за ошибки любого, кто необдуманно взялся за дело. Ни Эрхард, ни Рузвельт, ни Кейнс, ни даже "шведский социализм"

социал-демократического толка тут вообще ни при чем, как и “китайская революция” с ее тыньаньминями.

И перед Рузвельтом, и перед Эрхардом стояли совсем иные, чем перед нами, задачи.

Эрхард выводил из руин поверженную, расколотую и морально опустошенную Германию.

Рузвельт пытался вывести Америку из “великой депрессии”.

России 80—90-х годов предстоял переход от плановой государственной экономики к рыночной-частнособственнической, от военизированной — к мирной, от экономики, в которой социальная часть бюджета всегда сшивалась из остатков, после военных и хозяйственных расходов, — к нормальной экономике, которая не может не быть социальной, ибо частная собственность со свободным предпринимательством в сильном правовом либеральном государстве и есть та общественная структура, которая производит и обеспечивает все нужное для человека. Роковая проблема социалистической экономики состояла именно в том, что государственное управление и государственная собственность были полностью сконцентрированы на решении “общих” государственных задач. Целью же должно было стать переключение государственного хозяйства прежде всего на частные дела, среди которых социальные должны были занять главенствующее место. Надо было осуществить это качественное превращение — с изменением целей и характера государственного участия в жизни — и не упасть в пропасть, не разрушить то, что было создано миллионами полуголодных людей, освободить те силы, которые сохранили жизнеспособность вопреки творцам и жрецам развитого социализма. Надо было освобождать экономику от государства, запустившего щупальцы в каждую клеточку организма: разукрупнять и переводить в частную собственность все, что поддавалось разукрупнению и приватизации, быстро менять законы, защищать всех тех, кто рискнул начать собственное дело. И это все совсем не требовало какого-то особого умствования, оглядки на какие бы то ни было модели и примеры, кроме одной единственной модели, одного единственного примера, представленных в самом общем виде — модели свободного хозяйства, примера частной собственности. Напротив, умствования могли только помешать — и помешали. В “развитом социализме” к концу его судьбы накопилось слишком много людей, которых ни к чему так не тянет, как умствовать, моделировать, этапничать.

Здесь можно было бы поставить точку. Знакомиться со всеми этими умствованиями и моделированиями и писать о них смертельно скучно. Что имеют в виду Львов с Глазевым, разрабатывая “научную концепцию эволюционирующей системы приоритетов”, известно

им одним. Возможно, просто куражатся. Но писать об этом надо, потому что жить нам не по Адаму Смиту, не по Хайеку и даже не по Кейнсу. Наше бытие все еще, к сожалению, находится в прежней зависимости от раздвоенного сознания совершенно конкретных наших современников. И жить нам “по Глазьеву”, “по Ясину” или “по Лившицу”, а может даже “по Явлинскому”.

Опыт жизни “по Гайдару” у нас уже есть.

6. Социалистический менталитет в действии (3): Формируем. Выбраковываем. Мои разногласия с А.И. Солженицыным и с Н.П. Шмелевым

Александр Исаевич Солженицын вернулся в Россию “растерзанную, ошеломленную, в метаниях ищущую себя и смысл в себе самой”. “Пора приступить к тяжелому труду по обустройству и возрождению России”, — сказал он. И заверил, что “готов искать пути, чтобы выбраться из трясины”.

Как и все сейчас, Солженицын вовсе не противник частной собственности. Даже на землю: “Частная собственность на землю в России — нужна”. Но... не сейчас, не здесь и не так. Надо, говорит он, подготовить условия, создать ПОДЛИННЫХ собственников. “Положение с собственностью на землю сейчас в России очень сложное... То, что готовится сейчас, — это распродажа с молотка. Не созданы условия приобретения земли подлинными земледельцами, у них нет и средств. Не останется ни фермеров, ни землевладельцев — только наемные работники. И жулики, которые будут владеть землей. Вообще России не останется”.

Таков вот итог длительного пребывания на Архипелаге ГУЛАГ, а затем — в Вермонте.

Кто будет готовить подлинных земледельцев к роли не менее подлинных землевладельцев? В каких школах или колледжах? Кто и как будет определять степень подлинности и что такое стопроцентная подлинность? Кто и на основе каких показателей будет решать, что данный владелец земли, пользующийся наемным трудом, жулик? Как, если не посредством свободной торговли землей (“распродажей с молотка” в том числе), устраивать такие дела?

Нет, или все решает свободная торговля, или чиновник. Третьего не дано. А что, где и когда чиновник сделал лучше, чем рынок?

Анатолий Чубайс вот уже четвертый год пребывает в поисках “эффективных” собственников в промышленности. Он их “формирует” и “синтезирует”. Говорит, что уже создал целую армию — 60% российского населения. А эффективность предприятий — по убыва-

ющей. Теперь он занят формированием “стратегических частных инвесторов”. Что это будут за птицы, узнаем потом, когда объявят третий этап в приватизации.

Гайдар выступает с еще более ошеломительными заявлениями. Он утверждает, что полностью провел земельную реформу и никакие новые преобразования здесь более не нужны. Он уверен, что провел “трансформацию отношений собственности” в сельском хозяйстве, осуществил “первоначальное переконструирование организации сельскохозяйственного производства”, решил задачу “формирования новой структуры аграрного производства, соответствующей рыночному типу экономики”, и создал “правовые и организационные основы для становления частного фермерства”.

Но так как он, Гайдар, в ходе всех этих исторических преобразований убедился, что фермерство “не сможет стать в ближайшие десятилетия доминирующим в отечественном сельском хозяйстве”, то “возникла необходимость трансформации колхозов и совхозов в новые производственные образования”. Ее, эту трансформацию, и осуществили. Осуществили методом формальной перерегистрации хозяйств, в результате которой колхозы и совхозы как бы отделили от государства. Тогда и сделали вывод: таким образом, земельная реформа в России окончена. “Вторая реорганизация будет скорее всего иметь отрицательные последствия”.

Знаменательно, что заявление Гайдара об окончании земельной реформы в России и заявление Солженицына о сегодняшней недопустимости приватизации земли были сделаны почти одновременно.

Как и следовало ожидать, частник в колхозно-совхозной среде действительно не выживает. Его травят, дают налогами или уничтожают физически, а ферму сжигают. “Перерегистрация по Гайдару” не прибавила эффективности аграрному сектору, зато позволила ему сказать, что теперь “с рынком земли не нужно искусственное подстегивание”. Намерение провести-таки земельную реформу он называет “популизмом наоборот” (“рыночным популизмом”), уже привычно считая, что с этим делом, как и с приватизацией промышленности, спешить некуда. Надо постепенно, шаг за шагом формировать “истинных”, “настоящих”. И не трогать пока суть, собственность, не менять строй.

При этом ставятся также задачи: конкурсно определять исполнителей госзаказов на сельхозпродукты (считая, естественно, что без госзаказа не прожить), создавать госсистему рыночной и производственной информации для крестьян, разрабатывать нормативные акты для государственной поддержки сельхозкооперации и т.д. Короче: “необходимо немедленно приступить к формированию механизмов регулируемого земельного рынка, позволяющего пере-

распределять (выделено мною — Л.П.) сельскохозяйственные земли в пользу тех, кто способен эффективно работать на них, а также обеспечить разработку государственного земельного кадастра, позволяющего усилить государственный контроль за использованием земель”.

Одного министерства сельского хозяйства, пожалуй, не хватит, создадут второе. И понятно: какой иной выход, если ты по-прежнему убежден, что сельское хозяйство убыточно именно оттого, что слаб государственный контроль и в нем плохо, недостаточно научно регулируется то и это?

Нет, читатель, это не паранойя. Это — социализм. Он у них — и у нас! — в крови, в генах. Неважно, что регулировать. Главное — регулировать. Неважно, кому выдавать льготные кредиты — директорам предприятий или претендентам на жилье. Главное — выдавать льготные кредиты. Неважно, что распределять. Главное — распределять.

Это сознание представляет несомненный интерес для психологов. На материале его исследования можно проследить, как глубоко проникает то, что впитывается бессознательно. Социалистический склад ума — это не выдумка и не умозрительная абстракция. Это — психологическая реальность. Логические способности даже профессиональных научных работников оказываются бессильными перед социалистическим подсознанием. Чтобы перестать быть социалистом, недостаточно, как выясняется, даже если ты посвятишь всю жизнь борьбе против социализма.

Программа “Демократического выбора России”, считающаяся самой “капиталистической” в России, на самом деле тоже во многом социалистическая. Речь в ней идет не о том, как обеспечить экономические права и свободы производителей, а как управлять этими производителями, как конструировать условия их существования. Короче, это опять программа того, что должно делать правительство, “руководя” экономикой.

“Патриоты” наши всюду, как известно, склонны видеть заговоры. И действительно, — подсказки западных советников Ельцина с самого начала и по сей день таковы, что могут смутить и достаточно спокойного человека. Один швед рекомендовал сначала открыть Россию для западных товаров, а затем уже, когда европейские фирмы освоят российский рынок, начинать приватизацию российской экономики.

Но ведь и Николай Шмелев еще Горбачеву предлагал сперва завалить СССР импортом, а потом браться за реформы! На этой позиции стоял и Гайдар, которому и удалось провести в жизнь этот план. Наше госпредприятие по самой своей природе не может

выдержать конкуренцию с западным — частным. Вместо того, чтобы приспособиться, обновиться, оно разложится, погибнет. Частник по зубам только частнику. Это не раз говорилось и Ельцину, и Гайдари. Но они продолжали свою линию на погубление российской промышленности. В команде Гайдара эта “позтапность” называлась “шлюзованием”.

Конечно, читатель, это не заговор. Это опять социализм. Живущие на Западе русские не дадут мне соврать, что западные университетские круги проникнуты им даже, может быть, больше, чем наши. Мы впитывали социализм под давлением и потому не так глубоко, как, например, Гайдар. А люди вроде того шведа, тоже привыкшего мыслить планоно, позтапно и не способного видеть реальность в ее целостности, осваивали его свободно, с увлечением.

Н.П. Шмелев в своей знаменитой статье 1987 года “Авансы и долги” дал сильную критику прошлого. Но за образец реформирования России он предлагал взять НЭП. “Рыночный социализм” занимал умы не только придворных экономистов. Этот ученый также полагал, что до свободного рыночного хозяйства Россия еще не созрела. Он и сейчас, спустя 10 лет, убежден, что “процесс избавления должен быть медленным и постепенным”. Шмелев предлагает “политику выбраковки ненужного”, сокрушается: “Продуманной программы выбраковки, в которой точно было бы расписано, какие предприятия будут жить пять лет, какие — два года, а кому помереть в понедельник, нет ни на центральном уровне, ни на региональном. Рано или поздно эта необходимость будет осознана всеми нашими руководителями”. Этот экономист ожидает, что экономический кризис растянется на десятилетия, что создававшаяся почти 70 лет промышленность никуда не годится, она просто не нужна России, главная национальная задача которой — избавиться от сотен предприятий угольной, металлургической, химической, оборонной промышленности. “Прием на вооружение идеи выбраковки будет означать, что государство многие годы будет жить с бюджетным дефицитом. Придется снова и снова запускать печатный станок, а значит инфляция долгие годы будет реалией нашей жизни”. Инфляцию, считает Шмелев, надо удерживать в пределах 20% годовых, безработицу — на уровне хотя бы 10%.

Программы “выбраковки” по Шмелеву пока еще нет. Но “по-Явлинскому” — на подходе, он уже прикинул некоторые цифры: кажется, по 30 “штук” в год. Работы хватит действительно на несколько десятилетий, так что наши внуки будут жить при капитализме, что обнадеживает. Но, чтобы от слов о выбраковке перейти к делу, уже сегодня необходимо создать на Старой площади ТОО “Госбанкрот”, сеть федеральных и региональных антиинфляцион-

ных комитетов (дабы держать инфляцию в пределах 20%), а также министерство по безработице. Неясно пока, чего будут требовать лоббирующие группы: ускорения “выбраковки” или субсидий для “прозябания”?

И это — лучшие экономические умы России!..

Причины продолжающегося спада производства — трудности со сбытом и неплатежи. Первое в экономической науке называют кризисом перепроизводства, второе — финансовым кризисом. В рыночной экономике существует только один способ решения этих проблем — банкротство. Предприятие, которое не может сбыть свою продукцию, вынуждено или снижать цены, или, если не окупает затрат, объявлять себя банкротом. В противном случае оно становится паразитом, потребляющим доходы других. Когда предприятий-паразитов мало, государство может какое-то время содержать их на средства налогоплательщиков без заметного ущерба для общества. Когда паразитов много, жизненный уровень населения падает ощутимо, страну начинает трясти. То же и с банками. Те, которые не в состоянии выполнять свои обязательства, разоряются. Должны разоряться. Если государство спасает их с помощью печатного станка, то оно делает это за счет граждан. Шмелев полагает, что Россия будет в состоянии еще годы и годы поддерживать на плаву массу фактических банкротов.

Если государство сильно задолжало и гражданам, и предприятиям, оно само становится государством-банкротом. Банки “лопаются”, предприятия закрываются, устаревшее оборудование отправляют в переплавку, все, что можно, продается с молотка, труд и капитал высвобождаются. Граждане меняют рабочие места или получают пособия по безработице. Предприятия меняют собственников или исчезают с лица земли. Другого механизма мир не знает. Чем не устраивает этот механизм Николая Петровича Шмелева, непонятно, но ведь хорошо известно, как заканчивались все без исключения попытки применить что-то другое.

Причиной кризиса перепроизводства в отечественной промышленности стала “приватизация”, не создавшая, как уже говорилось, ни частных предприятий, ни частных собственников. Пока прикидывали, как избежать “обвальной” приватизации, то есть как оставить собственность номенклатуре, внутренний рынок “обвально” заполнился импортными товарами. Тем самым была подготовлена почва для “обвальных” банкротств целых отраслей отечественной промышленности.

Вторая причина кризиса — низкий платежеспособный спрос населения, усугубленный монетарной стабилизационной политикой. У населения нет таких денег, чтобы приобретать товары по ценам,

покрывающим высокие издержки. А издержки высоки потому, что не происходит высвобождения “лишних” рабочих рук, низка производительность труда, устарело оборудование. Одни стимулы (приказы) утрачены, другие (прибыль) не созданы. Правительство, задерживая заработную плату на несколько месяцев, усугубляет кризис неплатежей. Так страна расплачивается за то, что власть — словно прислушавшись к Н. Шмелеву — не желает допускать банкротств и безработицы. Но чего добивается, чего может добиться правительство, сознательно становясь злостным неплательщиком? Не имеющие денег граждане не могут покупать продукцию промышленных предприятий. Не получившие денег за свою продукцию предприятия не могут продолжать производство.

Возникла ситуация, при которой все должны всем и каждый является претендентом на “выбраковку”. Как в этой ситуации проводить ее? Какие избрать критерии? Неконкурентоспособность? Но неконкурентоспособны все. Наличие задолженности? Сегодня все друг другу что-то должны. У нас “выбраковка” предприятий будет проходить точно так, как и отбор поступающих в престижные вузы. В “безводном рыночном бассейне” критериев для объективных решений нет, да и быть не может. Все показатели и пропорции искажены государственными регуляторами. Одни получают дотации, другие нет. Одни списывают долги, другие выкручиваются сами. У одних есть гарантированный госзаказ, у других никогда не было. У одних нормальные рэкетиры, у других — душегубы. У кого-то брат или сват — министр, а у кого-то — пастух. По каким признакам Шмелев будет “выбраковывать”, а Явлинский — “санировать”? Кто, кроме потребителей, в условиях свободной торговли и свободных цен может вернее всего решить, какому предприятию выжить, какому — исчезнуть?

Предлагая не спешить, ни в коем случае не допустить “обвальной” выбраковки, растянуть процесс на десятилетия, Шмелев в то же время обидится, если сказать, что он хочет сделать еще одну попытку доказать миру, что социализм способен ликвидировать кризисы. Николай Петрович знает, что кризисы неизбежны, только он, подобно социалистам всех оттенков, уверен, что государство может и должно эти кризисы смягчать. Сколько еще десятилетий пройдет, прежде чем будет признан тот факт, что все попытки регулировать безработицу неизбежно приводят к ее росту? Как представляет себе Шмелев жизнь страны в условиях сознательно устроенной великой депрессии с 20-процентной инфляцией и 10-процентной безработицей?! В похожих условиях Россия живет только три года, и вон что с нею уже творится...

Чтобы отнять у людей собственность, коммунистам потребовалось несколько месяцев. Возвращать решили в течение нескольких десятилетий. Но уже видно, что даже и так не получится. Новая промышленная структура, отвечающая современным требованиям, может возникнуть только на основе полноценной частной собственности. Именно возникнуть! А сформировать ее сверху, постепенно или ускоренно, ни академики, ни Явлинский не смогут никогда. Как не смог этого сделать Госплан.

Все знают, что несмотря на все усилия, социализм так и не решил продовольственную проблему. А стоило только освободить продовольственные цены и открыть границы, как продукты со всего света хлынули в Россию. Выпущенный на свободу потребительский спрос в считанные месяцы заметно изменил структуру не только внутреннего, но и внешнего рынков. Одни только западные кондитеры заработали у нас на “сникерсах” столько, сколько хватило бы на структурную перестройку всей нашей пищевой промышленности. Но стоит закрыть границы и заморозить цены, как сразу же вернутся и черный рынок, и очередь, и лапшины с вольскими получают любимую работу: решать продовольственную проблему.

Нет более быстрого и более верного способа “сформировать” правильную экономическую структуру, как дать возможность частному интересу и потребительскому спросу определять масштаб и направление инвестиций. А поддерживать надо не предприятия, но людей — тех, кто живет за чертой бедности, стариков, инвалидов, многодетных матерей — и не на “третьем этапе”, а прямо сейчас.

Это и было бы “социальное рыночное хозяйство”.

По Эрхарду.

7. Тайна “евразийского менталитета”, или Кто созрел в России для капитализма

Казалось бы, неудачи гайдаровского эксперимента должны были побудить тех, кто за капитализм, усилить наступление на социализм. Нет, решили в привычном духе. Раз не вышло, значит, еще рано. Не дозрели.

Кто не дозрел?

Ну, разумеется, не реформаторы же. Люди не дозрели, народ не созрел.

В годы “перестройки” академик Абалкин рассказывал ему, народу, как он, народ, будет строить “рынок”: по пятилеткам — как социализм и коммунизм. Народ слушал и дивился, не созревший. Гайдар через месяц после начала реформ подтвердил: “Быстро только кошки

рожают". Но пятилетки все-таки заменил трехлетками: трехлетка финансовой стабилизации, трехлетка ваучерной приватизации, трехлетка денежной, потом еще чего-то.

Вкус к такому планированию, к движению по ступеням, по с т е п е н я м (отсюда ведь и слово "постепенность") совершенно естествен для людей, которые не могут смотреть на общество иначе, как на тесто: созрело оно или не созрело?

В конце прошлого века дискутировали о том, созрела или нет Россия для капитализма, в начале нынешнего — готова ли она к следующей, более высокой фазе. Нельзя, видимо, отрицать, что, при прочих равных условиях, известные итоги этих интеллигентских споров сыграли свою роль в судьбе России. Теперь опять дискуссия на тему столетней давности: созрел ли народ российский до капитализма? Большинство властителей дум считает, что еще не созрел. А.И. Солженицын, как мы видели, среди них. Отдавать в частную собственность землю пока нельзя. Еще не сформировались подлинные собственники. Того же мнения и не любимые им Чубайс с Гайдаром, взявшие на себя нелегкий труд формировать подлинных.

Не это ли, господа, и есть главное в нашем пресловутом "евразийском менталитете"? Жгучее беспокойство за малых сих: насколько подтянулись они к н а м за истекшее десятилетие, столетие, тысячелетие? И желание, в котором робеем себе признаться, — чтобы они, пусть хоть чуть-чуть, но все-таки отставали от н а с . Мы не можем уважать себя, не думая, что стоим над ними и призваны их вести.

И вот мы сокрушаемся: деревня в целом пока не созрела. Неперспективной давно нет, а перспективная отвыкла холить скот и землю, жить тяжелым крестьянским трудом. Стремление деревни избавиться от т я ж е л о г о труда считаем предосудительным, видим в этом не что-нибудь — нравственное падение. Прежде чем о н и окажутся достойными честно владеть землей, надо их приучить быть рачительными хозяевами (поскольку коммунисты не успели). Дел — непопечатый край.

Признано, что частная собственность эффективнее государственной. Идея "общенародной" сгинула вместе с КПСС. Но следующий шаг сделать мы никак не можем. Ищем любые комбинации, идем на все уловки, лишь бы окончательно не осрамиться. Готовы сдавать государственную собственность в аренду на год, на пять, на двадцать пять, на сорок девять лет, но только не превратить ее в частную. Готовы допустить приватизацию "дела", но без земли, без здания, в котором кто-то этим делом занимается.

Только ли потому, что всем так уж хочется командовать, контролировать и брать взятки?

Конечно, нет.

“Пусть лучше достанется государству, чем спекулянту”, — уверенно провозглашает и вполне бескорыстная “чистая” социалистическая ментальность. И единственное уточнение, которое вносит самый заслуженный борец против социализма, — заменяет понятие “спекулянт” на “жулик”...

Ельцинский выбор “смешанной” собственности и “смешанной” социалистически-капиталистической экономики явился венцом размышлений, а не толчком к ним. Иначе наверняка были бы проанализированы возможные последствия. Задались бы вопросом: будет ли “коммерциализированная” экономика, которую создала чубайсовская “приватизация” и которая основана на долевой частно-государственной собственности (коллектив, дирекция, государство, “внешние” акционеры), более эффективной, чем прежняя, чисто государственная? Что произойдет с нею после того, как легализуют частный интерес, который тотчас же вступит в противоречие с государственным? Нет, постепенность была самоцелью. С некоторых пор, кроме постепенности, нам, кажется, ничего больше и не надо. И все, что может прервать постепенность, от лукавого, это экстремизм.

Пора понять: конфликт Гайдара и академиков, Гайдара и Явлинского — буча в одном лагере. Это лагерь “постепеновцев”, настроенных почти так, как русские либералы-постепеновцы прошлого века, но упускающих одну особенность: общество, которое они хотят реформировать постепенно, без резких движений, без “ломки через колено”, — это общество не органическое, к нему — и это показал опыт того же Гайдара — бесполезно подходить, как к обычному, сформировавшемуся естественным путем, отзывчивому на “эволюционные” меры.

В соответствии с азами *либеральной* теории, бизнесу надо было предоставить полную хозяйственную свободу, режим наибольшего благоприятствования. Это означало: низкие налоги, нормальные условия предоставления кредитов, защиту от уголовного и чиновного рэкета. Так мало, в сущности, надо было совершить действий!

Вместо этого российское предпринимательство задавили сверхвысокими налогами, обложили несуразными чиновными требованиями, поставили всех и каждого в неравные по отношению к государству и друг к другу условия. Одним давали льготные кредиты, другим нет. Долги одних списывали, других за долги штрафовали. Одним позволяли приватизироваться и акционироваться, других придерживали. К *либеральному* принципу равенства шансов все, что происходило, отношения не имело. Хаос в экономическую жизнь страны внесла не либеральная реформа. Хаос возник в результате ее отсутствия.

Хаос был внесен и продолжает вноситься самими “реформаторами”, которые все еще держат в своих руках все рычаги власти и пытаются управлять экономической жизнью почти так же, как делалось и 10, и 20 лет назад. Законодательная вакханалия (одно налоговое законодательство чего стоит!) лежит вне либерализма.

Если пройтись с метлой по кабинетам, устроенным для “экономики переходного периода”, освободятся колоссальные суммы для финансирования культуры и здравоохранения. В этом — огромное социальное преимущество *либеральной* хозяйственной жизни. В этом смысл принципа — *малое государство*. В этом суть либерального требования, чтобы расходы государства на содержание самого себя были минимальными. И именно здесь — причина провала Ельцина и Гайдара с их реформами: они не захотели ликвидировать рабочие места тех, кто регулировал цены, устанавливал льготы, списывал кредиты. Приходится ли удивляться, что никто из этой армии не захотел разделить с обществом свои монопольно высокие доходы от продажи нефти и газа? Что никто не захотел отказаться от лакомого занятия — дележа собственности между “лучшими” и “достоинейшими”?..

Горбачев даровал обществу политическую свободу, завершил это дело Ельцин. Сбылась мечта диссидентов: граждане получили свободу слова, митингов, собраний, исследований. Все — от запрещенного Хайека до запрещенной “Майн Кампф” — появилось в открытой продаже. В демократических шествиях рядом шли и христиане, и кришнаиты. Это было огромное завоевание. И можно только поражаться, как быстро к нему привыкли, перестали его ценить и замечать. Оказывается, общество было готово к этой свободе! А не готовы были как раз те, кто заклинал не торопиться, не превысить дозу свободы, не перекормить ею народ. Общество приняло все политические свободы скопом, не раздумывая и даже не благодаря того, кто решился на этот шаг.

Сегодня справочник по политическим партиям, профсоюзным объединениям, всяким общественным комитетам и союзам составляет два тома. Одни возникают, другие исчезают. У одних есть будущее, другие живут один день, но это и есть общественная среда свободной политической конкуренции, ставшая для общества органичной, как бы каждый из нас ни относился к тем или иным партиям, к их неисчислимому множеству.

Не должен ли этот опыт побудить нас скептически отнестись и к заклинаниям тех, кто до сих пор приказывает не спешить с экономическими свободами, планируя возвращать их по крупицам, годами, по моделям, по этапам?

Социализм как идеология не выдерживает свободной конкуренции. С августа 1991 года, после ликвидации КПСС, социалистическую идеологию никто не подавлял. С 1985 года Горбачев и его идеологический аппарат непрерывно повторяли: больше хорошего социализма! Они были уверены, что это как раз то, что нужно людям, что отвечает их чаяниям, что они будут приветствовать в силу своей "социалистической ментальности" — привычек, традиций, воспитания и образования.

И вот — Свобода! Казалось бы, прибавляй социализма сколько хочешь и сколь угодно хорошего. Нет же. Удельный вес социализма в России стал очень быстро снижаться до предела, который неплохо было бы сегодня вычислить: на какой отметке остановится это падение?

В России подтверждается всеобщая закономерность.

В условиях свободы социализм занимает свое место, играет свою роль, но это место и эта роль весьма ограничены как в умах людей, так и в общественной практике. В каждом обществе его удельный вес определяется некоторыми объективными факторами. Но нигде в условиях свободы он не определяет собою лицо общества. Социализм по природе своей прежде всего разрушителен, он всегда играет деструктивную роль и бывает при том очень активен. Но свободное общество с ним справляется.

Россия — не исключение. У нас, как и везде, есть почва для определенной доли социализма. На этом и спекулируют вчерашние идеологи КПСС, которые сегодня делятся с нами своими "научными" предложениями, согласно которым госсектору и госрегулированию хозяйственной жизни в России суждено длительное существование. Ведь еще вчера госсектор составлял все сто процентов, государство проникало в каждую клетку общества — потому-то, говорят они, сам собою и напрашивается вывод, что переход к частной собственности и устранение государства из хозяйственной жизни должны быть и могут быть только весьма постепенными. Однако опыт стремительного падения идеи социализма побуждает нас сильно усомниться в этом прогнозе. Скорее всего, будет совсем по-другому. Как только верхи решатся допустить экономическую демократию, целительные начала свободы возьмут свое. Социалистические институты — в первую очередь институт госсобственности — испарятся с такой же скоростью, с какой возникли партии и общественные движения.

Это — не абстрактное допущение: происходящее с августа 1991 года показывает (и это можно считать научным выводом), что даже условия тех куцых буржуазно-демократических свобод, которые имеются у нас, крайне неблагоприятны для государственного сектора. Госсектор начинает разлагаться с первого дня, процесс приобре-

тает катастрофическую для него скорость. Но в нашей ситуации с ее уродливой, придавленной, частичной экономической свободой, признаком и формой такого разложения становится кристаллизация коррумпированного, коммерциализированного и сращенного с уголовным миром чиновничества. Оно начинает формировать новые структуры (финансово-промышленные группы, холдинги и пр.) для того, чтобы защитить себя от нарождающегося предпринимательства.

Какие силы здесь действуют?

Можно было бы подумать, что виновата во всем уже та малая доза экономических свобод вкупе со свободами политическими, которая была допущена нашими реформаторами.

Но нет — это не сама по себе свобода. Это — частный интерес, который тотчас начинает расти, как только получает для себя хоть какой-то выход. А частный интерес — это огромная сила. И его не удержишь даже теми социалистическими рогатками, которые повсюду у нас наставлены. Да, проходя сквозь них, он уродуется, принимает отвратительные формы. Но уродуясь, своего он все-таки добивается.

Мог ли представить себе директор металлургического завода, дважды Герой соцтруда, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета в 1991 году, что через год у него мелькнет мысль: а не украсть ли мне этот завод?

И он его умыкнет, забыв свои коммунистические убеждения и наплевав на исходящие из Москвы запреты, больше похожие на попустительство.

Разве могли думать “красные” директора еще в августе 1991 года, что они будут вывозить миллиарды долларов за рубеж и приобретать там недвижимость?

При коммунистах был анекдот, что в Одессе на толкучке можно купить атомную бомбу. Есть ли сегодня в России хоть один человек, который сомневается, что это вопрос только времени, техники, а главное — денег?

Частный интерес пробудился мгновенно, вспыхнул, как пожар, и стал творить чудеса — страшные чудеса. Но как не виновата в этом сама по себе свобода, так не виноват в этом и сам по себе частный интерес. И уж тем более не народная ментальность. Виноваты в этом те, кто собственную ментальность выдал за народную и наставил на пути частного интереса всяческие рогатки.

При Горбачеве частный сектор возникал как дополнение к государственному. Горбачев допустил свободное предпринимательство в виде частных, в том числе производственных, кооперативов и предоставил им режим наибольшего благоприятствования. Низкие на-

логи, простота регистрации, поддержка со стороны печати открывали перспективу формирования параллельного частного хозяйственного мира. На первых порах он состоял из мелких предприятий, которые, по мере накопления капитала, становились бы средними и крупными, объединялись бы в финансово-промышленные группы, к которым не имели бы никакого отношения ни чиновники, ни воры, ни воры-чиновники. Государственным предприятиям был предписан режим самокупаемости, самофинансирования и хозяйственной самостоятельности. Они должны были существовать рядом с частным сектором, конкурируя с ним. И конкуренция очень быстро обозначилась: на одном пятачке торговали хлебом, пирожками и пирожными частные и государственные предприятия.

В те годы спор шел о том, что лучше: не мешая кооперативам и частникам, приватизировать госсобственность, или оставить ее в неприкосновенности, обновив фасад, как предлагали сторонники социализма с “человеческим лицом”.

Горбачев сделал выбор в пользу “человеческого лица”: провели выборы директоров и установили для предприятий режим трех “само” — тот самый режим с зачатками экономической свободы, которому и выпало разложить их в считанные недели. Что будет именно так, что свобода и ведущая роль социалистической собственности несовместимы, что социализм бесплоден с любым лицом, я писала еще в 1987 году (“Где пышнее пироги?” — “Новый мир” №6, 1987 год). Будущий член горбачевского ЦК, будущий член ельцинского Президентского совета, видный сторонник и толкователь гайдаровских реформ, один из руководителей самой солидной газеты демократического направления “Известия”, доктор экономических наук Отто Лацис сделал мне выговор: зачем я толкаю под руку “перестройщиков”? Он до сих пор дает понять, что представлял тогда не свою собственную “евразийскую” ментальность, а народную.

Ельцин мог принять эстафету от Горбачева. Под лозунгом “Социализм — это строй цивилизованных кооператоров” уже начал накапливать капитал частный сектор. Упразднение КПСС позволяло сменить лозунг и развернуть широкомасштабную приватизацию госсобственности. При этом не мешать, а всячески помогать кооперативам накапливать капитал и создавать новые рабочие места. Для такой политики в руках Ельцина и Гайдара было все: политическая власть, экономические инструменты — госбюджет, кредиты, налоги.

Новые наши властители сделали, однако, совсем иной — поистине неожиданный — выбор. Льготы, дотации, субсидии пошли крупным госпредприятиям. Кооперативы перевели в режим конфискационно-

го налогообложения, который в считанные недели убрал их с рынка. Прожиточный минимум из-за боязливости, половинчатого освобождения цен поднялся так быстро и высоко, как реформаторы не предвидели, а на крупных предприятиях были отряды рабочего класса, а не группы смирных кооператоров. Пришлось, забыв обо всем, в том числе и о судьбе капитализма в России, печатать деньги для пролетариата. И, естественно, для чиновничества.

“Бюрократическая расточительность прокладывает дорогу высоким налогам... Не было развитого устоявшегося частного сектора”, — мотивировал потом Гайдар свое решение — или вынужденное согласие — задушить кооперативный сектор.

Действительно, “устоявшегося” частного сектора в 1991 году в России еще не было. Он только начинался в виде разрешенной ИТД (индивидуально-трудовой деятельности), семейных предприятий, кооперативов, потихонечку тесня государство там, где мог. Но разве Гайдар сел в премьерское кресло не для того, чтобы ускорить этот процесс, отстранить от дела “перестройщиков”, которые не мыслили дальше НЭПа, боялись и мечтали о России, как о стране с преобладанием частной собственности? Разве не в том должен был заключаться смысл реформ, чтобы до минимума сократить “бюрократическую расточительность”, унаследованную от прежнего режима?

Или он пришел для чего-то другого? Зачем понадобилось в весьма благоприятной, возможно, самой благоприятной с 1917 года ситуации “набрасывать удавку” — по его собственному выражению — “на шею мелких и средних предпринимателей”? Их интересы некому было представлять в Верховном Совете, это верно, но разве не для того Гайдар приводил свою команду в Кремль, чтобы она и была представителем именно этого слоя?

Гайдаровская идеология гласила: реформы требуют от народа жертв, реформа — это больно. Разорение частного сектора и было одной из навязанных нам жертв. Нам в очередной раз показали, чего стоят наши маленькие частные интересы в больших созидательных программах. И показали не только на примере тех частников-кооператоров, которые успели уже народиться и которые тоже ведь, что ни говори, были частью народа — того самого народа, который и весь мог и должен был стать в результате реформ народом-собственником. “Жертвы” сразу же принуждено было принести и все остальное население страны, еще не успевшее стать народом-собственником.

“Да, забрали сбережения. Но на эти деньги и до нас ничего нельзя было купить, — объяснял Гайдар свои действия по инфляционной конфискации всех накоплений прежних лет. — Да, инфляция. Но зато есть товары, а были пустые прилавки и очереди. Да, спад

производства, фактически кризис. Но где вы видели структурные перестройки без спадов и кризисов?"

Сбережения — отложенный спрос и "гробовые" — нужны были гражданам для похорон и могли пригодиться не только для приобретения товаров длительного пользования, но и для участия в приватизации. На них можно было приобрести землю, дом, акции предприятия. То, что эти деньги не лежали в банковских сейфах, а были вложены в дома, заводы и бассейны, — понятно. Банки не держат деньги в сейфах. Они всегда их инвестируют. Но, значит, гражданские накопления можно было и не "списывать" (обесценивать) — можно было дать на них часть приватизируемой собственности — расплатиться тем, во что были вложены банковские деньги: землей, квартирой или акциями Газпрома.

Гайдар предпочел конфисковать.

Товары на прилавках отсутствовали не потому, что их не хватало. Было неправильное соотношение цен, искажена их структура. Установленные в министерствах стабильные цены делали их невосприимчивыми к изменениям спроса. Освобождение цен за несколько недель наполнило прилавки и ликвидировало очереди. Но зачем при этом надо было запускать печатный станок?

Запад давно живет в состоянии "структурной перестройки". Это обычный процесс: одни предприятия внедряют новые технологии, начинают выпускать новые товары, другие расширяются, третьи разоряются и исчезают. Это как и в жизни отдельного человека — все время происходят какие-то перемены. Но отчего структурной перестройке у нас непременно должен был предшествовать кризис? Почему они прилагали такие усилия, чтобы "организовать" этот кризис? Только потому, что руководствовались собственной "евразийской" ментальностью. В современной европейской никому в голову не могли прийти решения, в результате которых в мирное время у людей вдруг пропали бы сбережения, там никто не вздумал бы "организовывать" спад производства для того, чтобы через две трехлетки начать структурную перестройку.

Больше всего Гайдар обиделся на "лоббирующие группы", которые помешали ему осуществить финансовую стабилизацию. Все требовали сохранить их "завоевания". Профсоюзы — рабочие места и заработки. Директора предприятий — кресла и льготные кредиты, дотации и госзаказы, генералы ВПК — оградить их от приватизации. Военные требовали не снижать расходы на вооружение. Министерства, главки, тресты — сохранить их или дать им преобразоваться в холдинги, АО, ТОО и пр. Тем не менее, в 1991 году Россия была живая, демократически настроенная, открытая для новых идей и дел страна. За долгие годы коммунистического строительства она была

приучена к выдержке... От лидеров зависело, что принести “в жертву”: чиновничьи привилегии и часть самого чиновничества как класса, либо медицину, образование, науку, культуру, народные сбережения, народившийся частный сектор. Выбрали второе. Когда пришло время осмысливать уроки, Гайдар признал: “Уступки мощному напору отраслевых лоббистов переложили бремя расходов на “средний класс” — на интеллигенцию”.

Здесь самое время вспомнить знаменитый бухаринский список слоев и групп населения, мешавших строителям коммунизма. Вспомнить не для того, чтобышний раз подчеркнуть кровожадность ушедшего режима. Важнее в данном случае другое: жизнь, люди, их привычки, традиции, вкусы, интересы мешали большевикам, и именно потому все это тогда и принесли в жертву.

Социологи, политологи, реформаторы-неудачники сегодня тоже склонны объяснять наши беды “социо-культурной данностью”, состоянием населения, якобы не доросшего до либеральных ценностей. Слова, правда, другие, да и выводы другие. Бухарин был за то, чтобы частью стереть с лица земли, частью перевоспитать всех, кто мешал великому делу. Отто Лацис за то, чтобы приспособливаться к населению, не готовому шагать с ним в ногу. Но не изменилось главное: представление, что есть строители (партия и правительство, и при них мы, партийная интеллигенция) и есть стройматериал. Мы, строители, мудры, материал — не очень.

Это именно та “ментальность”, самым, может быть, простодушно-откровенным выражением которой и стал тот памятный отчаянный крик известного нашего “демократа”, когда во время знаменитого “выборного” ТВ-шоу в декабрьскую ночь 1993 года он убедился, что бурно набирают очки не его “демократы”, а партия Жириновского: “Россия, ты сдурела!” Россия, видите ли, сдурела...

Когда-то Вас. Розанов, сталкиваясь с подобного же рода “ментальностью” — увы, традиционной для России, — заявил, что название “Евразия”, пожалуй, слишком для нас благозвучно. И предложил другое — “Азиопа”...

Да, в простом народе социализма было хоть отбавляй. Но, как пришлось убедиться, и капитализма хватало. Однако в верхах, в оказавшейся возле “трона” образованной толпе, которая жалуется сегодня на простецов, социализма было в десять раз больше. Только истинный социалист может поставить перед собою цель — самому найти или, еще лучше, своими руками создать “эффективных” собственников. Только настоящий коммунист возьмет на себя миссию распределять собственность между лучшими, достойнейшими, сортировать земледельцев на подлинных и поддельных — с тем, чтобы одних землею наделять, а других с земли сживать.

Что ж, если это ментальность и “евразийская”, то лишь в той мере, в какой и “коммунистическая”. То есть — “азиатская”: не народная, а верхушечная.

И раньше ведь государи-императоры и государыни-императрицы наделяли землей и другим добром за личные доблести, заслуги перед отечеством и прочие, подчас весьма специфические качества. Теперь это приняло системный характер.

В этом, видно, и состоит сегодняшняя тайна нашего пресловутого “евразийского” — простите, “азиатского” — менталитета.

8. Итоги, уроки, перспективы

Плюрализм политической власти означает коалиционное правительство, включающее в себя весь спектр политических сил. В наших условиях это, похоже, коалиция лебеда, рака и щуки или лани с волкодавом.

Плюрализм экономической власти означает сосуществование разных форм собственности и разных прав собственников. Вопрос о том, является ли это образование жизнеспособным, требует уже более строгого научного осмысления. Может ли оно быть более эффективным, чем “чистая” система, будь то плановая государственная, или рыночная частная? Как долго оно, это образование, может просуществовать?

В свое время Россия уже предпринимала попытки частичного возврата к капитализму. Но НЭП, на первом этапе показавший себя замечательно, не состоялся. В ситуации выбора — решительно к капитализму, к свободе, или назад в социализм, в рабство — победил социализм.

Все четыре попытки: ленинская, хрущевская, косыгинская, горбачевско-ельцинская давали определенные положительные результаты. Последняя даже привела, кажется, к решению продовольственной проблемы и наполнила российский рынок ширпотребом.

Но все частичные реформы до сих пор кончались возвратом к социалистическим принципам хозяйственной жизни. И реакция на содеянное была обычно тем свирепее, чем большего удалось достичь на пути к свободе. НЭП выкорчевали с корнем, пролили реки крови. За последующие мелкие уступки либерализму не карали столь сурово, но и не миловали.

Итак, даже НЭПа было мало для того, чтобы уступки “рынку” не могли быть взяты назал. Что же было в НЭПе такого, что предопределило ее поражение?

Академики это очень хорошо знают: командные высоты сохранились за государством, в стране господствовала “социалистическая собственность”.

Вот эти высоты и должны были быть отданы частнику, чтобы дело не погибло. Нужна была быстрая и полноценная реформа собственности, которая единожды вырвала бы у номенклатуры экономическую власть. Это и было то историческое предназначение, которое выпало на долю Ельцина: вслед за горбачевской политической, он должен был предоставить обществу экономическую свободу. В этом случае можно было бы говорить, что реформа состоялась.

Сегодня нет ни одного шанса на то, что сильные мира сего, волной демократического движения выброшенные на вершину власти, сохранят ее за собою и сохранятся сами в мутной среде нынешнего “плюралистического строя”. Долго эта система не просуществует. Она качнется либо в свободу, либо в тоталитаризм. И это — не абстрактное предположение.

Первый этап реформирования проходил в достаточно благоприятных условиях. Большинство населения поддерживало то, что называлось демократическими реформами. Даже конфискацию сбережений, инфляцию, издевательские налоги приняли без особого ропота.

Второй запланированный нашими реформаторами этап начинается в гораздо менее благоприятных условиях. Для санации и новых конфискаций потребуются преодолевать большое сопротивление. Обществу надоело вранье, бестолковость, воровство вождей и бюрократии. Министр Ясин не случайно говорит: “Я за то, чтобы применить государственную власть и поддержать реформы”.

На первом (“гайдаровском”) этапе государственную власть использовали для мобилизации средств в казну, надеясь таким способом сбалансировать бюджет, — иначе Запад не давал кредитов. Общество выдержало. А в той части экономики, куда был допущен кислород, даже заработали рыночные механизмы. Свободная торговля быстро насытила рынок товарами и услугами, дала заработок занятым в ней людям, в первую очередь молодежи.

Что будет примирять население с властью на “втором этапе” реформ?

Не знаю. Могу лишь предположить, что жизнь в условиях шмелевской 20-процентной инфляции и 10-процентной безработицы и явлинской 10-летней “санации” может оказаться для многих невыносимой, и они попытаются взорвать эту вялотекущую регулируемую депрессию. Что будет представлять собой при этом то “применение государственной власти”, которое так понравилось Ясину, сказать трудно. Судя по Чечне, нечто не совсем, по европейским стандартам, обычное.

Учтем еще и следующий фактор. Ныне “и гордый внук славян, и друг степей...” — и наши *государственники* с их селективными программами и точками роста, и *академики* с их “Новыми курсами”, и соперничающие между собою *молодокоммунисты* с их мультипликаторами и акселераторами — все требуют дополнительных бюджетных средств. А, следовательно, — и новых поборов, новых кредитов, новой эмиссии. Для поддержания промышленности правительство вынуждено будет перекрывать импорт. Придется также лишать предприятия тех свобод, которые они обрели в ходе “перестройки”. При этом потребуются немалые усилия, чтобы вогнать директоров в “социалистическое ложе”, задавить пробудившийся у них частный интерес, ибо та управляемость экономикой и обществом, о которой тоскуют *академики*, может быть достигнута только беспощадным подавлением всего и всех, что и кто не вписывается в предписанные “научной программой” рамки. Честное слово, надо и в самом деле почаще перечитывать знаменитый бухаринский список!

Да, СССР доказал, что с помощью жестокой карательной машины и огромных материальных затрат можно заставить всех и каждого подчиниться “общей цели”. И дорога, на которую толкают нас сегодня, как раз и потребует именно таких усилий и именно таких жертв. Это неизбежно. А между тем в сознании и подсознании многих проживающих в России людей прочно заложено нечто такое, что не исключает даже и такой выбор. Видные люди России — от Михаила Горбачева до думских “яблочных” социалистов — все еще верят в “хороший” социализм и не оставляют надежды войти во власть со своими социал-демократическими идеями. А над головами, как всегда, полощутся весьма привлекательные знамена: равенство, справедливость, порядок и стабильность, уверенность в рабочем месте и пусть невысокий, но надежный заработок...

Да, этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы в очередной раз заставить Россию предпочесть свободе теплоту и уют хлева (образ принадлежит французцу Безансону). И это может произойти совсем не так, как обычно думают, полагая, что путь в новый тоталитаризм, нацизм, фашизм лежит через путчи и перевороты. Отнюдь. Финансово-промышленные группы, сращенные с высшим чиновничеством, — это вполне мирный путь к рабству, по нему страна уже движется при наличии “гражданского согласия” в обществе. Социализм с коржаковским лицом может быть устроен без большой крови — сговором (консенсус!) власти, промышленников, банкиров, профсоюзной верхушки и коммунистических (сегодня, как и в начале века называющих себя социал-демократами) лидеров. Но предпринимателям, банкирам, коммерсантам, идущим сегодня в “гражданские согласия” с людьми, которые желают “восстановить

управляемость” в России, все-таки стоит внимательнее смотреть себе под ноги и почаще оглядываться назад. Уже сейчас 80% коммерческих банков стоят в черных списках Центробанка: их могут в любой момент лишить лицензии. А многие директора предприятий найдут себя в других черных списках — на санацию. Немецкие банкиры и промышленники тоже ведь до последнего момента были лояльны к фашистскому режиму.

Итак, перед нами, в сущности, только две возможности. И обе — только “чистые”. Это ведь только гоголевская героиня да и то лишь до замужества — могла обсуждать, как хорошо было бы совместить нос одного претендента на ее руку с дородностью другого.

Если “социо-культурная данность”, отечественная “ментальность” и география России все еще не позволяют ей стать цивилизованной, надо и в самом деле прекратить разговоры о рынке и вернуть “наши социалистические завоевания”. То есть восстановить Госплан, как это предлагают *академики*, Вольский с Владиславлевым, Лобов с Горбачевым, Солженицын со Святославом Федоровым (последние, правда, за особый Госплан — за добровольный). Тогда возродятся и бесплатные ясельки. Критики ельцинских реформ совершенно правы ведь в том, что жизнь “при плюрализме” еще более невыносима, чем при социализме.

Но если дело в ментальности не России, а ее политиков и их советчиков, все еще не потерявших вкуса к строительству “светлых будущих”, есть у нас еще и вторая возможность. Даже если наши сегодняшние или завтрашние вожди какое-то время и попытаются вести нас по пути первой, все равно скорее всего им придется уйти. Кто-то сядет в тюрьму, кто-то отправится за границу, кто-то будет преподавать в отечественном вузе или стричь розы на даче.

Мне хочется, естественно, рассматривать только эту — вторую из возможностей, даже призывать ее, хотя и не дело исследователя говорить о том, что должно быть, его предметы — прошлое и настоящее.

Вторая возможность — это воссоздание капиталистической жизни: свободной конкуренции, частной собственности с соответствующими институтами власти. Сформулированная таким образом цель снимает с повестки дня все программы строителей экономики переходного периода — от Гайдара с Явлинским до *академиков*.

Принципы, которыми будет руководствоваться либеральное правительство, звучат просто.

Жизнью не надо управлять научно. Ее надо освободить и заняться своими делами.

Содержанием экономической жизни станет работа не на государство, а на потребителя. Чтобы до этого дошло само собой, потребу-

ется, считает Явлинский, слишком много времени, народ не захочет ждать, взбунтуется. Григорий Алексеевич предлагает свои услуги — хочет сам сформировать нужную нам экономику, у него, уверен он, получится быстрее. Поблагодарим и откажемся. Опыт даже России показывает, что механизм спроса и предложения незаменим. Научная ошибка формовщиков состоит в том, что они мыслят замкнутыми, конечными категориями. За три года, например, сформировать “правильную” инфраструктуру рынка. Но инфраструктура формируется ежечасно, следуя за вкусами людей, за изобретениями, техническими революциями, это дело без начала и конца. Ясная, строгая, независимая от власти процедура банкротств, в результате которой собственность оказывается в частных руках, важнее самых обстоятельных “программ перехода” к чему бы то ни было. Упраздним статьи бюджета, по которым финансируются промышленные и любые другие предприятия, освободим правительственный этаж, на котором списывают долги и выдают льготы. Либеральное правительство не позволит себе никаких операций по изъятию средств населения. Его принципом будет защита сбережений. Люди должны быть кровно заинтересованы откладывать и вкладывать свои деньги, стремиться к прибыли.

Суть либерального подхода в том, чтобы провести быструю реформу строго капиталистического характера без каких-либо уступок социализму, без устройства “шлюзов”. Для такой реформы хватит одного года. Никаких этапов, пятилеток, трехлеток, промежуточных форм собственности, промежуточных законов, промежуточных правил игры! Совокупный налог составляет 30%, и в течение пяти лет ставки не изменяются. Ежегодная денежная эмиссия определяется в три процента и тоже на пять лет. Бюджетные пропорции не меняются пять лет. И размер пособий по безработице, процедура их выдачи... Именно это — четкие правила хозяйственной жизни и жесткий контроль за их исполнением — обеспечат желанную всем стабильность. Она не может возникнуть от заклинаний мастеров государственного регулирования, она возникнет, когда правила будут одинаковыми для всех, а поведение государства, ограниченное законом, станет предсказуемым. Пока государство безнаказанно устраивает нам то “черные вторники”, то “серые среды”, о порядке говорить не приходится.

Читатель видит: такая программа принципиально отличается от всех программ, авторы которых намерены посвятить жизнь делу реформаторства и подчинить этому делу общество, требуя от него постоянных усилий, согласия, участия, смирения, терпения и жертвоприношения. Тут и ответ на вопрос о затратах на реформирование и о социальной цене реформ. Политическую реформу Горбачев и

Ельцин провели, не потратив на нее ничего. Свободу слова, митингов, шествий мы получили практически в одночасье, так же и многопартийность. Никто не разделял партии на плохие и хорошие, перво-степенные и второстепенные, зрелые или не зрелые, чтобы в зависимости от этого допускать или не допускать их деятельность, больше или меньше ее регулировать. В один день были распущены ЦК, райкомы, обкомы, а ведь можно было это делать постепенно, регулируя, контролируя. Сначала разрешить социал-демократическую партию, но поставить препоны для ее регистрации, назначить громадную пошлину. Запретить употреблять в программе слова “частная собственность”, “капитализм” и посмотреть, что будет с этой партией в условиях “политической трансформации”. Задаться целью “сформировать лучшего генсека”, потом прогнать его за идейные ошибки, разрешить сначала одну демократическую газету, через два-три года — другую. Так действовал бы Явлинский. Ведь это он предлагает механизм “добровольных банкротств хронически неплатежеспособных предприятий” использовать “в плановом режиме”: 50—100 банкротств за три года, каждое из них — по индивидуальному проекту, в каждом проекте пункт: “поиск инвесторов”...

Нормальная рыночная среда быстро формируется в условиях свободного ценообразования. Чтобы освободить цены на все: на сырье, недвижимость, землю, средства производства, энергоресурсы, на все без исключения потребительские товары и услуги, не требуется никаких затрат: клетку открыли и птички вылетели на свободу. Затраты, и немалые, требуются на то, чтобы устанавливать и контролировать цены. Содержание аппарата “по растягиванию реформ” вообще стоит огромных денег. Иное рабочее место — десятки миллиардов рублей. И все — для такой безделицы, как занижение цен на энергоносители ради обогащения тех, кто кладет разницу между рыночной и “социальной” ценой в свой карман.

Чтобы появился рынок труда, отменяются все виды прописок, вводится свободная продажа земельных участков и домов, налаживается выдача пособий по безработице, работодателю предоставляется право кого угодно брать на работу, беспрепятственно сокращать персонал при истощении портфеля заказов. Естественные и понятные каждому вещи... Профсоюзы могут требовать что угодно, но штрейкбрехерство защищается и поощряется законом, потому что свободная конкуренция на рынке труда так же необходима, священна, как и на любом рынке.

Для появления рынка капиталов необходимо их свободное перемещение, гарантированные условия накопления, упорядоченная кредитная система, “божеские” налоги, не изгоняющие капитал за

границу. Для создания земельного рынка следует пустить землю в свободную продажу — и все, и больше ничего, Александр Исаевич! Тот, кто мается, в те ли руки попадет земля (вода, лес), делает посильный, но громадный вклад в устройство ада на планете, — это главное, чему учит история.

Для появления рынка недвижимости придется перейти от “прихватизации” к приватизации — перевести государственную собственность в частную. Вместо тайных конкурсов, закрытых аукционов, отчего-то названных инвестиционными торгами, — открытые аукционы. Ликвидировать смешанную, то есть частно-государственную форму собственности, она нерентабельна. Продать (гласно!) все государственные пакеты акций частным лицам — кто больше даст. Ликвидировать все государственные и полугосударственные образования министерского типа. Быстрая приватизация и раньше могла бы упредить “прихватизацию” собственности чиновничеством, и уже сегодня можно было бы неплохо помогать бедным (“решать социальные вопросы”), то есть делать то, что реформаторы отложили на “третий этап”. Это тоже была бы очень недорогая реформа. Она вызвала бы структурную перестройку, пришлось бы тратить на пособия по безработице, на обучение людей новым профессиям, на помощь желающим заняться мелким бизнесом. Вот это — немалые расходы. Но они эффективнее и гуманнее трат на содержание убыточных предприятий. Деньги получили бы действительно нуждающиеся граждане, а не директора (на особняки под Веной, приобретаемые подставными лицами).

По всему выходит, что с точки зрения интересов общества либеральная реформа и дешевле, и практичнее. В ней есть будущее.

Явлинский намерен глазами своих чиновников рассматривать краткосрочные и долгосрочные проекты реконструкции всех государственных и полугосударственных предприятий и решать, “оставлять ли на месте этих директоров, или поменять”, отпускать предприятия “на приватизацию” или подождать, пока не напишут хороший проект реконструкции.

Либеральный вариант состоит в том, чтобы отпустить всех разом. Кто не сумеет после этого свести концы с концами, тот продаст свою собственность “более эффективным”, которые найдутся сами собою.

Вариант Явлинского очень дорог: шутка ли — рассматривать проекты каждого предприятия, а их не менее 25 тысяч, оплачивать работу комиссий, судебные издержки в конфликтных случаях, количество которых будет равно количеству отвергнутых проектов. И знать (рыночник не может не знать!) при этом, что каждое решение комиссии будет на следующий же день перечеркнуто рынком.

Либеральный вариант — бесплатный. Аукционную продажу предприятий-банкротов можно возложить на фондовые биржи, еще и брать госпошлину за каждую сделку.

Отмечу и то, что стартовые условия для либеральной реформы сейчас, в 1995 году, в чем-то даже лучше, чем в 1985 и 1991. Позади ведь и горбачевская, и ельцинская попытки, частично они уже осмыслены, многие люди отвыкли от социализма, “евразийская ментальность” сдвинулась в сторону свободы. Идея частной собственности ни у кого уже не вызывает разрыва сердца.

Однако во многом ситуация стала и хуже, чем после августовского путча. “Отпускать на банкротства” тогдашние ничейные предприятия было бы проще, чем сегодняшние смешанные, на которых уже так или иначе работает частный интерес: какие-то помещения сданы в аренду, где-то действует СП, где-то АО. Многие директора завладели контрольными пакетами акций. Есть “третьи лица”, в том числе бандиты, негласно владеющие предприятиями. Устроить банкротство такого образования невозможно, если решение будет принимать чиновник, то или иное госучереждение. Выход один: сделать так, чтобы банкротство устраивалось само собой — чтобы в стране не было госконторы, где предприятие могло бы получить (за взятку или без — неважно) сколько-нибудь денег на свое прозябание.

Стартовые условия хуже сегодня, чем в 1991 году, также потому, что за время рыночных реформ, в ходе которых не было банкротств (и Клинтон ни разу не спросил Ельцина, что же это за такие странные рыночные реформы, когда никто не прогорает; Рейган спросил бы; и “железная леди” не постеснялась бы), промышленность резко пошла вниз и число потенциальных банкротств определяется теперь не десятками, а тысячами. Не избежать уже, похоже, и полномасштабного банкротства всей нашей экономики в целом. Гадать можно только о том, произойдет ли это по сознательному решению реформаторского правительства (в котором не будет ни Гайдара с Явлинским, ни Абалкина с Лапшиным), или стихийно. Скорее, второе. Угроза всеобщего финансового краха никогда еще не была так сильна, как сейчас. Неясно и то, выдержит ли торговля роль амортизатора или обрушится вместе с промышленностью. Закроются только заводы, или магазины тоже?..

Надвигающийся обвал не может не заставить тяжело задуматься гипотетического реформатора-либерала. Хорошо, если он придет сразу после массового разорения, а если за минуту до? Услышать, что виноват во всем ты, — страшно.

Что мешало и продолжает мешать началу либеральной реформы хотя бы в умах заметного числа людей “при дворе”? Не только, конечно, корыстные интересы держащих ныне власть, сросшихся с

нею и не желающих выпускать ее из рук. Во многом — и, может быть, даже прежде всего — мешает именно наша всеобщая социалистическая ментальность. Явлинский, Зюганов, многие-многие другие, вплоть даже до Солженицына, искренне полагают, что свободную продажу собственности допустить нельзя потому, что ее скупят “плохие” (жидомасоны, акулы империализма, мафиози или просто неэффективные), а “хорошим” ничего не достанется. Доверяют только государству, то есть номенклатуре, вопреки тому, что она и есть самая воровская часть общества. К государству, к номенклатуре относятся как прихожане к погрязшему в грехах попу. Каким бы он ни был, а на нем все-таки благодать. В этом сравнении больше смысла, чем кажется.

Что же может побудить нас отказаться, наконец, от этой нашей несчастной и роковой социалистической ментальности, от мысли, что народ должен “годить”, что его надо приучать, вычленять из него лучших, достойных собственности, что капитализм надо строить по сценариям, по пятилеткам, что экономической жизнью надо управлять из центра, с помощью мультипликаторов или акселераторов, что, наконец, осуществлять реформы могут бывшие идеологи коммунистического строительства?

Это — главный вопрос. И ответ у меня на него сегодня такой: видимо, все-таки обвал, катастрофа. Ведь по доброй воле, по вольному убеждению, в том числе и научному, и сегодняшние, и завтрашние верхи вряд ли уступят требованиям жизни. Она их может только припереть. И силой, которая будет, наконец, способна их образумить, может оказаться именно сила одной только разрухи, по крайней мере жестокого кризиса, катастрофы. А что при этом нужно будет конкретно делать, давно ясно: меры испытаны в разных странах и разных условиях, осмыслены наукой (и не советской “политэкономией”, которая шикует сейчас в реформаторских клубах и президентских советах).

Напомним эти меры еще раз.

Как можно быстрее передать государственную собственность в частные руки.

Освободить цены на все товары и услуги, на землю и недвижимость.

Установить единые для всех налоговые ставки, вместе они не должны превышать 30% дохода.

Ограничить прирост денежной массы темпом роста валового национального продукта.

Социалистический “большой” бюджет заменить социальным “малым”.

Расформировать все учреждения, занимающиеся госрегулированием экономической жизни.

И не задаваться вопросом, куда девать армию чиновников. Они уже осуществили свое “первоначальное накопление капитала”. Теперь им надо платить в течение трех лет пособие по безработице, равное индексируемой зарплате, и помогать осваивать новые профессии. Эти грамотные и опытные люди не пропадут. Чиновник страшен, пока он служит. Пока он в штате. Сократите его — и он уже не чиновник.

...Люд, опять привыкший не обращать внимание на говорливые верхи, полагает, что новая жизнь началась со “сникерсов”. В действительности она началась с беспрецедентного присвоения ресурсов и недвижимости кучкой людей, именующих себя демократами. В этом деле они следовали и следуют своим понятиям о “первоначальном накоплении капитала”. Достаточно мирными способами был создан и укрепляется строй, который вряд ли будет так же мирно преобразован во что-то более человеческое. По всей видимости, “черные переделы” все-таки грядут. Начало столетия не обещает быть спокойным. Российская история — с ее заговорами, переворотами, царевубийствами и морями крови — продолжается...

Зоя МАСЛЕНИКОВА

ИЗ КНИГИ “ЖИЗНЬ ОТЦА АЛЕКСАНДРА МЕНЯ”

От редакции

В этом году выдающемуся пастырю русской православной Церкви отцу Александру Меню (1935—1990) исполнилось бы 60 лет, а в сентябре будет отмечаться пятая годовщина со дня его трагической гибели от топора убийцы. С каждым годом, благодаря новым изданиям его трудов, имя отца Александра Меня становится известным все большему кругу читателей в России и за рубежом. Трудно переоценить его роль в пробуждении российской интеллигенции от насильственной духовной летаргии, в которой она пребывала. Его подвижнический труд, его книги и сам его образ христианина, обращенного к людям и открытого современности, будут несомненно привлекать внимание не одного поколения мыс-

**Зоя
МАСЛЕНИКОВА**

— родилась в 1923 г. в Керчи. Во время войны служила в армии военным переводчиком. Окончила Московский институт иностранных языков. Скульптор, автор известного скульптурного портрета Б.Пастернака и ряда других работ, хранящихся в музеях Москвы, Петербурга, Красноярска, Чистополя. Автор книги “Портрет Бориса Пастернака” (два издания — 1990, 1995), а также воспоминаний и статей о Б.Пастернаке, А.Ахматовой, о.А.Мене. Автор сборника стихов “Как дышит дух” (1993), ряда стихотворных публикаций в антологиях и периодических изданиях. Живет в Москве.

лящих читателей. За свою недолгую жизнь он помог прийти ко Христу тысячам людей. Для сотен своих прихожан он был настоящим духовным отцом.

Отец Александр Мень успел написать шеститомную историю мировой религии, книги о Христе, о церковной жизни, о молитве, трилогию для детей, семитомный Библиологический словарь, множество статей, подготовил полтора десятка религиозных слайд-фильмов. Сохранилось около тысячи аудио- и видеокассет с его проповедями, лекциями и беседами.

При жизни книги его распространялись в самиздате, издавались только за рубежом и тайно провозились на родину. Теперь труды его — посмертно — печатаются в России и быстро исчезают с прилавков. Общий тираж составил несколько миллионов экземпляров. Выходят все новые переводы его книг и на Западе.

Общество “Культурное Возрождение”, созданное еще отцом Александром Менем и носящее его имя, постоянно знакомит аудиторию с его наследием, регулярно устраивает вечера его памяти. Костяк Общества составляют бывшие прихожане отца Александра, но в работу включились и новые люди, которым близок его образ мыслей. Ежегодно проходят международные конференции, посвященные разным аспектам деятельности этого замечательного человека.

Вышло несколько сборников воспоминаний об отце Александре. Но читателей, несомненно, ждет еще немало новых интересных публикаций. Одна из них — готовящаяся к печати совместно издательствами “Русслит” и “Присцельс”, но еще не вышедшая книга Зои Маслениковой “Жизнь отца Александра Меня”, с которой она познакомила редакцию.

З.Масленикова в течение 22-х лет была духовной дочерью отца Александра и по его просьбе редактором всех прижизненных изданий его книг. За 11 лет до его гибели она подготовила с помощью отца Александра биографическую книгу о нем. Некоторые ее разделы — специально для книги — написаны самим пастырем, который также подарил З.Маслениковой много материалов из своего архива. Вторая часть книги, называемая “Мой духовник”, состоит, в основном, из дневниковых записей З.Маслениковой.

Книга получилась большая, в рукописи — почти 700 страниц, и, конечно, как бы нам ни хотелось, мы не можем опубликовать ее даже в сокращении.

С любезного согласия З.Маслениковой и с ее помощью, мы решили познакомить читателей с некоторыми фрагментами этой книги — теми, где слышен живой голос о.Александра Меня. Это, во-первых, тексты, написанные им по просьбе З.Маслени-

ковой, которые мы печатаем в первом разделе нашей публикации: рассказы о предках, о студенческих годах, об анималисте В.А.Ватагине, пианистке М.В. Юдиной, об А.И. Солженицыне и проч. Во-вторых, пастырские письма о.Александра, адресованные З.Маслениковой, и беседы с ней, а также фрагменты ее дневниковых записей. В третьем разделе мы публикуем два письма о.Александра к З.Маслениковой: в одном он излагает по ее просьбе свое кредо, в другом приоткрывает тайну своей внутренней духовной жизни. Сюда же входит и запись середины 70-х годов его беседы с молодежью о любви. Наконец, в приложении мы помещаем составленную о.Александром "летопись", в которой указано по годам, когда он читал особенно важные для него книги и писал основные труды, а также публикуем его ответы на вопросы анкеты, которую в свое время заполнял Вл.Соловьев.

1. ИСТОКИ

"Вы спрашиваете о моих предках, но я, к сожалению, знаю о них не так много, поскольку не очень большое значение придавал "родству по плоти".

Происходили мои пращуры, очевидно, из Польши, если судить по фамилии Василевские (по материнской линии). Но в начале XIX века они уже жили в России и мой предок был артиллеристом в армии Александра I. Сын его служил 25 лет при Николае I, в силу чего его дети получили право жительства в столицах.

Прабабушка моя, Анна Осиповна, могучая, волевая женщина, рано овдовела и, однако, сумела вырастить семерых детей: Николая, Владимира, Илью, Якова, Розу, Веру и Цецилию (мою бабушку). Трое из сыновей были образованными, инженерами, жили в Москве. До самой смерти бабушка командовала ими. Это были мужики большой физической силы и с хорошими светлыми характерами (впрочем, Илья был смутьян и его едва не приговорили к расстрелу за оскорбление офицера: он был военным, солдатом. Офицер оскорбил его в бане, и он своротил ему набок челюсть. Перед судом бабушка в трауре пришла к генералу, упала на колени и сказала, что он "единственный". Парня не расстреляли, а отправили в ссылку в Иркутск, а потом скоро произошла революция).

Тетя Роза была красивой и мечтала стать актрисой, но бабушка не допустила. Роза вышла замуж за землевладельца из Финляндии и осталась там после революции. Ее дети (мои двоюродные дяди) выросли там. Один погиб во время финской войны. После смерти мужа Роза уехала в Израиль, где и умерла (туда же уехал и ее сын).

Цецилия, моя бабушка, была страстной, религиозной, волевой женщиной. Она мечтала о научной карьере. В 1905 г. уехала в Швейцарию и поступила в Бернский университет. Там встретила юного одессита Соломона Цуперфейна и вышла за него замуж. У меня сохранился брачный контракт. Дед обожал ее до конца дней. Умерли они почти одновременно. Его отец (мой прадед) был одесским контрабандистом бабелевского типа: страшно пил, был отчаянным, имел 22-х детей, погиб, когда на спор полез в какой-то котел.

Бабушка и дед кончили университет по факультету химии с докторскими дипломами. Во время учебы родилась в Берне мама. Дед между лекциями бегал взглянуть на нее. Был он сентиментален, постоянно говорил по-французски (его звали "французиком", быть может, за усы). Окончив, они поселились в Париже. До пяти лет мама говорила только по-французски. Там же родился их сын Лео-Жорж. Первая мировая война застала их в Париже. Дед был мобилизован, а семья поехала в Харьков, где и жила до второй мировой войны. Дед держал потом на стене полевую сумку, в которой застряла пуля, не попавшая в него...

В Швейцарии бабушка слухала речи Ленина и сильно полевела. Потом стала очень советской, с полной искренностью. Поэтому, когда мама в восемь лет потянулась к вере, к христианству, бабушка начала с ней жестокую войну. Но, как стало ясно потом, тщетно. 16-ти лет мама сбежала из Харькова и поселилась у дяди Якова, подружившись с его дочерью Верой. Одно время чуть не стала баптисткой.

Прабабушка жила с ними. Она настояла на мамином браке и дождалась меня. Я ее помню, хотя она умерла, когда мне было полтора года. Кстати, она ездила в Париж проверить, как ведет себя дочь в развратной Франции (при этом не знала ни грамоты, ни французского языка). Есть ее парижское фото в боа и перьях. В молодости она тяжело болела, и ее исцелил о. Иоанн Кронштадтский. Она была религиозной на еврейский лад. Но ее дети стали вольнодумцами, интеллигентами.

Мать Веры Яковлевны увлекалась Толстым. В их доме я в детстве прочел кучу толстовских книг по религиозным вопросам. Но они тогда вызывали у меня острое неприятие. Только сейчас я оценил Толстого более объективно.

Кроме военных и инженеров, у нас в роду было два писателя: Семен Юшкевич и Василевский (псевдоним Не-Буква), посредственные беллетристы.

Родителей отца помню плохо. Дед был очень религиозным. Но я его видел мало (он жил в Киеве). Его отец был булочником (мелкий буржуа), а жена славилась своей мудростью. К ней ходили за советами. Звали ее Дина. Я ее не помню. Отец в детстве учился в ре-

лигиозной еврейской школе. Но учитель, который оказал на него влияние, был атеист. Он убил в отце веру, хотя настоящим атеистом отец никогда не стал.

Вот и все, что помню. Классовое происхождение: мелкая буржуазия, интеллигенция и военные. Все мамы дядья умерли во время войны от голода. Как все крупные люди они не переносили недоедания (Илья мог съесть 20 котлет зараз). Еврейского языка (идиш) никто не знал. Отец помнил иврит со школы и иногда читал наизусть пророков. Но для него это была просто поэзия. Он был очень терпеливый человек, добрый и веселый. Но жил в страхе. Его любимый брат был расстрелян в первые послереволюционные годы (по наговору жены), папа из-за этого не хотел жениться. Женился в 32 года. Атаковал маму много лет (шесть или семь).

Папа и мама любили театр и всегда ходили. Я в этом отношении в них не уродился”.

ОТЕЦ

Вольф Григорьевич Мень родился в 1902 или 1901 году, точно он сам не знал. Отец его был человеком весьма набожным, непрактичным, мечтательным. Жена его родила мужу восьмерых детей, двое детей погибли во время пожара, но шестерых она вырастила. Бабушку эту Алик никогда не видел, а дедушка приезжал к ним в Москву в 1941 году, когда отца арестовали.

Вольф (впоследствии принявший имя Владимир) кончил хедер, а потом, в годы гражданской войны, поступил в Киевский технологический институт. Город без конца переходил из рук то красных, то белых, то зеленых, то неведомо какого цвета банд. В начале двадцатых годов был расстрелян Володин брат. Это глубоко потрясло его. Он дал себе слово никогда не жениться, потому что расстрелянного брата выдала жена, и весь ушел в работу. Помимо технологического института, закончил второй ВУЗ, химический. Работал он в текстильной промышленности, написал и опубликовал множество работ по технологии крашения.

Работая на ситценабивной фабрике в Орехово-Зуево, он познакомился в Москве, в родительском доме своего друга, инженера-электрика Вени Василевского с живой, веселой, прямодушной и ослепительно хорошенькой Леночкой, двоюродной сестрой Вени, которой едва минуло 18 лет [...] На Красную Горку 15 апреля 1934 года сыграли свадьбу.

Неверующему человеку, жившему в постоянном страхе, выпала нелегкая доля: занимая пост главного инженера фабрики, иметь религиозную семью, что само по себе в сталинские времена было опасно. Но более того, семья была связана с какой-то подпольной, запрещенной Церковью. В доме без конца читали машинописную или заграничную религиозную литературу.

Владимиру Григорьевичу пришлось пережить обыск, арест, тюрьму, ссылку. Ему было страшно за своих, особенно во время войны, когда они упорно не уезжали в эвакуацию и оставались в Загорске в непосредственной близости от немцев, уничтожавших всех евреев поголовно. Они внимали не его настоятельным просьбам, уговорам, требованиям — ехать к нему в Свердловск, повинивались не главе семьи, а какому-то подпольному священнику, который и

сам-то был на волосок от гибели и мог их всех погубить с собой в два счета. Он обиделся и на какое-то время перестал писать.

И все же Владимир Григорьевич проявил удивительное терпение и выдержку. В семье не было споров и ссор, все молчаливо считалось друг с другом в быту. Леночка была отличной женой и матерью, все с виду шло гладко. При всей внешней живости и веселости, он был по природе человеком замкнутым, и с годами замкнутость эта усугубилась. В центре всех его интересов была работа, она заполняла его время и мысли, и дети видели его мало. Уходил он на службу, пока они спали, возвращался, когда дети были в постели. Алику только исполнилось шесть лет, а Павлику три года, когда отца арестовали. Правда, через год отца выпустили, но в Москву вернуться не разрешили. Всю войну он жил в Свердловске в разлуке с семьей и работал на большом химическом заводе.

Алику шел уже одиннадцатый год, когда возобновилась жизнь с отцом. Так и закрепилась у Владимира Григорьевича привычка не вмешиваться в то, что составляло центральный нерв всей жизни жены и детей. Впрочем, он не был убежденным атеистом. Иногда, особенно во время болезни, говорил: "Нет, наверное, все-таки что-то есть". Владимир Григорьевич умер в 1969 году.

МАТЬ

Мама о.Александра, Елена Семеновна Мень родилась в 1909 года в Берне в еврейской семье. Бабушка Леночки была очень верующая, мама тоже [...]

Бабушку Леночки в 1890 г. исцелил о.Иоанн Кронштадтский. После смерти мужа она осталась с большой семьей на руках: у нее было семеро детей, старшему исполнилось 18, а младшей — три года. Бабушка заболела. "И вот в Харьков, где она тогда жила, приезжает о.Иоанн Кронштадтский, — писала в своих воспоминаниях Елена Семеновна. — Соседка уговорила бабушку пойти к нему и просить исцеления. Храм и площадь перед ним были полны народа, но соседка сумела провести бабушку через всю эту толпу, и они предстали перед о.Иоанном. Он взглянул на бабушку и сказал: "Я знаю, что вы еврейка, но вижу в вас глубокую веру в Бога. Помолимся Господу, и Он исцелит вас от вашей болезни. Через месяц у вас все пройдет". Он благословил ее, и опухоль начала постепенно спадать, а через месяц от нее ничего не осталось".

Бабушка ничему не учила Леночку, но очень любила ее, больше всех своих детей и внуков, и ее пример и любовь действовали лучше всех нравоучений.

Восьми лет, то есть в 1917 г., Лена поступила в частную гимназию в Харькове. Неправославные могли уходить с уроков Закона Божия, но Лена большей частью оставалась, внимательно слушала объяснения батюшки, выучила молитвы. Она увлеченно читала книги про первых христиан — "Фабиолу" Ев.Тур и "Камо грядеши" Г.Сенкевича. Затем прочла "На рассвете христианства" Ф.У. Фаррара.

В восьмом и девятом классе Лена училась в Москве, а жила у своей бабушки, где очень сдружилась со своей двоюродной сестрой — Верой Василевской. Этой дружбе, продолжавшейся всю жизнь, не мешала разница в характерах. Вера была замкнутой, тревожной, склонной к меланхолии, а Леночка жизнерадостной и общительной.

Живя в Москве, она изредка ходила в церковь, но богослужение на церковно-славянском языке было непонятно, и она стала посещать баптистские собрания.

Закончив девятилетку, Лена вернулась к родителям в Харьков и работала там чертежницей. По воскресеньям ходила на баптистские собрания, и это все больше обостряло отношения с родителями, которые не могли примириться с ее влечением к христианству. После очередного скандала с побоями ей пришлось уйти из дому. Ее приютила одна сестра-баптистка. Верочка кинулась в Харьков, разыскала кузину и увезла в Москву.

В Москве Леночка тоже работала чертежницей-копировщицей. Она была толкова, внимательна, аккуратна, работа ей нравилась, ее ценили, и она поступила на курсы чертежников-конструкторов, что дало ей по окончании хорошую специальность.

Понемногу она стала ходить в церковь. Верочка познакомила сестру со своими подружками, большей частью это были девушки, с которыми Вера училась в университете. Но одна из ее подруг особенно привлекала Леночку. Звали ее Тоней З.

“Тоня была девушкой глубоко верующей, — писала о ней Елена Семеновна, — и это отражалось во всем ее поведении, во всех ее словах. Я знала, что у нее был духовный отец—старец”. Леночке тоже захотелось иметь такого наставника—старца.

В апреле 1934 г. Елена Семеновна вышла замуж за Владимира Григорьевича Меня. Вскоре оказалось, что она в положении. Она знала почему-то, что родит мальчика, и решила посвятить первенца Богу. Все время беременности она провела в глубокой молитве и много молилась о том, чтобы из ребенка вышел верный ученик Христа. Она заранее выбрала ему имя Александр.

Он родился 22 января 1935 года в старом родильном доме Грауермана на Большой Молчановке. Этот роддом существует и поныне.

Тонин старец прислал письмо, в котором давал молодой матери указание, чтобы во время кормления ребенка она непременно читала три раза “Отче наш”, три раза “Богородицу” и один раз “Верую”, то есть краткое молитвенное правило преподобного Серафима Саровского. Он считал необходимым начинать духовное воспитание с первых дней жизни ребенка.

3 сентября 1935 года, согласно обету, Елена Семеновна отправилась с семимесячным Аликом в Загорск, в бревенчатый домик, где скрывался старец о.Серафим (Батюгов).

Елена Семеновна давно уже ощущала себя христианкой, но со своим крещением медлила. Это были опасные сталинские времена, она боялась подвести мужа, члена партии и главного инженера текстильной фабрики. Да кроме того, с большой серьезностью относилась к этому таинству и считала себя еще неготовой.

Покрестив младенца, о.Серафим обратился к молодой матери: “Ну, а ты, голубушка? Давай покрещу”. Несмотря на всю неожиданность предложения, Елена Семеновна вдруг почувствовала себя готовой и решилась. Так, в один день сын и мать приняли святое крещение и сделались членами катакомбной Церкви. Елена Семеновна начала часто ездить к о.Серафиму, ставшему ее духовником [...] После смерти мужа она по несколько месяцев в году жила в Новой Деревне рядом с храмом, где служил сын. Она была духовной дочерью отца Александра и находилась у него в полном послушании. Вместе с тем о.Александр обо всем с нею советовался и мать была всю жизнь его главным другом. Елена Семеновна умерла в 1977 году.

Двоюродная тетка о.Александра, Вера Яковлевна Василевская была для него второй матерью. Для ее не изданной при жизни книги "Катакомбы XX века" о.Александр написал об авторе в краткой справке:

"Вера Яковлевна Василевская, научный работник, специалист по педагогике и детской дефектологии. Окончила философский факультет Московского университета и Институт иностранных языков. Ей принадлежит ряд работ, часть из которых опубликована. Главная из них: "Понимание учебного материала учащимися вспомогательной школы", изд. Академии наук РСФСР, М., 1960".

Вера Яковлевна родилась в 1902 году и так же, как и ее двоюродная сестра, с детства оказалась религиозной девочкой. Кончила гимназию и в 1918 году поступила в Московский университет на психологическое отделение философского факультета. Там она изучала философию и психологию, слушала лекции последних представителей идеалистической мысли в университете профессоров И.А. Ильина и Г.И. Челпанова, посещала религиозно-философские собрания, на которых обсуждались волновавшие участников вопросы христианской веры и духовной жизни. Среди студентов было много "маросейских"¹. Через год после сестры и племянника Вера Яковлевна также приняла крещение и стала духовной дочерью о.Серафима.

Впоследствии работала в Москве дефектологом, писала книги по педагогике. Всю жизнь она была рядом с племянником, к которому относилась с нежностью. Занималась его воспитанием, с детства формировала его научные интересы, помогала писать первые книжки. Часто бывая в доме о.Александра, принимала участие в воспитании его детей. Умерла в 1975 году.

2. ДУХОВНАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Вот что писал о.Александр о "катакомбной" Церкви, где началась духовная жизнь его мамы, тети и его собственная:

"После Октябрьской революции в России существовало два официальных направления русской православной Церкви: "обновленческая" Церковь, впоследствии вносявшая изменения в обряды и открыто сотрудничавшая с властями, державшими курс на искоренение религии как "предрассудка", и "тихоновская". Патриарх Тихон стремился к мирному сосуществованию с государством, но при этом старался избегать тех компромиссов, которые подрывали бы основы церковной жизни.

В 1925 году патриарх Тихон умер. В конце 20-х годов начались массовые репрессии. Храмы и монастыри закрывались, а многие

¹ "Маросейских" — то есть духовных детей знаменитых священников-старцев отца и сына Мечевых, чей храм помещался в Москве на Маросейке.

тысячи священников, епископов, монахов и ревностных мирян отправляли в тюрьмы, лагеря и ссылки под предлогом "борьбы с контрреволюцией".

В то время патриарший местоблюститель митрополит Сергей (Страгородский) выступил с официальным заявлением, отрицая наличие религиозных гонений в стране. То есть он, как и обновленцы, пошел по пути полного подчинения и сотрудничества с государством, гнавшим Церковь.

Ряд представителей епископата и духовенства не согласился с церковной политикой Сергея, отошли от него и составили оппозицию, образовав независимые группы. Большинство непокорных иерархов было арестовано, оставшиеся же на свободе перешли на нелегальное положение и тайно совершали богослужения в частных домах. В московской области к "катакомбной" Церкви принадлежали архимандрит Серафим (Батюгов), о.Петр Шипков (бывший секретарь патриарха Тихона), иеромонах Иеракс (Бочаров), о.Дмитрий Крючков, о.Владимир Богданов и др. Большинство из них архиереем считало епископа Афанасия (Сахарова). К 1954 г. "катакомбная" Церковь фактически перестала существовать. С одной стороны, почти все ее духовенство было разыскано и арестовано, с другой — после Собора 1945 г., избравшего митрополита Сергея Патриархом, епископ Афанасий разослал верующим письмо, в котором призывал к воссоединению с патриаршей Церковью. "Обновленческая" церковь была ликвидирована Сталиным.

Представители "катакомбной" Церкви ставили целью сохранить в чистоте дух Православия в годы церковной борьбы, распри и компромиссов. Среди них были выдающиеся служители Христовы, оказавшие огромное влияние на людей, искавших подлинно церковной жизни.

Духовник еп. Афанасия архимандрит о.Серафим (в миру Сергей Михайлович Батюгов) родился в 1880 году в Москве. С ранних лет он почувствовал призвание к церковному служению. Однако сан он принял в зрелые годы. Получив техническое образование, Сергей Михайлович работал на одном из столичных предприятий. В то же время он стал посещать Оптину пустынь, слушал лекции в Духовной Академии, изучал богословие и святоотеческую литературу. Это был человек разносторонне образованный, с широкими интересами, всецело преданный Церкви.

Рукоположен он был в самое тяжелое для русской Церкви время, в 1919 году, и несколько месяцев служил в храме Воскресения в Сокольниках. Перед тем о.Сергию предложили настоятельство в церкви Вознесения у консерватории. Но он пожалел молодого свя-

щенника о.Дмитрия Делекторского, который должен был ехать в село на верную гибель, и уступил ему место¹.

В 1920 году о.Сергий был вызван Патриархом Тихоном и назначен в церковь святых мучеников Кира и Иосанна на Солянке. В 1922 году он принял монашество с именем Серафим, а в конце 1926 был возведен в сан архимандрита. По слухам, его готовили к архиерейскому служению.

Вскоре о.Серафим был арестован по обвинению в укрытии церковных ценностей [...] Но впоследствии дело против о.Серафима было прекращено, т.к. выяснилось, что ценности увезли сербы (их подворье находилось в церкви Кира и Иоанна).

Декларация митрополита Сергия встретила со стороны архимандрита отрицательное отношение. В июле 1928 года он удалился из храма и перешел на нелегальное положение. По этому пути пошел и другой священник "солянской" церкви, иеромонах Иеракс (в миру Иван Матвеевич Бочаров), который служил там с 1929 по 1932 годы. С этого времени все духовные лица, отказавшиеся принять линию митрополита Сергия, были арестованы (если не успели скрыться), а храмы их были заперты.

О.Серафим только чудом избежал ареста. Некоторое время он тайно жил в разных местах и в конце концов поселился в Сергиевом Посаде (переименованном в Загорск) у двух сестер, монахинь из Дивеева.

Там, в маленькой комнате, перед Иверской иконой Божией Матери был поставлен алтарь и служилась литургия. Здесь бывали и совершали богослужение многие духовные лица. В перерывах между арестами бывал и епископ Афанасий, в юрисдикции которого находился о.Серафим. Сюда, в неприметный дом на окраине города, стекались отовсюду многочисленные духовные дети за советом и утешением. Приходится лишь удивляться, как этот церковный очаг сохранился столь долго (до 1943 года) в обстановке доносов и непрерывных арестов.

В своей пастырской деятельности о.Серафим, как и отцы Мечевы, руководствовался советами оптинского старца Нектария, который в то время уже уехал из разоренной пустыни². Кроме того, его

¹ Отец Дмитрий Делекторский служил в храме Вознесения до самого его закрытия. Оттуда он перешел в церковь Рождества Иоанна Предтечи (на Пресне), где и служил до самой смерти (1970). Будучи уже глубоким старцем, он с благодарностью вспоминал о.Сергия, ибо был уверен, что в селе, куда его назначили, он был бы арестован или убит.

² Отец Нектарий — последний из оптинских старцев (умер в 1928 году).

наставником был старец Зосима (в схиме Захария), приехавший в Москву из закрытой Троице-Сергиевой Лавры.

О.Серафим был подлинным продолжателем традиций старчества. Его подход к людям был всегда глубоко индивидуальным. С каждым человеком он беседовал отдельно, и его советы относились только к данному человеку (он нередко даже запрещал передавать их другим). Главное свое призвание он видел в том, чтобы быть пастырем, кормчим душ, и “оберегать чистоту православия”.

ПОДПОЛЬНЫЙ СТАРЕЦ

Архимандрит Серафим, ставший первым духовным наставником Елены Семеновны, Веры Яковлевны, а потом и маленького Алика, прожил двенадцать лет на нелегальном положении, главным образом, в Загорске. Это был сильный духом и верой человек и на всех троих произвел неизгладимое впечатление.

Вот как вспоминала о встречах с ним Вера Яковлевна: “...Помимо своих духовных занятий, старческого руководства, пастырских, богословских и литературных трудов, батюшка в своем уединении принимал активное участие в жизни Церкви, встречался со многими из своих единомышленников среди церковных деятелей и вел постоянную переписку [...]”

[...] Ничто не казалось батюшке мелким или неважным. Он был воспитателем в самом высоком смысле этого слова: в смысле искусства, материалом которого являются не мрамор, не краски, но тончайшие движения души, то стремление к божественному, которое вложил Господь в Свои разумные создания [...]

[...] Батюшка большое внимание уделял вопросам воспитания и часто давал мне различные советы.

Я всегда сама гуляла с Аликом, уделяя этому почти все свободное время. Батюшка придавал нашим прогулкам большое значение. “Не надо много говорить с ним. Если он будет задавать вопросы, надо отвечать, но если он тихо играет, лучше читайте Иисусову молитву, а если это будет трудно, то “Господи, помилуй”. Тогда душа его будет укрепляться” [...]

“... Однажды Леночка, — писала Вера Яковлевна, — попросила батюшку разрешить сводить сына в церковь, чтобы показать ему благолепие храма. Батюшка благословил, но Алик чувствовал там себя нехорошо. “Поедем лучше к дедушке или в Лосинку”, — просил он. Когда об этом рассказали, батюшка сказал: “Если он чувствует это и разбирается, то и не надо водить его в церковь”.

До пяти лет Алик причащался совершенно спокойно, но к этому возрасту он почему-то начал сильно волноваться перед причастием.

Тогда батюшка решил, что настало время систематически знакомить его с содержанием Священного Писания, так как он уже в состоянии отнестись ко всему сознательно”.

19 февраля 1942 года о.Серафим скончался. Его похоронили в подвале того дома, где он скрывался у дивеевских монахинь. Гроб закопали под тем местом, где находился престол, как это делали в катакомбах христиане первых веков.

РАССКАЗ СТАРОЙ МОНАХИНИ

14 октября 1979 года, на Покров, дивеевская монахиня П., уцелевшая во всех гонениях, рассказывала навестившим ее о.Александру и автору этой книги о том, как тоже на Покров, через четыре года после смерти о.Серафима, арестовали монахиню Ксению, хозяйку дома, в котором жил о.Серафим, а после его смерти и о.Петр. При этом сотрудники госбезопасности выкопали гроб с телом архимандрита.

“Пришли и говорят: “Показывайте, где его закопали”. — “Ну, раз сами знаете, то и ищите, я не полезу”. Полезли они в погреб, выкопали, еле-еле вытащили, никак не хотел он выходить из дома. “Что это он у вас в воде лежал? Вы что, нарочно поливали, что ли?” — говорят. А гроб как новенький, хоть и мокрый, все доски свежие.

Ну, погрузили они гроб, увезли. Сколько-то дней проходит, бежит ко мне вечером Сима, сестра Синклитикия: “Сейчас гроб грязный на кладбище повезли, верно, о.Серафима”.

Бегу я на кладбище, а там две могилы вырыты. И как раз телега с гробом стоит и мужик при ней один лишь. Я его спрашиваю: “В какую могилу-то схоронишь?”. А он говорит: “В какую надо, в такую и схороню. Не твоего ума дело. Но только я его в гробе хоронить не буду. Тес хороший, крепкий, мне веранду строить пойдет. А ты иди отсюда давай”.

Я отошла. А потом он отъехал, я туда. Всего я его общупала, а он хоть и в воде лежал, а лицо белое, чистое, ну, как вчера помер. А сама думаю, сейчас люди с работы мимо пойдут, а я в могиле. Вылезла, домой пошла. Так они его и закопали без гроба. Потом на могиле крест поставили, только без всякой надписи.

А когда кладбище это закрыли, перенесли мы его к сродникам на новое кладбище. Приготовили хороший гроб, раскопали могилу, а он все такой же чистый, ничуть не поврежденный, лицо такое же белое. Теперь он на новом кладбище лежит, батюшка наш, отец Серафим”.

3. РАЗМЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТА МЕНЯ¹

“В юности от старших я часто слышал, что достаточно одной живой веры, чтобы привлечь людей. Частично я с ними соглашался, тем не менее хорошо понимал особенности нашего времени. Во времена апостолов большинство их аудитории было в той или иной мере религиозно. Теперь веру заменило безверие, украшенное секулярными мифами. Нужно было сначала разбить лед, найти новый язык для “керигмы”, проповеди, увязать ее с вопросами, которые волнуют людей сегодня.

¹ В 1953 году Александр Мень, с детства увлекавшийся биологией, поступил на охотоведческий факультет Пушно-мехового института, который находился в подмосковной Балашихе. С 3-го курса охотоведов перевели в Иркутск. В 1958 году во время государственных экзаменов он был отчислен за религиозные убеждения и диплома не получил.

Наставниками моими (кроме родителей) были люди, связанные с Оптиной пустыней и “маросейской” общиной отцов Мечевых. С самого начала в этой традиции меня привлекала открытость к миру и его проблемам. Замкнутая в себе церковность, напротив, — казалась ущерблением истины, которая призвана охватывать все. Когда в 17—18 лет я интенсивно готовился к церковному служению и много изучал патристику, у меня сложилась довольно ясная картина задачи, стоящей передо мной. Я видел, что к вере начинают тянуться люди, преимущественно образованные, то есть те, кто имеет возможность независимо мыслить. Следовательно, священник должен быть во всеоружии. Я не видел в этом ничего от “тактики” или “пропаганды”. Пример св. Отцов был достаточно красноречив. Усвоение культуры нужно не просто для того, чтобы найти общий язык с определенным кругом людей, а потому, что само христианство есть действенная творческая сила. Конфликт Отцов с харизматиками-эсхатологами, отрицавшими культуру и “мирские” проблемы, имел прямое отношение к этой теме. Когда я изучал раннехристианскую историю и писал о ней (в 19—20 лет), я убедился, что в моих мыслях нет никакого надуманного реформаторства, а они следуют по пути, проложенному традицией. Традициям святоотеческой христианской культуры противостоял апокалиптический нигилизм, вырождавшийся в секты, бытовой, обрядоверческий консерватизм, который питался языческими корнями, и, наконец, лжегуманизм, пытающийся осуществлять призвание человека вне веры. Под знаком этого противоборства я и пытался понять (и описать) историю Церкви. Когда я познакомился с “новым религиозным сознанием” начала XX века в России, стало ясно, что “новизна” его относительна, что оно уходит корнями в ранние времена и в само Евангелие. Хотя Новый Завет прямо не касался вопросов культуры (ибо по своей природе он глубже ее), но в его духе содержалось все, что должно было породить линию, ведущую через ап. Павла к св. Юстину, Клименту и далее к классическим Отцам.

О католической церкви в то время я больше всего получал сведений из антирелигиозной литературы, но как только стали доступны более объективные источники, я увидел, что в ней, если говорить о послепатристических веках, творческая и открытая к миру тенденция получила широкое развитие (при этом слепая идеализация католичества была мне всегда чужда). Это “открытие” послужило исходной точкой для моих экуменических убеждений. Правда, я не предполагал тогда, что события начнут развиваться в этом направлении столь быстро. Вся окружавшая меня церковная среда резко осуждала мои настроения. Когда же с понтификатом Иоанна XXIII начался неожиданный поворот, я торжествовал. Ведь раскол наносил

огромный ущерб и диалог воспринимался как оплодотворяющая сила.

В самый разгар изучения католичества (в 21—22 года) я в свободное от занятий в институте время работал в Епархиальном управлении (истопником) и близко соприкоснулся с разложением околоархиерейского быта, которое очень меня тяготило. Но соблазн счесть нашу Церковь мертвой меня, слава Богу, миновал. Хватило здравого смысла понять, что церковный маразм есть порождение уродливых условий, а с другой стороны, я уже слишком хорошо знал (изучая Средние века) теневые стороны жизни и истории западных христиан. Как бы в подтверждение этому мне была послана удивительная “случайная” встреча. Я познакомился в Сибири с молодым священником, который только что приехал с Запада и учился в Ватикане (был католиком). Его рассказы и книги открыли мне много замечательного и интересного, но сам он, мягко выражаясь, не мог вдохновить. Не буду писать о нем. Он много бедствовал и еще служит где-то в провинции. Одним словом, я понял, что маразм есть категория интерконфессиональная, а не свойство какого-то одного исповедания.

Отношение мое к протестантам (и в частности, к баптистам) было сложнее. Я очень ценил евангелический, профетический, нравственный дух, присущий протестантизму. Приехав в 1955 году в Иркутск, я в один день посетил собор и баптистское собрание. Контраст был разительный. Полупустой храм, безвкусно расписанный, унылые старушки, архиерей, рычащий на иподьяконов, проповедь которого (очень короткая) напоминала политинформацию (что-то о Китае...), а с другой стороны, набитый молитвенный дом, много молодежи (заводской), живые, прочувствованные проповеди, дух общинности; особые дни молодежных собраний, куда меня приглашали. Старухи у нас — гонят, а тут меня приняли прекрасно, хотя я сказал, что — православный. У других протестантов (либеральных) я нашел сочетание веры и библейской критики, в котором так нуждался (к слову сказать, за последнее время это сочетание упрочилось в католичестве и у наиболее просвещенных представителей православия). Я не был согласен с основными установками “Истории догматов” Гарнака, которую тогда изучал, но находил в ней много ценного. Сегодня католики сделали уже очень много для преодоления стены между ними и протестантами (у нас в этом отношении дела обстоят хуже, хотя Бердяев и проложил первые пути). При всем том я безусловно не мог примириться с тем, что протестанты оторвались от единства Церкви. Ведь иерархический строй (не говоря уж о таинствах) необходим, ибо создает возможность для Церкви быть реальной силой в мире.

Усвоение русской религиозной мысли нового времени столкнулось неожиданно с определенной трудностью. Прот. Г.Флоровский, труд которого я прочел в конце студенческого периода, называл все это течение “декадентским”. Он предлагал ориентироваться на митроп. Филарета (Дроздова), считал его чуть ли не новым отцом Церкви. Но его аргументы в конце концов меня не убедили. Я прочел убийственную характеристику Филарета у историка С.Соловьева, а к тому же сам факт, что митрополит защищал в своем катехизисе крепостное право, телесные наказания и т.п., решили для меня спор.

В жизнеописании доктора Гааза я прочел следующий эпизод. Этот поистине святой человек вступился за невинно осужденных, на что м.Филарет заметил: “Невинно осужденных не бывает, раз осуждены, значит виновны”. Доктор Гааз тут же нашелся: “Владыко, — сказал он, — вы Христа забыли”. Филарет потом признал свою неправоту, но его высказывание характерно... Едва ли такие идеи мог бы высказать Вл. Соловьев или Бердяев. А ведь дерево познается по плоду. Книга Лескова “Соборяне” дает страшную картину положения “филаретовского” духовенства, к которой добавить нечего.

Этот частный вопрос характерен для всей темы: церковность истинная и церковность, обремененная социальными грехами. Скажут: социальное для Церкви — второстепенно. Но на самом деле Судия будет спрашивать нас не о теоретических убеждениях или мистических видениях, а о том, что мы сделали для Его “меньших братьев”. А это неотделимо от “социального”. Здесь различие между Вл. Соловьевым и его противниками (в споре о средневековом миросозерцании); архим. Феодором Бухаревым и его гонителями (архим. Феодор настаивал на том, что православие призвано сказать свое слово в общественной жизни; за это его лишили должности, звания доктора богословия и хотели заточить в монастырь; в знак протеста архим. Феодор снял с себя сан).

Одним словом, конфронтация внутри самих рамок Церкви была для меня не менее важна, чем конфликт веры с атеизмом. Последний был закономерен и предсказан Спасителем. Церкви надлежит быть в утешении. Впрочем, предсказана и борьба внутри (ср. слова Христовы о волках в овечьих шкурах, слова ап.Павла о “лжебратиях” и т.д.). В сущности, обличение Господом фарисеев было “внутрицерковной” борьбой, ибо они находились на почетном месте в ветхозаветной Церкви, к которой Христос обращал Свое слово.

В связи с этим вопросом и готовя материалы к истории Церкви нового времени, я стал собирать материалы по обновленчеству. С детства мне рассказывали о нем одни ужасы. Но меня интересовало:

есть ли в этом какое-то ценное зерно. В Сибири нашел письма епископов, относящиеся к периоду раскола, прочел книгу Введенского "Церковь и государство". Все это подтвердило худшие предположения. "Обновления" на грош: одно властолюбие, политиканство, приспособленчество. Но потом во время каникул в Москве встретился с А.Э. Левитиным, и он рассказал много интересного о Введенском. Я понял его не только как зловещую, но и как трагическую фигуру, которая в другое время принесла бы Церкви много пользы. Что же касается его "приспособленчества", то оно уже не могло удивить после того, на что я посмотрелся в наших собственных патриархийных стенах. Здесь все отрицательное — от Введенского, но ничего положительного, что было ему свойственно. Как труды м.Филарета не утратили интереса из-за его политических "грехов", так и стенограммы проповедей и диспутов Введенского не должны быть забыты. В них есть немало ценного.

Когда в 1957 году я занялся книгой о Библии, я отодвинул тему новейшей церковной истории на задний план и впоследствии передал собранные материалы тем, кто этой темой занимался вплотную. Кажется, часть их попала потом в руки Л.Регельсона.

Отход от церковно-исторических вопросов (я остановился в своей рукописи на XV веке) был обусловлен тем, что я отчетливо услышал призыв перейти к делам, имеющим прямое отношение к проповеди веры, к уяснению людям смысла Библии и Евангелия. В те годы Св. Писание стало все чаще попадать в руки людей (в иркутском соборе лежали на прилавке и довольно медленно расходились экземпляры Библии издания 1956 года; потом их все скупили баптисты). И я видел, насколько велики препятствия к пониманию Библии для рядового читателя, даже образованного, не говоря уж о прочих.

В результате получился том (400 машинописных страниц) под названием "О чем говорит и чему учит Библия". Книга вышла весьма несовершенная, но она стала черновым прототипом и планом для шеститомника "В поисках Пути" и в первую (по времени) очередь для "Сына Человеческого".

Зимой 1957—58 гг. я впервые ясно увидел, что такое "христианский гуманизм" и "христианский Ренессанс", которые противостояли Ренессансу языческому. Это направление началось с эпохи Франциска и Данте и завершилось св. Григорием Паламой, кватроценто, Рублевым, преп.Сергием. В отличие от "темных веков" Средневековья (X—XI вв.), оно заговорило о ценности человека и мира как творений Божиих. Но этот гуманизм не получил внешне-го преобладания, а остался полускрытым ручьем под горой языческого гуманизма, создавшего светскую идеологию нового време-

ни. Тем не менее ручей этот никогда не иссякал. И сегодня, я убежден, христиане должны стремиться к развитию его линии. Не повторению, а развитию, как обстоит дело и с патристикой. Собственно, патристика была первым выражением христианского гуманизма. Слова этого я не боюсь. Если “Бог отдал Сына Своего” ради человека, то сама Благая Весть возносит человека на недосыгаемую высоту, то есть является гуманистической в самом лучшем смысле этого слова.

О соотношении национального и религиозного я задумывался мало и осознал его внезапно, беседуя однажды со старообрядческим начетчиком в глухой забайкальской деревне. Он сказал мне, что “за Удой лучше поют и служба лучше” (то есть в православной церкви). Я спросил: “Что же вы туда не ходите?” — “Нет, — сказал он, — в какой вере родился, в такой и умри”. — “Ну, а что было бы, — спросил я его, — если б князь Владимир, крестивший Русь, рассуждал бы так? Вы бы и до сих пор поклонялись Перуну?”

Собственно в этом риторическом вопросе содержался ответ на все случаи. Греки, сирийцы, эфиопы, римляне, египтяне, русские, болгары и все другие народы, — если бы они ставили национальную традицию выше веры, то они бы никогда не приняли христианства, а язычники Востока до сих пор поклонялись бы вместо единого Бога ислама — своим идолам. Все это, впрочем, никак не может быть аргументом против национальной оболочки и стиля той или иной религиозной общины и церкви. Нация — это характер, индивидуальное лицо этнического коллектива. Вне ее невозможна ни культура, ни Церковь — как они не существуют для “человека” вообще. Основа всего — диалектика ап. Павла: с одной стороны, он иудей и сознает себя причастным своему народу, а с другой, говорит, что во Христе нет ни эллина, ни иудея. Более того, он говорит, что нет ни мужского пола, ни женского. Значит ли это, что он отрицает существование полов? Он просто указывает на иерархию в духовной жизни. В проявлениях, в земном, во внешнем, в “природном” есть и эллин и иудей, есть и мужчина и женщина. Но в глубине (как теперь говорят, в сфере экзистенциального), во встрече со Христом все это отступает на задний план. Аналогия — искусство. Оно, как правило, есть проявление национальной культуры, но на своих высотах доступно всем векам и народам. Наименее национальна наука, потому что она безлична, как бы “внечеловечна”.

Я отвлекся на все эти рассуждения лишь потому, что подобные мысли занимали меня все то время и не потеряли актуальности и сейчас. Я жил ими всецело, но это не мешало мне оставаться в гуще жизни, работать, учиться, интенсивно общаться с людьми, с которыми

ми меня связывали общие дела, интересы (научные и бытовые), я совсем не выглядел отчужденным. И пожалуй, считал бы такую “позу” ложью, доказательством тому, что христианство “не имеет отношения к жизни”.

4. ВАТАГИН¹

У скульптора В.А. Ватагина в Зоологическом музее Московского университета была своя комната, где он рисовал и лепил зверей. Настал день, когда будущий отец Александр, который хотел научиться профессионально изображать животных, был допущен в “святотелище” — в ватагинскую комнату, и ему было разрешено рисовать и лепить вместе с мэтром.

Так началась странная дружба маститого старца с пятнадцатилетним подростком.

Вот что написал сам о.Александр о Ватагине:

“Работы этого анималиста были мне дороги с раннего детства (иллюстрации к “Маугли” и др.). Я видел, что он понимает саму душу животного. В его скульптурах и рисунках была та зоологическая мистика, которая была мне родственна всегда. И еще я чувствовал (как потом и подтвердилось), что он раскрывал образ животного “изнутри” с помощью средств древневосточного искусства, которым я увлекался. Впервые мы с ним встретились в 1950 году. Меня поразила сначала его скромная внешность: сухонький старичок с редкой бородкой, с дребезжащим голосом, в тюбетейке (было в нем что-то от Рериха). Это казалось контрастом с той первобытной мощью, которая жила в его творениях. Я стал еженедельно ходить к нему на уроки. Он писал картины в Зоологическом музее на Герцена. С жадностью следил я за самим процессом его работы. Это дало мне больше, чем любые слова и книги. Он был простой, добрый, задушевный, какой-то детский. Было сталинское время. Все друг друга боялись. Но он был со мной, пятнадцатилетним мальчишкой, откровенен. Помню, с какой иронией он отзывался о заказе написать орла в подарок Сталину от музея (помню и орла этого). Рассказывал он мне много о своей жизни и понимании зверей. Они его любили. Один раз даже на улице воробей сел к нему на руку. Помню, он говорил, как похожи оказались новооткрытые мозаики Софии на Врубелевские картины. Его мастерская была чудом. Все эти животные были

¹ Ватагин Василий Алексеевич (1883/84—1969) — известный анималист, скульптор, художник, график, автор иллюстраций к книге Р. Киплинга “Маугли” (1926).

не только живы, но и казались одухотворенными (привела меня туда впервые сестра академика Баландина). Он учил меня видеть в фигуре животного основную конструкцию, скелет, лепку мускулатуры. Я по четвергам рисовал скелеты вымерших тварей в Палеонтологическом музее, а в пятницу шел к нему. Он сам показывал мне, как делается реконструкция. Во всем, что он делал и говорил, меня удивляла простота. Позднее я узнал, что он увлекается теософией, и уже будучи священником, я с ним говорил о вере. Он не был фанатиком, просто очень любил Индию и охотно принимал все, что от нее исходит. Как-то он в недоумении спросил меня: а что с этим будет в Царстве Божием? Он имел в виду свои произведения. Я высказал мнение, что все прекрасное, созданное человеком, причастно духу и в каком-то смысле приобщено бессмертию (эту мысль я нашел и у Д.Андреева). О Царстве Божием мы говорили в связи с различием взгляда на мир и его динамику в Индии и в Библии. Он слушал внимательно и не возражал. Догматиком в теософии он не был. И не создавал своих концепций, как Рерих”.

5. ВЕЛИКАЯ ПИАНИСТКА

О.Александр писал об этой дружбе:

“С Марией Вениаминовной Юдиной я познакомился в сентябре 1965 года на выставке Василия Алексеевича Ватагина. Он пригласил меня на открытие, подарив каталог с надписью: “О.Александр, пастырю душ иже и скоты милующему, от зверолобца Ватагина”.

На вернисаж я пришел с мамой. Вдруг подходит к нам странное, как мне показалось в первый миг, существо: огромная голова, волосы, как у Листа, белый воротничок пастора и черная хламида. Это оказалась Ю[дина]: “Мне говорили, что вы хорошо обращаете людей”. — Это о нас с мамой. Я ответил, что не очень люблю это слово, что обратить (словно завербовать) никого нельзя. Что это происходит в самом человеке. Мы же можем только помочь.

Поговорили о Ватагине. Мария Вениаминовна его тоже любила. Вскоре она приехала ко мне в церковь. Она с горячей симпатией отнеслась к настоятелю о.Серафиму Голубцову, поскольку он был родным братом нашего с ней покойного духовника о.Николая Голубцова. Но скоро он оттолкнул ее своим резким осуждением письма Эшлимана и Якунина. Мария Вениаминовна была всегда на стороне тех, кто гоним. Однако в храм к нам продолжала ходить, часто причащалась.

Нередко мы с ней вместе ходили по требам. Странная это была пара: тридцатилетний священник и женщина с палкой, в кедах, в черном балахоне, похожая на старого немецкого музыканта. Харак-

тер у нее был порывистый и экзальтированный, но ум ясный и глубокий. Говорить с ней было одно удовольствие. Она все понимала с полуслова, всем интересовалась, была, как говорят, “молода душой”. Увы, я забыл, о чем мы говорили, хотя тем было много. Сама она рассказывала о Пастернаке и других своих друзьях.

Ей очень хотелось провести цикл концертов “для Церкви”, с пояснениями. Ее представления об официальном церковном мире были довольно наивными. Но я все же поговорил с нашим академическим секретарем о.Алексеем Остаповым, человеком широким, любящим искусство и очень влиятельным (он умер сорока четырех лет). Он с готовностью согласился устроить концерт в Академии. Концерт прошел хорошо, все были в восторге. Она говорила прекрасно, но в ее словах были уколы в адрес атеистов, что и привело к табу на дальнейшие выступления.

Вскоре ей разрешили устроить вечер в зале Чайковского. Она прислала билеты о.Алексею, мне и другим из Академии, таким образом, в зале собралось много церковной публики. Мария Вениаминовна позвала меня в уборную и в присутствии женщин, которые перевязывали ее потрескавшиеся пальцы, просила благословить ее...

Было в нашем общении печальное событие. Она познакомилась у меня в церкви с молодым человеком Е.Т. (впоследствии эмигрировавшим писателем) и очень привязалась к нему. Но потом он взял у нее “Столп” Флоренского и исчез. Она умоляла меня вернуть книгу. Была очень расстроена. Потом все уладилось, но с ним она порвала... Умерла М.В. внезапно. Говорят, что на нее страшно подействовал второй брак ее крестницы Н.С., которая вышла замуж за Солженицына. Она категорически была против (между тем как Н.Я. Мандельштам сказала, что Солженицын “тоже имеет право на счастье”). Отпевали ее в Николо-Кузнецкой”.

Пополним письменное свидетельство о.Александра его устным рассказом о Юдиной и некоторыми личными воспоминаниями автора.

Юдина была фигурой замечательной. О.Александр считал ее почти гениальной. Семидесятилетняя женщина обладала энергией и пылом тридцатилетней. Ее образованность и широта ума были феноменальны. Правда, ум ее был экстравагантен и способна она была на самые неожиданные выходки, из-за чего многие считали ее полубезумной. Но на деле она все отлично понимала и в разговорах с о.Александром высказывала трезвые и веские суждения. Он стал ее духовником.

Феноменальной пианистке редко удавалось выступать. Однажды она пригласила батюшку на свой концерт в зале им.Чайковского. Обычно во время ее выступлений на эстраде стоял стол, заваленный книгами. В первом отделении она почти не играла, а делилась с публикой своими мыслями о высоких материях, читала ей стихи и прозу любимых авторов. Среди них могли быть Вл.Со-

ловьев, Мережковский, Андрей Белый и Пастернак — в общем представители идеалистической мысли.

А во втором отделении она садилась за рояль в черном бархатном балахоне, и начиналась магия. Любое произведение она раскрывала слушателям в совершенно неожиданном и притом достоверно-убедительном ракурсе и часто дарила публику исполнением еще никому, кроме нее, у нас не известных произведений западных композиторов, с которыми состояла в переписке и которые присылала ей ноты новых сочинений.

Она дружила со многими выдающимися современниками, в частности, с Б.Л. Пастернаком. Когда происходило многочасовое прощание с поэтом в его переделкинском доме, перед которым выстроилась трехтысячная очередь, М.В. Юдина вдохновенно и скорбно играла в спальне вдовы поэта по очереди со С.Рихтером и С.Нейгаузом.

Потом она приходила в памятные дни на могилу Б.Л. Пастернака и в присутствии большой толпы становилась на колени, крестилась, клала земной поклон и громко читала по молитвослову молитвы. В ответ на ее неукротимую проповедь веры ей не давали концертировать.

Духовничество о.Александра и дружба с ней продолжались до самой ее смерти.

Отпевали Марию Вениаминовну в Николо-Кузнецкой церкви, где настоятелем был о.Всеволод Шпиллер. Она лежала в гробу, озаренная удивительной красотой, ее беломраморный четкий профиль был обращен к небу и, казалось, в последний раз безмолвно проповедовал о небесных тайнах.

В церкви собралась вся истинная московская интеллигенция. Большой хор в полном составе пел проникновенно и торжественно, как и надо петь для большого музыканта. Священники, в числе которых был и о.Александр, отпевали с особым сосредоточенным благоговением, подобающим проводам в иной мир ревностно служившей Христу души.

6. СОЛЖЕНИЦЫН

А вот запись о.Александра об еще одном его близком знакомом:

“Два слова о К¹. Я прочел рукопись его романа, и он мне очень понравился. Я захотел с ним встретиться. Мой знакомый священник Н. был с ним тесно связан. К. учил его детей математике, кажется. Вместе с Д². и другим моим другом-священником мы поехали в их город³ на машине. Приехали в темноте. Отец Н., хотя и был предупрежден, долго не открывал: “Кто, кто?” — “То, что надо!” — ответил мой друг А. Отец Н. впустил нас, и мы сели, беседуя об общих делах. Я видел фото К. в его книге. Думал, что он такой — мрачный, угрюмый волк. И вдруг входит высокий, порывистый, веселый чело-

¹ А.И. Солженицын, которого о.Александр для конспирации называл “Костей” или “Саичем”.

² Отец Дмитрий Дудко.

³ Рязань.

век, похожий на норвежского боцмана. Задаёт быстрые вопросы, смеется, возбужден, но голова ясная. Умный человек, наэлектризованный, полный энергии. Что-то мальчишеское. Малоинтересное пропускает мимо ушей, а чуть речь зайдет о задевающих его темах — весь напрягается, весь внимание. Спросил Д., где сидел, как, когда и т.д. Спрашивал меня о катакомбах, об обстановке, людях. Поговорили о его книге. Он сказал, что сейчас весь в работе, что мало читает — только то, что ему нужно. Поэтому отказался взять предложенные ему книги. Настроен оптимистически. Как полководец, уверенный в победе. Рассказывал, как одно высокое лицо молча жало ему руку. Верил, что перелом совершился и все идет в нужную сторону. Мы тогда все на это надеялись. Это был 66 или 67 год, не помню. Потом мы стали с ним встречаться. Ему пришла в голову идея построить храм, если будут средства. Я говорил ему, что это утопия, но он был непоколебим и хотел это дело завещать мне. Я отвез его в Академию, познакомил с о.Алексеем Остаповым, мы посмотрели наш музей. У него роились в голове самые фантастические планы. Мы с о.Алексеем были настроены скептически. Но он попросил найти архитектора, который бы создал проект, чтобы здание было мемориалом пострадавшим. Я нашел. Это был Ю.Т.¹, молчаливый художник, абстракционист и экспрессионист. Но он создал что-то неудобоваримое. На обсуждении были с К. у него, он привел Ростр². Тот просил у меня что-нибудь для детей. Я дал “Откуда”³ — тогда это была еще фотосамоделка.

Православным К. еще не был. В 69 году он прочел СЧ⁴ и Небо⁵ и сказал, что все эти ангелы и чудеса ему непонятны. Толстой был ему ближе. А Н.Я.М.⁶ он сказал, что ценит Конфуция. Она со свойственной ей язвительностью спросила, где он читал о Конфуции — не в отрывном ли календаре? Большой ум, хотя и несколько односторонний, и малая осведомленность. Его “христианизация” происходила у меня на глазах. Он начал впервые знакомиться с русской религиозной философией и был поражен. Помню, как в его деревне, на даче, он мне с восторгом говорил о только что прочитанных “Вехах”. Тогда еще он жил с Н., и она гордилась им, хотя и была далека от его неопитства и вообще от веры. Все помалкивала. Вместе с ней и с ним мы ездили выбирать место (под Звенигородом) для будущего

¹ Юрий Титов.

² Ростропович.

³ “Откуда” — книга о.Меня для детей “Откуда явилось все это”.

⁴ СЧ — “Сын Человеческий”, книга А.Меня.

⁵ Небо — “Небо на земле”, книга А.Меня.

⁶ Н.Я.М. — Надежда Яковлевна Мандельштам.

храма. С нами был и архитектор с женой. Н. была подтянуто-спортивной и молчала. Видно, относилась ко всему, как к детским затеям. Бывал он у меня дома несколько раз и в церкви. Помню, когда мы гуляли, беседуя, перед храмом, один человек остановился и долго на нас смотрел издали. Загадка. Это не был соглядатай. И в лицо К. еще мало кто знал, так что узнать едва ли могли.

В 68 году он смотрел на события с убеждением, что все кончится прекрасно. Увы, вскоре мы убедились, как он ошибся. Все дела он поручал Н.С. и очень ей доверял. Мы встречались с ним у нее дома. И по их тону я понял, что тут нечто большее, чем сотрудничество. Начинались его тяжелые дни. Он был затравлен. Не мог работать. Дал мне переделанный вариант книги. Я протестовал. Одна вещь там показалась мне портящей все. Но он был не из тех, кто слышит критику. Это свойство многих великих. Он мне напоминал Толстого. Та же увлеченность одной идеей. Та же уверенность в себе, тот же максимализм и радикализм. Он все время строил планы. Предложил создать нечто периодическое. Я сказал, что дело тупиковое. Но он стоял на своем. Н.С. сказала, что готова принять удар на себя. Он это принял как нечто само собой разумеющееся. Но я решил показать ему ошибку наглядно. Предложил собрать материал для первого номера. Он бился, бился, и ничего не вышло. Тогда я предложил — есть материал, давать его в готовые опусы. Так возникла идея, лишь начавшаяся реализовываться. Но потом все заглохло. Пришли другие люди и захватили инициативу. И сам К. невольно был к этому причастен. Но мы помогли ему с его исторической работой. Когда она вышла, я прочел и написал ему сдержанный и критический отзыв. Потом он просил помочь ему написать письмо к П.¹ Я помог, но протестовал. Знал, что это бессмысленно. Ввиду обстоятельств пришлось вернуть ему второй вариант Кр.² Сам я был в то время, как он сам про меня выражался, “по горло в опасности”. Мое второе крупное ЧП³ было связано с его книгой еще до нашего знакомства. Его труд я воспринял как миссию, имевшую провиденциальный смысл. Именно такой человек, который бил в одну цель, мог все это осуществить. Потом перед отъездом мы больше общались с Н., которая стала его женой. Получал я от него не раз приветы и писал ему краткие записки в новое место жительства. Но сам он мне не писал, как договорились (из-за обстоятельств). Он был высшей точкой той волны, которая пришла в послесталинский период. Теперь идет что-то новое”.

¹ Возможно, имеется в виду патриарх Пимен.

² Кр. — роман А.Солженицына “В круге первом”.

³ Имеется в виду второй обыск.

II

1. НАША ВСТРЕЧА

На дворе был 1967 год, когда я впервые оказалась в гостях у верующей интеллигентки, Елены Александровны Огневой.

На столе лежала фотография. Молодой священник с прекрасным вдохновенным лицом произносил проповедь перед кучкой деревенских старушек.

— Кто это? — воскликнула я, схватив фотографию.

— А почему вы спрашиваете?

— Да потому что это необыкновенный человек!

— Вы находите? Да почему же?

И тут я выдала развернутую характеристику лицу, увиденному на фотографии. Не знаю, может быть, мне это кажется, но недаром я все-таки портретистка. Мне именно фотография говорит очень много, лицо читается, как книга, и о незнакомом человеке я могу говорить подробно и обстоятельно.

Помнится, в священнике этом я почувствовала огромную одаренность и целеустремленность, поняла его как источник света и мощный генератор добра.

Действительно, после Пастернака я не встречала людей такого масштаба. Даже Ахматова, позировавшая для портрета, показалась слишком величественной, чтобы быть великой. Я сказала Елене Александровне, что эту голову надо непременно лепить.

Через несколько дней Елена Александровна предложила поехать с ней в загородную церковь, где я могла бы увидеть этого священника.

Выйдя из электрички на станции Тарасовка около шести вечера, мы вдруг очутились в тридевятом царстве. Дело было перед Новым годом, и запущенный праздничным снегом поселок с его деревянными избами в резных наличниках казался погруженным в глухую ночь. А в светлых окнах за тюлевыми занавесками силуэты елок обещали что-то трепетно-таинственное, как в детстве...

Дорожка привела к огромному темному храму, окна которого светились во мраке так же маняще и загадочно.

В церкви шла всенощная, народу было немного. Молодой иерей, еще более красивый, чем на фотографии, служил так просто, будто нет ничего естественней, как махать кадилом, подавать возгласы хору, кланяться, благословлять и мазать лбы молящихся елеем. Вместе с тем явственно ощущалось, что здесь совершается полное

недоступного мне смысла действо и священник благоговейно общается с Кем-то невидимым. Присутствовать при этом мне, неверующей, показалось кощунственным.

Мне раньше иногда приходилось заглядывать в храм. Лет за семь до того довелось устраивать отпевание Пастернака на дому, и я без смущения разговаривала по этому поводу с батюшкой из Переделкинской церкви. Да и в беседах с владыкой Сергием я не испытывала особого благоговения, только уважение, не больше. А тут мне хотелось вжаться в столб, у которого я стояла, исчезнуть как-нибудь от мучительного чувства непричастности к происходящему.

Служба кончилась, народ расходился. Священник вышел из алтаря. Елена Александровна поговорила с ним и вдруг, к ужасу моему, позвала:

— Зоя Афанасьевна, идите сюда, я вас познакомлю с отцом Александром!

— Зачем это? — подумалось мне. — О чем я буду с ним говорить? Я видела его в богослужении, этого достаточно!

Ноги налились свинцом, и я с трудом преодолела те несколько шагов, что нас разделяли, не догадываясь, что иду навстречу своей судьбе.

Сразу уловив, что со мной происходит, отец Александр заговорил просто и дружески:

— Здравствуйте! Я рад случаю сказать вам, что мне очень нравится ваш портрет Пастернака. Большая удача.

— Да где же вы могли его видеть? — изумилась я. — Он никогда не выставлялся. В Переделкине?

— Нет. У Веры Николаевны и Леонида Евгеньевича.

Вот так сюрприз! Японистка и поэтесса Вера Николаевна Маркова и ее муж, художник Леонид Евгеньевич Фейнберг были самыми большими моими друзьями, в их доме я годами бывала как своя, но и слыхом не слыхивала, что у них есть знакомый священник! В те годы, впрочем, такие знакомства скрывали даже от близких.

Мы вместе пошли к станции.

О.Александра ожидали какие-то люди, тут же к нам присоединившиеся. Мы шли гуськом по узкой дорожке, петлявшей между высокими сугробами, а он подходил то к одному, то к другому и о чем-то тихо разговаривал. Я не понимала, что тут происходит общение духовных детей со своим пастырем, и сказала своей спутнице:

— Ну, в этих проводах оперного тенора после спектакля я не участница. — И тут заметила, что рядом со мной идет о.Александр. Он и виду не подал, что слышал мою язвительную реплику, напротив, заговорил со мной приветливо. Он попросил передать нашим

общим знакомым, что будет у них в такой-то день после Рождества. С милой застенчивостью сказал, что рад был бы увидеть у них и меня и продолжить знакомство.

А дальше события развивались бурно и стремительно.

2-го января я заболела. В ухе возникла такая нестерпимая боль, что я в прямом смысле слова билась головой об стенку. Профессор Загорянская, принявшая меня дома по просьбе моих друзей, облегчила страдания, поставила диагноз и объяснила, что требуется немедленная радикальная трепанация черепа.

— Отправляйтесь в мою больницу на рентген и готовьтесь к операции, — сказала она.

Елена Александровна Огнева, с которой мы быстро сошлись, была в курсе моих дел и передала отцу Александру о неожиданной беде. Я думаю, что это по его молитве мне выпал один шанс из ста, и операция меня миновала. Врачи и поныне всякий раз удивляются счастливому течению неизлечимой болезни.

Только отступила угроза операции, как грянула новая беда. 10 января 1968 года с мамой на улице случился инсульт, и, не приходя в сознание, она скончалась. Маму должны были похоронить в Абрамцеве, близ родительской дачи, и сначала папа согласился по дороге заехать с гробом в Тарасовку для отпевания, однако потом отказался: ему, партийцу, было неудобно перед своими коллегами, партийными военными, собиравшимися присутствовать на похоронах.

Елена Александровна утешила меня: объяснила, что отпевание можно будет совершить позже заочно.

В первые дни я нужна была отцу непрерывно, но примерно через неделю после похорон выбралась в Тарасовку. Отец Александр был предупрежден.

Мы встретились нечаянно в дверях храма. Поверх черной рясы на плечи его была накинута спортивная куртка цвета хаки. Он объяснял мне, как заказать отпевание, где мне стать, а в глазах его было столько доброты и понимания того, что значит потерять мать! Когда он отошел, окаменение прошло, и я с великим облегчением впервые с 10 января заплакала.

Привезли покойницу, и отпевание было совместным. Когда оно окончилось и о.Александр ушел в алтарь, я вышла из церкви и пошла к станции.

Какие-то женщины издали что-то кричали, но я не оборачивалась. В этих местах я никого не знала, и зовы не могли ко мне относиться. Однако женщины догнали меня и сказали, что батюшка просит вернуться.

Он стоял на морозе на паперти в одной рясе, с непокрытой головой.

— Простите, что я вас вернул. Вы торопитесь? — Я не спешила: с отцом был брат.

О.Александр повел меня на хоры, и в пустой церкви состоялся наш первый долгий разговор. Я ему рассказала о препятствиях между мной и Богом. Я довольно хорошо изучила диалектический материализм, единственную систему ответов о сущности бытия, которую мне могло предложить общество. Но ответа на главный вопрос о смысле жизни не нашла, а бессмысленное существование вызывает у меня отвращение. К вере меня то несет, то относит от нее всю жизнь, но в общем все это, особенно Церковь, — не для меня.

Я могла рассказать об этом практически незнакомому человеку, потому что он внушал полное доверие. Оно складывалось из ощущения надежности, какой-то особой доброкачественности его существа, из его заинтересованности во мне и нашей встрече, из доброты, светившейся в темных, внимательных глазах. Подкупал и ничуть не запоренный ум, спокойно принимающий не близкие ему взгляды.

Я понимала, что судьба подарила мне встречу с человеком редкостной бесценной породы. Уже не ради лепки одной, а чтоб иметь возможность продолжить общение, я попросила его позировать. К этой просьбе он, видимо, был уже подготовлен: о моем желании вылепить его портрет ему успела сказать Елена Александровна. Он охотно согласился, только предупредил, что по обстоятельствам своей жизни не сможет ездить ко мне в мастерскую. А для эскиза мне этого и не требовалось.

На листке бумаги он написал адрес: Семхоз, совхоз Конкурсный, Парковая, 3-а и изобразил платформу, лесенку, дорожку в лесу, сарай справа, от которых надо было сворачивать налево на ведущую к его дому тропинку через рощу. Мы условились о первом сеансе.

Но до того произошла еще одна встреча с ним у наших друзей.

О.Александр, хозяйева дома и я сидели вокруг низкого круглого стола в комнате, увешанной дивными картинами и заставленной старинными книжными шкапами, которая служила Леониду Евгеньевичу Фейнбергу мастерской. А с рояля смотрел на нас и, казалось, увлеченно слушал нашу беседу тот самый скульптурный портрет Пастернака...

Беседа действительно была упоительной. Замечательный художник, поэт и прозаик Леонид Евгеньевич обладал обширными познаниями в теософии, но и О.Александр знал не меньше. Два выдающихся ума говорили об эзотерических материях с блеском и воодушевлением. Конечно же, при всем дружелюбии собеседников это был поединок двух мировоззрений.

Леонида Евгеньевича уже много лет я считала своим "учителем мудрости", а тут впервые молча стала на сторону его противника.

Наверно чуткий художник как-то это ощутил, и с того дня постепенно началось наше отдаление... Мне жаль, потому что и поныне я храню к его памяти самые добрые чувства, благодарность и восхищение.

Итак, в назначенный день с нарисованным о.Александром планом в руке я разыскала деревянный дом с мезонином в заваленном глубоким снегом саду.

Он встретил меня радушной улыбкой, помог раздеться и повел по крутой узкой деревянной лестнице в мезонин. Познакомил с женой Наташей, десятилетней дочуркой Лялей и шестилетним сыном Мишей. В мезонине было тесно, но уютно. Топилась печь, в кухне медленно вскипал на электрической плитке чайник.

Внизу жили родители Наташи: агроном Федор Викторович Григоренко, его жена Ангелина Петровна и "дедусь", Наташин дедушка, уже впадавший в склеротический психоз.

Но главной роскошью мезонина были книги, занимавшие все свободные сантиметры стен под скошенным потолком.

Насколько я могла судить по беглом просмотре корешков, библиотека была первоклассной. Советских изданий почти не было, разве что фантастика, даже классика была, в основном, в отличных дореволюционных изданиях. Основную массу составляли книги по гуманитарным наукам, богословию, мистике, их подбор выдавал широкие интересы и отличный вкус владельца.

— Да вы миллионер! — невольно воскликнула я, восхищенная увиденным.

— Все это в вашем распоряжении, — великодушно ответил хозяин.

Он сел за письменный стол, я пристроилась на стуле для посетителей с краю письменного стола, достала принесенный в сумке серый пластилин и принялась за работу.

Лепка не мешала разговаривать, и началась долгая, неспешная беседа о том, о сем. Потом пили на кухне чай, которым заведовал хозяин.

Так начались мои регулярные поездки в Семхоз. Каждый раз я возвращалась в состоянии вдохновения, полная новых идей, открывая для себя неведомый мне мир.

Отец Александр никогда не затрагивал никаких религиозных тем. Он знал так много, так прекрасно разбирался в искусстве, литературе, поэзии, музыке, философии, да просто в жизни, наконец, — что говорить с ним на эти темы было наслаждением.

Но мне-то надо было понять другое. Почему он священник? В чем его вера? Как он совмещает свое христианство с жизнью в атеисти-

ческом государстве? Однако если я задавала подобные вопросы, он отвечал слишком кратко. Сначала я ценила, что он не пользуется случаем и не пытается обратить меня в свою веру. Но и простое общение с ним воздействовало на меня и тревожило, как загадка. Я видела перед собой здравомыслящего, трезвого, рассудительного человека, отнюдь не фанатика. Так почему он верит в Бога? У него мощный интеллект и прямо-таки неправдоподобная образованность, а он молится перед едой, крестится на иконы, соблюдает посты. Да и вообще он прирожденный ученый, а общается преимущественно с “темными бабками”. Почему? Отмахнуться от этих вопросов не удавалось.

Я попросила у него что-нибудь почитать, чтобы лучше понять его веру.

— А что бы вы хотели?

Я не знала:

— Выберите сами.

— Нет, так мне трудно. О чем бы вы хотели почитать?

— Ну, я не знаю. Меня на любительском уровне очень интересует археология. Существуют ли какие-нибудь книги по библейской археологии?

Он просиял и одним точным движением достал с полки машинописный перевод с немецкого книги Вернера Келлера “А Библия права”. Дома я читала ее с упоением. Келлер в серии очерков рассказывал о достижениях археологов, работавших в библейских странах в первой половине XX века.

Оказалось, что в Библии отражены реальные исторические события, даже манна небесная и перепела, падавшие с неба на изголодавшихся евреев в пустыне, — не выдумка!

Но щедрый во всем остальном, о.Александр оставался неизменно сдержанным в том, что касалось вопросов веры. Вместо ответов на расспросы он дал мне почитать некоторые свои книги по истории религии и книгу о Христе “Сын Человеческий”.

В Семхозе я познакомилась с милейшей его мамой Еленой Семеновной и замкнутой, странноватой двоюродной теткой Верой Яковлевной Василевской.

Летом мы с дочуркой жили во времянке при родительской даче в Абрамцеве. На электричке это двадцать минут до Семхоза. Встречи стали еще чаще. Я привезла одиннадцатилетнюю дочь в Семхоз и познакомила ее с Лялей, ее одноклассницей. Обе были стеснительные, диковатые, не имели друзей... Девочки сразу подружились, водой не разольешь.

Иногда о.Александр просил меня зачем-нибудь приехать в Тарасовку, я заставляла конец службы, стояла, слушала. Моему миру

отчаяния и ненависти к жизни противостоял какой-то свет и смысл, меня тянуло туда, но преграда была непреодолимой.

Осенью я забрала черновой эскиз домой с тем, чтобы лепить большой портрет в мастерской.

Встречи с о.Александром стали реже, но связь и чтение книг из его библиотеки не обрывались.

2. ОБРАЩЕНИЕ

22 января 1969 года зазвонил телефон. Елена Александровна спрашивала, не хочу ли я поздравить о.Александра. Оказалось, это был день его рождения. Мама его Елена Семеновна собиралась в Семхоз, перед тем Елена Александровна хотела встретиться с ней, чтобы передать свое поздравление, и предлагала мне воспользоваться оказией.

До той минуты я понятия не имела про его день рождения, никогда ему не писала, но тут же приняла вызов судьбы...

Вот что я написала.

Дорогой Александр Владимирович!

Поздравляю Вас с днем рождения! Я очень хочу, чтобы жизнь Ваша поскорее наладилась¹ и Вы могли бы без помех делать Ваше прямое дело. Вы наделены редкостными силами и навряд ли нуждаетесь в моей поддержке, и я скорее для себя, чем для Вас, пользуюсь случаем рассказать Вам, каким благом явилось для меня общение с Вами, как, вероятно, и для многих других, кому повезло вовремя с Вами встретиться.

Тот процесс, который медленно и лениво давно уже совершался в моей душе, последний год под Вашим влиянием пошел куда быстрее. Одна за другой отпадают преграды между мной и Целью, в том числе такая, на крушение которой я и не надеялась. Я вижу тут чье-то сильное воздействие, может быть, при Вашем вмешательстве. Я знаю, что без наших разговоров с Вами, без книг, которые я благодаря Вам читаю, я бы долго еще не пришла к тому, к чему теперь готова.

Я буду просить Вашего совета, помощи и поддержки. Я хотела бы найти приемлемую для себя первую ступень религиозной жизни. Когда у Вас будет досуг и позволят обстоятельства, может быть, Вы помогли бы выбрать мне эту первоначальную свободную форму духовного труда и дисциплины?

Свободную и необязательную потому, что далеко не все мои сомнения преодолены, но мне хочется их побороть, меня тянет на этот путь, хотя я совсем не уверена, что достанет у меня сил идти по нему.

Можно тут пробовать, когда нет абсолютной решимости? Можно ли делать первые шаги без уверенности, что готова и на последующие? И какие?

¹ В Тарасовке настоятель храма о.Серафим Голубцов создавал о.Александру невыносимые условия, писал на него доносы, преследовал за общение с прихожанами. О.Александр готов был перевестись куда угодно.

Я бы большего не желала, как Вашего согласия помогать мне и руководить мною. Вам сейчас не до меня, и вообще Вы слишком нагружены слабыми душами, вешающимися на Вас всей тяжестью. Но не могли бы Вы найти необременительные для Вас формы общения — например, переписку изредка?

Ну и подарок Вам ко дню рождения! А, впрочем, кривлю душой. Мне на Вашем месте было бы приятно получить еще одно подтверждение плодотворности своего существования.

Будьте здоровы и благополучны! Желаю Вам сил для миссионерской деятельности среди нас, папуасов.

С глубоким уважением,

З.Масленикова.

P.S. Я сейчас работаю над Вашим портретом, мысленно с Вами разговариваю и сочиняла Вам письмо последние два дня. Не знаю, решилась бы написать Вам, если бы вдруг Е.А. не позвонила с предложением передать Вам через Е.С. поздравление. Я сочла это перстом.

P.P.S. Спасибо за Ваше письмо.

В тот же день Елена Семеновна передала это письмо сыну. А дальше события развивались так.

23-го января я проснулась пронзительно морозным и безоблачным утром. Лежала в кровати, глядя в ледяное голубое небо. Вдруг вскочила и в первый раз в жизни опустилась на колени.

— Если Ты есть, отзовись, — позвала я. И тихо добавила: — Верую. Помоги моему неверию.

А в этот самый час о.Александр молился в своем Семхозе о даровании мне веры. Мне показалось, что в грудь мою влетело нечто живое и трепетное, как птица, и я поняла, что меня услышали. Я встала на колени еще неверующей, а поднялась другим человеком. Я не только знала, но и ощущала, что где-то далеко и вместе с тем близко существует живой, отзывающийся Бог.

Однако день был распланирован, я должна была идти в мастерскую. Когда я подошла к двери, раздался робкий звонок. На пороге стояла женщина с грудным ребенком на руках. В этот лютый мороз одета она была в осеннее пальтецо и босоножки. Она просила подаяния.

Вот тебе вера, а вот вопрос: что ты будешь с ней делать? — подумалось мне. Я заставила ее войти, накормила и расспросила. Выяснилось, что она молодая крестьянка, вышла замуж за человека из другой деревни, путь в которую лежал через Москву. Муж оказался пропойцей, и, вернувшись из роддома, она очутилась одна в пустой обобранной избе без средств к существованию. Два месяца она тщетно ожидала его возвращения. Соседи набрали ей денег на билет до Москвы, а там посоветовали ехать в Черемушки просить подаяния: мол, в новых домах люди добрее. Нечего и говорить, что я с радостью придела ее и дала денег на дорогу домой.

3. ШАГ ЗА ШАГОМ

Через день или два поехала в Тарасовку. О.Александр повел меня на солею, усадил на лавочку за большими образами, и я поведала ему о главном событии в моей жизни. Весело было глядеть, как он обрадовался!

Оказывается, он уже ответил на мое письмо. Вот что он написал:

[январь 1969 г.]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Спасибо за поздравление, за память.

Бесконечно рад за Вас, что Вы нащупываете прочные внутренние стержни для жизни. Если бы я не был так косноязычен (а я именно косноязычен, когда речь идет о вещах глубинных), я бы многое Вам сказал. Хочется сказать. Но да не в словах дело! Важно почувствовать Божественное дыхание не только в мире, в облаках, в соснах, в нашем собственном творчестве, но и в течении событий, в тайниках того, что мы называем судьбой. Я всегда радуюсь, когда лишний раз остро ощущаю осмысленность, целенаправленность течения жизни, значимость встреч, совпадений, откликов, отзвуков. Именно поэтому мы можем помогать друг другу продвигаться. Ведь пересечение наших жизненных линий — это тоже часть замысла, который нужно учиться разгадывать.

Вы просите помощи, но по-настоящему помочь я могу больше всего иным, необычным путем. Я верю в таинственные токи, веяния, силы, верю в молитву и молитвенную помощь. Слова же бывают так часто тяжелые и неповоротливые, как камни. Косные. Впрочем, не поймите меня неверно. Это я так: разумеется, слова нужны, действия тоже, и если хоть в какой-то степени могу быть чем-то Вам полезен, то располагайте мною.

Что касается внешних обстоятельств, то ближайшее будущее покажет, как быть дальше. Я знаю, что Вы очень плотно себя загружаете. Но когда кончатся Ваши дела и устроятся мои, я наверное смогу приехать к Вам, чтобы наличием своей головы в натуральном виде содействовать Вашей работе.

Будьте здоровы. Пусть Вас с Дашей хранят Силы Небесные.

Всегда Ваш.

А.

Я, естественно, тут же ответила и вскоре получила еще одно письмо.

[февраль 1969 года]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Простите, что не сразу ответил Вам. Но думаю, что дело здесь не в ответе. Как хорошо, что Вы все это написали (хотя частично о некоторых вещах Вы мне говорили). Сейчас я хотел бы еще и еще раз повторить Вам то, о чем мы с Вами говорили в последний раз в Т(арасовке).

Я имею в виду необходимость некоторых веховых, стержневых моментов в жизни для того, чтобы внутренний путь был здоровым и правильным. Пер-

вое — это храм. Незирая ни на что, он остается местом таинственного пересечения мира нашего и божественного.

Когда Вы читаете стихи любимого поэта, смотрите на картину или слушаете музыку, — Вы включаетесь в тот духовный поток, который был озарен их гением, их прозрениями, их видением мира и миров. В какой-то степени это можно сравнить и с богослужением. Вживаясь в него, мы входим в духовный круг, наполненный мощным благодатным звоном древних колоколов, мы слышим голос Златоуста и Дамаскина, включаемся в цельность Церкви, которая открывается не всем и не сразу.

И наконец самое главное: Литургия. Тайная вечеря, когда Христос поднял священную чашу искупительных страданий, продолжается в Евхаристии. Приступая к ней, мы принимаем на себя малую долю в Его страданиях, в Его жертве за людей. Наши мысли, наши чувства, подобно живым существам, могут оказывать воздействие на мир. Незаметное, но сильное. Итак, после исповеди Вы должны прийти к евхаристической чаше. Она откроется Вам не сразу, но сразу — это бывает редко.

Второе — молитва. Возьмите себе на каждый день какое-нибудь изречение (лучше короткое) из молитвенника или Евангелия. И в этот день старайтесь думать о нем (в любой обстановке). А вечером, когда Даша ляжет спать, сядьте удобно и спокойно, приведите все внутри в тишину и внутренне попытайтесь сосредоточиться на этой фразе, на ее смысле и отношении ее к Вам лично. Далее: старайтесь выучить наизусть (разобрав смысл) несколько важнейших молитв. Произносите их, вдумывайтесь в них, обращайтесь к Богу этими словами (это не исключает и своих слов). Помните, лучшая молитва — это благодарственная. За все, абсолютно за все: за небо, за воздух, за лица людей.

Пока это все (храм, чаша, молитва). Когда Вам можно будет приехать? Можно в любую пятницу и субботу с 8 утра, а в воскресенье к 10-и, кроме этих ближайших.

Мое грядущее темно. Все в худшем виде. Но так и должно быть.

Ваш А.

По совету о.Александра я стала каждую неделю ходить в церковь и ежедневно читать сначала утреннее, а потом и вечернее правила.

Первое время не давалась сосредоточенность, я по десять раз отвлекалась мыслями во время одной молитвы. Я ужасалась состоянию моей души. Казалось, грехи и отчаяние испепелили сердце. Мне нечем было верить, нечем любить Бога и ближних. В устройении мира, в событиях, в ходе истории я воспринимала только злое, разрушительное начало. В мастерскую я давно уже ходила через силу, только чтобы не умереть окончательно при жизни.

И вот подошло время первого причастия. Это было в пятницу на первой неделе Великого поста. Перед тем я написала “исповедь за жизнь” и отдала ее о.Александру.

Было морозное раннее утро, когда я шла к тарасовской церкви. На поле перед ней стоял молочный низко стелющийся туман. Он был пронизан смугло-розовыми лучами восходящего солнца. По

дороге через поле брели к храму люди. По пояс они были скрыты туманом, только черные силуэты плеч и голов плыли в воздухе. Обычно довольно безобразная церковь теперь, окруженная туманом, казалась огромной и воздушной, а на солнце горел крест, единственное яркое пятно в смутной размытой картине.

На исповеди я рассказала, что главная моя мука состоит в ощущении греховности всего моего состава и в том, что я не могу надеяться на милосердие Бога ко мне.

О.Александр отвечал, что в силах Божиих обращать вспять даже химические процессы, как было сделано с воскресенным Лазарем.

Все, что он говорил, было мудро и прекрасно, но мне в тот миг не помогло.

[февраль 1969 года]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Простите, что не сразу написал Вам. Но этому мешали причины чисто внешние. Я видел в прошлый раз, что Вам было нелегко. И Вы сами должны догадаться, что самое большое, самое важное легко НЕ МОЖЕТ быть дано, завоевано, приобретено. И все-таки я уверен, что Вы сумеете даже на первых трудных этапах преодолеть все сложные препятствия. Мысленно, молитвенно я всегда с Вами в трудные мгновения. Мы все связаны невидимыми узами.

Постепенно, шаг за шагом будете Вы строить дом для Духа внутри. Очень и очень важно, что Вы смогли разобраться в основных линиях тех темных пересечений, которые препятствуют душе двигаться. Терпение, еще раз мужество и терпение. Я очень хорошо понимаю Вас, когда Вы говорите о том, что в храме Вам трудно. Но это пока, это временно, это преодолется. И тогда Вы найдете сокровище, спрятанное под оболочками, которое стоит поисков.

Теперь о вопросах Ваших по пунктам.

1) Такая поглощенность и равнодушие ко всему имеет две стороны. Во-первых, — это естественная реакция души ("болезнь роста"), потом все будет проще, глубже, органичнее. Но с другой стороны, христианин не может принять мира, жизни, природы, чувств, творчества и многого другого, не "отказавшись" от них. Это очень трудно объяснить. Это особая "диалектика". Принятие через своеобразное отрицание. Но прошу Вас, помните о законе, который я называю обычно "законом маятника": одно отклонение (сильное) ведет к противоположному — сильному. Как волны.

2) Цикл молитв, который положен за правило, лучше все-таки читать, даже тогда, когда они звучат механически. Исключение делать можно только в случае крайнем (все это не исключает молитвы своими словами). А слова молитвы "Отче наш" лучше оставить так, как есть¹. Ведь дело не в словах, а в смысле, который мы вкладываем. "Якоже и мы"... сюда включено и желание научиться прощать.

¹ Я писала о.Александру, что вношу от себя две поправки в "Отче наш": 1) И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем (желали бы оставлять) должником нашим". 2) "Да будет воля Твоя" (ибо она всегда блага).

3) В отношении поста, Вам хорошо бы не есть мяса, а на четвертой и Страстной неделях — и молочного.

4) Если Вам сейчас удобнее (внешне и внутренне), то конечно можно посещать храм в субботу. Всенощная — это школа подготовки к литургии. Я дам Вам календарь, и Вы сможете следить за всем[...] И с Вами мы увидимся, я надеюсь. В достигаемый промежуток времени. К сожалению (а в каком-то смысле и к счастью) жизнь моя, как Вы знаете, несколько перенасыщена. И поэтому прошу Вас простить, если иногда по причинам внешним что-нибудь будет не так. Заранее прошу Вас, отнеситесь к этому проще и легче. Однако мысленно я остаюсь с Вами и сейчас особенно молюсь за Вас. Дай Бог Вам сил, веры, жизни, радости.

Всегда Ваш А.

С каждой неделей я полнее погружалась в веру. Она оказалась не раз данным состоянием, а сферой жизни, наполненной событиями, движением, областью, обещающей возможность бесконечного погружения. И всякий раз я выносила из церкви какое-то сокровище.

В одно из воскресений Великого Поста о.Александр позвал связанных с ним людей в свою церковь на Пасхию. Меня он не звал, но Елена Александровна уговорила.

Настоятель и о.Александр служили в черных траурных облачениях. Я никого не знала из его знакомых, стояла отдельно и несколько отчужденно. Но великая сила его сосредоточенной проникновенности захватила и меня. В какой-то момент, как мне показалось, молитвы присутствующих поднялись одновременно в небо стройными струями и образовали живую архитектурную композицию редкого совершенства.

Но наконец подошло указанное о.Александром время моего второго причастия. В Великий Четверг я причащалась в церкви Ивана Воина на Якиманке. Храм был битком набит народом. В полумраке тесного придела священник принимал общую исповедь. Когда он читал молитвы и мы все стояли на коленях, пришли горькие и блаженные слезы покаяния...

Приближалась первая в моей новой жизни Пасха. Я собиралась на Светлую заутреню к Ивану Воину. Но в пятницу позвонила Соня Прокофьева, дочь Леонида Евгеньевича. Ей только что звонил о.Александр, приглашал к обедне в Светлое воскресенье к семи утра. Она никогда не бывала в Тарасовке и просила меня поехать вместе с ней.

В храме к нам подошла Елена Александровна. Сначала мне мешало мое положение между двумя знакомыми перед самым амвоном. Но мало-помалу меня захватила красота богослужения. Я

перестала рассматривать о.Александра глазами портретиста и отда-лась чувству праздничности и светлой радости. Они казались мне естественными, само собой разумеющимися. И еще в это счастливое настроение входило сознание, что рушились стены, всегда замыкавшие меня в камеру-одиночку. Людям вокруг и христианам, жившим тысячу лет назад, свойственны те же переживания, только неизмеримо богаче их духовный опыт, первые крупинки которого мне предстоит собирать.

12 мая 1969 г.

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Простите, что отвечаю с запозданием[...]

Очень хорошо, что Вы написали о том, что пережили 2-го мая. Хочу верить, что это было свыше, а не от лукавого. Вам, может быть, такое предположение покажется странным, но такие случаи бывали. Поэтому главное — это сознавать свое недостойнство (цель темных сил, когда они провоцируют явления священных образов, — вызвать гордость и самосвятство). Меня радует, что ни разу после этого не было тяжести на душе.

Вообще молитва и внутренняя встреча это двухстороннее событие. Люди с наиболее развитым “словом” воспринимают и осознают веяния ОТТУДА словесно, люди с художественно-пластичным строем души более склонны к обра-зам. Наша душа стекло, в котором преломляется свет невечерний.

Остерегайтесь только напряжения души, экзальтации. Здесь легко сорвать-ся. Причащаться Вам хорошо раз в месяц. Один раз можно в Москве, другой — в Тар(асовке).

Храни Вас Бог и укрепи.

Ваш А.Мень.

P.S. К Е.А. (и след. к Вам) я возможно выберусь 25-го. В Тар(асовку) приезжайте в будущую субботу, 24-го.

4. МОЙ ДУХОВНИК¹

1 июня 1969 года, Троица

За два дня до праздника о.Александр похоронил своего скоропо-стижно скончавшегося отца.

Когда я увидела его спокойное и скорбное лицо, я ощутила его боль и была потрясена состраданием. А потом мне показалось, что небо открыто и силы небесные приводят там в движение все миро-здание.

¹ Из моих дневниковых записей.

Я молилась: Господи, возьми меня в Свои работники!

После службы я подошла ко кресту. О.Александр сказал:

— Я хотел попросить Вас об одном деле. Но, пожалуй, отложим до моего возвращения из отпуска.

— Нет, не будем откладывать, я готова, — невольно улынулась я мгновенному отклику на мою молитву.

О.Александр, чуть смущаясь, вручил мне толстенный, в 1200 страниц французский “Словарь религиозных и мистических авторов” Дюкарма и попросил перевести.

1 августа

Я рассказала о.Александру об исповеди в Загорске во время его отпуска. Там старый монах допрашивал о моей интимной жизни и наложил епитимью. О.Александр отмел мое ощущение вины: раз я уже исповедовалась в прошлых грехах, я не обязана была говорить о них снова.

Поделилась смущением, которое вызывало у меня разное отношение к Ипостасям Пресвятой Троицы. Я реально ощущала только Сына, и это меня мучило как неполноценность и несправедливость любви. О.Александр подробно объяснил, почему так и должно быть, почему это нормально и естественно. Затем и воплотился Сын Божий, чтобы явить нам Отца, послать Духа Утешителя и раскрыть нам наше назначение детей Божиих. Он нам ближе и понятней, потому что жил на земле, как мы живем.

Еще я сказала, что с Божией помощью от меня отвалились самые крупные, грубые грехи (о.Александр перекрестился и возблагодарил Бога), и под ними обнаружился слой более мелких, но зато въедливых, вошедших уже в состав моего характера, и с ними бороться труднее.

Вот что он отвечал: нужны терпение и последовательность, это подобно уборке комнаты — вроде работа неблагодарная, грязь накапливается снова, но убирать ее необходимо. Призвал к смирению перед своей греховной природой. Привел из “Дневника сельского священника” Бернаноса историю служанки, которая стремилась к абсолютной чистоте дома и храма, гонялась, надрываясь, за каждой пылинкой и тем себя сгубила.

Как с ним хорошо и легко! Он схватывает с лету и вызывает на исповеди такое доверие, будто сам Христос говорит его устами.

О.Александр познакомил меня с А.И. Мы целый час ждали поезда, вместе ехали в Москву и были увлечены перспективами, открывавшимися с этим знакомством. Вообще нарастает ожидание и моей плодотворной деятельности на этой ниве.

28 октября

26 октября похоронили Александра Иосифовича Неусыхина, отца Елена Александровны. Я помогала, чем могла, присутствовала на гражданской панихиде в Институте истории Академии наук (там был и о.Александр). Оттуда все поехали на кладбище, а я вернулась в квартиру покойного готовить поминки.

Когда народ приехал с кладбища, оказалось, что мест за столом не хватает, и я тихонько ушла домой. С о.Александром виделись издали, ни словом не обмолвились. А время было для меня трудное: дочь уже месяц лежала в больнице с невыясненным диагнозом, были предательства близких, безденежье и другие огорчения.

На другой день я написала о.Александру письмо об охватившем меня отчаянье, о том, что это состояние тем тяжелей, что я ощущаю его как отступничество от веры. Через три дня начали с бешеной скоростью разворачиваться события, и все — положительного характера. Дочь я забрала из бесполезной больницы, и тут же нашелся блестящий специалист, велевший прекратить на год учебу и провести зиму за городом, получила заказ на надгробие, которое можно делать на даче, тем самым разрешилась проблема с деньгами. Ну, и т.д. Я получила ответ от о.Александра.

[октябрь 1969 г.]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Я ожидал, что Вы напишете и примерно такое, потому что видел в день похорон А.И., что Вам очень трудно (хотя внешне Вы выглядели обманчиво прекрасно). Вряд ли словами я могу помочь Вам, но хочу сказать только одно: где-то далеко-далеко (а порой и неожиданно близко) находится тот уровень нашей жизни, когда духовное начало почти целиком овладевает психофизическим. Но думать, что это придет сразу — большая ошибка. Поэтому-то и хорошо разделять в себе эти две сферы до поры до времени.

Вы абсолютно правы, когда говорите об “оттягивании”. Но видите, инверсия идет со стороны внешней, чтобы подкопаться под внутреннюю. Темный мир ставит нам всевозможные ловушки и пытается выбить из колеи болезнями (своими и близких), разрывами и срывами в отношениях, разочарованиями и многим другим. И вот тут-то хорошо именно стараться поставить барьер, чтобы дым из одного помещения не переходил в другие. И тогда борьба идет в двух или нескольких планах. Потому что кесарево (то есть внешнее) требует кесаревых методов (лечение, отдых и т.д.).

На Вас сейчас навалилось. Это очевидно. Но во внутреннем плане этому нужно сопротивляться.

Простите за схематизм, но Вы поймете.

1) Постарайтесь все принимать как крест и как эпитимью. Нас всегда прощают, когда мы приходим с покаянием. Но для пользы самой души требуется эпитимья. То есть изживание через труд, томление, несение креста. Вспоминайте все то, что Вы принесли в покаянии, и ощущайте все как крест. Едва только примешь, как все разрешается внутренне (а иногда и внешне!!), а

2) когда приходит “бес уныния”, “отчаяния”, осознайте его как чужеродную силу, как покушение на Вас и на все, с чем Вы связаны (ведь это же отражается, скажем, на Ваших контактах).

Что касается конкретного, то я надеюсь, что все молитвенные и медицинские усилия Дашу поправят. Конфликт с отцом для Вас не новость. И кроме заповеди о родителях, есть и другие слова, которые заставляют нас превыше всего ставить иное родство (для пользы тех же самых родителей). С Е.А. действительно Вам трудно. Я не буду говорить Вам, что она человек добрый и неглупый и одаренный многообразно. Но она человек больной. Это факт, с которым можно и должно считаться. Возможно Вы иной раз об этом забываете. С ней трудно всем. И ей самой трудно с собой.

Но вот пути для облегчения: лимитировать разговоры по телефону и особенно полночные бдения. Вечером она уже почти бесконтрольна, а по тел(ефону) остановиться неспособна. Проявляйте с ней снисходительность и в то же время четкость. Можете ссылаться прямо на меня, что я просил ее (для ее же пользы) не говорить более 10 мин(ут) по тел(ефону) и не вступать в беседы после 8-9 часов вечера.

Не помню, кто-то сказал: “Вера это крепость надежды, построенная над пропастью отчаяния”. И это не потому, что вера это “убежище” или “утешение”, а потому что обезображенный и страшный мир поистине может внушить чувство ужаса. И лишь вера срывает с мира маску и обнажает сокровенную красоту Сущего. В этом и только в этом смысле мир, внушающий отчаяние, — нереален. А действителен только Реальный.

Дай Вам Бог мира и примирения.

Ваш А.

22 июня 1970 г.

Перед отъездом в отпуск о.Александр написал мне письмо.

[июнь 1970 г.]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Уезжая, я еще раз хочу Вас поблагодарить за ту ни с чем не сравнимую помощь, которую Вы мне оказали. Остаюсь Вашим неоплатным должником. К сожалению, обстоятельства последнего времени, как Вы знаете, препятствуют нормальному общению. Ну, да ничего: слава Богу и за то, что есть. Оставляю Вам книгу о Паламе. Она обзорная, но очень хорошая и содержательная. Не только в плане познавательном, но и в плане чисто духовном. Быть может, прочтя ее, Вы точнее уясните мое отношение к нашей восточной мистике (отношение любовное, но сложное). Желаю Вам провести хорошо эти дни.

Теперь хочу Вам наметить основные мысли, которые должны определять своего рода цикл молитвенных размышлений. Они могут быть рассчитаны на неделю.

Первый день посвящается обычно противопоставлению суетности и вечности. Это то чувство, которое остро пережил Толстой (в “Исповеди”), то, что запечатлено в Екклесиасте. Все проходит, течет, распадается. Только высшее,

духовное — бессмертно. Одним словом, день проходит под знаком выявления подлинного в жизни и отделения его от мишурного.

Второй день показывает нам, как мало мы сделали для этого подлинного, как безнадежно мы утопали в грехах и привычках, которые нас тянули на дно. Это переживание Грехопадения в его общем смысле как отход от Бога и от света.

А третий день — это осознание плодов греха: немощь, паралич духа, богооставленность, то есть ад при жизни. Тогда мы видим, что Христос — единственный, Кто может нас оттуда извлечь. Мы стоим на краю бездны, в которую смотрим.

Четвертый день посвящен Ему. Вновь обращаемся к Евангелию, к Его жизни, ко всему, что вносит свет в наше существование. Словом, проследить все: от Вифлеема до Голгофы. Этот день с НИМ.

Пятый день — это Христос в таинствах, в Церкви. Это крещение, это Чаша и Прощение грехов.

И суббота — день благодарения.

Для этих молитвенных размышлений хорошо брать Евангелие, Фому Кемпийского, наш молитвенник и мысли из Франциска Сальского. Я на всякий случай оставляю его Вам вместе с Паламой.

Обнимаю Вас, шлю Вам с Дашей Благословение Божие и самые лучшие пожелания.

Ваш А.

В первый же понедельник после того, как я получила эти наставления, я приступила к молитвенным размышлениям. Каждый день я делала записи в дневнике, а по возвращении о.Александра показала их ему.

Он читал и при мне комментировал записи. На мое замечание об удивительных противоречиях Екклезиаста батюшка заметил:

— Есть даже мнение, что Екклезиаст писали два разных человека.

— Нет, по-моему, это разные состояния одного автора. Человек не может долго оставаться на слишком большой глубине отчаяния.

— Я тоже думаю, что это выражение разных состояний одного автора. Екклезиаст — завершающий итог дохристианского сознания. Я недаром поставил Фому Кемпийского рядом с Екклезиастом. У них много общего.

— Да, и мой протест против Фомы Кемпийского связан с этими элементами дохристианского мироощущения.

И тут последовало продолжение разговора о Фоме Кемпийском, начатого в тот же день на исповеди:

— Восточные, буддийские влияния у исихастов и у Фомы Кемпийского общие. И все же они включаются как составная часть в духовную сокровищницу Церкви, — заметил о.Александр.

Прочитав страницу, где я описывала отвлечения от молитвы на ужасные пустяки, батюшка сказал:

— Эти вовсе ненужные, а порой и совсем неподходящие мысли — признак того, что молитва идет правильно, что это истинная молитва.

Далее я писала, что иногда целыми днями напролет живу спиной к Богу. От меня зависит усилие, но подлое это слово. Разве для того, чтобы общаться с любимым, нужно усилие?

— А если между любящими кирпичная стена? Надо делать усилия, надо взять кирку и долбить стену.

— Но тут-то стены нет.

— Нам кажется, что нет. Более того, когда мы долбим кирпичную стену, в ней остается отверстие. А тут стена из нашей греховности, просвет снова затягивается нашими грехами, и нужны новые усилия. Это большой душевный труд.

Я потому так подробно останавливаюсь на этих репликах о.Александра, что они накрепко запомнились и много раз помогали мне потом. Может быть, пригодятся и кому-то другому, идущему тем же путем.

Не шла у меня молитва по молитвослову, да и только. Утреннее правило, на которое обычно требуется минут пятнадцать-двадцать, занимало более двух часов: я возвращалась к тому месту, откуда уходило внимание, но очень скоро отвлекалась снова.

Иногда мне давалась очень сильная, горячая молитва, но эти взлеты мало от меня зависели. А повседневная молитва была сухой, холодной, рассеянной.

Вместе с тем я понимала, что молитва — главный источник духовной жизни. Я не раз просила о.Александра помочь, научить.

[декабрь 1972 г.]

Дорогой о.Александр!

Говорят, что молитва есть разговор с Богом, диалог. Обычно же молящийся говорит один, часто — чужими словами. Как все-таки услышать в молитве обращенный к тебе голос Бога? Что нужно делать, чтобы воспринять его во всей подлинности, не подменив собственными домыслами?

Что можно посоветовать тем, кто хочет не растерять плодов молитвы в суете дня, то есть освятить молитвой весь день?

Рекомендуете ли Вы возвращаться в молитве к тому месту, с которого ускользнуло внимание, с тем, чтобы непременно прочитать сознательно все правило? Или лучше считать, что внимание неслучайно выделило те или иные молитвы или части молитв и именно из них извлекать необходимое на этот день?

О.Александр, я бы еще спросила Вас: как быстрее достичь такого состояния, такой молитвы, как у Вас, чтобы Господь охотно ей внимал? Научите.

З.М.

О.Александр дал мне два французских томика. Один назывался так: Анри Каффарель "Предстояние пред Богом. Сто писем о молит-

ве”, а второй, “Тетради о молитве”, представлял собой десять выпусков “Серии инициаций”, в которой участвовали разные авторы, но под редакцией того же А.Каффареля.

Я с жадностью проглотила обе книжки и бросилась к батюшке.

— Это надо переводить, о.Александр! Это настоящее сокровище и нужно всем нам!

Он с улыбкой внимал моим жарким речам, но ответил:

— Погодите. У Каффареля есть специальные уроки о молитве. Я постараюсь их достать, вот их и переведете.

Доставал он их долго, но, наконец, ксерокс с “Уроков” оказался у меня. Уроков было много, 25, каждый страниц по 30, то есть составляли они большой том.

Батюшка привлек еще переводчиков, и мы взялись за работу.

Мне ясно было, что в таком виде они для нашей публики не годятся: слишком сложно, трудоемко, с бесчисленными упражнениями на концентрацию, дыхание, расслабление. К тому же Каффарель использовал молитвенный опыт разных религий, и наше зашоренное православное сознание не приняло бы индуистского или дзен-буддистского опыта.

Но о.Александр не отступал.

Когда все тексты были переведены, он взялся их перерабатывать. И в конце концов написал крохотное “Практическое руководство к молитве”.

Мне до сих пор жаль, что о.Александр так и не дал мне перевести изумительные “Сто писем о молитве”.

Письмо о.Александра к о.Анри Каффарелю:

[декабрь 1972 г.]

Дорогой отец!

Ваши труды, посвященные молитве, как мне кажется, отвечают насущной потребности, давно назревшей. Конкретность, прямая практическая направленность — вот их главное достоинство (можете прибавить от себя)¹.

Наша Восточная Церковь обладает неисчислимыми сокровищами духовного опыта, запечатленного в писаниях подвижников. Но 1) эти писания чаще всего ориентировались на монахов, 2) им не хватало ясности и систематичности в изложении. Поэтому я с таким сочувствием и интересом отнесся к Вашей работе в плане “молитвенных уроков”.

Если позволите, я время от времени буду писать Вам, чтобы осуществлять “реальный экуменизм” в этом общем и столь необходимом деле. На первый раз я хотел бы знать Ваше мнение по вопросу, на который у нас на Востоке дают два противоположных ответа. Что лучше: ежедневно полностью прочитывать

¹ Слова в скобках адресованы уже ко мне.

все положенные молитвы (даже если нет должного внимания) или лучше внимательно прочитывать одну молитву?

От души желаю Вам успехов в Вашем пастырском деле.

Братски во Христе.

Прот. А.Мень.

[декабрь 1972 г.]

Дорогая Зоя Афанасьевна! [...] Посылаю Вам письмо К. Перепишите, пожалуйста, его по фр. (желат. на тонкой бумаге). За Заратустру¹ — спасибо. Книги нет, а то, что мне надо, я отлично понял! Будьте осторожны с сердцем, нервами и пр. частями тела.

С Богом

Ваш А.

—7 декабря 1972 г.

Дорогой о.Александр!

В переписке с Каффарелем есть одна особенность. Я абсолютно убеждена, что Вы могли бы сказать о молитве то, что ему и не снилось, но Ваш опыт — мистический, глубоко интимный, возможно — невыразимый.

Каффарель нужен нам, а не Вам. И чтоб Вам не было неловко вести с ним разговор на искусственно занижаемом уровне, я бы предложила так и задавать эти бесхитростные вопросы от нашего имени.

То есть форма письма могла бы быть примерно такая:

Шыр-пыр!²

Получил Ваше письмо, сердечно благодарю.

Мои прихожане нередко задают мне вопросы о молитве, и я им, разумеется, отвечаю, как могу, но для меня было бы ценно знать и Ваше мнение по поводу некоторых из них.

Например, мне хотелось бы знать, как бы вы ответили на такие вопросы:

1) Говорят, что молитва есть разговор с Богом, диалог. Обычно же молящийся говорит один, чаще всего — чужими словами. Как все же услышать в молитве обращенный к себе голос Бога, что нужно делать, чтобы воспринять его как можно лучше в его подлинности, не подменив его собственными домыслами?

2) Что можно посоветовать тем, кто хочет не растерять плодов молитвы на протяжении дня, жить молитвенно постоянно (кроме Иисусовой молитвы, которая не всем подходит)?

3) Порекомендовали ли бы Вы возвращаться в молитве к тому месту, с которого ускользнуло внимание, с тем, чтобы непременно прочитать сознательно все правило, или лучше считать, что внимание не случайно выделило

¹ Для главы о Заратустре (в V томе) по просьбе о.Александра я перевела некоторые “гаты”, гимны, входящие в Яму, часть священной книги “парсов” Авесты.

² Я посредничала в переписке о.Александра с франкоязычными корреспондентами в качестве переводчика. Письма обычно начинались обращением “Дорогой отец”, по-французски это звучит “шэр пэр”, что батюшка шутливо переиначивал в “шыр-пыр”.

те или иные молитвы или часть молитв, и именно из них извлечь необходимое сегодня?

Конечно, быть может, все это глупо, ну, так дайте отвод и ладно. А вдруг сгодится [...]

[декабрь 1972 г.]

Дорогая Зоя Афанасьевна!

Поздравляю Вас с Новым годом. Вариант Ваш меня очень облегчил, хотя Вы и утрируете, говоря, что я его чему-то мог бы научить. Ну, да не в этом соль! Предложенная форма — оптимальна! Доклады оказались несколько интереснее, чем я думал [...] У меня все в порядке. Мне пока ничего не нужно. Спасибо. Жду.

Ваш пр. А.М.

13 января 1973 г.

Дорогая Зоя Афанасьевна!

У нас было мало времени поговорить, и поэтому я хочу еще раз сказать Вам о двух вещах: о ребятах и о Павле. Вас все это очень расстроило и взволновало. Но ведь все дело в том, как подойти к проблеме.

Вы не хуже меня знаете, что у Св. Писания есть своя тайна. Оно может открываться или оставаться закрытым. Это книга емкая и многослойная. Недаром ведь она — слово Божие, хотя и сказанное через людей.

Апостолов было много, но Церковь ввела в Библию писания лишь немногих, в том числе и св. Павла. Это значит, она придает ему особое значение, и мы должны подходить к его Посланиям не просто как к религиозной книге, а как к Откровению.

Но оно может остаться закрытым. Многие люди, хорошо зная Библию, остаются глухи к ней. Для того, чтобы открылся смысл — нужный для нас, следует подходить не с толстовской меркой: “это мне подходит, а то — нет”. Чтение апостола требует благоговейного подхода. В противном случае слова закроются.

Вы столкнулись с темой нелегкой. Однако она не может быть понята без этого подхода в смирении. Если что-то вызывает смущение — нужен не скоропалительный протест, а внимательное и благоговейное углубление в тему.

Я уже говорил Вам, что язык ап. Павла трудный и несколько субъективный. Нужно стараться вдуматься в то, что он нам (Вам!) хочет сказать. Это ведь слово, обращенное к каждому.

Вас смутило слово “ненависть”, но тогда должно было смутить это слово в евангельском изречении об отце или матери, которых нужно “возненавидеть”. Библия имеет свой язык. В данном случае эти слова имеют иной смысл, нежели в обычном употреблении.

Иаков и Исав — в Библии означают два родственника народа. Бог избирает для Своего дела один, но вовсе не потому, что он старше или лучше. Здесь тайна избранничества, которая нами не может быть сведена к каким-то логическим вещам. Об этом Вы можете найти в хороших комментариях, которые я Вам дам.

И главное, не торопитесь и не отталкивайтесь. Это худший из способов понять. Понимание — не есть лишь умственное “усвоение”.

Я сам, если сталкивался в Библии с такими трудными местами, говорил себе: ты еще не дорос до понимания: подожди. И действительно, приходило время и неясное открывалось, так что я удивлялся, как мог раньше не понимать.

Теперь о ребятах. Вы хорошо знаете, как трудно бывает сделать статую. А ведь человек складывается с еще большими трудами. У всех есть периоды метаний, заблуждений, колебаний. К этому нужно относиться терпеливо. И если не получается, не впадать в отчаяние.

Я понимаю, что это не легко. Я сам иной раз бываю глубоко огорчен и разочарован. Но может быть, если все наши усилия приносили бы немедленный и явный плод, мы легко возгордились и смотрели бы на людей, как на "дело рук своих".

Еще раз повторю Вам, что уже говорил: будем трудиться, не рассчитывая на зримые результаты. И побольше терпения. К тому же я думаю, что иные глупости мальчики могут сказать в пылу задора и полемики. Это результат ненужных разглагольствований на религиозно-моральные темы. Лучше говорить о литературе или чем-то в этом роде, а духовное — осуществлять. А то все уйдет в язык, да еще и извратится на языке в силу его "бескостности".

Многие причины, субъективные и объективные (все они Вам известны), мешают сделать нечто сплоченное и действенное. Об этом у нас был с Вами разговор у о.С(танислава). Но это не повод для опускания рук. Будем делать то, что возможно в этих условиях и с этими людьми.

Вы мне последнее время не нравитесь. У меня впечатление, что Вы постоянно нездоровы. Так ли это? И что мешает Вам заняться этой стороной дела всерьез? Ведь состояние "плоти" так сильно действует на дух! Желаю Вам в новом году поскорее приходить в норму. Всегда молюсь за Вас и прошу молитв.

Ваш А.

В конце 1976 года я заболела. Мне угрожала слепота. Врачи советовали переменить образ жизни и уехать из Москвы. Я поселилась в Новой Деревне в двух шагах от храма и прожила там почти семь лет.

22 декабря 1977 г.

Вчера исповедалась, причастилась и имела потом беседу с о.Александром.

На исповеди я рассказала о странном выпадении из веры, случившемся недавно: я ненадолго почувствовала себя совершенно неверующей.

— Поскольку вера не только область духа, — отвечал он, — но и охватывает нашу душевную, психофизическую сферу, то они связаны. Такие вещи случаются как следствие накопившейся усталости или чрезмерного долгого напряжения. Душа попадает в некую воздушную яму, или в мертвую зыбь. Тут ничего не надо делать, просто ждать. Когда мы кого-то любим, — продолжал он, — случается нечто подобное — мы вдруг видим перед собой совершенно чужого нам человека. Надо просто лечь в дрейф и переждать.

- Не грех ли это? — спросила я.
— Ни в коей мере, — отвечал он решительно.

В его кабинетике я рассказала о том, как руководят в Лавре Наташей Г.

— Увы, сейчас стремительно развивается неомракобесие, — отвечал батюшка. — Мне все это слишком хорошо знакомо. Это самый легкий путь. При этом можно прекрасно жить в миру, строить карьеру, хоть академиком стать. Важно одно: вернувшись с работы, почитать Добротолюбие и молитвенное правило подольше, ходить в церковь, поститься, и человек квит с Богом и миром. До мира и его состояния ему дела нет.

— Они говорят: спасись сам, и тогда тысячи вокруг спасутся, — вставила я.

— Как они не понимают, что это неотрывно, что ни на каком этапе ни дня, ни часа нельзя спастись одному!

— Кроме того, там культивируется вражда ко всему католическому. По словам Наташи, священник в проповеди объявляет народу, что на католиках нет благодати. Она показала мне тетрадку, разграфленную пополам: налево — как у православных, направо — как у католиков.

— Ну, и что там? — спросил о.Александр.

Я рассказывала, а он приводил опровержения.

— Они считают, — сказала я, — что в христианстве одно православие хранит истину, а в православии — только Лавра, да и в Лавре, как я поняла, — горстка избранных.

О.Александр рассказывал о своих старых знакомых и друзьях, с которыми иногда встречается после долгого перерыва.

— Смотришь, и уже у него на глазах шоры. Направо не смей посмотреть, налево не смей, смотри только так, как предписано!

23 октября 1978 г.

Позавчера вечером о.Александр позвал меня, чтобы передать комментарий к Евангелию. Народу было много, и я предложила:

— Вы дайте мне, и я уйду.

Но он настоял, чтобы я пришла еще раз попозже. Оказалось, работу требовалось сначала перепечатать, это был предлог.

— В чем дело, что случилось? — допытывался он.

— Ничего особенного, просто спад.

— Вы меня за дурака считаете? Разве я не вижу?

Он говорит, что я просто устала, что всегда живу на несколько ступеней выше, чем возможно, и нижний слой души, не получая удовлетворения, паразитирует на вышем.

— Когда со мной такое случается, я делаю что-нибудь совсем обыкновенное, маленькое — смотрю книжки про животных, иду в зоопарк. И вам надо что-то такое. То, что с вами происходит, я называю пустыней. Нельзя же все время летать. Надо просто переждать и отдохнуть, это пройдет, — говорил он. — Вы создаете температуру на несколько градусов выше нужной, но это ваше свойство, и время от времени немножко надрыгаетесь.

— Боюсь, это серьезнее, чем вы думаете.

В итоге он захотел продолжить этот разговор в другой день.

6 ноября 1978 г.

Итак, разговор был назначен на субботу. Вечером в пятницу я собиралась поработать, но пришел о.Александр и пригласил к себе после всенощной, благо у него никого не было.

Мы говорили два с половиной часа!

Я сказала, что мне все время мерещится какой-то цивилизованный зарубежный монастырь на берегу моря.

— Ну, Зоя Афанасьевна! Молодость вашей души меня поражает! Нет этих монастырей. Состояние Афона таково, что посещающие его люди задаются вопросом: какое отношение имеют эти черные вороны ко Христу и Евангелию?

На мое смятение: там ли я, то ли делаю, что надо, он ответил целым обзором социально-духовных процессов, происходящих в стране.

— Люди устали, — говорил он. — Еще десять лет назад все диссиденты самых разных толков были едины, теперь полный разброд и наступление реакции. Карловчане хотят канонизировать Николая II. Он был, видимо, приятный, обаятельный человек, но какое это имеет значение? Ведь это он не разрешил созвать Вселенский собор, это он попускал развал империи, это он дал приказ расстрелять демонстрацию 9-го января. Говорят, что он добровольно остался на смерть, мог уехать. Но это еще не делает его святым. О.Дмитрий Дудко выступил с монархической статьей. Вместо того, чтобы смотреть вперед, ищут золотой век в прошлом. Кто в донетровской Руси, кто в Киевской. Реакция наступает в Церкви в виде черносотенного обрядоверия. Должны же мы оставить после себя хоть трех людей, понимающих, что к чему, и готовых трудиться!

Я высказала свои огорчения по поводу внутриприходской работы.

— Я понимаю, вы — пастырь и не можете никого оттолкнуть, поэтому наплыв людей неизбежен. Но внутри прихода надо строить Церковь из тех, кто хочет работать. Надо создавать новый тип христианина — ответственного, самостоятельного, зрелого, деятельного. А рядом с вами взрослые становятся детьми, мы все рады, когда вы с нами нянчитесь.

С этим он согласился и сказал, что рассчитывает на "семьи"¹ [...]

На следующий день я заглянула к нему на минутку, и он сказал:

— Когда вы ушли вчера, я стал проверять себя, не нравятся ли мне эти очереди. Нет, совсем не нравятся и даже угнетают. Из-за них мне иногда не хочется ехать в церковь, приходится принуждать себя.

Говорил, что делит паству на пациентов и сотрудников. Новых людей берет только под нажимом. Каждый обычно умоляет еще за кого-то одного, и часто нельзя не принять. И потом всегда интересно, не окажется ли человек сотрудником.

— А вы устали, вам надо отдохнуть. И как вы можете думать, что не нужны тут? Одна литературная работа чего стоит! Раньше я переписывал книги по шесть-семь раз, теперь все это делается гораздо быстрее. И с людьми столько работаете.

— Одни неудачи, — сказала я.

— Это не так. Вы слишком требовательны к себе.

Давно мы так подробно и откровенно не разговаривали на больные темы.

В воскресенье я исповедовалась ему. Конечно, многое уяснилось, стало на прежние места, но все же какая-то смута еще оставалась.

29 ноября 1978 г.

Сегодня предстояло причащаться, а под утро приснился гнусный сон. Разбудил меня будильник. Под чарами этого сна я быстро оделась и через четверть часа была в церкви. Рассказала на исповеди сон, закончив словами:

— Ведь если верить Юнгу, это образ моей души.

— Почему же всей души? — живо возразил о.Александр. — Какой-то ее части. Вы за последние годы перестроили свою жизнь, свои этические установки. Но было время, когда вы жили и думали иначе, под гнетом безнадежности. И вот из вас выходят осколки вашего ранения. Вы отрубили змее голову, а она все еще шевелится, хочет обрасти телом. Это очень хорошо, что снятся такие сны. Гной выходит наружу из каких-то закоулков подсознания. А иначе вы могли бы думать, что все благополучно, и сложить руки.

20 декабря

На всенощной мною овладел подъем, какого я давно не испытывала.

¹ Речь идет о проекте создания малых групп прихожан, которые бы регулярно собирались для совместной молитвы, изучения Св. Писания и взаимопомощи.

В конце службы о.Александр попросил меня зайти к нему. Обычно по вечерам мы у него не общаемся, уходя домой, он заглядывает ко мне.

— Я знал, что “пустыня” ваша должна кончиться, что это ненадолго, — сказал он.

— Что делать, чтобы не было спадов и отступлений?

— Легко задать вопрос. Это самое трудное. Будут, конечно. Мы слишком зависим от состояний тела, от психики.

Он передал мне рукопись и книгу, подарил фотокопию портрета Франциска Сальского и, благословив, отпустил.

28 декабря

Благодарю Тебя, Господи! Опять преобладает чувство светлой радости. Конечно, не все всегда гладко, но опять я иду по волнам житейского моря, видя перед собой Тебя. Отчего это? Прежде всего потому, что Ты захотел. Еще потому, что делаю молитвенные усилия. И еще, наверное, играет роль общение с о.Александром, обладающим свойством наделять благодатью, в которой пребывает почти постоянно.

17 сентября 1979 г.

В Новой Деревне почти одновременно произошло два страшных несчастья — через два дома от меня муж зарубил топором жену и повесился, оставив двух детей школьного возраста. И в тот же день совсем неподалеку повесился молодой парень-алкоголик. Это случилось в отсутствие батюшки (священники служат у нас, чередуясь, по неделям). О.С. запретил мне даже молиться о них в храме. Я все-таки усиленно молилась за несчастных и переживала ужасные вещи.

24 сентября

Я дала о.Александру прочесть последние записи, связанные с двумя самоубийцами. Он читал, возвращался к каким-то местам, задавал вопросы. Потом сказал:

— Вы сделали все, что могли: страдали, калялись, молились. Но вы правы, делать это мы, действительно, можем, лишь оставаясь на твердой почве. Взять на себя такие грехи в том смысле, в каком взяли их Христос, нам не по силам — слишком слабы, куда нам. А молиться в церкви можно о самых страшных грешниках. Этот вопрос изучался, и это, конечно, так. Запрет отпевать таких людей носит скорее педагогический, профилактический характер. Но это не первый случай, когда с молящимися за таких людей происходит нечто тяжелое. Вы правильно сделали, что вырулили на твердое основание. Сходить в их ад нам не нужно.

22 ноября

Переживаю кризис моего отношения к Русской Православной Церкви. Живя рядом с храмом, я на многое насмотрелась. Как только хватает сил у о.Александра!

— Разница между нами та, — сказал он мне позавчера, — что я живу без иллюзий. Я иду по пустыне, и если вдруг встретится крохотный живой росток, радуюсь и удивляюсь. И никаких видимых результатов не жду. А вы романтик.

Но ясно одно. Если бы РПЦ вообще никуда не годилась (а я этого не думаю!), даже и тогда строить сейчас в России можно только в ее рамках. Укрепи мою верность, Господи!

6 декабря

Я поговорила с отцом Александром о посещающих меня мыслях насчет возвращения в Москву. Он решительно отверг их.

— Вы нужны здесь, участвуете в жизни прихода. Ваш дом — мой опорный пункт. Я уж не говорю о себе, — сказал он.

Потом мы говорили о другом. Расставаясь, я сказала:

— Разговор разрешил сомнения.

— Нет, я не хотел бы вас отпускать.

Мы условились о следующей встрече.

— Конечно, если опять обстоятельства не помешают, — добавил он.

— Да знаю я. С вами железное терпение нужно.

— Это со мной-то? Что же мне говорить о “популяции”¹?

— Ну, вы назвались груздем.

— И вы назвались.

— Когда это? Вы имеете в виду мистические переживания на этот счет?

— Нет. Когда связали свою судьбу с приходом.

Я села за стол и написала все, что думаю о современной Церкви, об ее идеальном состоянии и вытекающих отсюда задачах. Они оказались те же: работать с людьми, подымая их духовный уровень, обращая их к евангельскому завету. Вот что получилось.

Церковь реальная

В настоящее время Церковь Христова далека от того образа, по которому она была создана.

Ее терзают разделения.

¹ То есть о приходе.

Она несвободна.

Учение Христа проповедуется преимущественно словом, а не делом.

Руководят ею иерархи, нередко служащие себе или властям в корыстных целях.

В РПЦ:

Активные миряне не имеют возможности участвовать в церковной жизни.

Пастыри, как правило, этому не содействуют.

Отсутствуют все формы духовного просвещения мирян, кроме проповедей священников на богослужении. Нет катехизации и духовной литературы.

Всякое творческое отношение к религиозным целям и проблемам пресекается в зародыше как в духовенстве, так и в миру.

Церковь не осуществляет своей благотворительной миссии.

Миряне ничем, кроме богослужения, не объединяются, и все формы объединения запрещены.

Монашество как институт фактически уничтожено, а сохранившиеся остатки служат целям карьеризма, либо являются государственным музеем для иностранцев или убежищем от служения миру (исключения подтверждают правило).

Все эти пороки Церкви Христовой не есть лишь порождение новейшего времени, а, как видно из Посланий апостолов и из писаний ранних Отцов Церкви, были плевелами, посеянными врагом почти одновременно с пшеницей.

На протяжении двух тысячелетий на теле Церкви Христовой росли полипы приспособленчества, карьеризма, корыстолюбия, лживости.

Сейчас я попробую представить себе идеальную структуру Церкви, а затем сформировать для себя стоящие перед ней задачи с тем, чтобы найти свое место в Церкви.

Церковь идеальная

Церковь полностью отделена от государства и независима от него.

Ее первичной основой является не иерархия, а община, объединяющаяся по разным признакам: территориальному, профессиональному, по общности религиозных интересов или форме служения и т.д.

Община устраивает свою церковь вместе с необходимыми помещениями для своих собраний и религиозной деятельности и избирает себе пастыря. Она может выдвинуть и лицо недуховное и направить его в семинарию или прямо к епископу для рукоположения, если это лицо достаточно подготовлено.

Община избирает также дьяконов, дьяконисс, катехизаторов, кти-торов и т.д. Община имеет добровольную кассу. Расходы определяются на общем собрании, перед которым отчитывается казначей.

Община живет творческим осуществлением заветов Христа. При-знается свобода и за литургическим творчеством [...]

6 октября 1981 г.

Уже две исповеди подряд со смущением признаюсь о.Александру, что не знаю, в чем каяться: живу вне своего Я в окружающем, в котором пребывает Бог. Меня практически нет, и что во мне происходит, — не знаю и мне не интересно.

В начале исповеди о.Александр спросил:

— Что вас сейчас мучает?

— Пожалуй, одно: то, что ничего не мучает.

— Это нормально, — сказал он, — так в принципе и должно быть. Речь идет не о сознании неизменной греховности, а об отсутствии конкретных грехов под действием благодати. Это состояние надо беречь, а угрызаться и беспокоиться по его поводу не следует.

Не чудо ли наш батюшка! Я уже знаю по опыту, что это не мое свойство, а Твой дар, и стоит его отнять, я, увы, обнаружу, что нахожусь все в той же коросте грехов. И это тоже правильно, ибо оберегает от самомнения.

9 октября

Провожала батюшку. Состоялся очень интересный и важный разговор о смирении. К отцу недавно приезжал один видный врач и заявил, что в наших условиях лечить невозможно, поэтому надо эмигрировать. Это неправда, лечить, приносить пользу всегда можно. Все дело в притязаниях человека, в его преувеличенном мнении о своих возможностях.

— Я не верю в несостоявшихся людей, — сказал о.Александр. — Если ты сделал, что мог, значит, состоялся. Надо быть благодарным за возможность хоть что-то сделать.

Я поняла, что он говорит о себе. Это не часто бывает, и я попробовала вызвать его на откровенность:

— Какую трагедию вы могли бы развести из-за своей ситуации!

— У меня с самого начала были маленькие претензии к жизни.

— Да, но у вас большие способности, а как мало времени и условий для соответствующей им работы.

— Способности — это одно, а претензии к жизни — другое, и они у меня маленькие.

Тут я сказала, что у творческого человека всегда остается ощущение, что он сделал меньше, чем мог, это связано с тем, что у каждого

есть некое превышение суммы способностей над его задачами. В творческом акте косвенно и мимолетно могут участвовать самые разные дарования, навыки, опыт человека. И это превышение лишь частично используемых способностей, некий "запас прочности" необходимы для успешной работы.

На этом кончаются прижизненные записи об о.Александре в моем дневнике. Но были еще не записанные в дневнике две встречи, которые я хорошо помню.

Первая из них состоялась перед самым моим отъездом в Прибалтику в конце июля.

Несмотря на все обещания уменьшить количество лекций, о.Александр набрал их на следующий сезон еще больше, чем в прошлый. Оставшись с ним наедине в его кабинете, я стала ему выговаривать с горячностью:

— Вы совсем себя не бережете, вы уже не мальчик! Такие нагрузки и быка убьют. Вы не одному себе принадлежите!

Он заглянул мне в глаза, ища понимания, и сказал:

— Я должен торопиться. У меня совсем мало времени осталось. Надо успеть еще что-то сделать.

Я похолодела от страха.

— Что-то с сердцем?

— Нет, это не со здоровьем связано, с сердцем сейчас все в порядке... Но это так, поверьте мне, я это знаю.

Мы обсудили текущие дела, кто-то вошел к нему в кабинет, а я стояла в большой комнате и разговаривала с Т.Ж.

Он вдруг вышел из кабинета и отвел меня к окну. Вполголоса сказал с волнением и очень настойчиво:

— Вы не должны на того человека сердиться. Вам нельзя на него сердиться!

— Да я не сержусь, просто очень за него беспокоюсь.

Он благословил меня и поцеловал в голову.

На другой день я уехала в Палангу.

На Успенье, 28-го августа, я была на службе в Новой Деревне, молилась вместе с батюшкой. Батюшка был в этот день очень занят, спросил только у креста, приду ли я 2-го сентября. Я кивнула.

На 2-е сентября 1990 года в клубе МЗАЛ (Московского завода автоматических линий) был назначен вечер, посвященный матери Марии (Кузьминой-Караваевой), а затем собрание актива "Культурного Возрождения". Перед началом я безуспешно пыталась разыскать батюшку в служебных помещениях. Он вышел из какой-то

двери, догнал, легко, воздушно обнял меня со спины и потом как-то особенно нежно улыбнулся.

— Надо поговорить, — сказала я ему.

— Хорошо. Сейчас пора начинать, поговорим перед собранием.

Он вел вечер и выступал с вдохновением, вкладывал всю душу в каждое слово. Говорил он о подвиге м.Марии, отдавшей жизнь за други своя, как о чем-то кровно ему близком.

В том помещении, где должно было проходить наше собрание, его обступила густая толпа и никак не отпускала. Я стояла у окна в другом конце комнаты. Он прорвал кольцо, взял меня за руку и увел в соседнее помещение.

Я ему рассказала, что наш сборник в издательстве "Вся Москва" под угрозой срыва: С.Б. опять добивается, чтобы "Сын Человеческий" вышел у них отдельной книгой, без книги о.Сергия Желудкова и моих размышлений на "Нагорную проповедь". Никакого отношения к сборнику С.Б. не имел, но сбивал с толку издателей.

— Ну, кто будет слушать С.Б.! — отвечал батюшка. — Не волнуйтесь, все будет в порядке, я вам обещаю.

Потом я напомнила ему, что никак не оформлено его намерение обозначить меня редактором на вновь выходящих его книгах. Он позвал Андрея Еремина, которому поручил свои издательские дела, а я Борю Евсеева, и при них он ясно и твердо сказал, чтобы на всех его книгах стояло мое имя как редактора и чтобы со мной при всех изданиях заключался отдельный договор на редактуру.

Еремин, как солдат, повторил его указание.

Затем началось наше собрание. Батюшка сидел в публике. Когда было предложено избрать его президентом, я потребовала, чтобы кандидат изложил программу. Он перешел за стол президиума и действительно изложил программу работы общества. Я не унималась, мне было почему-то весело. Задала вопрос: общество называется просветительно-благотворительным, а изложенная программа относится только к культурной деятельности. А где благотворительная? Он разъяснил, что часть средств от издательской и лекционной работы пойдет на нужды детской республиканской больницы, над которой шефствует приход.

Стали избирать совет "Культурного Возрождения". Зачитывали список кандидатов (в котором меня не было).

Я послала о.Александру записку с предложением включить в совет директора Дома культуры Московского завода автоматических линий, где все это происходило. Он нам много помогал, охотно предоставлял зал, был явно заинтересован в нашей деятельности, к тому же присутствовал на этом совещании. Прочитав записку, батюшка тут же выдвинул его кандидатуру, и директора избрали.

Затем он предложил мою кандидатуру. Но это я ответила:

— А я предлагаю Леню Василенко.

— А я вас, Зоя Афанасьевна!

— А я Леню Василенко.

— Леня Василенко, это понятно. А вы? Хотите вы работать или нет? — в голосе его зазвучали грозные нотки.

— А как вы думаете? Конечно, хочу!

У служебного входа его ждала машина. Мне почему-то не хотелось уходить, я встала в сторонке. Он вышел в плотном кольце людей. Поговорил с ними, потом прорвался сквозь окружение. Уже садясь в машину, увидел меня и улыбнулся. Я сложила руки, показывая, что прошу благословения. Он издали, все так же улыбаясь, благословил, дверца захлопнулась, и машина тронулась.

Я стояла, глядела вслед и думала, чувствовала, что увезти батюшку от меня невозможно, наша живая связь нерасторжима. Она представилась мне в виде тонкого луча, протянутого между нами.

Девятого сентября 1990 года я причащалась в Антиохийском подворье. Молилось мне хорошо, особенно о батюшке, причастие было благодатным, полновесным, радостным. Я добиралась домой с этим тихим немерцающим светом в душе.

В два часа дня позвонила Галя К. Она только что вернулась из Новой Деревни. Батюшка не приехал на Литургию. Несколько прихожан кинулись в Семхоз. Я знала, что накануне он читал лекцию в Центральном доме литераторов и был здоров.

Отец никогда не пропускал своих богослужений, даже если был тяжело болен. Я знаю только один такой случай, много лет тому назад, на Покров. Когда я примчалась в Семхоз, он лежал в жару, бредил...

На четыре часа была назначена его лекция в клубе на Волхонке. Звоню туда в четыре, его нет. В четверть пятого, нет. В полпятого, нет. Я понимаю, что случилось что-то ужасное, говорю это в ответ на непрерывные звонки, но ничего ужасного не чувствую. После причастия я все еще окружена облаком благодати, в сердце полное доверие к Богу.

В полседьмого мне сообщают по телефону: батюшку убили! А я уже готова к любой вести, не удивляюсь, в сердце тот же мир, та же тихая радость о Господе. Отец со Христом, им хорошо вместе. Все идет, как надо. Опускаюсь на колени и благодарю Бога, принимая Его волю, которая всегда блага.

Ну, вот и все. Потом была суета с некрологом, снятием посмертной маски, с похоронами, следствием, статьями о батюшке, фильмами, радиопередачами.

Я и сейчас веду свое общение, выступаю на вечерах памяти, пишу книгу о нем.

А в душе покой и радость от того, что батюшка не только был в моей жизни, но и есть. И в каком-то новом качестве. Это не только присутствие и та живая связь между нами, которую я так явственно почувствовала в нашу последнюю встречу, когда смотрела вслед увозившей его машине. Конечно, он ходатай и заступник, и молитвы к нему необычайно действенны. Но тут есть нечто большее: он вовлекает меня в свою тамошнюю блаженную жизнь, приобретает к своему счастью быть со Христом. Теперь эта нерасторжимая совместность стала такой, какую задумана от века.

Батюшка, простите меня. Спасибо Вам.

26 января 1992 г.

III

1. КРЕДО

14 сентября 1979 г.

Дорогой отец!

Когда я начала Вас расспрашивать о прошлых годах, меня вел живой человеческий интерес к Вам. Сначала просто: как Вы жили, когда я Вас не знала? Потом: как Вы сложились как писатель, мыслитель, священник, характер? [...]

Но теперь все это отступило на второй план перед главным интересом. Хотите Вы того или нет, тот тип духовности, который Вы представляете, — а) совершенно (или почти совсем? — но не думаю) в РПЦ сейчас отсутствует; б) что-то сходное — но не совсем — можно найти, по-видимому, лишь в классический период патристики, да и то — раз-два и обчелся; в) это наиболее евангельский тип, т.е. очень близкий к первоисточнику, и потому не только современный, но и перспективный.

Не смущайтесь от такой оценки. Я смотрю на это просто и по-деловому. Господь затеял возвращение к Нему какой-то прослойки населения, ну, пусть в Москве (но не только, — кому, как не Вам, это знать). И этому делу надо всячески содействовать. Кого-то Он должен был выбрать проводником Своей мысли? И если Вы оказались пригодны для Его цели по сумме данных и верно уловили, что требуется, так что же делать? Людям нужны не только идеи, но образцы, модели, в которых эти идеи выражаются. А тут вполне подходящий случай: не придуманное из головы, а органическое, убедительнейшее воплощение идеи в личности, которая этой идеей живет, как дышит.

Более того (не пугайтесь!), идея эта важна не для одной РПЦ. Соблазн спиритуализма, бегства от служения миру, презрения к нему, культ невежества, обрядоверие, сектантская узость, всяческая ущербность, культивирование неполноценности, эксплуатация стихии подсознательного, недоверие к разумному началу — все это не есть, как Вам отлично известно, изобретение РПЦ в советский период — явления эти древни, как мир.

И вот в борьбе с этим можно (и я уверена — необходимо) привести такой веский аргумент: показать, что подлинная духовность, глубокая христианская вера и мистическая жизнь не только не требуют как жертвы (или даже условия!) ущербности, но наоборот: сам мир, наука, искусство, любовь, свобода, природа — все это может служить для славы Божией [...]

Я вот как понимаю Ваш тип духовности: стремление к наибольшей органической полноте, соединению в жизни мистического и реального плана и творческое соработничество Богу во всех формах живой современной жизни — не отделенность от нее, а естественная принадлежность ей. Принадлежность, но не зависимость — при постоянном примате духовного начала [...] *Memento mori*. Надо думать о тех, кто останется. Необходимо зафиксировать и передать им этот пока уникальный опыт. Он, может, и останется уникальным в своей полноте. Но это путь, причем верный. В России, по-видимому, его никто не знает, во всяком случае — никто этого знания не проявляет сейчас, кроме Вас. Чего, Вы думаете, люди так к Вам тянутся? Конечно, Вы греете, как печка, заряжаете севшие батареи, лечите, выправляете вывихи и пр. и пр. Но еще они инстинктивно чувствуют (некоторые, по крайней мере), что где-то тут собака зарыта, что тут им светит такой выход, какого нигде больше не найти.

Попробуйте изложить все это абстрактно на бумаге — да умники набросятся с тысячами возражений, вопросов, недоумений. Прежде всего скажут: практически это невозможно. А вот те, кто видят Вас (не все, но многие), чувствуют: так правильно. Значит, надо показать им, и особенно тем, кто не может и не сможет потом увидеть Вас, что все это не теории, что так можно и должно жить в Боге. Показать в книге, но и рассказать при этом о главных идеях [...]

Помимо всего прочего нужно и нечто вроде Вашего личного *credo*. Т.е. как Вы понимаете и претворяете в сегодняшнем мире задачу христианина вообще и Вашу в частности. Ну, насколько это возможно и целесообразно выразить [...] А может, Вы раскачаетесь и какие-то главы (самые важные) сами напишете? Или даже всю книгу?

Но она должна быть. Я откуда-то это знаю. И никаким будущим или посторонним биографам это дело перепоручать нельзя. Или Вы, или я, или вместе. Ведь на горизонте, кажется, никого больше нет?

Если б Вы не были так устойчивы и так трезвы, я бы никогда в такое щекотливое дело не влезла. Но Вы так умеете не думать о себе, когда речь идет о вопросах первостепенной важности. Тут нужна высокая степень самоотстранения, как ни странно. И конечно, снисходя к человеческой слабости читателя, лучше все же, чтобы явным, формальным автором не Вы были (что не исключает чисто авторских — Ваших — глав).

Не выбрасывайте письма. Возможно, мне полезно будет перечитать его в ходе работы.

З.М.

[сентябрь 1979 г.]

Вы просите меня изложить мое кредо. Хотя кредо каждого христианина, и, разумеется, священника, уже выражено в Символе веры, вопрос Ваш вполне законный. Христианство неисчерпаемо. Уже в апостольское время мы находим целую гамму типов Христианства, дополняющих друг друга. Итак, если выразиться кратко, для меня вера, которую я исповедую, есть Христианство как динамическая сила, объемлющая все стороны жизни, открытая ко всему, что создал Бог в природе и человеке. Я воспринимаю его не столько как религию,

которая существовала в течение двадцати столетий минувшего, а как Путь в грядущее.

— Оно имеет средоточие своей веры во Христе, Им измеряет и оценивает все (Откр 1,8);

— Оно знает, что приход на землю Богочеловека не был односторонним божественным актом, а призывом к человеку ответить на любовь Божию (Откр 3,20);

— Оно познает присутствие и действие Христа в Церкви, а также в жизни вообще, даже в самых простых, обыденных ее проявлениях (см. притчи Господни, в частности, Мф 6, 28-29);

— знает, что достоинство личности, ценность жизни и творчества оправдываются тем, что человек является творением Божиим (Пс 8);

— видит в вере не теоретическое убеждение, а доверие к Богу (Рим 4,3);

— не требует осязуемых знамений (Мк 8,11-12), памятуя о том, что творение — чудо (Пс 18,2);

— оно внимает Слову Божию, которое запечатлено в Писании, но остерегается буквально толковать каждую строку Библии, особенно Ветхого Завета (Рим 7,6);

— верит, что один и тот же Бог открывался в обоих Заветах, однако открывался постепенно, в соответствии с уровнем человеческого сознания (Евр 1,1);

— различает грань, отделяющую Предание (дух веры и учения) от “преданий”, среди которых есть немало фольклорных и преходящих наслоений на религиозной жизни (Мк 7,8; Кол 2,8).

— Оно верит, что Церковь живет и возрастает силой Христовой (Мф 16,18; 28,20);

— верит, что Христос являет Себя в таинствах Церкви, в ее освящении мира, в ее учительстве и в делах служения (1 Кор 11,26; Мф 18,20, 19-20; Рим 6,11; Мф 18,18; Лк 10,16), но знает, что ни одна из этих сторон церковной жизни не является самодостаточной, ибо Христос пришел и как Спаситель, и как Целитель, и как Наставник;

— чтит обрядовые формы благочестия, не забывая ни на мгновение, что они вторичны в сравнении с любовью к Богу и людям (Мф 23, 23-24; Мк 12, 2831);

— верит в значение иерархического и канонического принципа в Церкви, видя в них свойство структуры деятельного организма, имеющего практическое призвание на земле (1 Кор 11, 27-30);

— знает, что богослужебные и канонические уставы менялись на протяжении веков и в будущем не смогут (и не должны) оставаться абсолютно неизменными (Ин 3,8; 2 Кор 3, 6, 17). Это же относится и к богословскому толкованию истин веры, которое имело долгую историю, фазы раскрытия и углубления (так Отцы Церкви и Соборы вводили в обиход новые понятия, которых нет в Писании).

— Оно не боится критически смотреть на прошлое Церкви, следуя примеру учителей Ветхого Завета и Св.Отцов;

— расценивает все бесчеловечные эксцессы христианского прошлого (и настоящего): казни еретиков и т.п. как измену евангельскому духу и фактическое отпадение от Церкви (Лк 9, 51-55);

— знает, что противники Христа (беззаконный правитель, властолюбивый архиерей, фанатичный приверженец старины) не принадлежат только евангельской эпохе, а возрождаются в любое время, под разными обличиями (Мф 16,6);

— остерегается авторитаризма и патернализма, которые коренятся не в духе веры, а в чертах, присущих человеческой падшей природе (Мф 20, 25-27; 23, 8-12);

— исповедует свободу как один из важнейших законов духа (рассматривая при этом грех как форму рабства: 2 Кор 3,17; Ин 8,32; Рим 6,17).

— Оно верит в возможность стяжания человеком Духа Божия, но чтобы отличить это стяжание от болезненной экзальтации ("преlestи"), судит по "плодам духа" (Гал 5,22);

— вслед за ап. Павлом смотрит на человеческое тело как на храм Духа (1 Кор 6, 19), хотя и несовершенный в силу падшего состояния природы; признает необходимость попечения о нем (1 Тим 5,23), если оно не переходит в "культ плоти";

— в соответствии с соборными решениями смотрит на брак и на монашество как на "равночестные", если только монашество не принимается под влиянием честолюбия и других греховных мотивов;

— отказывается объяснять зло в человеке только его несовершенством или "пережитками звериной природы", а верит в реальность метафизического зла (Ин. 8,44).

— Оно переживает разделение христиан как общий грех и нарушение воли Христовой (Ин 10,16), веря, что в будущем грех это преодолется, но не на путях превозношения, гордыни, самодовольства и ненависти, а в духе братской любви, без которой призвание христиан не может быть осуществлено (Мф 5,23-24);

— открыто всему ценному, что содержится в христианских исповеданиях и нехристианских верованиях (Ин 3,8; 4,23-24);

— не отвергает добра, даже если оно исходит от людей безрелигиозных, но отвергает насилие, диктат, ненависть, даже если они прикрываются именем Христовым (Мф 7,21; Мк 9,40; Мф 21, 28-31):

— рассматривает все прекрасное, творческое, доброе как принадлежащее Богу, как сокровенное действие благодати Христовой;

— считает, что зараженность той или иной сферы грехом не может служить поводом для ее отвержения. Напротив, борьба за утверждение Царства Божия должна вестись в средоточии жизни.

— Оно "аскетично" не столько тенденцией бегства от мира, сколько духом самоотвержения, борьбой с "рабством плоти", признанием господства непреходящих ценностей (Мф 16, 24);

— видит возможность реализовать христианское призвание человека во всем: в молитве, труде, созидании, действенном служении и нравственной дисциплине;

— верит в святость человеческой любви, если она соединена с ответственностью, верит в святость семьи и брака (Быт 2,18, 23,24; Мф 19,5);

— признает естественной и оправданной любовь к отечеству и отечественной культуре, памятуя, однако, что духовное выше национального (Евр 13,14; Гал 3,28; Кол 3,11).

— Оно ценит национальные облики церквей как конкретные, индивидуальные воплощения человеческого духа и богочеловеческой тайны. Однако это не заслоняет вселенского характера Церкви;

— оно относится к многовековому культурному творчеству Церкви не как к ошибке, а как к реализации даров Божиих.

— Оно не считает разум и науку врагами веры. Просвещенное духом веры знание углубляет наше представление о величии Творца (Пс 103; 3 Цар 4,33; Пс 88,6);

— отвергает попытки найти в Писании или у Отцов Церкви естественно-научные сведения, пригодные для всех времен;

— рассматривает научное исследование Библии и церковной истории как важное средство для уяснения смысла Откровения и реальных обстоятельств св. истории;

— открыто ко всем проблемам мира, полагая, что любая из них может быть оценена и осмыслена в свете веры;

— утверждает с апостолом, что свидетельство веры в мире есть прежде всего свидетельство служения и действенной любви (1 Кор 13);

— смотрит на общественную жизнь, как на одну из сфер приложения евангельских принципов;

— признает гражданский долг человека (Рим 13,1), поскольку он не противоречит требованиям веры (Деян 19);

— не объявляет ту или иную систему правления специфически христианской. Ценность системы измеряется тем, что она дает человеку: целесообразностью и гуманностью;

— считает отделение Церкви от государства оптимальной ситуацией для веры и усматривает опасность в самой идее “государственной религии”;

— верит в историю как поступательный процесс, который через испытания, катастрофы и борьбу восходит к грядущему сверхисторическому Царству Божию;

— относится сдержанно к концепции “неудавшейся истории”, то есть к убеждению, что правда Божия потерпела на земле полное поражение (против этого говорит Откр 20, 1-6);

— верит, что когда бы ни наступил последний Суд миру, человек призван трудиться на благо других, созидая царство добра, Град Божий;

— верит, что Суд уже начался с того момента, когда Христос вышел на проповедь (Ин 3,19; 12,31);

— смотрит на посмертное состояние души человека как на временное и несовершенное, которое в грядущем восполнится всеобщим воскресением и преображением (Дан 7,13; Ин 5,28; Рим 8,11; Откр 20, 11-15);

— знает, что Царство Божие, которое грядет, уже сегодня может воцариться “внутри нас” (Мк 17,21; 9,27).

Думаю, что в этом Вы не найдете ничего нового, а просто одно из преломлений Христианства изначального, древнего и, по слову Златоуста, “присно обновляющегося”.

Прот. Александр Мень

[сентябрь 1979 г.]

Ответить на Ваш вопрос и рассказать о том, что называется духовным опытом и путем, мне не легко, и не потому, что Вы застали меня врасплох, а по той причине, что я всегда избегал говорить о подобных вещах в личном плане. Что-то останавливало. Назовите это замкнутостью, скрытностью или как угодно, но это черта — свойственная мне во все времена жизни. Кроме того, я обычно остерегаюсь “раскрываться” по трем соображениям. Во-первых, есть нечто, так сказать, духовно-интимное во встрече души с Богом, что не терпит

чужого глаза; во-вторых, при злоупотреблении священными словами что-то стирается и теряется (намеки всегда сильнее); в-третьих, даже большим мастерам слова редко удается найти соответствующее выражение для невыразимого. Один писатель метко заметил, что куда легче поведать об аде, чем о рае...

Но все же, уступая Вашей просьбе и аргументам, попробую коснуться некоторых аспектов.

Начну с того, что я плохо понимаю резкое деление на "светское" и "религиозное". Для меня это термины в высшей степени условные. Хотя в детстве мне объясняли, что есть "особенные" предметы и темы, но это скорей вытекало из условий жизни среди чуждых по духу людей. Постепенно это деление почти потеряло смысл, поскольку все стало на свой лад "особенным". Любая сторона жизни, любая проблема и переживание оказались непосредственно связанными с Высшим.

Жить так, чтобы "религия" оставалась каким-то изолированным сектором, стало невыносимым. Поэтому я часто говорю, что для меня нет, например, "светской литературы". Всякая хорошая литература — художественная, философская, научная — описывающая природу, общество, познание и человеческие страсти, повествует нам об одном, о "едином на потребу". И вообще нет жизни "самой по себе", которая могла бы быть независимой от веры. С юных лет все для меня вращалось вокруг главного Центра. Отсекать что-либо (кроме греха) кажется мне неблагодарностью к Богу, неоправданным ущерблением, обеднением Христианства, которое призвано пронизывать жизнь и даровать "жизнь с избытком".

Мне всегда хотелось быть христианином не "при свечах", а при ярком солнечном свете. Меня не привлекала духовность, питающаяся ночным сознанием, имеющая оккультный привкус (хотя и под православной оболочкой). Я всегда ощущал, что "вне" Бога — смерть, рядом с Ним и перед Ним — жизнь. Он говорил со мной всегда и всюду. Собственно, это редко выражалось в каких-то "знамениях", да и я не искал их. Все было знамением: события, встречи, книги, люди. Именно поэтому я мог и любил молиться, где угодно, чувствуя присутствие Божие в самой, казалось бы, неподходящей обстановке. Помню, однажды такое чувство особенно сильно вспыхнуло во мне, когда сидел в саду напротив Большого театра (и таких случаев было много).

Но если уж говорить о каких-то моментах особого подъема, то они связаны с Евхаристией, природой и творчеством. Впрочем, для меня эти три элемента нераздельны. Литургию всегда переживаю космически и как высшее осуществление даров, данных человеку (то есть творчества и благодати).

О природе я упомянул не случайно. Созерцание ее с детства стало моей "теологией прима". В лес или палеонтологический музей я входил, словно в храм. И до сих пор ветка с листьями или летящая птица значат для меня больше сотни икон.

Тем не менее мне никогда не был свойственен пантеизм как тип религиозной психологии. Бог явственно воспринимался лично, как Тот, Кто обращен ко мне. Во многом это связано с тем, что первые сознательные уроки веры (в пять лет) я получил, знакомясь с Евангелием. С тех пор я обрел во Христе Бога, ведущего с нами непрерывный диалог.

Хотя я дорожил ровным светом и боялся всякой экзальтации и аффектации, в какой-то момент пришло и то, что можно назвать "обращением". Это было где-то на рубеже детства и юности, когда я очень остро пережил бессмысленность и разрушимость мира. Тогда я исписывал тетрадки мрачайшими стиха-

ми, которые диктовались не пессимизмом характера, а открытием “правды жизни”, какой она предстает, если выносят высший Смысл “за скобки”. И тогда явился Христос. Явился внутренне, но с той силой, какую не назовешь иначе, чем силой спасения.

Тогда же (это было больше тридцати лет назад) я услышал зов, призывающий на служение, и дал обет верности этому призванию. С тех пор оно определяло все мои интересы, контакты и занятия. Вместе с этим пришло решение стать священником. Это самое большее, что я могу рассказать...

Неисчислимое количество раз я узнавал Руку, ведущую меня. Ее действие проявлялось даже в мелочах. Это напоминало камни мозаики, лежащие на заранее приготовленный рисунок. А над всем — если выразаться выпренным языком — светила звезда призвания.

“Храмовое благочестие” вошло в меня органически, лет с 12-ти, но оно никогда не казалось мне всеобъемлющей формой христианства (хотя одно время я бывал в церкви ежедневно, а с 15 лет стал прислуживать в алтаре). Я воспринимал его как часть (притом вспомогательную) того огромного мира, который включает в себя вера.

Как-то в школьные годы одна знакомая, зайдя к нам и увидя меня сидящим за книгой по антропологии, заметила: “Ты все э т и м занят”; она имела в виду религиозные, богословские темы. Хотя книга была “светской”, но эта женщина хорошо меня знала и понимала, “откуда дует ветер”...

Занятия естествознанием (начавшиеся очень рано) воспринимались мной как приобщение к тайнам Божиим, к реальности Его замыслов. Изучая препараты или наблюдая в микроскоп жизнь инфузорий, я как бы присутствовал при некой мистерии. Это осталось навсегда.

То же было и с историей, интерес к которой пробудило чтение Священного Писания. Мне была дорога каждая черта, которая могла пролить свет на библейские события. Отсюда любовь к древнему Востоку и Риму, служившим фоном священной истории. Не меньше волновала меня и история Церкви, в которой я искал реальных путей и способов осуществления евангельского идеала. Прочтя в детстве Жития, я понял, что в них много декоративного, легендарного, не связанного с действительностью. Это привело к поиску подлинных источников, который стимулировался чтением неоконченной рукописи о.С. Мансурова (я познакомился с ней году в 50-м, теперь она опубликована в “Богословских трудах”).

Еще раз повторю: все вращалось вокруг одного стержня. Я не желал “оглядываться назад”, поскольку рука уже лежала на плуге. Бог помогал мне явным и неприметным образом. В багаж для будущей работы шло все: занятия искусством, наукой, литературой, общественные дела. Даже трудности и испытания казались промыслительными.

Хотя со стороны могло показаться, что молодой человек просто имеет большой диапазон интересов, но на деле они были подчинены единой цели. Некоторые юноши в этом возрасте, живя церковной жизнью, нередко склонны отрясать прах всего “светского”. Быть может, и я переболел такой болезнью, но не помню этого. Помню лишь проникнутость идеей “освящения” мира. “Опрошенчество” церковного нигилизма казалось никак не соответствующим широте и свободе Евангелия.

Многие наставники моей юности были связаны с Оптиной пустынейю и с “маросейским” приходом отцов Мечевых. В этой традиции больше всего меня привлекала открытость к миру и его проблемам. Настойчивый голос твердил

мне, что если люди уходят в себя, не несут свидетельства, глухи к окружающему, — они изменяют христианскому призванию. Я узнал силу молитвы, но узнал также, что сила эта дается для того, чтобы употреблять ее, действуя “в миру”.

Принятие сана (в 1958 году) не переживалось мной как переломный момент, а было органическим продолжением пути. Новым стала Литургия...

С теневыми сторонами церковной жизни наших дней я столкнулся рано, но они меня не “соблазняли”. Я принимал их как упрек, обращенный ко всем нам. Как побуждение трудиться. Харизмы “обличительства” у меня никогда не было. Однако обывательское, бытовое, обрядовое православие огорчало. Стилизация, елейность, “вещание”, полугипнотические приемы иных людей представлялись мне недостойным фарсом или потворством “старушечьей” психологии, желанию укрыться от свободы и ответственности.

Было бы ошибкой думать, что меня миновал соблазн “закрытого”, самоуспокоенного христианства, обитающего в “келье под елью”, что мои установки целиком продиктованы характером. Напротив, мне не раз приходилось преодолевать себя, повинаясь внутреннему зову.

Мне неоднократно была явлена реальность светлых и темных сил, но при этом я оставался чужд “мистического”, или, точнее, оккультного любопытства.

Я слишком хорошо сознаю, что служу только орудием, что все успешное — от Бога. Но, пожалуй, нет для человека большей радости, чем быть инструментом в Его руках, соучастником Его замыслов.

Прот. А.Мень

2. БЕСЕДА О ЛЮБВИ¹

Вопрос: Любовь — наверное, одно из наиболее часто произносимых нами слов. Что же такое любовь, каково ее главное содержание?

Ответ: Если говорить о самом широком определении, объединяющем все разнообразные виды любви, то любовь можно назвать положительной эмоцией, возникающей от обладания или созерцания внешнего предмета, т.е. положительной эмоцией, выходящей за пределы своего “Я”.

Вне любви человек весь сосредоточен на себе, он считает себя абсолютным центром. Любовь приводит к открыванию других центров, человек переносит себя на других.

Такой выход человека на других соответствует Божественному замыслу, т.е. созданию такого мира, в котором ничто не будет непроницаемым, замкнутым на себя, а все будет имманентно Богу. Замкнутость на себя является силой распада, тьмы, разрушения. Бог же создает связи, преодолевающие разобщенность и образующие единство множественности.

¹ Запись этой беседы о.Александра с молодежью, хранящаяся в моем архиве, не датирована и относится, вероятно, к середине 70-х гг.

И прежде всего это связи ядерные. Разрыв ядерных связей сопровождается гигантскими разрушениями. Затем идут более сложные связи: молекулярные, образующие различные формы, и т.д. Благодаря силе единства создаются организмы. Более высокие связи органических элементов образуют растительный и животный мир, и наконец, наиболее высокий уровень — уровень человека.

Наряду со связями, формирующими отдельные организмы, важнейшее значение имеют взаимоотношения между организмами. Благодаря этим отношениям создается единство семьи, стада, группы. Человеческое единство предполагает наличие различного рода социальных и духовных связей. И высшей формой взаимоотношения между людьми является любовь. Любовь — самая высокая, самая совершенная, самая всеобъемлющая форма взаимоотношения между личностями. Разрыв человеческих связей такая же страшная катастрофа, как и разрыв ядерных связей.

Бог стремится к тому, чтобы создать единство людей через любовь. Человеческие связи программирует Бог. “И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному”, — читаем мы на первых страницах Библии в Книге Бытия, посвященной сотворению мира.

Когда человек эгоцентричен, у него нет отдачи. Только при возникновении любви возможна самоотдача. Это касается всех видов любви: все они вызывают положительные эмоции, выходящие за пределы собственного “Я”. Различные виды любви незаменимы, они дополняют друг друга.

Любовь необходима и для продолжения рода, и для жизни. Даже детеныши животных, лишенные родительской любви, чахнут, не могут нормально развиваться. Об этом много писалось в литературе. Для человека же отсутствие связи с другими людьми вообще губительно. Это подтверждается неоднократно описанными случаями, когда человеческие детеныши вырастали среди животных. Научиться человеческой речи, общению они уже не могли.

Родительская любовь у животных не одухотворена, и со временем она пропадает: пока детеныш мал, его оберегают, но когда он вырастает — безжалостно прогоняют. У людей родительская любовь одухотворяется, освящается, но, как и всякая человеческая любовь, она ограничена.

Естественные виды любви, унаследованные от животных, являются школой для достижения более высокой формы любви, они помогают человеку подойти к христианской любви. Христианская любовь — это способность человека не только почувствовать в другом такую же абсолютную ценность, как в себе, но и поставить интересы этого другого выше своих, то есть любовь самоотверженная.

“Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга” (Ин 13,34). Новизна этой заповеди в том, что она подчеркивает жертвенный характер христианской любви (“как Я возлюбил вас”). “Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу” (Еф 5,2).

В христианской любви человек переносит центр тяжести на другого, отвергает себя. Но самоотвержение не всегда еще признак великой любви. Жертва может быть и “сапогами всмятку”. Так, женщина, допускающая к себе мужчину из жалости, не только топчет себя, но и позволяет мужчине быть втаптывающим.

Христианская любовь не допускает насилия над любимым во имя его блага: если мы навязываем свое — значит мы не отвергли себя.

Исаак Сирианин говорил об открытом сердце, сердце милующем, жалеющем даже червей и демонов. Христианская любовь заключает и любовь к врагам, желание добра их душе.

Человеческая любовь к Богу связана с особым переживанием. Это чувство ноуменальное, тайна, которая вызывает трепет. Это качественно другое переживание. Человек здесь предстоит действительно чему-то высшему. Но здесь существует и опасность подмены, когда привносятся другие человеческие виды любви. Получается любовь не к Богу, а к собственным проекциям.

Приложение

1. “ЛЕТОПИСЬ”

О. Александр составил неполный перечень того, что он читал и писал в разные годы.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

1947—48. Очерки о природе. Пьеса о Франциске Ассизском (читаю его древнее житие). Читаю: Брема и проч. зоологию, Дарвина, Достоевского (без успеха), Конфуция (в переложении Буланже, толстовца) и массу толстовских брошюр, к которым подхожу резко полемично. Ренан “Жизнь Иисуса”. Но раньше прочел критику на него арх. Варлаама Ряшенцова, впоследствии епископа-исповедника (1908, книга у меня до сих пор). Изучаю историю Древнего Востока по книге Струве, а потом Тураева. Очень много дала четырехтомная история Древнего Востока З. Рагозиной (дореволюционная). Семи-

нар Н.Ю. Фиолетовой по раннехристианской литературе у Б.А. Васильева. Семинар по Чехову у Л.Е. Случевской, первой жены мужа Елены Александровны, — не понравилось. Начинаю библейскую историю, поскольку прочитанная у м.Марии огромная книга Лопухина (3 тома, конец века) устарела. Читаю о католических святых (Бернадетта, Доминик), узнаю о св.Терезе. Книга о преподобном Сергии Радонежском всегда сопровождает.

1949. Изучаю Богословие по курсу П.Светлова, протоиерея. Очень насыщенная идеями, литературой, критикой, полемикой. Дала много. Обильный антисемитский материал книги пропустил мимо ушей. Изучаю жизнь отцов Церкви по Фаррару. Читаю Григория Богослова и Златоуста.

1950. Собираю биографическую библиотеку Павленкова. Это мой университет. Особенно ценные книги о философах. Увлекаюсь Спинозой и Декартом. Прихожу к выводу, что рациональное не всегда плохо. Всякий грех иррационален в корнях. Спинозу начал с богословско-политического трактата, который поколебал во мне теорию авторства Моисея (взял ее из Толковой Библии, т.1). В философию ввел меня в 50-м году Лопатин (его книга философских и критических очерков).

Первое посещение Киева. Владимирский собор впечатлил, но чем-то и разочаровал (пестрота?), думал, он лучше (по репродукциям росписей). Тогда же изучал “Золотую ветвь” Фрезера, которая много помогла в “Магизме”.

1951. В Воронежском заповеднике изучал “Этику” Спинозы и письма. Потом пошел Лейбниц и Платон. Платон был менее созвучен. К этому времени уже был сделан первый набросок синтетического труда (о науке и вере, о Библии, Ветхий и Новый Завет, Евангельская история, Церковь). Читаю Добротолюбие. Большое погружение, но уже ощущение двойственности (что-то соответствует, а что-то оторвано от нашей жизни). Посещаю костел, баптистов, синагогу. Понравилось только в костеле.

Первая (неудачная) попытка читать Якова Беме. Экхарт. Первое чтение Блока и символистов. Купил Соловьева, начал изучать. Пока отдельные тома. Множество книг по истории Церкви и ветхозаветная история Ренана и Киттеля. Пишу заново Библейскую историю (уже исследую с большим материалом). Постоянно изучаю антропологию и происхождение человека. Фаррар. Жизнь Христа — Гладков. Толкование Евангелия.

1953. Отцы, Отцы, Отцы. Подвижники и классические. Перевожу (увы, наугад, с русского подстрочника) стихи Григория Богослова. Иногда интуитивно угадываю размер (как выяснил потом). Последние стихи.

Ценил Гарнака, хотя и не разделял его взглядов. Прочел его "Историю догматов" в 53-м году. Достоевского по-настоящему оценил в 53-м году в 10-м классе. Прочел всего, залпом. Но "достоевщины" как психологической атмосферы был всегда чужд (больше всего ценил главы о Зосиме). В юности впечатлялся Нестеровым, хотя потом понял, что не то.

Знал досконально Музей изобразительных искусств, очень часто там бывал.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

1953. Изучаю Флоренского. Глубоко потрясен им. Лодыженский "Сверхсознание". Знакомлюсь с йогой и теософской литературой. Еще стихи живут.

1954. Первый том "Исторических путей христианства" написан (Древняя Церковь). Антропогенез. Новый толчок дала лекция Я.Рогинского в Политехническом музее. Много хожу на концерты. Складывается концепция шеститомника (в Приокском заповеднике, где бывал раз семь).

1955. Иркутск. Начинаю второй том "Исторических путей". Пишу брошюру против баптистов (вполне ортодоксально и мирно). Нахожу Франциска Сальского. Привлекает больше, чем восточные авторы на эту тему (ближе к реальной жизни). Решаюсь найти всю книгу (были две последние части). Потом нашел. Вера Яковлевна перевела, и перевод вышел в издательстве "Жизнь с Богом" [...] Пишу очерк критики диамата.

1956. Продолжаю второй том. Собираю материал по шеститомнику. Читаю Вл. Соловьева, Лопатина, Лосского, массу художественной литературы (Мережковского и пр.). Изучаю теософию. Учусь у одной женщины йоговским упражнениям.

1957. Заканчиваю второй том, довожу до XV в. Начинаю книгу "О чем говорят и чему учит Библия". Изучаю библейскую критику. Веллгаузен. Читаю много из русской религиозной философии. Особенно поражает Трубецкого "Умозрение в красках" об иконах. Киприан. "Палама".

1958. Изучаю Соловьева, Историю католической церкви (автора не помню, по-моему, поляк. По-русски). Работаю в епархиальном управлении. Изнанка. Знакомлюсь с бывшим католическим священником. Тоже не сахар. Резкое отталкивание. Но благодаря предыдущим работам уже прочно стою на экуменической позиции. К.Дэусон "Прогресс и религия".

ГОДЫ ДИАКОНСТВА

Уже дьяконом заканчиваю о Библии. Пишу очерк "Единство Церкви", прокатолический. Вычленяю из "Библии" (440 стр.) главы о Христе и делаю "Сына Человеческого". Использую катехизические беседы, которые каждое воскресенье по просьбе настоятеля вел с готовящимися к крещению. Начинаю учиться иконописи у Ведерниковых.

1959. Работаю над вторым вариантом "Сына Человеческого". Начинаю печататься в "Журнале Московской Патриархии" (всего около 40 статей). Основополагающие книги: Ельчанинов "Записки священника", только что вышли, и "Пастырство" Киприана Керна.

АЛАБИНСКИЙ ПЕРИОД

1960. Пишу "Истоки религии", в них еще входят главы о первобытных религиях. Иконопись. Бердяев массой. Булгаков. Гегель. Руссо.

1961. Пишу "Магизм и Единобожие". Изучаю Фрейда. Символистов, особенно Белого. Много антропософии. Пушкин. Лескова начал читать много еще в Иркутске. Ибсен. Метерлинк.

1962—63. Поглощен строительством. Пишу индийские главы "Магизма". Индия идет полным ходом. Пишу "У врат молчания".

1964. Летом заканчиваю "У врат молчания". Последние строки написал после обыска 3 июля 1964 г. (с 1 сентября в Тарасовке).

ТАРАСОВСКИЙ ПЕРИОД

1965. Пишу греческие главы для "Магизма и Единобожия". Разделяю "Истоки религии" по совету Желудкова. Читал его в 59 г. С этого времени (61—64) переписка с Желудковым и компанией. Еще одна редакция "Сына Человеческого".

1966. Пишу "Дионис, Логос, Судьба". Ницше, Вересаев, античная литература. Последняя статья в "Журнале Московской Патриархии". Учю греческий.

1967. Первая попытка напечатать (Франциск Сальский).

1968. Выход "Сына Человеческого". Общая редакция 4-х первых томов. Булгаков. Бердяев. Соловьев. Много Бергсона. Старец Силуан (читал еще раньше в 58 г.). Материалы по Оптиной пустыни. Беседы о ней с Павлович. Учю иврит. Начал "Пророков" ("Вестники Царства Божия").

1969. Выходит "Небо на земле".

Ленинградская семинария 1958-60 гг. Московская Духовная Академия 1964—68 гг. Кандидатская работа “Элементы монотеизма в дохристианской религии и философии”. Дружба со Старокадомским и Ветелевым. Пишу “Пророков”¹.

2. АНКЕТА

В моем архиве среди других материалов, переданных мне о.Александром для работы над книгой о нем, хранятся его ответы на вопросы, на которые в свое время отвечал Владимир Соловьев.

1. Главная черта вашего характера? Устремленность.
2. Какую цель преследуете в жизни? Служение делу Божию.
3. В чем счастье? В исполнении этого служения.
4. В чем несчастье? Не выполнить его.
5. Самая счастливая минута в вашей жизни? Их много.
6. Самая тяжелая минута? Тоже немало.
7. Чем вы желали бы быть? Самим собой, но имеющим больше сил и возможностей.
8. Где желали бы жить? Где хочет Бог.
9. К какому народу принадлежать? Пока доволен тем, что есть.
10. Ваше любимое занятие? То же, что и у Маркса (копаться в книгах).
11. Ваше любимое удовольствие? Получить новую хорошую книгу.
12. Долго ли вы хотели бы жить? Пока не выполняю всех планов.
13. К какой добродетели вы относитесь с большим уважением? К широте и терпению.
14. Ваша главная привычка? Писать.
15. К чему вы чувствуете наибольшее сострадание? К старикам.
16. К какому пороку относитесь наиболее снисходительно? Не знаю.
17. Что вы больше всего цените в мужчине? Чувство ответственности.
18. В женщине? Женственность и чуткость.
19. Ваше мнение о современной молодежи? Разное.
20. О девушках? Тоже.
21. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Да.
22. Можно ли любить несколько раз в жизни? Сомневаюсь, но, может быть, да.
23. Сколько раз вы были влюблены? Не считал, очень мало.

¹ “Летопись”, к сожалению, кончается 1969 годом.

24. Ваше мнение о женском вопросе? Женщинам нужно дать сокращенный рабочий день с той же зарплатой.

25. Ваше мнение о браке и супружеской жизни? Высокое.

26. Каких лет следует вступать в брак? Все равно, но лучше раньше.

28—31. Ответил бы так же, как и Соловьев.

32. Какое историческое событие вызывает ваше наибольшее сочувствие? Все случаи геноцида.

33. Ваш любимый писатель? Трудно сказать.

34. Поэт? Пушкин, Данте, не знаю.

35. Любимый герой? Не знаю.

36. Героиня? Ундина.

37. Ваше любимое стихотворение? Кое-что из Пушкина, Волошина, Лонгфелло.

38. Художник? Боттичелли.

39. Картина? Не знаю.

40. Композитор? Не знаю.

41. Произведение музыкальное? Реквиемы Моцарта и Дворжака, "Чистилище" Листа.

42. Каково настроение ваше сейчас? Нормальное.

43. Ваше любимое изречение? Суета сует.

44. Поговорка? Все там будем.

45. Всегда ли следует быть откровенным? Нет.

46. Самое выдающееся событие вашей жизни? Их много.

Юрий КАГРАМАНОВ

“...И АЗ ВОЗДАМ” О СТРАХЕ БОЖИЕМ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Если спросить человека даже не обязательно верующего, но достаточно знакомого с христианством, что в нем главное, он, наверное, ответит: любовь. И, конечно, будет прав. Но если спросить, что в христианстве самое трудное, ответ должен быть, наверное, опять тот же: любовь. Этим словом часто называют вожделение, поверхностное влечение по признаку сходства (или, наоборот, контраста) и тому подобные вещи. Но если все это “лишнее”, внешнее убрать и что-то еще останется, то вот это “что-то” и будет тем самым — таинственным, трудноопределимым. Что всегда было в дефиците, а сегодня тем более должно цениться на вес золота.

Конечно, в тайнохранилище сердца всегда есть, наверное, какая-то “доза” любви. Но ведь ее надо суметь пробудить, а это дело чрезвычайно деликатное. И поначалу, как правило, связанное с отношениями в семье¹. Следующий уровень, где она, так сказать, проходит испытания — отношения в обществе. Однажды пробужденная, лю-

**Юрий
КАГРАМАНОВ**

— родился в 1934 г. в городе Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах “Вопросы философии”, “Иностранная литература”, “Новый мир” и др. Постоянный автор “Континента”. Живет в Москве.

¹ Чаще — с матерью, хотя это и необязательно. Л.Н. Толстой, например, утверждал, что духовному наслаждению любви его научила в раннем детстве тетка, Т.А. Ергольская. Подобную же роль в детстве о. Павла Флоренского сыграла его тетка Ю.И. Флоренская.

бовь требует в дальнейшем некоторого резонанса; в противном случае она гложет и “уходит в себя”. Вообще говоря, резонанс есть всегда; даже наше жестокое время не составляет в этом смысле исключение. Но если подойти к вопросу статистически, картина сложится удручающая: каков может быть резонанс при таком количестве бесов на м³ воздуха, как сейчас? И никаких радужных перспектив. Напротив, со страхом думаешь о нынешних детях: вдыхая т а к о й воздух — что они со временем выдохнут?

Предчувствие того, что наступают “сумерки любви”, крепло еще до революции, в начале нашего века. Человечество на глазах “тяжелело”, глубже зарываясь в мир трех измерений; чем больше оно озабочивалось собственной “физиологией”, тем больше утрачивало религиозный слух. Как это бывает в сумерках, откуда-то потянуло неведомым прежде (по крайней мере, России XIX века чуждым) холодком. Наверное, в такие моменты трезвые констатации бывают нужнее, чем аффектация любви.

“Но ближних не люблю”, — имел смелость написать Мережковский, которого если и можно в чем-то упрекнуть, то только не в том, что он недостаточно верил. И приведенная строка — не просто констатация, но сокрушение о своей неспособности любить ближнего так, как ему этого хотелось бы. В другой раз он написал, что отвращение к реальным людям вполне совместимо с дальней, с высоты “херувимского полета”, любовью к ним. Но — только с высоты, только — “оттуда”!

И в самом деле, любовь в христианстве — качество “областей заочных”, а на земле она скорее гостья, притом гостья требовательная, далеко не каждый дом жалующая своим посещением. Розанов сравнивал ее с орхидеей, нуждающейся в более или менее тепличных условиях. Любовь отвечает определенному устройству души, в свою очередь отражающему устройство цивилизации (онтогенез повторяет филогенез), сложившемуся исторически, то есть поэтапно. Или, если угодно, “поэтажно”. Опустив глаза долу, мы обнаружим у основания его нечто, скажем так, “мегалитическое”, “грубое” (подобным образом мегалитические камни положены в основание некоторых старинных построек), способное оттолкнуть современного человека своей архаичностью и тем не менее абсолютно необходимое, без чего верхним “этажам” не на чем держаться, — с т р а х Б о ж и й.

Христос явил миру, что сущность Бога, выраженная им через посредство Сына, есть любовь. Но к о м у явил себя Христос в первую очередь? — Евреям, лучше других знавшим, что такое страх Божий! Ветхозаветный Иегова — попечительный Отец, но он же и суров, и гневлив, и скор на расправу (исследователи насчитали на страницах Ветхого Завета 296 случаев, когда люди вызывают гнев у Бога своими

дурными, неподобающими поступками). И не потому ли смертным не дозволено видеть лик Его, что он слишком ужасен? Души евреев уже прошли, так сказать, первичную обработку страхом (или, если угодно, трепетом перед волею Божьей), и только поэтому они, то есть некоторые из них, смогли ответить на зов Христа, показавшего, что любовь побеждает страх. Побеждает, но — отнюдь не “отменяет” его!

Тем более необходимо было воздействие страхом при обращении язычников. В посланиях ап. Петра, например, речь о любви явно преобладает, но и речь о страхе Божиим занимает подобающее ей место. Апостол предупреждает, что упорствующие во грехах сами себе собирают гнев “на день гнева” (К Рим. 2,5), когда совершится явление Христа, “в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога...” (2-е к Фессал. 1,8). Известно, что на Руси угроза адом широко употреблялась Церковью для изживания языческих обычаев; так было, по крайней мере, до монгольского нашествия (воспринятого народом как Божья кара за грехи).

Проследивая всю дальнейшую историю христианства, мы обнаруживаем, что речь о страхе Божиим периодически меняет объем и тональность — в зависимости от и с т о р и ч е с к о г о опыта, от того, какие мысли занимают людей в каждый данный момент времени, какие чувства преобладают и т.д. О такого рода зависимости писал еще Якоб Буркхардт: “Никакая религия никогда не бывает совершенно независимой от культуры соответствующих эпох и народов. Как раз тогда, когда она полновластно господствует с помощью понимаемых буквально священных текстов и все на свете по видимости соразмеряется с нею, — если она переплетается “со всей жизнью”, жизнь совершенно неминуемо будет оказывать свое воздействие на религию и также будет переплетена с нею.”¹ В этом переплетении для религии всегда таится опасность: она рискует утратить свою идентичность; с другой стороны, она не может, не должна, во всяком случае, исключать себя из общественной и культурной жизни.

Заслугою современных западных, главным образом, французских историков является исследование обратного воздействия жизни на религию. До недавних пор история религии оставалась слишком “верхушечной”: все внимание привлекали церковные иерархии, святые и богословы, тогда как религиозное “самочувствие” масс оставалось в тени; этому правилу изменяли, пожалуй, лишь в тех случаях, когда дело касалось еретических движений. Фундаментальные работы Филипа Арьеса, Мишеля Вовеля, Жана Делюмо и

¹ Цит. по: Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988, с. 164.

некоторых других историков позволяют услышать “дыхание” человеческих множеств на протяжении веков; они позволяют судить об обратном влиянии паствы на пастырей — в частности и в первую очередь в том, что касается представлений о смерти и загробном существовании. То есть в самом важном для религиозной жизни вопросе, определяющем все остальное.

И еще один принципиальный урок извлекаем мы из сочинений этих историков (медиевистов по преимуществу): чтобы понять современность, необходимо рассматривать европейскую историю как **н е п р е р ы в н ы й** процесс, начиная со средних веков.

* * *

XX век стал веком подлинного открытия средних веков. Сейчас уже трудно отрицать, что это была по-своему великая эпоха и что средневековый человек в некоторых существенных отношениях выше современного человека. Возьмем, для примера, позднее средневековье: христианской Европе угрожают могущественные внешние враги — турки и мавры; есть внутренние враги — еретики; немало также внутренних конфликтов, хотя и не столь принципиальных, — какие-нибудь флорентийцы, например, враждуют с аретинцами, гвельфы с гибеллинами и так далее. И тем не менее, врагом № 1 для **в с е х** европейцев остается тот, кого зовут “врагом рода человеческого” и кто сидит, по общему признанию, в душе **к а ж д о г о** грешного человека (сравним: для современного человека враг № 1 — кто угодно, но только не он сам). Кажется, Джотто был первым, кто поместил символическое изображение семи смертных грехов на фасаде одного здания в Падуе. В следующем, XV столетии подобные изображения становятся обычными для городских домов — это постоянное *memento*, род наглядной агитации, ставящий целью предупредить “роতোзейство” в отношении самого себя.

Приходится, правда, признать, что такого рода бдительность в большой мере объясняется страхом перед загробным воздаянием. Догматическое содержание речи о Страшном Суде с поставлением одних одесную, других же ошую, находит, опять-таки, наглядное отражение в гигантских фресках, изображающих эту процедуру во всех подробностях, начиная от воскрешения мертвых и кончая последним движением меча архангела Гавриила, окончательно отделяющего праведников от грешников. Вереницы осужденных отправляются в ад, где кисти художника позволено выйти далеко за рамки догматически принятого: чем ужаснее муки (**в е ч н ы е** — это же надо себе представить!) грешников, горящих в огне или коченеющих во льду, чем злораднее черти, всячески усугубляющие их страдания, — тем лучше! Удивительно ли, что, приближаясь к порогу

смерти, даже вполне добропорядочные прихожане испытывают леденящий страх; даже святые не всегда свободны от этого страха.

Два момента здесь заслуживают быть отмеченными. Во-первых, столь обостренный страх перед Судом Божиим распространяется лишь в позднее средневековье. Во-вторых, сферой его распространения долгое время остается городская среда; в сельскую среду он проникает с большим запозданием и никогда не достигает такой интенсивности, как в городе.

Некоторые историки полагают, что католическая церковь специально нагнетала страх перед загробным Судией, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции. Этому противоречит установленный факт, что наибольший страх (пусть и не за себя лично) испытывали сами духовные лица и, следовательно, распространяли они его вокруг себя отнюдь не с корыстной целью. Действительная причина в другом: позднесредневековая личность начинала рельефно выделяться на прежнем, слабо расчлененном фоне коллективной жизни и сама устрашилась этого выделения или, точнее, его последствий “за дверь гроба”.

В свою очередь, выделение личности явилось следствием, равно как и условием, глубоких социокультурных перемен, принявших необратимый характер уже в XV веке (в Италии еще раньше — в XIII—XIV вв.). Исподволь, порою не слишком заметно для современников, средневековье перерастало в Новое время. Наступила эпоха дерзаний. Но дерзновенных преследовал потусторонний страх. Был какой-то сложный контрапункт между дерзанием и страхом. Астроном, открывающий новые светила, не предусмотренные освященной церковью системой Птолемея (кстати говоря, совершенно несовместимой с духом и буквой христианства), так же боялся попасть в ад, как и его недалекий сосед-лавочник. Моряк, пересекающий моря, не нанесенные на карту тем же Птолемеем, застигнутый бурей, не столько смерти страшился, сколько посмертного Суда; и побелевшими губами вымаливал заступничество у Девы Марии. Художник, заново открывающий красоту человеческого тела, в другой раз с таким же искусством изображал и корчи грешников в аду. Финансист, придумавший сложный процент, под конец жизни уходил в монастырь молить Бога о том, чтобы его душу взяли хотя бы в чистилище.

Как считает, в частности, Арьес, идея чистилища, канонизированная Римом в 1314 году (что еще усугубило разрыв между католичеством и православием), была внушена святому престолу паствой, а именно, городскими кругами, все острее ощущавшими “зуд” исторического творчества. Она должна была оттянуть частный суд о душе, продлить ее “приключения” по ту сторону смертного порога

и этим самым несколько смягчить парализующий страх перед последним Судом.

Предыдущая эпоха не нуждалась в чистилище, ибо не ведала того страха, который стал одолевать европейцев на исходе средних веков. Первое тысячелетие в жизни Церкви прошло под мощным впечатлением искупления и в чаянии всеобщего воскресения; о последующем Суде не забывали, но страх перед ним как-то тонул в соборном уповании на милость Господню¹. Хотя и существовало представление о “мытарствах”, ожидающих грешника по исходе из тела, оно тушевалося рядом с другим: в ожидании воскресения умерший погружался в тихий, ничем не омрачаемый сон. Такое представление отчасти сохранилось и позднее; оно отразилось, например, в знаменитом стихотворении Гете (в переводе Лермонтова) “Горные вершины//Спят во тьме ночной...”.

Христиане I тысячелетия видели впереди высоту Второго пришествия, но не подозревали, какой долгий и извилистый путь еще предстоит до нее пройти и сколь круты на этом пути спуски и тяжелы подъемы (Да и мы о длине пути знаем не больше, хотя о крутизне спусков и тяжести подъемов кое-что уже знаем). Лишь темные пророчества Апокалипсиса позволяли догадываться о драматических потрясениях, возможных и даже неизбежных в исторической перспективе. Но апокалиптика уводила, собственно, в конец исторического пути и ничего не говорила об остальной его части. Между тем, уже в XIII—XIV веках ход времени ставит трудные вопросы. Европейцы как бы глубже вовлекаются в историю, различая в тумане будущего какие-то новые задачи, в большей мере требующие индивидуального подхода и личной ответственности. А рост личной ответственности имел своим неизбежным следствием возрастание потустороннего страха.

Допущения некоторых богословов о том, что гнев Божий “гасится” милосердием Его, были отвергнуты католической церковью (как и,

¹ Вероятно, даже кладбища того времени, особенно раннехристианские кладбища, излучают эту светлую, ничем не омраченную веру. Во всяком случае, таково было впечатление В.Ф. Эрн: “Нет слов, которые бы лучше передавали впечатление от ликующей тишины, от умопостигаемого покоя, от беспредельной умирненности первохристианского кладбища. Здесь тела лежат, как пшеница под зимним саваном, ожидая, предваряя, пророчествуя нездешнюю, всемирную весну Вечности” (В.Ф. Эрн. Письма о христианском Риме. — “Богословский вестник”, 1913, январь, с. 106). Кстати говоря, вплоть до позднего средневековья кладбища, как правило, размещались внутри городских стен: о мертвых не забывали, напротив, они как бы продолжали свое существование между живыми. Вот еще один знак превосходства средневекового человека над современным.

позднее, протестантскими церквями). Действительно, в новозаветных текстах немало мест, подтверждающих, что гнев Божий есть именно гнев Божий; например: “Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его... (Матф. 25,41). Идея очистительного огня проходит через весь Новый Завет, и нет никаких оснований считать его только метафорой. Что это за огонь, который не жжет? С другой стороны, потусторонний огонь есть именно очистительный; он пожирает лишь то, что идет в добычу “смерти второй”. Данте, в страхе остановившемся перед стеной огня (в Чистилище “Божественной комедии”), об этом напоминает его вожатый:

... Мой сын, переступи порог:
Здесь мука, но не смерть, — сказал Вергилий.

Последняя строка указывает на сложную, если позволено так сказать, функцию божественного огня. Он опалает не только тех, кто поставлен ошую; к а ж д ы й должен пройти через завесу огня, сожигающего в нем все, что является следствием греха. Иначе говоря, вопрос можно поставить и так, что сожигается не кто-то, а что-то. Если воспользоваться образом, который дан Иоанном Крестителем (согласно Матф. 3,12), это “что-то” есть солома; “умный” огонь уничтожает солому, оставляя неприкосновенной пшеницу — то, что есть в человеке от образа Божия и от подобия Его¹. Следует ли отсюда, что в с е смогут пройти через завесу огня? Ответа на этот вопрос нет. Мы можем лишь сказать, что гнев Божий уравновешен милосердием Его — только, конечно, не в смысле математического равновесия, а в каком-то ином, не постигаемом рассудком смысле.

Этот таинственный антиномизм потустороннего воздаяния и прощения² был нарушен в католичестве, а затем и в протестантстве;

¹ В интерпретации о. Павла Флоренского, “дело к а ж д о г о подвергнется огненному испытанию, в котором выгорит все нечистое и скверное, как очищается огнем золото и серебро...” (П.А. Флоренский. Столп и утверждение истины. М., 1990, с. 230). Близкую мысль о назначении божественного огня находим у прот. Георгия Флоровского: “Бог в смерти как бы переплавляет сосуд нашего тела... Так самая смерть оказывается органически принадлежащей к воскресению — это есть некий таинственный и пламенный закал ослабевшего человеческого состава” (Г.Флоровский. О воскресении мертвых. — Переселение душ. Париж, 1935, с. 155).

² Флоренский формулировал его так: “Если... ты спросишь меня: “Что же, будут ли вечные муки?”, то я скажу: “Да”. Но если ты еще спросишь меня: “Будет ли всеобщее восстановление в блаженстве?”, то опять-таки скажу: “Да”. (Там же, с. 255).

вопрос о посмертном Суде был слишком “приземлен” (что, очевидно, явилось результатом ускоренного вовлечения в историю и, как его следствие, перевесом практического, в ущерб созерцательному), слишком сближен с земными юридическими практиками (чего стоит, к примеру, нередкое в позднесредневековых фресках изображение Страшного Суда, где души почивших сами держат в руках какие-то книжечки, в которых записаны все их прегрешения). Неуравновешенный страх нашел отражение в опять-таки слишком “приземленных”, натуралистических картинах посмертного наказания. Более того, в этих картинах, так же, как и в изображениях мук, претерпеваемых святыми, порою обращает на себя внимание нарочитое смакование боли, жестокости. Совсем не обязательно обращаться к доктору Фрейд, чтобы объяснить психологически такой оборот дела.

Известные жестокости инквизиции тоже связаны с перекошенным образом Бога как Судии, Карателя по преимуществу. Инквизиторы брали на себя смелость наказывать грешников от имени Бога, пользуясь “Его” методами — вплоть до сожжения на костре. Что еще больше нагоняло страху на обывателя, но вряд ли укрепляло веру.

То же самое можно сказать о литературе и искусстве *macabre*’а — изображения мертвого человеческого тела на разных стадиях разложения. Изначальная его цель была в том, чтобы внушить отвращение к плотским радостям, наглядно продемонстрировав, что за “падаль” остается от человека спустя недолгое время после смерти. Действительно, человеческое тело, когда от него отлетает формообразующий его дух, очень скоро превращается в нечто совершенно омерзительное, от чего можно только отвести глаза. А если такую “красоту” постоянно тебе “суют под нос”, легко может закрасться мысль, что это — в с е, что остается от человека. Еще скорее такая мысль возникнет, если самого Христа, в момент Его снятия с креста, изобразить натуралистически — со следами перенесенных мучений и первыми признаками тления. По поводу одной из таких картин, именно “Снятия с креста” Гольбейна, Достоевский писал в “Идиоте”, что она подлинно внушает страх — только не перед Богом, а перед “темной, наглой и бессмысленно вечной силой, которой все подчинено, и передается вам невольно”. Иначе говоря — перед не подчиненной Богу природой. Макабрическая педагогика производила не столько тот эффект, к которому она стремилась, сколько прямо противоположный. В подтверждение тому мы видим множество примеров переплетения макабрических мотивов с эротическими в искусстве и литературе, начиная от Ренессанса и кончая или, вернее, не кончая второй половиной XVIII века.

Завершая свое монументальное исследование о страхе Божиим, охватывающее период XV—XVIII веков, Жан Делюмо пишет: “Можно задаться вопросом, не стало ли неприятие слишком мрачного пейзажа одной из причин “дехристианизации” Запада”¹. Мысль, на мой взгляд, заслуживающая раскрытия и детализации.

У Запада есть склонность к крайностям, заметил Честертон. Чрезмерное нагнетание потустороннего страха на протяжении нескольких столетий вызвало, начиная уже со второй половины XVIII века, неизбежную, по-видимому, реакцию — стихийное распространение вульгарного оригенизма, тайной уверенности в милосердии Божиим, — т о л ь к о милосердию. Не говорю уже о том, что оно по-своему способствовало росту числа приверженцев деизма и атеизма. В XIX веке образованные классы чем дальше, тем меньше волнует идея Божьего Суда; ее оставляют низшим классам, главным образом, крестьянству. Страх перед адом все больше ассоциируется с “наивностью”, с народным лубком, где грешники лижут раскаленные сковороды или варятся в котлах с кипящей смолой. На самом деле как раз в крестьянской среде страх перед адом всегда был умеренным и не достигал того накала, какой мы находим в европейских элитах XV—XVIII веков.

Но успехи “просвещения” (о котором в данном случае можно говорить лишь в кавычках) мало-помалу изгоняли призраки ада также и в сознании низших классов. Для подавляющего большинства современных европейцев путь из мира сего в мир иной (поскольку они еще верят в его существование) есть только один — “бархатный”, где “ничего страшного” случиться с ними не может². Католическая церковь долгое время боролась с такого рода легкомыслием, но в конечном счете пошла на попятный (что протестантские церкви сделали еще раньше); в энциклике Иоанна-Павла II “Бог всеблагий и всемилостивый” (1980) в п е р в ы е категорически утверждается, что милосердие Божие с и л ь н е е гнева Его.

Длительное нагнетание потустороннего страха имело также специфические последствия, которые вряд ли кто-то мог предсказать. Они дали о себе знать уже в конце XVIII века. В то время как просветители, вдохновляясь видениями рая, проектировали “светлое будущее” человечества, заключенный в Бастилии полубезумный маркиз де Сад был одним из немногих, кто поставил вполне резонный

¹ Delumeau J. Le péché et la peur. Paris, 1983, p. 627.

² Среди несколько более религиозных, в сравнении с европейцами, американцев (США) 60% еще верят в существование ада, но — обратите внимание! — лишь 10% допускают, что сами могут туда попасть /См. Greely A., Religions Change in America. Cambridge (Mass.), 1989/.

вопрос: если можно стремиться к тому, чтобы создать рай на земле, то почему бы не попытаться создать ад? Впоследствии он утверждал, что источником вдохновения для него послужили картины адских мук, которые он с детства привык видеть в церквах, а также рассказы о застенках инквизиции."Проект" де Сада оказался преждевременным: должно было пройти столетие с лишком, чтобы европейское человечество "созрело" для него. Гитлеровские лагеря смерти, сталинский ГУЛАГ (тоже продукт европейской истории, хоть и с азиатским привкусом) — вот наиболее удавшиеся до сих пор воплощения садической идеи земного ада. И, к сожалению, нет оснований отнести этот страшный опыт к тому, что "быльем поросло": если видения земного рая давно поблекли, то видения земного ада, напротив, сохраняют странную притягательность, паче того, становятся все более разнообразными и изощренными. Дополнительный толчок воображению дала культурная революция конца 60-х — начала 70-х годов: тогда все началось с призывов к любви, а кончилось тем, что с новой силой засветились inferнальные огоньки, кочующие ныне из фильма в фильм, из книги в книгу¹.

* * *

Одна из особенностей русской истории состоит в том, что вектор религиозной жизни в результате петровских реформ резко разошелся с вектором культурной жизни: господствующий класс России открыл для себя мир западной культуры и в то же время заметно охладил к "вере отцов"; традиционное "благочестие", как и ношение бород, было оставлено низшим классам. Лишь в александровскую эпоху культурная верхушка дворянства, к тому времени уже вполне европеизированная, вновь открыла для себя религиозные вопросы; естественно, что это оказались те самые вопросы, которые к тому времени занимали Европу. Подобно европейцам, русские вдруг предали себя возвышенной мечтательности, в собственно религиозном плане вылившейся в расплывчатый мистицизм, который лишь с очень большой натяжкой можно назвать христианским — хотя бы уже потому, что в нем практически не осталось места для Божьего Суда.

¹ "Связь времен" в этом смысле демонстрирует скандально шумевший фильм П.-П.Пазолини "Салó, или Сто двадцать дней Содомы" (1977). Действие романа де Сада "Сто двадцать дней Содомы" перенесено здесь во времена фашизма, а кроме того и садизм, и фашизм здесь осовременены: в них легко угадываются черты "новой жестокости", о которой заговорили социологи с конца 60-х годов.

Недавно мне довелось познакомиться с перепиской между членами семейства французского графа де ла Ферроне (de la Ferronay), отчасти русскими (след пребывания графа на посту французского посла в Санкт-Петербурге в царствование Александра I). Рано умирающие от туберкулеза, они встречают приближение смертного часа с поразительной экзальтацией: смерть для них “счастье” — столь велика их надежда (чтобы не сказать уверенность), что встретятся они непременно в райских селениях. И райские селения для них есть именно место встречи “дорогих” и “любимых”. И ничего похожего на страх Божий в преддверьи смерти они не ощущают — одни только ласковые касания ангельских крыльев. Я нарочно привел в пример обыкновенных, так сказать, светских людей. Если бы я напомнил о “Гимне Смерти” Баратынского, где смерть именуется “светозарной красой”, о схожих величальных мотивах у Новалиса, иной читатель мог бы подумать, что подобные настроения уместны были лишь в сфере высокой поэзии. На самом же деле таков был общий фон эпохи. Распространяясь сверху вниз, романтическая эйфория перед лицом мира иного в значительной мере охватила не только образованные, но и полуобразованные круги Европы, включая сюда и Россию.

Но эйфория была лишь одной стороной романтического мироощущения, другой стороной была замороженность “мировой ночью”, перед лицом которой человек, будь он хоть трижды гением (культ гения — характерно романтический), чувствовал себя совершенно незащищенным. Кьеркегор писал, что романтик не может постичь себя религиозно и поэтому заново открывает для себя судьбу, то есть возвращается в этом отношении на уровень древних греков. В той мере, в какой христианские понятия греха и Провидения утрачивают в его глазах свою прежнюю власть, романтик вынужден признать силу “рока прихоти слепой” (Лермонтов). Естественно, что рок романтику страшен.

Творческая производительность романтизма обеспечила ему некоторое влияние также и во второй половине XIX века (отчасти даже и в нашем веке). Но в религиозном плане эпоха романтизма была абсолютно безвыходной; можно поэтому сказать, что она уже была чревата собственной противоположностью. Чем выше безосновное парение, тем сильнее удар о землю. Примерно с середины XIX века в Европе начинается свое победное шествие материализм (не только как теория, но и как мироощущение) с его полной глухотой в вопросах смерти и посмертного существования. Для этого умонастроения характерна фигура толстовского Ивана Ильича, целиком находящегося во власти автоматизмов быта и совсем не подготовленного ко встрече с “костлявой”, явившейся

несколько раньше положенного. Смерть для него — совершеннейший абсурд, никак не связанный с прожитой им жизнью. Вынужденный смотреть ей в глаза, он бормочет про себя “Суд идет”, но как-то механически, не будучи в силах осмыслить этот невероятный для него факт.

Славянофилы попытались направить Россию по пути, свободному от западных метаний, и указали ей... исторический тупик “священного царства”, некий идеально мыслимый оазис, надежно укрытый от чужих зловредных ветров. Славянофилы тоже испытали сильное влияние романтизма: оно проявилось, главным образом, в их отношении к “народу” (фактически — крестьянству). С их точки зрения, “народ” представлял собою сосуд, сохранивший в незамутненном виде религиозную веру и потому способный противостоять “критическому” разложению, идущему с Запада. На самом деле в России, как и в других христианских странах, “народная вера” на протяжении веков сложилась в “амальгаму”, сочетавшую христианство с многочисленными реликтами язычества. По-своему это была довольно прочная “амальгама”; в частности, она делала возможным устойчивое отношение к смерти, в котором христианские представления “накладывались” на древнее языческое чувство вовлеченности в природный круговорот рождений и смертей¹. Но противостоять разъедающему действию “критических” начал она никоим образом не могла, и ее распад был только вопросом времени.

Из тех, кто продолжил религиозное “хождение в народ”, наиболее заметен Достоевский. Казалось бы, уж он-то, как никто другой, чувствовал приближение грозы; и тем не менее продолжал верить, что можно укрыться от нее в славянофильском “почвенном” идеале. Леонтьев имел основания обвинить Достоевского в проповеди слишком “розового” христианства, в чрезмерности надежд на земную любовь и на мир земной.

Пожалуй, можно назвать только две крупные фигуры, которых беспокоила тема страха Божия — этот Гоголь и Леонтьев. Гоголь был украинец и, как многие украинцы, испытал некоторое польское, следовательно, католическое влияние; да и в зрелые годы он, как известно, сознательно, хотя и не явно, тяготел к Риму. Возможно,

¹ В “Раковом корпусе” Солженицына один из самых беспокойных больных с завистью вспоминает, “как умирали те старые в их местности на Каме — хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они принимали смерть с п о к о й н о. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, будто просто перебирались в другую избу”.

что ощущение контрастов и разрывов — между Россией и Западом, между Западом старым и новым — вселило в его душу, особенно под конец жизни, апокалиптический страх. У Леонтьева были иные причины для страха. Враг всяческого прогресса, он сам не избежал одной из его разновидностей, а именно, “прогресса” язычества. У Леонтьева оно выразилось в том, что он был слишком эстетом, и в том, что поклонился кумиру государственности. Оставаясь христианином, Леонтьев не мог не осудить в себе самое то и другое — и он сделал это т о л ь к о из страха загробного Суда, только из “трансцендентного эгоизма”, как он сам говорил.

Второе, после alexaндровского времени, пробуждение религиозной потребности в культурном слое России пришлось на конец XIX — начало XX века; на этой волне возникла своеобразная школа религиозной философии, расцвет которой пришелся уже на годы эмиграции. Одной из неопценимых ее заслуг было преодоление славянофильского утопизма и этического максимализма. Православие раскрывалось как задача, а не только как данность. Это связано с принципиально иным отношением к истории: русские религиозные философы отвергли тупиковые соблазны, какую бы поэтической дымкой ни были окружены эти последние; с другой стороны, они видели не только апокалиптический конец пути, они принимали в е с ь предлежащий путь как бремя, которое надо нести и вынести.

Почему же тема страха Божьего не заняла в русской религиозной философии сколько-нибудь существенного места?

Косвенный ответ на этот вопрос мы находим у И.А. Ильина: с его точки зрения, библейский страх никуда не исчез, он лишь стушевался, по-прежнему служа как бы подножием для более высоких чувств — любви, красоты, космической иерархии, того, что католики называют *misterium tremendum* (“трепетная тайна”). “Общий, родовой процесс обуздания зверя в человеке грозой и карой (“Ветхий Завет”) создает накопленный и осевший итог обузданности и воспитанности...”, — пишет Ильин¹. Века ушли на то, чтобы зверя в человеке более или менее укротить, и только после этого возникла возможность “уступчивой любви”. Ильин убежден, что ресурс “уступчивой любви” на Руси еще достаточно велик; революция была поверхностным омрачением национального духа, еще способного к скорому возрождению, путь к которому проходит через всеобщее п о к а я н и е (в некотором противоречии со сказанным в другом месте своей книги Ильин называет революцию

¹ Ильин И.А. О сопротивлении злу силою. Берлин, 1925, с. 162.

величайшей катастрофой в истории не только России, но и всего человечества).

Заметим, что в отличие от большинства других русских религиозных философов Ильин сохранял (особенно в 20-е годы) некоторые иллюзии славянофильства; в частности, он не вполне освободился от славянофильского морализма и несколько переоценил “народную” религиозность. Но в главном он, наверное, был прав: худо-бедно воспитанные в понятиях и чувствах христианства, русские люди имели представление о том, что такое покаяние, и вполне можно было бы ждать широкого покаянного движения — е с л и б ы политические условия сделали его возможным. Крестьянство, например, не могло не испытывать покаянные настроения после страшного погрома, учиненного на селе предрежущей властью в конце 20-х — начале 30-х годов. Для большинства интеллигентов наступивший “великий террор” был вещью совершенно абсурдной, не имеющей разумного объяснения; в отличие от них, крестьяне, еще менее разбираясь в конкретно-исторических его причинах, чувствовали, однако, что здесь не обошлось без гнева Божьего. И что тем, кто не покается, придется не только на этом, но еще и на том свете “пить вино ярости Божией...” (Откр.14,10)¹.

¹ Один из немногих выразителей настроений крестьянства (и, наверное, самый чуткий из них), Николай Клюев, эволюционировавший от прямой поддержки большевизма к “Погорельщине”, в конце 20-х — начале 30-х годов записывал некоторые свои сны, которые сам считал вещими. Почти все они были — об аде. Вот один из них, не самый жуткий: “Иду по безбрежному ледяному полю-пространству. Полная тьма. Натыкаюсь на какие-то небольшие кочкообразные глыбы, издающие вопли, стоны. Наклоняюсь, ощупываю и с ужасом узнаю человеческие головы, рассеянные по необозримому ледяному пространству. Эти стоны сливались в какой-то потрясающий гул, рев. Ощупываю и разбираю, что все тело погружено в ледяную, замерзшую, скованную плотную массу — по плечи. И лишь на поверхности — полужамерзшая голова с непередаваемо страдальческими глазами, открытым ртом, с перекошенными смертельной судорогой губами и всем лицом. Волосы стояли дыбом вокруг головы, твердо замерзшие, и казалось, что это вокруг огромные терновые венцы. Зубы оскалены в великом неестественном напряжении...” и т.д. (Сны Николая Клюева. — “Новый журнал” (СПб), 1991, №4, с. 23—24). Довольно необычен “жанр” периодической записи собственных снов и, что гораздо важнее, совершенно уже необычны для “большой” русской литературы, по крайней мере за последние три столетия, картины преисподней, которые навязчиво в них возникают. В свою очередь, религиозно чуткая интеллигенция проникается новым чувством страха перед “казнящим Богом”: так, воображению Даниила Андреева посмертные “страдалица” представляются кошмарнее чего бы то ни было, что возможно в посюстороннем мире.

Должен был склониться к концу XX век, должна была радикально измениться политико-идеологическая обстановка, чтобы вопрос о покаянии был поставлен в "порядок дня". Увы, для подавляющего большинства наших соотечественников слово "покаяние" стало к этому времени пустым звуком, сохранившим внешнее благообразие, но реально уже ни на что не годным.

В то же время до опаснейше низкого уровня сократились накопления "обузданности и воспитанности". Революция развязала звериные инстинкты, положив начало — но только начало! — разрушению человека, растянувшегося на долгие десятилетия; ибо велика была еще инерция нравственных привычек. Тот мягкий тип русского человека, об исчезновении которого печалились в 20-х годах некоторые мемуаристы, на самом деле не мог так сразу исчезнуть. Должно было смениться два-три поколения, чтобы в национальной типологии произошли какие-то существенные перемены. И чтобы в фундаменте нашей цивилизации, а значит и в устройстве души, образовались опасные пустоты, ныне делающие в высшей степени проблематичными любые проекты возрождения России.

Нельзя исключать того, что в настоящих условиях от христианства может сохраниться только "остаток" — "по избранию благодати" (К Рим. 11,5). Но если говорить о христианском д е л е, то в "порядок дня", очевидно, следует поставить о б р а щ е н и е. Я не богослов и могу здесь в чем-то ошибиться, но я знаю, что кериγμα (проповедование Слова Божьего, адресованное неверующим и полуверам) принимает в расчет реальное состояние умов у д а н н о г о племени в д а н н ы й исторический момент. Состояние же умов у нас таково, что оно, мне кажется, требует сделать акцент на теме страха Божьего. Пока у нас лишь каждый десятый верит в существование ада¹, Россия останется радикально дехристианизированной страной. Надо расколоть сознание страхом, чтобы заронить в него семена любви, — это знали христианские проповедники всех времен, и наше время ничем не заслужило того, чтобы сделать для него исключение.

Но представим, что не было бы катастрофы 17 года, а значит, и не было бы последовавшей за нею радикальной дехристианизации. Вероятно, даже в этом случае хотя бы некоторое усиление темы страха Божьего было бы неизбежно. В пользу такого предположения говорит давний опыт Запада.

¹ По данным "Независимой газеты", 21.04.1992.

Флоровский писал, что “русская душа живет и пребывает во многих веках или возрастах сразу”¹. Я думаю, что о немецкой, допустим, или французской душе в принципе можно сказать то же самое: но верно, что именно к русской душе сказанное применимо в наибольшей степени. Это легко объяснить тем, что Россия вот уже несколько столетий живет “по европейскому времени”, исторически отставая от Европы в некоторых существенных отношениях; причем отставание иногда измеряется столетиями. Так, многие явления российской истории и культуры XX века очевидно синхронны европейским, но если мы возьмем такое явление, как процесс вычленения индивидуальных “я” из хорового “мы”, связанный с развитием капитализма, то обнаружим, что у нас он только-только еще набирал силу в начале века. То есть Россия в данном отношении повторяла фазу, пройденную городским “авангардом” Европы в конце средневековья — начале Нового времени (мы помним, что именно с нею связано обострение потустороннего страха). Этот процесс был на продолжительное время “заморожен” при советской власти, зато сейчас принял особенно интенсивный и зачастую особенно уродливый характер.

Конечно, проводя аналогию, притом — это надо подчеркнуть — очень отдаленную аналогию, между процессом капиталистического дробления общества в Европе и у нас, нельзя не учитывать, сколь сильно за минувшие столетия культура потеснила религию. Фактически последней оставлена специально отведенная ей “территория”, за пределами которой все религиозное блокируется культурным этикетом (если можно употребить это деликатное слово применительно к современным реальностям). И если христианская речь о любви почитается в культурном обиходе еще более или менее уместной (ибо идеология “прогресса” сама оказалась не в силах придумать что-то ей равноценное), то речь о страхе Божиим практически из него исключена. А тема ада даже слегка ридикулизована и обычно ассоциируется с лубочными картинками лижущих сковородки грешников.

Чем культурнее человек, тем скорее его может покорибить “грубость”, элементарность самой идеи посмертного наказания как воспитательного принципа. С молодых ногтей он впитал культурную традицию, настроившую его на совершенно иной лад. Я имею в виду, прежде всего, великую литературу XIX века: какие уроки “воспитания чувств” она нам преподавала, сколько в них утонченности, какие

¹ Прот. Г.Флоровский. Пути русского богословия. Париж, 1937, с. 500. Сходную мысль находим у Бердяева, писавшего в сборнике “Из глубины”, что в русском народе соединяются разные возрасты — XX век совмещается с XIV-м.

фиоритуры! После всего этого апеллировать к страху (хотя бы и к страху Божьему) — все равно что из верхнего этажа дома, наполненного музыкой и благовониями, спуститься в подвал, служащий чем-то вроде карцера, где вас встречают осклизлые стены и потемневшие от времени балки.

Но верхний этаж давно уже существует только в воображении. Все рухнуло, по сути, уже в 17-м, хотя некоторая структурированность общества по признаку культуры — опять-таки в силу инерции — еще сохранилась. Только теперь все оказалось “на одной доске”, все смешалось со всем (речь сейчас идет, понятно, не о внутреннем пребывании души в разных временах, но о внешней “куче мале”). Сегодняшняя толпа представляет собою как бы вертикальный срез истории, уложенный в горизонталь: еще встречаются отдаленные потомки прежних “юношей бледных” и тургеневских барышень, и те, кто дышит, так сказать, Серебряным веком, и рядом — совершенные гунны (или кто там еще был в III—IV веках от Р.Х. примитивнее и brutальнее других?), возрождающие нравы Дикой степи в их современной, городской разновидности.

В известном смысле ГУЛАГ был прообразом нынешнего приведения всего и вся к некоему минимальному “общему знаменателю” (как его определить: “воля к выживанию”?). У нас, правда, нет теперь сторожевых вышек и вохры, и то слава Богу. Но спросите у Солженицына или Шаламова, что было в лагерях самого страшного и отвратительного? Оба ответят: блатари. А сегодня блатари исподволь задают тон всему нашему существованию, превращая вторично рожденный российский капитализм в самый криминальный из всех до сих пор существовавших капитализмов.

Впрочем, от возвращения сторожевых вышек и вохры мы тоже не гарантированы. Страшновато было бы подсчитать, сколь многие в нашей стране сейчас “хотят Сталина”. И, может быть, эта жажда “сильной руки” так и не пройдет, пока народ в массе своей не догадается о существовании куда более грозной Десницы.

Там, где в человеке пробуждается зверь, там необходима, как и прежде, гроза, посылающая страх и страдание.

Не следует, однако, понимать это так, что гроза необходима лишь для обуздания “гуннов”. Заново прочувствовать страх Божий — дело самых культурных, самых “мозговитых” и самых совестливых, способных испытать страх не только лично за себя. Давно и безвозвратно ушло время, когда образованные, по выражению Достоевского, “добывали веру в Бога от мужика”. Задача возрождения и поддержания (и обновления) веры ложится теперь, в первую очередь, на самих образованных — как это уже было в прошлом, в Европе и на

Руси. Она включает в себя обновление речи о страхе Божиим, соответствующее духу и букве православия и, с другой стороны, учитывающее культурно-исторические реальности. Негативный опыт Запада, некогда сильно “пересолившего” в этой части, липкий раз подсказывает, сколь важно здесь соблюсти меру, найти нужную тональность.

Обновление речи о страхе Божиим не должно сковать творчество (я уж, конечно, не должно поощрить какие-то ретроградные движения), но лишь должным образом скорректировать его. Бердяев, которого менее всего можно заподозрить в недооценке творчества, считал, что творческое дерзновение должно быть уравновешено религиозным послушанием (точнее, Бердяев писал, наоборот, что религиозное послушание должно быть уравновешено творческим дерзновением, но от перестановки членов смысл данного высказывания существенно не меняется).

С другой стороны, необходимо суметь воздействовать на массовое сознание, что, естественно, требует определенного искусства. Современный человек, бомбардируемый по всем каналам media — человек задубевший, привыкший более или менее поверхностно реагировать на разнообразие внешних воздействий. И все же не может быть, чтобы его нельзя было пронять разговором о с а м о м в а ж н о м. Надо только найти в его сознании “точку”, годную для соответствующего “укола”. Ведь эта податливая “точка” вполне может стать той надежной точкой опоры, которая — кто знает? — позволит, может быть, изменить весь ход российской истории!

Даже в чисто рассудочном плане речь о страхе Божиим имеет весомые шансы на успех. Ведь для того, чтобы испытать потусторонний страх, совсем не обязательно получить доказательства, что “там” что-то есть (я хочу сказать, что не существует доказательств, которые нельзя было бы оспорить). Верующий в них и не нуждается: для него тайна отсутствия Бога есть тайна Его всеприсутствия (как воскликнул не помню уже который из Отцов Церкви, обращаясь к Богу: “Тебе негде скрыться!”). Но равным образом не существует доказательств, что “там” ничего нет, — и этого у ж е достаточно для того, чтобы, скажем так, “спохватиться”. Коль скоро доказать, с линейкой в руках, ничего нельзя, что остается людям рассудочным, лишенным религиозного слуха? Только то, что на современном кинематографическом языке называется “саспенс”, — состояние угрожающей неопределенности. И разве э т о г о мало, чтобы ошутить хотя бы некоторый холодок в спине?

Один из самых знаменитых скептиков нашего века Хорхе Луис Борхес на вопрос, существует ли ад, ответил: “Почему бы и нет? Мир дивен; в нем все возможно”.

Но вообразим, что наша Россия вдруг (или не вдруг) сделалась богобоязненной. Не будем ли мы в этом случае выглядеть неким анахронизмом в глазах Запада?

Думаю, что как раз напротив.

Прежде всего, надо иметь в виду, что на Западе существует стойкое и довольно многочисленное (более многочисленное, чем это представляется поверхностным наблюдателям) меньшинство, не отступившее от канонических представлений о Страшном Суде и сопутствующих ему обстоятельствах. Но будем говорить о настроениях большинства. Оптимизм Века Просвещения, “приказавшего” небу быть вечно голубым, частично оспоренный уже романтиками, похоже окончательно исчерпал себя где-то на пороге последней трети нашего века. Призраки разного рода катастроф (выросшие из неконтролируемого развития технологии, бурного роста населения в странах Третьего мира, истощения природных ресурсов и т.д.) слишком плотно обступили западное сознание, чтобы можно было позволить себе тянуть прежнюю песню о том, как прекрасно все складывается к лучшему в этом лучшем из миров.

Да и собственные его (сознания, и еще больше — подсознания) демоны мешают. Отпущенные на свободу (по крайней мере, в сфере воображаемого), они увлекают человека в темный лес инстинктов, в не столь далекие времена казавшихся навсегда преодоленными. “Современный человек терпит жестокие удары со стороны стихийных сил собственной души... Век Просвещения, лишивший природу и человеческие учреждения богов, не обратил должного внимания на Бога Страха, живущего в человеческой душе. А ведь страх Божий как нельзя более оправдан перед лицом подавляющего превосходства психического (освобожденного от онтологических “обязательств”. — Ю.К.) начала”¹. Эти строки Юнга (которого лишь с большими оговорками можно назвать христианином), написанные в далеком 1932 году, сегодня представляются еще более злободневными.

Но что бы там ни говорили философы, Запад уже выработал стиль жизни, когда выше других качеств ценят бодрость, подтянутость, элегантность (спору нет, все стоящие качества), а то, что относится к темной, трагической стороне бытия, стараются ввести в какие-то условные рамки. В кино, например, можно показать все, что угодно, но ведь кино — это не более, чем кино. А то, что ввести в условные рамки нельзя, надо, по возможности, “замять”. Особенно, если речь идет о таких вещах, как боль или смерть (Мысль Леонтьева о том, что “все болит около древа жизни”, становится сегодня в высшей

¹ Юнг К.Г. О современных мифах. М., 1994, с. 242.

степени несвоевременной). Положим, против боли еще можно применить обезболивающее. Но что делать со смертью? О ней лучше всего просто не думать¹.

И все равно страх берет свое. Не только тот, что имеет рациональные причины, но также и даже в первую очередь — иррациональный, “необъяснимый”. Этого не могут скрыть и рамки условностей. Откуда, например, неожиданная экспансия жанра horror? Некоторое онтологическое чувство подсказывает, что основа бытия, как выразился Шеллинг, есть ужасное; причем это ужасное таково, что оно одновременно и отталкивает, и привлекает (“родимый хаос”). Жанр “страшной сказки” еще позволяет локализовать его и представить, как “не совсем настоящее”. Хотя страх-то — самый настоящий, исконно-человеческий; и никуда от него не деться (есть, вероятно, потомки Адама, не испытывающие иррационального страха, но о них можно лишь сказать, что, в отличие от нашего прародителя, они в этом отношении не поднялись выше уровня животных). О нем в свое время писал Розанов: “Все наши страхи основательны — ибо ночь (“мировая”, “незримая” ночь. — Ю.К.) не выдумана, не фикция, она есть. Оттуда летят на нас сны; есть некоторая относительная истина в этих снах, хотя, конечно, есть и доля искажения от нашего воображения. И, обращаясь туда, к этой ночи, — мы молимся, испуганные, потрясенные; сердце наше сжимается робко, мы прижимаемся друг к другу... Это — церковь. Все таинства религии — оттуда. Некогда прозвучало оттуда: “не бойтесь...”, пронеслась “благая весть”².

В данном рассуждении, однако, пропущено звено: прежде чем пронеслась благая весть, мировая ночь сгустилась в незримые черты карающего Бога Ветхого Завета; и темный страх превратился в страх

¹ Конечно, существует (я по-прежнему говорю о настроениях большинства) целая гамма отношений к смерти: от ни на чем не основанного “доверия” к тому, что ожидает умершего “на другом берегу”, до полного неверия в существование “другого берега”. Но если судить о внешних проявлениях отношения к смерти, складывается впечатление, что она становится чем-то едва ли не “неприличным”. Уходит в прошлое тщательно разработанная церемониальность проводов умершего (подчеркивающая значительность самого факта перехода его в иной мир), ношение траура и т.п. (если не иметь в виду те случаи, когда дело касается каких-нибудь в.и.р. — “очень важных персон”). Даже в романских странах становятся редкостью традиционные похоронные шествия с участием катафалка, запряженного черными лошадьми, мальчиков с колокольчиками и прочих обязательных аксессуаров (подобный ритуал, как мы знаем, существовал и в России; с его остатками лихо разделились в кино “Веселые ребята”). Растет безучастность окружающих к факту чьей-либо смерти, исключая лишь самых близких; впрочем, не так уж редко включая и их тоже.

² Розанов В. Соч. Т.1. М., 1990, с. 291.

осознанный: стало ясно, ч е г о надо бояться. И уже на т а к о м фоне было слышано тихое “не бойтесь...”. Сейчас мы наблюдаем в этом смысле откровенную регрессию. Расплылся Божий Лик и в результате потусторонний страх утратил “оформленность”, опустился до изначального примитивного “древнего ужаса”.

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами...

Стало быть, несмотря на все усилия, иррациональный страх никуда не исчез, но лишь деградировал, если можно так сказать. И вопрос в том, чтобы вновь его “повысить в чине” (в русском нет, а в английском, например, есть антоним слову “деградировать” — *upgrade*). И надо суметь избежать крайностей, как об этом довольно точно сказал Кьеркегор: “Нужно н а у ч и т ь с я (разрядка моя — Ю.К.) страшиться, чтобы не погибнуть либо оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого, что ты слишком отдаешься страху...”¹. Можно еще сказать иначе: “неплодотворный” страх надо сделать — “плодотворным”.

Заключаю: вероятно, первый шаг к нравственному оздоровлению общества будет сделан тогда, когда в телевизионную гостиную (конечно, именно туда, а не куда-нибудь еще!) прорвется свежий человек — неважно, будет ли это какой-нибудь вдохновенный инок или мирянин при галстуке, важно, чтобы он был у б е д и т е л е н, — который сумеет пронять аудиторию, пробить толщу черепов и кору сердец — вселить в зрителей-слушателей страх Божий. Или, точнее, вернет его на то место, где ему положено быть, — выправит в темной глубине души некую подкачавшую балку.

Боюсь, что пока этого не произойдет, слишком многие из нас будут жить сообразно с той “этикой”, что некогда была “обкатана” в урочищах ГУЛАГ’а, а затем дала метастазы по всей стране. И умирать так, как умирают зеки в одном из колымских рассказов Шаламова, где чувство злости было “последним чувством, с которым человек уходил в небытие, в мертвый мир”.

¹ Кьеркегор С. Страх и трепет. М., 1993, с. 242.

Евгений ЕРМОЛИН

ПРИМАДОННЫ ПОСТМОДЕРНА, ИЛИ ЭСТЕТИКА ОГОРОДНОГО КОНТЕКСТА

*Литературная критика
в газете "Сегодня" и в "Независимой газете"*

Середина 90-х. Хмурое утро неясного дня. Полюс холода упразднен. На время или навсегда в края оцепеневшего холода пришли тепло и свет. Лды сошли, снега растаяли. Обнажились грязь и копать, смрад и бред миновавшей эпохи. Только день никак не разгуляется. Старое, кажется, кончилось — а новое так и не началось, несмотря на все уговоры. И вдруг из этой тошнотворной обыденности вы попадаете в совсем не будничный мир, в чудесную оранжерею с экзотическими растениями, диковинными цветами...

I

Таковы страницы культуры и искусства в газетах российской столицы. Здесь наиболее примечательны "Сегодня" и "Независимая газета". В них ярче и последовательней, чем в других изданиях, заявила о себе новейшая генерация критиков, пишущих о современной литературе. Автору этих строк они, эти критики, — почти ровесники. И потому, наверное, я не могу не прислушиваться к их голосам, не могу не сверять их с моим собственным, каким-никаким. От сочувствия к недоумению, от недоумения к досаде — а теперь вот набрался духу вынести на суд публики наши разногласия.

**Евгений
ЕРМОЛИН**

— родился в 1959 г. в деревне Хачела Архангельской области. Окончил факультет журналистики МГУ. Кандидат искусствоведения, преподает в Ярославском педуниверситете. Автор ряда литературно-критических и культурологических журнальных статей, книги по истории Ярославля. Постоянный автор "Континента". Живет в Ярославле.

Прежде всего бросается в глаза, что страницы культуры и искусства в “Сегодня” и “НГ” вовсе не рассчитаны на заинтересованное внимание сколько-нибудь широких читательских масс. Скажу больше: здесь делается все, чтобы оттолкнуть обычного, так сказать, рядового читателя. Мне не раз приходилось сталкиваться с подписчиками этих газет, которые признавались, что перелистывают эти полосы, почти не задерживаясь (хотя и интересом к искусству их Бог не обделил, и культурный багаж кое-какой они имеют).

Сходу вопрос: а стоит ли в таком случае вообще заводить разговор об этих малозаметных критиках? Полагаю, стоит. И дело это не личной симпатии или антипатии. Критика “Сегодня” и “НГ” — некий знак, симптом. Здесь дают о себе знать широко распространенные, но не всегда уловимые духовные веяния современности. Здесь вышла на поверхность, обнажилась специфическая культурная порода. Будем считать знакомство с нашими критиками не самоцелью, а попыткой постижения духа эпохи, ее недомоганий, ее противоречий.

Читателей же газет я готов понять и могу им посочувствовать. Действительно, тон и лексикон на страницах культуры и искусства как будто нарочно заведены такие и для того, чтобы решительно и без обиняков отодвинуть лишних, ненужных, незваных. Этот пир не для них. Остаются только близкие по духу и, так сказать, культурному развитию — в сколь угодно узком кругу.

Чужие здесь не ходят. Государственная граница и, в сущности, край света — проходная в редакцию. Дальше — хаос, которому пропуск не выдается. Во внешней тьме мерцают лишь несколько огоньков. Несколько явочных адресов записаны в блокнот. Москва, Берлин, Вена... Канны... И полная дичь и чушь: Саратов, Екатеринбург, “Челябинск, Пермь — кто сумеет сказать о сих городах нечто достоверное? Там и люди-то, очевидно, давно не люди. И птицы — не птицы”, — вскользь бросает заведующий отделом искусств “Сегодня” Борис Кузьминский, то ли над чем-то иронизируя, то ли вполне всерьез. В этих маргинальных пространствах России не подфартило жить некоторым знакомым Кузьминского, критикам и писателям.

Впрочем, ни о каком Саратове мы лишнего не узнаем. А только что там есть критик Арбитман, читающий детективы, и есть еще редакция журнала “Волга” (2-3 человека). Вот и весь Саратов.

Живо воображаешь себе нежных единомышленников, затворившихся в редакции, как в институте благородных девиц, — за надежными стенами, за кремовыми шторами, за спинами крепышей в униформе. Компьютеры и факсы, сигареты, коньяк и кофе. Мягкий, уютный климат. Ничего казенного. Ничего чересчур обязывающего

и принудительного, ничего излишне сурового и патетического. Нет правил, которые нельзя нарушить. Нет нарушений, которые нельзя объявить правилами. Отборное общество эрудитов, экспертов, талантов. Ослепительная публика, объединенная сознанием собственной отмеченности, принадлежности к культурно-авангардному бомонду.

В этой своей атмосфере критик совершенно раскрепощается, позволяя себе непринужденно изрекать все, что взбредет в буйную головушку, в уверенной надежде на понимание и поддержку обитателей соседних дортуаров. Можно глубокомысленно бормотать, а можно пудами молоть вздор. Можно ругать, а можно петь осанну. Можно слегка поглумиться — хотя бы и над Солженицыным; и даже потоптаться на нем. Можно систематически притравливать Окуджаву, на свою беду ставшего букеровским лауреатом ("откровенно слабая проза Окуджавы", "обязательная дань либеральной конъюнктуре" и т.п.). Можно объявить классиком сотрудника своей редакции. Можно все.

Свои понимают друг друга с полуслова, с полунамека. Им ни к чему одические рати, траты пафоса, форсаж чувства. Прозрачность смысла, открытое выражение страсти едва ли уместны. Но хороши изморозь невозмутимых фраз и небрежная, пижонская многозначительность.

Вообще поводы для многих волнений упразднены. Критик Вячеслав Курицын как-то заметил о поэте советских времен: "Губанов писал, а, вероятно, и жил очень нервично, теперь, слава богу, к такой жизни поводов у нас стало меньше". Очень характерна эта уверенность, что нынче Губанову волноваться было бы не о чем. Зачем, в самом деле, поэту сегодня нервничать?

Замечательны и эти вскользь брошенные "слава богу". Переболели всякими пустяковинами, так называемыми большими тревогами века, излечились — "слава богу". Теперь живем — не тужим, исправно получаем гонорар и твердо знаем, что "жалеть человека — пошло. Корить коммунистов за то, что они козлы, — пошло".

Наверное, пошло и договаривать за Курицына: фантазировать, утрировать, спрямлять... Дело ведь не в гонораре. Дело в победительном чувстве превосходства, которое никогда не покидает нашего критика. Никакие губановы Курицыну не ровня. Эти отсталые современники и неуместные предшественники — с ними ни к чему церемониться. Их борьба и заботы — это для Курицына такой вчерашний, такой надежно похороненный день, что все причины и поводы этой борьбы можно спокойно поменять местами, разыграть в орла и решку. Никакой разницы — был Губанов коммунистом или антикоммунистом, даже пошло об этом спрашивать.

Так, наверное, какой-нибудь великосветский лев в старину беззастенчиво, в упор лорнировал попавшегося на глаза нелепого разно-

чинца, презрительно разглядывал его, водрузив под окуляр, как некое диковинное насекомое, и, наконец, с кислым видом, пренебрежительно отворачивался от всей этой плебейской возни, отцедив сквозь зубы неслестный приговор.

Вот еще одно показательное рассуждение Курицына:

“Пройдут десятилетия, и вопрос о политической ориентации Говорухина будет не более важен, чем вопрос о сексуальной ориентации Чайковского. Ориентацию свяжут с контекстом и объяснят ею конкретные жесты (...), так что пусть политические глупости Говорухина сразу попадают в историю культуры, минуя скучную стадию “принципиальных оценок позиций художника”. Вопросать, с кем мастер культуры Г., оставим демкомиссарам. Главное, что все новые и новые дети будут смотреть, как Жеглов и Шарапов лепят Горбатого, с той же радостью, как на Д’Артаньяна и Портоса, дыбающих подвески.

Пусть толпятся, гомоня, тонкошеие правозащитники: честные, чистые, хрустальные. Пусть ломает ветер их благородные голоса. Мы с ними согласны, мы, может, сами правозащитники, но если случится полюбить, то не их, а мужика в кожанке, сообщающего с гениальной хрипотцой: “Вор должен сидеть в тюрьме!”

Диву даешься, наблюдая, как критик на пустом месте построил дворец из воздуха и пара. Как он добывается подавляющего преимущества исключительно словесной эквилибристикой, задешево покупая интонацию непоколебимого превосходства. Такого не бывает случайно, вдруг. Тут угадывается какая-то беспронимательная логика. Критик как будто выгородил для себя отдельный огород, построил систему координат, в которой при любых обстоятельствах может чувствовать себя победителем, пребывать над головами голов, над мирами миров, в астральной сфере, где не холодно — не жарко, не грустно — не весело. Оттуда все противоречия, конфликты, борения этого, дольного мира кажутся только мелкой рябью на поверхности бытия. Их гасит неподвижная, неистребимая вечность...

II

Вечность, впрочем, вполне рукотворная. И называется она волшебным словом “контекст”.

О чем речь?

Упомянутые Курицыным киношно-фольклорные персонажи Глеб Жеглов и Володя Шарапов — завсегдатаи полосы “Искусство” газеты “Сегодня”. Их именами подписана и рецензия на сборник молодой поэтессы Светы Литвак, где мы находим такой пассаж: “...нам кажется, что она один из тех персонажей, с которым может

быть связано будущее такого известного явления, как “гумфондовская тусовка. Тусовка, существующая давно, имеющая свою газету, издающая книги, наработавшая реальные всякие связи, но никак не способная по каким-то досадным причинам выбраться хоть на сколь-нибудь пристойный уровень. Есть люди, но нет контекста... (...)

Вот жест: обложка. Кроме имени автора: Дюк Эллингтон, Лев Рубинштейн, Федор Гладков, Герберт Уэллс, Сара Бернар, Тур Хейердал и др. В общем, понятно, что это стихотворение, да и недурное. Но жест бесхозен, жест сир без механизма концептуализаций, жесту недостает контекста... (...) Ходами никого не удивишь нынче. Контекст — как раз умение их в пространстве и времени размещать”.

В критическом хозяйстве отдела искусств газеты “Сегодня” “жесты” как раз оприходованы, надежно осмыслены, включены в новую, особую реальность-самodelку — взамен то ли отсутствующей, то ли неудовлетворительной. Созданный в редакции контекст — это гарантия независимости от внешнего мира, способ совладать с его давлением путем совершенно свободного самоопределения в культурном пространстве. Как будто открывается пятое измерения бытия. Тот, кто ушел в него, — неуязвим. Вот почему наши критики никогда ни в чем не сомневаются и смотрятся со стороны эдакими суперменами: они обитают в своем контексте. Они познали истину этого контекста, и она сделала их сильными и свободными.

Хотелось бы сообразить, каковы законы этого прекрасного нового мира? Иными словами, что нынче не пошло? На что опирается, что ищет, к чему стремится, что утверждает новая критика? Что такое этот ее контекст? Дать ответ на эти вопросы не так легко. Иные статьи похожи на игру-угадайку. Текст бликует намеками на какие-то обстоятельства, теории, имена, идеи, верования. На то, чего не ведает никто. Эти намеки-экивоки, смысл коих понятен немногим счастливицам, указывают на что-то значительное, что-то заманчивое и увлекательное. Ан — непокупной товар. Поди пойми, где тут собака зарыта. Того гляди, еще и обсмеют: пошлость-де.

Ускользающий это контекст. Не то чтоб слишком бедный, но как бы небрежный, расхристанно, через пень-колоду выраженный. А может быть, этот контекст столь хищен, столь плотояден, столь увлекательно-прожорлив, что поглощает с потрохами и текст, и автора заодно? Отдел искусств выглядит своего рода стационарным перформансом, где процесс и атмосфера важнее итогов труда. Не является ли сама газетная статья только небрежной и торопливой отпиской, косвенным отходом бурной жизнедеятельности пригазетной тусовки?

Так это или не так, но что-то все ж понять можно и без семи пядей во лбу. Самый простодушно-безапельяционный из критиков новей-

шей формации Ефим Лямпорт откровенно выступает с декларациями против критики-публицистики, гражданских доблестей “в градусе полноценности”, “конфессионального миссионерства” и распространения идей под видом критических статей. Цель критика, говорит Лямпорт, — просто передавать впечатления о красоте. Причем довольно ясно, что это за красота. Уж во всяком случае — не красота вечных форм, идей, образов, символических свидетельств об абсолютном. Панэстетизм нашей критики не связывает себя никакими объективными критериями. Начало всех начал здесь, очевидно, — самодовлеющее личное впечатление. Прихоть вкуса, каприз воображения.

Внимание критика привлекает то, что будит его чувствительность, щекочет его нервные окончания: сюжет ли, герой, автор, или публика, нюансы стиля, или нечто из литературного быта, обихода, эксцессов околхудожественной жизни. Произвол импульсивного выбора и моментального впечатления здесь — синоним творческой свободы, раскрепощенности, знак упразднения всего, что может связать, обязать, принудить. В том числе — размывается и традиционная граница между искусством и неискусством. Персонажи произведений искусства становятся авторами критических заметок. Литературное произведение описывается и рецензируется на равных с каким-нибудь околлитературным событием. А если событие обладает качеством скандальности или пикантности, то оно и выводится в центр внимания.

Особенно падка на анекдоты из писательской жизни критика “Независимой газеты”. В собственно же литературных текстах успех часто имеют также какие-нибудь пряности, экзотические маргиналии, капризные странности.

Впрочем, в этой критике условием профпригодности является умение работать с любым литературным материалом, независимо от качеств последнего, которыми на худой конец можно и пренебречь. Ибо произведение здесь — не столько объект, который требует адекватной оценки, сколько повод. Оно дает толчок для совершенно суверенного творчества критика-виртуоза. Первичное впечатление, не становясь стимулом к действию, к моральному суждению, к духовному переживанию и осмыслению, открывает простор для полета воображения, для игры культурными ассоциациями.

В этой игре зависимость критика от рецензируемого произведения окончательно сходит на нет. Впечатление разворачивается павлиньим хвостом прихотливых индивидуальных ассоциаций критика, преобразаясь в случайным образом связанный с первоисточником творческий продукт.

Когда-то так писал один Лев Аннинский. Теперь в “Сегодня” и “НГ” его многоголовое потомство создает тексты, которые, подозре-

ваю, невозможно анализировать. Невозможно даже пересказать. Их можно только показать. Попробую все-таки дать пересказ.

Вот Вацлав Птенц (статья не только прозрачным псевдонимом, но и стилистикой пробуждает воспоминания о Курицыне Вячеславе) пишет о поэте Владимире Соколове. Для начала признается, что делает это нехотя и через силу ("лезу в чужой монастырь", "вступаю в область языка, который понимаю плохо"), и многословно осуждает тех, кто берется писать о далеких по духу литераторах (Рассадин о Пригове, Кенжеев о Сорокине). Затем переходит к Соколову, которого навсегда прописывает в советской литературе: "Конечно, он советский поэт, но из той драгоценной когорты советских поэтов, что общегосударственные требования к яснописанию и определенной структуре смыслов (...) тематизировала в русле русской традиции". И несколько ниже — снова: Соколов соглашался с "ментальной структурой" советской культуры, потому что писал о главном, высоком и святом, не очень определенно фиксируя их, но неизменно их приемля, что характерно и для "коммунистов". Там и тогда "очень много говорили про Человека" — "Вот эта потребность в человеке, вернее, в словах о каком-то ином человеке, засела в Соколове очень крепко", хотя на самом деле Соколов людей, может быть, и не любит (как, например, Фет). Наконец, мы узнаем, что поэт эволюционировал: как можно понять из замечаний Вацлава Птенца, от стремления слова и планы превращать в города и сады — к осознанию невозможности этого.

Вот, пожалуй, и все, что сказано в рецензии. Да, еще скороговоркой: "Чувство пути: национальная культура за спиной. Верность естеству: весна и осень как герои десятков стихотворений. Достойная гражданственность. Совестьливость, подлинно поэтическая чуткость", — это как бы от имени "среднего советского рецензента".

Жалко Соколова. Так равнодушно и поверхностно о нем давно не писали, а этот поэт достоин, кажется, лучшего. Надо ж было, чтоб тебя выдвинули на Пушкинскую премию, а "Вацик Птенц" тут как тут: вскрыл твое насквозь советское нутро.

По сути же, если вчитаться, Соколов использован Птенцом для репродукции своих (не сказал бы, что слишком глубоких) мыслей о советской культуре, которая остановилась на полпути в своем стремлении к преодолению всечеловеческих и гуманистических ценностей; "даже слишком общечеловеческой была эта система". Нужно было как-нибудь это сказать — почему бы не воспользоваться и Соколовым? Забавно, что попутно критик берется судить, кто может писать о Славовском и Пригове, а кто нет. Очевидно, он подозревает, что и Славовским кто-нибудь воспользуется не по назначению — а это-таки будет обидно: все ж любимый автор газеты "Сегодня"!

Конечно, в этой игре критик далеко не всегда реализует логику отталкивания от произведения-сырца на сто процентов. Но тенденция налицо, и творческий произвол критика, в сущности, не лимитирован никакими резонами. Бегущий от необходимости критик не берет обязательств и не платит долгов. Он забыл об их тяжести, ценой чего и купил легкость в мыслях поистине необыкновенную, возможность совершать феерические полеты во сне и наяву.

Символом текущего момента, очевидно, неслучайно стали три бабочки Сергея Мавроди. Безответственность мотылька-однодневки, красавца, порхающего по чистой прихоти здесь и там, является слишком заманчивой житейской стратегией и для наших критиков-гедонистов, ждущих от литературы удовольствий и произвольно сопрягающих тексты и контексты.

Таков, говорят, фатальный закон нашего столетия: золотые рубли вечно размениваются на медные копейки. Аристократическое хобби Набокова, этого великого махаона русской литературы, сделалось достоянием масс газетных критиков, мавродианствующих напропалую: кто как умеет.

К примеру, Борис Кузьминский, уже упоминавшийся, умеет весьма. Что за сочинитель! Бесконечно впечатлительный. Невозможно изысканный и утонченный. Он тклет статьи-арабески из прихотливых ассоциаций, пунктир которых, кажется, рвется, чуть только тронь. Словесные узоры значат все — и не значат ничего, часто находясь на грани орнаментальной бессмыслицы и невнятных намеков на заманчивый быт тусовки. Критик присваивает рецензируемое произведение в личную собственность. Обживая его, он пересочиняет, пересказывает за всех, о ком пишет, без оговорок мешая свой голос с голосом автора и голосом персонажа.

Пример: фразы о поэте Сергее Соловьеве, участнике тусовки. Внимайте: “Он поэт, как Данте, Софокл (боже упаси проводить вертикальные параллели). Он вслед за спрашивающим: где ты подевался между словом и вещью? где ты, наконец, ощущаешься меж объектом и сигнификатом? — как Данте, урожденный стихотворец, проходит по улицам обреченного (чумного) города. Среди них есть обетованная — Гибеллинов. Только он об этом не знает. Он вклеен в общий (извините, частный) обзор, он поэт, но, как Данте — у Медичи, вынужден вопрошать за что меня?”

Умри, Соснора, замысловатей не напишешь! Музыка сфер.

Отталкиваясь от всего, в чем подозревает шаблон и стереотип, банальную “формулу истины”, Кузьминский по-настоящему не интересуется ни духовной логикой текста, ни авторской мыслью, ни идеологией, ни поэтикой. При всей своей как будто бы культурной изощренности критик предпочитает конкретные детали-“жесты”,

обладающие неповторимой и неподражаемой “осязательностью”. И если переварить все непонятные красоты, отточенные небрежности, ученое шаманство (все Барт да Витгенштейн), — останется несколько непосредственных впечатлений Кузьминского — и только.

Вот характерное суждение из рецензии на повесть Фазиля Искандера “Пшадра”: “Композиция абсолютно провальна. Грубо, суетливо притянуты за лацканы: Сталин, Горбачев, гадкие нравы нынешней молодежи, грузино-абхазский конфликт, рыночная экономика и даже, клянусь Бенедиктом Сарновым, засилье антикультовой литературы. Остаются точечные, не напрямую связанные фрагменты, оправдывающие и сам текст, и нечто гораздо большее, чем 30-страничная повесть.

Губокая борозда, вырытая каблуком пристреленного немца. Женщина и мужчина, проводившие ночь вдвоем, не касаясь друг друга. Медовая подлость раскулаченного пасечника. Капли крови на морде овчарки. Смуглые предсмертные косточки”.

Не слишком ли скромный итог критического анатомирования? Произвольное суждение капризного вкуса, полагающего себя безупречным, оставляет от литературы только вершки и корешки. Смуглые предсмертные косточки.

Не составляет никакого труда воспользоваться впечатленческим редукционизмом как универсальной отмычкой. Прийти в мировую литературу, как в булочную, и сказать: накопайте мне изюма. Да не всякого, а только с синеватым отливом; я только такой обожаю.

Что там до нас с Кузьминским писали про “Войну и мир” графа Толстого? Народная война, Кутузов и Каратаев, декабристы и Наполеон, и даже, клянусь Вадимом Кожиновым, масоны... Все это притянуто за лацканы. Провалы вкуса, философия на мелких местах. А оправдывает всю эту галиматью и глобалку только короткая верхняя губка маленькой княгини с чуть чернеющими усиками!

Цельность художественной идеи нашим критиком не улавливается и не осознается как значимый критерий. И тогда остается утешаться вкусными образными десертами. Был такой писатель Валентин Катаев. Он любовался в сцене смерти пятнышками крови на белом снегу, находя в них большое сходство с ягодками рябины. Скажите, чем отличается катаевский эстетизм по ту стороны добра и зла от впечатлений Кузьминского, который сводит емкий смысл ключевой для Искандера сцены убийства пленного немца — к каблуку и борозде?

Такой подход выглядит как-то уж чересчур легковесно. Поэтому впечатление и воображение нередко берут себе в союзники теорию. Тот же Вячеслав Курицын беспрерывно творит миф о постмодерном характере современной культуры. В его устах слово “постмодерн” звучит как магическое заклятье и предлагается миру как панацея и индульгенция. Иногда критик похож на дикаря, перебирающего свои побрякушки, вчера презентованные заезжим коммерсантом стеклянные бусины, зубочистку и дешевую брошь.

На всякого мудреца довольно простоты. И все эти тягучие речи на “постмодернистской” мове содержат не так уж много новых мыслей. Снова и снова мы слышим, что из эпохи не выскочишь. А значит, нужно принять как факт и норму коллажно-мозаичскую культуру, отменяющую иерархии и утверждающую равноправие любых истин, отдаваясь релятивной игровой культурной практике... Удобные открытия!

Помнится, еще в начале своего критического поприща Курицын объявлял “главной проблемой всей современной культуры” то, что в ней “ныне очень напряжены отношения между сторонниками “иерархий”, систем ценностей и адептами внеиерархических концепций (таких, как постструктурализм, постмодернизм, шизоанализ и т.д.)”. А иллюстрировал он эту оппозицию единоборством языческой стихии, “неимоверной, восхищающей и пугающей силы”, — и “православного канона”, “тоталитарной христианской метафизичности”.

Сегодня критик, похоже, для себя уже освободился от всякой проблемности, от любых напряжений. Революция совершилась. Постмодерн победил. И ситуация постмодерна воспринята как карт-бланш для критического произвола, как средство легализации и узаконивания критики, свободной от долга, от обязательств, от “нервноорганизованных святынь и злобы дня”, — от всей и всяческой обузы, мешающей самовыражению и наслаждению.

Может быть, в этом есть новизна. Но немало и старины, хорошо, стало быть, забытой “умом”, но интуитивно угаданной и воспроизведенной. Что-то не слишком дальнее напоминает нам новейшая критическая метода. Недавно Борис Гройс заметил, что корни эстетизма отдела искусств “Сегодня” — в Серебряном веке. Можно было бы, пожалуй, уточнить: это скорее мода на декаданс Серебряного века, на связанную с ним практику человеческой самореализации. В этом мироощущении есть что-то жгуче современное.

Бедное положительными итогами и мучительное столетие кончается. Большие проблемы XX века, сводившие некогда с ума, упразд-

няются и отмирают. И мы почти спонтанно возвращаемся в Россию, которую было потеряли — и вот вдруг нашли. В “НГ” и “Сегодня” — это Россия “интеллектуального босячества”, где раскрепощенные гении капризно утверждают себя и знают только один закон: собственные произвольные хотения и мимолетные вожделения.

Стиль и терминология слегка подновлены и освежены — суть от этого не пострадала. Более того, наши критики, безусловно, вышли на новый, небывалый уровень панэстетского произвола, оставив далеко позади (внизу) своих предшественников, которые поголовно, от Акима Волынского и Юлия Айхенвальда до Корнея Чуковского, не смели избавиться от всевозможных предрассудков идейного свойства. Есть чем гордиться (откуда, вероятно, и самоуверенность, граничащая подчас с вульгарностью и хамоватостью).

Вот только как мне избавиться от встречного впечатления, что все-таки Борису Кузьминскому далеко до молодого Корнея Чуковского, а Вячеслав Курицын едва ли открывает своими манифестами такие же яркие и разнообразные культурные перспективы, какие открывали некогда Аким Волынский и Дмитрий Мережковский? И, рассуждая о связи наших критиков с культурой декаданса, я ловлю себя на ощущении несоразмерности взятых для сравнения величин. Там было много тлетворного, но немало и великолепного, разыгрывалась трагикомедия романтизма, отмирала грандиозная аристократическая эпоха... Здесь — сплошная епиходовщина. Словно бы лакей Яша, не доехав до Парижа, вернулся в Москву и сделался литератором.

Промежуточный духовный опыт нескольких десятилетий при этом воспринимается через инфантильно-впечатлительскую призму. Скажем, патологическая абсолютизация приема в литературе модернизма принимается как норма — но не столько ради приема как такового или, тем более, стоящих за ним глобальных проектов, а просто для улады пресыщенного сноба. Именно так, очевидно, нужно понимать еще одно красноречивое высказывание Курицына: “Когда массовому читателю рассказывают, что писатель хорош своей любовью к нравственности и гуманизмом, это значит, что либо писатель бесконечно плох, либо читателя обманывают. Писатель хорош не месткомовской характеристикой, а умением сочинять истории, шутить шутки и красиво ставить рядом слова”...

И еще один, почти анекдотический штрих. Все приедается — вот и постмодернизм уже не так щекочет глотку. И некоторые критики, особенно озабоченные новизной впечатлений, занялись, кажется, изобретением постпостмодернизма. Во всяком случае некоторые намеки на это появились в прессе. Не удивлюсь, если года через два возникнет и постпостпостмодернизм.

Среди литературных критиков “Сегодня” первую скрипку играет Андрей Немзер. Он пишет много и успевает высказаться чуть ли не по всякому поводу, чем, кажется, немало гордится и на что не забывает время от времени указывать в очередном своем комментарии. Так создаются репутации. И вот журнал “Столица” свидетельствует: “Немзер — наш, вне сомнения, главный критик. Писать про него — все равно что нырять в сухой бассейн: все вычерпано. Немзер — камертон интеллигента: если хвалит — значит, действительно хорошо; если ругает — все равно хорошо, потому что обратил внимание” (Николай Калинин).

Рискнем шеей и головой, ибо истина дороже. Скажем и про Немзера. А сказать, собственно, можно двояко. Можно выводить особенности его критики из того самого контекста, который утвердился на страницах “Сегодня”, — и Немзер почти без остатка раскрывается как характерный представитель этой специфической культурной среды. Можно же попытаться обозначить и осмыслить как раз этот “остаток”, выделяющий критика из общего ряда и делающий его самой, быть может, любопытной фигурой на нашей шахматной доске. Не знаю, который из этих путей лучше. А потому — пойду посредине и отчасти наугад.

Лицо критика имеет несколько расплывчатые очертанья. Один раз Немзер хвалит Солженицына и Астафьева, другой раз — Слаповского; этого даже горячий. Гибкость подхода? Широта взглядов? Аморфность миросозерцания? Азарт первооткрывателя? Не знаю. Но вижу: подарив себя газете, критик подчинился духу корпорации, общетусовочному ситуативному подходу к литературе, гипертрофии впечатленчества. Даже если не в пример многим бесцеремонным коллегам Немзер оборачивается моралистом, часто совсем не ясно, для кого он морализирует и во имя чего тратит пыл.

Скажем, критик однажды прочитал статью некоего Ивана Коновалова, в которой обнаружил “грязь блудословия”. В частности — в коноваловском отзыве на статью Н.А. Богомолова в “Новом литературном обозрении” “о халтуре одного халтурщика” (какого, читателю не сообщается). И вот на статью о статье о еще там какой-то статье Немзер помещает следующий отзыв: “...статья Н.А. Богомолова о халтуре одного халтурщика накачивается “подтекстом”, дабы Коновалов мог воскликнуть: ваше время кончилось, будущее за... Далее пишется имя бракодела, а подразумевается другое — то самое, которое остроумец (знающий реальную цену и “заморскому иноходцу”, и “русскому ломовику”) прикрыл басенным псевдонимом. Текст вершится цитатой: “Все позволено”. Ага, все: плагиат (или уклоне-

ние от “истории вопроса?”), безграмотность, передергивание, пако-стная осмотрительность псевдонима (я же шучу!), страх разговора по существу, пошлость без предела”.

Может статься, Немзер тут кругом прав. Но меня сейчас интересует его манера говорить так, чтобы никто ничего не понял, кроме, может, двух-трех посвященных в “историю вопроса”. Я не хотел бы думать, что это “страх разговора по существу”. Я только вижу тут немерянное высокомерие. Читатели, видимо, были бы не прочь эмоционально (да и интеллектуально) посоучаствовать в выяснении отношений умного Немзера и странного Коновалова. Но их соу-ча-стием откровенно пренебрегли, не объяснив, о чем речь.

Дотошный и досужий читатель может, конечно, взять “НЛО”, перечитать и сопоставить названные статьи, вспомнить о самом предмете спора... Но прояснят ли эти самостоятельные штудии позицию самого Немзера?

Не знаю. Знаю только, что столь резкое неприятие, как в процитированном отрывке, у критика в основном вызывает непрофессионализм. Его мораль — это, главным образом, мораль литератора, претендующего на роль специалиста-знатока, ненавистника дилетантизма.

За многие месяцы и даже годы литературно-критической деятельности критик Немзер впервые по-настоящему азартно вступил в полемику с пером наперевес только с “Коноваловым”, прикрывшимся псевдонимом. История получила продолжение после того, как этот псевдоним был раскрыт его обладателем (Евгением Голлербахом) в письме в “Сегодня”. В сильном раздражении Немзер присовокупил к публикации голлербахова письма разное послесловие, где продолжал уличать “И.К.” в безграмотности, непрофессионализме, грозно объявляя: “Комментировать тут нечего, полемизировать — не с кем”.

Читатель так и остался в некотором недоумении. Но, думается, уверовал в то, что перед ним — крупный специалист. У меня же возник другой вопрос: неужели ничего более драматического, чем данный инцидент, в литературе нет и постоянно публикующийся в газете критик больше не может найти ни одного повода для столь же отважных филиппик?

В других случаях Немзер гораздо, гораздо спокойнее. А иногда и вовсе не поймешь: ругает? хвалит? Из явно критических отзывов выделяется боевитостью рецензия на повесть малоизвестного Льва Рошалья “Новые времена, или Биржа недвижимости”. Рошаль в традиции плутовского романа и бальзаковского романа карьеры дает очерк пути к успеху современного Растиньяка из Коломны. В повести есть правда жизни, околопутчевая суэта 1991 года, есть и очевидный схематизм (скажем, служебный рост неизбежно покупа-

ется ценой морального падения). И характерно, что Немзера опять прежде и больше всего волнуют профессиональные качества Рошалья-литератора, причем в изложении критика анекдотически мелкие промахи явно заслоняют главные изъяны повести: "...г-н Рошаль лепит стилистические ошибки, разбавляет обличилровку порнушкой, не умеет просчитать эффект собственного сюжетного хода, хочет польстить "обиженным" и не прослыть ретроградом (у Белого Дома были прекрасные люди...); он не знает, что в московском метрополитене, имеющем кольцевую линию, с тремя пересадками ездят только изучатели подземных красот, а метромаршрут Таранова (персонажа повести. — Е.Е.) (из Кунцева на Дмитровское шоссе) предполагает одну пересадку (правда, как бы двойную: со станции, называвшейся в 1991 году "Калининской", на "Боровицкую" нет прямого хода)..." Венцом же непристойности становится для критика то, что плохая повесть Рошалья, обыгрывающая мотивы трифоновских московских повестей, напечатана в "Дружбе народов", где некогда публиковался и сам Юрий Трифонов.

Редко бывая в последнее время в Москве, я совсем запутался в метропересадках и так и не понял, чем особенно плоха, по Немзеру, рошальевская повесть. Только подумалось мне, что в "войнствующем профессионализме" критика нет ничего дурного. Кроме разве ограниченности. Ну и что, что в подходе Немзера к литературе есть холодная горделивость знающего себе цену мастера и даже какой-то спесивый сальеризм ("Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля...")? Они не всегда очевидны, иногда побеждаются остроумием или иными добродетелями. Зато как выигрышно смотрится критик, выходящий на смертельный бой за обещанного, по его мнению, покойного писателя! Остается пожалеть, что рецензия на опус Рошалья — скорее исключение среди дежурно-равнодушных откликов, вроде того высокомерно-поверхностного суесловия, которым отделался Немзер от романа Чингиза Айтматова "Тавро Кассандры". Он коротко пересказал содержание, небрежно поблуждал вокруг да около, бегло обозрел, что о новой вещи Айтматова написали другие, — и холодно удалился. Называйте это сознательным приемом: критик не касается сути, потому что ничего хорошего сказать не может. Пусть так. Однако кто освобождал его от выговаривания "плохого"?

Легко, конечно, заменить взыскательный разбор шутливой фразой. Сказать: "герой не моего романа", "видно, просто не мне это письмо адресовано". Но что-то слишком часто критик употребляет формулу умолчания — либо (крайности сходятся) софистически забалтывает тему. Если это не "страх разговора по существу", то, может стать, отсутствие представления о существе?

Нельзя не огорчиться, заметив, что критик пренебрегает отчетливостью в выражении своего духовного кредо. Кажется, и ему присущ фундаментальный недостаток всей нашей компании: способность как-то обходиться без той глубокой веры, которая произвольно выражает себя в программном единстве творчества, одушевляемого выношенным в сердце идеалом.

Используя школьную (простите-извините, университетскую!) выучку, Немзер уверенно поверяет алгеброй гармонию. Но он же скандально невнятен или даже двусмыслен, когда необходимо применить не только технические навыки, но и духовные нажитки. Иногда кажется, что критик мировоззренчески прошел мимо почти всего XX века (исключая разве что модернистскую апологию ремесла), — до такой степени “старорежимны” его крайне неопределенный гуманизм, его степенный оптимизм, его полнейшая душевная безмятежность и благородство намерений а 1а Степан Верховенский.

Эка загнул, скажет мне какой-нибудь Николай Калинин, — да разве это нынче порок, что нет у человека убеждений. Зато есть хороший вкус — мерило интеллигентности.

Вот поистине новая идея. Интеллигентность — это не боль за человека, не социальная забота, не готовность к равноправному диалогу с оппонентами, а “хороший вкус”!

Что ж, давайте учиться вкусу у Немзера. Глядишь (если использовать современную орфографию), понемногу и обЫнтеллигентимся.

На первый взгляд, вкус у критика воспитанный, культурный, тщательно выверенный, настроенный на работу без сбоев. Немзер — человек меры. То, что критик почти никогда не возвысит голос, не желает обнажать душу, — это еще полдела. В отделе искусств это не редкость. Мера Немзера — это последовательно проведенный конформизм, умно вычисленный компромисс, принципиальная эклектика, избавляющая от опасного риска. Свой среди “постмодернистов”, в кругу модной литературы, он может позволить себе в духе этой тусовки и вкусовой эссеизм, и фамильярность, может с удовольствием порассуждать о себе любимом и по душевной склонности объявить плодовитого беллетриста Слаповского надеждой российской словесности... Но при случае он охотно взглядывает и в сторону литературоведческого академизма, толстых томов в синем коленкоре. И тогда демонстрирует соответствующую выучку, которая сообщает его статьям долю унылого, но солидного занудства, профессорской важности. Многое вспомнишь давно позабытое, встречаясь с сочетанием тусовочной неряшливости — и респектабельного академизма, волапука советско-имлийского литературоведения — и новых для газеты слов “бытийственные вопросы”, “экзистенциальная пробле-

матика" (которые как новинка не всегда еще, на мой непросвещенный взгляд, удачно употребляются).

Кто еще сегодня так внушительно скажет о своем протее: "Я этот роман выдвигал на премию; я убежден, что языковая мощь Володина, его вовлеченность в стихию длящейся российской истории, его потрясающая пластичность в описаниях, его богатейший интонационный диапазон, заставляющий вспоминать великую нашу поэзию, должны быть расслышаны ценителями отечественной словесности"? Сказано — как о Шекспире. Да один этот период не то что Букера в Лондоне — Нобеля из могилы способен поднять, чтобы посмотреть на живого классика, незаметно проживающего рядом с нами.

Даром, что этого "классика" критик хвалит опять-таки почти исключительно за мастеровитость, обходясь без четкой характеристики духовного значения эстетических свершений Владимира Володина. Тщательный виртуоз-стилизатор, до навязчивости болтливый рассказчик, поверхностный бытописатель, — новый Гоголь явился?

А вот еще два "законнейших претендента": Петр Алешковский и все тот же Алексей Слаповский, сочетающие "блестящие навыки беллетристов с музыкально тонким языковым чутьем, ненапускной культурой, острым взглядом на снующую за окнами современность и подлинной мыслительной серьезностью".

Видит Бог, я не против авансов молодым и небездарным литераторам. И здесь опять готов понять Немзера, которому — кровь из носу — хочется открыть гения в своем поколении. Я не могу согласиться с теми, кто считает похвалы писателям только способом их вербовки в литературную партию. Но что-то раздражает, ей-богу, в этих привычно гладких оборотах речи. Разве так, думаю я, делаются открытия? Разве такими словами выражается восхищение, разве этими обтекаемыми банальностями можно явить публике гения?

Наверное, я не прав. Но когда экспертный псевдообъективизм скрывает завышенность оценки, то становится чуть-чуть неловко за "камертон интеллигента".

V

Впрочем, все познается в сравнении. В отделе искусств "Сегодня" разлита атмосфера легкой пресыщенности и усталой снисходительности. Критики там похожи на блаженствующих богов Эпикура. Иной характер у отдела культуры "Независимой газеты". Здешний салон усвоил опыт советской кухни и подворотни.

Правдоподобна одна автоаттестация этого кружка, хотя она и замышлялась, кажется, как ироническая. В тот раз заведующий отделом культуры Игорь Зотов рассуждал о господстве в литературе

“роев”, “стай”, “племен”. Есть-де мафиозная, дорвавшаяся до власти, до раздачи стая — а есть “мы”: “бродячая стая”.

Это “стайное” мышление, конечно, не открытие Зотова. Но прописать себя на помойке удавалось не всякому. Бродячие хмурые псы заходят иногда в коридор “НГ”, пишут на столбик кто прозой, кто в рифму — и страшно гордятся: ах, какие мы дрянные! И здесь немало досужих разглагольствований, наивного кокетства, претенциозной похвальбы. Но в нос бьет прежде всего запах сплетни. Кого-нибудь облаять, а если удастся и покусать — вот мечта иного “независимого” критика. Разрывать лапами грязное белье — и тут же жеманно фыркнуть: фи, какие ароматы!

Единственные козыри такой критики — сплетня и скандал. Рецензенты “НГ” пишут обо всем подряд. Корабль движется неведь куда, без руля и без ветрил. По ведомству литературы рецензируются случайные книги, переиздания, западные детективы и триллеры, публикуются юбилейные и мемориальные статьи — без всякой системы. А главное — вяло, многословно, без блеска. По большому, серьезному поводу критикам “НГ”, кажется, нечего сказать. Или, точнее, для них не существует серьезного повода. Да и откуда ему взяться, если жизнь — это калейдоскоп моментальных впечатлений, а литература — задворки гастрономического магазина? Все это производит впечатление и на стороннего наблюдателя. Впечатление заурядного бедлама с угрожающими позами и вспышками немотивированной ярости, с тоской и скукой в осадке.

Настоящее оживление на странице “Культура” возникало, если тут удавалось раздуть какой-нибудь скандалчик. Григорий Амелин в классической басенной традиции обтявкал (позвольте мне один раз выразиться именно так) из подворотни Солженицына. Ай, Моська! Сколь шуму наделала. Редактору газеты пришлось самолично вступать в объяснения — и не сказать, чтобы он преуспел в отмыывании позорных пятен.

Но это разовая акция. А были и скандальные сериалы с планируемым эффектом. Мастер такой провокативности — Ефим Лямпорт. Бесконечно самоуверенный, бесцеремонный критик пришел и с комфортом разлегся посреди литературы. Он чешет за ухом, сморкается, ловит блох — и между прочим изрекает в весьма развязном тоне весьма суровые приговоры. Это остроумный фельетонист, для которого литература — главным образом, повод, чтобы раздуть веселый коммунальный скандал. Что бы делал Лямпорт без премии Букера! Она была придумана как раз для того, чтобы ему порезвиться вокруг да около.

В последнее время полоса, отданная в “НГ” искусствам, сокращена наполовину и больше. Собственно, жалеть об этом не приходится.

Жалеешь о другом: в столице почти не осталось газет, где о литературе говорили бы серьезно, с той мерой глубины и ответственности, которая является удостоверением настоящего качества и знаком уважения к писателю и к читателям...

VI

Критик — это идеальный посредник. Он прокладывает пути и строит мосты. Связывая писателя и читателя, человека и человека, человека и Бога, критик не может существовать в совершенно автономном статусе. Между тем, именно такой проект, кажется, пытается реализовать критика наших газет. Самоизолировавшись от мира, она отдается бесцельному словопроизводству, не обеспеченному высшей целью, лишенному вектора серьезной и ответственной воли. Автор монолога, летящего в пустоту, не знает своего долга: долга критика перед литературой и читателем, долга гражданина перед обществом, долга человека перед Богом. Нет ни смятения, ни сомнений, ни колебаний. Сплошь и рядом — самодовольная убежденность в собственной состоятельности, в обладании высшим рангом. Целая вселенная вращается вокруг этих полос, зеркал, в которых нарциссически созерцают себя их авторы. В атмосфере духовной размягченности умножаются симптомы звездной болезни, достигают предельных величин богемно-столичная спесь и провинциальный апломб, капризный эгоцентризм, инфантильное потакание своим позывам. Неудержание речи влечет потоки слов и инфляцию смысла.

Это критика, опасно ослабившая связи с бытием. Эфемериды, подчас забавная, но, как правило, лишенная духовного значения. Человек, мнящий себя интеллектуалом и чуть ли не аристократом духа, элементарно заигрывается в эту игру мнимостями, опасно рискуя впасть в слабоумие и дойти до кошунств. Если существует какая-то “чистая культура” — “спонтанное передвижение амбивалентных знаков”, — то почему бы не проиллюстрировать такого рода фантомную динамику, взяв в пример... ну хоть храм Христа Спасителя. Так и делает Вячеслав Курицын: “...сюжет гениальный: Храм — Дворец — Бассейн — Храм. И хочется верить, что на этом дело не кончится, что во время какой-нибудь очередной революционной переделки какие-нибудь водопоклонники непременно вернут на историческое место Бассейн”.

Эти красавцы, таланты и поэты бывают впечатлены и настоящими духовными ценностями. Но то и дело они впадают то в дешевый цинизм, то в ироническую беспринципность. Огромное искушение — сказать по-русски то, что до тебя еще никто не говорил, во

всяком случае с газетной полосы. Вот так, например: “А что касается агрессии и разгула (...), то разговоры о Нравственности, Устоях, Традициях и прочем еще страшной своей скрытой и часто даже откровенной фашизoidностью. За вечные ценности в России воюют по-настоящему. Так что когда я слышу о вечных ценностях, культуре и ответственности, догадываюсь, что пора заготавливать корнеплоды и покупать бронежилет” (Андрей Ковалев).

Что скажешь критику, повторяющему зады легкомысленного западного интеллектуального фрондерства? Что ни скажешь, с него все, как с гуся вода. В ваших словах найдут (или не найдут) лишь новый повод, чтобы впечатлиться. Мы еще умеем пока отличить идеи и практику фашизма, отнимающего у человека свободу, — от свободно и сознательного выбранного и осуществленного долга, от надежной и крепкой веры. Ну, а для кого-то все эти слова — только игрушки. Поиграл — и забросил в угол, когда надоело.

С тоской вспоминаешь некоторые перлы “НГ” или скандальную травлю отделом искусств “Сегодня” фильма Спилберга “Список Шиндлера”. Ну, а для передачи впечатлений от рецензии Вацлава Птенца на совместное творение писателя Владимира Сорокина и художника Олега Кулика я и слов не найду. Она сама за себя говорит. Два абзаца, первый и последний: “В очередной раз посрамлены те, кто говорит, что молодежь далека от национального духа и что современное искусство лишено отечественной духовности. Говорят так обычно люди злобные и недалекие, которые и рок-музыку обвиняли в том же, будто не пел Борис Гребенщиков, что не сможет стоять, если не будет держаться корней. Сколь бы ни было извращено время, сколь бы ни была вывихнута его связь, чуткий художник всегда найдет возможность и средство припасть к живительным национальным источникам, ибо не может попросту без них существовать и дышать. (...)”

Девушка вставляет глаз в другое себе место (с другой стороны себя) чтобы юноша не нашел глаз пачкается в гнилом бридо и скользит дальше: не вытянешь так и будет внутри юноша со звериным рыком лезет вслед за глазом девушка охнуть не успела вкрутился полруки по локоть засунул за глазом а лезет дальше и дальше встал уже у горла (глаз) а рука как пробила затор: хлынуло: из девушки хлынуло”... Нет, здесь остановлюсь, впереди еще столько же и в том же духе, а желания перепечатывать эту гнусь никакого нет.

Неужели у подобных критиков имеются где-то в заводе нешутейные убеждения? И неужели этот вкус нужно считать отменным?

Зачисленные в штат отдела искусств Глеб Жеглов и Володя Шарапов — неужто это всерьез? “Жрица, Постум, и общается с

богами..." А ведь, кажись, всерьез, если хотя бы на миг поверить Курицыну, который, помните, пропел осанну человеку в кожанке и предпочел его всем правозащитникам.

Поневоле вспоминаешь, что самые сильные впечатления в XX веке давали художникам именно люди в чертовой коже...

И уж во всяком случае нелицемерны регулярные похвалы в газете "Сегодня" в адрес еще одного классика, Владимира Сорокина. Этот "мастер чистого письма", глубоко несчастный, обиженный судьбой литератор сочинил для себя какую-то убогую концепцию и в угоду ей подробно разрабатывает анально-генитальную тему, смакует всевозможную расчлененку. Литература на любителя, но после всего сказанного и прочитанного уже не может удивлять, что ее поклонники нашлись среди наших критиков. Немзер — тот хотя бы молчит. А Курицын давно, хотя и безуспешно, выдвигает своего любимца в авангард отечественной словесности.

Здесь ли заводить разговоры о доблестях, о подвигах, о славе, ставить вопросы о человеческом уделе, о путях России, о красоте и художественной правде? В лучшем случае рискуешь услышать что-нибудь такое: "К интуитивному. Порыв ливня: тайна. Порыв: смерть, езда в остров любви. Сутулая, неисповедимая спина России растворяется в путанице новых путей. (...) И потом, как бы по Хемингуэю, пошел снег. Сугробы. Медведи. Красная икра. Черная. Пельмени. Любви. Лезвие. Кровь вен."

Стоит ли вообще принимать эту критику всерьез, если она имеет какое-то значение только в том призрачном контексте, типографским оттиском которого являются полосы наших газет? Тихие, спокойные люди, безопасные в быту. Всегда такими и были. Никого не зарежут, не ограбят. Пороха не изобретут ни при какой погоде. Сидят, починяют примус. Что с них взять? Ужи не кусаются, они только на вид змееподобны. Да и узок круг этих революционеров, таковым и останется. "Мы безвредны", — провозгласил недавно один из них.

Примерно понятен генезис новой критики. Для наблюдателя, который ищет всюду социальную подоплеку, ее нынешний вид — следствие житейского запора, неспособности преодолеть последствия затянувшейся петлей внутренней эмиграции, благополучной отстраненности от проблем эпохи, от несчастий родины, от народа, который то ли есть, то ли... В новых условиях, когда эмиграция становится добровольной, ненавязанной, охота ткать паутину, сочинять небывлицы, пересказывать сны — не проходит. Жизнь жестока, груба и беспощадна — так подальше ее.

Вот характерные сожаления кинообозревателя "Сегодня" Юрия Гладильщикова, вполне применимые к литературному делу: "Поче-

му невозможен классный боевик на российской почве? Причин масса, но в частности он невозможен потому, что жанр — это воплощение свободы. Играть в пространстве жанра может лишь человек ничем не скованный. А наша почва не дает свободы. Наша действительность, во-первых, чересчур скверная, неприятная, и, значит, всякий боевик про мафию будет восприниматься не как вольный вымысел, а как нечто социально заостренное, а во-вторых, наша действительность слишком общественная, соборная, т.е. неромантическая”...

А чтобы мотивировать свой эскейпизм, сгодится и миф о постмодерне. Нужды нет, что реально постмодерн — это скорее сигнал тревоги для Запада. Это знак изжитости многих культурных традиций, истощенности многих идеалов и ценностей, знак усталости культуры, усомнившейся во многих целях и смыслах, и в то же время примета непрерывного поиска выхода из тупика. Постмодерн нужно понять как симптом недомогания, чтобы это понимание стало залогом движения и творческого преодоления исторической немощи. Но вот наше российское несчастье! С привычкой бежать впереди паровоза у нас восприняли постмодерн как Последнюю Станцию, чуть ли не вождеденное Светлое Будущее. Как нечто позитивно-стабильное, даже окончательное и неизбежное, обязательное и необходимое для употребления.

Постмодерн призван, в сущности, открыть перспективу, распахнуть горизонты. У нас же доморощенные постмодернисты скорее склонны в очередной раз перспективу закрыть, оставив только ту полосу, которую застолбил главный адепт и эксперт отечественного постмодернизма Вячеслав Курицын.

Важно осознать, что здесь нет ровно ничего фатального. Тотальный постмодерн — это дом на песке: тронь — и рухнет.

История не кончилась. Она продолжается и создается у нас на глазах и при нашем участии. Пресловутый конец века — еще не конец истории, да и жестоко было бы (хотя, возможно, справедливо), если бы мы навсегда остались в межеумочном быту середины 90-х годов, в этом дешевом негероическом времени, где, как на свалке, тяжело догнивает минувший век, отравляя воздух миазмами. Боже упаси. Нахлебались вдосталь. К счастью, замыкание в некоей безысторической паузе — это свойство не бытия, а только специфически повернутого мировосприятия.

Правда и то, что отношения критики, убежденной в самодостаточности артефактов, с читателем — парадоксальны. Зачем, скажем, Роман Арбитман регулярнейшим образом рецензирует российские и зарубежные детективы? Ведь те, кто читают детективы, как правило, не читают рецензий. И наоборот. Кому нужны эти статьи? А кому

какой прок от архитектурных излишеств самодостаточного стиля, от самодовлеющих красот Кузьминского? Это бесцельные словесные казусы. По усам текло, в рот не попало. Да и более традиционно выполненные статьи едва ли утолят жаждущего. Это не источники, а мертвые озера, из которых ни напиться, ни умыться.

Казалось бы, если вам так безразличен читатель и вы не рассчитываете на резонанс, так держите свой редкий товар при себе. Зачем тащить его на газетное торжище и продавать в нагрузку к политике и экономике? Однако несут.

Тупиковость культурного опыта и отсутствие значительной аудитории определяют и перспективы, и возможности новейшей критики. Они едва ли велики. Но тут есть и острый культурный сигнал. Незримыми нитями настроений и житейских ориентаций наша критика связана с некоторым числом лиц, которые могут вовсе не читать газет, но по духу схожи с завсегдатаями художественной тусовки. И нужно бы еще осознать потенциал этого числа.

Слишком многие на исходе нашего века перестали отличать настоящее от фальшивого. Нет критерия, нет меры, нет ценностного центра. Культура — да и жизнь в целом — воспринимаются как царство условностей, мнимых величин, как пространство игры без наперед заданных правил.

В этой игре личность, отвечающая за себя и вступающая в диалог с Абсолютом, не востребована. Ей здесь нечего делать. В игру задействован бесконечно пластичный, капризно-впечатлительный, легко меняющий настроения и мнения аноним.

Когда из жизни уходит подлинность, газетное поле и поле жизни заполняют псевдонимы. Раньше, говорят, маски прирастали к лицам. Теперь лицо не находит себя на потешном маскараде, в круговороте забав. Человек перестает понимать, где пролегает грань между его неподдельным Я и маской-псевдонимом. Где подлинность перетекает в фантомность условной позы, взятой напрокат формы. Позволительно на миг опешить: кто же существует на самом деле: Андрей Немзер, Аделаида Метелкина, Глеб Жеглов? Судя по изредка публикуемым фотографиям, Немзер все-таки до сих пор существует. Хотя его дружининско-лакшинские усы меня смущают. Может, и Немзер сочинен, как пародия на Лакшина?

Личность дробится на вспышки впечатлений и вожделений. Декаданс как житейская практика — самоистребителен. Однако невредно вспомнить, что декадентский нарциссизм и релятивизм в начале XX века немало способствовал культурному распаду. Лишенный надежных ценностных оснований человек оказывался беззащитен и постоянно духовно уязвлялся тлетворными идейными поветриями. Декаданс конца XX века (под псевдонимом постмодернизма) сегодня

закрывает для нас путь к духовной трезвости и ясности, создавая удобную среду и для интеллектуальных провокаций, и для социального надувательства.

Будущее открыто, но его открытость тревожна. Одних эта тревога мобилизует, других... Другие невозмутимо разыгрывают ежедневную комедию на газетной полосе. Актеры споровисты, но тема их мелка. Нет подлинного духовного синтеза, есть только его игровые эрзацы; знаки упадка, немощи.

Гляжу, вздыхаю в душе. Поколение, кажется, не состоялось. Их не выбивало железом, они потихоньку изгибают сами по себе... Кто-то смеется: вот чудак, нашел повод для печали; еще вырастет когда-нибудь новый лес, упрется вершинами в небо.

Сам понимаю, а все же жаль. Ей-богу, жаль.

Архангельск—Ярославль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА"

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА "КОНТИНЕНТА" (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы, литературной критики, историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для "Континента" системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критериев, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критериев "Континента", но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмыслению современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиально-го, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концеп-

туальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя.

Этот раздел БСК публикуется в журнале раз в полгода — в нечетных номерах.

Редакция "Континента" хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

При взгляде на журнальную прозу начала текущего года останавливает внимание неожиданное обилие публикаций на историческую тему. Как показали обзоры журналов прошлого года, историческая тема последовательно ослабляла свои позиции в журнальной художественной прозе, и сегодняшний обновленный интерес к истории прерывает эту тенденцию. Случайно это или нет, покажет, конечно, только время. Но, возможно, возобновление прежнего интереса к исторической теме как-то связано с ощущением того, что мы снова увязли в собственной истории и вряд ли быстро и безболезненно из нее выберемся. Видимо, перспективы обновления, еще вчера казавшиеся ясными и реально достижимыми, опять приобрели смутные очертания и отодвинулись в дальние дали. Это косвенно подтверждается тем, что интерес прозаиков, главным образом, вызывает советский период отечественной истории, с художественным осмыслением которого, вероятно, и связываются главные надежды на накопление опыта отрезвления и освобождения от иллюзий.

Но не будем нарушать хронологический принцип и прежде чем переходить к советским временам, отметим публикации, касающиеся дореволюционного периода российской истории. Из них заслуживают внимание, пожалуй, всего лишь две.

Вячеслав Пьецух в рассказе "Капитан Костенко" ("Дружба народов", №7) дает иллюстрацию к теме власти случая в истории. В жанре исторического анекдота писатель рассказывает о том, как в 1916 году император Николай II прихотью обстоятельств спасся от смерти, а покушавшийся на него русский офицер-камикадзе погиб.

Среди рассказов Виктора Лихоносова ("Москва", №2), скорее напоминающих не доведенные до кондиции полуфабрикаты

с назидательной начинкой, можно выделить сюжет из истории 2-го Урупского полка, который в 1905 году “пошел против царя” — казаки из Новороссийска пришли в станицу и, закрывшись в церкви, сыграли на колоколах “Интернационал”, за что были подвергнуты церковной анафеме и отправлены в Сибирь. Это проклятие все последующие годы преследовало четыре поколения казаков, потомков урупцев, пока в 1991 году по их прошению епархиальный владыка не снял проклятие и не были отслужены панихиды в церквях и на могилах урупцев (рассказ “Сними проклятие, Господи...”).

В первые послереволюционные годы возвращает читателя “революционная хроника” В а л е р и я З а л о т у х и “Великий поход за освобождение Индии” (“Новый мир”, № 1) — озорной постмодернистский коллаж, историческая фантазмагория, снимающая покров с “последней” большевистской тайны о сверхсекретном походе Особого кавалерийского корпуса в Индию для ее завоевания-освобождения и завершения мировой революции. “Хроника”, в которой революционный бред перемешан с фантастической реальностью Индии, ее химерами и миражами, движется безоглядно устремленным вперед сюжетом. Автор делает ставку на его занятность и увлекательность, относясь к запутавшимся в его хитросплетениях героям с жалостью и сочувствием. Корпус, в котором по зову революции соединились казаки, латыши, русские, украинцы, евреи, китайцы, возглавляемые комкором Лапинешем и комиссаром Брускиным, идет с боями, палимый “белым солнцем пустыни”, через пески, джунгли, Гималаи, через множество приключений (колдуньи и демоны, ученые кобры и слоны, снежный человек и английские империалисты, сикхи, буддисты и мусульмане) и увязает в Индии, которая поглощает корпус без остатка. “Хроника” завершается в наши дни, до которых доживает бывший красный герой, лихой рубака и георгиевский кавалер Иван Новиков, вынужденный до ста одного года, исполняя пророчество, мыкаться по Индии. Среди персонажей и затейщики “великого похода” — Сталин с Троцким, и беззащитный больной Ленин, которого отправляют на исцеление в Индию. Там в него по ошибке стреляет английская империалистка, а после смерти он под приглядом верного Новикова по очереди перевоплощается в нетопыря, козла, собаку — дальше его ждет воплощение в черепаху-долгожительницу, после чего (через 300 лет) он снова в человеческом облике вернется в мир, чтобы продолжить его переделку. А тем временем в Кремле его двойник Шишкин, заменивший Ленина на время лечения, пьет водку, обыгрывает в карты Сталина с Троцким, которые уже с нетерпением ждут возвращения из Индии настоящего Ленина, и войдя в образ, издевается над их инородческим происхождением. Он сам подает им мысль захоронить себя в мавзо-

лее, что они и проделывают, придушив его при первой же возможности...

Вступив таким эксцентричным образом в пространство советской истории, дальше мы выделим группу публикаций, посвященных теме Великой Отечественной войны или так или иначе касающихся военного времени, — в связи с 50-летием Победы журналы уже с начала года обратились к этой теме.

О л е г С м и р н о в, автор романа “Месяц колосьев” (“Наш современник”, №1—2), — фронтовик, не понаслышке знакомый с окопным бытом, знание которого наполняет жизнью страницы романа. Вследствие этого обширное повествование, ориентированное на “правду жизни”, где смерть, в отличие от политруков, не различала коммунистов и беспартийных, верующих и неверующих, раскулаченных и уголовников, читается с интересом, несмотря на композиционные нестыковки, стилистические сбои и монотонности. Роман выстроен на параллельном движении двух не пересекающихся, но перекликающихся рядов. В кабинете Вождя (среди действующих лиц — Сталин, Берия, Маленков, Молотов, Щербаков, Поскребышев, маршалы Жуков, Василевский и др.), в атмосфере страха и рабOLEпия, зловещих шуток Вождя и неуверенности каждого из его соратников в своей завтрашней судьбе, обсуждаются планы военных операций и принимаются решения. А в пехотном батальоне одной из дивизий, освобождающих Белоруссию, эти планы превращаются в реальность кровавого наступления, состоящего из боев за каждый клочок земли. Главным своим героем писатель делает батальонного замполита, уральского учителя Данилкина, человека безусловной храбрости и честности. Деля с солдатами все тяготы кровопролитных боев и изматывающих пеших переходов, он все более проникается сознанием никчемности того дела, к которому приставлен, неуместности и даже кощунственности тех казенных слов, которыми он поднимает бойцов на верную смерть и напутствует умирающих. После смерти комбата он возглавляет батальон и умирает как строевой офицер, а не как пустослов, путающийся под ногами у людей, делающих военное дело.

Памяти о войне посвящены “фрагменты из незавершенной повести” **Ф е д о р а А б р а м о в а** “Белая лошадь” (“Знамя”, №3) — эпизоды, черновые варианты, наброски, заметки и вопросы, обращенные к самому себе. Повесть, замысел которой писатель, студентом ушедший в ополчение, вынашивал 40 лет, рассказывает о студентах-ополченцах, безоружных и необученных, которые своими трупами замостили подступы к Ленинграду, чтобы на них забуксовали немецкие танки. Постоянно возвращаясь мыслями к погибшим, к своему выбитому войной поколение (из 125 студентов ленинград-

ского филфака, вместе с Абрамовым ушедших в ополчение, с войны вернулось б), писатель размышляет о том, какими они были, но и какими бы они стали, если бы остались живы, о смысле их подвига, который ничему не научил уцелевших, о казенных памятниках и казенных речах и о неоплаченном долге живых перед павшими.

Войне посвящена и повесть В а с и л и я Б е л о в а “Медовый месяц” (“Наш современник”, №3) — о трех девушках из дальней вологодской деревни, мобилизованных “на окопы” и сбежавших тайком домой (их бросили на произвол судьбы, оставив без пайков и без работы), — о том, как они, голодные, прячась от милиции, несколько дней и ночей, плутая по лесам и дорогам, шли на родину. Повесть выдержана в приподнятых тонах, писатель любит русский женский крестьянский характер — стыдливостью, доверчивостью, здравомыслием, терпеливостью, задорностью, любовью к пляскам, частушкам и сарафанам, но и нелюбовью к “баловству”. Повесть пронизана еще одной мыслью — о сегодняшнем разорении деревни, которая сумела выстоять даже в годы войны, о сегодняшней утрате человечности, доброты и сочувствия, которые связывали людей и помогали выжить в военное время.

“Необъявленная война” В. К а р д и н а (“Октябрь”, №1) — воспоминания и размышления “рядового участника”, ставшего очевидцем борьбы антикоммунистических повстанцев с частями советской армии в Закарпатье и Польше в 1945 году. Передавая свои давние впечатления, автор в то же время пытается взглянуть на тогдашнюю ситуацию сегодняшними глазами.

Рассказ писателя из США П е т р а М у р а в ъ е в а “Сумерки кумира” (“Юность”, № 1) — выполненное в бытописательной манере повествование о нескольких днях из жизни Гитлера, который стойко переносит суровые испытания весны 1945 года, страдая и размышляя о причинах поражения. Рассказ написан так, что герой отчего-то вызывает даже сочувствие.

И завершим обзор военной темы рассказом А с а р а Э п п е л я “Разрушить пирамиду” (“Октябрь”, №2) — о болезненной grimase судьбы. Молодые влюбленные москвичи в первые месяцы Великой Отечественной попадают в причудливые передраги на грани вероятного и невозможного. В центре повествования — история о том, как девушка теряет невинность, не сознавая того. Рассказ отличают традиционные для Эппеля детальность в изображении обыденной жизни, быта и нравов городского простонародья — и эротические акценты.

Прежде чем переходить к советской послевоенной истории, отметим рассказы Ю р и я Б у й д ы (“Октябрь”, №3) — несколько сюжетов из жизни в бывшей Восточной Пруссии сразу после второй мировой войны. Бытовые коллизии отобраны по признаку необыч-

ности, драматизма. Автор склонен к натуралистической фиксации суровых житейских реалий, на фоне которых живут и умирают люди со странностями.

Об экзотике иных широт и длиннот, о советских людях, для которых с концом войны не кончилась война, повествуют "Дульные тормоза. Рассказы об НСА — Независимой северной армии" М а р к а К о с т р о в а ("Новый мир", №1). Это рассказы об армейской группировке, посланной после войны Сталиным на Чукотку, чтобы противостоять американцам, засевшим на Аляске. Брошенная в снега группировка, девять месяцев в году отрезанная от центра, жила особой жизнью, в труднопереносимых для некоренного человека погодных и бытовых условиях. Рассказы Кострова с юмором, веселой деловитостью и замечательным здравомыслием повествуют не столько об этих сложностях, сколько о той смекалке и изобретательности, с которой он и его товарищи приспособляли службу к чукотским условиям, — как утепляли и обустроивали палаточное жилье, как изготавливали торты, как он долбил-сверлил трехметровую дыру во льду Тихого океана и какая замечательная в результате оказалась рыбалка, в которую вовлекся весь полк, о маленьких технических хитростях и изобретениях, об обходных путях и маневрах, чтобы отбиться от неумных приказов вышестоящего армейского начальства. Продолжая совершенствовать избранный им оптимистический жанр — практические уроки выживания, облеченные в художественную форму, — Костров настойчиво подталкивает к выводу, что если работать извилинами, то из всякого положения, даже самого ахового, можно найти множество интереснейших выходов (см. также публикацию "выбранных мест" из писем читателей к Кострову после двух его "новомирских" очерков — "Новый мир", №3).

Мирная советская история вообще представлена в журнальной художественной прозе начала года в разнообразных лицах и картинах и в разных жанрах, среди которых заметно преобладают *бытописательный* и *нравоописательный*. Взгляд на ушедшую в прошлое жизнь варьируется от обостренно критического до любовно ностальгического, но может совмещать и то и другое. Причем, если в журнальной прозе еще двух-трехлетней давности, посвященной советскому прошлому, объектом обличительной критики, как правило, были коммунистические власти, то теперь этот мотив сгладился. Во всяком случае, он не акцентируется с былым пафосом, превратившись уже, видимо, в привычную реалию ушедшей эпохи. Возможно, сказалась и озадаченность сегодняшними метаморфозами этой власти, показавшими, что "лобовая" критика захватывает только поверхность явления, имеющего глубокие корни.

В повести **Б а х ы т а К е н ж е е в а** “Портрет художника в юности” (“Октябрь”, №1; повесть заявлена как вторая часть романа “Мытари и блудницы”, а первой назван опубликованный два года назад “Иван Безуглов”) место действия — Москва. В центре — судьба героя, чьи детство и молодость пришлись на 50-е и 60-е годы. Тщательно выписана бытовая сторона тогдашней жизни, семейный обиход, вещи, разговоры и пр. Но главный персонаж — еще и великий талант, и в этой связи возникает второй, условно-фантастический план. Герой занимается “экзотерикой”: это что-то вроде специальности эпического певца, исполняющего свои сочинения на лире, причем желательно — на греческом языке. Элемент остранения не мешает изображать вполне типичные перипетии того времени, прежде всего — конфликты художника с властью. Хроника жизни “художника в юности” весьма пространна, слог автора по обыкновению изящен; в повествовании есть черта ностальгической неспешности.

Повесть **Ф р и д р и х а Г о р е н ш т е й н а** “Притча о богатом юноше” (“Дружба народов”, №7) — это рассуждение в образах о русской семейной жизни, которая, согласно автору, груба, беспорядочна, часто жестока и бессмысленна. В истории одного семейства на протяжении нескольких поколений взаимное ожесточение чередуется с равнодушием и — временами — с угрызениями нечистой совести. Персонажи сводят счеты с Богом, рассуждают о взаимоотношениях русских и евреев. Обычное для Горенштейна сочетание рельефной образности, метко схваченной фактуры быта и априорных умозрений.

О семейной жизни и повесть **Н и н ы К а т е р л и** “Синдром “П”” (“Звезда”, №11) — непритязательная житейская история, фоном которой является советская действительность. Это рассказ женщины о своей судьбе, о матери с ее незадавшейся жизнью, о первом кавалере и о желании стать актрисой, о позднем, благополучном, на первый взгляд, но пресноватом замужестве, о том, что главное в жизни — не получилось, неизвестно по чьей вине...

Рассказы и миниатюры прозаика из Тульской области **В л а д и м и р а Б о л о х о в а** из “Клетчатых арабесок” (“Звезда”, №12) посвящены перипетиям жизни в советском Гулаге. Это случаи, анекдоты, жестокие шутки, а также два “любимых бродячих сюжета” из лагерных романов, которые образованные политзэки рассказывали лагерными вечерами уголовникам.

Рассказ **И г о р я К л е х а** “Костел на Привокзальной” (“Дружба народов”, №8) — биография одного из львовских храмов, построенного в начале нашего века. История храма — это зеркало прошумевшей эпохи, от которой автор элегантно дистанцируется.

Протоиерей М и х а и л А р д о в под старым псевдонимом Михаил Нарбеков выносит на суд читателей свою повесть 1977 года "Цистерна" ("Дружба народов", №8), составленную из монологов и диалогов, воспоминаний и наблюдений о давнем и недавнем, среди которых есть и колоритные картинки дореволюционной и советской жизни. Название повести дала история о массовом отравлении метиловым спиртом из разворованной цистерны.

Застойным временам посвящен огромный роман И. Иг.-С м и р н о в а-О х т и н а "Кружится ветер..." ("Нева", №10—12) — многословное беллетристическое изображение жизни служилой ленинградской интеллигенции середины 70-х годов. Один из главных персонажей, Илья Таракановский, не решается сделать предложение своей подруге, потому как та одобряет ввод советских войск в Чехословакию, а он нет. Потом роли меняются: подруга бросает Илью, и он в раздразе чувств решает ее убить, но встретив отпор, кончает с собой. Присутствует и производственный мотив: из-за халатности работника проектного института обрушился карниз, были жертвы — и весь проектный институт ищет способ свалить вину за это на кого-то другого... В романе много и других сюжетных линий, персонажей, с избыточной подробностью прописанных эпизодов. Бойкая болтовня рассказчика смягчает впечатление композиционной рыхлости. Между тем некоторые черты минувшей эпохи схвачены автором метко.

В повести А н а т о л и я А з о л ь с к о г о "Нора" ("Дружба народов", №10) описана жизнь московских маргиналов и простонародья середины 70-х годов. На очень точно и жестко схваченном бытовом фоне (расцвет застоя) развивается моральная коллизия. Главный герой пытается обезопасить свою жизнь от произвола властей и вообще от покушений неприятной ему эпохи. Чтобы обеспечить себе и любимой девушке надежную будущность, он организует ограбление иппоксатора. Но деньги не приносят счастья, и героя ждут непредвиденные осложнения. Эта, может быть, не лучшая, но мастерски выполненная повесть Азольского уровнем осмысленности, обдуманности и художественной отделки оставляет сильное впечатление.

В "Сертификатном романе" ("Нева", №2—3) О л е г Т а р у т и н рассказывает о пребывании героя в Иране, где тот работает в середине 70-х годов по контракту геологом. Это подробнейшая беллетризованная хроника, с массой забавных подробностей, о советских специалистах в шахском еще Иране, о быте советской колонии, о советских и иранских чиновниках, о коллегах героя и его любовном романе... Автор неутомительно болтлив и сам неутомим в детальном описании ушедшей в прошлое жизни, впервые, кажется,

ставшей в этом экзотическом ракурсе объектом столь скрупулезного внимания. Роман имеет ценность свидетельских показаний о нелепостях советского заидеологизированного быта, самовоспроизводящегося и за границей.

Историческую тему по-своему осваивает автобиографическая и мемуарная проза, которую мы выделяем в самостоятельный раздел, поскольку начало года принесло целый ряд публикаций, представляющих эти жанры “человеческого документа” — как в чистом виде, так и в тяготеющем к художественной завершенности.

“Голубой зверь” В я ч е с л а в а В с. И в а н о в а (“Звезда”, №1—2) — воспоминания писательского сына о молодых годах, об отце и его знакомых, советских классиках и изгоях. Среди них Федин, Зощенко, Шкловской и др. Мемуары привлекают изобилием подробностей, благородной взвешенностью тона.

“Сентиментальные сцены из частной жизни” В л а д и м и р а Л а в р о в а (“Нева”, №12) — “главы из книги”, в которых автор вспоминает годы учебы в Ленинградском университете, на филфаке в середине 50-х годов, о профессорах и студентах той поры, о своей службе на ленинградском телевидении 60-х годов. Чуть ли не для всех, о ком вспомнилось, Лавров находит доброе слово, хотя не забывает и о хорошо различимых ныне слабостях и пороках бывших своих учителей.

Написанная по-английски автобиографическая проза И о с и ф а Б р о д с к о г о “Полторы комнаты” (“Новый мир”, №2; перевод Дм. Чекалова) — это тонкий и печальный очерк, датированные 1985 годом воспоминания о родителях, о питерском детстве, о коммуналке, в которой прошла советская часть жизни поэта. Сын пишет об умерших родителях, ему не дозволено было стать опорой их одинокой и беспомощной старости, не дозволено было проститься с ними. Очерк пронизывает благодарная память и сыновняя нежность, неуходящая боль и чувство вины, гордость и вызов тем, кто мучил его стариков, скорбь и тоска по родной душе, трагизм обреченности на одиночество, принимаемое мужественно, без иллюзий и без патетики, — как расплата, как судьба, как естественный и неизбежный итог жизни.

Автобиографическая проза, и тоже написанная по-английски, другого эмигранта М и х а и л а И о с с е л я “Бессонница” (“Знамя”, №2; авторизованный перевод С.Юрьенена) рассказывает о затянувшемся глубоком стрессе, которым обернулись для автора первые несколько месяцев проживания в Америке, в чужой языковой среде, лишившей его привычных способов ориентации среди людей и возможностей самоидентификации. Фиксируя невротические симптомы — патологическую сонливость, боязнь открытого пространст-

ва, уличные обмороки, тошноту от потока непонятных слов, автор рассказывает, как шаг за шагом, терпя поражение, отступая и снова собирая силы, от отказывался от своей личности, все более растворяясь в благотворном чужом безличии.

И еще один эмигрант **Лео н и д В л а д и м и р о в**, но уже по-русски, в рассказе “Двадцать девятое июня” (“Нева”, №10) подробно излагает историю о том, как в 1966 году, попав в Лондон с советской делегацией писателей и журналистов, он осуществил тщательно продуманный план бегства и в итоге получил политическое убежище в Англии. Автор и через 30 лет очень горд успехом своего предприятия.

Герой автобиографического рассказа **Е в г е н и я Н о с о в а** “Кулики-сороки” (“Москва”, №2) — пятилетний “Чевокало” (“А это чево?”, “Дак и чево?”), любимый бабушкин внучек, для любознательности которого много пищи и в деревенской избе, и на дворе, и у реки. Но главное его занятие — крутиться вокруг бабули Вари, которая без усталости хороводится по хозяйству, а между делом рассказывает внуку про деревенские приметы, лесные уремы, птичьи повадки, сдабривая свои рассказы озорным языческим духом.

Автобиографичен и рассказ **Г а л и н ы Щ е р б а к о в о й** “Радости жизни” (“Новый мир”, №3), в котором много забавных сценок и положений, сетований автора по поводу собственной “полной жизненной бездарности”, оттеняющих главную мысль рассказа — о доверии к жизни, к ее естественности и органике. Невеселое послевоенное детство — город на шахтерском юге, заботы и страхи переживших оккупацию взрослых, жизнь, оскудевшая соками и красками, и девочка-подросток, угловатая и неловкая, скованная предрассудками. На этом фоне яркой нездешней птицей выглядит обаятельная и легкомысленная тетя Таня, “позорище рода... предательница родины и семьи, радостная давалка направо и налево, спекулянтка, авантюристка и обожаемая буля двух внуков”. Пережившая мужа и двух сыновей, она ухитряется, не обращая внимания на осуждение ближних, извлекать радость из жизни, превращая в радость даже горе, даже смерть.

Завершая обзор прозы на историческую тему, отметим имеющую свои отношения с этой темой биографическую прозу, жизнеописания “замечательных людей”.

В повести “Безумная Грета” (“Дружба народов”, №9) **Н и к о л а й Ш м е л е в** рассказывает о художнике Питере Брейгеле, о его романе с молоденькой крестьянкой, о еретическом крестьянском возмущении и о безжалостной расправе католиков-испанцев с бунтовщиками. Роман оборвался, жизнь беспросветна, народ дремуч, и все это навеивает на художника тоску. В повести много живописных

подробностей, свидетельствующих о неторопливом, старательном вживании автора в старинную эпоху.

“Глубокое лето (Пиросмани)” И в а н а О г а н о в а (“Октябрь”, №2) — повествование о грузинском художнике, выполненное в обычной для писателя манере. Это поэма в прозе — страстная, риторичная, бессвязная. Оганов создает романтизированный образ гениального творца, отдающегося безотчетным вдохновениям.

Биографический рассказ **И р и н ы П о л я н с к о й** “Тихая комната” (“Новый мир”, №3) — тонкий, тщательно выстроенный очерк о человеке, вернувшемся с того света и несущем в себе память о страшном инобытии. Не названный по имени герой — писатель, бывший лагерник, в котором легко угадывается Варлам Шаламов, получает первое в жизни собственное жилье, “тихую” комнату в коммуналке на шумной улице — тихую только из-за его глухоты. Он погружается в мир собственности с его неисчерпаемостью и свободой выбора, в мир привычек, которыми прежде не имел возможности обзавестись, в прекрасный мир бытовых подробностей (овощи для “супчика” собственного изобретения, придирчиво покупаемые на рынке, штапель, долго и тщательно выбиравшийся для оконных штор, лоскутный половичок перед дверью, тесемочка для ключей). Библиотека со странным, отражающим случайный интерес подбором книг, старательное обрастание архивом, в котором не только “отходы собственного творчества”, но и “все, что оказывается в поле его эксцентрического каприза”, — спичечные коробки, листки календаря, красивый камушек, трамвайный билет, желтый кленовый лист. Его смущающая манера слушать и без полутонov видеть людей, навечно освещенных для него “рембрандтовским светом барачной коптилки”, резкая бескомпромиссность суждений, вынесенная из “ледяной земли”, которая “наделяет человека страшной, непривычной, невозможной для живого существа звериной искренностью”...

История продолжает активно присутствовать и в журнальной прозе, обращенной к сегодняшнему дню, но уже скорее как “предыстория” героев, отношений, событий, разворачивающихся в наши и недавние дни.

Роман **А л е к с е я В а р л а м о в а** “Лох” (“Октябрь”, №2) — история жизни молодого москвича, неприкаянного искателя, вечного скитальца, который то ли ни к чему серьезному не способен, то ли, напротив, способен на многое, но неостребован жизнью, а меж тем и мил автору своими причудами, своей незаземленностью. Через застойные годы повествователь ведет читателей в перестройку и доводит до начала 90-х годов, набрасывая беглые эскизы среды, быта и нравов, знакомя с друзьями и любовницами героя, отправляя его то в деревню, то в армию, то в Германию. В сентиментально-роман-

тическом повествовании немало и беллетристического фантазерства. А тон и уровень рассуждений о судьбах России и мира выдают в романисте последователя Юрия Бондарева времен "Игры" или "Выбора".

В повести "Горбатые атланты" Александра Мелихова ("Звезда", №9) талантливый провинциальный ученый-естественник становится жертвой интриг в научном сообществе, тяготится неустроенным бытом, устал от жизни и едва не сводит счеты с нею. Фон повести — уличное оживление времен перестройки. Впрочем, толпа агрессивна и неумна, а в ботинках мокро. Вялое повествование оживляют очерковые зарисовки.

По-иному высвечены те же времена в рассказе Михаила Городинского "Зритель" ("Нева", №12), где сексуальную потенцию героя в нужные моменты стимулирует включенный телевизор, показывающий дебаты перестроечного Съезда Советов, ход которых волнует персонажа не меньше, чем его любовные успехи и неудачи. Другой рассказ, "День шестой", написан от имени младенца, развязно и иронично сообщаящего о первых впечатлениях бытия.

"Записки Синей Бороды" Андрея Кучева ("Знамя", №2) — перечень случаев из жизни героя, в которых обнаруживает себя зло, гнездящееся и в душе, и в мире. Исследуя природу зла, герой-повествователь, писатель с неустроенным бытом, в хронологическом порядке, начиная с 1953 года и кончая годом 1993, рассказывает о том, как он встречался с женщинами, жил с ними и расставался, помимо своего желания становясь для них источником зла — мучаясь при этом совестью и перевозлагая свою вину на дьявола. В "Записках" присутствуют разные дьяволы — горный, морской, речной, китайский, лесной — в зависимости от места развязки очередной житейской истории. Фрагменты перемежаются краткими курсивными извлечениями из некоего трактата "О Зле", в которых представлены не столько размышления об этом предмете, сколько итоги этих размышлений, вроде утверждений, что зло уязвимо, неизбежно и в то же время исторично, частенько поселяется в женщинах, простирается во все стороны и проч. В "Записках" порой встречаются необъяснимые фразы вроде такой: "Кто-то из декадентов мечтал (с долей иронии) воплотиться окончательно в семипудовой купчихе" (простенькая задачка для читавших "Братьев Карамазовых").

Времена и нравы мало волнуют Анатолия Кима в романе "Онлирия" ("Новый мир", №2—3), но сыны тьмы тоже очень интересуют. Это масштабное повествование, составленное из прихотливых фантазий на библейские темы с эсхатологической окраской

(Онлирия в романе — псевдоним Царства Божия). В авторское повествование вторгаются герои-люди, живые или воскресшие, а чаще демоны разного толка (демон Келим, Неуловимый демон, демон Москва, демон Нью-Йорк и др.) с рассказами о своих специфических проблемах. Из этих сюжетных узоров сплетается затейливый восточный ковер, где в условной манере изображены тяжело проносящиеся по небу демоны, пересекающие страны и материки и вмешивающиеся в судьбы людей, завидуя им и склоняя их к смерти, и люди в статуарных позах, то идущие по земле, то летящие по небу — после смерти они получают дар летать, но нередко предпочитают полетам радость пеших хождений по маршрутам земных желаний и влечений.

Как можно предположить, замысел романа Марка Харитонова "Возвращение ниоткуда" ("Знамя", №1—2) связан с философией памяти. Это "причудливое сцепление мыслей, бормотание саморазвивающегося сюжета", сны, предвосхищающие реальность, сбывающиеся фантазии и память, усиливающаяся удержат случайные отражения бывшего и будущего в бесформенных горах ежедневно беспамятно проживаемой жизни. Однако совместное с автором плавание в потоке сознания, принадлежащего герою с тонким душевным строем и некими психическими странностями, превращается в бесконечное и довольно утомительное путешествие по сложным маршрутам памяти и воображения, в конце которого начинает мерещиться, что романический хаос таит в глубине какую-то очень простую связь фактов и комплексов. Вариант такой расшифровки предложила Алла Латынина ("Литгазета", № 9), вообще высоко оценившая новую прозу буковарского лауреата. Оказывается, во всем, как водится, виновата советская власть.

Хорошо обдуман и отчетливо выполнена психологическая повесть М и х а и л а Б у т о в а "Музыка для посвященных" ("Знамя", №3). Герой повести — литератор (писатели — частые герои сегодняшней прозы), поверивший в свое призвание и избранность и подчинивший свою жизнь и жизнь близких служению этому призванию. Сквозь кажущиеся случайными напластования жизни проступает драма запоздалого отрезвления — герой получает веские доказательства своей творческой заурядности, которые не оставляют ему надежд и сомнений в том, что он уже давно состоит в литературных неудачниках. Он приходит к мысли, что жить обычной жизнью — если не удел избранных, то и не такая уж бессмысленная и бездарная участь, но его ожидает жестокая расплата за прежние иллюзии и насилие над жизнью.

Зеркальная ситуация в повести В и т а л и я К р ж и ш т а л о в и ч а "Дом, который построил я" ("Звезда", №11), актуализиру-

ющей извечный сюжет о том, как художник меняет служение музам на прозу житейских забот, — в данном случае строит дачный дом и потом отстаивает права на него с маниакальным упорством настоящего гения.

Автор еще одной психологической повести “Вспомни сегодня обо мне” **В л а д и м и р В о л о д и н** (“Волга”, №11—12) окружает своего “одиночествующего” 30-летнего героя воспоминаниями, призраками прожитой жизни, на которых он натывается на каждом шагу, утратив непосредственность восприятия жизни, ностальгически, с монотонной дотошностью фиксируя “неисчислимое убывание в себе юности” — душевную тяжесть, подневольность, скуку и страх, зияющие на местах былой чистой радости, когда жизнь манила обещаниями, надеждами, переменами. Встреча со случайной вагонной попутчицей, юной девушкой, их диалог — ее доверчивая открытость и его утяжеленные рефлексией, натянутые реплики — не могут кончиться иначе, чем возвращением героя в свою раннюю старость, умножившуюся еще одним отягчающим душу воспоминанием.

Любители закулисных литературного быта с интересом прочтут повесть **С е р г е я Г а н д л е в с к о г о** “Трепанация черепа. История болезни” (“Знамя”, №1) — рассказ поэта, дебютирующего в прозе, о себе, о родовых корнях, о семье, но больше всего — о своей авангардной тусовке, сложившейся в застойные времена. Автор, практически не отделяющий себя от рассказчика, благополучно перенес операцию по поводу доброкачественной опухоли мозга и вернув временно утраченную память, а также избежав смертельного исхода и участи сделаться идиотом, почувствовал не спадающее по сегодня “половодье телячьего восторга”, и “все мелочи и подробности моей немудрящей жизни предстали мне вопиющими и драгоценными”. Подводя промежуточный итог жизни, автор воссоздает эти драгоценные подробности, которые сводятся, в основном, к тому, где, с кем и что пили и почему брали, с особенной обстоятельностью останавливаясь на тех эпизодах, когда его по пьяному или похмельному делу били по голове. Сгущая события и краски, мальчик из “хорошей” семьи, пошедший в филологи, потом в поэты, творит себе “героическую” биографию, составленную из алкогольных подвигов, тщеславясь числом запоев и неукротимостью “натуры”. Гандлевский вдохновенно сплетничает о своих знакомых и приятелях (среди персонажей — модные столичные литераторы Кенжеев, Сопровский, Климантович, Пригов и др.), сообщая массу забавных, а то и пикантных сведений об их жизни. Повесть имеет характер беспардонного трепа, не знающего ни удержу, ни меры, в тоне богемного либертинажа, “говна-пирога”.

Жанровые поиски, подобно Гандлевскому с его “историей болезни”, ведут и другие прозаики, обращаясь к сегодняшним впечатлениям от российской жизни.

Странное впечатление производят “путевые раздумья” В л а д и м и р а К р у п и н а “Слава Богу за все” (“Наш современник”, №1), где жанр “паломника”, путешествия к Святым местам, использован как условная рамка для сатирических фантазий и картин, окрашенных совсем не богомольными чувствами. Писатель с Красной площади рано поутру отправляется на богомолье в Лавру и по пути описывает то, что ему видится, а больше фантазируется — убийцы-омоновцы, митинги и “многоканальные демонстрации”, “выставка-продажа достижений демократии” и проч., — изливая горечь, желчь и сарказмы на головы “демонороссиян”, поименно обзывая “демократических” писателей, поэтов, тележурналистов, а также банкиров, думских и правительственных деятелей во главе с президентом прозрачными и позорными кличками.

“Кремлевский Амур, или Необычайное приключение второго президента России” М и х а и л а Ч у л а к и (“Нева”, №1) — футуристическая фантазия, а отчасти ироническая антиутопия. Основное внимание уделяется роману российского президента Стрельцова и украинской президентши Личко, завершившемуся честным пирком и свадьбой. Квазифольклорная пародия на советский сюжет “богатой невесты” и постсоветские записки президентов, премьеров и т.п., а может — и на футурпрогнозы борцов за воссоздание СССР.

“Истерическая поэма” А л е к с а н д р а Б о р о д ы н и “Самолет над квадратным озером” (“Дружба народов”, №9) — история о теплоходной турпоездке на Соловки молодого московского поэта и его подруги. По мере движения к цели персонажи сталкиваются с различными странностями. Родина советского Гулага у Бородини обладает некими мистическими свойствами, влияющими на психику и поведение героев фатальным образом. Автор пытается создать наш, отечественный ужасник.

Мистическая подоплека и у сделанной с журналистской лихостью повести Н и к о л а я Н а с е д к и н а “Прототипы” (“Наш современник”, №2). Это повесть-предупреждение, способная если не предостеречь, то насторожить тех писателей, которые любят убивать своих героев, нередко имеющих живые прототипы. Герой повести, писатель, по случайному стечению обстоятельств обнаруживает, что все знакомые ему люди, которых он “вставлял” в свои сюжеты, убивая их по ходу действия, умирали вскоре после выхода в свет его газетных или книжных публикаций. После стремительной, но запоздавшей попытки остановить публикацию в престижном столичном журнале его новой повести, героиня которой, “списанная” им с

собственной жены, умирает от рака, герой, пережив скоростную смерть жены и сделавшись полным анахоретом, после долгих черных раздумий приговаривает себя к самоказни — он садится за повесть “Прототипы”, героя которой, писателя — литературного убийцу, на последних страницах ожидает смертельный исход.

По-прежнему прозаики проявляют интерес к теме “новые русские”. Но, надо заметить, уже с меньшим энтузиазмом, чем прежде (см. обзор в №83), хотя обращение к этой теме и сегодня все еще обречено если не на успех, то на общественное внимание. В теме высвечиваются разные аспекты и присутствует та неоднозначность и пестрота в наборе морально-идеологических суждений и оценок, которая естественным образом сопутствует художественному освоению всякого нового социального явления, имеющего не отвлеченно-умозрительный характер, а ежедневно и назойливо лезущего на глаза. Набор этот может колебаться в широком диапазоне — от романтических стремлений заполнить “новыми русскими” вакансию “злodesь” или морально индифферентного живописания их скользких авантюрно-плутовских затей и темной механики торгово-банковских комбинаций до попыток апологии с сентиментальным оттенком в том оправдывающемся духе, что “и крестьянки любить и чувствовать умеют”.

Герой повести **Алексея Слаповского** “Висельник” (“Волга”, №11—12) — молодой денежный делец (с культурой, образованием и воображением), задумавший убить свою юную любимую жену, чтобы сохранить ее для себя, навещая на близлежащем кладбище, — две предыдущих любимых жены, одна за другой бросали героя. Герой — черный человек, законченный садист и убийца, слухом не слышавший ни о каких заповедях и, видимо, с психическим сдвигом. Он окружен циничными компаньонами, наемными убийцами, крутыми сидельцами из “комков”. Фон, может быть, и реальный, но то, что происходит в повести, скорее похоже на дурной сон. Писатель играет своей способностью с помощью сюжетных зигзагов, беллетристических ухищрений и изощрений убедить читателя, заставить его поверить в реальность самых неправдоподобных своих выдумок. Психологические мотивировки, которые он усиленно подводит под решения и поступки героя, очевидным образом подчинены одной задаче — свести сюжетные концы с концами и выйти победителем из запутанных обстоятельств, в которых он оказался, говоря словами Достоевского, “по собственной глупой воле”.

“Прошение о помиловании. Тема для одного музыкального сочинения” **Вячеслава Передельского** (“Нева”, №12) — история о том, как джазовый музыкант со своей подружкой

устраиваются на работу в салон-галерею, где современный коммерсант торгует живописью. В подвальном салоне много неясного, тайного, даже зловещего. Героя засасывает в какую-то фантазмагорию без конца — без начала.

“Книжная повесть” **Александра Просекина** (“Октябрь”, №3) — записки издательского работника из Сибири. Подробно описано участие героя в различных книгоиздательских и книготорговых предприятиях, современная борьба коммерции и культуры, а иногда и их симбиоз. Рассказчик ищет в жизни тишины и покоя, но едва ли в состоянии освободиться от всей этой суеты.

Явно симпатизирует своим героям минчанин **Александр Згировский** в повести “**Душа плюс деньги**” (“Звезда”, №1). Это история о прожженных коммерсантах, которые однако, как выясняется, не потеряли способности сочувствовать чужому горю и помогать ближнему. А самый главный из них, впадая в метафизическое отчаяние и философствуя в дневнике о тоске существования, в конце концов сводит счеты с жизнью. Автор не слишком успешно пытается скрестить Хейли с Кафкой.

От подобных сентиментов далек **Михаил Ворфоломеев** в рассказе “**Цветы незабудки**” (“Москва”, №1) — о судьбе двух приятелей-художников. Один, бездарный и нечистый на руку, пошел в гору. Другой, талантливый, а может быть, и гениальный, допился до последней нищеты. Это мелодрама с моралью — в нынешние времена на поверхность всплывает всякая нечисть, разъезжающая в роскошных машинах и живущая в загородных виллах с бассейнами, к ним уходят любимые женщины. А судьба истинного таланта — умирать под чужим забором или, как в рассказе, недалеко от чужих заборов, на поляне с цветами незабудками.

В рассказах **Василия Аксенова** (“Знамя”, №1), где среди сегодняшних его российских впечатлений не последнее место занимают и “новые русские”, есть, как обычно, и игровой блеск, и острота наблюдений, и юмор — добродушный, а местами не очень. Забавна хроника путешествия по Волге на теплоходе “**Василий Чапаев**” австралийских кришнаитов, приехавших в Россию с религиозной миссией (рассказ “**Корабль мира “Василий Чапаев”**”). В рассказе “**Глоб-Футурум**” (о деятельности концерна под таким названием и о своем участии в затеянном этим концерном супершоу) автор-повествователь “**Василий Павлович**”, оправдываясь поисками “**рассказового материала**”, вступает в тесное общение с московскими мафиози-коммерсантами, среди которых преуспевает и его былой комсомольский гонитель. Этот могущественный глава концерна, имеющего разветвленную сеть филиалов и оккупировавшего одну из старинных московских улиц, — жалкий, беспокойный,

заискивающий перед автором и липнувший к нему в поисках самоутверждения субъект, фигура явно временная, которую сменит кто-нибудь “покруче”. На супер-шоу автор пристально разглядывает некрасивую старость неузнаваемо изменившихся друзей-приятелей своей юности, представителей поколения “шестидесятников”, взявших его в плотное кольцо, — не только морщины, жировые отложения, качество волосяного покрова и зубного протезирования, но и корыстную назойливость, жалкое прислужничество, страсть к самоутверждению в “вечно юной погоне за счастьем”, заставляющую их затевать недостойные дела и играть в них недостойные роли. Сам “Василий Павлович” вынесен за скобки: он постоянно напоминает о своей иноприродно-иностранной принадлежности и о своей брезгливости, вынесенной из “стерильной Америки”, не забывает, что он “не дома, а на родине”, и в критические минуты, когда его всеизвестность и популярность грозят обернуться против него, полукомически взывает: “Где здесь иностранная пресса?! “Вашингтон пост”, выручай!”. В рассказе “Титан Революции” повествуется о смене составов в отечественных спецслужбах. Бывший капитан “гэбухи” Павел Корчагин (в рассказе имеются также его друзья Павел Власов и Павлик Морозов, родом из того же ведомства), поименованный “прошлым человеком” и “красной сволочью”, из-за тоскливой страсти к развратной девушке Савельевой пускается в криминальный “лопатный” бизнес, занявшись перепродажей за границу стратегического титана, отформованного в лопаты. Девушка Савельева “сдаст” капитана своему “альтернативному” любовнику — молодому аристократу-коммерсанту из “комка” на Лубянке Мише Белосельско-Белозерскому, он же секретный сотрудник Интерпола. Скрутив капитана, аристократ-коммерсант-сексот, “будущий человек” и тоже явная сволочь, но неясного цвета, мечтательно размышляет о том, что его поколение пойдет другим путем.

Деревенская тема скудно представлена в журнальной прозе начала года, занимая в ней незначительное место. Пишут обычно горожане и, в основном, о городе — столичном или провинциальном. Сегодняшние деревенские дела, чем живет и о чем задумалась деревня, переворошенная и вздыбленная, — ответы на эти вопросы, видимо, начнут появляться после окончания дачного сезона.

Безысходностью веет от рассказа Б о р и с а Е к и м о в а “Турчок” (“Москва”, №1), где изображен тип жадного до дармовой земли деревенского бездельника, взошедшего на дрожжах перестроечной демагогии и возмечтавшего о “враз нажитых” без труда миллионах. Живущий в облупленной мазанке, с облезлыми курами и одичавшей коровой на подворье, Турчок, позор матери и посмешище всего села, замелькал, к изумлению односельчан, на фермерских съездах и на

экранах телевизоров, требуя себе землю и обличая “партократов” Выделенную ему землю он забросил, полученные под нее в банке кредиты истратил, но вошел в аппетит. Теперь он стал требовать покосы рядом с деревней, а получив отказ, отбил телеграмму в Москву, копию — в область, что его преследуют “партократы” и что, если не получит землю, он устроит самосожжение “на площади в райцентре у памятника Ленину”. На распоясавшегося “фермера” не могут найти управы ни в районе, ни в области, и чтобы притушить скандал, отмеряют ему землю на глазах у оскорбленных несправедливостью сельчан. Писатель отводит взгляд от этой мутной картины в сторону сельского кладбища, где всем хватает земли и где все успокоится.

Современный деревенщик **В л а д и м и р Б у т р о м е е в** предлагает несколько рассказов из сельской жизни (“Дружба народов”, №10). Жизнь эта напрочь лишена у автора благообразия и тяготеет скорее к моральному беспределу. Судьбы странноватых персонажей складываются причудливо, а сам Бутромеев рассказывает о происходящем с эпической невозмутимостью.

Повесть **Л е о н и д а К о р н ю ш и н а** “Без огня” (“Наш современник”, №3) написана под влиянием “Прощания с Матерью” В.Распутина, но художественно беспомощно, “без огня”. Это история одной заброшенной деревни, оставшиеся жители которой, два старика и старуха, ведут оборону против позарившегося на их землю соседнего химзавода. Очевидно, что повесть была написана лет десять назад, когда еще были в ходу ушедшие в историю слова “химизация”, “неперспективные деревни”, и слегка подретуширована под сегодняшний день.

Заметное место среди публикаций начала года занимают бытописательная и нравописательная проза. Обычно это семейно-бытовые истории, с любовными коллизиями или без них, но со стремлением к запечатлению повседневности — бытового склада, житейских обстоятельств, человеческой психологии, лиц и характеров. При этом используется разная манера — снимки с натуры, тяготеющие к “физиологической” очерковости, жесткий натурализм в изображении разлагающегося быта, любовное жанровое живописание с особым вниманием к исчезающим человеческим типам и деталям некогда устойчивого быта.

В рассказе **Б о р и с а З а м я т и н а** “Вечер во дворе” (“Дружба народов”, №7) обитатели дома в южнорусском местечке живут большой, разноязыкой семьей, ссорятся и мирятся, близко к сердцу принимая чужие заботы. Воссоздается нескладный, но задушевный обиход провинциалов.

Рассказ **И р и н ы Г а б у е в о й** “Рондо” (“Нева”, №10) — бытовая хроника, очерк семейной жизни, в центре которого старуха

Евдокия. Современные события чередуются с эпизодами прошлого, а в целом возникает картина, в которой есть место и радостям, и горю, всем заботам и тревогам, входящим в жизнь простых людей в советское время.

Как и следует ожидать, Л ю д м и л а П е т р у ш е в с к а я в своих рассказах ("Новый мир", №3) приводит новые (и мастерски сделанные) аргументы, утверждающие безысходную бессмыслицу здешней жизни. Это конспективно изложенные истории об ужасах современной простонародной жизни. Героям, пытающимся на фоне общего разложения как-то устоять, сохранить в себе что-то человеческое, гарантировано скупое в выражении сочувствие автора. Заезженные крошечной жизнью женщины спасаются от нее в мире мечты, выдумывая себе мужей и любовников (рассказы "Васеньки" и "Мост Ватерлоо") или близость собственных, бросивших их детей (рассказ "Мильгром"). Мечтать можно сколько угодно, но лучше бы эти мечты не сбывались. Покойная героиня рассказа "Нюра прекрасная", погибшая в автокатастрофе, стараниями "гробового мастера", наведшего на покойницу неслыханную красоту, привела этой красотой в великое смущение всех провожавших покойницу и в полное расстройство мужа, который давно уже жил на стороне и мечтал о новом браке и об освобождении от жены — но не таким ужасным образом ("судьба способствовала мечтам небрачной пары, мечтали — получили, да еще вдесятеро больше"). В рассказе "Устроить жизнь" несостоявшийся гений-пьяница и одинокая старуха мечтают о жизни, "как у людей", мечта сбывается на один вечер за счет слез приютившей их вдовы, мечтавшей о другом визите и застигнутой врасплох их вторжением, — чтобы назавтра каждому из мечтателей вернуться к своему родному разбитому корыту. Зато полная идиллия царит в рассказе "Теща Эдипа" — старуха-шизофреничка взята в семью дочери, которая обихаживает мать, содержит ее в чистоте — наравне со свиньей ("За этой мою и за ентю мою, две свинки-те у меня") и приглядывает, чтобы мать не заголялась и не укладывалась в постель к своему зятю.

В рассказах Г р и г о р и я П е т р о в а ("Октябрь", №3; "Знамя", №3) картины морального распада соседствуют с чудесными явлениями. Это городские современные сказы, притчи о жизни и одновременно сколки с городского простонародного сознания, в котором на равных правах присутствуют в жизни Николай Угодник и утечка газа, непорочное зачатие и дети-"подменыши" в роддомах, банкиры с коммерсантами и порчи с наговорами, и где злые мысли и дела бывают наказаны при участии чистой и нечистой силы.

Рассказы А л е к с а н д р а Х у р г и н а ("Дружба народов", №8) — истории о странностях жизни, об одиноких и не слишком

счастливых городских обывателях. Хроники быта иногда достигают гротескной, парадоксальной остроты в фиксации пустоты и бессмысленности бытия. А иногда — и не достигают, оставаясь эскизными зарисовками. В целом, как обычно у Хургина, много мрака и зряшных забот, нелепых маний и повседневных бед.

Повесть **А н а т о л и я С у р ж к о** “Последняя игра” (“Север”, №1) передает ощущение усталости самой материи жизни. Немолодой писатель, приехавший в родной город навестить родных и поработать над повестью о декабристе Б. (в котором легко опознается декабрист-сибиряк Батеньков), застаёт обессиленные остатки прежней жизни и призраки прежних живых людей. Искусственное оживление и освещение вокруг коммерческих магазинов и палаток — как румяна на лице покойника. Мать больна раком и виновато скрывает это от мужа и сына. Муж скрывает от нее, что ему все известно. Каждый живет наедине с собой, мучаясь своей бедой. Лучший друг-одноклассник, талантливый поэт, не сумевший напечатать при жизни ни строчки, умер, а родная сестра пустила его рукописи на растопку. Бывшая одноклассница, сокращенный инженер, искусственно бодрится, но и она уже со многим смирилась — с одиночеством в своей семье, с нелюбовью невестки, с единственно оставленной ей ролью бабушки — и уже ничего хорошего не ждет от жизни. В довершение всего дядя рассказчика, бывший футболист, окруженный славой, которого знал весь город, широкая натура и жадный до жизни человек, уходит из жизни не понятый и осужденный родными — сыграв свою “последнюю игру”, он не смог вернуть крупный картонный долг и был повешен под окнами своей квартиры. Эпизоды из повести, которую пишет герой-рассказчик и в которых декабрист уходит во все более углубляющееся одиночество, перемежаются и перекликаются с повествованием о нерадостной жизни и невеселых мыслях обитателей города, которым отказано в будущем.

И р и н а М у р а в ь е в а в повести “Одни” (“Дружба народов”, №7) рассказывает о москвиче, преподавателе института иностранных языков, рядовом советском интеллигенте, который разрывается между семьей и провинциальной любовницей. Главный герой постоянно идет на компромиссы. Стремясь к душевному комфорту, он обрекает себя на прозябание, а жизнь его протекает под аккомпанемент ссор и скандалов. Коллизии городских повестей Юрия Трифонова адаптированы в повести в сентиментальном духе. Автор, не таясь, сочувствует незадачливому, но симпатичному, доброму и мягкому герою.

“Повесть в письмах” **В л а д и м и р а П а в л о в а** “Спасибо, что существуешь...” (“Нева”, №11) — это несколько страничек из любовного романа, несколько любовных посланий от влюбленной

учительницы из Ленинграда своему другу в Северодвинск. В письмах много быта — и почти совсем нет чувств, выраженных словесно. Огонек страсти только угадывается в житейском ворохе.

Литератор из Нью-Йорка Анна Левина в повести “Приходите свататься” (“Звезда”, №12) рассказывает о том, как трудно взыскательной эмигрантке выйти замуж в Америке. Предлагается несколько анекдотического свойства историй о нью-йоркских женихах, качество которых не удовлетворяет ироничную рассказчицу.

В романе Марины Москвиной “Дни трепета” (“Юность”, №1) героиня тоже рвется замуж, но ее отец систематически отказывает претендентам на руку и сердце. Это попытка применить приемы детской юмористики во “взрослой” теме, чем, вероятно, и объясняются фантастика и абракадабра, достигающие ближе к финалу критической массы.

Николай Устьянцев в рассказе “Балерина” (“Наш современник”, №2) описывает романтическую историю любви провинциального интеллигента, чудака-библиотекаря, который совершает мужской поступок — бросается с кулаками на местного уголовника-мафиози, покусившегося на честь женщины, после чего исчезает из городка вместе с полюбившей его женщиной.

Герой рассказа Бориса Зуйкова “Шатун” (“Наш современник”, №2) одержим таежной страстью. В родной Твери, куда он приезжает навестить мать, все кажется ему странным — спешка, толпы у винных магазинов, беленый потолок городской квартиры вместо звездного неба. Несмотря на вздохи постаревшей матери и ее надежды, что сын, наконец, остепенится, он, бросив все, снова срывается в тайгу — к своим собакам, к ночному костру, к таежному одиночеству.

Автор очерка “Один на льдине” (“Звезда”, №12) скрылся под псевдонимом, подписавшись Дмитрием Владимировым. Это рассказ о том, как он сидел в питерских Крестах, о современных нравах в этом почтенном заведении.

Отметим также ряд дебютных публикаций.

В рассказе Дмитрия Рождественского “Полина” (“Нева”, №1) обыгрываются романтические стереотипы “петербургской” повести. Случайная встреча с девушкой оборачивается для героя только большими денежными потерями. Тут же публикуется и “маленькая повесть о первой любви” другого молодого петербуржца Михаила Дайнеки “Канал”.

Молодой герой прозаика-дебютанта Вадима Филатьева в рассказе “Свобода натошак” (“Звезда”, №1) отдается философическому досугу — оставшись без работы в современном Петербурге,

неприкаянный мыслитель заносит в свой дневник все, что приходит в голову.

“Музыка в зоопарке” Е к а т е р и н ы С а л м а н о в о й (“Нева”, №2) — дебютный рассказ о том, как героиня устроилась на работу в зоопарк и была счастлива, найдя здесь и дружбу, и любовь. Одно плохо: этот надежный и уютный мир оказался невечным.

Упомянем также очередную публикацию в российских журналах повести Ю р и я Г а л ь п е р и н а “Сукин сын” (“Нева”, №11; см. также: “Волга”, 1993, №6; о ней: “Континент”, №78, с. 321), которая в первой публикации была рассказом.

В завершение обзора отметим две публикации в жанре путешествий. “Африка с моря” Л. С е м е н о в а-С п а с с к о г о (“Нева”, №10) — путевые заметки судового врача, плавающего вдоль восточных берегов Африки. Главное внимание уделяется встречающейся на пути всевозможной экзотике. А А л е к с е й А л е х и н (“Новый мир”, №2) делится “Письмами из Поднебесной”, подробно рассказывая о современном Китае.

2. Литературная критика

Ситуация в журнальной критике мало отличается от прошлогодней. Ведущими и наиболее активно обсуждаемыми продолжают оставаться четыре темы: сегодняшняя литературная ситуация в контексте общественных проблем, ситуация в литературной критике, “постмодернизм” и связанная с ним поляризация мнений, а также дебаты вокруг Букеровской премии. Проблемные статьи на материале текущей литературы — анализы, тенденции, диагнозы, прогнозы — уступают место “отрывочным” или “субъективным” заметкам, а также откликам и рецензиям, которые, не соединяясь в цельную картину, выполняют скорее ориентировочно-информационные, чем аналитические функции. Профессия литературного критика по-прежнему остается дефицитной, а место критика в ряде журналов — вакантным.

Статья С е р г е я Ч у п р и н и н а “Перечень примет” (“Знамя”, №1) — заметки о литературной ситуации 1994 года. Критик считает год спокойным. Прошло время активного участия писателей в общественной жизни. Главным критерием стала интересность произведения. Публика возвращается к отечественным писателям. “Секретарская” литература застоя раскрыла свой масскультовый потенциал и активно переиздается. Восстанавливается привычный объем книжного репертуара. Литературная жизнь в стране регионализируется. Таковы приметы года. Главный редактор “Знамени”

замечает, что удел его журнала (и некоторых других, завоевавших прочную и серьезную репутацию) — быть “законодателями литературного вкуса и, если угодно, высокой литературной моды, создателями прочных авторских репутаций и, может быть, тем самым ядром, центром, где формируется, живет и откуда воздействует на окружающий творческий ландшафт то, что принято называть большим стилем эпохи”. “Знамя”, по С. Чупринину, — это “академическая сцена”.

Обращаясь к ситуации в сегодняшней литературной критике, Андрей Немзер в статье “Сказка о потерянной критике” (“Дружба народов”, №8) говорит о кризисе журнальной критики. Здесь есть “провалы”, вымирают рецензии, распространяются “агрессивное хамство и эскапистские благородные монологи”. Критик ушел в газету. Черты газетной критики — “эстетичность” (“кто говорит красивее, тот и владеет истиной”), произвол (“о чем хотим, о том и пишем”), небрежение современным писателем... Немзер критически комментирует высказывания критиков Шкловского, Василевского и Басинского, в основном положительно отзываясь о Лямпорте и решительно осуждает Амелина за заметку о Солженицыне. Он также жалуется на “изматывающий психологический дискомфорт” и намечает программу “обустройства литературного хаоса” журналом единомышленников.

“Краткие и неизбежно неполные заметки о богатом и разнообразном мире толстой литературной критики” Вячеслава Курицына “Где ниточка, там и веревочка” (“Литгазета”, №6) — обзор литературно-критической продукции нескольких столичных и провинциальных журналов. Дается анализ тактики журналов и вкусовая оценка результатов их работы. В целом Курицын не удовлетворен критикой толстых журналов.

Российским постмодернистам и их отличиям от постмодернистов западных, а также ориентированной на тех и других отечественной критике посвящает свои размышления Николай Анастасьев в статье “Недостающее измерение. Родной пейзаж на европейском фоне” (“Знамя”, №3). Изложив идеи и образцы западной постмодернистской эстетики (Жак Дерида, Поль де Ман, Л. Фидлер), уже обнаружившие на Западе свою непродуктивность и ставшие общим местом, автор рассматривает опыт адаптации этих идей, применительно к “родному пейзажу”, обращаясь, в основном, к анализу литературно-критической продукции газеты “Сегодня”. По Анастасьеву, газетные критики “неадекватно” употребляют понятия постмодернистского набора, занимаются копированием (“только копия отличается редкостной аляповатостью и вульгарностью”), а также пренебрегают текстом анализируемых произведений

в единственной жажде “побазарить”. Критика становится литературой — но очень плохой. Сначала это раздражает, потом вызывает скуку.

Павел Басинский в реплике “Пафос границы” (“Новый мир”, №1) также аргументирует свое неприятие литературы постмодерна. Эти писатели на редкость продуктивны. “Широкая система провокаций”, “онтологический антипафос” — свойство ПМ-литературы. “Те, кто отказывает Создателю в копирайте на этот мир и занимается своего рода пиратством: полагают себя вправе переводить, адаптировать и тиражировать “куски” реальности, как им хочется или как им выгодно”. У них “патологическая страсть гадить именно в тех местах, где отечественное сознание больше всего болит и нуждается в очищении и просветлении”. Е.Радов, Д.Пригов, В.Сорокин, В.Пелевин, И.Клех создают “подмененное онтологическое пространство”. И критик предлагает вспомнить о “воле к границе”. Он призывает не печатать постмодернистов. Лучше уж очень плохая, но традиционная проза! “А завтра в редакцию непременно придет юноша с хорошей русской прозой, и в редакции будет праздник!”

Сергей Рейнгольд в статье “Странности Букера” (“Знамя”, №2) описывает “цивилизованные странности” — курьезы, чудачества и экстравагантности, — которые накопила 25-летняя история английской Букеровской премии. Отношение англичан к премии, влияние премии на репутацию писателя, на тиражи и число изданий. Случайности попадания в списки претендентов и финалистов, а также в “букераты” (лауреаты премии Букера), среди которых не только авторы романов, но и сборников рассказов и даже интервью и которые принадлежат к очень широкому “географическому спектру” (Южная Африка, Бразилия, Канада, Австралия, Индия и проч.). Демократизм премии, открытие новых имен. Скандалы среди членов жюри, среди финалистов, а также случаи зависти и злобы в отношении к “букератам”.

Еще до определения победителя председатель букеровского жюри-94 **Лев Аннинский** написал “заметки о букеровских финалистах” “Так чем же все это кончилось?” (“Новый мир”, №2), где рассказывает о том, какими критериями пользовалось жюри, как происходил отбор финалистов 1993 года; и в своей обычной эссеистично-ассоциативной манере дает характеристики прозы Буйды, Левитина, Долиняка, П.Алешковского, Слаповского, Окуджавы, “расположив их по нарастанию внутренней симпатии”. Не забыта и тема русского болота, бездны, которая каждую минуту норовит раскрыться под ногами в России.

В статье “Вот придет Букер” (“Октябрь”, №1) Д м и т р и й Б ы к о в пишет о прозе прошлого года. Он полагает, что литературных сенсаций не было, разве только случился скандал с романом Шарова. Живые тенденции современной литературы — это, по Быкову, “новый автобиографизм”, усиление исповедального начала в прозе; определенное смыкание с массовой литературой; литература гротескная и фантастическая. Критик с похвалой отзываясь о последних произведениях Валерия Попова, Дины Рубиной, Виктора Пелевина, Александра Мелихова.

Характер “отрывочных заметок” Г р и г о р и я П о м е р а н ц а “Литературный процесс и литературная поножовщина” (“Нева”, №12) соответствует заявленному жанру. Это бегло-вкусовые суждения о Шарове, Маканине, Мелихове, Е.Федорове, а также об Александре Сазоновой, авторе романа “Если Ты есть...”. Не нравятся Померанцу плевки критиков газеты “Сегодня” в литературу.

В а л е р и й Ш у б и н с к и й в “субъективных заметках о современной поэзии” “Минуя Австралию” (“Звезда”, №9) полагает, что современная русская поэзия смогла найти свое место в мировом диалоге, избежать провинциальности, самоизоляции. В этом аспекте даны характеристики Бродскому, Бобышеву, Рейну, Кушнеру, Чухонцеву, Аронзону, Пригову, Жданову, Айзенбергу, Е.Шварц и многим другим. А в “Звезде” №10 критик рецензирует сборник Елены Шварц и Ольги Седаковой, вышедший на английском языке. Шубинский высоко оценивает качество работы.

О судьбе “деревенской” прозы и писателей-“деревенщиков” размышляет В а л е н т и н К у р б а т о в в статье “Последний (?) парад” (“Москва”, №2). “Великая деревенская школа” родилась на разрыве “природы и человека, органической жизни и потерявшегося общества” и является “последней пока по времени литературой большого стиля”. Но сегодня это уже “перевернутая страница” (“далее, может быть, и будут еще высокие школы, но то, что мы называем собственно русской литературой, сложившейся в XIX веке... заканчивается именно на наших глазах”). Писатели-“деревенщики” были последним поколением, которое своими глазами видело окончательно и необратимо порушенный сегодня тысячелетний российский уклад и вышло из него (“они были его детьми и уже не в их воле было, рассказать или нет... они еще берегли ту жизнь, длили нашу память и самим своим существованием “доживали” ту Россию... в сочинениях-то прощались с ней, но сами еще держали эти скрепы”). Начинали они без глубинного сознания этого разрыва, но с каждой следующей их книгой оставалось все меньше иллюзий, и, наконец, в последних своих книгах, “которые мы поторопились назвать... публицистикой и сочли знаком усталости художников,

тогда как они свидетельствовали об усталости самой жизни", они написали "досадное, не лестное, "менее" художественное, совсем невыигрышное, но подлинное слово о подкравшейся перемене". Сегодня, "со смертью целого", они по одному отошли "от самого насущного ряда", но "они — стареющие, усталые, умолкшие, борющиеся с немотой новыми, не по их душе темами, остаются все равно совестью и мерой". В это "небывалое по разорению духа время" они, считает автор, знают, что "надо спокойно и с достоинством разделить с народом и этот час... разделить до молчания и отчаяния, чтобы, когда первая растерянность пройдет... — начать понемногу наново собирать народную генетику". В статье упомянуты Белов, Абрамов, Шукшин, Залыгин, Астафьев, Распутин, Аннинский.

В "Литгазете" прошел обмен мнениями о романе Айтматова "Тавро Кассандры". Б о р и с Е в с е е в в статье "Мертвая сова на Мавзолее" (№1—2) говорит о неудаче писателя. Роман подчинен эстетике клипа, а выдумки имеют привкус необязательности. Главное же — Айтматов поверхностно решает вопросы о вере, о Боге. В л а д и м и р К о р к и н в статье "Догма и ересь" (№ 4) защищает право писателя на ересь и полагает, что роман "ставит глобальные проблемы, побуждая к трудным и мучительным размышлениям".

А П е т р В а й л ь и В я ч е с л а в К у р и ц ы н рассуждают в "Литгазете" №5 о Владимире Сорокине. Вайль в статье "Консерватор Сорокин в конце века" считает, что Сорокин — холодный мастер-виртуоз, который может сделать все, смоделировать любой стиль, превзойти тех, кого пародирует, — и делает это просто играючи. Это собиратель и хранитель стилистических штампов и клише: не революционер, а консерватор, восстанавливающий повествовательность. В свою очередь, Курицын в статье "Свет нетварный" говорит, что Сорокин практикует нефункциональное, "чистое" письмо, просто говорение. "Здоровые силы выбирают Сорокина", — оптимистично провозглашает он. В ответ М а р и я Р е м и з о в а в реплике "Роман умер, да здравствует Сорокин?" ("Литгазета", №7) обвиняет Вайля в неадекватности и отказывает опыту Сорокина в значительности. У нее вызывает скепсис тот факт, что критика (в т.ч. Вл.Новиков) распростерла Сорокину объятия.

В статье "Мы одни плюс разбитое зеркало. Фантастика сегодня: воспоминания о будущем и предсказания назад" ("Дружба народов", №9) Р о м а н А р б и т м а н рассуждает о том, чем современная российская фантастика отличается от западной и что она собой, собственно, представляет. Вместо западного романа-предупреждения о близкой катастрофе у нас появился роман вялотекущей катастрофы (А.Кабаков, Вяч. Рыбаков, В.Маканин, В.Сухнев). Вто-

рой вид нашей фантастики — это “предсказания назад” (что было бы, если бы не было Октябрьской революции, или если бы СССР проиграл вторую мировую, или...). Здесь анализируются произведения А.Лазарчука, С.Абрамова, Вяч. Рыбакова.

Под псевдонимом **И в а н К о н о в а л о в** “Звезда”, №12 печатает статью “Поэзия ломаных скобок” о журнале “Новое литературное обозрение”. Автор статьи отмечает академически-музейный уклон издания, отсутствие интереса к современной литературе, полемики “экстремального субъективизма”. Журнал претендует на респектабельность — и в этом смысле верен советской традиции “Литературного наследства”, ориентируется на “архетип Центрального Органа, транслирующего сакральное”. Журнал — образец “искусства умелого использования искусства” (“Здесь комментарий получает значение полноценного и высшего творчества, а ломаные скобки становятся важным выразительным средством”).

А л л а М а р ч е н к о в реплике “И на нашего мудреца простоты хватило” (“Новый мир”, №2) отзывается о сочинении ректора Литинститута Сергея Есина, который рассказал о своем пути на этот пост и о недругах, которые ему мешали его занять. Критик считает записки Есина саморазоблачением.

1.

Новый Чернобыль “Комсомольца”?

(Письмо в редакцию)

Уважаемая редакция!

“Континент” регулярно публикует на своих страницах материалы, в которых обсуждаются фундаментальные проблемы настоящего и будущего России и связанные с ними разнообразные вопросы духовного, экономического, политического характера. Но сегодня существуют проблемы, пренебрежение которыми лишает смысла всякие такого рода размышления, ставя под сомнение сам вопрос — а есть ли у России будущее?

7 апреля 1989 года случилась беда — в Норвежском море затонула атомная подлодка “Комсомолец”. Эта трагедия, о которой тогда много говорили и писали, унесла жизни 42 военных моряков. “Комсомолец” уже шесть лет лежит на дне Норвежского моря, и я хочу рассказать о второй его трагедии, менее известной, но будущие жертвы которой могут исчисляться миллионами.

Сегодня ситуация на атомной подлодке (далее — АПЛ) критическая: уже к лету 1995 года две ее ядерные торпеды окончательно разрушатся, и ничто не помешает выходу из них плутония-239.

Заключение о необходимости экстренной временной меры — оперативной герметизации АПЛ, препятствующей выходу плутония, — подписали руководители Российской Академии наук и всех причастных ведомств. К месту гибели “Комсомольца” в июне 1994 года была направлена специальная экспедиция. Было израсходовано около семи млн. долларов США, однако лодку загерметизировать не удалось.

Была закрыта примерно половина больших и малых отверстий в головных отсеках, но заборная вода продолжает омыwać ядерные боеприпасы (один из них — на полу “дырявого” торпедного отсека!). Поэтому главная задача экспедиции — исключить вымывание плутония из лодки — осталась невыполненной. Угроза радиационного загрязнения Норвежского, Гренландского и Баренцева морей сохраняется.

Годы пребывания под водой не прошли бесследно для боеприпасов лодки: морская вода превратила боезаряды в две огромные мины — обычную и ядерную — на боевом взводе. Они могут взорваться от простой вибрации или неосторожного механического воздействия (даже при попытке заполнения внутренних объемов лодки сорбентом).

“Комсомолец” — не единственный ядерный джинн. По официальным данным, в Мировом океане затонуло пять атомных субмарин (в действительности — больше) — две американских (“Скорпион” и “Трешер”) и три советских (одна в Бискайском заливе, другая — в районе Бермудских островов, третья —

“Комсомолец”). Тем самым научно-технические, организационные, финансовые и политические вопросы, которые связаны с судьбой “Комсомольца” и с которыми я хочу познакомить читателей “Континента”, есть часть более общей проблемы — разработки эффективных методов для предотвращения радиационной опасности, исходящей от затонувших атомных — надводных и подводных — кораблей.

“Комсомолец” — самый “безобидный” ядерный джинн Мирового океана. Наиболее опасен советский подводный ракетно-соединитель К-219 с 50 ядерными боезарядами, затонувший в октябре 1986 года в районе Бермудских островов. По степени радиационной угрозы он в 25 раз превосходит “Комсомольца”. На борту советской подлодки К-8, затонувшей в апреле 1970 года в Бискайском заливе на глубине 4000 м, 5 ядерных боеприпасов и 2 ядерные энергетические установки. Поскольку лодка на дне почти четверть века, ее боеприпасы находятся в катастрофическом состоянии — малейшее неосторожное воздействие может взорвать лодку.

Несколько лет назад К-219 раскололся и в Атлантический океан идет утечка радиоактивных веществ. По заключению экспертов, из всех затонувших АПЛ ракетно-соединитель выделяет радиоактивные вещества наиболее высокой концентрации. Активное загрязнение морских вод будет продолжаться свыше 100 тысяч лет. В этом районе Атлантического океана главный “роддом” для популяций угрей планеты. Движимые древним инстинктом, половозрастные особи устремляются туда за тысячи миль для метания икры. Мириады личинок, “захватив” там радиацию, затем несколько лет будут плыть в теплых водах Гольф-стрима к берегам Европы, становясь по пути пищей для промысловых рыб. После нагула угри из северных морей, Балтийского и Средиземного моря, вместе с другой зараженной радиацией рыбой, неизбежно окажутся на столах миллионов европейцев.

Общепланетарная вялотекущая катастрофа стартовала, и уже сейчас можно предвидеть некоторые другие ее грани, приближающие развязку и до сих пор не известные человечеству. Например, превращение затонувших атомных кораблей в ядерные погреба для террористов.

Производство ядерного оружия требует десятков и сотен миллиардов долларов, специфичных производств, АЭС с реакторами определенного типа, высококвалифицированных ученых-ядерщиков, специального сырья. Скрыть информацию, связанную с созданием ядерного оружия, от спецслужб великих держав невозможно. Попытки нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия пресекаются в самом зародыше дипломатическими, экономическими, торговыми и военными санкциями (возможны ракетно-бомбовые удары по объектам, где создаются единичные ядерные взрывные устройства). Однако эти меры не эффективны в отношении международных террористических организаций.

Сложилась парадоксальная ситуация: ядерное оружие нельзя производить, но его можно тайно добыть уже в готовом виде на затонувших атомных и дизельных подводных лодках. По официальным данным, как я уже говорил, на дне Мирового океана находятся пять таких “ядерных погребов”, где безалаберность чиновников России и США оставили для свободного разграбления свыше 70 ядерных боезарядов. Потенциал каждого из них во много раз превосходит разрушительную мощь атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Сюда следует добавить 1000—1500 кг высокообогащенного урана,

пригодного для изготовления взрывных атомных устройств, который находится в реакторах затонувших субмарин, а также в специальных контейнерах на морских ядерных кладбищах.

Развитие науки и техники достигло такого уровня, что собрать весь этот "бесхозный" ядерный материал могут немногочисленные, но хорошо законспирированные террористические организации.

Есть некоторые признаки того, что первые шаги в этом направлении сделаны или могут быть предприняты. Так, обитаемые глубоководные аппараты частных лиц уже свободно обследуют и изымают отдельные предметы на борту "Титаника" (глубина затопления — 3650 метров). Зафиксированы также факты несанкционированного обследования "Комсомольца" "неизвестной стороной" (глубина затопления 1680 метров).

Независимые специалисты совсем не исключают возможности, что во время очередной экспедиции к месту гибели АПЛ на ее борту может не оказаться части или всей ее "ядерной начинки". Она уже сейчас (правда, с риском для жизни) может стать относительно легкой добычей для какой-либо криминальной организации. Как известно, среди террористов немало добровольных исполнителей-самоубийц.

Еще одна, и тоже сегодня не известная человечеству, грань общепланетарной опасности — это ядерная война маньяков и бюрократии, реальность которой с каждым годом будет возрастать. Технически сегодня не представляет особых трудностей проблема "реанимации" и даже усиления разрушительной мощи боеприпасов затонувших субмарин. Ядерные маньяки могут доставить их в любую точку планеты и взорвать в нужный для них момент. Оружие может быть использовано и для ядерного шантажа.

Наконец, ядерные маньяки могут и не утруждать себя изытанием боеприпасов. Их можно просто взорвать вместе с лодкой в самый неблагоприятный момент для Европы, Центральной или Северной Америки. Зная метеоусловия, ядерный гриб вместе с его "чернобылями" можно "адресно" направить только на одну страну или на группу стран.

В сложном положении оказались Соединенные Штаты Америки. В середине века от их атомного и ядерного оружия умирали японцы: в августе 1945 года — жители Хиросимы и Нагасаки, а в 1954 году — японские рыбаки, оказавшиеся в 1500 милях от эпицентра надземного взрыва американской ядерной бомбы в Тихом океане.

По всем признакам, судьба меняет привязанности и запланировала для США свою "ядерную Помпею". Она может лишить их статуса великой державы, большинства американцев — собственности, а значительную часть территории — превратить в радиоактивную пустыню. Над многими городами Северной Америки незримо витает призрак мертвого украинского города Припяти.

К прыжку на сушу уже изготовился самый опасный джинн Мирового океана — стратегический ракетоносец К-219. По обоснованным расчетам независимых экспертов, состояние его ядерного оружия таково, что с вероятностью в 10% оно может взорваться в течение 1995 года под влиянием естественных причин. Попытка обезвредить его традиционными методами лишь ускорит взрыв.

Ядерный гриб от взрыва сразу 50 ядерных боезарядов поднимет со дня моря в атмосферу в десятки раз больше радионуклидов, чем их было при аварии на

Чернобыльской АЭС или при испытании первой американской бомбы над землей. Радиоактивные дожди и смерчи пронесутся над странами Северной и Центральной Америки.

Невидимый ковер смерти может на многие годы накрыть обширные территории США, Канады, Мексики, Кубы и других карибских государств. Высотные воздушные течения принесут легкие радиоактивные фракции и в Европу. Одновременно подводный взрыв породит гигантские волны цунами, которые обрушатся на прилегающие приморские города, выбросят на берег корабли.

Без особых проблем ускорить этот процесс могут ядерные террористы. Следов они не оставят. У специалистов и общественности будет один вердикт: виновны руководители США, не оценившие за 9 лет всей опасности нахождения у их берегов затонувшей советской подводной лодки.

По мнению независимых специалистов, исследовавших вероятность такого сценария, террористам потребуется около миллиарда долларов для гарантированного лишения США статуса великой морской державы и превращения их в третьеразрядную зависимую страну уже в 1996 году. Предотвратить трагедию не смогут ни Пентагон, ни спецслужбы.

Еще меньше "стоимость" таких акций в отношении Японии, Англии, Германии и других стран "Большой семерки". К сожалению, у этих стран есть немало радикальных противников в мире, раздираемом глубинными общественными противоречиями.

Открытую, в отличие от террористов, ядерную войну против землян готовит международная "партия полупрофессионалов и бюрократии". Благодушные и некомпетентные руководители отдельных стран и ведомств очень настораживают. Так, 3 марта 1995 года "Известия" сообщили о докладе Научно-исследовательского института вооруженных сил Норвегии по итогам изучения радиологической опасности "Комсомольца". Перед журналистами выступил один из руководителей института Пер Туресен. Его интервью, мягко выражаясь, вызывает удивление:

1. НИИ, оказывается, не владеет даже общеизвестной открытой информацией. Так, в его докладе утверждается: в Мировом океане затонули четыре американских атомных субмарины и одна советская. Как уже было сказано выше, на самом деле затонули две американских и три советских АПЛ. Эти сведения можно найти в официальных справочниках России, США, в публикациях сотен газет разных стран мира.

2. Господин Туресен обнаружил незнание и самого объекта исследования. С его слов, в боеголовках ядерных торпед "Комсомольца" содержится уран-235, который он относит "к разряду малоопасных веществ". Попутно делает "открытие", ниспровергающее основы ядерной физики и химии. Например, утверждает: металлический уран-235 растворяется в воде и в таком виде интенсивность распада его ядер якобы уменьшается.

Для сведения сообщаем: на борту "Комсомольца" 116 кг реакторного урана-235, а в двух ядерных боеголовках торпед — 6,4 кг плутония. От смачивания водой интенсивность их радиоактивного распада не зависит. Что касается "неопасности" этого изотопа урана, то его разрушительную мощь испытали на себе Хиросима, Нагасаки и Чернобыль.

3. В докладе НИИ содержится утверждение: плутоний, по мере разрушения защитных экранов, "примет форму густков, которые останутся внутри под-

лодки". Это заблуждение объяснимо: у норвежцев нет оружейного плутония России и они не могли проводить с ним экспериментов в морской воде.

Такая работа выполнена в НИИ ядерных боеприпасов России: в морской воде окислы и соли плутония быстро превращаются в макро- и микрозоли, которые затем могут разноситься течениями на большие расстояния.

4. Явной "клюквой" выглядит утверждение о "неопасности" плутония АПЛ, когда делается ссылка на надземные ядерные взрывы 50-60 годов. Россия — ядерная держава и ее специалисты внимательно отслеживали эту проблему. Картина такова: за все годы испытаний ядерного оружия на Новой Земле в Баренцевом море оказалось около 100 кюри плутония, а в двух ядерных торпедях АПЛ его в четыре раза больше — 430 кюри.

Много это или мало? В 1994 году разразился международный скандал по поводу слива танкером ВМФ России в Тихий океан 900 кубометров жидких радиоактивных отходов, где содержалось всего 0,938 кюри.

Залповый выброс плутония в течение короткого времени приведет к катастрофическим последствиям. Продукты его коррозии будут поглощаться планктоном и неизбежно попадут в пищевую цепочку человека (наиболее опасное альфа-излучение плутония приборы не фиксируют).

Вокруг "Комсомольца" образуется обширная зона радиоактивного загрязнения. Богатейший район рыбного промысла Европы будет закрыт на 6-7 веков, а морские течения принесут к берегам России микрозоли плутония (период полураспада около 25 тысяч лет, по химическим свойствам в 10 тысяч раз токсичнее мышьяка).

5. Не знают военные чиновники Норвегии и работ своих гражданских коллег. Так, еще в июне 1993 года норвежский Нансеновский центр (NERSC), исследуя эту же проблему, пришел к выводу: "... через 10 лет после утечки радиоактивные материалы распространятся на большей части Норвежского и Гренландского морей. Повышенные уровни радиоактивности могут достичь верхних частей океана около Гренландии и Исландии через относительно короткое время, хотя подводная лодка лежит на большой глубине..." К таким же выводам пришел и голландский Арктический центр университета в Гронингене.

"Негативные последствия катастрофы для экономики рыбного хозяйства, — говорится в заключении Комитета РФ по рыболовству, — трудно поддаются оценке, хотя предварительные подсчеты возможного ущерба за пятилетний период составили астрономическую цифру — 3500 млрд. рублей в ценах 1993 года". К этому следует добавить многомиллиардные потери в долларах Норвегии, Исландии и других стран ЕС.

6. Не знают военные чиновники Норвегии и новейших технологий обезвреживания затонувших АПЛ. Они исходят из традиционных технологий, когда для подъема лодки требуется 300-400 млн. долларов. Сейчас всего за 30 млн. долларов можно новейшими методами — и к ним мы еще вернемся — изъять ядерную начинку из затонувшей субмарины без ее подъема на поверхность.

В 1995 году НИИ вооруженных сил Норвегии фактически повторил свои старые рекомендации двухлетней давности: "... оставить в покое затонувшую советскую лодку..." На наш взгляд, такой вывод возможен только на базе ограниченных научных знаний персонала и недостатка информации об объекте исследования.

К сожалению, этот вывод продублирован затем в рекомендациях МИД Норвегии стортингу и в его решении 1994 года: "оставить обломки подводной лодки

там, где они сейчас находятся...” С тех пор в Норвегии действует негласный запрет на публикации о “Комсомольце”, которые якобы могут “будоражить общественность” и являются “настоящей истерией” (по этой причине был рассыпан набор моей статьи на эту тему, подготовленной для публикации в одной из норвежских газет).

На пресс-конференции господин Туресен с гордостью заявил: исследование всего НИИ предпринято по заданию 25 стран, в том числе стран НАТО и России. Полагаем, успех такой работы меньше всего зависит от расстояния той или иной страны до места гибели “Комсомольца” в морских милях. По нашему мнению, такого рода экспертное заключение следовало заказать одной из ядерных держав, располагающих мощными научно-исследовательскими центрами соответствующего профиля, учеными-ядерщиками высочайшего класса и достаточной информацией об объекте исследования.

В апреле с.г. доклад норвежского института официально представлен на рассмотрение Комитета НАТО по охране окружающей среды.

Благодушие и невысокий уровень специальных знаний характерны и для руководителей отдельных российских ведомств. По их мнению, все затонувшие АПЛ можно спокойно оставить на дне в наследство грядущим поколениям. Эти настроения изложил в письме на мое имя (№ 28-19-К-1344/239 от 15 ноября 1994 года) один из руководителей Минприроды РФ: “... Что касается затонувшей подводной лодки “Комсомолец”, то, на наш взгляд... минимум ущерба будет достигнут в том случае, если подводную лодку оставить на морском дне...” В качестве аргумента он ссылается на уже упомянутую выше рекомендацию МИД Норвегии стортингу № 34 (1993-1994 г.), которая, в свою очередь, базируется на выводах норвежских военных чиновников двухлетней давности.

Та же позиция и у некоторых руководителей Военно-морского флота РФ. Так, в рецензии на мою статью о “Комсомольце” в “Морской сборник” контр-адмиралы Барсков М.К. и Урывский В.И. 27 января 1995 года (документ без регистрационного номера), не утруждая себя какими-либо аргументами, безапелляционно утверждают: само упоминание о такой радиационной угрозе “нагнетает радиофобию” и “наносит... вред интересам страны и ВМФ...”

В сентябре 1993 года 29 министерств, ведомств и научных организаций РФ вынесли вердикт о “неподъемности” “Комсомольца”. Этот вывод, считают многие специалисты, ошибочен. Как известно, с голландцами в 1990 году был подписан контракт о подъеме лодки за 220 млн. долларов. На подготовку они потребовали два года. Однако, узнав о действительных масштабах разрушений на АПЛ, голландцы от сделки отказались. Желающих перехватить “выгодный” контракт в России и других странах не оказалось. Низкий профессиональный уровень современных спасателей и породил неоправданный миф о “неподъемности” лодки.

Миф породил и ошибочное решение — отпилить и поднять только носовую часть с ядерными боеприпасами, а лодку с реактором и ядерным топливом оставить на дне как головную боль для грядущих поколений. Это решение подписали Н.Лаверов — вице-президент РАН, В.Коновалов — первый заместитель министра РФ по атомной энергии, Т.Борисов — председатель Комитета по проведению подводных работ особого назначения (КОПРОН) и другие правительственные чины.

Казнь “Комсомольца” путем отсечения головной части ориентировочно была назначена на лето 1995 года. Исполнители — специально дооборудованный

корабль глубоководного бурения, научно-исследовательское судно "Академик М.Келдыш" с аппаратами "Мир", вспомогательными кораблями, российским и голландским персоналом. Свидетели — приглашенные иностранцы, пресса, телевидение. В марте с.г. один из руководителей министерства РФ по чрезвычайным ситуациям (МинЧС) договорился купить у голландцев "гильотину" — гигантскую пилу — за 25 миллионов флоринов. По его словам, министерство "заинтересовано не только в использовании этой гигантской пилы для АПЛ "Комсомолец"...

В 1992 году группа российских ученых из научно-технического объединения "Эврика" выступила со статьей "Ядерная мина на боевом взводе", где говорилось об опасности использования голландской технологии для подъема АПЛ. Тогда это вызвало неприятие у руководителей судоподъема РФ. Однако спустя полгода академик И.Спаский, тогдашний шеф судоподъема, официально признал ущербность предложений голландцев (см. "Московские новости", 1992, № 48, с. 10). А спустя два года к выводам о взрывоопасности лодки присоединились и специалисты по боеприпасам Минобороны РФ¹.

Действительно, игнорировать эти выводы российских ученых вряд ли разумно. При отпиливании неизбежны вибрация и опасное механическое воздействие на боеприпасы. Одна из мин — обычная или ядерная — обязательно сработает. В лучшем случае весь плутоний и реакторный уран сразу будут выброшены в море, в худшем — произойдет ядерный взрыв, погибнут люди и корабли.

Возникнет огромный ядерный гриб. Куда понесет он свои "чернобыли"? Господствующие ветры могут доставить их на юго-запад, юг и юго-восток. Это будет игра Природы с людьми в рулетку, где ставкой будут человеческие жизни, судьбы территорий и государств. Любой город обширного географического региона может повторить судьбу мертвого города-призрака Припяти, если его накроет радиоактивный "след" взорванных ядерных боеприпасов.

Уместно напомнить еще раз об испытании в 1954 году в Тихом океане (на высоте 40 метров) первой водородной бомбы США. Радиоактивный дождь погубил японских рыбаков в 1500 милях от эпицентра взрыва. На "Комсомольце" же не один ядерный боеприпас. Поэтому в трагическом круге с радиусом более 1500 миль окажутся не только все скандинавские страны, страны Балтии, часть России, Исландия, но и другие европейские государства. Легкие радиоактивные фракции могут выпадать на всей территории Европы.

По предварительным оценкам, в первые же дни от ядерного взрыва могут пострадать около 5 млн. человек (опасные для жизни и здоровья дозы облучения, экологические беженцы и т.д.).

Так на своем эшафоте "Комсомолец" отомстит за предательство и непрофессионализм российской бюрократии. В здравом уме специалисты не разряжают взрывоопасные объекты латанием дыр или распиливанием их корпуса. Чиновники называют такой "метод" верхом мудрости; профессионалы — элементарным невежеством, безумной игрой жизнями, здоровьем и благополучием миллионов людей.

¹ Этот факт признал в марте 1994 года глава правительственной делегации РФ адмирал М.Толоконников во время закрытых переговоров с представителями голландского бизнеса в Брюсселе.

По мнению критически настроенных российских ученых, нынешний вариант решения судьбы “Комсомольца”, тем не менее одобренный во многих инстанциях, стоит в одном ряду с документами, подписанными именитыми академиками и высшими правительственными чинами, которые погубили Арал и подготовили Чернобыль, открыли двери для радиационного загрязнения северных морей, деградации Байкала и многих российских рек, превращения целых регионов в зоны экологического бедствия.

К сожалению, запах долларов привлёк внимание к этой проблеме бизнесменов, которые думают прежде всего о своем кармане, а не о судьбах миллионов людей. Лодкой заинтересовались дельцы, создавшие так называемый Международный фонд памяти атомной подводной лодки “Комсомолец” (ФК) со штаб-квартирой в Брюсселе. Члены президиума: господин В.Шмельцер (бывший министр иностранных дел Нидерландов), академик И.Спаский (бывший шеф судоподъема РФ, проваливший программу подъема “Комсомольца”) и шустрый молодой голландец малайского происхождения Р.Праанинг (генеральный секретарь и координатор организации).

Фонд — удобная “крыша” для голландских бизнесменов из фирм “Смит” и “Хеерема”, позволяющая им “выбивать” для себя в других странах выгодные контракты и без проблем аккумулировать миллионы долларов в виде пожертвований от государственных органов, юридических и физических лиц — под предлогом оказания помощи России в решении проблем “Комсомольца”. Большая часть поступлений оседает на счетах Фонда и голландских фирм.

У Фонда влиятельное лобби в правительственных кругах РФ. Используя эти связи, он подталкивает Россию, мягко выражаясь, к непрофессиональному и крайне опасному варианту решения судьбы “Комсомольца”.

Так, совместный документ ФК и представителей МинЧС по “окончательной нейтрализации” АПЛ гласит: “Части судна с ядерным реактором или ядерным оружием можно отрезать гигантской пилой и поднять после их герметизации и заполнения...”

Интересы Фонда, голландских фирм “Смит” и “Хеерема” не совпадают с интересами России и Европы. Европейцы (как, впрочем, и все земляне) заинтересованы в быстром, надежном, безопасном и, по возможности, малозатратном обезвреживании всех затонувших атомных субмарин.

Голландские бизнесмены стремятся превратить “Комсомольца” в долговременную долларовую кормушку, которой они хотели бы монопольно распоряжаться в течение ближайшего десятилетия. И не только “Комсомольца”. В их штабе — Фонде “Комсомольца” — разрабатывают проект возведения специальных могильников или саркофагов над каждой затонувшей АПЛ. Поскольку подобные сооружения на дне Мирового океана крайне недолговечны, то за ними требуется постоянное наблюдение и ежегодный ремонт. Такая стратегия могла бы обеспечить голландскому бизнесу постоянные многомиллионные заказы не только в XX, но и в XXI веке.

Российское лобби этого Фонда предлагает сейчас “улучшенный” вариант решения судьбы “Комсомольца”: закачать в отсеки лодки сорбент, а корпус накрыть саркофагом. На наш взгляд, в инженерном отношении этот проект не совсем грамотен:

1. Заполнение торпедного отсека сорбентом связано с большим риском: могут взорваться боеприпасы.

2. Если при этом взрыва не произойдет, то в ходе сооружения саркофага полуразрушенный корпус лодки не выдержит его тяжести и развалится. Возможно критическое воздействие на боеприпасы, что также грозит взрывом.

3. Сильное придонное течение разрушит любые насыпные могильники за несколько месяцев, а затем разнесет на огромных площадях морского дна сорбенты и радиоактивные материалы.

4. Период полураспада реакторного урана 50 тысяч лет, плутония — 25 тысяч лет, а сорбенты в лучшем случае могут задержать часть радионуклидов на несколько десятилетий. Предлагать их как “эффективное” средство для защиты от радиационной опасности АПЛ, на наш взгляд, не совсем серьезно.

5. Боеприпасы лодки (если они к этому времени не взорвутся) станут более доступны для всякого рода злоумышленников и маньяков.

В итоге Европе гарантирована крупнейшая экологическая трагедия, голландским фирмам — барыши, России — новые неразрешимые проблемы¹

Сейчас идет усиленная обработка потенциальных спонсоров (включая Европейский совет) для получения от них многих миллионов долларов США на работы по “обезвреживанию” других затонувших атомных субмарин по методике “Комсомольца”.

По нашему мнению, если вовремя не остановить этих господ (безопасных технологий производства таких работ у них нет), то результат их усилий будет однозначен: ядерный гриб на месте подлодки К-8 поднимет в высокие слои атмосферы новые десятки “чернобылей”, а радиоактивный “след” может на десятилетия накрыть цветущие районы Франции, Испании и Португалии. Более легкие фракции могут выпасть в Центральной Европе и Северной Африке. По предварительным оценкам, в первые дни от ядерного взрыва на К-8 могут пострадать 10—15 миллионов европейцев. О последствиях взрыва 50 ядерных боеприпасов на К-219 говорилось ранее.

Такова ситуация, из которой, по мнению независимых специалистов, есть лишь один разумный выход: аварийную субмарину надо срочно поднимать. Уникальная в истории судоподъема операция позволит: снять угрозу “морско-

¹ Поскольку проект вызывает серьезные возражения, лобби “пробивает” поэтапное решение: правительство РФ склоняют к мысли провести летом 1995 года герметизацию и закачку в лодку сорбента. Такая работа рекламируется в прессе как сооружение уникального подводного (“внутреннего”) саркофага. Ее планируют выполнить с помощью механического робота, который должен проникнуть в торпедный отсек, что увеличивает риск неосторожного воздействия на взрывоопасные боеприпасы и их подрыва. Кроме того, из-за недавнего сокращения финансирования предлагается заменить дорогие сорбенты при заполнении торпедного отсека дешевыми эластичными емкостями с водой. Это лишь растянет во времени, но не помешает выходу плутония из лодки. Если не случится худшее, то дальнейшее развитие событий может идти двумя путями 1. Отпиливание и подъем головной части АПЛ, как это предусмотрено в совместном документе руководителей Фонда “Комсомолец” и МинЧС. 2. Сооружение защитного саркофага над всей или частью лодки. Эта опасная и малополезная работа требует больших затрат.

го Чернобыля” для Европы; предотвратить выход плутония в океан; обезвредить реактор (в заглушенном состоянии он продуцирует в немалом количестве радиоактивный цезий и стронций и будет распространять вокруг себя губительную радиацию десятки тысяч лет); узнать причины гибели лодки и последовавшего взрыва (есть пять версий); предать земле тела погибших моряков; спасти шесть тысяч тонн титана; накопить опыт спасения Мирового океана от других радиоактивных объектов и собрать ценный материал для будущего судостроения.

Безопасный подъем “Комсомольца” на некоммерческой основе готово организовать независимое творческое объединение “Эврика” — неформальное объединение ученых, изобретателей и практиков (российский некоммерческий мини-аналог американской “РЭНД-корпорейшн”). Много лет “Эврика” работает над перспективными инженерными решениями сложных технических проблем (именуя их технологиями XXI века). Одна из коллективных работ — новая технология судоподъема, опережающая современные минимум на десять лет.

“Ноу-хау” “Эврики” позволяют поднимать затонувшие объекты весом более 200 тыс. тонн (водоизмещение самого крупного авианосца США всего 100 тыс. тонн) практически на всех глубинах Мирового океана. Для большинства стран предел судоподъемных работ — 250 метров, вес затонувшего корабля — до 10 тыс. тонн. Исключение составляют США. В 1974 году они пытались поднять затонувшую советскую дизельную лодку К-129 весом около 5 тыс. тонн с глубины 6 тыс. метров. При подъеме лодка развалилась. Затраты составили миллиард долларов.

Академик И.Спасский на пресс-конференции летом 1990 года объявил, что отказался от всех отечественных разработок, заморозил их финансирование и подписал контракт с голландцами о подъеме “Комсомольца” через 2 года (позднее назвал сумму сделки — 220 млн. долларов США).

А разработчики “Эврики” еще в 1989 году предлагали поднять “Комсомольца” в течение 3-х месяцев всего за 30 млн. рублей (меньше стоимости строившейся в то время дачи М.Горбачева в Форосе). Причины низких затрат: коллектив не преследовал коммерческих целей; рубль не был “деревянным”; отказ от дорогостоящих плавкранов, водолазных и понтонных работ сокращает расходы в 10 и более раз; в стране сохранялась еще относительно высокая исполнительская дисциплина. Однако все обращения к Президенту, Премьеру, министрам и в Академию наук СССР были оставлены без внимания. Потенциал коллектива не востребован.

Запах долларов вскружил голову шефу судоподъема. После подъема “Комсомольца”, заявил академик журналистам, голландцы передадут ему крановое судно и будет возможность зарабатывать валюту коммерческим судоподъемом в Европе. У разработчиков “ноу-хау” валюты не было...

Ознакомившись с голландским проектом, специалисты “Эврики” обнаружили в нем серьезные изъяны. В 1991 году мы неоднократно обращались с письмами-предостережениями во многие министерства и ведомства, но нас не хотели слышать (видимо, на них давил авторитет академика И.Спасского).

21 мая 1992 года “Советская Россия” опубликовала мою статью “Ядерная мина на боевом взводе” об ущербности голландских предложений. Публикация вызвала резкое неприятие у окружения И.Спасского. Однако летняя экспедиция 1992 года к месту гибели лодки подтвердила наши предупреждения о

серьезности разрушений АПЛ. Узнав о них, голландцы отказались от контракта, взыскав с российской стороны неустойку свыше 7 млн. долларов.

В конце 1992 года академика РАН И. Спасского на посту шефа судоподъема сменил член-корреспондент Инженерной академии Т. Борисов. По нашему мнению, незнание ими судоподъема и неспособность предложить для него новые перспективные решения стали главной причиной нынешнего катастрофического состояния "Комсомольца".

"Эврика" предлагает на базе своих технологий поднять АПЛ в три этапа. На первом — изъять ядерные и обычные боеприпасы без подъема АПЛ, не создавая при этом вибрации и не оказывая на них спасного механического воздействия. На втором — изъять ядерное топливо из реактора и произвести дезактивацию реакторного отсека без подъема и нарушения крена лодки (в противном случае возможен залповый выброс из него радиоактивных материалов). На третьем этапе — поднять относительно безопасную в радиационном отношении лодку и доставить ее в порт-убежище для детального осмотра и утилизации.

Минимальная цена рабочих операций каждого этапа — от 8 до 30 млн. долларов США. Такой вариант действий сохранит для России и других стран Европы многие миллиарды долларов, а главное — жизнь, здоровье и благополучие их граждан.

Уникальная операция по подъему требует специального обучения персонала, которое можно провести в два этапа:

Первый — в Карском море. Там ВМФ затопил целую атомную лодку, так как его специалисты не могли изъять остатки ядерного топлива из аварийных реакторов. Лодку целесообразно использовать как "учебный объект" с полной имитацией обстановки на "Комсомольце". Учеба будет включать отработку следующих практических навыков:

1. Изъятие ядерного топлива из аварийных реакторов без подъема АПЛ.

2. Подъем АПЛ и воссоздание на ней аварийной обстановки "Комсомольца", включая зарядку ее торпедных аппаратов ядерными и обычными боеприпасами.

3. Затопление лодки на грунт в такое же положение, в каком находится "Комсомолец".

4. Изъятие боеголовок ракет-торпед в подводном положении.

5. Подъем и транспортировка лодки для утилизации.

На втором этапе — "экзамен" в Цемесской бухте у Новороссийска, где на оживленном фарватере лежит теплоход "Адмирал Нахимов", мешающий заходу судов большой тоннажности в единственный крупный порт России на Черном море.

Спасатели СССР, а потом России не могут поднять его более 7 лет. По технологии "Эврики" он будет поднят за один световой день.

Что же мешает это сделать?

Независимые ученые "Эврики" не раз предлагали Президенту, Премьеру, Е. Гайдару, С. Филатову, С. Шахраю, В. Шумейко, Д. Волкогонову, А. Яблокову и другим высокопоставленным лицам РФ изъять "ядерную начинку" у всех затонувших АПЛ. За всех ответил Главный военный советник Президента генерал армии К. Кобец, который заявил автору этих строк: "Я вас не поддерживаю..."

Что мешает "верхам" принять, наконец, разумное решение? Все дело "в нашем российском бардаке и бюрократизме" — такой вывод 24 мая 1994 года

сделала “Комсомольская правда” после детального выяснения проблем “Комсомольца” у бывшего шефа судоподъема РФ Т.Борисова. Обладая правами министра, он не смог преодолеть бюрократические рогадки и сделать что-либо полезное для судьбы АПЛ в течение нескольких лет.

Есть ли малейший шанс реализовать “ноу-хау” в России?

Сейчас у нас действуют одновременно три подхода к изобретениям: “советский” и два рыночных — дикий и цивилизованный.

“Советский” — полностью отрицает частную, и одну из ее разновидностей — интеллектуальную собственность. По “железной логике” чиновника изобретатели являются собственностью власти — они обязаны без всяких оговорок передать ему свои “ноу-хау”, и он вправе распоряжаться ими по собственному усмотрению. За это изобретателю гарантирована красивая бумажка (именуемая авторским свидетельством) и право на “максимальное вознаграждение” в размере 20 тыс. рублей (сейчас чуть-чуть побольше).

Дикий рыночный. Коррупционированность нынешней бюрократии — секрет полишинеля. Об этом открыто пишет зарубежная и российская пресса. При обращении с просьбами к чиновникам, признают бизнесмены, в 95 случаях из 100 приходится “отстегивать” им соответствующие суммы. По предварительным оценкам, наши “ноу-хау” могут послужить России, если предварительно “отстегнуть” “управленческой вертикали” от 20 до 40 млн. долларов США.

Цивилизованный рыночный — предоставление услуг и собственности на возмездной основе. У нас в стране он действует только для иностранцев. В октябре 1994 года мы направили “юбилейное” (пятнадцатое!) обращение к верхам с просьбой прекратить рэкет и беспредел их чиновников. От имени Президента РФ ответил А.В. Яблоков (№ А21-1877 от 01.11.94 г.), от имени Премьера — руководящий работник из Минприроды России (№ 29-19-К-1344/239 от 15.11.94 г.). Цивилизованные рыночные отношения их не устраивают.

Как и три года назад, от “Эврики” жестко требуют незаконного варианта передачи “ноу-хау” назначенным чиновникам (в основном, лобби инофирм). Пожалуй, есть единственный прогресс — нам больше не угрожают карательными санкциями за отказ выполнить ультимативные требования.

Как известно, юристы всех стран давно отрегулировали цивилизованный порядок свободного доступа потребителей ко всем “ноу-хау”. Действует этот порядок и в России (ст. 151 Основ гражданского законодательства и ст. 2 “Закона о собственности”). Чиновник любого ранга не имеет права отменять или приостанавливать его действие.

В соответствии с Законом лицензиар (сторона, передающая “ноу-хау”) и лицензиат (будущий их владелец) сначала заключают предварительное соглашение, в соответствии с которым состоится передача секретов. Лицензиат подвергает их экспертизе и, если они соответствуют его ожиданиям, заключается второе соглашение — об использовании “ноу-хау”.

Тем самым надежно оберегаются интересы всех сторон: исключается вероятность покупки-продажи “кота в мешке”, изобретатели защищены от беспредела чиновников, государство — от утечки сведений по сомнительным каналам, потребители — сразу получают новейшие технологии.

Если же “ноу-хау” разглашено перед третьими лицами в обход закона (не по контракту), то оно сразу же теряет свой правовой статус: его секреты считают “общезвестной информацией”, которую государство больше не за-

щищает. Естественно, изобретатель теряет право на свою интеллектуальную собственность.

Пресса регулярно комментирует действующие нормы по этим вопросам (см., например, газету “Финансовое Дело”, № 29 за 1994 год). На злоупотреблениях паразитирует бюрократия: вымогая в обход Закона секреты чужого изобретения, она затем “уступает” их перекупщикам за бесценок (надежная система патентования секретов в РФ разрушена).

В “Федеральном вестнике экологического права” №7 за 1994 год “Эврика” предлагает для использования на благо России ряд, по нашему мнению, значимых разработок:

1. Способы абсолютно безопасного и малозатратного подъема АПЛ “Комсомолец”, а также изъятия “ядерной начинки” у всех других затонувших субмарин.

2. Создание экологически чистых морских электростанций (МЭС), использующих энергию морских волн, — практически бесплатных и неисчерпаемых энергоносителей. До конца века они могут дать в десятки раз больше дешевой электроэнергии, чем ее сейчас вырабатывают все тепловые и небезопасные атомные электростанции РФ.

Недостаток тепла, как в годы прошедшей войны, сегодня ощущают жители Мурманска, Архангельска, многих районов Крайнего Севера. Решить эту проблему раз и навсегда мешает только чиновничий аппарат России.

Технологии “Эврики” могут превратить Мурманскую область, Приморский край, другие области и республики, примыкающие к незамерзающим морям, в поставщиков сверхдешевой электроэнергии. Это позволило бы снять нынешнюю зависимость этих районов от угле- и нефтедобывающих отраслей.

3. Возможность эффективной и малозатратной очистки ядерных кладбищ в Карском и Баренцевом морях.

К сожалению, уважаемые представители Президента и Премьера в обход Закона предлагают нам вариант “прихватазации” уникальных научно-практических разработок российских ученых лоббистами зарубежных фирм. Вряд ли это в интересах России. Полагаем, ее будущее не в постоянном разграблении богатства всех россиян (по некоторым данным, на личных счетах “новых русских” в зарубежных банках ежегодно оседает около 100 млрд. долларов США; предела их алчности нет).

“Эврика” неоднократно предлагала помощь МО, ВПК, Минприроды, бывшему Минсудпрому, ГКНТ и другим ведомствам в решении их проблем, которые на их собственной технологической базе решения не имеют или решение которых стоит непомерно дорого. Проявляя повышенный интерес к разработкам, ведомства требуют от коллектива отказа от его права на интеллектуальную собственность и передачи этой собственности в их полное распоряжение. Естественно, такая форма “сотрудничества” коллектив не устраивает.

На наш взгляд, ответ на вопрос “Что мешает?” однозначен. Главная помеха — та же “партия полупрофессионалов, мздоимцев и бюрократии”. В случае с “Комсомольцем” бывшему шефу судоподъема не помогли даже права министра. Для преодоления ее сопротивления требуется очень много валюты или... большой кнут, чтобы навести порядок в “исполнительской вертикали”.

Предложения

Учитывая критическое состояние “Комсомольца”, исходящую от него угрозу, а также неспособность государственных структур РФ самостоятельно устранить эту угрозу, предлагаем:

1. Создать в экстренном порядке под флагом ООН международную чрезвычайную комиссию по решению судьбы “Комсомольца”.
2. Поручить устранение грядущей экологической катастрофы “Эврике”.
3. Операцию подъема проводить под строгим международным контролем.
4. Аналогичным образом обезвредить остальные затонувшие АПЛ (изъять ядерное топливо и ядерное оружие без подъема на поверхность).
5. Использовать на благо России и других землян на законных основаниях все другие “ноу-хау” НТО.

КУРЧАТОВ Александр Иванович,
президент НТО “Эврика”,
доцент, полковник в отставке.

Жужа ХЕТЕНИ

КРАТКИЙ КУРС ПЛАГИАТА

(Письмо в редакцию)

Уважаемая редакция!

Я хорошо понимаю, насколько щекотлива тема, которую я решилась затронуть, но прошу опубликовать мое письмо. Мысль обратиться именно в “Континент”, направленность и репутация которого мне известны и внушают надежды на его будущее, вызвана также и тем, что мой муж Шимон Маркиш — один из авторов вашего журнала, он дважды выступал с публикациями на страницах московского “Континента”.

Прошу поверить, что в истории, которую я хочу рассказать вашим читателям, мною движут не обиды и не самолюбивая забота о моем научном имени и престиже. Я полагаю, что подобные явления научной жизни, широко практиковавшиеся в советской науке еще недавнего времени, сегодня должны стать непозволительными.

В 1993 году в Москве вышла книга “Конармия” Исаака Бабеля (изд. “Российский университет”, 117 стр.), принадлежащая трем авторам — Г.Белой, Е.Добренко и И.Есаулову. На суперобложке значится, что эта книга — “первое комплексное исследование, глубоко и всесторонне анализирующее “Конармию”. Не знаю, кем составлена эта аннотация и какими мотивами продиктована. Но хочу сообщить читателям, не обязанным знать то, что должны знать специалисты, — в мире на разных языках вышло около 20 монографий и более 200 статей, посвященных “Конармии”. Для примера приведу несколько имен авторов только монографических исследований: Ван Баак, Зихер, Карден, Луплоу, Мендельсон, Левин, Стора-Шандор, Йованович, Вацлавик, Хэлст, Дрозда, Гренгар, Помяновски...

От авторов нового литературоведческого исследования, посвященного “Конармии”, естественно ожидать и оригинальных мыслей, и знания работ предшественников, и соответствующего научным нормам обращения с их текстами.

При чтении книги бросается в глаза, что используемые в ней литературоведческие приемы никак не могут претендовать на оригинальность и новизну, а, наоборот, вполне вписываются в старый, десятилетиями обкатанный набор приемов советского литературоведения. Содержательность анализа подменяется пересказом содержания рассказов (см., например, стр. 16, 56, 90) и длинными цитатами. Типичны морализации типа: “Бабель видел хаос истребления” (стр. 14), школьные фразы: “Акинфис издевался над дьяконом вовсе не потому, что атеист”, расхожие и вполне банальные размышления о гуманизме Бабеля, о его ненависти к войне (стр. 98). Да и штампы “менялась эпоха, менялось время” (стр. 26), “Шли годы...” (стр. 30) достаточно гротескно звучат при изложении творческого пути писателя.

Но меня интересует не столько живучесть советских манер и приемов, сколько столь же характерное для советских нравов нарушение научной этики,

которое выражается в бесцеремонном присвоении чужих открытий, мыслей, наблюдений.

“Плагиат оратора есть искусство передать слова, принадлежащие чужому перу, таким образом, чтобы даже сам автор не узнал собственное произведение. Если оратор сказал: “посол должен иметь три качества: честность, талант и решительность”, то плагиатор должен писать: “решительность, талант и честность”, а еще лучше: “твердый характер, смелость и одаренность”.

Это забавное определение принадлежит профессору Ришурсу, директору Академии Философских Ораторов в Париже 18 века. Его цитирует Жорж Морвер в своей “Книге о плагиате” (Париж, без указания года, стр. 17).

Книга, о которой я пишу, даже этого наивного требования к плагиатору не признает — жертвы плагиата мгновенно узнают свои слова и мысли, обнаруживая их почти или совсем без изменения.

В этом отношении меньше, чем к другим авторам сборника, у меня претензий к статьям Г. Белой, составившим 1-ю главу “Нераздельность и неслиянность”. Мне только хотелось бы напомнить Г. Белой, что тема “двойной/двойственной” принадлежности Бабеля, о которой она пишет, детально разработана Шимоном Маркишем в его исследовании “Детство” и другие рассказы” (Библиотека “Алия”, Израиль, 1979; в дальнейшем “Детство...”), переведенном на английский, французский и иврит; что мысль о карнавальности “Конармии” впервые была трактована в моей статье “Эскадронная дама, возведенная в мадонну. Амбивалентность в ”Конармии” Исаака Бабеля” (Studia Slavica Hung. 31.1985; в дальнейшем “Эскадронная дама...”); что среди ссылок Г. Белой нет ссылок на литературу о Бабеле, исключая упоминание одной из статей незаслуженно пострадавшего в свое время и незаслуженно забытого Израйля Смирлина, цитаты из М.М. Бахтина и воспоминаний о Бабеле. Впрочем, цитаты тоже не всегда сопровождаются сносками, указывающими на их авторов (стр. 6, 7—8).

Мои претензии к господину Е. Добренко, автору 2-й главы “Логика цикла”, гораздо серьезнее. По отсутствию ссылок на работы предшественников, характерному для всех авторов сборника, можно было бы предположить, что они просто не знают литературу о Бабеле, так как были лишены возможности с ней познакомиться. Однако русские ученые разъезжают теперь по всему миру — они это заслужили и выстрадали. Г. Добренко, например, стажировался в Загребе, всемирно известном центре русистики, а ныне работает в Америке, в Дьюк Юниверсити. Более чем печально, что и в его главе, как и в первой, нет хотя бы англоязычных источников. Впрочем, один есть, но это не результат обновления картотеки. У г. Добренко есть абзац о хасидизме, который, впрочем, встроен в его текст неорганично и к тому же интерпретирует хасидизм неверно, не учитывая, что в течение веков хасидизм менялся и потерял первоначальную терпимость. Об этом я пишу или, по меньшей мере, упоминаю в каждой своей статье о “Конармии”. И г. Добренко указывает в примечании тот же источник, на который я ссылаюсь в статье в 1978 году! Этот источник (Martin Buber: The Origin and Meaning of Hasidism, USA, 1960) был *тогда* единственным доступным мне трудом Бубера в венгерских библиотеках. Находясь в США, г. Добренко мог бы обратиться к новым и более полным изданиям Бубера, мог бы упомянуть и другой мой источник, профессора Мориса Фридберга, который впервые поставил проблему “Бабель и хасидизм”...

В своей главе г. Добренко активно использует упомянутое выше исследование Шимона Маркиша (“Детство...”). Но ссылается только однажды, полно-

стью искажая смысл цитаты. Оригинал звучит так: “У истоков же русской-еврейской литературы советского периода стоит Исаак Бабель. Или, лучше сказать, он сам и был ее главным истоком, надолго определившим и особенности ее, и развитие, и роль *внутри* советской литературы”. (“Детство...”, стр. 325, а не 319—345, как у г. Добренко; курсив мой — Ж.Х.). Добренко-вариант: “он сам и был ее главным истоком, надолго определившим и особенности ее, и развитие, и роль советской литературы” (стр. 33). Бабель определил роль советской литературы!

После ссылок на страницах 33 и 34 Маркиш исчезает, но его статья используется и дальше, широко и *дословно*. На странице 93 переписаны из Маркиша 22 строки, чуть ли не целая страница. Сопоставлять нечего, все — слово в слово с 333-й страницы израильского издания (“Детство...”), начиная со слов “Сын житомирского рабби...” до “...все равно ничего не объяснить”. О рассказе “Детство. У бабушки” Маркиш пишет: “зарисовка одного дня, проведенного в доме бабушки. И самый дом, и уклад его, и хозяйка рождают в мальчике такой отклик: “Все мне было необыкновенно в тот миг, и от всего хотелось бежать и навсегда хотелось остаться” (Литературное наследство, т. 74, “Наука”, Москва, 1965, стр. 484); (“Детство...”, стр. 329). Текст г. Добренко: “Вот зарисовка одного дня, проведенного в доме бабушки (“Детство. У бабушки”, конец 1915). Быт, уклад жизни дома, сам дом и его хозяйка рождают такой отклик в ребенке...” (стр. 34), и далее следует та же самая цитата из Бабеля.

Маркиш пишет о рассказчике в “Гедали”: “Лютову некуда пойти. Старый мир, от которого он бежал, но который притягивает, не отпускает его, разрушен новым миром, к которому он рвется всей душой и который его не принимает и отпугивает своим уродством и кровожадностью. Одиночество и отчаяние интеллигента в революции — частая коллизия литературы 20-х годов — умножены на одиночество еврея, да к тому же еще еврея особого сорта, расколотого пополам в своем отношении к еврейству, как интеллигент расколот в своем отношении к революции” (“Детство...”, стр. 334). “Интерпретация” Добренко: “Старый мир и притягивает и отталкивает; он разрушен, и, кажется, некуда пойти, но и новый мир, к которому он рвется, не принимает и отпугивает своим уродством, кровью, жесточечностью классовой борьбы. Мотив одиночества усиливается: перед нами интеллигент, не определившийся в своем отношении к революции... и еврей, расколотый в своем отношении к еврейству” (стр. 54).

Или еще пример. Маркиш: “Но пьеса названа “Закат” недаром. Она об уходящем, не о грядущем, о разрушении, о смерти. Емкий символ заката вмещает гораздо больше, чем крушение былого величия и запоздалых надежд биндюжника Менделя Крика, больше даже, чем упадок старой Одессы. Рушится весь старый уклад, прахом рассыпаются самые его устои... “Восходит солнце и заходит солнце” (Экклесиаст, 1,5)”. (“Детство...”, стр. 340—341). “Пере-сказ” Добренко: “Закат — не просто пейзажный лейтмотив в бабелевском художественном мире. Он — и философема, звучащая в “Одесских рассказах” и в “Закате”, где этот емкий символ вмещает в себя крушение всего старого уклада, самих его устоев. В “Конармии” закат — символ не только уходящего, разрушения, смерти, но и порядка, вечности — “Восходит солнце, и заходит солнце...” (Экклесиаст, 1,5)” (стр. 94). Порядок слов и чужих фраз изменен, но слова те же — т.е. чужие.

Что ж касается заимствований у меня, то некорректности и многочисленны, и разнообразны. На стр. 94 моя мысль появляется без кавычек, но хотя бы с отсылкой, и такая же неизвестно к чему относящаяся отсылка есть при анализе

рассказа "Вдова" (стр. 96). Уже без всяких отсылок использованы мои соображения о хасидизме (стр. 37), обинарной оппозиции смерть/беременность (стр. 43, 86) и анализ верха и низа в рассказе "Пан Аполек" (стр. 50). Особенно обидно, что от моей интерпретации рассказа "Гедали" (доклад, прочитанный в Одессе в присутствии авторов сборника и опубликованный в 1990 году в 36-м номере *Studia Slavica Hung.*) осталась одна туманная фраза, да еще со смешением несовместимых образов и терминов. Я писала о Гедали, как об апостоле мессианской революции, ибо идеи доброты на земле и спасения всего человечества стояли в центре раннего хасидизма, который идеализировался в произведениях Бубера в начале 20 века, и я предлагала толковать смерть сына рабби как метафору жертвы во имя мессианской революции, "ибо для него эти идеи воплощает революция". Г. Добренко "откликается": "Перед нами одетая в тогу (!) хасидизма гуманистическая интерпретация революции" (стр. 54).

Пусть не покажется нескромным перечень цитат из собственных статей, но дело в том, что свои тексты, как и тексты Маркиша, я помню очень хорошо. Говоря о не вполне чистоплотных приемах заимствования, я не могу быть уверенной, например, что анализ логики цикла у Добренко сделан без заимствований из объемистой и очень полезной монографии Миливое Йовановича, с которой Добренко имел возможность познакомиться во время своей стажировки в Загребе. Трудно обойти вниманием этот солидный том, ставящий в центр рассмотрения именно последовательность рассказов, "логику цикла" — название главы, написанной Добренко. Хотя, впрочем, обойдены вниманием и другие монографии...

В заключение обзора добренковских подвигов на попрание плагиата — один курьез. Когда я писала вторую в своей жизни статью, мне хотелось придумать что-то очень шаткое и очень "умное", и получилось нечто довольно невразумительное: "Целостное единство рассказов "Конармии" Исаака Бабеля, внушающее единство большого эпического жанра, достигается благодаря присутствию осевой мысли на всех художественных уровнях, скрепляющей их в строгую систему" ("Эскадронная дама...", стр. 161). Чем это предложение соблазнило г. Добренко, кроме того, что оно было уже написано и можно было списать его почти слово в слово: "Целостное единство рассказов "Конармии", внушающее ощущение большого жанра, достигается благодаря присутствию и развитию осевой мысли на всех художественных уровнях, тех смысловых скреп, что держат здание цикла" (стр. 92). No comment.

Я не говорю, что во второй главе нет интересных мест. Но эти места разрознены — тут-то как раз "осевой мысли" нет. Г. Добренко пишет, что "в "Конармии" мы можем найти целую гамму различных приемов" (стр. 77). Точно так же и в анализе разных новелл он использует разные подходы — видимо, в соответствии с тем, что и где было о соответствующей новелле прочитано. То психологизм, то хасидизм... то рассказчик, то сюжет... Отсутствие метода обнаруживается более всего там, где автору нечего сказать, и анализ заменяется длинными цитатами из бабелевского текста ("Замостье", "Измена").

Третья глава "Этическое и эстетическое в рассказе "Пан Аполек" г. Есаулова — единственная отвечающая критериям научного труда в том смысле, что в ней появляются оригинальные идеи (но, увы, не только оригинальные). Строя свой семантический анализ на соображениях нарративного порядка, г. Есаулов уличает меня в ошибке. Но ошибка эта "живет" лишь в той псевдоцитате, которую г. Есаулов составил из моих слов. У меня: "Введение к рассказу "Пан Аполек" позволяет понять фигуру провинциального живописца и его художе-

ственное творчество как ключ ко всему циклу, причем речь здесь ведется, на наш взгляд, не от рассказчика Лютова, а от самого автора." Совершенно однозначно, что "здесь" относится к подлежащему "введение" ("Эскадронная дама...", стр. 162, но см. об этом также мою первую статью: "Библейские мотивы в "Конармии" Бабеля". *Studia Slavica Hung.* 27.1981; в дальнейшем: "Библейские мотивы..."). Г. Есаулов пропускает слова, которые ему не нужны, и даже вставляет вместо них свои, которые искажают первоначальный смысл: "Речь здесь (в "Пане Аполеке" — *И.Е.*) ведется... не от рассказчика... а от самого автора" (стр. 102). Заметьте, что слова о том, почему Аполек — ключ всего цикла, пропущены. Вывод Есаулова: "В художественном мире произведения "новый обет" — это эстетическое возвышение каждого отдельного человека над прозаическим жизнеукладом, нахождение святости в каждой человеческой личности, но при полном сохранении людских слабостей и пороков" (стр. 106-107). А я в свое время писала: "Бабель следует тому художественному методу, который положен им в основу картин Аполека. Аполек поднимает простых смертных, мелких людей на свои священные картины: тем самым он возвышает их и снижает святых." "Это тот пример, которому решил следовать Бабель. Он в "Конармии" дает портреты простых людей... видя и показывая в них помимо земных и порочных черт способность изменить мир..." ("Эскадронная дама...", стр. 162; "Библейские мотивы...", стр. 238).

У Есаулова немало интересных идей, которые оказываются плодотворными. Одна из них — интерпретация Аполека-иконописца, который не изображает, а творит новый мир. Есаулов, исходя из изменения порядка библейских событий в сюжете Бабеля (казнь Иоанна Крестителя уже совершилась в начале рассказа, до того как, в конце рассказа, Иисус уходит к Иоанну в пустыню), делает вывод, что крещение не состоялось, "богоявление отменяется" (стр. 116). Этим, дескать, Бабель снимает переход от Ветхого Завета к Новому, ибо рассказчик не может "отрешиться от ветхозаветной системы ценностей и перейти к "обету" продолжателя гейдельбергского романтизма", т.е. к гуманизму. Здесь у меня три возражения. Есаулов говорит о предательстве по отношению к этому обету, отождествляя автора статей в газете "Красный кавалерист", т.е. Бабеля, с рассказчиком, Лютовым. Повторяю, Есаулов меня не убедил, но я считаю его мысли интересными. По-прежнему думаю, что "обет" дал художник Бабель, и это был обет не идеологического, а эстетического порядка. Но никак не могу сомневаться в том, что газетные статьи написал Бабель, с какой бы точки зрения нарратологии мы ни смотрели. Отсюда второе замечание. Ясно, что Бабель не тот гуманист-пацифист, которого рисуют отчасти и авторы первых двух глав, и что вопрос об ответственности интеллигенции, несомненно, может здесь возникнуть. Однако, нехорошая получается картина: Бабель, сторонник ветхозаветных ценностей (?) (видимо, здесь намек на еврейство), побуждает казаков убивать, мстить, и они, наивные казаки, "только воплощают в жизнь "книжный" (газетный) призыв Лютова добить "пана" (стр. 117). Не слышится ли здесь неприязнь к еврею, который — якобы — сделал русскую революцию, не рискуя при этом своей шкурой? И в отмене богоявления у Бабеля нельзя ли увидеть аргумент в пользу тех, кто недолюбливает Бабеля за его (мнимый) "антихристианизм"?

Третье замечание. Логике Есаулова противоречит одно место в цикле, описание в рассказе "У святого Валента" статуи распятого-гонимого Христа, "самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни" (Бабель: Избранное, 1966, стр. 110; курсив мой — *Ж.Х.*). Есаулов считает: не

случайно, что Иисус не назван Христом в рассказе “Пап Аполек”, ибо он не мог стать Богом, крещение не состоялось. Но вот — и Христос, и Бог, причем этот Бог подтверждает мысль Есаулова о реальности художественного мира: ведь статуя, как живой человек, обращает казака в бегство.

В целом же впечатление от сборника очень грустное, и особенно из-за средней, самой длинной главы. Пренебрежение интеллектуальной собственностью напоминает о нравах советского времени. Авторы, возможно (и даже скорее всего), будут обижены, хотя, вероятно, я была самым добросовестным и скрупулезным читателем их книги. Что же касается нас с Маркишем, то нам обижаться нечего: наши слова и мысли легли в основу “первого комплексного исследования, глубоко и всесторонне анализирующего ”Конармию” Бабея”.

Женева

О ПРИЕМЕ В ВЫСШУЮ ХРИСТИАНСКУЮ ШКОЛУ

Московская высшая православно-христианская школа

является высшим духовным учебным заведением, действующим по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, готовящим миссионеров и катехизаторов Православной Церкви,

дает своим студентам подготовку в области Священного Писания, богословских и философских наук, истории Церкви, древних и современных языков, а также по ряду иных дисциплин.

Обучение в Высшей школе длится **ШЕСТЬ** лет и разбивается на два последовательных цикла:

— в течение первых **ТРЕХ** лет обучения, происходящего на основе систематических курсов лекций и семинарских занятий, студенты получают фундаментальную подготовку по основным предметам. Занятия проходят в вечернее время, не менее трех дней в неделю. Основная дисциплина первого курса — Ветхий Завет, на втором курсе — Новый Завет и литургика, а на третьем — История Церкви и догматика. Завершается первый цикл письменной работой на получение ученой степени бакалавра;

— в течение второго цикла, длящегося также **ТРИ** года, студенты углубляют и расширяют приобретенные знания, получают в соответствии со своими желаниями и возможностями определенную специализацию. Занятия проходят в форме специальных курсов и факультативов, а также самостоятельной работы. На последнем, шестом курсе студенты готовят магистерскую диссертацию, которую представляют для защиты в одной из высших зарубежных богословских школ.

В Высшую школу принимаются православные христиане, не моложе 21 года, прошедшие цикл катехизации для взрослых, регулярно причащающиеся и представляющие цель своего прихода в Школу.

Для поступления необходимо представить следующие документы:

1. Прощение о приеме на имя ректора священника Георгия Кочеткова, анкету (заполняется при сдаче документов) и автобиографию.
2. Письменную рекомендацию, подтверждающую прохождение оглашения (желательно от священника).
3. Копию аттестата о полном среднем или диплома о среднем специальном или высшем образовании.
4. Две фотографии.

На основании представленных документов приемная комиссия допускает абитуриентов к *письменному экзамену* (изложение отрывка из Евангелия с комментариями) и вступительному *собеседованию*.

Вступительное собеседование проводится с каждым абитуриентом индивидуально.

Для подготовки к вступительному собеседованию рекомендуются следующие книги:

1. Новый Завет (полностью)
2. "Всенощное бдение. Литургия"
3. Православный молитвослов (со знанием наизусть молитв по программе для поступающих в первый класс семинарии)
4. Катехизисы: митр. Филарета, со знанием наизусть не менее 30 цитат из Священного Писания по-русски, и еп. Александра (Семенова-Тян-Шанского)
5. Церковный календарь на 1994 год
6. Беседа преп. Серафима Саровского с Мотовиловым
7. Прот. Александр Шмеман "За жизнь мира"
8. Прот. Александр Мень "Таинство, слово и образ"
9. Митр. Сурожский Антоний "Беседы о вере и Церкви"

Документы для поступления принимаются до 10 сентября 1995 г. по адресу: 103045, Москва, ул. Сретенка, 3, Храм Успения в Печатниках, ежедневно с 11.00 до 18.00

Объявляется набор на богословские курсы при Московской высшей православно-христианской школе (МВПХШ), работающей по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II

Цель Курсов — познакомить слушателей с основными направлениями православного богословия:

- ☐ библистикой (Ветхий и Новый Завет)
- ☐ христианской этикой и эстетикой
- ☐ аскетикой
- ☐ введением в мистику
- ☐ литургикой и каноникой
- ☐ сакраментологией
- ☐ догматикой и экклезиологией
- ☐ общей церковной историей
- ☐ апологетикой

Время обучения — 2 года. Занятия (лекция и семинар) — один раз в две недели.

Вступительных экзаменов нет; выпускной экзамен сдают только желающие получить свидетельство об окончании Курсов.

Принимаются подавшие прошение на имя ректора МВПХШ священника Георгия Кочеткова члены Православной церкви, регулярно причащающиеся и прошедшие цикл оглашения для взрослых. Кроме прошения, необходимы следующие документы:

1. Письменная рекомендация, подтверждающая прохождение оглашения (желательно от священника)
2. Анкета (заполняется при сдаче документов)
3. Автобиография
4. Две фотографии
5. Письменная работа "Мой путь к Богу и в Церковь" (3-5 машинописных страниц)

Прием документов — до 10 сентября 1995 года по адресу: 103045, Москва, ул. Сретенка, 3, Храм Успения в Печатниках, ежедневно с 11.00 до 18.00

ПРОБЛЕМЫ БОГОСЛОВСКО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ОБЩЕСТВЕ: ОПЫТ МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ПРАВОСЛАВНО-ХРИСТИАНСКОЙ ШКОЛЫ

В современном российском обществе намечается множество новых тенденций и процессов, влекущих за собой долгосрочные последствия. Среди них большинство в принципе связаны с не менее долгосрочными проблемами.

В центре гуманитарных проблем стоят проблемы духовные. От того, как сейчас сможет духовно сориентироваться российское в целом и, в частности, русское общество, зависят судьбы мировой истории. Сможет ли в России взять верх христианство или нет, будет ли народ всерьез ориентироваться на христианские и особенно православные церковные ценности, или все они будут сведены лишь на уровень лубочно-интуристовского и национально-ностальгического полужызыкального "фона" — это главным образом зависит от нашего времени и от нас, наших действий.

На сегодняшний день российский, русский народ все еще в большой степени народ нехристианский, полужызыкальный. Он и в прежние времена не был самым просвещенным, хотя это не мешало ему родить мировых гениев и создать культуру, имеющую общечеловеческое значение, что и сделало его народом великим, но сейчас он попал в беспрецедентное в своей истории положение. Он унижен и внешне и внутренне, отнюдь не будучи самым виноватым в том, что произошло с его страной в XX веке. В любом случае бесспорно, что страдал он не менее других. Более того, именно его традиционные ценности — государственные, национальные, духовные, душевные, культурные, материальные и финансовые — более всего разрушались и расхищались или осмеивались и даже прямо запрещались.

И это длилось три поколения без какой-либо передышки. Это долгие принопамятного вавилонского плена. Поэтому не случайна та разруха, которая царит теперь в стране — в людях и вокруг них. Она не могла не коснуться всех сторон жизни, особенно же таких нежных и тонких, как духовная и церковная.

Ныне традиционная русская духовность лежит в развалинах, как древняя столица Римской империи после жестокого и опустошительного набега варваров. И никогда нельзя сказать заранее — восстанет ли из пепла еле теплющаяся в ней жизнь, поправима ли прошедшая беда, не переместятся ли в будущем духовные центры на новое место.

Все мировое сообщество причастно к решению этих вопросов. Но все же главное — то, что и как примет или не примет на себя и в себя сам наш народ. Изнутри народа должны восстать силы победы и самоопределения, которые лишь косвенно связаны с мировой политикой и экономикой, с финансированием или помощью извне, несущими с собою свои акценты, свой дух и свои интересы.

Очень многое здесь зависит от Русской православной церкви. Как бы ее ни восхваляли и ни ругали, какие бы поветрия ни принимались как главные в молодежной, интеллигентской и т.д. духовности, интуитивно все соотносится с ней как главным мерилем духовной жизни страны и народа. А церковь эта, несмотря на все унижения, гонения, потери, запреты, издевательства и предательства, осталась жить тем же, чем жила всю свою историю. Она — единственная в принципе сохранившаяся институция традиционного русско-российского мира, она — единственный гарант и арбитр этого мира, и с этим вынуждены считаться все.

Да, потери ее внутренней и внешней жизни огромны. Церковь российская больна, в известном смысле — она в параличе от разрыва важных связей и традиций в ней самой. И все же она обогатилась и обогащается новой силой от Бога, во-первых, через кровь своих миллионов мучеников и исповедников, через их новый литургический, духовный, исторический, человеческий, общинный экзистенциальный опыт, который остается только собрать и открыть для всех, имеющих глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Во-вторых, она готовится воспринять новую силу жизни в себе через собиравание своего огромного духовного, церковного, богословского, философского, культурного, учебного и т.д. наследия, разбросанного до сих пор по всему миру и уже отчасти ставшего достоянием этого мира.

Среди реалий нашей церковной жизни, прямо связанных с наследием эпохи открытых гонений и притеснений, — появление новых, как бы нетрадиционных духовных учебных заведений. Такова и Московская высшая православно-христианская школа (в дальнейшем МВПХШ, или просто Школа). По существу, это даже не одна духовная школа Русской православной церкви, а целых три, объединенных одним названием и общим руководством.

Во-первых, это годичное Катехизационное училище, существующее непрерывно с конца 70-х годов, то есть уже пятнадцать лет. Во-вторых, это шестилетняя Высшая богословская школа, начавшая свою работу со студентами в 1988 году, т.е. со времени еще продолжавшихся гонений на Церковь, а подготавливаемая к работе много ранее. И в-третьих, это двухлетние Богословские курсы, начавшие прием и работу со студентами в 1993 году.

С самого начала в Школе и Училище все было приспособлено к возможностям работы по домам, без какой-либо официальной поддержки, без своих помещений, аудиторий, без рекламы и даже церковных официальных благословений.

Понятно, какие плюсы и минусы нес в себе такой порядок. Главными минусами были: относительно небольшое количество оглашаемых и студентов, локальность деятельности, ограниченной только большими городами, почти невозможность полноценного обмена опытом не только с зарубежными партнерами, но и внутри страны, внутри церкви.

Только серьезная внутренняя церковность и ответственность сотрудников и студентов позволяла им не впадать в крайности, ереси и сектантский дух, не ожесточаться, но и не спешить сдаваться во всех спорных случаях,

стремиться к обретению и целостной передаче духовного церковного опыта, избегающего всякого партикуляризма, ксенофобии и национализма или обскурантизма.

С самого начала сознательной целью научения и обучения в школах было заявленное в России еще в первые годы XX века “воцерковление жизни”, означающее преодоление всякой ее раздвоенности и расколотости, например, на храмовое и внехрамовое, внешнее и внутреннее, церковное (духовное) и светское.

Надо было также разглядеть и удалить раздвоение между словом и делом, теорией и практикой в церкви, порождающее номинализм и формализм в богословии и богослужении, а также парализующее людей раздвоение между духом и смыслом.

С другой стороны, такой же целью работы школ было приобщение учащихся, и особенно неопитов, ко всей двухтысячелетней толще церковного общехристианского подлинного предания и писания, т.е. ко всей полноте опыта церковной жизни, как явного, так и сохранившегося лишь в исторической памяти церкви, как официально признаваемого в ней, так и по обстоятельствам времени замалчиваемого или даже сознательно отстраняемого.

Надо было найти возможность включить в жизнь каждого православного христианина, учащегося в школах, неформальное наследие российских новомучеников.

Надо было, следуя принципу дополнительности, и потому без осуждения кого-либо, научиться и научить включать в свою жизнь все то, что в церкви почти отсутствовало практически, хотя часто признавалось неотъемлемым теоретически. Это касалось прежде всего духовных служений: миссионерства, катехизации, обучения, богослужения, диаконии всех видов, а также обмена опытом, силами и средствами внутри Православной церкви и между юрисдикционно и конфессионально различными христианскими церквями.

И конечно, школам надо было самим собирать, изучать, оценивать, выбирать, сохранять и усваивать драгоценные части и пласты наследия русского зарубежного богословия, русской философии и церковной науки XX века.

Таким образом, предполагалось создать систему действительного научения как наставления на Путь христианской жизни и, сверх того, обучения всех православных христиан — без различия пола и возраста, нации и культуры, способностей, состояния здоровья и церковного положения, без отрыва их от современной жизни — соблюдению всего, что заповедано Господом и Его верными учениками.

Это предполагало создание совершенно новых программ и форм последовательного и целостного научения и обучения, в принципе не сводимых ни к одной из практиковавшихся в стране церковных или светских систем образования.

В результате в Русской православной церкви и русском обществе появилась духовная школа, стремящаяся быть по духу церковной, но административно свободной и от государственных, и от официальных церковных структур.

Так она и существовала до сентября 1990 года, когда впервые появилась реальная возможность без потерь внутренней свободы и внешней автономии войти в новоорганизованный тогда же неправительственный и неконфессиональный Российский открытый университет, что дало возможность основной части сотрудников Школы оставить или сократить свою светскую работу, а самой Школе — пользоваться уже официальным статусом. Тогда же Школа

получила свое нынешнее имя (до этого она именовалась просто Христианской школой), стала быстро оформляться структурно и численно расти.

Охвативший в 1992 году Российский открытый университет финансовый и организационный кризис привел к тому, что наша Школа с декабря 1992 года стала существовать совершенно самостоятельно. Это было ей на пользу во всем, если не считать нищеты, обычной в таких случаях платы за полную свободу. Впрочем, мы просили помощи и понемногу с разных сторон ее получали.

Все сотрудники Школы верили, что она пройдет испытание нищетой и выживет в полном объеме, хотя пока и без дальнейшего расширения своей работы.

К началу 1994 года в ней уже числилось более 30 штатных сотрудников, в т.ч. 5 клириков — священников и диаконов; более 1000 оглашаемых в Катехизационном училище, включая инвалидов и заключенных, причем из них около 400 — не в Москве, а по всей России и в странах “ближнего зарубежья”; более 120 студентов Богословских курсов, имеющих также свой заочный сектор; около 80 студентов Высшей богословской школы на всех 6 курсах.

С июля 1992 года Школа уже зарегистрирована Министерством юстиции России, официально признавшим Московскую высшую православно-христианскую школу как высшее духовное учебное заведение Русской православной церкви, что позволило открыть свой счет в банке, иметь свою печать и т.д. А 27 августа того же года было получено письменное благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на труды всей школы, а также на защиту о.ректором магистерской диссертации в Свято-Сергиевском православном богословском институте в Париже, что имело большое значение в свете решения изначальных задач, поставленных школой перед собою, и что было беспрецедентно в истории самого Свято-Сергиевского института. Прошедшая в мае 1993 года защита показала возможность единства духа многих православных христиан из разных стран, готовых ставить и по-новому решать современные духовно-богословские и церковно-практические вопросы.

И все же Школа ныне не смогла бы полноценно существовать, если бы только “варилась в собственном соку”, решая лишь свои задачи вне связи с другими церковными организациями и движениями: с приходами, братствами, детскими и молодежными учреждениями и движениями, издательствами, библиотеками, синодальными отделами и зарубежными международными христианскими просветительскими и благотворительными организациями и т.д.

При современных обстоятельствах богословско-просветительской работы в России это особенно важно.

Так, если у Школы пока нет никаких собственных помещений (а никто в Москве и не спешит ей их предоставлять), то приходы Владимирского собора б. Сретенского монастыря и ц. Успения в Печатниках в Москве, настоятелем которой является о.ректор, предоставляют свои помещения и под офис, и для текущих занятий и встреч, и под библиотеку, и для размещения студентов-заочников и т.д.

При этих же приходах образованы учреждения, прямо связанные со Школой и предшествующие ей: православная группа детского сада (ок. 20 детей), Воскресная школа (170 детей от 6 до 15 лет), Молодежная группа (ок. 70 молодых людей от 15 до 20 лет), группа скаутов, лицей “Ключ”, учреждена и готовится к открытию Православная гимназия “Сретение”. Готовится и объединение ряда из этих учреждений в молодежный центр “Встреча”.

Эти же приходы являются центром и межприходского православного просветительно-благотворительного Братства “Сретение”, в основном состоящего из выпускников Школы и ведущего большую работу как по официальной поддержке Школы, ее учреждений и мероприятий, так и по распространению везде, где это возможно, опыта нашей реальной церковной жизни, выработанных в Школе принципов и сложившегося в ней духа.

Приходы Братства “Сретение” впервые в нашей стране открыто объявили себя миссионерско-общинными, что явилось еще одним важным, если не важнейшим, дополнением того, что делается в Школе. Это положение приходов существенно повлияло на все стороны их жизни. Прежде всего — на богослужебно-литургическую, что потребовало введения на богослужении чтений из Священного писания на русском языке и всякий раз разъяснения прочитанного на проповеди, русификации малопонятных современному русскому человеку, особенно на слух, молитвенных форм, слов и выражений, ухода из храма оглашаемых после соответствующего призыва на литургии, преодоления разрывов и отчуждения алтаря от самого храма, хора от народа, клира от мирян, в т.ч. занимающихся финансово-хозяйственной и организационной деятельностью в храме, вообще одних членов народа Божия от других и, в частности, от нередко приходящих “с улицы” не членов прихода и церкви. И хотя с февраля 1994 года под давлением крайне консервативных кругов в церкви пришлось отказаться от многих из этих богослужебных особенностей, борьба за них продолжается.

В приходах восстанавливается личностное приходское членство, сознание соучастия каждого в богослужении и в жизни всех прихожан, сознание реальности общинной жизни, в отличие от приходской, что позволяет преодолеть отчуждение храмовой от внехрамовой жизни человека, переноса в духовные малые группы и общины, живущие по принципам духовной семьи, многое из того, что прежде мыслилось только в связи с храмом и церковной иерархией (совместную молитву, чтение Слова Божия, проповедь, взаимопомощь и поддержку друг друга, храмов, школ и всей церкви).

Как Школа, так и приходы с Братством выступают среди инициаторов и учредителей Православного миссионерского общества, направленного на восстановление и развитие еще одной замечательной традиции Русской православно церкви, желающей исполнять Слово Христово о проповеди всем евангелия, о научении, Крещении и обучении уверовавших (Мф. 28:19-20), действуя в союзе любви и мира со всеми христианами — полными членами Церкви. К сожалению, события 1-й половины 1994 года замедлили и перенесли в неопределенное будущее и эту важнейшую для нашей церкви работу.

Школа желает укреплять и расширять сотрудничество со всеми духовными школами и близкими ей по духу движениями, уже имея хороший опыт знакомства, совместной молитвы и работы с лучшими представителями православных высших учебных заведений в Париже и Нью-Йорке, всемирного братства православной молодежи “Синдесмос”, сотрудничая с Польской православной церковью в связи с регулярным изданием своего и братского журнала “Православная община”, с профессорами и преподавателями других христианских учебных заведений.

В связи с этим постепенно происходит более полное и качественное взаимознание духовных школ и движений внутри нашей церкви. Правда, если с одними отношения развиваются быстро и хорошо, то с другими этого пока не происходит. Так, из “Союза православных братств” Братству “Сретение” при-

шлось даже выйти — в связи с господством в Союзе нехристианских, нецерковных тенденций, увлекающих в сторону ксенофобии, национализма, угроз и насилия. Особенно же Школа ценит добрые отношения, складывающиеся со Свято-Тихоновским институтом, Мeneвским воскресным университетом, Православным университетом им. ап. Иоанна Богослова и другими духовными школами Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Костромы, Смоленска и т.д.

Интересен опыт Школы, накопленный в заочном секторе. Если в Москве мы обычно встречаемся с духовной разрухой, то в других городах России, за исключением, да и то лишь отчасти, Петербурга, наблюдается просто духовная пустыня. Там всегда приходится начинать с нуля. При этом трудно заранее рассчитывать даже на простую помощь или хотя бы понимание со стороны местных церквей и представителей иерархии. Сами архиереи и священники нередко нуждаются в помощи и поддержке. Но при их подозрительности и недоверии ко всем и это сделать бывает затруднительно. Поэтому на местах нам приходится радоваться любому положительному движению и со стороны церквей, и народа, и общества, и существующих культурно-образовательных структур.

Конечно, и в пустынях встречаются живые люди, но ведь неизвестно, кого, где и как встретишь. В некоторых городах вдруг легко находится общий язык с местным епископом, понявшим, что значит полное оглашение и просвещение для будущего его церкви, в некоторых почти неожиданно открываются горячие и верные сердца у священников или иных церковнослужителей, в некоторых априори согласны на все, лишь бы помогли бороться с натиском инославных миссионеров, отрывающих от их стада последних более или менее здоровых и перспективных овец, в некоторых же сами оглашаемые или студенты, зачастую из интеллигенции, находят входы в аудитории университетов, институтов и школ, на местное радио и телевидение. Последнее бывает особенно поучительно и интересно, ведь в этих аудиториях встречаются самые разные люди из гущи жизни — со своим опытом, предрассудками, вопросами, со своей болью и радостью общения и духовного откровения или познания.

Вообще же заочные группы повсеместно рожают интересное явление. Пустыня, действительно, бывает очень благодарна каждой капле воды живой. Стоит только собраться в каком-нибудь месте группе хотя бы в 5—10 человек и всерьез начать свое оглашение, как начинается цепная реакция. Еще не успев завершить оглашение, членам группы приходится заниматься все новыми и новыми людьми, желающими стать кандидатами в следующую группу. Как и в Москве, нам приходится в этих случаях процесс даже сдерживать, из-за нехватки ведущих катехизаторов.

Например, в Екатеринбурге не прошло и года после окончания оглашения первой группы около 20 человек, как родились еще 4 взрослых и несколько детских новых групп. Но ведь, чтобы проводить качественно оглашение взрослых, надо хотя бы закончить Богословские курсы, а лучше получить высшее духовное богословское образование, т.к. наша система катехизации, в отличие от многих других, рассчитана в своей полноте не на детей, а на взрослых (начиная с 20—21 года) и избегает всякого духовного упрощения и примитива ("ликбеза", т.е. "ликвидации безграмотности"). На курсы же смогли поступить пока лишь несколько екатеринбуржцев.

В связи с этим встал вопрос, с одной стороны, об укреплении связей с местной иерархией, с местным священством, что, слава Богу, удается почти везде, а с другой, об открытии, особенно в больших и удаленных от Москвы городах,

филиалов нашей Школы, пусть для начала только ее Катехизационного училища.

Внешние и внутренние трудности богословско-просветительской работы в заочной форме столь велики, что даже оглашение по тем же аудио- и видеопленкам, с той же программой и с теми же регулярно приезжающими в группу катехизаторами затягивается в полтора-два раза, особенно если оглашается первая в данной местности огласительная группа. Приходится учитывать не только исходную ситуацию в людях, составляющих группы, но и их церковную среду, забытую всякую огласительную традицию, отсутствие местных катехизаторов, общинно-миссионерских храмов, удовлетворительной огласительной литературы, библиотек, своих помещений и т.д. Даже негативное влияние и прямое давление на оглашаемых со стороны их неверующих родных и близких в провинции часто больше, чем в Москве, хотя и в Москве ситуация с этим отнюдь не идеальная.

Особенно трудно заочно оглашать инвалидов и заключенных, вследствие их малой подвижности и платежеспособности. Обучение во всех школах Московской высшей православно-христианской школы бесплатное, однако, в отличие от москвичей, заочникам надо платить за пленки с записями огласительных лекций, встреч и бесед, проводимых в Москве, иногда оплачивать проезд катехизаторов к ним или, наоборот, проезд группы в Москву на собеседование и Крещение со следующим сразу за ним таинством водства (мистагогией) при приходах Братства в течение 7 дней.

Здесь уместно заметить, что с удивительным постоянством как в Москве, так и в провинции огласительные группы состоят на 25—30 процентов из некрещеных, 15—20 процентов уже крещеных и регулярно причащающихся, но ранее не оглашавшихся, а остальные — крещеные, но не причащающиеся, а чаще и не веровавшие прежде люди.

Сама же система оглашения для всех них обычно одна, правда, с учетом всех индивидуальных внешних и внутренних особенностей оглашаемых. Она состоит, как и в древней системе православного катехумената, из трех ступеней.

— Первая — приглашение и оглашение 1-го этапа, или 1-е оглашение, для взрослых людей, обычно требующее не менее 9 месяцев совместной и личной усиленной работы со встречами в группе не реже раза в 2 недели, чаще в будни и по вечерам, прослушиванием ежемесячных специальных лекций, ориентированных на современные этические, в т.ч. библейские, проблемы и т.д.

— Вторая — 2-е оглашение, или собственно просвещение избранных, по мнению церкви и катехизаторов созревших для начала непосредственной подготовки, обычно в течение десяти недель, к Крещению или иному по форме воцерковлению, выражающейся в удвоении числа встреч, несущих уже концептуальное наполнение, в усиленном посещении храмовых служб, доступных для личного участия в них оглашаемых и т.д.

— Третья — таинство водства, или мистагогия, в течение одной недели, когда после своего Покаяния, а если надо — Крещения и/или Миропомазания, новопросвещенные “младенцы во Христе” ежедневно участвуют в совершении таинства Благодарения и Причащения Тела и Крови Христовых, также ежедневно в храме и в группах слушая введение в сакраментальную жизнь через изъяснение литургических таинств, церковных вселенских (кафолических) догматов, христианской антропологии, принципов личной христианской аскетики и мистики.

Эта система оглашения ориентируется одновременно на древнюю мощную церковную традицию и на условия современной жизни людей, от которых отрывать их не следует.

Конечно, есть своя специфика работы и свои проблемы и на Богословских курсах, и в Высшей богословской школе. Упомянем здесь некоторые из тех, которых мы почти не касались прежде.

Приходится признать, что создать такие школы можно было пока только в Москве, где есть соответствующая культурная и относительно подготовленная церковная среда с соответствующими государственными и личными собраниями книг, с уже готовыми к работе, хотя и крайне перегруженными из-за своей малочисленности, преподавателями, с возможностями иметь и поддерживать личные связи с зарубежными специалистами, церковными деятелями и организациями и т.д.

Но и в той же Москве, с ее духовной разрухой, приходится многое выращивать, собирать и организовывать по-новому. Жизнь требует преодоления страха перед новым и происходящей от этого страха излишней обращенности назад и лишь к букве традиции.

Также еще надо преодолеть отрыв закона молитвы в церкви от закона ее веры и жизни.

Надо бороться за доверие церковного народа к богословию вообще и нашим школам, их преподавателям и студентам в частности, как все еще надо бороться с рутинным церковным сознанием, часто отрицающим необходимость полной катехизации для каждого христианина — живого и здорового члена Церкви и общества.

Надо продолжать расширять и укреплять равноправное общение и сотрудничество со всеми соответствующими церковными и нецерковными, зарубежными и российскими просветительскими организациями. Необходимо для этого убедить власти серьезнее отнестись к возможному вкладу церкви в настоящую и будущую сокровищницу жизни всего народа, для чего всем живым и перспективным церковным учреждениям, в особенности приходам и школам, нужно смелее возвращать и выделять помещения, книги и оказывать другую необходимую поддержку, даже если это потребует временного сокращения деятельности или площадей иных учреждений и предприятий.

Здесь надо научиться выбирать в соответствии со строгой иерархией ценностей в жизни людей: сначала духовные, потом душевные и культурные, и потом — материально-телесные и финансовые интересы. Конечно, ничто в обществе не должно быть гипертрофировано и жить за счет другого, но это не отменяет названной иерархии, хотя и напоминает, что пока еще очень многие в нашем обществе и народе строят свое благополучие за счет духовного.

В школах, в первую очередь, надо стремиться давать фундаментальные и целостные знания, основанные на источниках, чтобы они стали базой для несения в церкви и обществе постоянных церковных служений, в т.ч. миссионерского и катехизаторского. При этом, хотя надо заботиться и об уровне специальной подготовки, эти служения не всегда должны выливаться в профессию или вести к рукоположению или постоянной "работе" в церкви с отрывом от других работ.

И конечно, в школах, как и в церкви и обществе, должно укрепляться личностно-открытое и заинтересованно-доброе отношение к каждому человеку.

Во многих случаях это требует далеко идущих изменений в сложившихся представлениях о христианском духовном учении, о соответствующей ему жизни и практике, что от всякой духовной школы, в т.ч. Московской высшей православно-христианской школы, потребует поиска новых подходов, нового духовного творчества, новых программ, новых людей, нового дерзновения пред Богом и нового пред Ним покаяния и смирения.

Апрель 93 года — июль 94 года

Свящ. Георгий КОЧЕТКОВ,

ректор Московской высшей
православно-христианской школы,
настоятель церкви
Успения в Печатниках г. Москвы

Художник М.Кудрявцева

Подписано в печать 17.07.95. Формат 84×108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура “Таймс”. Печать офсетная. Тираж 10 000 экз. Цена договорная.
Заказ № 142

ЛР № 010184

Адрес издательства “Московский рабочий”
и редакции журнала “Континент”:

101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8а
Телефон редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13.
107005, Москва, Денисовский пер., 30

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

КОНТИНЕНТ

**принимается во всех отделениях связи России.
Наш подписной индекс в каталоге «Роспечати»**

73218

*** * ***

КОНТИНЕНТ

**продается в книжных магазинах, киосках «Роспечати»
и высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» (тел.: /095/ 129-29-09), а также агентством
по распространению «АиФ» (тел.: /095/ 923-68-59)**

**Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции**

КОНТИНЕНТ

**приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов**



ВЫ ЕЩЕ НЕ КУПИЛИ АВТОМОБИЛЬ?
Продажа в рассрочку:
АО "Автоплан"

тел. 276-87-80



"МОСКВИЧ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Оптовая продажа

тел. 276-83-08

276-82-32

факс 179-49-81

ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ * ОПТОВАЯ ПРОДАЖА